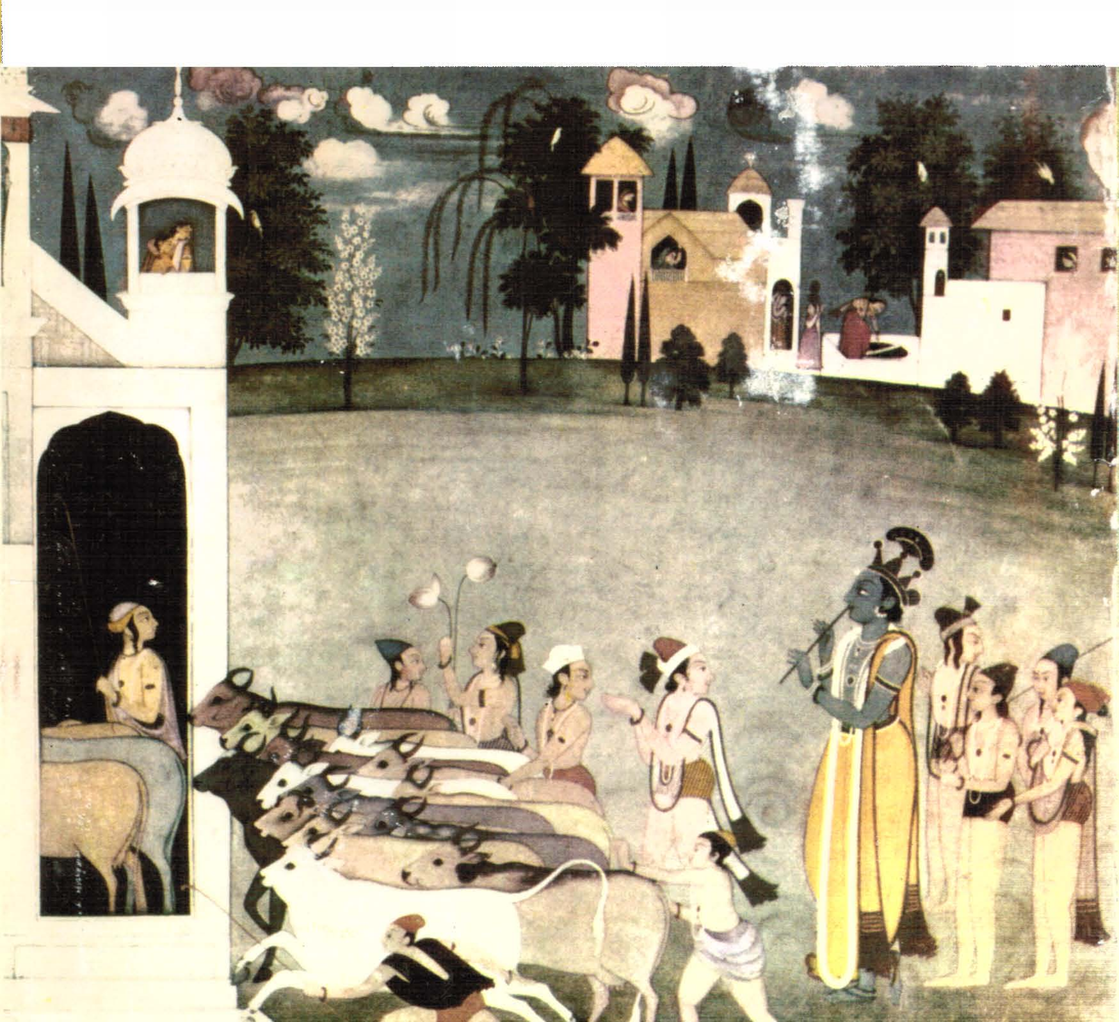
КЛАССИЧЕСКАЯ ПОЭЗИЯ ИНДИИ, КИТАЯ, КОРЕИ, ВЬЕТНАМА, ЯПОНИИ



Библиотека
всемирной литературы

Серия первая *

Литература Древнего Востока
Античного мира
Средних веков
Возрождения
XVII и XVIII веков

КЛАССИЧЕСКАЯ ПОЭЗИЯ ИНДИИ, КИТАЯ, КОРЕИ, ВЬЕТНАМА, ЯПОНИИ

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
МОСКВА 1977

Сб 3
К 47

К $\frac{70404-367}{028(01)-77}$ подписное

ИНДИЯ

Составление (кроме раздела «Тамильская поэзия») и вступительная статья
С. Серебряного
Составление раздела «Тамильская поэзия» П. Сомасундарама

Новые подстрочные переводы для данного раздела выполнили:
С. Серебряный, И. Серебряков, И. Глушкова, В. Коровин

КЛАССИЧЕСКАЯ ПОЭЗИЯ ИНДИИ

Переводы, собранные в этом разделе, должны расширить представление читателя о том огромном мире, который называется «индийская литература».

«Индия» — это не просто имя страны [1], это имя одной из самых древних, богатых и сложных цивилизаций человечества. В истории мировой культуры лишь две другие цивилизации (или, как говорят историки, две субэкумены) — Дальний Восток и Средиземноморье — сопоставимы с Индией по самобытности, мощи, протяженности во времени и внутреннему многообразию.

Одно из кардинальных свойств индийской культуры — это иное, чем в Средиземноморье или на Дальнем Востоке, отношение ко времени и к истории. В древней Индии не было своего Геродота или Сыма Цяня, не сложилось своей историографии, не возникло и собственной истории литературы (хотя была весьма развитая и своеобразная теория литературы). Более того, с какой-то странной для нас расточительностью Индия забывала многие из своих

---

[1] С 1947 г. слово «Индия» употребляется в двух смыслах. С одной стороны, им, как и прежде, нередко обозначают весь индийский (южноазиатский) субконтинент, а с другой стороны — крупнейшее государство этого субконтинента, с 1950 г. официально именуемое «Республика Индия». Всего на субконтиненте в настоящее время пять независимых государств: Республика Индия, Народная Республика Бангладеш, Исламская Республика Пакистан и два королевства в предгорьях Гималаев — Непал и Бутан. К индийскому культурному миру тесно примыкает и остров Цейлон, где расположено государство, недавно восстановившее свое древнее санскритское имя Шри Ланка (Благословенная Ланка). Подборка текстов в настоящем разделе той или иной своей частью представляет культурное достояние народов всех шести названных государств. В этой статье, посвященной более ранним периодам истории, слова «Индия» и «индийский» будут для удобства и краткости употребляться в первом, более широком, смысле наряду с более уместными, но еще не вполне привычными у нас выражениями «Южная Азия» и «южноазиатский».

величайших достижений, целые исторические эпохи, шедевры искусства и литературы [1].

Восстановленная учеными за последние два века история Индии являет собой весьма мозаичную картину, состоящую из множества фрагментов и еще более великого множества пробелов. Одной из самых сложных была и остается проблема хронологии. Особенно плохо изучена история духовной культуры. Идеал историка — целостное описание и материальных и духовных сфер жизни в их взаимно обусловленном развитии — применительно к Индии остается недостижимым.

Как полагают ученые, во II тыс. до н. э. на индийский субконтинент откуда-то с северо-запада пришли племена, называвшие себя «ариями» (то есть «благородными»). Со временем арии подчинили своему культурному влиянию бо́льшую часть Северной Индии, частью оттеснив, частью покорив и ассимилировав местное население, которое, в свою очередь, повлияло на дальнейшее развитие культуры самих ариев. Результатом была так называемая «ведическая культура» I тыс. до н. э. Реформаторскими ответвлениями от этой культуры были учения джайнизма и буддизма, возникшие в середине того же тысячелетия. Из доарийских жителей Южной Азии наиболее значительными были, очевидно, дравиды, и поныне составляющие основное население юга Индии. Существует гипотеза, что так называемая протоиндийская цивилизация долины Инда (III—II тыс. до н. э.), открытая археологами в XX веке, была дравидской.

В I тыс. н. э. сложился многообразный религиозный комплекс, который мы теперь называем индуизмом. В него вошли, преображенные, и традиции ведической религии, и некоторые идеи буддизма и джайнизма, и ассимилированные элементы доарийских культур, в том числе дравидской. В первом же тысячелетии в Индии появились христиане, поэтому не исключено, что в индуизм могли войти и отголоски христианского учения.

Второе тысячелетие наполнено для Индии иноземными вторжениями и завоеваниями. Чужеземцы не раз вторгались в Индию и прежде, однако, как правило, политическое господство их было географически и хронологически весьма ограничено, и в конце концов они ассимилировались в индийский культурный мир (в свою очередь, обогащая его по мере своих возможностей). Но во втором тысячелетии на Индию обрушилось несколько волн мусульманских завоеваний, которые качественно отличались от всех прежних вторжений. Мусульмане не только в течение нескольких столетий (с XIII по XVIII—XIX вв.) были господствующей политической силой на субконтиненте, но и принесенная ими культура оказалась малоспособной к асси-

[1] Мы имеем в виду не только сенсационное открытие XX в.— «протоиндийскую культуру» долины Инда. К XIX в. Индия забыла, кроме своей «предыстории», и великого буддистского императора Ашоку, и империю Кушан, и эпоху Гуптов, ныне признанную «золотым веком индийской культуры». Лишь в XIX в. были случайно найдены и знаменитые фрески Аджанты, и великолепная ступа в Санчи, и многие другие памятники искусства. О забвении литературных памятников — см. ниже.

миляции, к растворению в океане индуизма. Напротив, они обратили в свою веру значительную часть индийцев и оказали на индийскую культуру влияние, несравнимое с влиянием каких-либо прежних пришельцев[1]. Мусульманские завоевания — один из важнейших рубежей в истории Индии и, как мы увидим ниже, в истории индийской литературы.

Другим столь же важным рубежом было установление в Индии британской власти в XVIII—XIX веках. Вековое (а в некоторых частях Индии почти двухвековое) господство британцев наложило мощный отпечаток на культуру субконтинента. Современная культура основных стран Южной Азии — это результат сложного взаимодействия местных традиций и европейской культуры в ее британском варианте. Установление британской власти определяет и ближний рубеж нашей подборки. В XIX—XX веках индийские литературы одна за другой пережили коренную перестройку, восприняв европейские идеи и формы. Чтобы вкратце дать представление о масштабах этой перестройки, можно сравнить ее с теми изменениями, которые произошли в русской литературе после реформ Петра I. Воспользовавшись этим сравнением, подчеркнем и разницу между Индией и Россией. Для нашего современного читателя гораздо более значима послепетровская литература, допетровскую он почти не знает. Для большинства же индийцев новая литература, созданная за последний век — полтора, значит гораздо меньше, чем литература старая, «классическая», насчитывающая чуть ли не тридцать веков. Таковы два смысла, которые мы вкладываем в слово «классическая», стоящее в заглавии статьи. Классика — это то, что, во-первых, отделено от нас и временем, и коренными сдвигами в культуре, но, во-вторых, остается источником и мерилом ценностей. Дальний рубеж нашей подборки — начало нашей эры — определен целым рядом обстоятельств: структурой БВЛ, сохранностью памятников индийской словесности и, не в последнюю очередь, свойствами самой истории индийской литературы, в той мере, в какой она реконструирована исследователями.

Индийскую литературу нельзя представлять себе как нечто подобное какой-либо национальной европейской литературе, например, русской или французской, в истории которых основные авторы выстраиваются в единую линию преемственности: от А. Кантемира до А. Блока или от П. Ронсара до П. Валери. Индийская литература, как и европейская литература [2] в целом,—

[1] Многие индусы и даже некоторые западные исследователи склонны рассматривать ислам как нечто непримиримо чуждое и враждебное Индии. Конечно, ислам — порождение совсем иной, средиземноморской цивилизации и по многим существенным чертам коренным образом отличается от всего собственно индийского. Но ислам в Индии существует уже более тысячи лет, и мы имеем право говорить об индийском исламе как неотъемлемой части широкого понятия «индийская культура» (так же, кстати, можно говорить и об «индийском христианстве»). Именно поэтому в нашу подборку мы включили и произведения мусульманских поэтов Индии.

[2] В зависимости от контекста мы говорим «европейская литература» или «европейские литературы». Точно так же можно говорить «индийская литература» или «индийские литературы».

это большое дерево со сложной корневой системой и многими ветвями. Пожалуй, к индийской литературе лучше всего подходит сравнение с баньяновым деревом, которое одно может разрастись в целый лес. В Европе таких деревьев нет. Отростки баньяна, опускаясь до земли, укореняются в ней, превращаются в стволы, и у старого дерева в густом переплетении стволов, ветвей и корней не сразу поймешь, что из чего растет и что с чем как соединено. Сравнение с баньяном может пояснить и понятие о единстве индийской литературы. Дерево этой литературы в общем-то едино (хотя и переплетено многими ветвями с соседними деревьями, а меж его ветвей-стволов кое-где растут независимые побеги), но единство это можно увидеть лишь с определенного расстояния, со стороны. При взгляде «изнутри» прежде всего бросаются в глаза многообразие, разветвленность, и связь между отдельными ветвями порой неведома им самим. Большинство индийцев знакомо лишь со своей, «родной», веточкой огромного древа; кое-кто знает один или несколько других индийских языков. Но, пожалуй, нет таких специалистов-полиглотов, которые могли бы оценить в подлинниках даже лишь те произведения, которые представлены в нашей подборке, при всей ее неполноте.

Чтобы понять судьбы индийской словесности, нужно отвлечься от нашего современного представления о литературе, распространяемой печатным способом [1] в более или менее однородном обществе. Население Индии на протяжении всей своей истории было разделено множеством этнических, языковых, политических, религиозных и кастовых барьеров, и большая часть произведений словесности не пересекала этих барьеров, оставалась достоянием тех или иных общественных групп, сохранялась или исчезала вместе с ними. В Индии преимущественной и наиболее ценимой формой передачи культурной информации от человека человеку и от поколения поколению было живое слово. Предпочтение устной речи писанному тексту связано с несколькими свойствами индийской культуры: со священным отношением к живому слову, с монополией на ученость касты брахманов (которые, очевидно, стремились оградить свое наследственное знание и вытекавшие из него привилегии), с неграмотностью масс, с трудоемкостью переписки и т. д.— но также и с особенностями индийской природы. В тропическом климате плохо сохранялись основные материалы для письма: пальмовые листья, березовая кора и даже более стойкая бумага, появившаяся с мусульманами примерно в XI веке.

Лучше всего — в устной или письменной форме — сохранялось то, что не утрачивало своего значения,— особенно значения священного, религиозного,— для больших и устойчивых социально-культурных традиций. Так ведические гимны передаются брахманами изустно от учителя к ученику в течение трех тысяч лет. Так великие эпические поэмы, «Махабхарата» и «Рамая-

[1] Книгопечатание, это великое средство распространения и хранения культурной информации, было впервые импортировано в Индию европейцами в XVI в., но получило широкое распространение, значимое для развития литературы, лишь в XIX в.

на», прежде чем они были записаны и даже после того, как были записаны, хранились в устной традиции сказителей. Напротив, санскритская драма и санскритская поэзия, существовавшие в более узком общественном кругу, оказались и более беззащитными перед случайностями истории. Например, один из первых драматургов на санскрите, Бхаса, долгое время был известен исследователям лишь по имени, и только в начале XX века на крайнем юге Индии, в Керале, было найдено несколько рукописей, приписываемых Бхасе [1]. Точно так же одна из наиболее ранних и ценных антологий санскритской поэзии, «Субхашита-ратна-коша» Видьякары, была издана лишь совсем недавно на основе двух рукописей, обнаруженных в Тибете и Непале.

Забвение памятников словесности нередко объясняется сменой господствующих религий и борьбой религиозных групп. Так, например, древнейшая тамильская поэзия начала нашей эры была к XIX веку забыта, потому что оказалась чуждой восторжествовавшим среди тамилов формам индуизма. Буддистские «Чарья-гити», созданные на рубеже тысячелетий нашей эры, также вплоть до XX века были преданы забвению в Бенгалии, где буддистов сначала потеснил индуизм, а потом и вовсе искоренил ислам.

Самим мусульманам, имевшим священное писание, в отличие от индусов, у которых священное было или «услышано» («шрути»), или «запомнено» («смрити»), было свойственно большее уважение к письменному слову (разумеется, в основном к своему, мусульманскому). Произведения мусульманских авторов, как правило, сохранились для нас с более отдаленных времен и в более надежной традиции. Вместе с тем мусульманские завоевания способствовали несохранению многих немусульманских памятников.

Так или иначе, в силу различных природных и человеческих причин большинство индийских рукописей, дошедших до нас, не старше XVIII века. Чаще всего рукописи, как и произведения, поддаются датировке лишь предположительной и приблизительной. Хронология индийской литературы, как и хронология всей индийской истории,— это область, где трудно достичь определенности. Из двух рассматриваемых здесь тысячелетий нашей эры особенно плохо в этом отношении обстоит дело с первым. Во II тысячелетии хронология немного проясняется, так что почти всех авторов можно распределить по векам с точностью до половины столетия. В I тысячелетии точность обычно ниже — до нескольких веков.

В этом смысле I тыс. до н. э. и I тыс. н. э. мало отличаются друг от друга (как ни странно, хронология по эту сторону грани часто даже более неопределенна). Но историк литературы видит огромные содержательные различия между ними. I тыс. до н. э.— это древнейший известный нам период индийской словесности, который представлен четырьмя огромными литературными комплексами: ведическим, буддистским, джайнским и эпическим (письменно впер-

---

[1] См. об этом в предисловии Ю. М. Алихановой к индийскому разделу тома БВЛ «Классическая драма Востока».

вые зафиксированными, впрочем, или на самом рубеже эр, или в первые века нашей эры)[1]. Все четыре комплекса сложились на севере Индии, на индоарийских языках, и были синкретическими сводами, имевшими прежде всего ритуальное и/или религиозно-философское значение. Литературная история, начиная с первых веков нашей эры, выглядит сложнее: мы имеем дело уже и с арийским Севером, и с дравидским Югом; наряду с продолжением традиций синкретической словесности появляется то, что мы вправе назвать художественной литературой, то есть искусством слова, осознанным как самоценная сфера человеческой деятельности.

Велики были политические и общекультурные сдвиги, происшедшие в Индии к началу новой эры. Приход Александра Македонского (IV в. до н. э.) положил начало контактам с греко-римским миром, длившимся в течение тысячелетия. Затем возникла империя Маурьев, при Ашоке (III в. до н. э.) впервые объединившая почти весь субконтинент и распространившая по нему и за его пределы проповедь Будды. На рубеже эпох складывается великое но недолговечное и загадочное для историков Кушанское государство, соединившее Северную Индию с Центральной Азией. В это же время на юге Индии утверждаются крупные местные государства, в том числе тамильские. Очевидно, именно в эти века интенсивных межкультурных контактов и мощных государственных образований новое качество приобрела и литература.

Язык ариев, древняя стадия которого отражена в ведах, был подвержен, как всякий живой язык, и диалектальным различиям, и изменению во времени. К тому же реформаторские движения, вроде джайнизма и буддизма, сознательно бунтовали против освященных ведами языковых норм и использовали для своих проповедей и произведений живые формы речи, уже далеко от этих норм отошедшие. Поэтому ученые-брахманы, хранители традиций вед, стремились кодифицировать свой язык, чтобы удержать его в определенных рамках. Усилия грамматиков (может быть, не одного поколения) нашли свое блестящее завершение в трактате Па́нини (предположительно IV в. до н. э.), который навсегда установил нормы этого языка, названного «санскри́т»[2], то есть «сделанный», «устроенный», «упорядоченный», — в отличие от прочих разговорных и письменных форм, представлявших дальнейшие стадии языкового развития и получивших название «пра́криты»[3]. Самые ранние дошедшие

---

[1] См. предисловия П. А. Гринцера к индийскому разделу тома БВЛ «Поэзия и проза Древнего Востока» и к тому «Махабхарата. Рамаяна».

[2] Язык ведических гимнов отличается от санскрита примерно так же, как язык гомеровских поэм — от классического греческого языка. Язык эпоса, «Махабхараты» и «Рамаяны», отличается от собственно санскрита тем, что не столь строго следует грамматическим нормам, предписанным Панини (иногда говорят об «эпическом санскрите»).

[3] Индийская традиция толкует слово «пракрит» как «производный» (от санскрита). Европейские ученые предпочитают толкование «природный» (от пра́крити — «природа»), то есть «естественный», «стихийный», «ненормированный».

до нас индийские надписи, эдикты буддистского императора Ашоки (III в. до н. э.), составлены на различных пракритах; наиболее древняя из известных санскритских надписей датируется лишь II в. н. э. Борьба между санскритом и пракритами за господство в литературе и в иных сферах длилась чуть ли не тысячу лет; в конце концов победу одержал санскрит, оттеснив своих многочисленных соперников [1] на второстепенные роли. Даже буддисты и джайны, чьи священные тексты первоначально были составлены на пракритах, в конце концов перешли на санскрит. Волею судьбы древнейшие цельные образцы послеэпической санскритской поэзии, дошедшие до нас (не считая нескольких отрывочных строк, сохранившихся от более ранних времен), — это произведения буддистского автора Ашвагхоши (предположительно II в. н. э.) [2].

Санскриту суждено было стать основным «классическим» языком индийской культуры. Его значение для Индии подобно и даже более велико, чем значение древнегреческого и латинского языков вместе взятых для культуры Европы. Именно на санскрите наиболее полно и наиболее универсально были выражены в слове религиозные, философские, социальные, эстетические и другие идеи и идеалы индийской культуры. Санскрит понимали и на санскрите творили по всей Южной Азии и даже за ее пределами. Санскритская литература в широком смысле (то есть включая, с одной стороны, все памятники письменности на классическом санскрите, а с другой — тексты ведические, эпические, буддистские и др., языки которых примыкают к санскриту) — чуть ли не самая обширная из известных литератур (при том что много из нее для нас потеряно) [3] и одна из самых долговечных. Зародившись три тысячи лет назад, она отнюдь не умерла и сегодня.

Среди ученых нет единого мнения о том, был ли санскрит когда-либо разговорным языком широких слоев населения или всегда представлял собой язык образованной элиты. Во всяком случае, в I тысячелетии, когда создавались величайшие шедевры санскритской литературы, ее язык уже определенно не был обиходным языком народа. Социальное положение санскрита в это и последующие времена сравнимо с положением латыни в средневековой

---

[1] Известно около дюжины пракритов, получивших письменную фиксацию.

[2] Одну из поэм Ашвагхоши (Асвагоши) перевел на русский язык К. Бальмонт: А с в а г о ш а. Жизнь Будды. Перевод К. Бальмонта, со вступительной статьей Сильвэна Леви. М., Изд-во М. и С. Сабашниковы, 1913.

[3] Как пишет виднейший современный индолог, голландец Я. Гонда, в предисловии к издаваемой им многотомной «Истории индийской литературы»: «Сказать, что санскритская литература превосходит по объему литературы Греции и Рима,— это ошибка. Санскритская литература почти безгранична, то есть никто не знает ее подлинных размеров и числа составляющих ее сочинений». Интересно, впрочем, отметить, что нехудожественная литература на санскрите (философская, «научно-техническая» и т. д.) гораздо более обширна, чем художественная.

Европе. Как и во многих других случаях, сравнение с Европой тут же выявляет и существенное отличие Индии. Средневековая латинская художественная литература при всей своей ценности занимает (пока что?) лишь второстепенное место в нашем культурном наследии. Санскритская литература, бесспорно, принадлежит к величайшим проявлениям индийской культуры. Каноны, выработанные на санскрите, послужили определяющими образцами для большинства прочих индийских литератур.

Величие санскритской словесности прежде затмевало в глазах исследователей другие не менее значимые литературы субконтинента — дравидские и новоиндийские. Так, сравнительно недавно индологи осознали тот факт, что тамильская литературная традиция по древности и богатству вполне сопоставима с санскритской и в своих истоках во многом от санскрита независима. Лишь в конце XIX — начале XX века была открыта и издана и до сих пор недостаточно изучена древнейшая тамильская поэзия. Она создавалась, как полагают исследователи, в основном с I в. до н. э. по III в. н. э.; к XIII—XIV векам сложена в собрания «Еттуттохей» («Восемь антологий») и «Паттупатту» («Десять песен») — и вскоре забыта. В этой поэзии, подчиненной уже своеобразным канонам, мы видим изображение двух сфер человеческой жизни: личной («ахам» — буквально: «внутреннее») и общественной («пурам» — буквально: «внешнее») в их переплетении. Личное и общественное здесь большей частью — это любовь и война. Древнетамильская поэзия обнаруживает знакомство с арийским Севером, но весьма самобытна и по форме, и по содержанию. Более того, есть основания полагать, что древнетамильская поэзия оказала влияние на пракритскую любовную лирику, известную нам по антологии Халы, и через нее — на последующую любовную поэзию на санскрите.

Влияние арийского Севера (индуизма, буддизма, джайнизма) на дравидский Юг усилилось к середине I тысячелетия. Джайны способствовали возникновению дидактической поэзии на тамильском языке, в обширный свод которой входит и знаменитый «Тирукурал».

Но ни формальный ритуализм индуизма, ни сухая рассудочность джайнов, ни даже поэтичная, но слишком уклончивая проповедь буддистов не смогли, очевидно, вполне удовлетворить эмоциональную тамильскую душу. И вот, в VI—VIII веках, в результате социальных и идеологических процессов, теперь не совсем нам ясных, возникают религиозные движения экстатических поклонников (бхактов) Шивы и Вишну. Этот бунт дравидского субстрата вместо идеалов аскетизма и воздержания провозгласил безудержную любовь к богу (нередко связанную с восторженным приятием чувственного мира) высшей мудростью человека. (Полагают, что на формирование тамильского бхакти могло оказать влияние и христианство.)

И шиваиты и вишнуиты создали богатую поэзию, которая до сих пор служит духовной пищей тамилам. Историк индийской литературы отметит, что именно тамильские поэты-бхакты соединили в своей поэзии (и в своей

теологии) традиции любовной лирики с традицией религиозных гимнов. Это сочетание эротики с мистикой получило в дальнейшем широкое распространение в поэзии Северной Индии [1].

Влияние санскритских литературных канонов заметно уже и в «Тирукурале», и в поэзии тамильских бхактов. Позже это влияние еще более усиливалось. Три другие крупные дравидские литературы — на языках ка́ннада, те́лугу и малаяла́м, сложившиеся позже, чем тамильская, с первых своих шагов следовали в основном североиндийским образцам и лишь в гораздо меньшей степени тамильским.

Историю санскритской литературы принято разделять на период «классический», примерно до VIII века, и последующий период «прогрессирующего упадка». С этой точки зрения последним выдающимся поэтом на санскрите называют Джаядеву (XII в.), а его поэму «Гита-говинда» — «лебединой песнью санскритской литературы». Следует, однако, иметь в виду, что изучение и истолкование санскритской и всей индийской литературы предопределялись европейскими вкусами и оценками. Более того, исследователи подходили к индийской литературе большей частью как филологи, но не как собственно литературоведы. Иными словами, изучение индийской литературы как особого эстетического явления, пожалуй, только начинается. В связи с этим, по всей видимости, намечается перелом и в подходе к традиционной периодизации санскритской литературы. Во всяком случае, творчество на санскрите практически никогда не прерывалось и продолжается в наши дни. Санскрит упомянут в Конституции Республики Индии в списке основных языков страны. Литературная Академия Республики Индии регулярно присуждает премии за достижения в области санскритской литературы. Трудно сказать, какова абсолютная художественная ценность современных произведений на санскрите, но столь же трудно предугадать, как будет выглядеть в будущем история санскритской словесности, когда наши знания и суждения о ней претерпят неизбежные перемены.

В Европе латынь была постепенно побеждена живыми романскими языками, ее «потомками», а также языками германскими, славянскими и др., ставшими как бы «приемными детьми» латыни. В Индии нечто подобное произошло с санскритом, однако в иные исторические сроки и в несколько стадий. Выше мы видели, что одно поколение отпрысков, пракриты, взбунтовавшееся против санскрита, было им в конце концов усмирено и практически задавлено. Во второй половине I тысячелетия в литературное употребление кое-где выбились представители следующего этапа языковой эволюции. Санскритские теоретики называли такие языки «апабхранша» (буквально: «отпадение»).

---

[1] Тамильская поэзия, разумеется, не исчерпывается представленными в этом томе произведениями. Однако она очень мало изучена и еще менее переведена на русский язык. Из тамильской классики мы можем упомянуть лишь перевод «Повести о браслете» (М., «Наука», 1966). Российскому читателю еще предстоит познакомиться впервые и с тамильскими вишнуитами, и с «Рамаяной» Камбана, и со многими другими шедеврами тамильской поэзии.

На различных языках-апабхранша была создана, очевидно, довольно обширная литература, которая, однако, еще почти совсем не изучена [1].

Апабхранша преуспели в противоборстве с санскритом не более, чем пракриты. Только следующему поколению живых языков, так называемым новоиндийским (или новоиндоарийским), возникшим в начале или в середине II тысячелетия (а в отдельных случаях и позже), в конце концов удалось восторжествовать над санскритом — и то лишь в XIX—XX веках.

Во II тысячелетии в литературном мире Индии большую роль начал играть совершенно новый компонент — мусульманский. Мусульмане принесли с собой литературные традиции Западной Азии и два основных языка исламской культуры: арабский и персидский. Арабский был в основном языком теологии и получил в Индии лишь незначительное употребление в сфере художественного творчества. Персидский же несколько веков (до XIX в.) был языком исламских государств в Индии, важнейшим средством самовыражения индо-мусульманской культуры. В Индии сложилась богатая литература на персидском языке, которую создавали как иммигранты, так и местные уроженцы. Эта литература имела не только местное, индийское значение, но стала неотъемлемой и выдающейся частью всей персоязычной традиции. Уже Амир Хусро Дехлеви (то есть Делийский), живший в XIII—XIV веках, получил признание далеко за пределами Индии. Персоязычная литература в Индии полнокровно жила вплоть до XX века: последним крупным поэтом в этой традиции считается Мухаммад Икбал (1875—1937).

Власть мусульман лишила санскрит поддержки сильных мира сего, и это не могло не сказаться в первую очередь на художественном творчестве. В то же время мусульманские завоевания повлекли за собой двоякое раздробление индийского культурного мира: с одной стороны, было продолжено и даже на первых порах усугублено раздробление политическое, а с другой стороны, увеличилось раздробление религиозное. Насколько мы можем судить, именно эти исторические обстоятельства способствовали возникновению литератур на новоиндийских языках. Так, одним из самых первых получил литературное употребление майтхили — язык Митхилы, небольшого индусского княжества на севере Индии, в результате мусульманского завоевания оказавшегося в политической и культурной изоляции. По всей Северной Индии возникали различные религиозно-реформаторские движения, мусульманские (суфизм) и индусские, которые, как некогда буддизм и джайнизм, прибегали к живым языкам для самовыражения и проповеди. (Сами буддисты и джайны также внесли вклад в развитие новоиндийских (как и дравидских) языков. Например, древнейшие из известных нам произведений на древнебенгальском (вернее даже, протобенгальском) языке, «Чарья-гити», были созданы последователями буддистского тантризма.) Ис-

[1] Поэтому, кстати, в нашей подборке нет переводов с апабхранша. Единственное и частичное исключение — «Чарья-гити», язык которых отражает стадию, промежуточную между апабхранша и новоиндийскими языками.

торики пенджабской литературы называют в числе древнейших ее памятников стихи суфийского проповедника Шейха Фарида (XII—XIII вв.), а в литературе на языке кашмири самыми ранними из дошедших до нас являются произведения Лал-дэд (предположительно XIV в.). Точно так же в истории литературы хинди одно из первых имен — Кабир (предположительно XV в.).

Поэзия на новоиндийских языках вплоть до XIX—XX веков имела по преимуществу религиозный характер. Крупнейшие поэты были зачастую религиозными подвижниками и/или проповедниками (кроме названных Шейха Фарида, Лал-дэд и Кабира, к этой категории принадлежат и Сурдас, и Мира-баи, и Тулсидас, и Тукарам, и Рампрошад, и многие другие, не вошедшие в нашу краткую антологию). Более или менее светская поэзия также создавалась (особенно в XVI—XIX вв.), но она имела, очевидно, более ограниченную аудиторию, получила меньшую известность и до недавнего времени не пользовалась особой благосклонностью исследователей. Среди публикуемых переводов с новоиндийских языков (кроме урду) к этой категории могут быть отнесены только некоторые стихи Видьяпати.

Значение религиозно-реформаторских движений в Индии для развития новых языков можно сравнить со значением Реформации в Европе для развития языков новоевропейских. Однако в Индии эти движения не стали столь же мощной социальной и культурной силой, как Реформация. В отличие от Европы, в Индии не сложилось «национальных» государств, где бы новые языки могли войти в силу при поддержке власти. Вплоть до XIX—XX веков «классические» языки — санскрит для индусов, арабский и персидский для мусульман и т. д.—оставались в Индии языками высших уровней культуры, подобно латыни в средневековой Европе. Только мощные социальные преобразования последних двух веков выдвинули новоиндийские (и дравидские) языки на передний план. Они, как и новоевропейские языки, стали средствами выражения и символами «национальных» культур народов Индии [1]. Однако в XIX веке у них появился новый соперник, английский язык, с которым они до сих пор ведут упорную борьбу.

Несколько особая судьба у языка урду. Он основан на диалекте Дели, главной столицы мусульманских владык в Индии, но литературное употребление впервые получил в южноиндийских мусульманских княжествах в XIV—XVвеках, когда на севере еще царил фарси. Лишь в XVIII веке, во времена упадка Могольской империи и разрыва связей с иранским миром, урду вернулся на свою первоначальную родину в качестве языка поэзии.

---

[1] Читателя может удивить отсутствие в этом томе переводов с хинди, провозглашенного официальным языком Республики Индии. Дело в том, что современный литературный хинди сложился лишь в XIX в. А в предыдущие века в зоне его нынешнего употребления литература создавалась на нескольких других, близкородственных ему и между собой, языках: брадже, авадхи, раджастхани, майтхили и т. д. Поэтому такие авторы, как Видьяпати, Кабир, Сурдас, Мира-баи и Тулсидас, теперь причисляются к многообъемлющему комплексу «литературы хинди».

Классическая литература урду — XVIII—XIX веков — сложилась под определяющим влиянием персидских образцов (многие поэты, в том числе Мир Таки Мир и Галиб, писали и на урду и на фарси). В XX веке урду стал символом индо-мусульманской культуры и был провозглашен официальным языком Пакистана [1].

Слово «поэзия», стоящее в заглавии этой статьи, также требует разъяснений. Мы снова сталкиваемся с различием между европейским и индийским подходами. В Индии, как уже сказано, была развитая теория литературы. Одно из ее центральных понятий — «кавья», которое обычно переводят как «поэзия» или «поэма», что тоже верно, но которое, по сути дела, соизмеримо с нашим понятием «художественная литература». «Кавья» — это такой текст, в котором существует особое («художественное») единство между смыслом и формой, между выражаемым и выражением. При этом для индийцев оказывалось второстепенным, построен текст стихотворно или прозаически. В европейской традиции почти все произведения стихотворной формы относятся к «художественной литературе» (они могут быть плохой литературой, но это уже иной вопрос). В Индии стихотворные тексты имели гораздо более широкое употребление, чем в Европе, прежде всего, видимо, потому, что они удобней для запоминания и устной передачи. Однако далеко не все, что написано стихами, является «кавьей». Стихотворными размерами (правда, самыми простыми) писали в Индии и философские трактаты, и руководства по уходу за слонами и т. д. С другой стороны, некоторые прозаические произведения, которые европейские ученые называют «санскритскими романами», индийские теоретики также относили к категории «кавья» благодаря особенностям их стиля [2].

В нашу небольшую антологию мы включили такие произведения, которые соответствуют европейскому понятию «поэзия». Некоторые из этих произведений индийские теоретики могли бы и не счесть «кавьей»: прежде всего «Чарья-гити», а также большинство стихов Шейха Фарида, Лал-дэд, Кабира и Тукарама, может быть, и стихи Мира-баи и Рампрошада, не говоря уже о тамильской религиозной и дидактической поэзии. Но для нас существен-

---

[1] Наряду с фарси и урду были в Индии литературы и на других языках, большей частью служившие выражением индо-мусульманской культуры, например, литературы синдхи, кашмири и т. д. Во многих, преимущественно индусских, литературах также сложились более или менее мощные мусульманские течения, например, в литературе бенгальской и даже в таких южноиндийских литературах, как тамильская и малаялам.

[2] Прозаическая «кавья», то есть по-нашему — художественная проза, занимает в санскритской литературе гораздо более скромное место, чем «кавья» стихотворная, то есть по-нашему — собственно поэзия, хотя необозрим объем прозы теологической, философской, комментаторской и т. д. Дидактическая проза (типа «Панчатантры») не причислялась индийцами к категории «кавья», как и дидактическая поэзия. На пракритах и апабхранша проза не получила заметного развития, на новоиндийских языках до XIX—XX вв. ее практически вовсе не было. Почти такая же ситуация и в дравидских языках. Поэтому применительно к Индии понятие «поэзия» охватывает гораздо большую часть понятия «художественная литература», чем в Европе.

но, что в них при всей их синкретичности воплотилась многовековая художественная культура. Это и дает нам право считать их «поэзией».

Индийские теоретики различали два вида стихотворной «кавьи»: «маха-кавья» и «кханда-кавья». «Маха-кавья» можно перевести как «большая поэма». В произведениях этого вида поэт должен был дать широкую картину мира, продемонстрировав свое знание различных сфер опыта и свое владение всем арсеналом поэтических средств. По европейской номенклатуре, «маха-кавья» — это «литературный» или «искусственный эпос», в отличие от эпоса фольклорного, долитературного, «естественного». «Маха-кавья» наряду с драмой была наиболее чтимым жанром индийской литературы, и одним из величайших мастеров обоих этих жанров был признан Калидаса. «Кханда-кавья» («кханда» — «часть») можно перевести как «частичная поэзия» или как «малая поэтическая форма». Бóльшую часть собранных в этом разделе произведений следует отнести именно к данному виду.

В поэзии на фарси и урду было похожее деление на большие и малые поэтические формы. К первым относится прежде всего «маснави», образец которого — «Восемь райских садов» Амира Хусро Дехлеви [1]. Ко вторым — газели, кыт'а и рубаи, представленные произведениями Мир Таки Мира, Галиба и Зафара.

Особый случай — «Гита-говинда» Джаядевы. Это произведение с трудом укладывается и в индийские, и в европейские классификации (драматическая поэма, поэтическая драма?). Видимо, как и другие великие художники, Джаядева просто сломал рамки жанровых предписаний. И еще в одном отношении «Гита-говинда» отличается от прочих санскритских произведений, представленных в этом томе. Творение Джаядевы не просто художественная литература, но текст религиозный, даже ритуальный, свидетельствующий как бы о возврате к синкретическому искусству древнейшего периода. Впрочем, создание (или письменная фиксация устно бытовавших) синкретических произведений отнюдь не прекратилось в Индии в I тысячелетии после обособления художественного творчества как такового. В Индии вообще новое редко отменяло старое, но лишь как бы вырастало рядом с ним, придавая новые измерения древу культуры. Так, именно в I тысячелетии были созданы (во всяком случае, записаны) грандиозные своды индусских преданий, так называемые «пураны» (буквально: «древние [предания]»). Пураны, как и эпос, служили источником образов и сюжетов для всей последующей индийской литературы. Именно из пуран взят сюжет поэмы Калидасы «Рождение Кумары». Пуранические образы — в поэзии Видьяпати, Чондидаша, Сурдаса и др. На пураны опирается и Джаядева, но отличие синкретизма «Гита-говинды» от синкретизма пуран состоит в том, что последние, хоть

---

[1] См.: Амир Хосров Дехлеви. Восемь райских садов. Поэма. Перевод с фарси А. Ревича. М., 1975; Амир Хосров Дехлеви. Избранные газели. Перевод с персидского Дм. Седых. М., 1975. (Хосров — персидское произношение имени поэта, Хусро — индийское.)

и написаны стихами, не относятся к категории «кавья», а произведение Джаядевы — вершина этого рода искусства.

Синкретичной, как уже сказано, была большей частью и новоиндийская поэзия. Так, например, стихи Сурдаса, а также Мира-баи, Рампрошада и других поэтов по форме — «кханда-кавья», а по функции — религиозные песнопения. «Рамаяна» Тулсидаса — и «маха-кавья» и священное писание. «Восемь райских садов» Амира Хусро — тоже не просто «поэма-маснави», но еще и аллегорическая проповедь суфийских идей.

При чтении переводов из индийской поэзии читателю придется преодолевать определенные барьеры, обусловленные различиями культур. Одни барьеры — на уровне реалий: странные растения, странные животные, странные обычаи людей и т. д. Другие барьеры, пожалуй, более существенные,— на уровне поэтики: для нас непривычна архитектоника санскритской строфы, непривычно и то, что даже в санскритской поэме строфа — самостоятельное целое, и восприятие всей поэмы должно складываться из пристального вчитывания в каждое четверостишье. Трудно для нас прочувствовать и газель, в которой каждый бейт — также самостоятельное целое, лишь ассоциативно связанный с другими бейтами, а общий смысл намеренно многопланов и неуловим. Трудно оценить экзотические сравнения: походки женщины — с походкой слона, звона браслетов — с гусиным клекотом, взглядов — с вереницей пчел и т. д. Трудно поверить, что гусь — идеал мудрости, а корова — идеал доброты и нежности. Трудно всерьез принять такие поэтические условности, как то, что женщина склоняется от тяжести пышных грудей, а влюбленный в отчаянии обязательно разрывает ворот рубахи и т. д.

Общая черта всех авторов, собранных в данном разделе, от Калидасы до Галиба,— это так называемая «традиционность», то есть следование тому или иному поэтическому канону, требования которого, как правило, более жестки, чем у канонов современной нам поэзии.

В произведениях современных авторов мы ищем и ценим свежесть сюжета, новизну образов, неожиданность сравнений и других приемов,— одним словом, оригинальность. «Традиционная» литература создается из довольно ограниченного, наперед указанного числа сюжетов, образов и приемов выразительности. Тем не менее и в такой литературе есть немалый простор для индивидуальности, оригинальности. Только проявляются они в искусном сочетании канонических элементов. В конце концов разница между «традиционным» и «современным» творчеством не абсолютна: не столько качественна, сколько количественна. Ведь и современный автор отнюдь не обладает безграничной свободой выбора тем и приемов. Но чужая ограниченность виднее, чем своя.

Однако из всех барьеров самый трудный тот, который связан с коренными различиями миропредставлений. Некоторые из этих различий упоминались выше. В рамках этой статьи невозможно сравнить две огромные культуры подробно и систематически. Назовем лишь несколько самых главных моментов и начнем с представлений о человеке, о его жизни и смерти. Иудей, христианин, мусульманин или средиземноморский атеист полагают, что жизнь в

этом мире им дается один раз, как первая и последняя попытка в вечности. Индиец—индус, буддист или джайн — уверен, что рождение, жизнь и смерть, чередуясь, повторяются бесконечное число раз (только индусы и джайны считают, что перерождается всякий раз та же самая душа [1], а буддисты думают, что единство души — это иллюзия даже в пределах одного мгновения, одной жизни). Мысли и чувства индийца чаще всего убеждают его в бессмысленности этого мира, в том, что мир — лишь иллюзорное искажение истинной реальности.

Для средиземноморского миропредставления характерна идея о некоем творческом промысле («божья воля», «историческая необходимость» и т. д.), определяющем бытие мира и придающем ему искомый смысл. Бытие человека («венца творения», «высшей формы организованной материи» и т. д.) тесно связано с этим общемировым промыслом. Мир существует для того, чтобы человечество осуществило в нем свою задачу. Каждый отдельный человек решает свою часть задачи в отведенный для него — единственный! — срок.

В Индии одним из главных понятий, служивших для объяснения бытия мира, было понятие «лила» — «игра». Мир возникает, разрушается и снова создается не по какому-либо целенаправленному замыслу, а в результате «игры» высших сил, не для чего-нибудь, а просто так. В этой бесконечной игре у человека нет никаких обязательств ни перед миром, ни перед его создателями. Человек может лишь так или иначе определять свое отношение к этому неистинному миру («сансаре»), может принимать его или отвергать. Традиционная индийская философия исходила, как правило, из неприятия мира. Высшей целью человека провозглашалось «освобождение», «свобода» («мо́кша», «му́кти») от пут сансары[2], уход к истинной реальности. У буддистов соответствующим (но отнюдь не тождественным) идеалом была «нирвана» (буквально: «угасание»). Чтобы выйти из сансары, надо было преодолеть универсальный закон «кармы» — закон детерминированности всего сущего.

Были в Индии и мыслители, которые теоретически обосновывали превосходство реальной сансары над гипотетической мокшей, но, видимо, их взгляды не пользовались большой популярностью среди тех, кто переписывал и хранил философские сочинения, потому что подобных трудов до нас дошло очень мало. Естественно предположить, что среди тех, кто не философствовал, приятие мира (сансары) могло быть распространено гораздо шире. Отражение этого подхода к миру мы видим в художественной литературе, в поэзии, например, у Калидасы, в стихах Халы, Амару, отчасти у Бхартрихари, в древнетамильских текстах и т. д.

Своеобразное приятие мира мы видим и в некоторых течениях бхакти. Бхакти, то есть эмоциональные отношения с личным божеством, можно раз-

---

[1] Индийский мусульманин, разумеется, также не верит в перерождение. Для Амира Хусро переход душ из одного тела в другое — лишь сказочный фокус, литературная условность.

[2] Понятие свободы политической, свобод гражданских появилось в Индии только в XIX в.

делить на два рода, в зависимости от преследуемой цели. В первом случае бхакти — средство достичь освобождения (мокши), как, например, у Лалдэд, Сурдаса, в большинстве стихов Рампрошада, отчасти у Тулсидаса. Во втором случае бхакти, любовь к божеству и ответная любовь божества,— это самоцель, как, например, у тамильских шиваитов, в некоторых стихах Кабира и Видьяпати. Бхакт уже не ищет освобождения, любовь бога освящает для него мир во всех его проявлениях, даже жестоких и уродливых[1] (см. в особенности четвертое из стихотворений Рампрошада).

Различные течения бхакти, возникшие в Северной Индии во II тысячелетии и, несомненно, связанные генетически с более ранним южноиндийским бхакти, в то же время обнаруживают явное влияние ислама. Это влияние можно обнаружить и в концепции бога, и во взглядах на человека, и в социальной практике сект бхакти (которые, как правило, отрицали касты и заимствовали у ислама принцип прозелитизма), и в других чертах. Немалое ответное влияние индуизма испытал и индийский ислам. Иногда говорят даже о так называемом «индусско-мусульманском синтезе», происшедшем в Индии. Но необходимо отдавать себе отчет в ограниченности этого процесса взаимовлияния и взаимопереплетения двух столь разных культур. В большинстве своем индусы остались индусами (кроме тех, которые перешли в ислам), а мусульмане остались мусульманами, хотя, повторяем, и те и другие много позаимствовали друг у друга. Различные попытки подлинного и целостного культурного синтеза, вроде «божественной веры», учрежденной могольским императором Акбаром, или проповедей Кабира, прочных успехов не имели. Новая вера Акбара исчезла с его смертью, последователи Кабира позже распались на различные секты — индусские и мусульманские.

Все реформаторские течения бхакти, воодушевленные сначала более или менее универсальными идеями, в конце концов превращались лишь в новые секты-касты внутри индуизма или, как сикхи, становились совершенно обособленной религиозной группой, еще одним конфликтным компонентом в социальном и религиозном мире Индии. Точно так же суфийские ордена, сколь ни многим они могли быть обязаны индуизму, оставались сектами ислама. Индусско-мусульманский синтез существовал и существует лишь в масштабах отдельных выдающихся личностей (вроде Кабира или Акбара) или в масштабах узких социальных групп.

* * *

В заключение необходимо сделать оговорку о понятии авторства в старинной индийской литературе. Мы говорим: Калидаса, Джаядева, Кабир и т. д.— но, к сожалению, это не многим более, чем имена, за которыми не раз-

[1] В стихах Мира-баи и Чондидаша звучит лишь тоска отъединенности от божества, остальные мотивы тут приглушены, но, во всяком случае, мокша не выступает как высшая цель стремлений.

личить черты конкретной человеческой личности. Сами о себе в своих произведениях индийские авторы, как правило, почти ничего не сообщали, а в памяти культуры о них чаще всего сохранялись лишь легенды, более или менее фантастические. Хуже того, распространен был обычай приписывать произведения именам известных поэтов — или для того, чтобы наделить данное произведение бóльшим авторитетом, или по искреннему убеждению, что художественные особенности данного текста свидетельствуют о его принадлежности тому или иному автору, или еще по каким-либо неизвестным для нас причинам. Имя поэта, как снежный ком, катящийся с горы, облипало новыми и новыми пластами, пристававшими к нему по признаку подобия, так что сейчас зачастую невозможно выделить первоначальное ядро, отшелушив остальное. Особенно легко «облипали» многочисленными произведениями имена прославленных создателей «малых форм», такие, как Хала, Амару, Бхартрихари и др. на санскрите, многие имена тамильских поэтов, например, Аувейар, а в новоиндийских литературах — Шейх Фарид, Лал-дэд, Видьяпати, Чондидаш, Кабир, Сурдас, Мира-баи, Тукарам, Рампрошад и многие другие [1].

Авторов больших поэтических форм также не миновала эта участь. Так, к именам Калидасы и Тулсидаса «прилипло» по двадцать — тридцать произведений. Правда, индийские теоретики литературы в своих трактатах разбирают лишь шесть произведений Калидасы (см. примечания), которые и современные исследователи признают ему несомненно принадлежащими. Но значит это лишь то, что все шесть произведений объединены определенным подобием идей, настроений и художественных достоинств. Личность Калидасы как автора складывается из совокупности этих общих черт приписываемых ему произведений. Предположения о времени его жизни колеблются от I в. до н. э. (что маловероятно) до VI в. н. э. (наиболее вероятная дата — IV—V вв. н. э.). Поэтому трудно исследовать творчество Калидасы в согласии с принципами историзма. Мы можем лишь рассматривать избранный круг текстов на фоне индийской культуры нескольких столетий, к тому же без точной географической привязки. Например, тщетно было бы задавать вопрос: «Что хотел сказать Калидаса своей поэмой «Рождение Кумары»?» Мы не можем знать, чтó эта поэма значила для самого поэта и для тех, кому она непосредственно предназначалась. Мы можем лишь догадываться об этом, исходя из наших общих представлений об индийской культуре.

Подчеркнем: речь идет не о случайностях литературной истории, а именно о коренных свойствах мировоззрения. В индийском литературном сознании имя автора было связано не столько с конкретным лицом, написавшим те или иные произведения, сколько с идеальным, вневременным типом творческой личности, наделенным теми или иными особен-

[1] Строго говоря, применительно ко всем названным авторам мы можем говорить лишь о «произведениях, приписываемых поэту имярек». Интересно отметить, что в новоиндийский период к одному имени «прилипали» иногда произведения на двух-трех близкородственных языках. Такова, например, ситуация с Видьяпати, Чондидашем, Кабиром и Мира-баи.

ностями миропредставления и художественного почерка. Именно поэтому с такой легкостью более или менее похожие друг на друга произведения собирались вокруг одного имени-символа. Несомненно, что такое отношение к личности литературного автора было обусловлено общими индийскими представлениями о мире, времени и человеческой личности. Ведь, по этим представлениям, конкретный человек в своей телесной оболочке, живший или живущий в данном отрезке времени,— не уникальное явление, но лишь одно из неисчислимых проявлений некой сути в бесконечном круговращении времен. Характерно, что индо-мусульманская литература и в этом отношении, как правило, представляет собой исключение. Для мусульман, как и для христиан, личность — нечто единственное в своем роде, единожды существующее. И об индо-мусульманских авторах мы имеем вполне достоверную информацию уже с весьма отдаленных веков, как, например, об Амире Хусро Дехлеви.

С. Серебряный

КАЛИДАСА

РОЖДЕНИЕ КУМАРЫ

ГЛАВА I. РОЖДЕНИЕ УМЫ

1 Там в полунощной стране над мирами
Праведный царь, властелин богоравный,
От океана и до океана,
Дали познав, устрашает пространство.

2 Был он тельцом при доильщице Ме́ру
По наставлению мудрого При́тху,
Горы вокруг удостоив удоя:
И самоцветов, и трав светоносных.

3 На драгоценности царь не скупится,
Даже в снегах несказанно прекрасен,
Ибо воистину неразличимы
Лунные пятна в сиянии лунном.

4 Вечные радуги там на вершинах:
Огненный хмель самородных сокровищ,
Словно закат преждевременно вспыхнул
И на свиданье ночное торопит.

5 Тучами праведный царь опоясан,
Так что, в тревоге покинув отроги,
Плетью дождя на вершины гонимы,
Сиддхи находят за тучами солнце.

6 Смытая таяньем горного снега,
Кровь не видна, даже если терзают
Львиные когти слона-исполина,
Только на тропах виднеется жемчуг.

7 В крапинках, словно слоновая кожа,
Белая в буковках красных берёста:
Это посланья любовные пишут
Сестры пленительные видьядхáров.

8 Если поглубже вздохнется пещерам,
Полый тростник наполняется ветром,
Звуком, созвучием, духом и ладом
Вторя заранее певчим киннáрам.

9 Гостеприимные древние кедры
Благоухают смолою целебной,
Стóит слонам о стволы потереться,
В горных лесах избавляясь от зуда.

10 Вместо светила влюбленным дарован,
Там не нуждается в масле светильник:
Даже в пещерах светло до рассвета
От излучения трав светоносных.

11 Там, где колючие льдинки под снегом,
Ног не боясь ненароком поранить,
Царственно шествует, пышная телом,
Высокогрудая дочь ашвамýкхов.

12 Милостив царь к темноте бесприютной,
Что затаилась в пещере укромной;
Тот, кто возвышен судьбою всевластной,
Благоволит к нищете беззащитной.

13 Явно царя своего почитая,
Яки торжественно машут хвостами,
Белыми в мерном замедленном взмахе,
Словно из лунных лучей опахало.

14 Облако, словно блуждающий полог,
Оберегает от света пещеру,
Чтобы, влюбленная, перед любимым
Не застыдилась нагая киннара.

15 Ветер, насыщенный влагою Ганги,
Ветер, в горах сотрясающий кедры,
Ветер, ласкающий горных павлинов,
Сладок охотникам неутомимым.

16 Там, возлелеянный горною высью,
Лишь для Семи Мудрецов расцветая,
Солнцем разбужен, сияющим снизу,
Днем раскрывается в озере лотос.

17 Всех заповеданных благ обладатель,
Царь-вседержитель, премудрый радетель,
Брахмой самим удостоенный царства,
Он разделяет с богами главенство.

18 Взял добродетельный царь-духовидец
Духом рожденную отчую дочерь,
Чтимую мудрыми мудрую Ме́ну,
Ради потомства достойного в жены.

19 Дни проходили в блаженстве взаимном,
И расцветала беспечная юность,
Очаровав красоту красотою;
Срок наступил, и царица зачала.

20 Нежную на́гини очаровавший,
Друг Океана родился, крылатый,
Наперекор Ненавистнику Ври́тры
Крылья свои сохранивший поныне.

21 Оскорблена небрежением отчим,
Прежнее тело свое уничтожив,
Грозного Бха́вы былая супруга
Вновь родилась от прекрасной царицы.

22 Благословенная Благословенным,
Благочестивая Благочестивой
Порождена, как народное благо
Порождено благомыслием царским.

23 Дочь родилась, небеса прояснились;
Веяли ветры, не ведая пыли;
Пение раковин, ливень цветочный,
Благо подвижным, недвижному благо!

24 Новорожденная так засияла,
Что засияла сама роженица,
Как, молодым пробужденные громом,
Недра сияют, сапфиры даруя.

25 День ото дня красота возрастала,
Как, народившись, луна возрастает,
И неуклонно и неутомимо
Очарования преисполняясь.

26 «Па́рвати»,— названа дивная дева,
Милая родичам высокородным.
«У ма!» — подвижнице мать говорила;
«Ума»,— прекрасную днесь величают.

27 Царь богоравный, потомством богатый,
С дочери глаз не сводил, ненасытный.
Много цветов у весны плодовитой,
Пчелам желанней цветущее манго.

28 Как благодетельным светом светильник,
Как благодатною влагою небо,
Как безупречною речью ученый,
Дочерью царь богоравный прославлен.

29 В куклы царевна играла и в мячик
Или в песок возле Ганги приветной,
Там забавлялась не хуже подружек,
Детской игрой наслаждаясь как будто.

30 Осенью Ганга гусей привлекает,
Свет в темноте возвращается к травам;
К ней, просвещенной прозреньем врожденным,
Опыт былого не мог не вернуться.

31 Было в своем обаянье природном
Хмеля хмельнее без всякого хмеля,
Стрел обольстительных неотразимей
В юности сладостной нежное тело.

32 Словно картина художеством дивным,
Словно лучами небесными лотос,
Тело в своем ослепительном блеске
Явлено юностью непревзойденной.

33 Землю пленив лепестками-ногтями,
Алой пыльцою как будто сверкая,
Истые лотосы даже в движенье,
Эти стопы превзошли неподвижных.

34 Шествует, стан величаво склоняя,
Лебедью лебедь, играя мирами;
Вторит зато сладкогласная лебедь
Звону браслетов ее драгоценных.

35 Бедра такими округлыми вышли,
Столь соразмерными, что, несомненно,
Щедрый на прелести Бра́хма-искусник
Не без труда создавал остальное.

36 Пальма стройна, только слишком прохладна;
Хобот хорош, только хобот шершавый;
Славится хобот, и славится пальма,
Бедра прекрасные все же прекрасней.

37 Пояс такие облек совершенства,
Что не побрезговал Ги́риша славный
Их благосклонно принять на колени:
Женам другим недоступная милость.

38 Укоренившись в ложбинке глубокой,
На животе волоски заблистали,
Словно сапфир, наделенный сияньем,
В поясе делится с ними лучами.

39 Ниже груди над ложбинкой глубокой
Три ненаглядные складки виднелись,
Словно построила ранняя юность
Лестницу для быстроногого Ка́мы.

40 Каждая темным соском украшаясь,
Белые груди томили друг друга,
И между ними, наверное, вряд ли
Стебель тончайший протиснуться мог бы.

41 Я полагаю, нежнее шири́ши
Руки прекрасной, когда, побежденный,
Ими однажды обвил Камаде́ва
Выю могучую грозного Ха́ры.

42 Пальцы прекраснее листьев ашоки;
Необозримое небо ночное,
Где молодой воцаряется месяц,
Блеском ногтей затмевали ладони.

43 Шея над персями, сро́дница персей,
Окружена ожерельем жемчужным,
И, разукрашенная жемчугами,
Жемчуг своей красотой украшала.

44 Прелестью лунной не радует лотос,
Лотоса ночью луна не заменит;
Прихотью Ла́кшми в блистательном лике
Одновременно и то и другое.

45 Белый цветок среди листьев багряных,
Нет! Жемчуга в сочетанье с кораллом,
Нет! Это цвет бесподобной улыбки,
Белый сполох на губах огнецветных.

46 Амритой голос насыщен, казалось;
Если Божественная говорила,
Кокила голос теряла, как будто
Уподобляясь расстроенной лютне.

47 Как на ветру голубые лилеи,
Длинные влажные эти зеницы
Ей мимоходом дарованы ланью,
Ею, вернее, дарованы ланям.

48 Дивным рисунком бровей своенравных,
Столь прихотливым игривым изгибом
Налюбоваться не мог Бестелесный:
Луком своим перестал он гордиться.

49 Если бы стыд бессловесные знали,
В горном краю, в полунощной державе,
Восхищены волосами царевны,
Яки гордились бы меньше хвостами.

50 Словом, Создатель над ней потрудился:
Не пожалел он красот всевозможных,
Все совершенства собрал воедино
И сочетанием залюбовался.

51 На́рада-странник увидел царевну,
И предсказать не преминул провидец:
Мужа делить ей ни с кем не придется,
Хара навек сочетается с нею.

52 И достославный, премудрый родитель
Выдать юницу не смел за другого:
Пусть ослепительных светочей много,
Жертвой почтить нам Огонь подобает.

53 Свататься Богу богов не угодно,
Значит, невесту навязывать стыдно;
Прежде всего докучать неразумно,
Кроме того, торопиться не нужно.

54 Да́кшей обижена в прошлом рожденье,
Бросила тело свое чаровница;
С этого дня, как великий подвижник,
Брезговал браком Владыка Вселенной.

55 Там, где омытые Гангою кедры,
Там, где олени, где мускусом пахнет,
Там, где киннары поют неумолчно,
Бог, как отшельник, на снежной вершине.

56 Уши украсив цветами намеру,
Берестяные раскрасив одежды,
Благоуханием смол наслаждаясь,
Ганы сидели вокруг на уступах.

57 Мерзлый сугроб разрывая копытом,
Голосом гордый, ревел там Горбатый,
Вынести львиного рева не в силах,
В ужасе горных быков ужасая.

58 Там сочетатель восьми проявлений
Пламень разжег, проявленье свое же;
Тот, на кого уповает подвижник,
Ради неведомой цели постился.

59 Царь привечал всемогущего гостя,
Чтимого всеми богами почтил он;
В сопровожденье подружек царевна
Гостю прислуживала благонравно.

60 И несмотря на такую помеху,
Гириша сам согласился на это:
Разве не выше любого соблазна
Истинный невозмутимый подвижник?

61 Царевна трудилась, алтарь очищала прилежно,
Цветы приносила, священные травы и воду;
Не зная покоя, покорная, богу служила,
Сиянием лунным волос его втайне питаясь.

ГЛАВА II. ЛИЦЕЗРЕНИЕ БРАХМЫ

1 Та́ракой неумолимым угнетены беспощадно,
Под предводительством И́ндры к Брахме направились боги.

2 Лики богов потускнели, светел по-прежнему Брахма:
Озеру лотосов сонных яркое солнце явилось.

3 Перед Всевидящим боги благоговейно склонились
И Повелителя Речи мудрою речью почтили:

4 «Слава тебе, Триединый, прежде творения Сущий,
В трех неизменных началах многообразно различный!

5 Семя твое, Нерожденный, в лоне воды плодовитой —
Первоисточник Вселенной: и подвижны́х и недви́жных.

6 Ты разрушаешь и зиждешь, бережно ты сохраняешь,
Знаменье тройственной силы, вечная первопричина.

7 Мужа с женой сочетая, надвое ты разделился,
Чтобы родителей знали новорожденные твари.

8 День твой и ночь твоя, Брахма, для заселенной Вселенной —
Целое существованье: возникновенье и гибель.

9 Ты, беспричинный,— причина, ты, бесконечный,— кончина,
Ты, безначальный,— начало, властвуешь, неподначальный.

10 В собственном самосознанье сам же собой сотворенный,
Сам над собой самодержец, сам же собой уничтожен;

11 Твердый, текучий, громоздкий, легкий, тяжелый и тонкий,
Явленный и сокровенный, сущий во всем, всемогущий;

12 Речи, которые вечны в таинстве трех ударений,
Вместе с плодами обрядов ты даровал и преподал.

13 Пракрити провозглашенный, Пу́руше будто бы предан,
Пуруша сам, созерцаешь Пракрити ты безучастно.

14 Отчих отцов прародитель, Бог над богами Вселенной,
Вышних навеки превыше Брахма, творцов сотворивший.

15 Жертва и жрец ты, предвечный, снедь и снедающий ты же,
Мысль и мыслитель ты, Брахма, зрелище и созерцатель».

16 Был милосердный Создатель тронут хвалами такими,
И небожителям сразу он соизволил ответить.

17 И четырьмя языками молвил предвечный кудесник,
Одновременно чаруя каждую сторону света:

18 «Рад я приветствовать, боги, весь ваш собор достославный,
Где в сочетании стройном счастью равняется доблесть.

19 Но почему потускнели ваши блаженные лики,
Как затмеваются звезды, зимним туманом томимы?

20 Разве навек затупилась, прежних лишенная радуг,
У Ненавистника Вритры неотразимая ва́джра?

21 Варуна, как безоружный: петля повисла бессильно,
Словно удав исполинский, неким заклятьем сраженный.

22 Обезоружен Кубе́ра: палица выбита, видно,
Так что десница повисла жалобней сломанной ветки.

23 Яма, когда-то могучий, чертит жезлом по привычке,
Но почему-то сегодня жезл, как погашенный светоч.

24 Адитьи даже померкли и на глазах остывают,
Всякому взору доступны, зримые, как на картинке.

25 Кажется, скованы ветры перед великой преградой;
Так, избегая запруды, вспять направляются реки.

26 Даже косматые ру́дры, золоторогое войско,
Скорбные, вдруг позабыли свой сокрушительный возглас.

27 Ваши былые заслуги, значит, зачеркнуты ныне?
Значит, над правилом время торжествовать исключенью?

28 Дети! На вашем соборе знать я хочу вашу волю.
Пусть я создатель Вселенной, боги — охрана Вселенной».

29 И всколыхнулась как будто тысяча лотосов дивных;
Тысячеоким подвигнут, Брахме ответил Наставник.

30 Тысячеокого зорче правдолюбивый провидец.
Речью Владеющий молвит, Брахма на лотосе внемлет:

31 «Бха́гаван! Видишь ты правду, ты существа проницаешь;
Ведаешь ты, без сомненья, тяжкие бедствия наши.

32 Та́рака, демон великий, гордый дарами твоими,
Словно комета, вознесся, гибель мирам возвещая.

33 В городе а́суров грозных жаркое солнце смирилось:
Лотосы лишь пригревает, жечь и палить не дерзая.

34 Тараке месяц покорен; асуров он ублажает,
Не забывая при этом только могучего Шиву.

35 Там, заменив опахала асурам неумолимым,
Ветры цветов не срывают, кроткие, веют пугливо.

36 Там времена вековые неутомимого года
Трудятся одновременно, сад наполняя цветами.

37 Сам повелитель потоков ждет не дождется жемчужин,
Тараке дар предназначив, медленно зреющий в море.

38 Вместо светильников змеи, в чьих головах самоцветы,
Тараке служат ночами; Ва́суки тоже смирился.

39 Индра врагу не перечит, и, помыкая гонцами,
С древа желаний в подарок шлет он цветы супостату.

40 Но, помыкая мирами, сам супостат не смирился;
Лютую злобу такую разве что сила смиряет.

41 Райских садов не щадит он, губит он, рубит, ломает,
Даже цветы ненавидит, милые женам бессмертных.

42 Стоит заснуть ему только, веют над ним опахала
Плачущих пленниц небесных, как ветерок со слезами.

43 Гору великую Меру Солнце топтало конями;
Гору злодей обезглавил, горок наделал потешных.

44 В Ганге небесной остались лишь замутненные воды;
Алчный, в свои водоемы лотосы переселил он.

45 Боги не смеют сегодня миром своим любоваться
И разъезжать не дерзают на колесницах воздушных.

46 Если приносят нам жертву, Тарака, Майей владея,
Пламя голодное грабя, жертвою завладевает.

47 Конь из коней Уччхайшра́вас, слава могучего Индры,
Этот скакун драгоценный, Таракой тоже присвоен.

48 Против злодея бессильна сила великая наша;
Против недуга тройного не помогает лекарство.

49 Неотразимая чакра ныне сверкает покорно,
Как ожерелье на шее нашего недруга злого.

50 Верх над Айра́ватой нашим взяли слоны супостата
И на свободе играют, бивнями тучи пронзая.

51 Нашему войску, Владыка, нужен теперь Предводитель
Так же, как надобно знанье чающим освобожденья.

52 Необходим Предводитель нашему войску, Владыка,
Чтобы воинственный Индра мог возвратить нам Победу».

53 Выслушав, Сущий ответил речью, которая льется,
Лучше целебного ливня скорбные громы врачуя:

54 «Боги! Желание ваше сбудется в будущем близком,
Не торопитесь, однако, в этом я вам не пособник.

55 Тарака мною прославлен, демона не обесславлю;
Мной возлелеяно древо, пусть ядовитое древо.

56 Демон ко мне обратился, демону не отказал я,
Подвиг великий смиряя, чтобы мирам не погибнуть.

57 Кто же тогда пересилит непобедимого в битве,
Если не отпрыск достойный доблестного Нилака́нтхи?

58 Бог ослепительный выше необозримого мрака;
Властвует, непостижимый и для меня и для Ви́шну.

59 В подвиге невозмутимый, Умой, быть может, прельстится
Дух, красотой привлеченный, словно магнитом железо.

60 Семя мое восприяли воды, причастные Шиве;
Семя великого Шивы Уме принять подобает.

61 Если возглавит вас, боги, сын самого Нилакантхи,
Освободит он, отважный, косы божественных пленниц».

62 И пропадает из виду Брахма, предтеча Вселенной,
И восвояси вернулись приободренные боги.

63 И вызывает Канда́рпу Индра, владеющий духом,
Чтобы скорей завершилось дело, зачатое в мыслях.

64 Свой лук беспощадный, с бровями-лианами схожий,
Повесив на шею, где след от браслетов Желанной,
Весну наделяя душистыми стрелами манго,
Предстал перед Индрой Стреляющий в душу цветами.

ГЛАВА III. СОЖЖЕНИЕ МАДАНЫ

1 Тысячеокий узрел Камадеву,
Словно забыв небожителей прочих;
Целью своей озабочен всецело,
Преданных слуг не щадит повелитель.

2 Около самого царского трона
Индрой самим удостоенный места,
Низко царю своему поклонившись,
Вкрадчиво заговорил Камадева:

3 «Благоволи ты мне дать, Прозорливый,
В мире любом повеленье любое!
Милостив ты: обо мне ты помыслил.
Да не минует меня твоя милость!

4 Снова, как видно, великий подвижник
Дерзостно славе твоей угрожает?
Перед моим обольстительным луком
Он беззащитен, поверь мне, владыка!

5 Вновь своевольный с тобою в разладе
Освобождения дерзко взыскует?
Мы побежденного свяжем надолго:
Узы надежные — взоры красавиц.

6 Пусть наставлял его мудрый Уша́нас,
Долго ли мне Добродетель разрушить,
Страстью размыв несравненное благо,
Как наводнением пагубным — берег?

7 Может быть, сам ты пленен красотою,
Слишком уж верной земному супругу?
Хочешь, прекрасная стыд потеряет,
Мигом сама прибежит и обнимет?

8 Перед какою земною женою
Ты преклонился, отвергнутый гневно?
Горько раскается гордая вскоре,
На травяной изнывая постели!

9 Смилуйся, Доблестный, грома не надо!
Стрелы в кого мне прикажешь нацелить,
Чтобы навек супостат обессилел,
Даже разгневанных женщин пугаясь?

10 Вооруженный одними цветами,
Лишь при поддержке весны медоносной
Я посрамил бы Пина́кина в битве.
Разве не я по призванию лучник?»

11 В благоволении тронул стопою
Бог восседавшего около трона,
Вознаграждая благую готовность;
И Камадеве сказал Разрушитель:

12 «Друг! Обладаешь ты подлинной силой.
Ваджрой силен я, силен я тобою.
Перед подвижником ваджра бессильна.
Сила твоя не имеет предела.

13 Зная твою сокровенную силу,
Равный мне, днесь я тебе доверяюсь.
Кришна свое несравненное тело
Миродержателю Ше́ше вверяет.

14 Ты угадал! Подобает нацелить
Стрелы в того, кто быком знаменован.
Боги, лишенные жертвы законной,
Жаждут победы твоей неизбежной.

15 Надобен отпрыск могучего Бха́вы,
Чтобы возглавил он воинство наше;
Шива в глубоком своем размышленье,
Кроме тебя, никому не доступен.

16 Дочерью гор, богоравной царевной,
Ты постарайся прельстить властелина,
Чье драгоценное мощное семя
Невыносимо для чрева другого.

17 Отчий приказ выполняя прилежно,
Гостю царевна в горах угождает,
Невозмутимому преданно служит;
А́псары мне повествуют об этом.

18 Ради богов постарайся, не медли!
Цель долгожданная ждет не дождется,
Словно, до времени в семени скрытый,
Лучший росток дожидается влаги.

19 Только твои быстролетные стрелы
Цели великой способны достигнуть;
И невеликий умелец прославлен,
Если другого умельца не сыщешь.

20 Боги, которых молить подобает,
С просьбой к тебе обращаются ныне.
Не промахнется прославленный лучник,
Силой завидной навек наделенный.

21 В тайном союзе с весной медоносной,
Душу смущающий, ты побеждаешь.
Разве нам нужно упрашивать ветер,
Чтобы раздул он огонь поскорее?»

22 «Будет исполнено!» — Мадана молвил.
Воля верховная, как плетеница.
Кама почувствовал длань властелина,
Лишь для вселенских слонов это ласка.

23 И поспешил неразлучный с весною
В сопровождении робкой супруги,
Жертвуя собственным телом послушно,
К Невозмутимому в снежные горы.

24 В горных лесах, где твердыня премудрых,
Противореча благим помышленьям,
Медоточивая гордость Манма́тхи,
Обосновалась весна, торжествуя.

25 Солнце направилось в царство Куберы,
Пренебрегая любовью законной;
Скорбные вздохи доносятся с юга,
Благоуханной печалью повеяв.

26 И порождает ашо́ка до срока
Одновременно цветы и побеги,
Не дожидается прикосновенья
Ножки прелестной со звоном браслетов.

27 Стрелы для друга — цветущее манго —
Щедро снабдив опереньем побегов,
Стрелы пометить весна не забыла:
Пчелы на них будто буквы: «Мано́джа».

28 Очень красивы цветы карника́ра,
Ярко раскрашены, только не пахнут;
Всех совершенств рядовому творенью
Не придает бережливый создатель.

29 Как полумесяцы, полураскрывшись,
Рдели бесстыдно цветы на полянах,
Словно любовник счастливый изранил
Перси любимой ногтями своими.

30 Ти́лакой лик ненаглядной украсив,
Множеством пчел подведя себе очи,
Красит зарею весна-чаровница
Губы, побеги румяные манго.

81 Жухлые листья шуршат на полянах;
Скачут олени, приветствуя ветер,
Пляшут олени, чей взор затуманен
В пылком томленье пыльцою цветочной.

82 Горло насытив усладою манго,
Сладостней пел в упоении кокил,
Словно любовь сладкогласная пела,
Гордых и строгих красавиц тревожа.

83 Жены-киннары, омытые потом,
Вянут как будто: зима миновала.
Сходят румяна, тускнеет румянец,
Губы поблекли, бледнеют ланиты.

84 В дебрях, где властвует Невозмутимый,
Даже подвижники в смутной тревоге
Этой нежданной весною томились,
Души свои неустанно смиряя.

85 Вооруженному луком с цветами,
Стоило Мадане там появиться
В сопровождении верной супруги,
Страстные твари покой потеряли.

86 Парами пчелы, любимый с любимой,
В каждом цветке наслаждаются медом.
Самок щекочут олени рогами;
Лаской разнежены, жмурятся самки.

87 Лотосом пахли прохладные воды.
Хобот наполнив пахучею влагой,
Ею слона обдавала слониха;
Лотосом птицы кормили друг друга.

88 Пляшут глаза, в упоении блещут.
Пенье прервав, опьяненный цветами,
Милую крепко целует киннара,
Не замечая, что смыты румяна.

89 Льнули к деревьям подруги-лианы,
Нежные жены в объятьях ветвистых,
Груди — соцветия, губы — побеги,
Влажные, млеют, блаженно трепещут.

40 Апсары пели вокруг неумолчно,
Но в размышленье своем глубочайшем
Хара воистину сосредоточен,
Так что помехи любые напрасны.

41 На́ндин приблизился к трепетной куще,
Жезл золотой повелительно поднял,
Палец к безмолвным устам приложил он,
«Тихо»,— велел он внимательным ганам.

42 Пчелы притихли, олени застыли,
Дрогнуть не смели деревья лесные,
И притаились безмолвные птицы;
Как нарисованный, лес неподвижен.

43 И, беспощадного грозного взора,
Словно зловещей звезды, избегая,
К Невозмутимому Кама подкрался;
Скрытый ветвями, приблизился Лучник.

44 Перед собой на высоком, кедровом,
Шкурой тигровою застланном троне
Кама, которому гибель грозила,
Явственно видел трехглазого йо́га;

45 Ноги скрестившего, так что, недвижный,
Бог, опустив рамена, восседает,
Словно расцвел на почиющем лоне
Лотос молитвенно сложенных дланей;

46 Разными змеями перевитого,
Четками перевитого двойными,
В шкуре нильга́у, которая с виду
Около синего горла синее;

47 Остановившего быстрые брови
И трепетать отучившего вежды,
Взоры сумевшего сосредоточить
В точке точнейшей: на кончике носа;

48 Туче подобного, только без ливня,
Морю подобного, но без волненья,
Ветры смирившего в собственном теле,
Свету подобного, но без мерцанья.

49 Внутренним светом, который струился,
Зримый в сиянии третьего глаза,
В собственном лбу затмевавшего месяц,
Лотосы нежностью превосходящий;

50 Дух размышленьем смирившего в сердце
За девятью вековыми дверями,
Ведомый ведам как неистребимый,
Дух мировой созерцавшего духом.

51 В ужасе Смара, Трехглазого видя,
Необоримого в помыслах даже,
Сам не заметил, как руки разжались:
Лука со стрелами не удержал он.

52 Мужество в нем возгорелось, однако,
Заново разожжено красотою:
Только приблизилась Горная дева,
Сопровождаемая божествами;

53 Убрана всеми цветами лесными,
Рдевшими ярче рубинов отборных,
Бледными, как жемчуга в ожерелье,
И затмевавшими золотом зори;

54 Обремененная тяжестью персей,
Облачена в багряницу, как солнце,
Словно под бременем тяжких соцветий
Шествует лесом лиана, склоняясь;

55 Оберегавшая пояс цветочный,
Словно решил проницательный Смара,
Места надежнее в мире не зная,
Дать ей свою тетиву запасную;

56 Страх затаившая в трепетном взоре,
Лотос державшая, чтобы, махая,
Пчел отгонять: ненасытные льнули,
Губы приняв за плоды наливные.

57 Перед собой безупречную видя,
Чьим совершенствам завидует Ра́ти,
Сразу сразить понадеялся Лучник
Бога, который трезубцем владеет.

58 Ума стояла у входа смиренно,
В Невозмутимом супруга провидя;
Свет высочайший в себе созерцал он
И соизволил прервать созерцанье.

59 Ноги скрещенные разъединил он,
Освободив непомерную пра́ну,
Так что держал потрясенную землю
Тысячеглавый с великой натугой.

60 Нандин с поклоном Владыке поведал
О посещенье прилежной царевны,
И повелитель движением брови
Ей разрешил снисходительно доступ.

61 Благоговейно склонились подруги
И по земле перед богом Трехглазым
Много весенних цветов разбросали,
Только что сорванных собственноручно.

62 Богу, который быком знаменован,
Ума до самой земли поклонилась,
Так что цветы с волосами расстались,
Землю потрогали серьги-бутоны.

63 «Да не возлюбит вовеки другую
Тот, кто с тобой сочетается браком»,—
Истиной как бы обмолвился Бхава,
Истина — каждое слово господне.

64 Кама дождался желанного мига,
Как мотылек, устремившийся в пламя;
Приободренный присутствием Умы,
В Хару дерзает прицелиться Лучник.

65 Гирише Га̀ури скромно подносит
Бронзово-светлой рукою своею
Семя сушеное лотосов гангских,
Четки подвижнику в дар предлагая.

66 Дар благосклонно принять собираясь,
К ней подошел величаво Трехглазый,
Выбрал стрелу подходящую Лучник:
«Очарованье» — стрела роковая.

67 Бог красотою взволнован, как море,
Стоит луне в небесах появиться;
Видит он губы, плоды наливные;
К ним ненасытные взоры прильнули.

68 Дрогнула, затрепетала царевна,
Как, распускаясь, трепещет кадàмба;
Очи свои отвела, застыдившись:
В милом смущенье прекрасная краше.

69 Только Трехглазый осилил смятенье,
Преодолел он душевную бурю,
Ищет виновного, смотрит он гневно:
Кто помешал созерцанию дерзко?

70 И, натянувшего лук до предела,—
Правая длань возле правого глаза,—
Низко согнувшего левую ногу,
Видит он Лучника, видит Маноджу.

71 И разъярился великий подвижник,
Ликом в изломах бровей ужасая;
Молния третьего глаза сверкнула,
Вспыхнуло пламя, ударило пламя.

72 И вопреки заклинаниям ветра:
«Смилуйся, Боже, не гневайся, Боже!» —
Оком рожденное гневное пламя
Молнией Мадану испепелило.

73 Обморок, вызванный грозным ударом,
Вдруг подавив потрясенные чувства,
Как бы в неведенье душу оставил —
Благодеянье для скорбной супруги.

74 И, сокрушив беспощадно преграду,
Будто грозой многолетнее древо,
Общество женщин покинул Владыка:
В сопровожденье служителей скрылся.

75 Разуверившись в гордых родительских замыслах,
И в своих начинаньях, и в собственных прелестях,
На глазах у подружек своих посрамленная,
Побрела восвояси царевна печальная.

76 Брела, как слепая, напугана яростью Рудры;
И на руки поднял родитель злосчастную дочерь —
Казалось, повисла на бивне слоновом лилея.
Так быстро шагал он, что тело, как тень, удлинялось.

ГЛАВА V. ОБРЕТЕНИЕ ЖЕЛАННОГО

1 Узрела царевна сожжение Камы,
Узрела царевна неистовство Шивы,
Узрела погибель заветной надежды
И тщетной своей красотой погнушалась.

2 Иной красоты пожелала царевна,
Иной красотой награждается подвиг;
Ценой дорогой обретешь, не иначе,
Такую любовь и такого супруга.

3 Подвигнута вечной своею любовью,
Подвижницей стать пожелала царевна;
В слезах обнимала царевну царица.
Обету дочернему скорбно противясь:

4 «Тебе бы домашним богам помолиться!
Не вынесешь подвига, нежная телом!
Опасно цветку даже крылышко птичье,
Выносит он разве что крылышко пчелки».

5 Однако незыблема воля царевны,
Поэтому все уговоры напрасны.
Стремление вечное кто превозможет,
Кто вверх по течению воду направит?

6 К царю посылает наперсницу дева
И просит отца, непреклонная духом,
Обитель ей выделить в девственных дебрях,
Где будет увенчан победою подвиг.

7 Решеньем дочерним доволен родитель;
Она, получив от отца разрешенье,
Достигла вершины, где жили павлины:
Вершиною Гаури горы гордятся.

8 Царевна решительно сбросила жемчуг,
Враждебный, бывало, сандалу на персях;
Корою неласковой, красной, как солнце,
Высокие груди себе натрудила.

9 И в спутанных прядях без всякой прически
Осталось лицо несказанно прекрасным;
Не только в круженье пчелиного роя,
Во мхах ослепительный лотос прекрасен.

10 И, пояс тройной травяной надевая,
От боли подвижница затрепетала,
И молча страдала, и молча терпела,
Себе натрудившая поясом бедра.

11 Рука неустанная, верная четкам,
Хоть ранены пальцы травою священной,
Забыв притирания, мяч позабыла,
Который от персей отпрыгивал, красный.

12 Бывало, красавицу ранят на ложе
Цветы, покидая порою прическу;
Теперь в изголовии руки-лианы,
На голой земле восседать подобает.

13 И, свой тяжелейший обет соблюдая,
Царевна в лесах отдала на храненье
Лианам богатство движений прелестных,
Смущенные взоры застенчивым ланям.

14 Свои деревца на заре поливала,
Как будто кормила десятки младенцев,
И первенцев этих любила не меньше,
Чем сына родного потом полюбила.

15 Довольные скудным лесным угощеньем,
К ней лани ласкались, пугливые гостьи,
Глаза ненаглядные в трепете взоров
С глазами царевны сравнить позволяя.

16 Как носит кору вместо тканей тончайших
И как, неустанная, жертвы приносит,
Взглянуть приходили премудрые старцы:
Не ведают возраста мудрость и святость.

17 Враждебна врожденной вражде добродетель,
Которая в дебрях пречистых царила:
Плодов не жалели деревья прохожим,
Священному пламени рады растенья.

18 Однако подобные подвиги тщетны,
Желанное все-таки недостижимо;
Суровее прежнего стала царевна
Смирять беззащитное нежное тело.

19 Царевна, бывало, играть уставала,
Подвижница в подвигах неутомима;
Как золото лотосов, дивное тело;
Оно безупречно: и нежно и прочно.

20 На солнце четыре костра зажигала
И в зной среди них неподвижно сидела,
С улыбкой сидела, нежнейшая в мире,
И, не отрываясь, глядела на солнце.

21 И, солнцем палимое неутомимым,
Лицо хорошело, как царственный лотос,
И разве что возле очей удлиненных
Наметились еле заметные тени.

22 Постилась она и при этом питалась
Небесною влагой и лунным сияньем;
Жила, как деревья живут вековые,
Которым неведома пища другая.

23 Огнем опаленная неугасимым,
Палимая жаром костров разведенных,
Впервые в году окропленная с неба,
Дымилась она, как земля, истомившись.

24 Ресницами пойманы, губы поранив,
На персях высоких дробились дождинки.
И, три ненаглядные складки минуя,
В глубокой ложбинке скрывались нескоро.

25 На голых камнях, без покрова и крова,
Заснувшую в ливень под ветром холодным,
Бросая на спящую молнии-взоры,
Подвижницу видели зоркие ночи.

26 Зимою в студеной воде застывала,
И ветер и снег выносила во мраке,
Всю ночь сострадая тоскующим птицам,
Которые жалобно плачут в разлуке.

27 Ночами, лицом благовонна, как лотос,
Блистая во тьме лепестками-устами,
Воде в изобилии лотосов мерзлых
Являла подвижница подлинный лотос.

28 Опавшей листвою питаться — заслуга
Для тех, кто себя беспощадно смиряет,
Но даже листвы не вкушала царевна:
«Безлистной» подвижницу мудрые звали.

29 Отшельников неколебимых и строгих,
Подвижников неуязвимых и стойких
Она превзошла, уязвимая телом,
Душой непреклонна в суровых обетах.

30 И в дебрях лесных появляется некто,
Живое подобие áшрамы первой,
Нечесаный, шкурою черной одетый,
Пришел, опираясь на брахманский посох.

31 Прекрасная Парвати вышла навстречу,
Приветом почтив благородного гостя:
Не только подвижников более славных,
Подвижники равных приветствовать рады.

32 Приветствие принял он, как подобает;
Мгновенно усталости как не бывало.
Царевне в глаза посмотрел он спокойно,
И, как полагается, заговорил он:

33 «Здесь трав и деревьев священных довольно?
И вдоволь воды? Расскажи мне, поведай!
И силы для подвига в теле довольно?
Без тела, поверь, добродетель напрасна!

34 На длинных лианах, взращенных тобою,
Уже появляются первые листья,
Устам уступая, которые ныне
Без всякой помады накрашенных краше?

35 Священные травы ты скармливать рада
Назойливым лакомкам, ласковым ланям,
Чьи нежные очи в тревожном движенье
Подобны зеницам твоим неподвижным?

36 Недаром слывет красота безгреховной:
Прекрасная, ты превзошла воздержаньем
Отшельников стойких, подвижников строгих,
Мудрейшим из мудрых пример подавая.

37 Не столько небесной рекой цветоносной,
Чьи белые благоухают улыбки,
Не столько богатствами, сколько тобою
Отец богоравный с потомством прославлен.

38 В сокровище тройственном этого мира,
Наверное, выше всего Добродетель,
Превыше Любви и превыше Богатства;
Тебя привлекает одна Добродетель.

39 Тобою привеченный гостеприимно,
Я свой, не чужой: не чуждаются гостя!
Согласно благим наставленьям блаженных,
Сближаются близкие мудрою речью.

40 Поэтому, как любознательный брахман,
Тебе, терпеливой, тебе, справедливой,
Дерзаю задать я вопрос откровенный;
Ответить изволь, если это не тайна!

41 Рожденье в роду безначального Брахмы,
Все прелести мира в едином обличье,
Богатство, которого жаждать не надо,—
Все это твое. Разве этого мало?

42 Не спорю, красавицы, твердые духом,
В несчастии могут решиться на подвиг,
Но я не постигну, какое несчастье
Постигло тебя, красоте угрожая.

43 Твоя красота недоступна печали,
Домашние не оскорбляют красавиц;
Не тронет никто драгоценного камня,
Который украсил змеиное темя.

44 Зачем украшеньями пренебрегаешь,
Одетая старческой красной корою?
Нет, юная ночь не торопится к солнцу,
Луною и звездами пренебрегая.

45 Небесного рая взыскуешь напрасно:
Окрестные горы — обитель блаженных;
Взыскуя супруга, томиться не стоит;
Не ищут владельца себе самоцветы.

46 Вздыхаешь ты,— значит, по мужу томишься;
Однако позволю себе усумниться;
Достойных тебя женихов я не вижу.
Неужто достойный тебя отвергает?

47 Не верится что-то! Неужто жестокий
Тебя не жалеет, когда в беспорядке
Соломою рисовой волосы виснут
И словно забыты цветами ланиты?

48 Тебя, истомленную подвигом долгим,
Тебя, опаленную солнцем полдневным,
Подобную бледной луне на ущербе,
Неужто тебя не жалеет любимый?

49 Гордыня, видать, обуяла счастливца,
Когда заставляет он дивные очи
Взирать на полдневное гневное солнце,
Как будто нельзя на любимого глянуть.

50 Доколе ты будешь томиться, вздыхая?
Моею заслугою в этом рожденье
Готов я, пожалуй, с тобой поделиться,
Желанного только бы ты назвала мне!»

51 С догадливым брахманом спорить не смея,
Не смея при этом открыться чужому,
Подвижница молча мигнула подруге
Очами, забывшими черную краску.

52 Подруга почтительно молвила гостю:
«Не стану скрывать, любознательный садху,
Зачем она тело на солнце сжигает,
Как будто цветок не сгорает на солнце.

53 Презрела богов горделивая дева,
Желая того, кто трезубцем владеет
И прелести женской доступен едва ли,
Поскольку сожжен величайший прелестник.

54 Оружием «хум» отраженная сразу,
В полете своем не достигнув Пура́ри,
Ей сердце пронзила стрела роковая,
Сожженного лучника не посрамила.

55 С тех пор, изнуренная гибельной страстью,
И ночью и днем, от сандала седая,
На снежные глыбы ложилась напрасно,
Не зная покоя, сгорала царевна.

56 Когда воспевали Пинакина громко,
В слезах говорила невнятно такое,
Что плакали даже царевны-киннары,
Которым она подпевала, бывало.

57 Дремать начинала не раньше рассвета,
Забудется сном — и проснется мгновенно.
«Зачем ты уходишь, постой, Нилакантха!» —
Мечту заклинала, обняв сновиденье.

58 «Всеведущий ты, вездесущий, премудрый,
Любви моей только никак не приметишь»,—
Любимого втайне она упрекала,
Луною Венчанного вечно рисуя.

59 Желанного все-таки не обретая,
Не зная, как цели достигнуть иначе,
Отцовским согласьем она заручилась
И здесь поселилась, подвижница наша.

60 Ты видишь: деревья уже плодоносят,
Взращенные нашей прилежной подругой,
А в сердце желанье, как прежде, бесплодно,
И первых побегов не видно поныне.

61 Над ней, безутешной, рыдают подруги;
Неведомо только, когда, непреклонный,
Он к ней снизойдет, утоляя желанье,
Как дождь, над печальною сжалившись пашней».

62 Без слов проницающий сердце любое,
Предвечный подвижник и вечный любовник,
Как будто нисколько не радуясь, молвил:
«Скажи мне, почтенная, это не шутка?»

63 В ладони своей, словно в нежном бутоне,
Таила прозрачные бусины четок;
Недаром красавица думала долго,
Ответила коротко горная дева:

64 «Да, все это правда, поверь мне, мудрейший!
Я здесь добиваюсь неслыханной чести,
Которую подвиг сулит мне как будто...
И недостижимого дух достигает».

65 Сказал брахмача́рин: «Избранник достойный!
И ты пожелала себе господина,
Которому нравится всякая мерзость?
Одобрить мне трудно такое желанье!

66 Повязана сладостной свадебной нитью,
Рука твоя нежная вынесет разве
Отвратное прикосновение Ша́мбху,
Которому змеи милее браслетов?

67 Представь ты себя в одеянье невесты!
Наряд, на котором рисуются гуси,
Твой свадебный шелк сочетается разве
Со шкурой слоновою кровоточащей?

68 Следы твоих ножек, окрашенных красным,
Привыкших ступать по цветам и циновкам,
Появятся там, где сжигают усопших,
Где волосы мертвых дымятся во мраке?

69 Как хочешь, тебя невозможно представить
В объятьях Трехглазого — это нелепо!
На персях, которые просят сандала,
Останется пепел костров погребальных.

70 Посмешищем сразу ты станешь, царевна!
Достойная только слонов наилучших
На старом быке восседать пожелала:
Почтенные зрители будут смеяться.

71 Мне жалко прекрасных, и ту и другую,
Которых влечет богомерзкий Капа́лин;
Небесной луною давно завладевший,
Земную луну обесславит он тоже.

72 Безродный урод, неимущий, бездомный,
Скиталец, одетый пространством всемирным,—
Жених незавидный, лишенный достоинств,
Которыми вправе гордиться невеста.

73 Желанье дурное пора пересилить!
Твоя красота не такого достойна.
Позорным столбом заменять не пристало
Столба в средоточии древних обрядов».

74 Дрожала губа оскорбленной царевны;
Лианы бровей изгибавшая в гневе,
Внимая речам неугодным, бросала
На дваждырожденного взгляды косые.

75 И, выслушав гостя, сказала царевна:
«Величие Хары тебе неизвестно.
Мирская слепая убогая низость
Постигнуть не в силах Великую Душу.

76 Надеждой и страхом питается подвиг,
Отводит он беды, сулит он богатство;
Тому, кто превыше тревожной надежды,
Хранителю мира не надобен подвиг.

77 Богатство дарует нам бог неимущий;
Живущий в соседстве костров погребальных,
Властитель миров, он воистину страшен,
Однако «Благим», непостижный, зовется.

78 Со змеями злобными вместо браслетов,
В роскошных шелках или в шкуре слоновой,
Украшенный черепом или луною,—
Во множестве обликов непостижимый.

79 С Божественным сладостно соприкасаясь,
Святой чистотой заражается пепел,
Который потом рассыпается в пляске,
И пеплом таким натираются боги.

80 Тому, кто на старом быке разъезжает,
На гордом слоне восседающий Индра
Пыльцою пурпурною древа мандара
Стопы осыпает, корону склоняя.

81 Обмолвился правдою ты, злоязычник,
Безродным назвав повелителя дерзко:
Ему подобает считаться безродным,
Когда Прародитель — его порожденье.

82 Довольно! Пускай говорил ты мне правду,
Пускай описанье твое достоверно,
Я сердцем к нему прилепилась навеки:
Не верит любовь оскорбительным слухам.

83 Заставь брахмачарина смолкнуть, подруга!
Ответить он хочет мне: дрогнули губы!
А тот, кто внимает речам богохульным,
Кощунствует сам, богохульствует молча.

84 Мне лучше уйти!» Уходила царевна,
Кору на груди разорвав ненароком;
Ее задержал, перед нею возникнув,
С улыбкою тот, кто быком знаменован.

85 Задрожала царевна, увидев любимого,
Не посмела ступить, отступить не осмелилась,
Как река, вековечным утесом задержана,
Не стояла, не шла, без опоры парящая.

86 «Завладела ты мною навек, ненаглядная», —
Произнес покоренный неслыханным подвигом,
И в ответ истомленная сразу воспрянула,
Обретая желанного, сил преисполнена.

ХАЛА

ИЗ «СЕМИСОТ СТИХОТВОРЕНИЙ»

1 Из бесконечного множества
Звучных, чарующих стихотворений
Ровно семьсот наилучших
Отобрано Халой премудрым.

2 Твердого духом в опасности,
Скромного в счастье, спокойного в горе
Мудрый зовет благородным,
Почтив совершенство благое.

3 Счастливы в мире воистину,
Кроме глухих, разве только слепые.
Счастье — не слышать проклятий,
Не видеть, как счастлив преступник.

4 Видеть лицо ненаглядное?
Нет! Увидать бы околицу только
Благословенной деревни,
Где жить красота соизволит.

5 Прохожий блаженно глядит, не мигая,
На эту крестьянскую дочь, запыленную белой мукою.
Так боги смотрели, когда появилась
Прекрасная Лакшми, возникшая в море молочном.

6 Дочь деревенского старосты
Душу прельщает уже мимоходом.
Явно подобный подросток
Опасней лозы ядовитой.

7 Можно ли всю разглядеть ее?
Нет, мы такой красоты не видали
И, заприметив частицу,
Плененные, глаз не сводили.

8 Трепетные, полновесные,
Как налитые, высокие перси,
Словно любимые песни,
Кого красотой не взволнуют?

9 Ночью сквозь ткань темно-синюю
Грудь ненароком во мраке блеснула,
Словно сквозь тучи в ненастье
Украдкой луна засияла.

10 Вкруг небывалого лотоса,
Перед которым луна потускнела,
Вкруг несравненного лика
Жужжат упоенные пчелы.

11 Молодожены счастливые
Не наглядятся никак друг на друга,
Будто глазам ненасытным
Смотреть больше не на что в мире.

12 Нежная дочь поселянина,
Мертвого мужа в огне обретая,
Жаркий костер погребальный
Испариной сладостной тушит.

13 Словно в безжалостном пламени,
Вдовый крестьянин среди запустенья
В доме, который подобен
Сокровищнице разоренной.

14 В горе, в заботах и в радостях
Старятся люди, любовь не стареет;
Жив после смерти любимый,
И заживо мертв одинокий.

15 Я поклонюсь тебе, Ма́дана,
В этой моей, как и в будущей, жизни,
Если в него ты нацелишь
Стрелу, мне пронзившую сердце.

16 Мучит любовь меня, бедную,
Неуловимая, вмиг исчезает;
Ночью сокровище снится,
Проснешься — и нет его больше.

17 Радует милый воочию,
Близостью трогая робкое сердце,
И, недоступный, как месяц,
Вдали, многоликий, чарует.

18 Спят по ночам, благонравные,
Слушают, что говорят им другие,
И отвечают разумно:
Тебя не видали — вот счастье!

19 «Не надо сердиться!» — «А кто рассердился?»
«Прекрасная, ты рассердилась!» — «Нельзя на чужого сердиться».
«Да кто здесь чужой?» — «Разве ты не чужой мне?»
Чужим я посмела назвать его! Как я посмела!

20 Я бы закрылась ладонями,
Я бы любовь свою скрыть постаралась,
Но, как цветущему древу,
Мне трепета скрыть невозможно.

21 Вряд ли ты спрячешься, доченька,
Темною ночью любовь похищая;
Словно зажженный светильник,
Во мраке ночном ты приметней.

22 Неблагодарный забыл меня,
Хоть зарасти не успела тропинка,
В нашей грязи деревенской
К нему проторенная мною.

23 Лук со стрелою расстанется,
Прочь безвозвратно стрела улетает;
Так пленена ненадолго
Прямая кривою душою.

24 Не умираю, злосчастная:
Ты в моих мыслях сегодня, как прежде,
И после смерти пришлось бы
Мне снова твоею родиться!

25 Полно сердиться, любимая!
Утром успеешь нахмуриться гневно!
Лунная ночь пролетает,
И в мире светает мгновенно!

26 Если не менее сладостных
Лотосов много цветет в отдаленье,
Не ошибается пчелка:
Милуется чаще, где слаще.

27 Как ожерелье жемчужное,
Жалкое, только мешает объятью,
Так драгоценное меркнет,
Ничтожное, перед бесценным.

28 Улицей мне бы раскинуться,
Чтобы с возлюбленным не расставаться,
Если меня покидает
Он, старших стыдясь, на рассвете.

29 В ужасе путники шепчутся,
Словно запретною делятся вестью:
«Манго в побегах манящих,
Врасплох нас весна застигает!»

30 «Вот полоумная»,— думаешь?
Нет! Пораженная громом внезапным,
Выбежала на дорогу:
А вдруг долгожданный вернулся?

31 В сердце моем обездоленном
Разбередив сокровенные раны,
Путник запел в отдаленье:
Любимую вспомнил, наверно.

32 Скорбную не утешающий,
Лишь сокрушающий сердце в разлуке,
Паводок неудержимый —
Горючие, горькие слезы.

33 Телом, душою, зеницами
Образ прекрасный владеет, как прежде;
Не покидает он сердца.
И это зовется разлукой?

34 «Вот и рассвет приближается!
Спи!» — «Задремать я не в силах, подруги!
Слышите благоуханье?
Попробуйте сами засните!»

35 Двери цветами садовыми
Скрыты, хоть настежь открыты для гостя.
Муж путешествует где-то.
Конечно, жена безутешна.

36 Запоминай, путешественник:
Здесь мое ложе, там ложе свекрови;
И не ложись, ослепленный,
Куда не положено ночью!

37 Этот бутон упоительный
Только набух еще, благоуханный;
Зря ты стараешься, пчелка:
Жасмину позволь распуститься!

38 Неутомимо качается,
Глубже в бутон окунуться стараясь,
В сладких объятьях жасмина
Пчела, на крыло опираясь.

39 Трепету и содроганью,
Стону в объятьях, звону браслетов
Неискушенную деву
Научит колючий кустарник.

40 И в ливне волос, и в лучах ожерелий
Таким ослепительным светочем тело свое водружая,
Сияя, готова взлететь чаровница:
С любимым играет, любимого изображая.

41 Ветви, бывало, цветущие,
Отягощенные роем пчелиным,
Волею времени, милый,
Торчат оголенные ныне.

42 Слышите, как надрываются
Там грозовые могучие тучи,
Землю веревками ливней
Пытаясь поднять в поднебесье?

43 Куда драгоценное солнце девалось?
Куда удаляются звезды? Куда удаляется месяц?
Отчетливо, словно чертеж звездочета,
В покинутом небе созвездие стай журавлиных.

44 Если крестьянина радует
Рис благодатным своим изобильем,
В небе приветливый месяц
Белее толченого риса.

45 Плавает ночью безоблачной
Месяц, похожий на белого гуся,
И в безграничном пространстве
Созвездия, словно соцветья.

46 Словно жемчужины крупные
На изумрудных сверкающих иглах,
Капли дождя на травинках
Павлин упоенный глотает.

47 Не потревожены лотосы,
Плавают гуси по-прежнему, тетя!
Кто же в стоячую воду
Большущее облако бросил?

48 Туча проходит, как молодость,
Высокогрудая, в небе пустынном;
Первым сединам подобны,
Виднеются белые травы.

49 Здравствуй, счастливое дерево!
Ты беспечальным зовешься недаром.
Словно ладони красавиц
Твои несравненные листья.

50 Изображая любимого
Наедине со своим отраженьем,
Над водоемом играет
В блаженную близость лягушка.

51 С голоду сорваны хоботом,
Самые сладкие лотосы вянут;
Слон, вспоминая слониху,
Не помнит, что голоден был он.

АМАРУ

ИЗ «СТА СТИХОТВОРЕНИЙ»

1 Да хранит тебя Матери взор, искоса брошенный,
обладающий прелестью пчел, в листьях мелькающих,
преумноженный в блеске своем искрами-пальцами
тетиву натянувшего вдруг бога лучистого!

2 Пляшущий в пламени гроз, льнущий в надежде к рукам
и вдруг отвергаемый,
гладящий пряди волос, рвущий одежды края и с силой
отринутый,
длинными каплями слез женщин Трипу́ры младых
облитый в безвременье,
сердце пронзивший насквозь,— Шивы огонь
да сожжет твои прегрешения!

3 Качанье легкое серег, волос рассыпанные пряди,
и тилак, что слегка поблек, размытый капельками пота,
и затуманенный твой взгляд, и всю тебя в последней
дрожи —
глаза мои да сохранят! Зачем мне Вишну, Шива, Брахма?!

9 К любви зовущими, и томными, и ждущими ответа,
в полон берущими, глядящими то искоса, то прямо,
вовек не лгущими, огромными и нежными глазами,
о простодушная, о скромная, кому в глаза ты глянешь?..

10 «Из дома ушедший вернется, жена! Заране не стоит плакать,
взгляни, как измучена ты и бледна!» — я ей говорил
с рыданьем.
Стыдясь, что пока еще жизни полна, и раня меня
усмешкой,—
«Я сразу умру,— прошептала она,— когда ты меня
покинешь!»

11 Лишь он приблизился ко мне, глаза я долу опустила,
чтоб сладкой речи не внимать, покрепче я заткнула уши,
и дрожь пыталась я унять, но веришь, милая подруга,
моя одежда в сотне мест сама разорвалась мгновенно.

12 «Вернешься сразу же, не правда ли? Иль через час?
Иль в полдень?
Быть может, вечером? Иль к полночи придешь домой,
любимый?» —
жена печальная промолвила, задерживая дома
в дорогу долгую, стодневную, собравшегося мужа.

13 Услышав тяжелые всхлипы дождя, что хлынул из тучи
ночью,
великой тоской по жене изойдя в унылой разлуке длинной,
так громко рыдал он, себя бередя, что люди в селенье этом
отныне решили, покой свой щадя, чужим не давать приюта.

15 Едва я крикнула, притворщица: «Оставь! Уйди из
спальни!» —
как он, безжалостный,— о, горе мне! — ушел на самом деле.
Как видно, разума и гордости лишилась я, подруга,
коль снова, грубого и черствого, его увидеть жажду.

16 Влюбленных супругов ночной разговор ручной попугай
подслушал,
болтливым он был, все слова затвердил и днем повторил
при старших;
зарделась жена, и потупила взгляд, смущенья полна и гнева,
и в клюв болтуна запихала гранат — под видом зерна граната.

18 Его приближенья она не ждала, заране с поклоном встала;
и сразу же бетель готовить пошла, объятий его избегнув;
беседы с возлюбленным не завела, приказы давая слугам,—
так в ярости душу она отвела, ему оказав почтенье.

19 Увидев двух возлюбленных своих, хитрец подкрался сзади,
одной глаза руками он закрыл, как будто бы играя,
другую — ловко шею изогнув — поцеловал он быстро в щеку,
и женщина вторая замерла, победу торжествуя.

23 Над ложем любви тишина разлита, влюбленные в ссоре ныне:
давно уж наскучила им немота, но нежность с гордыней спорит.
И вдруг приоткрылись в улыбке уста, во взоре блеснула радость,
в объятье слилась молодая чета, и смех разрушил молчанье.

28 Глаза мои радость таят в глубине, хоть брови я хмурю грозно,
и губы — в улыбке, и щеки — в огне, хоть голос звучит сурово,
мурашки бегут и бегут по спине, хоть сердцу велю быть твердым;
удастся ли гордой прикинуться мне, когда я его увижу?

29 Задетая в чувстве своем в первый раз, совета подруг не слыша,
не зная, как словом и жестом сейчас презренье выказать мужу,
жена молодая из лотосов-глаз слезу за слезой роняет,
и льется прозрачный поток по щекам меж влажных локонов темных.

31 Сверкая перстнями и перлами, украсившими шею,
в шелка одетая, браслетами позванивая тонко,
к нему ты шествуешь торжественно, как в громе барабанов.
Так что ж, наивная, пугливая, ты вся дрожишь от страха?

34 Она молода, но смущаюсь лишь я, как будто я стал девицей,
и груди ее, словно ноша моя, меня истомили тяжко,
и бедра ее, говорю не тая, мешают походке легкой,—
о, чудо! — как часть своего бытия, влачу я чужое бремя.

36 Когда ты, желаньем хмельным обуян, гордячке кусаешь губы
и брови ее, словно плети лиан, в притворном сомкнулись гневе,
но очи подернул блаженства туман, — ты а́мриту, друг,
вкушаешь;
а боги по глупости весь океан вспахтали для этой цели.

37 «Усни бестревожно, коль спит твой супруг!»— сказав мне,
ушли подруги,
и я осторожным касанием губ уснувшего стала нежить,
но дрожью всей кожи он выдал мне вдруг, что в ложной
затих он дреме,
и вмиг уничтожил мой стыд и испуг всем тем, чем на
ложе можно.

38 Одним движением бровей я прежде гнев свой выражала,
стремясь простить тебя скорей, в улыбке открывала губы.
И что же? — стала я иной, когда любовь ушла из сердца:
ты на коленях предо мной, а гнев меня не покидает.

39 «О молчащая, смилуйся! Взгляни на молящего!
Никогда ты, о нежная, так сильно не гневалась!» —
он просил онемевшую, глаза опустившую,
на него не глядевшую, в слезах утопавшую.

40 Озноб ее кожу до боли обжег, объятием стиснуты груди,
любви изобильный живительный сок омыл ей нагие бедра.
«Довольно, о дерзкий... не будь так жесток...» —
бессильно она лепечет.
То — явь?.. Или все — сновидений поток?..
Иль встреча души с душою?..

41 Одежд коснется муж — она лицо стыдливо опускает,
в объятьях он сожмет — она пугливо в сторону отпрянет,
услышит смех подруг — застынет вдруг и станет
молчаливой;
терзает жгучий стыд супругу молодую после свадьбы.

43 Вся страсть его ушла; любимый, как чужой, проходит мимо;
бесценной я была, теперь я ничего уже не стою.
Я горю моему и днем и ночью предаюсь, подруга.
Не знаю, почему на сто частей не разорвется сердце!..

44 Им, встречу славящим, исплакавшим глаза в разлуке долгой,
таким заманчивым и благостным весь день казалось ложе,
но все же вечером не ласками супруги утешались,
а бесконечную и сладкую вели во тьме беседу.

50 «Скажи, почему ты тонка и бледна? Дрожишь и так слабо дышишь?
Быть может, больна? Ты белей полотна!» — пытает жену владыка.
«Моя худоба мне природой дана!» — худышка ему сказала
и — в страхе, что хлынет рыданий волна,— неслышно ступая, вышла.

57 «Что значит, любимая, гневный твой взгляд?» — «О нет, я гляжу без гнева!»
«Мне больно... Не я ль пред тобой виноват?» — «Вины твоей нет, владыка».
«Так что ж ты рыдаешь все ночи подряд?» — «Кто видит мои рыданья?»
«Да я, твой любимый!» — «О, слов этих яд! Меня ты не любишь больше!»

69 Ты помнишь ли — давно у нас одно с тобою было сердце,
потом ты стал моим, а я возлюбленной твоею стала,
ты мой супруг сейчас, твоя супруга я — а дальше что же?
Тверда я, как алмаз, и радости мне больше не осталось...

70 «В тебе хитроумия нет и следа, уж слишком ты простодушна;
с возлюбленным будь то горда, то тверда!» — простушке молвит подруга.
«Молчи, а не то приключится беда! — подружке та отвечает.—
Владыка мой, в сердце живущий всегда, подслушать может беседу».

71 «Ты куда так поспешно идешь, крутобедрая?»
«Поспешаю к любимому ночью кромешною».
«А не страшно ль одной в это время полночное?»
«Мне защитою стрелы цветочные Ма́даны!»

73 «Пускай разгневается Мадана и разобьет мне сердце!
Клянусь, жестокого не надо мне, неверного и злого!» —
газелеокая со вздохами подруге говорила,
сама не ведая, что, сетуя, его искала взглядом.

74 «В сандаловой пудре жестка простыня, а тело твое так нежно!» —
сказал и на грудь свою жарче огня меня возложил он ловко,
и, губы кусая, лаская, дразня, ногами стянул одежду
и делать, хитрющий, заставил меня все то, что ему пристало.

76 Глаза проглядела, тоской изошла, ждала у дороги мужа;
когда ж опустилась вечерняя мгла и заволокла окрестность,
тихонечко к дому она побрела, и вдруг обернулась, вздрогнув,
и взглядом дорогу опять обвела: «Быть может, любимый близко...»

77 Пылая, суля наслаждений дары супругу после разлуки,
в покои вошла, где до поздней поры сновали слуги без дела,
и с криком: «Да здесь же полно мошкары!» — взмахнула шелковым сари
и, гибкая, жаждя любовной игры, она задула светильник.

81 Цветной узор со щек ладонями стираешь ты упрямо,
и не медвяный сок, а горечь источают эти губы,
и льется слез поток, и грудь твоя вздымается в рыданье —
как видно, ныне стал не я, а гнев твоим любимым.

85 Взирала, испуганно очи подняв и руки сложив смиренно,
держала владыку потом за рукав, колена обняв, молила,
когда же, ни просьбам, ни ласкам не вняв, надменный ее покинул,
она, вдруг желание жить потеряв, с потерей любви смирилась.

90 Огонь светильника, бессильная, она задуть пыталась,
бросала лилии, стыдливая, и с бедер пояс падал,
и, всхлипнув тоненько, ладонями глаза закрыла мужу,
а он с улыбкою на гибкую глядел, не отрываясь.

97 В единую твердую черную нить сводить я умею брови,
улыбку любви научилась таить и стыть, немея сурово,—
я все подготовила, чтобы сразить супруга притворным гневом,
но строгость сумею ли изобразить, одной лишь судьбе известно.

99 Он знает, что тысячи гор и озер легли между ним и милой,
что взор его, будь он хоть трижды остер, ее отыскать не сможет,
но все-таки,— разуму наперекор,— на цыпочки встав упрямо,
он смотрит и смотрит в упор — сквозь простор — туда, где она осталась.

101 Узлы на одежде моей разошлись, когда он к постели склонился,
Скользнул поясок развязавшийся вниз, и бедра мои обнажились.
А после, когда мы сплелись и слились, не помню, что было со мною —
где он, и где я, и куда мы неслись, и чем под конец наслаждались...

103 С той, что в небо уставилась очами печальными,
обнимала колени мне с протяжным рыданием —
«Мы с тобою расстанемся!» — твердя в исступлении,—
что в разлуке с ней станется, словами не выразить.

106 Она не противится, если рывком он платье с нее снимает,
не хмурит бровей, не сжимается в ком от дерзкой и грубой ласки
и словно бы тает, когда он силком ее заключит в объятья,—
вот так она, тешась над мужем тайком, свой гнев выражает тонко.

107 Цветами алыми, сандаловой осыпавшейся пудрой,
крупицей пурпура и бурыми — от бетеля — следами,
алоэ пятнами и смятыми полотнищами простынь
влюбленной женщины движения показывает ложе.

114 От него не отпрянула с живостью в сторону,
не казнила речами обидными, гневными,
лишь в молчанье смотрела в упор, без игривости,
изучающе — словно на гостя случайного.

133 Если мил тебе гнев, о моя бессердечная,
то тягаться мне нечего с этим возлюбленным,
но отдай мне обратно все ласки бессчетные,
не считая, объятья верни многократные.

146 Когда ко мне он подойдет, пускай в тот миг мой взор затмится,
пусть жалкий пояс упадет и на груди одежда лопнет,
но все равно — клянусь! — с изменником я говорить не стану;
лишь одного боюсь — что от молчанья разорвется сердце.

149 Ты — как незрячая, но прячется внимание за этим,
стоишь в безмолвии, но полные подрагивают губы,
ты в созерцании, но ранена ознобом жгучим кожа...
Твой гнев показан мне! Наказанный прощенья просит робко!

150 Как ночью, когда они наги, близки и в страсти своей бесстыдны,
им любо, смыкая объятий тиски, на ложе блаженства глянуть,—
так утром, при старших, всему вопреки, им, радостноглазым, любо
все вспомнить и глянуть друг другу в зрачки, где пляшут искорки смеха.

БХАРТРИХАРИ

ИЗ «ТРЕХСОТ СТИХОТВОРЕНИЙ»

ИЗ «СТА СТИХОТВОРЕНИЙ О МИРСКОЙ МУДРОСТИ»

* * *

Молчаньем в ученом собранье
Украшен глупец.
Невежеству эту завесу
Придумал Творец.

* * *

От пламени вода, от зноя тень —
Спасенье. Для слона имей стрекало,
Для мула — хворостину. От болезни

Целебная трава нам помогает,
Заклятье — от змеиного укуса.
На всякое зловредство — средство есть!
Зато дурак — из правила изъятье:
Бессильны тут и зелье и заклятье!

* * *

Глуп государь стороны, где пробавляются нищенством
Прославленные мудрецы!
Стройные их песнопенья, с шастрами в лучшем согласье,
Вязью словесной украшены.
Ревностным ученикам следует передавать
Их совершенные знанья.
Эти мужи святомудрые и без богатства достойны
Почестей самых высоких.
Если оценщик худой в камнях драгоценных ошибся
И ни во что их не ставит,
Нужно ль по этой причине порицать драгоценные камни
Или искать в них изъян?

* * *

Цари в своих поступках, вроде шлюх,
Впадают без конца в противоречье,
Мешая с правдой ложь, мягкосердечье —
С насильем, с мотовством — корысти дух
И с щедростью — порою показной —
Погоню за скудеющей казной.

* * *

Ни нагая земля для ночлега,
Ни нега роскошного ложа,
Ни скудость кореньев и трав,
Ни яств и приправ изобилье,
Ни великолепье шелков,
Ни отрепье, прикрывшее тело,
Не заставят с дороги свернуть
Отмеченных твердостью духа,
К благоизбранной цели идущих:
Нипочем им ни горе, ни радость!

* * *

Горшечнику подобно, злобный рок
Мою живую душу смял в комок,
Как глину, и швырнул рукой коварной
На колесо терзаний и тревог,
Крутя его быстрей, чем круг гончарный,
И мне суля превратностей поток.

* * *

Разумный, коль скоро нуждаешься ты в благостыне,
Воздай славословье одной милосердной богине.
Глупца в мудреца превратить, лиходея — в святого,
И недруга — другом она тебе сделать готова,
И тайное — явным, и яд халахала — нектаром.
Стремясь к добродетели, время потратишь ты даром!

ИЗ «СТА СТИХОТВОРЕНИЙ О ЛЮБВИ»

* * *

Вот он, стихотворцев произвол!
Женщины — неужто «слабый» пол,
Если мановением ресниц
Индру им дано повергнуть ниц?

* * *

В прическу воткнутый жасмин,
И нега уст полуоткрытых,
И тело, что умащено
Сандалом, смешанным с шафраном,
И нежный хмель ее груди —
Вот рай с усладами своими!
Все прочее — такая малость...

* * *

Корми лесных газелей побегами бамбука,
Травой священной «куша», что срезана под корень
Каменным ножом, иль угощай красавиц
Листьями бетеля, бледными, как щеки
Рослых шакских дев, срезав эти листья
Ногтем, что отточен и натерт шафраном.

* * *

О дивнобедрых без лицеприятья
Вам, люди, говорю, и без пристрастья!
Всего на свете слаще их объятья.
Они — источник счастья и несчастья.

* * *

Кто сотворил устройство,
Что женщиной зовется,—
Смесь амриты и яда,
Для смертных — западню,
Ларец обманов, козней,
Дорогу в ад, преграду
Стремящемуся в рай,
Уловок сорняками
И тернием уверток
Засеянное поле,
Хранилище грехов,
Твердыню безрассудства,
Обитель своеволья,
Сомнений круговерть?

* * *

Зачем нам величать лицо — луной,
Иль парой синих лотосов — глаза,
Иль золота крупинками — частицы,
Из коих состоит живая плоть?
Лишь истину презревшие глупцы,
Поверив лживым бредням стихотворцев,
Телам прекрасных служат, состоящим
Из гладкой кожи, мяса и костей.

* * *

Чем красавицы взор, уязви меня лучше змея —
Проворная, зыбкая, в переливно-сверкающих
Упругих извивах, с глянцевитою кожей
Цвета синего лотоса. От укуса змеиного
Добрый целитель излечит,
Но травы и мантры бессильны
Против молнии дивных очей!

* * *

Уста гетеры, будь они прелестны,
Как полураспустившийся цветок,
Достойный муж не станет целовать,
Увидя в них вместилище слюны
Распутников и проходимцев, слуг,
Воров, лазутчиков и лицедеев.

ИЗ «ОПИСАНИЙ ВРЕМЕН ГОДА»

В самом разгаре весны
Томительно-сладостный голос
Подругу зовущего кокиля,
И ветры с вершины Малайя, что благоухают
Белым сандалом, растущим на этой горе,
Стали растравой тебе, разлученному с милой.
Не удивляйся: в несчастье
Амрита кажется ядом!

* * *

Восхитительны в месяце чайтра
Венки из цветов разновидных,
Нежные руки, подобные лунным лучам,
И возвышенное красноречье поэтов;
Оплетенная сетью лиан,
Веселящая душу беседка
И кокиля томный призыв,
Напевно звучащий в ушах;
Разделенное с милою ложе —
Неистощимый запас поцелуев и ласк!

* * *

Пламенеют бутоны маканды,
Словно жертва в огне разлуки
Странника с юной супругой.
Кокилей самки в лесу
Глядят на него с сожаленьем.
Уносит прочь напоенный
Сладострастным сандалом ветер
Ароматы пурпурной ло́дхры,
Утоляющие усталость.

* * *

О дивнобедрые, ваш дух
Несокрушим до той поры,
Пока, сандала духом напоенный,
Не прилетит с горы Малайя ветер.

* * *

Когда наступает жара, девы с глазами газелей,
С влажно-душистыми, от умащенья сандалом, телами,
Благоуханье цветов, свежесть покоев, облитых водой,
Сиянье луны, ветерка дуновенье
И верхней террасы опрятность — возбуждают любовную страсть.

* * *

Венков благоуханье, прохлада опахал,
Сиянье ночи лунной,
Цветочная пыльца, усеявшая пруд,
Сандал для умащений,
Душистое вино, и легкие одежды,
И верхняя терраса, промытая до блеска,
И лотосы очей прекрасных — вот удел
Счастливцев жарким летом!

* * *

Как радует сердце прохлада
С грядой облаков ливненосных
И, льющим густой аромат,
Роскошным жасмином, чей куст
Внезапно расцвел, обернувшись
Внушающей пылкую страсть
Красавицей с грудью высокой.

* * *

Объяты одинаковым томленьем
Счастливый и отвергнутый любовник,
Когда в лесах звучат павлиньи крики,
Насыщен горный ветер ароматом
Цветов кадамбы и кутаджи пряной,
И молодой травой земля одета,
А небо — дождевыми облаками.

* * *

Над головой хмурые тучи нависли.
Млея от страсти, пляшут павлины в горах.
Цветом опавшим деревья усеяли землю.
Странник, на чем ты остановишь свой взор?
Нечем тебе сердце свое успокоить!

* * *

Слепящих молний блеск,
Раскаты громовые.
К танцующим павлинам
Взывают нежно павы,
И кетака струит
Свое благоуханье.
Возможно ль дивноглазым,
Глядящим сквозь ресницы,
Разлуку пережить,
Когда весь мир охвачен
Любовной лихорадкой?

* * *

Когда низвергается ливень
Из туч, горделиво грохочущих,
Когда в черноте непроглядной
Сверкнет златозарная молния,
Пронзают блаженство и страх
Сердца́ своевольных красавиц,
Во мраке спешащих к любовнику.

* * *

Ливни мешают уходу любимой.
Чем холодней, тем объятья теснее!
Ветер, несущий дожди и туманы,
Свежесть сулит изнемогшим от ласк.
Эти счастливцы, в объятьях возлюбленной,
Дни бесконечных дождей превращают
В дни бесконечных услад.

* * *

Когда, под осенней луной,
На верхней террасе дома
Пройдет в наслажденьях любовных
Половина пленительной ночи,—
Тот, кто, охваченный жаждой,
Не пьет из лианоподобной,
Прохладной руки подруги,
Изнемогшей от пылких услад,
Воду, в которой дробится
Сиянье ночного светила,—
Тот неудачник, друзья!

* * *

Белоснежный, прекраснодушистый,
Распустился жасмин, и нектаром
Упиваются жадные пчелы.
Если, страсти огонь разжигая,
Дивноокая, хоть на мгновенье,
Не обнимет хозяина дома,
Осененного ма́ндарой красной,
От студеного ветра дрожащей,
Будет зимняя ночь для него
Нескончаемо тягостной, длинной,
Как великого Ямы дворец.

* * *

Опрятный дом, что блещет чистотой,
Златосиянный месяц в небесах
И лотос дивного лица любимой,
Сандал благоуханный, изобилье
Венков, приятных сердцу и очам,—
Всё обжигает пламенем соблазна
Мужей, обуреваемых страстями,
Но не того, кто бренный мир отверг.

* * *

С ухватками наглого виты
Неистовый ветер зимой
Красавицам щеки целует.

То, свистнув, размечет прическу,
Закроет кудрями лицо,
То сдернет с грудей покрывало,
Пушок поднимая на коже
Озябшей испуганной девы,
То юбку с бегущей сорвет,
Заставив дрожать пышнобедрую.

* * *

Он ей растреплет волосы, заставит
Прикрыть глаза, как бы в порыве страсти;
Сорвет с нее одежды силой, так,
Что волоски поднимутся на коже;
Ее походку сделает неверной,
А пылкое дыханье — участиться
Принудит, поцелуями своими
Пронизывая губы до зубов.
Не так ли каждой женщине — супруга
Изображает буйный зимний ветер?

ИЗ «СТА СТИХОТВОРЕНИЙ ОБ ОТРЕШЕННОСТИ»

* * *

Не насладились мы желанным наслажденьем —
Желанье наслажденья нас пожрало.
Не истязали мы подвижничеством плоть —
Подвижничество истязало нас.
Не мы беспечно проводили время,
Но время нас, беспечных, провело!
Желанья наши не увяли,
Но из-за них увяли мы!

* * *

Я в суетной жизни с опаской великим дивлюсь добродетелям,
Приносящим великие блага своим добросклонным владетелям,
Оттого, что великие блага, уподобясь великим врагам,
Великими путами вяжут их по рукам и ногам.

* * *

В каждом лесу плодоносных деревьев обилье.
В реках священных вдоволь прохладной воды.
Всюду найдется мягкое ложе из листьев.
Трудно понять, зачем обездоленным людям
Горькие муки терпеть у дверей богача?

* * *

Душевного довольства неистощима радость,
И ненасытна алчность взыскующих богатства.
Зачем же сотворил создатель гору Меру,
Вместилище сокровищ, вобравшее в себя
Все злато трех миров? Не по нутру мне это!

* * *

Тигрицу, что зовется старостью,
Не в силах мы преобороть.
И, недругам подобно, с яростью
Болезни ранят нашу плоть.
И жизнь уходит нечувствительно,
Как из горшка худого — влага,
А люди — вот что удивительно! —
Охотней зло творят, чем благо.

* * *

Твое величье славлю, Время!
По изволенью твоему, ушли в страну воспоминаний
Блистающий столичный град, и царь могучий, и вельможи,—
Владетели земель обширных,— совета мудрые мужи
И сонмы луноликих дев, кичливые князья, поэты
И выспренние славословья.

* * *

В обиталище целого рода
Одинокий остался жилец.
Опустели дома, где семьи
Разрослись от единого корня.
День да Ночь, две кости игральных,
Забавляясь, бросает Время.
Наше племя людское — пешки
Перед ним на игральной доске.

* * *

Рассветы и закаты уносят нашу жизнь!
Благодаря тревогам и бремени забот
Бег времени для нас почти неощутим.
Без страха созерцает рожденье, старость, смерть,
Хмель заблужденья пьющий, безумный этот мир!

ИЗ «РАЗГОВОРОВ ПОДВИЖНИКА И ЦАРЯ»

* * *

Из шелка тебе одеяние любо,
А я утешаюсь одеждой из луба.
С богатым сравняется нищий бездольный,
Когда одинаково оба довольны.
Но если желанья твои безграничны,
Тогда ты и вправду бедняк горемычный.

* * *

Кто я — льстец иль певец, лизоблюд или шут, лицедей
Иль красотка, что гнется под тяжестью пышных грудей?
Не наушнику, не штукарю,—
Для чего мне стучаться к царю?

* * *

Этот мир, издревле благодатный,
Правосудными царями создан.
Вслед за тем, он стал добычей ратной
И, как сено лошадям, был роздан.
Отчего цари полны гордыни,
Отчего их распирает чванство
Там, где царства целого пространство
Две деревни составляют ныне?

* * *

Пылинка мирозданья,—
Кусок ничтожный глины, водою окруженный,—
Причина сотен распрей и войн между царями!
Какого блага ждать от этих нищих духом?
Плюю на них! Плюю и на того, кто грош
Возьмет из царских рук!

* * *

Кто может избежать предначертаний?
Угомонись, безумная душа!
Зачем тебе скитаться, неприкаянной?
Не вспоминай несбывшихся мечтаний!
Грядущее провидеть не спеша,
Ты наслаждайся радостью нечаянной.

* * *

Душа, ни на миг не вверяйся той шлюхе Удаче,
Что пляшет послушно по манию царских бровей!
Сбирать подаянье пойдем по дворам Варанаси.
Да будут ладони нам чашей, отрепья — бронёй.

* * *

Проседь в кудрях у мужчины — красавиц природу
Столь оскорбляет, что, не расставляя сетей,
Девы обходят его, как собранье костей
Или колодец, где ча́ндалы черпают воду.

ИЗ АНТОЛОГИЙ РАЗНЫХ ВЕКОВ

Неизвестные поэты

* * *

Брахман огню поклоняется,
Прочие касты — властителю,
Мужу — достойные женщины,
Гостю — хозяева дома.

* * *

Книга, жена или ссуда.
Уйдет безвозвратно: тем лучше!
Худо, когда возвратится —
Рваной, запятнанной
Либо уменьшенной вдвое.

* * *

Сгодится и трухлявый ствол;
Родит земля бесплодная.
Но царь, утративший престол,—
Вещь никуда не годная!

* * *

Порой не доверяет близким людям
То сердце, что однажды ранил мир.
Зачем, как малое дитя, мы будем,
На молоке обжегшись, дуть на сыр?

Чанакья

* * *

Истощают мужчину странствия,
Отсутствие ласки — женщину.
Размывают гору дожди,
Разъедают ум униженья.

Равигупта

* * *

Недостижимого жаждет вдвойне
Либо глупец немудрящий,
Либо ребенок, ручонкой в волне
Сиянье луны ловящий.

Неизвестные поэты

* * *

В храмовом дворе живущий бык
Тяжести возить не приобык.
В плуг не запряжешь его подавно.
«Что же он умеет?»
«Жрет исправно!»

* * *

Ашока, манго, бакула, пахучий
Жасмин претят пчеле!
Она глупа:
Облюбовав себе сафлор колючий,
Не уберечься от его шипа!

* * *

Черным-черна, однажды затесалась
Ворона между черными дроздами.
Ее никто не распознал бы в стае,
Сумей она попридержать язык!

* * *

Что занесло тебя в наш край, фламинго?
Не ты ль твердил, что местным журавлям
Твое названье удалось присвоить?
Вернись домой, покуда здешний дурень
Тебя наречь не вздумал журавлем!

* * *

Златокузнец! Ты из чистого золота
Серьги в селенье принес для продажи.
Разве не знаешь? У здешнего старосты
Мочки ушей не проколоты даже!

* * *

Не прав океан, оставляя
Блистающий жемчуг на дне,
А морскую траву вознося
На гребень высокой волны!
И все-таки жемчуг — есть жемчуг,
Трава остается травой.

Джаганнатха

* * *

Растут при дороге деревья тенистые,
Нам отдых сулящие.
Но редкое дерево вспомнится путнику,
Дошедшему до дому.

Неизвестные поэты

* * *

«Монах-прощелыга! Ты падок до рыбного блюда?»
«За винною чашей и рыбы отведать не худо!»
«Ты пьешь?» — «Как не пить, непотребную встретив красотку?»

«Распутник! Небось ростовщик тебя держит за глотку?»
«Коль скоро добром у него я не выпрошу ссуду —
Тайник проломлю, а желанные деньги добуду!»
«Ты вор и заядлый, должно быть, игрок, по приметам?»
«Нельзя мне иначе: я нищенства связан обетом!»

* * *

Я обвалял их в мокром тмине
И в горке молотого перца,
Чтобы приправа глотку жгла,
Чтоб от нее коснел язык.
Я, маслом их полив на славу,
Не мешкал с трапезой, не мылся:
Едва обжарив яство, стоя,
Я рыбиц «койи» пожирал.

* * *

Раскрыл над головою брахмачарин
Донельзя рваный зонтик; все пожитки
Прикручены веревкой к пояснице,
И несколько священных листьев бильвы
Торчат в пучке волос, худая шея
От ветра зябнет, а желудок тощий
Дрожит, пугаясь впалости своей.
Так юноша, ходьбою утомлен,
Превозмогая ноющую боль
В ногах, бредет порой вечерней к дому
Наставника — дрова ему колоть.

Неизвестные поэты

* * *

Что́ в сердца своего табличку
Я вписывал — судьба в привычку
Взяла стирать своей рукой.
Так было с каждою строкой!
Но воск от этой благостыни
Стал тонким. Он лежит, сквозя.
И ни строки надежды ныне
На нем запечатлеть нельзя.

* * *

Я не ношу браслета золотого,
Что блещет, как осенняя луна;
Я не вкусил стыдливой неги уст
Невесты юной; ни перо, ни меч
Не заслужили мне бессмертной славы.
Я время расточаю в школе ветхой,
Уча лукавых, наглых мальчуганов.

Дандин

* * *

Богатым не стал я,
Ученым не стал я,
Заслуги святой не обрел я,
И время мое истекло.

Неизвестный поэт

* * *

Детишки — мертвецы живые,
Укоры едкие родни,
Кувшин, залепленный смолой,—
Терзают меньше, чем улыбка
И взгляд язвительный соседки,
Когда жена к ней каждый день
Заходит попросить иглу,
Чтоб залатать свои отрепья.

Йогешвара

* * *

Из ячменя размокшие лепешки
Сушить, ребят ревущих унимать,
Вычерпывать горшком разбитым воду,
Солому для спанья беречь от ливня,
Дырявое лукошко нахлобучив
На голову, в лачуге обветшалой
Доводится супруге бедняка.

Неизвестный поэт

* * *

«Поди сюда, мой маленький, не плачь,
На разодетых мальчуганов глядя.
Когда отец вернется, он тебе
Подарит ожерелье и обновы».
Услышав это, горемычный странник,
Стоящий за стеной, уходит прочь,
И слезы льются по его лицу.

Вира

* * *

Заплату на заплату класть —
Непревзойденное искусство
И пригоршню еды делить —
Непостижимое уменье,—
Мне суждены: ведь я — жена!

Неизвестные поэты

* * *

Отец и сын схватили за рога,
А мать — за хвост, родители отцовы
Уперлись в ребра, а сноха — в подгрудок.
Ребята с плачем за ноги взялись.
Одно у них богатство — дряхлый вол,
Что издыхает, лежа на земле.
И всем семейством, проливая слезы,
Они его стараются поднять.

* * *

«Золотой водой польешь тыквенную плеть —
Будут у тебя плоды непрестанно зреть».
С радостью поверил я слову доброхота.
Тыкву круглый год иметь каждому охота.
Я просил, и наконец мне богач один
Нацедил чуть-чуть воды золотой в кувшин.
Я пришел домой, и глядь — нет ее в помине:
Просочилась по пути сквозь трещину в кувшине!

* * *

Бренное тело твое развалилось бы сразу, бедняк,
Если б веревки мечтаний не стягивали твой костяк!

Раджашекхара

* * *

Ты ноги дал, чтоб ныли от ходьбы,
И голос, чтоб вымаливать подачки.
Ты дал жену, чтоб от меня ушла,
И тело, чтоб дряхлело с каждым днем.
Я знаю, ты лишен стыда, создатель,
Хоть бы устал дарить, щедроподатель!

ИЗ «ОПИСАНИЙ ВРЕМЕН ГОДА»

Нараяналаччхи

* * *

Вишну и Лакшми объятья разорвало горячее лето.
Божественных клонит ко сну, оттого, что валы океана
Качают плавучий дворец, где влага струится со стен,
Изнутри охлаждая покои.
Свирепые солнца лучи! По милости вашей луна,
Лишенная чудного блеска, сегодня печется, как блин.
До́красна вы раскалили небесную сковороду!

Йогешвара

* * *

Воду пру́да нагревает зной
Сверху, а внизу — холодный слой.
Если водоемы су́хи всюду,
Путники приходят в полдень к пру́ду.
Буйволы грязнят его: скотине
Отдыхать привольно в склизкой тине.
Но, руками разгоняя муть,
Люди пьют, войдя в него по грудь.

Неизвестный поэт

* * *

Когда развертывают купы ке́так
Блестящие зеленые листы,
Свисают кисточки соцветий с веток, —
Точь-в-точь ягнячьи белые хвосты!

Билхана

* * *

О дивнобедрая! Стрелы Ананги
Время дождей закаляет усердно,
Словно железные стрелы — кузнец.
Разве не видишь? В угольных тучах
Перебегают молний огни!

Неизвестный поэт

* * *

Кто смел перечить Камадеве?
Любимому вернуться к деве
Велят немедля гневные уста.
Ослушник — путник беспечальный,
Что в клетке заключен хрустальной
Из струй, сбегающих с его зонта.

Йогешвара

* * *

Пока слетает с уст хоть слово,
Пока стремится сердце выжить
И страннику послушны ноги,—
Хранит он слабую надежду,
До той поры, когда очам
Откроются предгорья Виндхьи,
Красуясь мокрыми от ливня
Кадамбами в густом цвету,
И тучи, черные, как змеи,
Сменившие недавно кожу.

Йогешвара

* * *

Огромная туча-кошка
Огненным языком
Лакает лунные сливки
Из кастрюли ночных небес.

Вишакхадатта

* * *

Небеса в покое нарастающем
Кажутся божественными водами,
Что текут беззвучно в вышине,
С отмелями белых облаков,
С криками летящих журавлей,
С лотосами-звездами в ночи.

Абхинанда

* * *

Раздавленный повозками тростник
Обрызгал соком сладким колею,
Что пыль шафранную несет, как стяг.
Слетелись попугаи на ячмень,
Колосья полновесные склонивший.
От рисового поля — к водоему
Проплыли вдоль канавы пескари.
Пастух прилег на отмели, где тело
Приятно охлаждает ил речной.

Мадхушила

* * *

Меж грудей, подобно снизкам жемчуга,
Матово мерцают стебли лотосов.
Около ушей свисают лилии —
Двум серьгам затейливым замена.
А пробор проложен не рубинами,—
Бандхудживы рдяными цветами.
Сколько драгоценностей
Время урожая
Подарило девочке,
Стерегущей рис!

Вачаспати

* * *

Вздрагивают веточки горчицы,
Отягченной острыми стручками.
Под ююбой стоя, без труда
Дети рвут плоды с ветвей склоненных.
Зрелый сахарный тростник из листьев

Выпростал коленчатые стебли
И, ручным давилом пригнетен,
В изобилье брызжет сладким соком.

Саварни

* * *

Гу́нджи созревшей растрескался плод,
И обнаружились красные зерна,
Схожие с глазом влюбленной кукушки.
Эти пурпурные зерна — единственный
След бытия плодоносной лозы.
В листьях, в побегах — она уничтожится!
Смертная стужа сожжет их дотла.

Йогешвара

* * *

Поля сухие, где созрел кунжут,
Прельщают голубей. Цветы горчицы,
Приобретя коричневый оттенок,
Сменяются стручками. Коноплю
Раскидывает ветер, что сечет,
Вгоняя в дрожь, крупою снежной тело,
И путники, вступая в перебранку,
Теснятся у общинного огня.

* * *

Тепло соломы вихрем ледяным
Уносится. Крестьяне то и дело,
Огонь угасший силясь пробудить,
Мешают хворостинами в костре.
Пахучий дым курится над половой
Горчичной. Треск и шорох шелухи
Сопутствуют благоуханью,
Разлитому над зимним током.

Неизвестные поэты

* * *

Прекрасна ночь, когда сверкает месяц.
Хвала тебе, колеблющий волну!
О месяц! Разве не в твое сиянье

Невидимой рукой закинут мир,
Вместивший страны света целиком,
С грядами гор и водами речными?

* * *

Сперва он отливал густым багрянцем,
Под стать китайской розе, а потом
Медово-красным сделался, как щеки
Гречанки юной, выпившей вина,
Но просветлел, как зеркало златое,
И, словно белый та́гары цветок,
Теперь блестит на небе диск луны.

Мурари

* * *

В ночи небесную стреху́
Термиты тьмы проели,
И видно звездную труху,
Что сыплется сквозь щели.

* * *

Та — вверх, та — вниз, — весов метнулись чаши:
Твое лицо — луны взошедшей краше!
Но звезды вышли на простор небес
Всем сонмом, подчинясь ее главенству —
Помочь холодному несовершенству
Создать красе твоей противовес.

Раджашекхара

* * *

В твоем присутствии — луну взошедшую не славят.
Где кожа светится твоя — там злата в грош не ставят.
При виде глаз твоих поблек цветок на глади зыбкой.
Сравнится ль амрита с твоей блистающей улыбкой?
Мы осмеяли Камы лук, твоей любуясь бровью.
Припомним истину одну, отринув многословье:
Создатель дивного творенья
терпеть не может повторенья!

Неизвестные поэты

* * *

«Ножами я был изрезан,
камнями расплющен я был.
В огне меня жгли, топили
в воде, охлаждая мой пыл.
За эти заслуги — блаженство,
на бедрах прекрасной покоясь,
Обрел я!» — звенит бубенцами
на ней златокованый пояс.

* * *

Лицо — луна,
Рука — лилея,
Речь — амрита,
Уста — живая роза,
Сердце — камень.

Бхавабхути

* * *

Живет в моем сознанье образ твой,
Как будто вплавлен он или оттиснут,
Как будто кистью вписан иль изваян,
Вдолблен, иль врезан, или врублен,
Иль вставлен, как алмаз в оправу,
Иль пригвожден, по воле Камы,
Божественными стрелами пятью;
Как будто крепко-накрепко вплетен
Он в нескончаемые нити мыслей.

Дхармакирти

* * *

Любимый ушел, мое сердце ушло,
И сон мой ушел, и мой разум.
Бесстыдная жизнь! Отчего, мне назло,
И ты не ушла с ними разом?

Чакра

* * *

Ложе из листьев, сочащихся а́мритой,
Сорванных с древа в небесном саду,
Вместо подушки — луну в изголовье
Дай мне, подруга! Всю ночь Камадева
Жжет мое тело свирепым огнем.
Сердца светильник, зачем подливаешь
Масла в растущее пламя любви?

Соннока

* * *

Твой милый — повеса, а ты, простодушная, вверилась
Слащавым ухваткам и вкрадчивой этой учтивости!
В глаза тебе разве не бросился пурпурный знак
На правой щеке у него, как от красной смолы?
Вчерашние шашни оставили эту отметину!

Видья

* * *

О добрая жена соседа!
За домом пригляди минутку.
Воды колодезной, безвкусной,
Отец ребенка пить не станет.
Спущусь,— хоть я одна,— к реке,
Под сень тамалов, где темно
И столь густые тростники, что стебли
Колючие царапают мне грудь.

Неизвестные поэты

* * *

На сотом поцелуе, на тысячном объятье
Прервали, чтобы снова начать свое занятье!
Не бойтесь, в этом деле судьи строгие,—
И те не усмотрели б тавтологии!

* * *

Природа сама разожжет и вскормит любовное пламя.
Зачем же мы пагубу терпим, внимая худым стихотворцам,
Что так раздувают, без ну́жды, свою никудышную страсть
В своих никудышных стихах?

ДЖАЯДЕВА

ГИТА-ГОВИНДА

ЧАСТЬ 1. РАДОСТНЫЙ ДАМОДАРА

1 «Небо в тучах, там тени, там тьма,
вдоль тропинок деревья тамáла.
Ты во мраке домой через лес
проводи боязливого, Рáдха!»
Так направленным Нáндою в путь
и над Ямуной в кущах укромных
Забавлявшимся тайной игрой
слава Рáдхе и Мáдхаве слава!

2 В обиталище духа воспевший Сарáсвати,
Воспевая стопы несравненной Падмáвати,
Игры Шри Васудевы воспеть вознамерился
Джаядева, который стихами прославился.

3 Кришне великому верный и преданный,
Играми Кришны в душе зачарованный,
Слушай, взволнованный, слушай, внимательный,
Стих Джаядевы торжественно-сладостный.

4 Звук со смыслом в стихе сочетать
одному Джаядеве под силу.
В сложном Шáрана понаторел,
и в глаголах — Умапатидхара.
Искушенный в любовных стихах,
превосходит Говáрдхана присных.
Все, что нужно, уловит на слух
царь поэтов, разборчивый Дхóя.

ПЕСНЯ 1. ГИМН ДЕСЯТИ АВАТÁРАМ

Во время потопа хранящий великую Вéду,
Божественный челн, приносящий победу,
Кéшава дивный в образе рыбы,—
Слава, Вседержитель, тебе!

Опора вселенной, которой не видно предела,
Устой вековой, чья спина затвердела,
Кешава в образе черепахи,—
Слава, Вседержитель, тебе!

Как месяц, который увенчан громадою темной,
Твой клык, отягченный землею огромной,
Кешава дивный в образе вепря,—
Слава, Вседержитель, тебе!

Рука твоя — лотос, но лотос, который пронзает
И в битве врага беспощадно терзает.
Кешава в образе льва-человека,—
Слава, Вседержитель, тебе!

Великого Бáли тремя обманувший шагами,
Целебные воды проливший над нами,
Кешава дивный в образе карлы,—
Слава, Вседержитель, тебе!

Ты, грешною кровью свой праведный гнев утоливший,
Таким омовеньем грехи удаливший,
Кешава в образе Парашурáмы,—
Слава, Вседержитель, тебе!

Коронами стороны света почтил ты, великий.
Тобою повержен был десятиликий,
Кешава дивный в образе Рамы,—
Слава, Вседержитель, тебе!

Как туча вдали, грозовая, просторная, в синем,
Как Ямуна, плугу покорная, в синем,
Кешава в образе воина с плугом,—
Слава, Вседержитель, тебе!

Не рад заповеданным жертвам, ты всем сострадаешь,
Не только убийство, убой осуждаешь,
Кешава дивный в образе Будды,—
Слава, Вседержитель, тебе!

Твой меч поражает неверных, сверкая кометой.
Живых ужасает он грозной приметой,
Кешава дивный в образе Калки,—
Слава, Вседержитель, тебе!

Внемли Джаядеве, постигший благие реченья!
Целительный стих преисполнен значенья.
Кешава! Ты в десяти проявленьях,—
Слава, Вседержитель, тебе!

* * *

5 Веды вечно хранящий, устой настоящий, миры выносящий,
Супостату грозящий, владыку дразнящий, надменных
разящий,
Ненавистному мстящий, оратай блестящий, за жертву
молящий,
Нечестивых казнящий, себя в десяти находящий,—
прославлен!

ПЕСНЯ 2. ГИМН ВИШНУ

В Лакшми влюбленный и упоенный,
Сладостный нашей мольбе,
Благоуханный, цветами венчанный,—
Слава, слава, Боже, тебе!

Ласков и страшен, солнцем украшен,
Сладостный нашей мольбе,
Лебедь верховный в жизни духовной,—
Слава, слава, Боже, тебе!

Сразил ты змея, счастьем владея,
Сладостный нашей мольбе,
Ты вместо восхода для царского рода,—
Слава, слава, Боже, тебе!

Летаешь ты всюду, воссев на Гаруду,
Сладостный нашей мольбе,
Богам отраден, к врагам беспощаден,—
Слава, слава, Боже, тебе!

Лотос пречистый, светоч лучистый,
Сладостный нашей мольбе,
Мир порождаешь и освобождаешь,—
Слава, слава, Боже, тебе!

Сите прекрасной привержен всечасно,
Сладостный нашей мольбе,
Для супостата гнев твой — расплата,—
Слава, слава, Боже, тебе!

Держал ты гору, явив опору,
Сладостный нашей мольбе,
Лунному взору явил чакору,—
Слава, слава, Боже, тебе!

Прекрасней тучи хранитель могучий,
Сладостный нашей мольбе.
Будь благосклонным к нам, преклоненным,—
Слава, слава, Боже, тебе!

Я в упоенье: ты в песнопенье,
Сладостный нашей мольбе.
Эти напевы — дар Джаядевы,—
Слава, слава, Боже, тебе!

* * *

6 К персям Лакшми высоким блаженно прижатая,
Вся в шафране, могучая грудь Мадхусу́даны,
Вся в испарине, словно любовь утомленная,
Да исполнит желания ваши заветные.

7 Прекрасной и трепетно-нежной,
как будто весенний цветок,
Блуждающей в поисках Кришны
по благоуханным лесам,
Сжигаемой внутренним жаром,
которым Кандарпа томит,
Измученной Радхе сказала
подружка такие слова:

ПЕСНЯ 3

Знойной весною, овеянной ветром
южным, с гвоздичными кущами дружным,
Благоуханной весною, желанной
пчелам, цветам и сердцам безоружным,
Кришна с пастушками пляшет весною хмельною,
Невыносимой, подружка, для тех, кто в разлуке весною.

Нежной весною, внимающей вздохам
женщин, без мужа томящихся дома,
Жгучей весною, когда угрожает
пчелам, цветам и деревьям истома,
Кришна с пастушками пляшет весною хмельною,
Невыносимой, подружка, для тех, кто в разлуке весною.

Душной весною, когда благовонье
царствует над молодыми листами,
Грозной весною, терзающей ныне
юное сердце ногтями-цветами,
Кришна с пастушками пляшет весною хмельною,
Невыносимой, подружка, для тех, кто в разлуке весною.

Пышной весною, чье золото блещет,
не уступая жезлу властелина,
Властной весною, чьи звонкие стрелы —
пчелы, влюбленные в запах жасмина,
Кришна с пастушками пляшет весною хмельною,
Невыносимой, подружка, для тех, кто в разлуке весною.

Дерзкой весною, чьи взоры смеются,
белым бесстыдным расцветшие цветом,
Страшной весною, которая скорбных
ранит соцветьями копий при этом,
Кришна с пастушками пляшет весною хмельною,
Невыносимой, подружка, для тех, кто в разлуке весною.

Страстной весною, чей дух благовонный,
к мудрым отшельникам неблагосклонный,
Всюду сопутствует юным безумцам,
неумолимый и неугомонный,
Кришна с пастушками пляшет весною хмельною,
Невыносимой, подружка, для тех, кто в разлуке весною.

Пылкой весною, когда расцветает
манго в объятьях лианы-супруги
И во Вриндáване Ямуна льется,
смыв прегрешения целой округи,
Кришна с пастушками пляшет весною хмельною,
Невыносимой, подружка, для тех, кто в разлуке весною.

Вот песнопение Шри Джаядевы,
где прославляется сладостный Кришна
И проявленья любви многоликой,
так что в лесу зачарованном слышно:
Кришна с пастушками пляшет весною хмельною,
Невыносимой, подружка, для тех, кто в разлуке весною.

* * *

8 Стыдливым жасмином прельщен, упоен и насыщен,
Леса насыщая заманчивым благоуханьем,
Весною сжигая в лесах одинокую душу,
Дыханием Смáры повсюду разносится ветер.

9 Где пахучее манго цветет, содрогаясь в объятьях
пчелиных,
Где ликующий кокил поет, опалив беззащитные уши,
Путник здешние вешние дни в исступлении скорбном
проводит,
Всей своей ненасытной душой предвкушая слиянье
с любимой.

10 Прельщенного мнимою прелестью многих,
При этом пристрастного к подлинным играм,
Мурáри далекого Рáдхике скорбной
Воочию словно явила подружка:

ПЕСНЯ 4

В желтом, небесный, в лесной плетенице прелестный,
приверженутехам,
В блеске серег драгоценных он, царь совершенных,
блистающий смехом,
Твой Кришна, забавница, мил баловницам;
Играет на игрищах, предан юницам.

Залюбовавшись прекрасным, одна, простодушная, не удержалась:
Тронута песней любовной, к нему в упоенье невольно прижалась.
Твой Кришна, забавница, мил баловницам;
Играет на игрищах, предан юницам.

Вот, пораженная вечно-беспечной игрою очей вожделенных,
Завороженная, смотрит при всех, не стыдясь, на владыку
блаженных.
Твой Кришна, забавница, мил баловницам;
Играет на игрищах, предан юницам.

Эта красавица, кажется, милому на ухо что-то шепнула;
Нет, не шепнула: целуясь, к нему, ненаглядному, крепче
прильнула;
Твой Кришна, забавница, мил баловницам;
Играет на игрищах, предан юницам.

Наедине поиграть с ним одна пожелала, других избегая.
Кришну влечет она в лес; в тростниках с ним, однако,
таится другая.
Твой Кришна, забавница, мил баловницам;
Играет на игрищах, предан юницам.

Звоном браслетов ответив свирели в причудах
любовного лада,
С ним воедино слилась, похвалам
благосклонного рада.
Твой Кришна, забавница, мил баловницам;
Играет на игрищах, предан юницам.

Выбрав одну чаровницу, другую чарует он одновременно,
Третью целует и пляшет со всеми, сопутствуя всем
неизменно.
Твой Кришна, забавница, мил баловницам;
Играет на игрищах, предан юницам.

Тайная божья игра во Вриндаване Шри Джаядевой воспета.
Это великое дивное таинство — нашего счастья примета.
Твой Кришна, забавница, мил баловницам;
Играет на игрищах, предан юницам.

11 Всю вселенную зачаровав, голубой, упоительный лотос,
Нежным сладостным телом своим торжество Бестелесного
вызвав,
В ненасытных объятиях весь, вожделенный
красавицам Браджа,
Весь любовь, зачарован весной, во Вриндаване Кришна играет.

12 Порожденье сандаловых гор, уязвляемый горной змеею,
Полунощных возжаждав снегов, устремляется ветер на
север.
И, во множестве нежных цветов узнавая желанное манго,
Упоенный, поет и поет сладкогласный ликующий кокил.

13 Продолжая, как прежде, плясать в хороводе
безумных причудниц
И в разгаре подобных забав оказавшись в объятиях Радхи,
Ей внимая, когда говорит она: «Ты всем усладам услада!» —
В ослеплении вечной любви да хранит вас
всевидящий Кришна.

ИЗ АНТОЛОГИИ «КУРУНДОХЕЙ»

АУВЕЙАР

Тиней: край цветов куринджи

Подруга девушки — предсказательнице

Спой нам, вещунья, спой нам, певунья.
Светел твой волос, светлей полнолунья.
Спой нам, вещунья, спой нам, певунья,
Песнь о холме, где живет он. Потом
Спой нам еще о холме том крутом.

ПАРАНАР

Тиней: жасминовый край

Девушка — подруге

Неужто себя не украсит соцветьями нима,
А только сорвет их — и прочь отшвырнет мой любимый?
Я участью схожа с плодом белогроздой смоковницы:
Упал он — и крабами мигом расщипан, пропащий.
Соседки судачат: «Ушел от своей полюбовницы!»
Мне каждое слово их сплетен — что камень разящий.

КАПИЛАР

Тиней: край цветов куринджи

Девушка — подруге

Когда я сдалась на его уговоры,
Жениться он мне обещал, дал обет,
Потом улизнул — и не сыщешь проворы.
Что делать — не знаю: свидетелей нет.
Лишь цапля, что рыбу ловила в протоке,
Быть может, слыхала, что молвил жестокий.

СЕМБУЛА ПЕЙАНИРАР

Тиней: край цветов куринджи

Молодой человек — девушке

Моя семья твоей не знала.
Твоя семья моей — нимало.
Но нам — судьбы иное слово:
Земля и влага дождевая,
Сливаемся мы, отдавая
Друг другу все, что есть благого.

АНИЛЯДУ МУНДРИЛЯР

Тиней: пустыня

Девушка — подруге

Я счастлива, когда любимый рядом:
Так, отдаваясь праздничным обрядам,
Безмерно рады жители деревни.
Но лишь уйдет — и нет судьбы плачевней:
Подкатывают слезы, в горле — ком.
Я похожу на опустелый дом,
Где ни души и только на заре
Резвится стая белок во дворе.

НЕДУВЕННИЛАВИНАР

Тиней: край цветов куринджи

Подруга — девушке

В ночном лесу, обманывая взгляд,
Все в лепестках опавших, валуны
Почти неотличимы от тигрят...
И ты при свете призрачном луны
Упорно вглядываешься во тьму,
Унять не в силах страха и тоски.
Неужто любо другу твоему
К тебе прокрадываться воровски?

АММУНАВАР

Тиней: край белых лилий

Девушка — возлюбленному

О друг мой, живущий в краю у сапфировых вод
Безбрежного моря, волшбою лучей усыпленного,
Где, благоухая созрелой пыльцою, растет,
С шипами, как беличьи зубы, кустарник пасленовый!
Знай, суженый мой, что не в этом рожденье, так в том,
А все же законной женою войду я в твой дом.

ВЕЛЛИВИДИЙАР

Тиней: край цветов куринджи

Молодой человек — другу

Напрасно меня осуждаешь ты, друг!
Беспомощно смотрит калека без рук,
Который к тому же еще безголос,
Как масло, положенное на утес,
Ползет, разогретое солнцем дневным.
Таков мой недуг. Как мне справиться с ним?

ВАДАМ ВАННАКАН ДАМОДАРАН

Тиней: равнинный край

Девушка — певцу из касты панаров, который принес ей весть от возлюбленного

Супруг-воробей без особой натуги
Таскает цветы тростника для подруги.
Хоть стебли и сладки, цветы безуханны.
В заботе подобной есть привкус обманный.
А друг мой — обманщик отъявленный, ярый.
Хвалить вам его не пристало, панары!

АУВЕЙАР

Тиней: край белых лилий

Девушка — подруге

Мысли о нем обжигают огнем.
Нет мне покоя ни ночью, ни днем.
Неба огромней — любовь возросла.
Мудро ли мне причинять столько зла?

ВЕЛЛИВИДИЙАР

Тиней: пустыня

Кормилица — родителям девушки, убежавшей с возлюбленным

Бродила, бродила, все ноги себе оттоптала.
Глядела, глядела, глаза проглядела, устала.
Народу в пути повстречала, что звезд,— без числа.
Однако же ту, что искала, сыскать не смогла.

КИЖАР ИЗ АЛАТТУРА

Тиней: край цветов куринджи

Девушка — подруге

Под страхом позора — любовь истощается скоро.
Иссякнет она — все равно не минуешь позора.
Надломлена ветвь по случайной причуде слона:
Висит, но не падает, к самой земле склонена.
Ну, как о любимом моем говорить без укора?

ПЕРУНГАДУНГО

Тиней: пустыня

Подруга — девушке

«Мужчинам дороже всего их мужские занятья,—
Сказал твой любимый,— а женщинам, всем без изъятья,
Мужчины дороже всего...» Успокойся же! Гложет
Тебя опасенье пустое: отъезд он отложит.

МИЛЕЙПЕРУН ГАНДАН

Тиней: край цветов куринджи

Молодой человек — другу

«Любовь! Любовь!» — твердят... Она
Не цепь, не злое божество.
Приходит, лишь себе верна,
Уходит, лишь себе верна.
И кто постигнет, отчего
Всегда такой спокойный слон
Бушует, разум утеряв:
Наелся ль ядовитых трав
Иль просто страстью ослеплен?

НАНМУЛЛЕЙ ИЗ АЛЛУРА

Тиней: равнинный край

Девушка — подруге

Петух прокукарекал за стеной.
Мне снился сон: любимый здесь, со мной.
Пришел рассвет, мой сон, как меч, рассек,—
И не сомкнуть уже дрожащих век.

МИЛЕЙКАНДАН

Тиней: равнинный край

Подруга девушки — ее возлюбленному

О господин! Бывало, горький плод
Тебе преподносила госпожа,—
Ты ел, хвалил... Теперь, наоборот,

Из горного ручья, чиста, свежа,
Вода — в прохладный этот месяц тай —
Не нравится тебе, бурчишь: «Горька».
Кривишься, как тебе ни угождай...
Любовь твоя, как видно, коротка!

АУВЕЙАР

Тиней: край белых лилий

Девушка — подруге

Возлюбленный, этот обманщик завзятый,
«Вернусь,— обещал,— до начала дождей».
И что же? В горах громовые раскаты
Веселой игрой услаждают людей,
Порывистый ветер шумит, пробегая,
Рокочет, с уступа свергаясь, вода.
Пускай он меня позабыл, дорогая,—
Смогу ли его позабыть? Никогда.

ОДАНЪЯНИ

Тиней: край белых лилий

Подруга — девушке

Быть может, он спутал и время и место свиданья?
Однако вчера, искупая свои опозданья,
Он здесь проезжал на большой колеснице, поводья
Сжимая в руках,— и колес золотые ободья
Срезали цветы с остротою отточенной стали
И весь этот луг лепестками большими устлали.

ИЗ АНТОЛОГИИ «АХАНАНУРУ»

МАРУДАН ИЛЯНАХАНАР ИЗ МАДУРЫ

Тиней: жасминовый край

Муж — колесничему

Взгляни, колесничий! На этой поляне лесной
Цветы *пидаву́* ослепляют своей белизной.
Немного поодаль — могучий олень косорогий

Стоит, как охотник с рогатиной, возле дороги.
Он лань охраняет и резвых своих оленят.
Проказники мать обступили, сосцы теребят.
Она же срывает метелки травы краснобыльной,
Жует не спеша их. Насытясь едой изобильной,
Ложится она у ручья, под покровом ветвей.
Олень — все на страже... О бедной подруге своей,
Покинутой, думаю я, опечаленно сникший.
Привал наш окончен. Гони лошадей, колесничий!

Там, дома, в родном городке, за стеной крепостной,
Лебедка и лебедь живут неразлучной четой.
Их пух нежно-белый сравним лишь с водою крахмальной,
Под пальцами прачки текущей на камень стиральный.
А я — вдалеке от любимой. Быть может, как раз,
Тоскуя, она обо мне вспоминает сейчас,
Любимца держа на руке своего — попугая,
Зеленого, с ниткой кораллов на шее... Лаская
Его, повторяет она, озираясь вокруг
С улыбкой смущенной: «Сегодня приедет мой друг!»
И вторит гортанное ей тараторенье птичье...
Как счастлива будет она!.. Поспешай, колесничий!

КАННАНАР, СЫН КИЖАРА ИЗ КАТТУРА

Тиней: пустыня

Подруга — девушке

Зачем, о подруга, ведешь ты печальные речи?
Твердишь, что твой лоб побледнел, а округлые плечи
Совсем исхудали и, мол, от жестоких страданий
Колеблешься ты между жизнью и смертью — на грани.
Зачем укоряешь ты друга в изменчивом нраве?
По совести, ты на него обижаться не вправе.
С началом дождей обещал он вернуться, а эта
Пора лишь пришла,— подтверждает любая примета.
В горах Венгада, во владеньях царя Тирейана,
Родился слоненок. О нем и о матери рьяно
Заботясь, приносит им слон, исполин мощногрудый,
Нежнейших побегов бамбуковых целые груды.
Зацвел крылоплод. На вершине его, приосанясь,
Павлин проплясал свой истомой проникнутый танец.

Затем, не спеша перебравшись на дикий лимонник,
Он паву свою призывает — прекрасный поклонник.
Для всех, кто в разлуке, кончается время печали.
Уж дождь собирается. Первые капли упали...

ПЕРУНГАДУНГО

Тиней: пустыня

Жена — подруге

«Добро есть, по сути, двоякое братство:
Духовное благо оно — и богатство,
Не выклянченное, трудом нажитое»,—
Погладив мне волосы, смоль — чернотою,
Так молвил любимый в преддверье разлуки.
Пускай ожиданья и тягостны муки,
Ему я желаю успеха в дороге.
Сегодня он, верно, минует отроги
Паннадской горы, где — какая досада! —
Иссохли все лунки, поилки для стада.
Со свистом протяжным их племя пастушье
Водой из бадей наполняет, но, сушью
Палимая, вмиг испаряется влага,
И тщетно ее, как великого блага,
Слон ищет среди углублений и впадин.
Его шаг за шагом, могуч и громаден,
Преследует тигр... Как следы их похожи
На оттиски пальцев, хранимые кожей,
Натянутой на барабан, под который
И песни поют, и танцуют танцоры.

НАККИРАНАР

Тиней: пустыня

Подруга девушки — ее возлюбленному

Подруга твоя в ожиданье совсем извелась.
И вот наконец прикатил, но, едва насладясь
Любовью ее — на прогалине, под красолистом,
Поспешно назад собираешься. В сумраке мглистом
Возничий готовит уже колесницу твою:
Осматривает ее, поправляет шлею.

Тревожно и больно подруге твоей смуглолицей,
Подобной своей красотой Паватири, столице
Царя Тирейана, в цветочном убранстве сплошном.
Ведь путь твой опасен и труден. Во мраке ночном
Лиманы тебе проезжать, где в часы многоводья
Шныряют акулы — зубастые смерти отродья.
Останься у нас — вот тебе мой совет. Приглядись.
Отборный — на свежую рыбу променянный — рис
Тебе поднесем, угождая в усердном старанье.
Сандалом, на жернове, что привезли северяне,
Измолотым, с нужной добавкой, тебя умастим.
Останься у нас в деревушке, где, ветром морским
Колышемые, на деревьях развешаны сети,
В прорехах от бурь и акульих прокусах... На свете
Едва ли отыщется место приятней, милей.
Останься — тебе пожалеть не придется, ей-ей.

ИЗ АНТОЛОГИИ «ПУРАНАНУРУ»

КИЖАР ИЗ КОВУРА

* * *

И Смерть, бывает, медлит в ожиданье.
Но ты, о царь, не ждешь: могучей дланью
Ты поражаешь в час, тебе угодный,
Вождей отрядов копьеносных, сходный
С могущественным грозным божеством.
Как предостереженье о твоем
Нашествии — свергаются кометы;
Пылают солнца в огненном величье;
Кричат не умолкая стаи птичьи;
Безлиственные горбятся деревья;
Крошатся зубы; волосы лоснятся;
Блуждают вепри по дорогам; сами
Внезапно ниспадают одеянья;
И стойки с ярко блещущим оружьем
Обрушиваются! Все девять знаков
Являются, как бы в бреду кошмарном,
И второпях целуют горожане
Своих детей, что жизни им желанней,
И всей семьей — в окрестные леса.

А ты идешь, о Валаван, как буря,
Взметающая пламя к небесам,
И горе тем, кто возбудил твой гнев!

КАНЬЯН ПУНГУНДРАН

* * *

Нам каждый — брат, и каждый закуток —
Нам дом родной. Добра и зла исток —
В душе у нас, а не вовне. Недуг
Приходит сам — и сам уходит вдруг.
Смерть не нова для нас. Мы от всего
Отрешены. Не в радость радость нам,
И горе нам не в горе... Наша жизнь —
Лишь утлый плот, при вспышках грозовых,
Несущийся по прихоти волны
Вниз по реке. Удар о валуны —
И плот в щепу!.. Мы, мудрецы, себя
Не унижаем ни превозношеньем
Властителей, ни слабых поношеньем.

АВАНЕЙ КАЖЕЙДИН ЙАНЕЙАР

* * *

Просить: «Подайте!»— осквернять уста.
Отказывать в даянье — гнусота.
Кто подает — благословен, но пуще
Благословен даянье не берущий.
До дна прозрачна глубь морская в тишь,
Но жажды из нее не утолишь,
И жаждущий натоптанной тропой
Спускается к ручью, где водопой
Для стад овечьих и коровьих. Пусть
Вода мутна, она не солона,
И жажду утоляет он сполна...
К тебе я обращаю голос, Ори,
Владыка, обитающий на взгорье!
Ты привечаешь всех, равно любя.
Просители, встречая твой отказ,
Хулят свою судьбу, а не тебя.

Зато один лишь милостивый твой
Кивок— и, как из тучи громовой,
На всех, кто припадет
К твоим стопам,— прольется дождь щедрот.

ТАЙАМ КАННАНАР ИЗ ЕРУКАТТУРА

* * *

Уже ночные звезды отцвели
И падают, поблекшие... *Веллй*
Одна сияет в серебристом блеске.
Распелись птицы в ближнем перелеске.
В пруду раскрыли лотосы глаза.
И вдруг, как будто грянула гроза,
Забили барабаны, возвещая
О том, что утро ниспровергло ночь.

Остаткам темноты уже невмочь
Сражаться со сверкающим оружьем.
В становье, расположенном окружьем,—
Негромкий шум, предвестник пробужденья.
Проснись и ты, о царь, в своем шатре,
И повели на утренней заре
Подать нам рис, и острую подливку,
И пальмового сока — на запивку —
В кувшинах драгоценных. Подари
Нам одеянье, все в узорах дивных,
Наряднее змеиной чешуи.
Утишь своею щедростью мои
Страданья, что лучей полдневных жгучей.
Будь милостив, о властелин могучий
Державы, где шести своим занятьям
Спокойно предаются *анданары*,
Свое чело цветами увенчав.
О Валаван! Наш покровитель славный!
С тобой любая тягость нипочем.
Скажи — мы океан пересечем.
Взойдет на юге солнце? Ну и что ж?
Ты нас от верной гибели спасешь.
Порукой в том — бестрепетность твоя
И смертоносность твоего копья!

ИЗ АНТОЛОГИИ «КАЛИТОХЕЙ»

ПЕРУНГАДУНГО

Прислужница госпожи — господину

Ты в дальний поход снаряжаешься, о господин?
Какая-то, видно, в душе у тебя червоточина.
В пустыню твой путь, где, виденьем воды обмороченный,
Я слышала, слон потерялся уже не один.

Весь в мысли свои погруженный, рукою могучею
Ты лук напрягаешь — и звонко поет тетива.
С лицом опечаленным, словно подернутым тучею,
Следит за тобой госпожа — ни жива, ни мертва.

Примерив свои рукавицы и наручи прочные,
Подушечкой пальца ты пробуешь стрел острия.
Глаза у подруги твоей — как две чаши цветочные,
Вечерней росою наполненные по края.

В мечтах о добыче все радостней и дерзновеннее,
От ржавчины ты отчищаешь метательный круг.
Но, как лепестки,— лишь пахнет холодов дуновение,—
Браслеты спадают, смотри, у жены твоей вдруг.

Скажи,

Зачем ты ее оставляешь? Тревогой волнуема,
То плачет она, то безмолвствует, горе тая.
В разлуке с тобою погибнет она неминуемо.
Тогда воскресит ли ее вся добыча твоя?

Прислужница госпожи — господину

Сущее пекло — пустыня. Деревья там редки.
Скупы на тень, как сквалыги на траты, их ветки.
Никнут они, увядают, как молодость нищих:
Тленье и гниль поселяются в их корневищах,—
И погибают — безвинные люди на плахе.
Стонет страна в безграничном отчаянье, страхе,
Если бесчинствует царь, покрывая позором
Царское имя свое,— и нет меры поборам
Алчных советников. Всюду — одно запустенье.
Не такова ли пустыня, лишенная тени?

Путь твой — туда. Но об этом решенье суровом
Ты, господин, не обмолвился дома ни словом.
Знай госпожа — и, подобно горюющим вдовам,
Плакать ей долгие ночи на ложе пуховом.

Знай госпожа — и во тьме беспросветной, кромешной,
Бедной вздыхать, предаваясь тоске безутешной.
Чуть отодвинешься ты — утешать безуспешно!
Как оправдаешься ты перед нею, безгрешной?

Знай госпожа — и конец красоте и здоровью:
Горькое горе приникнет к ее изголовью.
Сердце ее, господин, обливается кровью,
Если твой взгляд — хоть на миг — не пылает любовью.

Госпожа — прислужнице

Супруг мой любимый — добра неустанный ревнитель.
Отказа ни в чем у него не встречает проситель.
Враги же трепещут: он их беспощадный губитель.
В поход за добычей отправился мой повелитель.
Свой взор на прощанье моей красотою насытил —

И молвил: «В пустыне — песок горячее огня.
Наступишь босой — и ожог, распухает ступня.
Там, близ водопоя, весь день суетня, толкотня,
И слон пропускает подругу, ей сердцем родня».

Потом он примолвил: «Там солнце палит — не скупится.
Ни облака там, над песчаной страной, не клубится.
И голубь, прохладу даруя своей голубице,
Бьет крыльями,— сладостно ей хоть чуть-чуть позабыться!»

И так он домолвил: «В горах, что высокой грядой
Вдаль тянутся, сохнет и гибнет бамбук золотой.
И тенью своей укрывает олень молодой
Красавицу-лань, беззащитную перед бедой».

Я знаю:

Твой верный супруг — в нем любви не ослабнет горенье —
К тебе возвратится — и скоро. Умерь нетерпенье!
Чу! Ящерка мне выражает свое одобренье,
И веко дрожит, предвещая его возвращенье.

КАПИЛАР

Прислужница — госпоже

О лотосоглазая! Выслушай тайну девичью:
Какой-то воитель за мной, как охотник за дичью,
Все ходит и ходит. Оглянешься — здесь неразлучник.
Цветами украшенный, как он пригож, этот лучник!
Недуга любви на лице у него отпечатки.
Ни слова не скажет. Как будто играет он в прятки.
Сочувствием полная к горю его, я бессонно
Томилась, крушилась. Молчал незнакомец влюбленный.
Молчала и я — заговаривать первой негоже.
Лишь думала: «Как исстрадался несчастный, о боже!»
Тебе лишь одной я откроюсь: красивый обличьем,
Понудил меня он пойти вперекор всем приличьям.
Близ поля, что мы охраняем от шумной оравы
Прожор-попугаев, ты знаешь, для нашей забавы
Качели повешены,— там я качалась легонько.
Смотрю: припожаловал. Смирный — смирнее теленка.
«Айя! Раскачайте!»— его попросила несмело.
Качнул он — да так, что я чуть не до неба взлетела.
Я сделала вид, что рука соскользнула с веревки
И словно я падаю. Он же, проворный и ловкий,
Меня подхватил. Я в объятьях его оказалась.
Я не вырывалась, а если бы и попыталась,
Взмолился бы он: «Ах, останься со мной хоть с минутку!»
Отказ бы мой, верно, его огорчил не на шутку.

НАЛЛАНДУВАНАР

Госпожа — прислужнице

Лучистое солнце вечерней порою
Скрывается — день унося — за горою,
И сумрак нисходит, смуглей Немийана.
Земля придремнула, луной осиянна.
Смыкаются лотосы — веки красавиц.
Кусты-белоцветы смеются, забавясь.
Деревья склонились, подобно ученым
Под градом похвал — пристыженным, смущенным.
Как пенье бамбуковой флейты пастушьей,
Жужжанье пчелиное радует ду́ши,

И слышно в селенье, покоем объятом:
Коровы бегут, возвращаясь к телятам.
Слетаются в гнезда пернатые пары.
Свершают вечерний обряд анданары.
В домах очаги разжигают, светильни
И ужин готовят... С улыбкой умильной
Глупцы восхищаются: «Вечер прекрасен!»
Неведомо им, что восторг их напрасен.
Для всех разлученных он — меч зачерненный,
Судьбою над их головой занесенный.

ИЗ АНТОЛОГИИ «ДЕСЯТЬ ПЕСНЕЙ»

НАПУТТАНАР, СЫН ЗОЛОТЫХ ДЕЛ МАСТЕРА, ИЗ КАВЕРИПАТТИНАМА

ЖАСМИНОВАЯ ПЕСНЬ

Напились тучи океанской влаги
И вознеслись — так Тирумаль всеблагий
Восстал для измеренья трех миров;
На склонах гор, у самых берегов,
Весь день они пропочивали в неге,
И снова — в путь в стремительном побеге,
Чтоб ввечеру, как слон, разящий бивнем,
Обрушиться неудержимым ливнем.

В тот час вечерний хоженой тропой
Дворцовые прислужницы толпой
К окраине далекой поспешили.
В руках у них для приношенья были
Горшки с вареным рисом и жасмины.
Жужжали пчелы, сладостнее ви́ны,
Когда они рассы́пали дары
И стали ждать среди ночной поры,
Какой им будет знак, прильнув друг к дружке.
Внезапно голос молодой пастушки
Послышался. Привязанных телят
Ей было жаль, и, в ночь вперяя взгляд,
Она сказала: «Не горюйте! Скоро
Вернутся ваши матери!» Без спора
Решив, что это бог им возгласил,
Прислужницы — бежать что было сил

И молвили тоскующей царице:
«Недолго ждать осталось: возвратится
Твой повелитель, царь с осанкой бычьей,
Увенчанный победой — и с добычей!»

Владычица, прослушав их рассказ,
Жемчужины смахнула с черных глаз.
И вдруг — виденье! На лесной поляне,
Очищенной от трав, где поселяне-
Охотники воздвигли бастион
(Отныне он с лица земли сметен),
Огромное военное становье
Предстало ей, исполненной любовью.

Там на скрещенье троп, гора на вид,
Свирепый слон сторожевой стоит.
Ему подносят тростника вязанки —
Он гордо отвергает все приманки.
Напрасно с перекошенным лицом
Его погонщик бьет своим бодцом.
Воители, являя верх сноровки,
Вбивают в землю колья — и веревки
Натягивают; миг — и пестрый кров
Колышется над остовом шатров;
Потом бойцы,— их ждет покой желанный,—
Составив луки, вешают колчаны,
Как вешает отшельник на треногу
Свою одежду, охряную тогу;
И наконец они лихим броском
Вонзают в землю копья — лепестком
Отточенным... Без лишней суеты
Над копьями укреплены щиты,—
И вот уже — на ночь одну — готово
Убежище для воина простого.

Стихают шум и говор до утра,
И только возле царского шатра
Мелькают длиннокосые смуглянки
С кинжалами на поясах. В горлянке
Горючее для плошек у любой.
Они следят, когда пробьют отбой,
Чтоб ни одна светильня не погасла,
И если надо — подливают масла
И от нагара чистят фитили.

Уж за полночь. Давно умолк вдали
Походный колокол длинноязыкий.
Стоят, качаясь, стражники владыки;
По сонным векам пробегает дрожь,
Как по лианам в ветер или дождь.
Отсчетчики часов, сложив ладони,
Кричат: «О восседающий на троне,
Непобедимый царь, гроза врагов,
Узнай: по времемеру — час таков!»

У царского шатра — отряд *яванов.*
В их боевой отваге нет изъянов.
У каждого явана — меч и щит,
И под полой одежды кнут торчит.
Они могучи и широкоплечи.
В самом шатре — прислуживают *млеччи*
Бессонницей томимому царю.
Уж утреннюю видит он зарю
А с нею — неминуемую сечу
И мыслями стремится ей навстречу,
И, щеку подпирая кулаком,
Он вспоминает, легким холодком
Овеянный,— свои былые схватки.

Бегут враги, смешавшись, в беспорядке.
Их тысячи, отставших, полегли.
Как змеи, извиваются в пыли
Отсеченные хоботы слоновьи.
Под градом стрел, все залитые кровью,
Ржут, прядая ушами, жеребцы.
Победу одержавшие бойцы
Приветствуют его, безмерно рады,
И раздает он щедрые награды.

При свете плошек, спрятанных в литых
Ладонях изваяний золотых,
Царица возлежит в покое спальном
Дворца семиэтажного, в печальном
Раздумье о властителе своем,
И свой браслет с причудливым витьем,
Тоскуя, поправляет поминутно.
Вконец истомлена тревогой смутной,
Она трепещет в лихорадке злой,
Подобно паве, раненной стрелой.

А за окном, не убавляя мощи,
Бушует ливень в придворцовой роще,
И, вслушиваясь в грохот водопадный,
Царица напрягает слух свой жадный.
Все мнится ей шагов далекий гром,
Все видятся ей в сумраке сыром
Победою расцвеченные стяги.
Идут войска, нет меры их отваге,
Идут тропой песчаной, прямиком.
Олень и лань на поле просяном
Резвятся. Синий пламень высекая,
Цветет кустарник низкорослый — *кайя*,
Дождь золотой — как утренняя даль,
Ладони все свои раскрыл *кандаль*
И *тондри* — сгустки темно-алой крови.
Идут, всегда к сраженью наготове,
Идут войска, с отмашкой мерной рук.
А впереди — их вождь, ее супруг
В своей большой военной колеснице.

Иль, может быть, все это только снится?

ТИРУКУРАЛ

ИЗ КНИГИ «ПРАВЕДНОСТЬ»

ЛЮБОВЬ

*

Душой очерствелый — живет для себя одного,
А полный любовью — для мира всего.

*

Любовь — и опора творящим благие дела,
И лучшая наша защита от зла.

*

Как пагубно жгучее солнце для твари бескостной,
Добро для отвергших любовь смертоносно.

*

Отвергшим любовь нет цветенья. В душе их пустой
Все мертво, безжизненно, как сухостой.

*

В отвергших любовь нет и проблеска жизни: они
Скелетам, обтянутым кожей, сродни.

ДОБРОРЕЧИЕ

*

Приветное слово дороже даров дорогих,
Не надобно мудрым дарений других.

*

Кто молвит сердечное слово — себя упасет
От бедности горькой, жестоких невзгод.

*

Приветное слово — добро укрепляет в сердцах,
А зло от него рассыпается в прах.

*

Сердечное слово, добра прорастившее зерна,
И тем, кто промолвил его, добротворно.

*

С отрадой внимал ты словам, напоенным любовью.
Зачем же теперь предаешься злословью?

*

Придется ль по вкусу разумному плод, что незрел?
Зачем же ты доброе слово презрел?

БЛАГОДАРНОСТЬ

*

Услуга ко времени — хоть и порою мелка —
Значеньем своим, как земля, велика.

*

Отплаты не ждущая помощь, будь самою скромной,—
Значеньем своим, словно море, огромна.

*

Платить за услугу услугою равной неверно.
Да будет услуга нужде соразмерна!

*

На семь возрождений останется память святая
О том, кто тебе помогал, сострадая.

*

Не помнить о благе — мерзейшее зло на земле.
И высшее благо — не помнить о зле.

*

Простится тому, кто попрал доброчестья завет.
Прощенья услугу забывшему нет.

ПРАВДИВОСТЬ

*

Неправда, которая сеет добра семена,—
Обман лишь по имени — правда она!

*

Неправда — огонь сожигающий: тела жилица —
Душа — в предумышленной лжи опалится.

*

Стремленье к правдивости благостней, чем благочестье
Со щедростью — соединенные вместе.

*

Блажен возлюбивший правдивость — пускай никакими
Делами себя не возвысил благими.

*

Телесную грязь без труда отмывают водой,
Но дух очищается правдой святой.

*

Не всякий светильник — светильник, а только лучистый
Светильник, сияющий истиной чистой.

БРЕННОСТЬ

*

Окончился танец — и тает собравшихся круг.
Вот так утекает богатство из рук.

*

Как зубья пилы — чередою бегущие дни:
Со скрежетом жизнь перережут они.

*

Был жив накануне, а ныне — лишь пепел, зола.
Не смерть ли величьем наш мир облекла?

*

Не ведает смертный: хоть день проживет ли на свете,
Но замыслов хватит на тысячелетье.

*

Подобно птенцам, скорлупу проклевавшим, спеша
Темницу свою покидает душа.

*

Смерть — это лишь сон,— таково мудрецов убежденье.
А что же рожденье? От сна пробужденье.

ИЗ КНИГИ «МУДРОСТЬ»

УЧЕНОСТЬ

*

Всему, что достойно, учись, не ища награжденья,—
И действуй потом, как велят убежденья.

*

Что, в сущности, буква и цифра? Не глаза ли два,
Которым открыта вся суть естества?

*

Лишь мудрый ученый поистине зряч. У невежды
В глазницах — две гнойные язвы, не вежды.

*

Не низок ученый, пред более мудрым собратом
Склоняющийся, как бедняк пред богатым.

*

Ученый как дома везде, будь он гость чужестранный:
До смертного часа учись неустанно.

*

Ученье — услада ученых и мира услада.
Мудрейшему клада ценнее не надо.

*

Ученость пребудет с тобой до скончания дней,
Другие богатства — ничто перед ней.

НЕВЕЖЕСТВО

*

Невежда тупой, поучающий умных людей,
Подобен жене без обеих грудей.

*

Пусть муж неученый других превзойдет по уму,
Признанья мудрейших не ведать ему.

*

Напрасно кичится невежда — в одно лишь мгновенье
Ученый рассеет его самомненье.

*

Невежды, хотя и бывают обличьем пригожи,
На глиняные истуканы похожи.

*

Невежды, высокого родом, не выше ль ученый,
Хотя и в роду невысоком рожденный?

*

Тому, кто учен, не читающий книг — не чета.
В своем неразумье он хуже скота.

РЕШИМОСТЬ

*

Богат лишь богатый решимостью, волей. Безвольный
Среди обездоленных самый бездольный.

*

Решимость — богатство, дарованное навсегда.
Другие богатства — уйдут без следа.

*

Глубóко ли озеро, лотоса стебель — мерило.
Мерило величью — решимости сила.

*

Стремиться, пусть тщетно, к свершенью возвышенных дел —
Решительного неизменный удел.

*

Лишенный решимости — горько обижен судьбой:
Вовеки ему не гордиться собой.

*

Могуществен слон, обладатель отточенных бивней,
Но тигр порождает в нем страх неизбывный.

*

Лишенный решимости — не человек, размазня.
Он мертв. Он подобье иссохшего пня.

БЕДНОСТЬ

*

Бедняк никогда не изведает жизни безбедной.
Несчастнее бедного кто? Только бедный.

*

Нужда принижает и самую знатную знать,
Достоинство, честь принуждая ронять.

*

Пусть смысла глубокого полны слова бедняков.
Никто их не слушает — мир наш таков.

*

От сына, что нищ и добро попирает бесчинно,
И мать отвернется, как от чужанина.

*

Неужто и ныне ко мне возвратится с утра
Нужда, что едва не убила вчера?

ИЗ КНИГИ «ЛЮБОВЬ»

СЛАДОСТЬ ЛЮБОВНЫХ ОБЪЯТИЙ

*

Все, чем обольщаются зренье, слух, вкус, обонянье,—
Вмещает любимой моей обаянье.

*

Она лишь одна унимает недужный мой жар.
Целительный мне не поможет отвар.

*

Таинственный пламень в груди у любимой разлит:
Вдали обжигает, вблизи холодит.

*

Объятья бесхитростной девы — бессмертья исток,
Питающий жизни зеленый росток.

*

Грудь с грудью влюбленным отрадно плотнее сомкнуть,
Чтоб даже и ветер не мог проскользнуть.

*

Любовь — как ученье. Чем дольше любви я учен,
Тем больше незнаньем своим удручен.

ВОСХВАЛЕНИЕ КРАСОТЫ ВОЗЛЮБЛЕННОЙ

*

Ты нежен, цветок аниччама, не спорю, но много
Нежнее любимая мной недотрога.

*

Сверкает, как жемчуг, улыбка желанной — и схожа
С бамбуком ее золотистая кожа.

*

Смущаются лилии, перед желанной склонясь:
«Глаза у нее затмевают и нас».

*

Любимая носит цветы с неотрезанным стеблем,
И стан ее ношей цветочной колеблем.

*

Не в силах желанной моей отличить от луны,
Растерянно звезды глядят с вышины.

*

Ущербный твой лик, о луна, испещряют щербины,
Но нет у желанной моей ни морщины.

*

Лебяжьего пуха нежнее любимой стопы.
Для них и цветы аниччама — шипы.

ТЕРЗАНИЯ РАЗЛУКИ

*

С любовным недугом я тщетно пытаюсь бороться:
От черпанья только полнее колодцы.

*

Ни скрыть не могу, ни открыть не могу свой недуг
Виновнику неиссякающих мук.

*

На жизни моей, как две тяжести на коромысле,
Любовный недуг и стыдливость повисли.

*

Бескрайнее море — любовь предо мной разлита,
Но нет у меня ни ладьи, ни плота.

*

Жестокий и в дружбе, что сделает с вражьей ордою
Воитель, пылающий лютой враждою?

*

Любимый из глаз не уходит. И веки сомкнуть
Боюсь я: о, как бы его не спугнуть?

РЕВНОСТЬ

*

«Люблю больше всех!»— я однажды воскликнул... Мрачна,
«Кого это — всех?»— вопросила она.

*

Поклялся: «Люблю до кончины!» Она мне: «Изменник!
Кого ж ты полюбишь в грядущих рожденьях?»

*

«Я думал сейчас о тебе!»— говорю я. «Вот диво!
А раньше о ком?»— проворчала строптиво.

*

Чихнул я, она разрыдалась, а в голосе злоба:
«Должно быть, тебя вспоминает зазноба?»

*

Чиханье сдержал я, она — не добрее ничуть:
«Ты, видно, задумал меня обмануть?»

*

Пытался утешить ее — только повод для спора.
«Ты всех утешаешь,— твердит, — без разбора».

*

Взглянул на нее — вновь обида и слезы рекой:
«Меня ты сравнил, признавайся, с другой».

Поэты-шиваиты

ТИРУНЪЯНА САМБАНДАР

* * *

Полумесяцем украшен,
белым пеплом обметен,
Сердца моего похитчик,
гордо восседает он
На быке. Его сияньем
сам Создатель посрамлен.
В многославном Брахмапуре
он воздвиг свой дивный трон.

* * *

Ужели ты обитель Шивы,
Арурский храм, не посетил еще?
С цветами, сердцем просветленный,
спеши к Отцу, в его святилище.

Неси весь пыл своих хвалений
ему, Истоку Добродетели.
Избавиться от возрождений —
есть благо высшее на свете ли?

Едва в ярчайших переливах
сверкнет Арурская Жемчужина,
Тебе овеет душу радость,
и будет боль обезоружена.

ТИРУНАВУККАРАСУ СВАМИ (АППАР)

* * *

Как я спасу свой бренный остов?
Мне ярость раздирает грудь.
Смогу ли я, черпак дырявый,
хоть каплю блага зачерпнуть?
Лягушка я в змеиной пасти.
Закрыт к освобожденью путь.
О повелитель Оттрийура!
Моей опорой верной будь!

Душа моя — груженный гневом
до полузатопленья плот.
Весло — рассудок. Вожделенье —
скала среди бурлящих вод.
Кто, средоточье милосердья,
меня от гибели спасет?
О повелитель Оттрийура!
Ты мой единственный оплот!

* * *

Отрадно ви́ны чистое звучанье,
отраден свет луны,
И южный ветерок, и ожиданье
расцвета в дни весны,
И над прудом пчелиное жужжанье,
и сладостные сны,—
Отрадней тень от ног Отца — да будем
мы ей осенены!

* * *

Напрасно в священном потоке свершать омовенье,
На мыс Кумари́ отправляться — излишнее рвенье.
Лишь тот обретет от страданий земных избавленье,
Кто славит Всевышнего — имя его и веленье.

Пустое занятие — веды бубнить тихогласно
И слушать, как шастры читают,— поверьте, напрасно.
Лишь тот обретет избавленье, чье сердце согласно
С Всевышним,— о нем помышляет вседневно, всечасно.

Напрасно подвижничество и обитель лесная,
Напрасно глазенье на небо, еда немясная.
Спасется лишь тот, кто не знает покоя, взывая
К Всемудрому, только его одного признавая.

СУНДАРАМУРТИ СВАМИ

* * *

Жизнь — майя. Все мы станем прахом —
таков закон судьбы великий.
При виде моря возрождений
мы все трепещем, горемыки.

Возвысим же хвалебный голос
в честь Кетарамского владыки,
Пред чьим могуществом склонились
Каннан и сам Четырехликий.

МАНИККА ВАСАХАР

* * *

Он — веда, Он — и приношенье.
Победа Он и пораженье.
Он — истина и ложь, всё Он:
И свет и тьма, и явь и сон.
Он — счастье, Он же — и несчастье.
Он — целое, и Он — двучастье.
Он — избавитель от земных
Мучений и повинник их.
Мы для него, светлеют думы,
Готовим порошок куркумы.

* * *

Натянут лук, трепещет тетива.
Три крепости побеждены, едва
Начался бой,— и торжествует Шива.
Лети, унди!

Не две, не три — всего одна стрела,
И спалены три крепости дотла.
Нам бог явил пылающее диво.
Лети, унди!

Он сделал шаг — и под его пятой
Обломки колесницы боевой.
Покаран враг, глумившийся спесиво!
Лети, унди!

* * *

Без страха малейшего вижу
змеи ядовитой извивы,
Без страха малейшего вижу
людей, что коварны и лживы,

И только слепцы-инобожцы,
    не чтущие грозного Шивы,
Владыки Тиллейского храма
    внушают мне страх справедливый.
Без страха малейшего вижу
    на солнце меча переливы,
И робостью душу не полнит
    красавицы взор горделивый,
Но те, кто взирают бесстрастно
    на танец косматого Шивы,
Владыки Тиллейского храма,
    внушают мне страх справедливый.

АУВЕЙАР (IX в.)

ИЗ КНИГИ «ПРАВЕДНЫЙ ПУТЬ»

ПОСВЯЩЕНИЕ БОГУ ГАНЕШЕ

Молоко, прозрачный мед, патока, горох —
Подношу тебе я смесь лакомств четырех.
Помоги же мне постичь, бог слоноволикий,
Наш язык родной великий.

ИЗ КНИГИ «СЛОВО ЗРЕЛОСТИ»

* * *

Чуть пруд пересох — и тотчас разлетается птичь.
Чуть с нами несчастье — неверных друзей не настичь.
Друзья да заимствуют стойкость и верность у лилий,
Растущих на дне в изобилье.

* * *

Кто духом высок — и в паденье своем величав.
Кто низок — опустится ниже, совсем измельчав.
Кувшин золотой всё в цене — и разбитый — на рынке.
На что нам обломки от крынки?

* * *

Весь в лотосах — пруд привлекает к себе лебедей.
Приманчива мудрость чужая для мудрых людей.
Злодеев злодейство влечет. Так отрадно воронам
Кружить над костром похоронным.

* * *

Укрылась в кустарнике кобра, свернувшись клубком.
А полоз спокойно ползет по дороге... Тот, в ком
Нечистая совесть,— пугается каждого взгляда.
Достойному — честность ограда.

* * *

Не жди воздаянья, благие деянья верша.
Награду сама обретет непреложно душа.
Вернется плодами — что пальмы корнями впитали.
В убытке ты будешь едва ли.

* * *

Неправедных гнев им самим причиняет урон.
Сердца их — что камень, который навек расщеплен.
А праведных гнев — что озерная гладь: зацепила
Стрела — и опять все, как было.

ПОЭЗИЯ НА НОВОИНДИЙСКИХ ЯЗЫКАХ И ФАРСИ

ИЗ «ЧАРЬЯ-ГИТИ»

1 Пять ветвей на чарующем дереве-теле.
Время в мыслях царит, в этом зыбком пределе.
Утвердишь Несказанное знанием точным,
И Великое счастье окажется прочным.
Величайшие подвиги тоже бесцельны,
Если радость и горе людское смертельны.
Опыт мнимый навеки отсечь постарайся!
Окрылен пустотой, на нее опирайся!
Я провидел незримое в явственных видах.
Возносил меня вдох и поддерживал выдох.

17 Тыква-солнце; струною луна послужила;
Зазвучала, запела великая жила.
Несравненная лютня запела нежнее:
Пустота многострунная чутким слышнее.
В раздвоении гласные вторят согласным;
Лучший слон восхищен единеньем прекрасным.
И поют, осчастливлены дланью нетленной,
Тридцать две драгоценных струны во вселенной.
Пляшет йог, неустанно богине внимая,
Но трудна Просветленному пляска такая.

19 Бытие и нирвана, как два тамбурина;
Дух с душою — кимвалы в руках властелина.

Бубнам бить, ликованью в сердцах не кончаться;
Канха с Неприкасаемой вышел венчаться.
В этом браке свое распознал он рожденье,
Потому что приданое — освобожденье.
Возвещает любовь, и любовь знаменует:
Тьма ночная навеки в объятьях минует.
Ею, Неприкасаемой, вознагражденный,
Восприемлет он смысл, до рожденья врожденный.

21 Ночью мышь залезает высоко-высоко.
Хочет мышь полизать сокровенного сока.
Мышь — дыханье твое. Ты убийца дыханья,
Чтобы впредь не сновать ему средь мирозданья.
Повредив самому существу и основе,
Мышь-дыханье грозит нашей сладостной нови.
Мышь во мраке чернеет, ночами незрима,
В небесах мельтешит, вожделеньем гонима.
Умертви грызуна, покорись наставленью,
И навеки положишь конец вожделенью.
Усмири грызуна ради вечной основы,
И навеки спадут вековые оковы.

22 Бытие и нирвана — заманчивый морок.
Ты в тенетах своих же! Так разве ты зорок?
Мы навеки затеряны в непостижимом;
Умирая, рождаемся в неудержимом.
Жизнь и смерть лишены различительных знаков.
Для живого и мертвого путь одинаков.
Если смерти боишься ты, бойся рожденья!
Может быть, заклинанья сильней наважденья?
В этом мире подлунном и в мире небесном,
Постарев, умирают в обличье телесном.
Жизнь к рожденью ведет или к жизни рожденье?
Перед этим вопросом бессильно сужденье.

31 Исчезает сознание, дух исчезает;
Затерявшись в неведомом, «я» ускользает.
Бубном будит прозренье немые просторы;
Аджадева парит безо всякой опоры.
Серебрится луна, приподняв покрывало.
С ней сознанье, лишенное чувства, совпало.

Наконец, пересилив природу людскую,
Овладев пустотой, в пустоте торжествую.
Так, не ведая больше ни страха, ни гнева,
Навсегда бытие превозмог Аджадева.

Человеческий разум коснеет в ничтожном,
И спасения нет в благочестии ложном.
Не для разума смысл, до рожденья врожденный,
Несказанным от суетных чувств огражденный.
Смысла нет в поученье твоем неустанном.
Так зачем же беседовать о несказанном?
Обесценено ложью любое реченье.
Взял глухого немой на свое попеченье.
Чем богат Победитель, проникнутый светом?
Лишь глухому немой повествует об этом.

Разрастается древо-сознанье годами.
Ветви — чувства. Желанья зову я плодами.
Крепок ствол, нашим благом и горем взращенный,
Так что может срубить его лишь просвещенный.
Утомляется тот, кто рубил неумело,
И бросает, глупец, непосильное дело.
Кроме неба, топор никакой не пригоден.
Беспредельный покров пустоты превосходен.
Наилучший топор — многомудрое слово.
Лишь бы только не выросло дерево снова!

ШЕЙХ ФАРИД

* * *

Давно просватана душа, все ближе скорбный миг,
И ангел смерти к ней придет и свой покажет лик.
Он кости тела раздробит, души непрочный дом,
Так чаще говори душе, что жить недолго в нем.
Душа пойдет за женихом, неотвратим уход.
Кого она в прощальный час за шею обоймет?
О, как ты узок, мост Сират,— тончайший волосок!
Фарид! Вставай и уходи, когда наступит срок.

* * *

Смотри, Фарид: года прошли, стал сахар горше яда.
Лишь Бог тоску мою поймет, он помощь и отрада.

* * *

Фарид! Прекрасные глаза пленяли все сердца,
А нынче в черепе пустом — гнездо и два птенца.

* * *

Фарид! Не попирай земли надменною стопой.
Пока ты жив — земля внизу, а умер — над тобой.

* * *

Фарид! Любимый далеко, густая грязь повсюду,
Но пусть я вымокну насквозь — в разлуке жить не буду.

* * *

Фарид! Нам патока сладка, душистый сладок мед,
Но с ними сладость божества в сравненье не идет.

* * *

Фарид! Я с Богом разлучен, я в горе небывалом.
Тоска матрасом служит мне, страданье — одеялом.

* * *

Фарид! Кто возводил дома, кто выстроил дворец,
Но всем, кто суете служил, пришел один конец.

* * *

Фарид! Здесь ангел смерти был, ограбил дом души,
Глаза-светильники задул и прочь ушел в тиши.

* * *

Фарид! Роскошные дворцы бессмертья не дают.
Не забывай, что недалек последний твой приют.

* * *

Фарид! Наш долг — творить намаз, ходить в мечеть
пять раз,
А кто не ходит — подлый пес! Он не пример для нас.

* * *

С молитвы день начни, Фарид, Господь молитву любит,
А тем, кто Господа не чтит, пусть головы отрубят.

* * *

Ту голову, что пред Творцом склониться не желает,
Швырнем, как топливо, в очаг,— пускай в огне пылает.

* * *

Фарид! Как поле под посев, разгладить душу надо.
Тогда не будут ей грозить огонь и муки ада.

* * *

Кто пуповину отрезал, надрезать мог и шею.
Тогда я жизни бы не знал — и горя вместе с нею.

* * *

Слабеет зрение и слух, зубов лишился я,
И тело бедное кричит: «О, где же вы, друзья?»

* * *

Фарид! Наш мир — прекрасный сад, и в нем душа, как птица.
Но бьет прощальный наубат, пора поторопиться!

* * *

Фарид! Не ты один в беде, с горы на мир взгляни:
Во всех домах кричит беда и мечутся огни.

* * *

Фарид! Опять, как злобный пес, визжит и лает плоть,
Но крепко уши я заткну, чтоб искус побороть.

* * *

О ворон, плоть мою терзай, не трогай только глаз,
Чтобы возлюбленного лик в глазах моих не гас.

* * *

Мы подкрепляемся в пути водою и зерном,
С надеждой мы явились в мир, надеждой мы живем,
Но ангел смерти к нам пришел и двери отворил,
От милых братьев нас увел в безмолвие могил.
Смотри — вот четверо живых усопшего несут.
Фарид! Лишь добрые дела смягчают Божий суд.

* * *

Фарид! Ужасен лик того, кто позабыл Творца.
Его мученьям даже смерть не принесет конца.

* * *

Молитва вечером — цветок, а на рассвете — плод.
Тому, кто не проспал рассвет, Всевышний воздает.

* * *

Терпенье — лук твоей души, терпенье — тетива,
Стрела терпенья прянет в цель по воле божества.

* * *

Фарид! Груз дервиша тяжел, немногим по плечу,
Мне Бога так не полюбить, как я любить хочу.

* * *

Полсотни алчущих ловцов, а птица лишь одна,
И если не поможет Бог, она обречена.

* * *

Ты ближнего не осуждай: пред Богом все равны.
Чужих сердец не огорчай, — поверь, им нет цены.

* * *

Фарид! Прекрасный лал души воистину хорош.
Чужую душу береги, и ты свою спасешь.

ЛАЛ-ДЭД

* * *

‹1› Как в мир пришла я, так ушла, когда настал мой срок.
На жердочке моя душа, кругом — речной поток.
В кармане шарю я рукой, — нет ни полушки там.
Так что ж теперь за перевоз я лодочнику дам?

* * *

‹2› Замкнула тела своего я девять окон и дверей.
К моей душе подкрался вор, — позвать на помощь ли скорей?
В темнице сердца я его связала и, воскликнув: «Ом!»,
Спустила шкуру я с него святым заклятьем, как бичом.

* * *

‹3› Я лодку через океан тяну за тоненькую нить.
Услышит ли меня Господь, он мне поможет ли доплыть?
Сырая глина — мой сосуд, я расточаюсь, как вода.
Ужели мой заблудший дух в свой дом не вступит никогда?

* * *

<4> Мгновенье пришло — я поток увидала бегущий,
Мгновенье прошло — нет уже ни воды, ни мостков.
Мгновенье пришло — и я куст увидала цветущий,
Мгновенье прошло — нет уже ни шипов, ни цветков.

Мгновенье пришло — вижу: пламя горит и дымится,
Мгновенье прошло — нет ни дыма уже, ни огня.
Мгновенье пришло — и пандавов я мать, я царица!
Мгновенье прошло — и горшечник простой мне родня...

* * *

<5> Пускай погаснет день и тьма сойдет ночная,—
С небесной высотой сольется даль земная.
Пусть Раху-демона глотать начнет Луна,—
С Извечным я сольюсь, во всем растворена.

* * *

<6> Приходят ниоткуда, уходят в никуда,
Но днем и ночью надо им двигаться всегда.
Кто б ни пришел — остаться здесь не сумел никто.
Так что же стало с чем-то? Ничто, одно Ничто...

* * *

<7> Иные бодрствуют, хотя вкушают сна отдохновенье,
Иные крепко спят, хотя являют бдения черты.
Иных нечистыми зову, хотя свершают омовенье,
Иных несуетность я чту, хотя живут средь суеты.

* * *

<8> Отшельник по святым местам, чтобы с Единым слиться, бродит,
Начало ищет всех начал, но самого себя находит.
С Единым тождество поняв, в безверии ты не косней:
Чем дальше от травы стоишь, тем кажется трава свежей.

* * *

<9> Ты один — земная твердь, ты один — небесный свод,
Ты, и только ты,— эфир, ты — закат и ты — восход,
Ты есть жертва божеству: ты — сандал, вода, цветы.
Как Тебе воздать Тобой, если все, что есть, есть Ты?

* * *

<10> Всего лишь голый камень — храм, всего лишь камень — бог,
Одно и то же вещество — все с головы до ног.
Кому же молишься ты, жрец? И что же ты познал?
Свой разум лучше сочетай с началом всех начал!

* * *

<11> Главой державы можешь стать, но ты не обретешь блаженства,
И разум не насытишь ты, другому передав главенство.
Становится бессмертным дух, лишь отказавшись от желанья.
Живешь, а плоть как бы мертва: вот в этом — истинность Познанья.

* * *

<12> Кто одолел Желанье, Страсть, Гордыню, кто — подвижник строгий —
Разбил, сражаясь, этих трех грабителей с большой дороги,
Тот настоящего нашел владыку, стал ему слугой,
Тот понял: мир — всего лишь прах, в нем нет отрады никакой!

* * *

<13> С моей души слетела скверна, как пыль с зеркального стекла,
И, проясненная, признанье в людской семье я обрела.
Когда увидела я рядом всепоглощающее То,
Я в нем все сущее постигла и поняла, что я — ничто.

* * *

<14> Я видела, как умирает от голода мудрец-знаток,
Он был бессилен, как гонимый дыханьем осени листок.
Я видела, как избивает слуг-поваров богач-глупец,
С тех пор от суетного мира я отказалась наконец!

* * *

<15> Мы говорим, что мысль нова и что река нова,
Что месяц, вновь взошедший, нов,— но это все слова!
Все те же — месяц, мысль, река, и только я нова:
Очистила я дух и плоть от скверны естества!

* * *

<16> Кто душой от людей и дерев не отличен,
Чьим сознанием двойственность слита в одно,
Кто и к горю и к радости глух и привычен —
Зрить Владыку Вселенной тому суждено.

* * *

<17> Кто единого знанья постиг существо —
Тот свободу при жизни обрел наконец.
Сеть сансары запутана и без того,
Сотни новых узлов к ней привяжет глупец.

* * *

<18> Были скрыты во мгле слепоты и твои и мои черты.
Умирала не раз обреченная плоть моя.
Я не знала, Владыка, что ты — это я, а я — это ты,
И безумие спрашивать — кто здесь ты? кто здесь я?

* * *

<19> Шива, Вишну, Кришна, Джина, тот, кто в лотосе рожден,
Кто б ты ни был — на коленях пред тобой раба твоя.
О, каким бы из бессчетных ни назвался ты имен,
Помоги мне стать свободной от болезни бытия!

* * *

<20> Не нужны ни вода, ни куренья, ни куш, ни кунжут,
Если слово учения жизнь обрело в человеке.
Те, кто Шивы взыскуют с любовью,— блаженство найдут
И, в него погрузившись, покинут сансару навеки.

* * *

<21> И чихает, и плачет, и кашляет, и смеется — Он.
Омовенья свершает, к святыням спешит на поклон — Он.
Днем и ночью, зимою и летом всегда обнажен — Он.
Так познай же его, Он — в тебе, Он во всем, это — именно Он.

* * *

<22> Кто — покинул дома, кто — лесное жилье,
Но без духа, увы, невозможно уйти в забытье.
Будь таков, как ты есть. Исчисляя дыханье свое,
В постижении сути учения дли бытие.

* * *

<23> Тот, кто меч обнажает,— взойдет на престол.
Все обряды свершившему — Небо за то суждено.
Наставлениям гуру внимающий — истину мира обрел.
По деяниям каждого — каждому будет дано.

* * *

<24> О душа моя, буду стенать о тебе.
Этот призрачный мир возлюбив, ты покинула область высот.
Не оставят тебе даже тени железного якоря в зеркале вод.
Почему ты забыла природу свою средь житейских забот?

* * *

<25> В жасминовый сад души своей Лалла вошла.
Там Шива и Шакти соединились у жасминового ствола.
Там в чистые воды бессмертия погрузилась я.
Там погребу себя, недосягаемой стану для бытия.

* * *

<26> Срази чудовищных духов — страх, гнев, страсть!
Не то самому придется под стрелами чудищ пасть.
Кинь им пищу своей души, отрешенностью накорми.
Познай на собственной шкуре, сколь велика их власть!

* * *

<27> О душа, не терзайся мирской суетой!
Бесконечный о нуждах твоих позаботится сам.
Не печалься о пище, вотще не томись нищетой, —
Крик о помощи только Ему воссылай к небесам.

* * *

<28> Наставленье дал мне гуру, лишь одно — на времена.
«Внутрь души войди,— сказал он,— и познаешь все сполна».
Это слово душу Лаллы пробудило ото сна,
С той поры она танцует, круглый год обнажена!

* * *

<29> Пьянея от вина речей своих, нимало
Не верила в него, и все ж пила, пила;
И вот, познав себя, мрак из души изъяла
И на свету его в куски изорвала.

* * *

<30> Кто цветочница? Кто цветочник?
В пуджу какие ему принести цветы?
Для окропленья который подходит источник?
Единство с Шивой каким заклятьем вызовешь ты?

Любовь — цветочница, дух — цветочник.
Принести ему в пуджу должно преданности цветы.
Для окропленья подходит лунный источник.
Заклятьем молчанья единство с Шивой вызовешь ты.

* * *

<31> Кто спит? Кто бодрствует во сне?
Где озеро, что вечно иссякает?
Что в дар для Шивы подойдет вполне?
Каких высот достигнешь после мает?

Дух спит, и он же бодрствует во сне.
Пять чувств — то озеро, что вечно иссякает.
В дар подойдут благодеяния вполне.
Достигнешь Шивы после долгих мает.

* * *

<32> Звери, камни, пламя, зелень — между ними нет различий.
Суть вода, хотя различны зренью — влага, снег и лед.
Все становится единым в свете истинного духа.
Бесконечным, сущим в Шиве, мир сознанью предстает.

* * *

<33> Пусть глумятся слепцы надо мною — в душе тишина,
И печаль сокровенных глубин не достала.
Если Шиве доподлинно я преданна,
Осквернится ли пеплом зерцало?

ВИДЬЯПАТИ

⟨1⟩ Хорошо ненаглядной купаться.
Кто посмеет за сердце свое заступаться?
Мрак, напуганный полной луною;
Плачут волосы черные над белизною.
Тело влажной обтянуто тканью,
И любовь ненароком грозит созерцанью.
Но, подобные птицам чудесным,
Груди словно торопятся к сестрам небесным.
Ненаглядная рук не разжала.
Еле-еле беглянок она удержала.

⟨2⟩ Под защитой колючек цветок расцветает,
И, тоскуя, пчела над жасмином летает.
Приближается, видит сокровище сока:
Сладок мед сокровенный, погибель жестока.
Ты, цветок медоносный, скупишься, как видно.
И тебе над голодным глумиться не стыдно?
День за днем исцелить невозможно томленья,
И нигде без тебя не найти утоленья.
Ты мне скажешь: такая болезнь беспричинна?
Он умрет, и в убийстве ты будешь повинна.

⟨3⟩ Жены другие прельстительны тоже.
Ты, словно душа, для него всех на свете дороже.
Даже мгновенная губит разлука.
По-твоему, вечно продлится подобная мука?
Знаешь, разумница, медлить не надо!
Весна не навек наступает, минует услада.
Темной одеждой окутано тело,
Но только виднее луна, если в небе стемнело.
Светит луна для влюбленного взора.
Лучистую амриту выпьет, ликуя, чакора.

⟨4⟩ «Пасет он коров, как другие подпаски,
О шашнях своих распускает побаски.
Пастух пастухом остается, бесспорно,
И слушать о нем горожанке зазорно.

Не нужен мне Кришна, любитель пастушек,
В деревне пускай соблазняет простушек!
В деревне раздолье любому невеже.
А где воспитанье? Достоинство где же?
Коров он доил, вычищал он коровник.
Сама посуди, разве это любовник?»
[Поэт говорит: «Остеречься нелишне!
Узнаешь ты цену великому Кришне».]

<5> Предпочел бы другой мне другую дорогой,
Потому что красавиц поблизости много.
Сколько долгих веков я в печали молилась,
Лишь сегодня, счастливая, возвеселилась.
Нет, подружка, я счастья такого не стою.
Лотос видит луну, облюбован луною.
Он в своей плетенице предстал мне, блистая.
Божества недостойна пастушка простая.
Повстречались нежданно-негаданно взгляды,
И сподобилась я несказанной отрады.
Возвещает поэт: «Красота совершенна.
И печаль на земле для прекрасной мгновенна».

<6> Плелась плетеница в покое моем одиноком.
Одежда моя соскользнула с груди ненароком.
И рядом со мною возлюбленный мой оказался.
Нежданно-негаданно мой узелок развязался.
Не знаю, как мне рассказать о сегодняшнем чуде.
Руками своими поспешно прикрыл он мне груди.
Откликнувшись, тело мое запылало, не скрою.
И я поддалась, не владела я больше собою.
В меня господин мой прекрасный мгновенно вселился.
Он, мною владея, со мною безудержно слился.
Таиться не стану: отрадно мне было при этом.
Так лотос впервые цветет упоительным цветом.

<7> Одежды упали, отброшен был стыд нестерпимый;
Собою мою наготу прикрывал мой любимый.
Зажмурилась я и светильник во тьме погасила.
Пчела ненасытная в лотосе меду вкусила.
Бесстыдна любовь, словно чатака-птица весною.
Любовь пламенеет, зажженная искрой одною.
И вспомнить мне стыдно: объятия были мне сладки!
В нем все необычно: обличие, стан и повадки.
Дрожит мое сердце. Оно разорваться готово.
Я больше не смею сказать ни единого слова.

<8> Стыжусь я моей простоты непростительной.
Я ночь провела в неприступности мстительной.
Коснулось души моей чувство отрадное,
И сразу же солнце взошло беспощадное.
При солнце своей наготы застыдилась я,
В досадной ошибке своей убедилась я.
Схитрить я задумала, неумудренная.
Осталась теперь я ни с чем, разоренная.
Поэт говорит: «Заблужденье плачевное!
Не в пору твое воздержание гневное».

<9> Видишь, Ма́дхава! С нею победа сдружилась.
Безнаказанно деву ты мучил, теперь она вооружилась:
Над бровями клинок, блещут серьги-секиры.
Юница в броне благовонной.
Взоры — стрелы; не брови, нет, луки!
Страшись красоты непреклонной!
Возвещает поэт: «Перед этим сраженьем
Как блистает прекрасная вооруженьем!»

<10> Любовь голодна при своем пробужденье.
Женщине ты не мешай разделить наслажденье.
Не жадничай, следуй благому наказу:
Есть не пристало руками обеими сразу.
Красавицу пыл неразумный смущает.
Кришна! Терпеньем погонщик слона укрощает.
Она покорилась моим уговорам,
И не пугай ты прекрасную грубым напором!
Поверь мне, насилие здесь невозможно.
Нежностью нежность попробуй прельстить осторожно.
Взаимная страсть порождает усладу.
Лучше оставь ее, в ней замечая досаду!
Без лишних объятий вам лучше расстаться.
Выплюнет Ра́ху луну, чтобы тьмы наглотаться.
Поэт говорит: «Не прельщайся пороком!
Бережно пчелы в цветах наслаждаются соком».

<11> Ей больно? Пускай! Только ты не тревожься нимало!
Цветка никогда никакая пчела не сломала.
Истину, Кришна, запомни простую:
Мольбам ты не верь, или ночь пронесется впустую.
Пей сладостный сок, и усладу она испытает.
Любовь, как луна, в наслажденье таком возрастает.

<12> Я в ненастье, во мраке дневном согрешила,
День за ночь принимая, к нему поспешила.
Дерзновенной любви помогало ненастье.
Облака прикрывали постыдное счастье.
Опыт мой несказанный при этом отраден:
Словно слон дорогой мною днем был украден.

<13> Лицо застилают ей волосы темной волною,
Как будто неистовый Раху прельстился луною.
Цветам рассыпаться в прерывистом этом сиянье;
Так Ямуна с Гангой свое торжествует слиянье.
В слиянии полном ни тело, ни дух не стыдится;
Верховною пляской спешит госпожа насладиться.
Блестят на лице ненаглядной жемчужины пота:
Ей жемчуг дарован любовью,— какая щедрота!
Целует любимого, счастьем своим опьяняясь;
Луна упивается лотосом, с неба склоняясь.
Свисая с груди, плетеница становится краше:
Белей молоко в золотом углублении чаши.
Над бедрами пояс. Торжественный звон колокольцев:
Любовь совершается. Бог победил богомольцев.

<14> На свет не родись — будешь плакать, страдать и стыдиться,
А если родишься, не нужно девицей родиться.
Родишься девицей — рождайся девицей холодной.
Рождаешься страстной — тогда не зовись благородной!
И ночью и днем заклинаю всесильного бога:
Не дрогнуть бы только мне, жить бы мне чисто и строго.
Мне надобен муж, наделенный дарами благими.
При этом пускай не прельщается муж мой другими!
А если прельстится, пускай не гнушается мною.
Гораздо разумней своей украшаться женою.
Поэт говорит: «В этом двойственном мире, как в море,
Кто с жизнью расстаться готов, тот спасается вскоре».

<15> Я глаза подвела благолепия ради.
Не скрывают морщин моих жидкие пряди.
Разукрасить пытаюсь цветами седины,
Но при этом как будто виднее морщины.
Разве так уж давно я была молодая?
Я смотрю на себя, молчаливо страдая.
Как мешок продырявленный, дряблая кожа.
Где моя красота? На кого я похожа?
Бестелесный не брезгует стынущей кровью.
Я на старости лет одержима любовью.

<16> Обогатил я наследников
грешным своим достояньем.
Сам никому я не надобен,
смерть мне грозит воздаяньем.
Кришна, спаси! Пособи мне стопами-челнами!
В море греховном затерян я,
злобными пойман волнами.
Сроду тебе я не кланялся,
жил я любовью лукавой;
Амритой чистою брезговал,
сгублен богатством-отравой.
Слушай поэта внимательно:
«Это пустые потуги!
Не нанимаются вечером
к новым хозяевам слуги».

<17> Новое в новом Вриндаване:
даже цветы-новоселы.
Новые ветры весенние,
вновь опьяненные пчелы.
Новому юноше — мир обновленный.
В роще, как пьяный, над Ямуной
снова блуждает влюбленный.
Новой листвой опьяненные,
новые, новые птицы;
В новом своем упоении
новые в рощах юницы.

С новым царевичем новые
сверстники сонмом беспечным.
Снова поэт опьяняется
праздником новым и вечным.

ЧОНДИДА́Ш

Радха — сводне Бора́и

<1> Кто на свирели играет у Джамны, Бораи?
Кто там в заречных лугах на свирели играет?
Руки дрожат, растревожено сердце свирелью,
видишь, очаг задымил и лепешки сгорели.
Кто он, Бораи, играющий там в отдаленье?
Я б, как рабыня, упала пред ним на колени!
Кто он, Бораи, наполнивший душу отрадой?
Хочет меня наказать или жаждет награды?

Сладко рыдаю и слез моих не утираю,
жизнь я теряю от звуков свирели, Бораи!
Сердце терзая своей сладкозвучною трелью,
это сын Нанды играет вдали на свирели.
Птицей к нему не могу полететь легкокрылой.
Если б земля, разверзаясь, несчастную скрыла!
В чаще огонь запылает — он виден, Бораи!
Углем в гончарной печи — я незримо сгораю.
Кришна прекрасный виновник такого горенья...
...Это пред Ба́шоли спел Чондидаш со смиреньем...

* * *

<2> Сердце, любовью больное!
Радхе-печальнице, Радхе-молчальнице
чуждо теперь все земное.
Взглядом пылающим и немигающим
смотрит на облако ныне.
Жжет себя голодом, охряным золотом
плечи одев, как йогиня.
Лилии вынула, косы раскинула,
черные волосы гладя.
Вскинется — с трепетом, с ласковым лепетом
в небо высокое глядя.
Нежную, томную шеями темными
пара павлинов пленяет...
«Смуглого встретила — сердцем приветила!» —
вам Чондидаш объясняет.

Сводня — Радхе о страданиях Кришны

<3> Выслушай, Радха, старухино слово!
С вестью печальной явилась я снова.
Мука его на глазах возрастает,
что я ни делала,— тает и тает.
Скинул одежды, кудрей не расчешет,
плоть ни едой, ни водой не потешит.
Был золотистый, а ныне — как сажа,
имя твое повторяет он в раже.
Смотрит в пространство, речам не внимая,
как деревянная кукла немая.
Жив ли, недвижный, подобный утесу?..
Хлопка комок поднесла к его носу —

дышит, но жизни почти не осталось.
Ты поспеши, коли есть в тебе жалость!
«Травами лечат больных лихорадкой,—
молвит поэт,— он излечится Радхой!»

Радха — Кришне

‹4› Внемли ты просьбе великой!
В смертном забвении, в каждом рождении
будь мне отныне владыкой.
Плоти стремлением, духа велением
стала рабой твоей верной.
Этим все сказано — я с тобой связана
узами страсти безмерной.
Близко ль, далёко ли — в мире иль в Го́куле —
разве найду я другого?
Слышу ответное слово приветное
лишь от тебя, дорогого!
Думано, меряно,— сердцем проверено,—
ныне владею я кладом.
Место отрадное, место прохладное
найдено с ласковым рядом.
Слабую, льнущую, милости ждущую
не отвергай, тороватый!
Думано, меряно: сердце потеряно,
сердце возлюбленным взято.
Если мгновение я в отдалении,
тело душа оставляет!..
«В сердце расколотом станет он золотом!» —
с чувством поэт добавляет.

Радха — подруге

‹5› Слушай внимательно, слушай, подруга:
страсть тяжелее любого недуга.
Пламенем стала любовь, а не светом —
сколько я выдержу в пламени этом?
Как головня, от огня я чернею.
Злая любовь, что поделать мне с нею?
Льется из глаз моих горькая влага.
Кто говорит, что любовь — это благо?!
Боль причинив мне и сделав несчастной,
словно Творец, она стала всевластной.
Молвлю я: «Этим Творцом всемогущим
ты осчастливлена будешь в грядущем».

<6> Страсти проклятие, смерти объятие —
пламенем жгут нас горячим.
Оба понятия — словно заклятие,
смех заменившее плачем.
Боль — словно петля тугая.
Птицею взвиться бы, вдаль устремиться бы,
прочь от любви убегая!
Милым полюблена и приголублена,
в пламя я брошена ныне —
сердце погублено, тело обуглено,
вся я черна, как пустыня.
Боль эта минет ли, сердце покинет ли?
Ливень глаза иссушает...
«Выживет, сгинет ли? Пеплом остынет ли?..» —
так Чондидаш вопрошает.

КАБИР

* * *

Метнул с любовью живою
учитель стрелу из лука,
И в сердце мое стрелою
вонзилась его наука.

* * *

Из всех напитков что хмельнее,
о Рама, чем напиток Твой?
Лишь каплю капнешь в чашу сердца —
и станет чаша золотой.

* * *

Кабир сказал: «Вино познанья сладко,
но пить его не всем дано.
Учителю мы платим головою
за это сладкое вино».

* * *

Ты видишь: хлеб любви я продаю,
купи кто хочет,— честно я торгую.
Хлеб — на весах. Ты голову свою
навек на чашу положи другую.

* * *

Любовь на поле не растет; цены
ей нет,— не продает ее торгаш.
Простолюдин и царь пред ней равны:
любовь получишь, если жизнь отдашь.

* * *

Дом далеко, бесконечна дорога,
тягот и горестей много.
Скоро ль, святые, смогу я увидеть
труднодоступного Бога?

* * *

Трудна, длинна дорога в дом,
в котором мы Любовь найдем.
Пожертвуй жизнью,— в этот дом
нельзя прийти иным путем!

* * *

Уставов мертвых проповедник,
идет в объятья смерти мир.
Любви бессмертной собеседник,
из чаши жизни пьет Кабир.

* * *

Мир — ледяной дворец, он красотою манит,
Но солнышко взойдет — и он водою станет!

* * *

Сей мир — слепец с ужасною судьбой.
Сравню его с коровою слепой:
Теленок у нее подох, но сдуру
несчастная теленка лижет шкуру.

* * *

Сей мир — непрочный домик из бумаги,
застряли в нем жильцы — слепцы-бедняги,
Здесь и Кабир, но он, стремясь ко благу,
сумеет выйти, разорвав бумагу.

* * *

Мир — каморка, а каморка — в саже.
Счастлив, кто, пойдя путем надежды,
Вышел из каморки этой, даже
не испачкав краешка одежды!

* * *

Цветущее — увянет; взошедшее — зайдет;
Построенное — рухнет; рожденное — умрет.

* * *

Я один, а нападают двое.
Что мне даст бесстрашье боевое?
Коль от смерти обрету спасенье,
старость победит меня в сраженье.

* * *

Уходят дни, и стала жизнь короче.
Сей мир — вода, а люди — пузыри...
Мы исчезаем, словно звезды ночи
при появлении зари.

* * *

Оттуда к нам никто еще не приходил,
чтоб я у них спросил: «Как там живется?»
Напротив, все идут во глубину могил,
на мой вопрос никто не отзовется...

* * *

Вы бьете в барабан у царских врат,
литавры ваши в городе гремят,
Но знайте, что от одного удара
ни города не станет, ни базара.

* * *

Ты не гордись дворцом с коврами
и куполом под синевой,
Затем, что завтра ляжешь в яме
с травой над мертвой головой.

* * *

Не возомни, что только ты хорош,
исполненный презрения к другим.
Кто может предсказать — где ты умрешь?
Где ты сгниешь? Под деревом каким?

* * *

Что хочешь делать, делай побыстрей,
что хочешь делать быстро, сразу делай,
Не то, смотри, над головой твоей
нависнет время тяжестью созрелой.

* * *

«Мое» и «я» — беда. Их уничтожь скорее:
«Мое» — цепь на ногах, а «я» — петля на шее.

* * *

Кому чужая по сердцу жена,
того погубит ложная услада:
Как сахар, вкусной кажется она,
но этот сладкий сахар полон яда.

* * *

Страсть, любовь к чужой жене —
нет погибельней стихии!
Жизнь есть море. А на дне
жены — чудища морские.

* * *

Топчут землю,— это вынести может лишь земля,
режут землю,— это вынести могут лишь поля.
Только тот, в ком вера чистая и любовь жива,
может вынести суровые, резкие слова.

* * *

Не добронравен тот, кто источает мед,
сладкоречивому, мой друг, не верь отныне:
Сначала он тебе в реке укажет брод,
чтоб утопить потом тебя в речной стремнине.

* * *

Нельзя и правду возлюбить, и ложь,
    и голос доброты, и денег звон.
Не будь на жалкий барабан похож,
    в который ударяют с двух сторон.

* * *

Как бы зрачок в глазу —
    Господь в душе людской:
Искать Его вовне —
    безумье, труд пустой.

* * *

Скажи, мулла, зачем на минарет залез?
    Иль, думаешь, оглох всевышний — царь небес?
Того, кого зовешь ты громкою мольбой,
    ищи в своей душе, он должен быть с тобой.

* * *

Ни ласки, ни любви и ни духовной пищи
    повсюду не ищи, как милостыню — нищий:
Ты ласку и любовь твори в душе своей,
    а не вымаливай их у других людей!

* * *

Перебираешь четки, согреша,
    и всюду мечется твоя душа:
Она не ищет Истины желанной,
    она, как четки, стала деревянной.

* * *

Аскет гордился: «Я превыше всех!» —
    но, вожделея, совершил он грех.
Таких аскетов мне милей мирянин,
    чей ум гордынею не затуманен.

* * *

Нам не помогут брахманы беседами,
не нужен людям опыт их убогий.
Ужель они, опутанные ведами,
для нас отыщут верные дороги?

* * *

Попугай ученым стал нежданно;
в клетку посадили попугая;
Всех он поучает непрестанно,
собственных речей не понимая.

* * *

На пальму финиковую взгляни:
так высока и так горда!
Но птиц ты не найдешь в ее тени,
рукой не дотянуться до плода.

* * *

Деревьями простыми окруженный,
расцвел душистый, дорогой сандал.
Он отдал им свой запах благовонный,
он всех своим дыханьем напитал.

* * *

Добрый не утратит средь дурных
ни одной из добрых черт своих:
Ствол сандала пусть змея обнимет,—
запаха сандала не отнимет.

* * *

«Я родом высок»,— возгордился тростник,
но запах сандала в него не проник.
Не ценной его оказалась порода,
и был он сожжен, хоть высокого рода.

* * *

Дом, в котором не звучит хвала
совершившим добрые дела,
Мрачен, как кладбищенский приют:
Привиденья в доме том живут!

* * *

Прекрасен даже дряхлый, нищий дом,
в котором благо и любовь найдем.
Зато дворец, где дни текут в пирах,
лишенный блага, превратится в прах.

* * *

Из тучи любви надо мною
пролился поток дождевой,—
Душа, как цветок, распустилась,
и тело оделось листвой.

* * *

Лишь стволы, одетые листвой,
понимают вкус воды живой,
Но воскликнет дерево сухое:
«Шум дождя? Да что это такое?»

* * *

Я сжечь хочу себя, чтоб к небесам святым
мой дым поднялся над полями,
Чтоб Рама с высоты заметил этот дым,
и пролил дождь, и залил пламя.

* * *

Я, разыскивая Раму, потерял себя отныне:
Каплю, что попала в море, разве отыщу в пучине?

* * *

Ты один, Ты один у того,
у кого — никого, никого,
Но всего, но всего господин,
у кого — Ты один, Ты один.

* * *

Ничем я не владею: все, что есть,
Твоим, а не моим должны мы счесть,
Так разве мне дарить Тебе дано
то, что Твоим является давно?

* * *

Как сын любимый за родным отцом,
душа стремится за своим творцом.
Но, сунув сыну сласти зла, обмана,
отец от сына спрятался нежданно.
Увидел сын, что нет к отцу путей,
пока рука полна таких сластей,—
И выбросил, отверг их, как заразу,
и своего отца нашел он сразу.

* * *

Кабир поселился в том чудном краю,
куда не пробраться вовек муравью,
Куда не проникнут ни ветер, ни время,
где места не сыщет горчичное семя.

* * *

В лесу, куда не залетит и птица,
куда вступить и грозный тигр боится,
Куда закрыт и дню и ночи вход,—
в невидимом лесу Кабир живет.

* * *

Когда Кабир «скончался», кто заметил,
что больше нет среди живых живого?
Лишь Рама ласково Кабира встретил,
как своего теленочка — корова.

* * *

Я другом стал тому, кто всех мудрей,
но мудрость чья непостижима.
Его душа и воздуха быстрей,
и тоньше влаги, легче дыма.

* * *

Тяжелым Раму назову — солгу,
затем, что Раму взвесить не могу,
И легким Раму я не назову:
ведь я его не видел наяву.
Увидел бы, как рассказал бы вам?
Сказал бы, кто поверил бы словам?
Пусть будет он таким, каков он есть,
о нем ни повесть не нужна, ни весть.

* * *

Посмотри, как буря знанья повалила все заборы!
Рухнуло корысти зданье,— двери, стены и подпоры,
Рухнули столбы сомнений; рядом — себялюбья балка,
черепки дурных стремлений, скудоумия черпалка.
Дождь, сопутствующий буре, оросил сердца живые,—
солнце истины сегодня мы увидели впервые!

* * *

Господь одел господ в шелка, одел в дерюгу нищих слуг,
Одним — кокосовый орех, другим он дал горчайший лук.
Зачем ты хочешь пить и есть, о неразумная душа?
Ты делай благо,— только так жить можно в мире, не греша.
Разнообразные тела из глины вылепил гончар,
Украсил жемчугом одних, другим болезни дал он в дар.
Скупого он обогатил. «Мое, мое!» — кричит скупец,
Ударит смерть его, тогда рассудок обретет глупец.
Тот стал счастливым, кто постиг, что счастье — в правде и любви,
Он душу телу не отдаст, его ты мудрым назови.
«Послушайте! — сказал Кабир,— обман и зло — «мое», «мое»,
На вас лохмотья лжи и зла, но время разорвет тряпье,
И душу вырвет из тряпья, и унесет в урочный час,
И мы увидим в первый раз души сверкающий алмаз».

* * *

Моя душа так тяжело больна,
Мои глаза давно не знают сна.
Где милый мой? Я жду его призыва,
В отцовском доме стало мне тоскливо...

Вот предо мной распахнут небосвод,
В запретный храм теперь свободен вход,
У входа я любимого встречаю,
Ему и плоть, и душу я вручаю.

* * *

Не спи, подруга,— дорого заплатишь!
День вспыхнул. Неужель его утратишь?
Проснувшимся — алмазы без числа...
Все потеряла ты, пока спала!
Твой друг умен, ты ложа с ним не делишь,
Ему постель ты, глупая, не стелишь.
Так друга не узнаешь никогда.
Опомнись, дурочка, ты молода!
Проснись, проснись и убедись воочью:
Любимый твой проснулся, видно, ночью,
Свою постель покинул на заре,
И пусто в доме, пусто на дворе...
Сказал Кабир: «Лишь тот от сна воспрянет,
Кого оружье слова в сердце ранит».

* * *

Беспечальна страна моя, в эту страну
Я зову и царя, и раба, и факира.
Приходите, селитесь все те, кто устал,
Чья душа переполнена горечью мира.
Не найдете здесь тверди небес и земли,
Ни луны и ни звезд, ни дыханья эфира,
Только веры извечные звезды горят,—
Так отправимся к ним по дороге Кабира!

СУРДАС

‹1› Кланяюсь я Всеблагому!
Ты зренье даруешь слепому, проворство даруешь хромому,
Глухому даруешь ты слух, говорить позволяешь немому,
И в дальней дороге даруешь ты зонтик скитальцу любому.
Сурдас говорит: «Я у ног твоих. Кланяюсь я Пресвятому».

‹2› Кришне поверив, не верь остальному!
Сменяется радость печалью, и нет исцеленья больному.
И плодоносящее дерево обречено бурелому.

Озёра засыплет песок вопреки полноводью былому;
Растает луна в небесах, уступившая мраку ночному.
Сурдас говорит: «Этой ложной вселенной нельзя по-иному».

‹3› Поверь мне, любимый:
Чужими людьми населен этот мир, вожделеньем томимый.
Счастливый счастливых влечет, процветает судьбою
хранимый;
Несчастного все покидают; он бедствует, горем гонимый,
Жена, как душа, но, покойник, внушаешь ты страх
нестерпимый.
«Нечистый»,— кричит она в ужасе, глядя на труп
недвижимый.
И ты возлюбил этот мир обольстительно-невыносимый.
И вспомнил ты Бога, но поздно, Сурдас, по заслугам
казнимый.

‹4› Спаси меня, Господи Боже!
Я в море мирском утопаю, не надо судить меня строже!
Обманчивы воды-виденья, заманчивы волны-стремленья;
Влекут в запредельную бездну чудовищные вожделенья.
Желания — хищные рыбы, я больше не чаю подмоги.
Морская трава заблуждений опутала руки и ноги.
Житейское море бушует, жена меня топит и дети.
Твое несравненное имя — последняя лодка на свете.
Целительный корень спасенья! Убьет меня вихрь
беспощадный.
Ты вынеси, Господи Боже, Сурдаса на берег отрадный!

‹5› Кришна лежит в колыбели,
Яшóда запела, как многие матери пели доселе:
«О сон моего драгоценного! Мешкать сегодня тебе ли?
Когда призывает мой Кришна, другие бы медлить не смели».
Мигает глазенками Кришна, заснул наконец еле-еле.
Яшода велит окружающим знаками, чтоб не шумели.
Младенец опять просыпается. Мать постоянно при деле.
Подобного счастья, Сурдас, даже боги достичь не сумели.

‹6› Природе в угоду
Молочными зубками вдруг восхищает младенец Яшоду.
Счастливая, Нанду зовет она, издалека окликая:
«Смотри! Ненаглядные зубки прорезались! Радость какая!»
Сияет малыш, ослепительным смехом сердца привлекая.
Сурдас говорит: «Это молния в лотос попала, сверкая!»

<7> Младенца ходить обучает Яшода.
Еще неуверенно-робки шаги малыша-тихохода.
Поет материнское сердце: «Да минет младенца невзгода!»
Яшода взывает, счастливая, к богу — хранителю рода.
Играть Балараме и Кришне под сенью благой небосвода.
Сурдас говорит: «Счастлив Нанда при этом, ликует Яшода».

<8> «Нет, мама, не нужно сердиться!
Ни капельки масла не съел я! Нет, нет, воровать не годится.
До глечика не дотянуться, не стоит мне даже трудиться;
Измазали рот мне мальчишки, не буду я с ними водиться».
Но в масле широкие листья. Обмана малыш не стыдится.
И розгу бросает Яшода, глядит она не наглядится.
Отрадное благоговенье отрадою вознаградится.
Ни Брахме, ни Шиве, Сурдас, этой радостью не насладиться.

<9> Пастушки влюбленные в сборе.
Увенчан павлиньими перьями, Кришна приблизится вскоре.
Идет, опоясанный желтым, сияет он в юном задоре;
Оглянется, глянет и явит он светоч призывный во взоре.
Сраженные женщины смотрят, изведав блаженство и горе.
Сурдас! Ослепляет он женщин, главенствуя в трепетном хоре.

<10> Любовь — это божья щедрота.
Все женщины стыд потеряли, им дома сидеть неохота.
Свекрови устали браниться, забыта былая забота;
И нет по дороге возврата, и нет вдалеке поворота.
Бывало, мужей обожали, привязаны к детям, и что же?
Былое слабее былинки, им Кришна сегодня дороже.
И рвутся семейные узы, с непрочными нитями схожи;
Змея, уползая, не помнит изношенной, сброшенной кожи.
Как травы, которые скрылись, подхвачены бурным потоком,
Как воды, которые скрылись, незримые в море глубоком,
Как воин, который уходит, в сраженье погибнуть готовый,
Как будто сраженные горем, сожженные заживо вдовы,
Влюбленные женщины Браджа, не помня занятий вчерашних,
Уходят за Кришною следом, навек покидая домашних.
Покорствуют Кришне пастушки, другого не чают оплота.
Сурдас! Увязая все глубже, не вылезет слон из болота.

<11> Идет он большими шагами.
Он в желтом, вертушка в руках, только зубы блестят жемчугами;
Увенчан павлиньими перьями, шел он, сверкая серьгами;

Бродил, умащенный сандалом, над сладостными берегами.
Узрел длинноглазую Радху он, царственный, под небесами.
Она, ненаглядная, в синем, чарует она волосами;
И с нею красавицы-девы, уже восхищенные сами.
Сурдас говорит: «Очарован, ликует он, бог над богами».

<12>Такая любовь постоянна.
Играет пастушка беспечно, она не предвидит обмана.
Воды в молоке не заметно, в печенье не видно шафрана.
Любовь сочетает влюбленных, любовь как блаженная рана.
Все женщины Браджа влюбились, великая страсть неустанна.
Сурдас пробуждение славит. Любовь пробужденным желанна.

МИРА-БАИ

* * *

О Чарующий Душу, прииди! Гляжу на дорогу твою!
Всю ночь отверсты врата и вежды, печалюсь, не ем и не пью.
Без встречи с тобою душа подобна покинутому жилью.
Не остави защитой Миру у безумия на краю.
О Чарующий Душу, прииди! Гляжу на дорогу твою!

* * *

В чужих краях скитается Смуглый мой.
Ушел, не воспомнит о Мире, вестей не пришлет домой.
Запястья сняла, срезала волосы, ресниц не касаюсь сурьмой.
Четыре стороны света исходила в скорби немой.
Жизнь и рожденье пусты без тебя, дороги объяты тьмой.
В чужих краях скитается Смуглый мой.

* * *

Привет тебе, о свирельщик, посетивший наши места!
Серьги звенят, перья павлиньи то и дело меняют цвета.
Все танцуют, едва коснутся свирели твои уста.
О чарующий Городержец! Пронзила Миру твоя красота!
Привет тебе, о свирельщик, посетивший наши места!

* * *

Подружка! Одна у меня забота — ждать его у ворот.
Сладостный образ душе моей дороже мирских забот.
Который день на дорогу гляжу — когда же Смуглый придет?

Возлюбленный — корень жизни моей, слабой души оплот.
Пусть говорит о Мире, как о безумной, народ.
Подружка! Одна у меня забота — ждать его у ворот.

* * *

Этой ночью в чертог Городержца войду!
Он возлюбленный мой, его красота у всех на виду.
С ним пребуду, доколе заря не погасит в небе звезду.
От божественных игр не устану, пути к его сердцу найду.
Что прикажет — надену, из рук его равно приемлю любую еду.
Из рожденья в рожденье люблю его, он любую знает мою нужду.
Я рабыня его, — пусть продаст, коль захочет, меня и за малую мзду.
«О возлюбленный Городержец!» — твержу в священном бреду.
Этой ночью в чертог Городержца войду!

* * *

Подружка! Сегодня Владыка смиренных женился на мне — во сне.
В свадебном шествии боги шли с роднею моей наравне — во сне.
Обряды свершились, он за руку взял меня в тишине — во сне.
Прошлых рождений моих плоды воплотились в пришедшем дне — во сне.
Невиданное блаженство даровано было жене — во сне.
Подружка! Сегодня Владыка смиренных женился на мне — во сне.

* * *

Где бродит Возлюбленный мой? Не знаю его дорог.
Явился только единожды мне, светильник любви зажег.
Лодку любви столкнул в океан разлуки — берег далек.
Когда обретешься ты, Смуглый? У Миры уходит земля из-под ног.
Где бродит Возлюбленный мой? Не знаю его дорог.

* * *

Подружка, боль моя такова, что жизнь не мила.
Разлученных поймет лишь тот, кто в разлуке сгорел дотла.
Цену камня поймет лишь знаток ювелирного ремесла.
Пораженная болью, бродила повсюду — врачевателя не нашла.
Только если меня уврачует Смуглый, станет Мира опять весела.
Подружка, боль моя такова, что жизнь не мила.

* * *

Ты один у меня, Городержец-Пастух, ты мой дом и моя семья.
Не нашла подобного в мире я, хоть все обошла края.
Ради тебя забыла о братьях — кто мне теперь судья?
За садху следую — вместе ведет нас дорожная колея.
Увижу бхакта, возрадуюсь, увижу мир, восплачу в два ручья.
Слезами питая росток любви, его взлелеяла я,
Из сметаны спахтала масло — истину бытия.
Князь чашу яда в подарок прислал — выпила, радости не тая.
Навеки с тобою связана Мира — всевластна воля твоя.
Ты один у меня, Городержец-Пастух, ты мой дом и моя семья.
Не нашла подобного в мире я, хоть обошла все края.

ТУЛСИДАС

СВЯЩЕННОЕ ОЗЕРО ДЕЯНИЙ РАМЫ

(Фрагмент первой главы)

Ночь прошла, юный Ла́кшмана с ложа тотчас поднялся,
услыхав петуха, возвестившего утро.
Раньше гуру восстал ото сна и владыка миров —
Рамача́ндра, чье сердце светло и премудро.

Кончив обряд очищенья, братья пошли и омылись,
После молитв ежедневных, к му́ни придя, поклонились.
Час подобающий зная, у старца спросив разрешенье,
Вышли цветы собирать братья — миров украшенье.
Царский пленительный сад вскоре они увидали —
Сад, где весенние дни свежестью вечной сияли.
Дивных деревьев различных свисали цветущие ветки,
Сетью лиан разноцветных были увиты беседки.
Свежие листья, плоды, цветы на деревьях блистали,
Роскошью Древо богов стыдили они, затмевали.
Пели кукушки, чакоры, и ча́таки, и попугаи,
И танцевали павлины, изяществом взоры пленяя.
А посредине был пруд,— блестели на солнце красиво
Лестницы из самоцветов, изогнутые прихотливо.
Лотосы ярко цветут, чистая влага струится,
Пчелы жужжат, а в пруду с пением плавают птицы.

Пруд увидев в саду, был владыка миров восхищен,
оба юноши возликовали сердцами.
Да, красив и отраден поистине был этот сад,
столько радости давший великому Ра́ме!

Встретив садовников, братья у них разрешение взяли —
Листья, цветы собирать, радостнодушные, стали.
В этот же час и царица дочери Си́те велела
Ги́ридже дань принести — сделать достойное дело.
Следом за Ситой подружки вышли с чарующей песней,
Не было дев на земле скромнее, разумней, прелестней,
В сад они шли, где блистал Ги́риджи храм возле пруда,
Душу тот храм восхищал — не описать это чудо!
С девами в этом пруду сперва совершив омовенье,
К храму приблизилась Сита, в сердце скрывая волненье,
Пуджу с глубокой любовью богине она сотворила —
Мужа, достойного мужа у всеблагой попросила.
В храме оставив ее, одна из подружек прелестных
В сад углубилась, любуясь красою растений чудесных.
Братьев прекрасных увидев, робкой душою смутилась,
Трепетом сладким объята, к Сите скорей возвратилась.

Увидали подружки, что слезы в глазах у нее
и торчат волоски на взволнованном теле,—
«Что с тобою, скажи?» — стали спрашивать нежно они,
восхищенья причину узнать захотели.

«Видела в нашем саду принцев я иноплеменных,
Возрастом юны они, но достоинств полны несомненных;
Темный и светлый красавец — как опишу их словами?
Речью глаза не владеют, а речь не владеет глазами!»
Новость услышав, пришли девы в восторг и веселье,
В сердце у Ситы волненье умницы вмиг разглядели.
«Это, наверно, два принца,— одна из подружек сказала,—
О появленье которых уже я от многих слыхала.
Вместе со старцем святым явившись вчера спозаранок,
Очаровали они всех горожан-горожанок;
Люди повсюду твердят об их красоте несравненной,
Надо, подружки, и нам на них поглядеть непременно!»
Слушала Сита подруг, дивясь своему восхищенью,
Заторопились глаза к радостному лицезренью.
Выслав служанку вперед, за ней она двинулась следом,—
Смысл этой древней любви для всех оставался неведом.

Речь премудрого На́рады вспомнила Сита тотчас,
и любовь в ее сердце возникла святая.
Трепеща от волненья, она за подружкою шла,
вкруг себя олененком пугливым взирая.

Слыша, как пояс звенит, ножные браслеты, запястья,
Лакшмане Рама сказал, ощутив приближение счастья:
«Кажется, брат дорогой, Ма́дана бьет в барабаны,—
Все захотел покорить земные селенья и страны!»
Тут оглянулся герой, и Ситу глаза увидали —
Лунного лика ее сразу чакорами стали,
Веки прекрасных очей застыли, как будто под ними
Вдруг перестал трепетать смущеньем охваченный Ними.
Ситы красу созерцая, счастьем был юноша полон,
Сердцем ее восхвалял, достойных же слов не нашел он.
Будто всевышний Творец все искусство свое, все уменье
В облике этом явил — зримое дал воплощенье.
Да, этой девы краса в красоте красоту открывала,
В доме самой красоты, как в светильнике пламя, сияла.
Жаль, все сравненья давно измусолить поэты успели,—
Где же слова я найду, чтоб достойно Вайдеху воспели?

Так блистание Ситы владыка восславил в душе,
и, свое положенье обдумав сначала,
К брату младшему речь откровенную он обратил —
прямодушием каждое слово звучало:

«Брат! Это Джа́наки дочь, ради которой в столице
Завтра сгибание лука торжественное состоится,—
Гиридже дань принесла, а теперь, со служанками рядом,
Все озаряя вокруг, гуляет, любуется садом.
Видя ее красоту — блистанье ее неземное,
Хоть я и чист по природе, все же смутился душою,
Может причину постичь лишь разум Творца всеблагого,
Тело дрожит от предчувствий,— слушай, о брат, мое слово!
Людям династии Ра́гху дана чистота от рожденья —
Души потомков его не ступают на путь заблужденья.
Знаю я душу свою — ей доверяю всецело,
Ибо она и во сне на чужую жену не глядела.
Те, что спиною к врагам в сражении не повернутся,
Те, чьи сердца и глаза к женам чужим не влекутся,
Те, из которых никто нищему «нет» не ответит,—
Лучшие люди, о брат, но мало подобных на свете!»

Вот что младшему брату сказал Рамачандра, а сам
к Сите влекся душой, восхищенной, влюбленной.
С лика — лотоса нежного чистый нектар красоты
пил владыка, подобно пчеле опьяненной.

Сита же, стоя вблизи, смятенья полна, озиралась:
«Где ж эти юные принцы?» — чуткой душой волновалась.
Взоры встревоженных глаз — двух олененков несмелых —
Будто рождали повсюду ливни из лотосов белых.
Тут ей подружки под сень вьющихся лоз указали:
Юноши — темный и светлый — там за листвою стояли,
И разгорелись глаза, увидев их блеск несравненный,
Возликовали, как будто узнали свой клад сокровенный.
Видя красу Рагхупати, словно застыли навеки
Ситы лучистые очи — мигать перестали их веки,
И, от любви обессилев, глаз не спуская с героя,
Им любовалась она, как чакори — осенней луною.
Так по дороге очей Раму введя в свое сердце,
Сита прикрыла глаза, словно бы заперла дверцы.
Девушки, видя ее любовью сполна покоренной,
Слова сказать не могли, стояли толпою смущенной.

В этот миг из беседки, обвитой сетями лиан,
появились два брата, светясь красотою,
Будто, занавес туч раздвигая, две чистых луны
появились внезапно одна за другою.

Были пределом блистанья оба прекрасных героя,
Лотосы тел их сияли — синее и золотое,
Пышные перья павлиньи головы их украшали,
Во́ткнуты в темные кудри, ярко бутоны сверкали.
Знаки святые на лбах, капельки пота трепещут,
Дивные серьги в ушах, ожерелья жемчужные блещут,
Дугами выгнуты брови, кольцами волосы вьются,
Свежерасцветшие лотосы — очи блестят и смеются.
Шеи — двух раковин блеск, щеки — услада для взора,
Душу их смех подкупал, полный веселья, задора.
Чтоб их красу описать, моих не хватает усилий,—
Сонм властелинов любви лица бы их устыдили!
Как у слонят Камадевы хоботы крепки, упруги,
Были у братьев сильны пределы могущества — руки.
И зашептались подружки: «Листья с цветами держащий,
Юноша смуглый, прекрасный — вот кто герой настоящий!»

С львиным станом, одетый в священную желтую ткань,
им предстал он во всем благородстве и силе,
И, увидев того, кем украшен весь Солнечный род,
девы юные сами себя позабыли!

Тут расхрабрилась одна из самых смышленых и милых,—
За руку взяв госпожу, сказала, сдержаться не в силах:
«Га́ури посозерцать успеем всегда в нашем храме,
Лучше на принцев взглянуть, пока они здесь, перед нами!»
Сразу смутясь, застыдясь, Сита глаза приоткрыла,
Львов рода Рагху узрев, вспыхнула с новою силой,
От головы и до пят Рамачандрою залюбовалась,
Вспомнила клятву отца — нежной душой взволновалась.
Чувства, объявшие Ситу, видели ясно подруги,
«Слишком мы здесь задержались!» — заговорили в испуге.
«Завтра опять в это время сюда мы придем, полагаю!» —
Молвила, в сердце смеясь, подружка одна молодая.
Слушала Сита, смутясь, лукавых подружек шептанье,
Стала бояться, что мать рассердится за опозданье,
Робость свою одолев, в груди Рамачандру замкнула,
Вспомнив о власти отца, вздохнула, домой повернула.

Но, как будто желая взглянуть на деревья, на птиц,
    по дороге оглядывалась то и дело,—
Вновь и вновь на красу Рагхубира взирала она,
    все сильней в ее сердце любовь пламенела.

Ведала Джанаки: тверд лук, заповеданный Шивой,
С образом Рамы в душе мучилась думой тоскливой.
А властелин темнотелый в деве узрел уходящей
Кладезь блистанья, добра, счастья, любви настоящей.
Светом чистейшей любви, подобной нежнейшим чернилам,
Ткань несравненной души украсил он образом милым.
Сита же к храму Бхава́ни с волненьем направилась снова,
Молвила, низко склонясь к стопам изваянья святого:
«Славься, о, славься, рожденная гор властелином могучим,
Славься, о мира праматерь с телом, как молния, жгучим!
Славься, о, славься, чакори лунного лика Махеши,
Мать шестиликого Сканды и слоноглавца Ганеши!
Нет у тебя ни начала, ни середины, ни края,
Даже и веды не знают, сколь ты сильна, всеблагая!
Ты — бытие бытия, ты строишь и уничтожаешь,
Мир зачарован тобой, и в нем ты свободно играешь!

Боги первое место, о мать, за тобой признают
    средь их жен, самых верных, прекрасных, счастливых!
Шеша-змей не сумел бы величье твое описать
    вместе с сотней Сара́свати красноречивых!

Верною службой тебе четыре плода мы добудем,
Славься, супруга Пурари, блага дающая людям!
Те, что у лотосов-ног, о богиня, твоих пребывают,
Боги, и муни, и люди — счастье и мир обретают.
Тайну желаний моих ты и без слов понимаешь,
Ибо в сердцах, как в домах, у всех ты живых обитаешь.
Просьбу не выскажу вслух — только молю об успехе!»
Так восклицая, к стопам богини припала Вайдехи.
Тронули душу Бхавани верной любви излиянья,
Спала гирлянда с нее, улыбнулось лицо изваянья.
Сита святую гирлянду, склонясь, на себя возложила,
Молвила Гаури ей — обрадовать Ситу решила:
«Слушай, о Сита, тебе посылаю я благословенье!
Знай, все желанья твои скорое ждет исполненье,
Истинным было всегда Нарады слово святое:
Тот будет мужем твоим, кого ты избрала душою.

Да, кто избран твоею душой, будет мужем твоим,
смуглотелый, с рожденья прекрасный, правдивый,
Сострадания кладезь, премудрый, безгрешность твою
и любовь он уже разгадал, прозорливый!»
И, услышав, что Гаури благословенье дала,
ликованья исполнилась девичья свита.
Тулсидас говорит: много раз пред Бхавани склонясь,
поспешила домой со служанками Сита.

Радость сердца влюбленного не описать:
расположена Гаури к юной, прекрасной невесте!
Стала левая часть ее тела дрожать —
добрый признак, желанного счастья предвестье!

В сердце своем восхваляя Ситы красу молодую,
С братом отправился Рама к гуру, в обитель святую,
И рассказал Вишвамитре о всем, что увидел нежданно,—
Прост был душою герой, не ведал и тени обмана.
Взявши у братьев цветы, богам совершив приношенье,
Юношам праведник дал священное благословенье:
«Пусть, дорогие мои, исполнятся ваши желанья!»
Рама и Лакшмана, вняв, были полны ликованья.
Трапезу кончив, мудрец, лучший из муни преславных,
Начал рассказывать им преданья времен стародавних.
Тем и закончился день; у старца спросив разрешенье,
На ночь молиться пошли братья — миров украшенье.

Вот на востоке, сияя, луна поднялась молодая,
Раме о дивном лице возлюбленной напоминая.
Счастье почувствовал он, но подумалось вскоре герою:
«Лик этой девы нельзя сравнивать даже с луною.

Рождена океаном луна, как и яд, ее брат,
днем не светится, пятнами ночью покрыта,—
С ликом Ситы тебе ли сравниться, несчастной луне,
о, насколько светлее прекрасная Сита!

Часто ущербной бываешь, женщин в разлуке терзаешь,
Встретишься с демоном Раху — в пасти его исчезаешь,
Мучишь тоской чакраваку, лотосу стала врагиней,—
Много пороков в тебе, о луна, замечаю отныне!
Кто сопоставит тебя с ликом Вайдехи решает,
Грех неуместности явной, кажется мне, совершает!»
Так, порицая луну, дивноликую Ситу он славил,
Видя, что близится ночь, стопы к Вишвамитре направил.
К лотосам ног мудреца он склонился, хвалу воздавая,
И, получив разрешенье, ко сну отошел Рагхурая.
Ночь миновала,— и вот, проснувшись и брата заметя,
Так Рагхуна́яка стал ему говорить на рассвете:
«Брат мой, смотри: над землей красное встало светило,
Лотосам, чаквам — всему счастье оно подарило!»
Руки сложив, отвечал Лакшмана, брат светлоликий,
Кроткою речью признал могущество Рамы-владыки:

«Видя солнце всходящее, съежились лилии вдруг,
меркнуть начали звезды — зарю увидали,
Так, узнав о прибытье твоем, все земные цари
сразу слабыми стали, бессильными стали.

Звездам подобны цари, ты же — дневному светилу,
Лука тяжелую тьму им одолеть не под силу.
Но посмотри: чакраваки, лотосы, пчелы и птицы —
Все окончанию ночи радуется, веселится.
Так же и бхакты твои, о непорочный душою,
Счастливы будут узнать, что лук переломлен тобою:
Солнце взошло над землей, и мрак уничтожен бесследно,
Спрятались звезды, и в мире свет воцарился победно.
Солнце восходом своим, о Рагхурая великий,
Мощь показало царям — мощь и величье владыки.
Лишь для того этот лук напрячь им предложено было,
Чтоб проявиться могла твоя величавая сила!»

Брата слова услыхав, улыбкой герой озарился,
Кончив обряд очищенья, чист от природы, омылся;
После молитв ежедневных к гуру пришел несравненный,
К лотосам ног мудреца склонился главою смиренной.

ТУКАРА́М

Ответ святым, спросившим Тукарама, как удалось ему порвать узы мирской жизни

Шудрой родился я, вел я торговлю;
Бог этот наш, родовой, наш семейный.
Сам о себе говорить я не стал бы,
Мне говорить приказали святые.
Беды мирские меня сокрушили,
Мать и отца схоронил я в печали
И разорился в голодное время,
Собственных жен прокормить неспособный:
Отнял одну из них пагубный голод.
Жизнь моя горькая: стыд и убыток.
Рухнул мой храм, и тогда я подумал:
«Незачем скорбное сердце неволить».
И попытался я спеть восхваленье,
Но промолчало усталое сердце;
Только потом помогли мне святые,
Веру желанную мне даровали;
Вторить я стал песнопеньям священным,
И подпевало мне чистое сердце.
Ноги святым омывал я смиренно,
И не печалился, и не стыдился,
Делал добро, если мне удавалось,
Наперекор истомленному телу;
Больше не слушал друзей и соседей,
Возненавидев житейскую мудрость;
Больше не путал я правду и кривду,
Мненью мирскому внимать отказался,
Только святому наставнику верил,
Только на Бога в душе уповал я;
И посетило меня вдохновенье,
След в моем сердце оставил Витхоба.
Горе! Стихи мне писать запретили,
И сочиненья свои утопил я,
Сел перед храмом, как заимодавец,
Так что Нараяна сжалился вскоре.

Долго рассказывать: кончу на этом.
Этого тоже довольно покуда.
Ведомо мне, что со мною случилось,
Ведомо Богу, что будет со мною.
Благочестивых Нараяна помнит;
Милостив Бог,— это все, что я знаю.
Тука сказал: «Все мое достоянье
В том, что сказал всеблагой Пандуранга».

* * *

Господи! Как хорошо разориться!
Благословенно голодное время:
Я разорился, и к Богу воззвал я,
Ибо мирское теперь мне отвратно.
Как хорошо мне с женою сварливой!
Как хорошо мне терпеть поношенье!
Как хорошо, когда люди глумятся!
Как хорошо потерять мне скотину!
Как хорошо не стыдиться соседей!
Господи! Как хорошо мне с тобою!
Храм хорошо было строить мне, Боже:
Мог я не слушать голодных детишек.
Тука сказал: «Хорошо мне поститься,
В срок постоянно молитвы читая!»

* * *

Всех приветствую и вся,
Этот стих произнося.
Ты, Нараяна, со мной;
Бог со мною, как родной,
Почитатель вечных вед,
Всем я брат и всем сосед.
Тука молвил: «С Богом я.
Что друзья мне, что семья!»

* * *

Как Тебе, Господи, служат, не знаю,
В богослужении смысла не вижу;
Даже вода — это Ты, Вездесущий,
Кроме Тебя, мне пожертвовать нечем.
В каждом цветке узнаю Тебя, Боже,
И у меня опускаются руки.

Рис нам даруешь, даруешь нам бетель,
Не угощать же Тебя мне Тобою!
Всем драгоценностям Ты драгоценность,
И не бывает богатства другого.
Ты песнопенье, и слушатель Ты же.
Негде плясать нам — Нараяна всюду.
Тука вещает: «Я весь Твое имя,
Рама, Нараяна, свет и светильник».

Тукарам не гордится своим поэтическим дарованием

Что это вдруг на меня накатило?
Криво ли, прямо ли — Богу виднее.
Переплетенье стихов не отсюда,
Милостью Божьей наитие Божье.
Тука сказал: «Я в стихах не искусен.
Так что за них отвечает Гопала».

Ответ Рамешвару Бхатту на его просьбу о прощении

Враг превращается в лучшего друга,
Тигры ласкаются, змеи не жалят;
Яд — исцеленье, в несчастии счастье;
Даже само преступление — подвиг,
Даже в печали великая радость,
В пламени жгучем благая прохлада.
Всеми владеет единое чувство,
И не любить невозможно друг друга.
Тука сказал: «Несказанное знанье —
Милость Нараяны в этом рожденье».

* * *

Кто не верит мудрым словесам,
Да еще порочит Бога сам,
Не желает сам себе добра.
Уши? Нет, крысиная нора!
Амриты не пить — великий грех,
И к тому же пагубный для всех.
«Полоумный,— Тука говорит,—
Зло по недомыслию творит».

* * *

Все понимаю, во всем разобрался:
Только слывешь ты могучим.
Имя твое оказалось бессильным,
Так что тебя разлюбил я.
В собственной скверне погряз я,
Сам себя мучаю, грешный.
Тука сказал: «Погибаю,
Значит, бессилен Витхоба».

* * *

Мне надоело с тобою водиться;
Ты, наконец, надоел мне, Витхоба.
Нищий, ты слуг своих делаешь тоже
Нищими, чтобы весь мир насмехался.
Ты безобразный, и ты безымянный;
Всех нас ты хочешь себе уподобить.
Тука сказал: «Ты дотла разорился
И разоряешь меня напоследок».

* * *

Факелы, зонтики, кони,—
Это страшнее погони.
Всякий почет как ярмо,
Слава — свинячье дерьмо.
Уединенье дороже.
Смилуйся, Господи Боже!
Тука зовет: «Помоги!
Видишь, грозят мне враги!»

* * *

Ради чего мне пускаться в дорогу?
Чтобы покой потерять, уставая?
Проголодаюсь — прошу подаянья.
Нет одеяния лучше лохмотьев;
Лучшее ложе, по-моему, камень,
Лучший покров — беспредельное небо.
Что во дворце ты прикажешь мне делать?
Жизнь пропадает в желании тщетном,
А во дворце суета и тщеславье,
Там не найдешь ни покоя, ни мира.

Только богатого там почитают,
Смотрят с презреньем на простолюдина.
Стоит мне только увидеть вельможу,
Кажется, смерть я поблизости вижу.
Тот, кто печаль разделяет со мною,
Господу вместе со мной угождает.
Знанием дивным с тобой поделюсь я:
Нищий блаженнее всех властелинов.
Повиноваться желаниям — низость,
Лишь созерцатель вполне благороден.
Тука сказал: «Прославляют богатых,
А между тем только праведный счастлив».

РАМПРОШАД

* * *

В воплощенье искал я оплота; в него моя вера была.
Я забыл: воплощеньям не будет числа.
Полюбив нарисованный лотос, ошиблась пчела.
Мать давала мне нима, но сахаром ним нарекла.
Ма! Я сладости жаждал, но горечь мне горло сожгла.
Поиграем, сказала,— и в мир, обманув, привела.
Рампрошад говорит: «Игра была и прошла».
Вечер. Жду одного: чтобы сына ты в дом унесла.

* * *

Мать! Завершилась моя игра.
Слишком долго играл я; теперь завершилась игра.
Я пыль земную глотал, играя с утра.
Ныне же, дочь Гималайя, моя оболочка стара.
Страшно мне: знаю, настала моя пора.
В детстве далеком моя началась игра.
Потом на забавы с женой променял я познанье добра.
Не в молитвах — в забавах прошли вечера.
Рампрошад говорит: «Всесильна ты, Ма, и мудра.
В освобождения воды швырни мою душу с одра».

* * *

Не назову тебя матерью, нет.
Слишком много с тобою познал я бед.
Буйноволосая, песней твоей влеком,
Я стал саньяси, бросил родимый дом.

Что ты еще скрываешь в сердце твоем?
От дома к дому буду один скитаться,
Ночлег вымаливать, подаяньем питаться —
И не приду в твои объятия, нет!
Ма, я зову тебя столько дней —
Что ж ты не внемлешь мольбе моей?
Видно, открыть не хочешь ни глаз, ни ушей.
Много ли пользы было, что мать живая,
Если сын при матери жил, страдая?
Какая же это мать? Все равно что нет.
О, объясни: разве истина в том,
Что родившая сына становится сыну врагом?
Рампрошад вопрошает: «Кали,
Какие еще меня ждут печали?
Неужели же вечно являться мне в муках на свет?»

* * *

Восторгаюсь тобою, танцующей танец войны.
Вечен танец твой, мать, и волосы ветром полны...
На груди у Шивы танец нагой жены.
Бусы из мертвых голов — это твои сыны.
Поясом мертвых рук бедра оплетены.
Серьги в ушах — младенцы умерщвлены.
Зубы светлее ку́нды, губы твои нежны.
Кали светла, как лотос: лицо белей белизны,
А ноги в крови. Ты — туча в лучах луны.
Рампрошад говорит: «Все чувства тобой пьяны.
Чудной такой красоты видеть глаза не должны».

* * *

Разум мой, почему ты волненьем объят?
Кали назвав однократно, уйди в размышленья стократ.
Пусть другие для всех, напоказ, ее чтят.
Ты же втайне молись, чтоб ничей не настиг тебя взгляд.
Пусть ее изваянья из глины, металла и камня стоят —
Ты же на лотосе сердца рисуй ее образ — да будет он свят.
Пусть другие готовят бананы и рис, исполняя обряд,—
Ты же нектар исторгни из сердца — напиток для высших услад.
Пусть другие подарят ей пламя свечей и лампад —
Ты же факелы духа зажги — негасимо они днем и ночью горят.
Пусть на закланье другие приводят волов и ягнят —
Ты же врагами шестью ей пожертвуй, венчая обряд.

Рампрошад говорит: «Пусть при имени Кали кругом барабаны гремят —
Ты же хлопни в ладоши, и жертвой богине твой ум и душа предстоят».

МИР ТАКИ МИР

* * *

Кто смеет нынче разрешать и налагать запрет?
Открой ты сердце хоть на миг и слушай мой завет!
Молитву набожный прервал, покинул коврик свой,
Завидев тесный твой наряд, который мной воспет
Столица сердца моего дотла разорена.
Дотла разрушен каждый дом и каждый минарет.
Игру безжалостной любви доколе созерцать?
Кровь заливает мне лицо, за горем горе вслед.
Но разорение мое сулит усладу мне:
Вслед за ночною темнотой идет седой рассвет.
За годом год я тосковал, томился целый век,
Изведал сердцем столько мук и столько разных бед!
Сдирают кожу с одного, других ведут на казнь.
Кто разгласил свою любовь, тому спасенья нет.
И праведник не устоит при виде облаков.
Увидев облака, греши! Не жди других примет!
Зачем тебя в последний миг увидеть мне дано?
Увидев красоту твою, не спасся Мир-поэт.

* * *

Свой коврик, шейх, отдай в заклад, вину хмельному честь воздай!
Святыне сладостной своей ты по-иному честь воздай!
Как раз для пьяниц коврик твой, не годный больше никуда.
Пониже кубку поклонись и всеблагому честь воздай!
Вином одежду запятнай! Пускай тебя клянет народ!
Себя не бойся уронить! Ступай, Содому честь воздай!
Былую славу расточи, былых заслуг не береги!
Своекорыстному служи! Греху святому честь воздай!
Ты виночерпию молись, расправив слабые крыла!
Благословенному вину по-молодому честь воздай!
Когда вместить не можешь ты всех этих пламенных щедрот,
Вина другому поднеси, с ним дорогому честь воздай!
Когда кувшин перед тобой, ты перед ним смиренно встань,
Ты перед пьяным преклонись, юнцу шальному честь воздай!

Когда играет музыкант, ему одежду подари!
Где музыка, там вечный хмель: добру двойному честь воздай!
Не нужно холода теперь! Ты перед розою склонись!
Дневному пылкому теплу, певцу ночному честь воздай!
Как чаша, роза над ручьем. Хмельную чашу подними!
Ты добродетель долго чтил, теперь дурному честь воздай!
Довольно дервишей с тебя, не для тебя теперь мечеть.
Нет, лучше в солнечном саду цветку любому честь воздай!
Довольно слушать этот бред! Очнитесь: на исходе ночь.
Поэт почтенный, отдохни! Родному дому честь воздай!

* * *

Прошу прощения, друзья! Что делать! Виноват, я пьян.
Не наливайте мне вина, и так среди услад я пьян.
Не наполняйте чашу мне, но если мой придет черед,
Позвольте все-таки глотнуть! Пригубить буду рад — я пьян.
Такого пьяницу, как я, не возбраняется ругать.
Я сам не свой среди друзей, болтаю невпопад — я пьян.
Держите крепче вы меня, как чашу держат на пиру.
Идти вы можете со мной вперед или назад — я пьян.
Но презирать меня грешно, смотреть не нужно свысока.
Я сам покаюсь во хмелю, плетусь я наугад — я пьян!
По крайней мере, целый час продлится в пятницу намаз.
Так подождите вы меня! Ваш непутевый брат, я пьян.
Я тоньше всякого стекла. Я хрупкий кубок, я поэт,
И надо вам беречь меня. Не человек, я клад, я пьян!

* * *

Другого такого поэта, как я,
поверь, мудрено повстречать.
Внимая моим необычным стихам,
нельзя головой не качать.
Тому, кто в раздумьях весь век не провел,
подобных словес не дано.
Чужую премудрость умей изучать.
Попробуй, прилежный, начать!
Когда преисполнишься ты правоты,
насыщенный правдой людской,
В тебе запылает великая скорбь,
сам будешь ты свет излучать.
По улицам ты побредешь городским,
стихом обожженный моим,
И розы, как жаркие угли в ночи,
достойным ты будешь вручать.

* * *

Как отшельник, во мрак облачаюсь я,
И со смертью моею встречаюсь я;
Прахом воду живую засыпал я:
С бедной жизнью моей разлучаюсь я.

* * *

Говорю себе: «Друг, ты в отчаянье.
Хоть возрадуйся вдруг — ты в отчаянье!
Не найти драгоценной жемчужины.
Это страшный недуг — ты в отчаянье!»

* * *

Шейха здесь громогласного видел я,
И пропойцу несчастного видел я.
Там, вдали, где безмолвие вечное,
Край покоя бесстрастного видел я.

* * *

Жизнь мою задушил я печалями,
Кровь мою иссушил я печалями;
Кратковременный век человеческий
На земле завершил я печалями.

МИРЗА ГАЛИБ

* * *

По воле судьбы предо мною любовь не открыла чела.
Продлись моя жизнь хоть немного — она б ожиданьем была.
Я сразу бы умер от счастья, поверив тебе хоть на миг.
Но жил я твоим обещаньем, считая, что ты солгала.
По нежному облику можно о хрупкости клятвы судить:
Тобою разбитая клятва была не прочнее стекла.
«Скажи, где стрела,— меня спросят,— пронзившая сердце твое?»
Не знал бы я сладостной боли, когда бы навылет прошла.
Советчиков уйму отныне обрел я в друзьях — и не рад.
Найдись утешитель, целитель — была бы мне дружба мила.
Я умер, осмеянный всеми. Уж лучше бы мне утонуть:
Ни гроба тебе, ни могилы... Лишь камни речного русла.

От мук не избавиться сердцу. Отрину страданья любви —
Что толку? Житейские муки сожгут мое сердце дотла.
Ночные терзанья избрать мне иль смерти единый приход?
В сравненье с мучительной ночью кончина не столь тяжела.
О, если бы искра страданья прожгла вековую скалу!
Из каменных жил непрестанно сочилась бы кровь и текла.
Единство не знает подобья. Творца лицезреть не дано.
На двойственность нет и намека, не то было б их без числа!
Ты, верно, попал бы в святые, о Галиб, суфизма знаток!
Тебя лишь приверженность к пьянству от почести этой спасла.

* * *

Я — умерших от жажды сухие уста.
Я — паломников скорби святые места.
Я — обманутое, нелюдимое сердце,
Что разбила любовь, предала красота.

* * *

От обузы кокетства свободна теперь красота.
У тиранов моих — ни забот, ни тревог после смерти моей.
Красоваться моим чаровницам зачем? Перед кем?
И откуда возьмется достойный знаток после смерти моей?
Прозябает в безделье теперь обольщения дар.
Оттого и сурьмой этот взор пренебрег после смерти моей.
Распростится с безумством любовь. Будешь цел-невредим,
Называемый воротом ткани клочок, после смерти моей.
Виночерпий разносит любви роковое вино.
Кто захочет напитка, валящего с ног, после смерти моей?
Умираю с тоски, не найдя на земле никого,
Кто любви постоянство оплакать бы мог после смерти моей.
Друг мой, Галиб, меня удручает сиротство любви:
Где отыщет приют этот бедствий поток после смерти моей?

* * *

Ее движенья всякий раз таят намек для нас другой,
Сомненья страстного порыв рождают каждый час — другой.
Коль скоро не дал ей Господь уразуметь мои слова,
Другое сердце пусть ей даст иль мне — речей запас другой.
Игривый взор и бровь дугой: есть лук тугой и стрелы есть!
Но лук, что выпустил стрелу, попав не в бровь, а в глаз,— другой.
Ты в городе? Мне полбеды! Лишь надо сбегать на базар:
Другого сердца не купил, души я не припас другой!

Учась кумиры сокрушать, я в этом деле преуспел.
Но может встретиться,— взамен разбитого в тот раз,— другой.
О, если б выплакать я мог вскипающую в сердце кровь!
Но мне тогда обзавестись пришлось бы парой глаз другой.
За этот голос — жизнь отдам! Башке моей скатиться с плеч,
Но пусть он молвит палачу: «Еще ударь-ка раз-другой!»
Огонь моих сердечных ран за солнце вздумали считать.
Я ими освещаю мир: порой — одной, подчас — другой.
Тебе я сердце отдал зря! Когда б не умер я в тот раз,
Еще стонал бы да вздыхал, пока бы не угас — в другой.
Препоны пуще горячат мой пылкий нрав. Не мудрено!
Поставь запруду — и река, вскипая, станет враз другой.
Отличные поэты есть! Однако люди говорят:
«Пошиб у Галиба другой! Чекан упругих фраз — другой!»

* * *

От молнии мне зажигать светильник в обители скорби!
Тоске предаваться на миг — свободного духом удел.
Вот память — азартный игрок тасует былое, как будто
В кумирне гляжу на богов, бродя из придела в придел.
Не бойся невзгод бытия. Оно — мотылька мимолетней,
Что вспыхнул, кружась над свечой, твой мир озарил и сгорел.
Отвага и мужество где? Они от меня отвернулись.
Довольствуюсь малым? О нет! Я слаб, оттого — не у дел.
В израненном сердце моем желанья томятся в оковах.
О Галиб, я стал их тюрьмой! Навек им положен предел.

* * *

Свиданья те, которыми я жил,— где?
Дни, ночи, месяц, год, что сердцу мил,— где?
Не время нынче для утех любовных.
Прелестный взор, что мне теперь постыл,— где?
Пушок приметный над губой румяной
И родинка, что мой будила пыл,— где?
Навеянное памятью раздумье,
Чей ход изыскан был, а стал уныл,— где?
Для слез не напасешься крови сердца!
Пора, когда я не был слаб и хил,— где?
Любви азартным играм дань, как прежде,
Платить я перестал: избыток сил — где?
Я поглощен загадкой мирозданья:
Мой дух среди бесчисленных светил — где?
Телесной мощью оскудел ты, Галиб!
Где равновесье членов, гибкость жил — где?

* * *

Сделай милость, позови меня — и вернусь я тотчас, право!
Я — не прошлое, которому не дано такое право.
Головы поднять не в силах я, но привык сносить обиды.
В оскорбленьях изощряется зря соперников орава.
Где предел твоей жестокости? Попадись мне чаша с ядом —
И, клянусь тебе свиданием, будет выпита отрава!

* * *

Откройся мне за чашею вина когда-нибудь,
Не то покину я тебя спьяна когда-нибудь.
Не зазнавайся, если ты судьбою вознесен:
С хребта стряхнет счастливца вышина когда-нибудь.
Меня вином поили в долг. Я повторял себе,
Что праздника дождусь,— хоть жизнь бедна,— когда-нибудь.
Печали песни — для души услады высшей нет!
Саз жизни отзвучит, замрет струна когда-нибудь.
Не лезть красотке в толчею! Ломись навстречу к ней!
Везде напористость, Асад, нужна когда-нибудь.

* * *

Неужто в раю виночерпий тебе пожалеет вина
За то, что ты чашу хмельную испил в этой жизни до дна?
Кто лучшим из рода людского терпеть униженья велит?
За то, что презрел человека, был изгнан Творцом сатана.
И чей это голос небесный вливается в чанг и рубаб?
Душа разлучается с телом, когда запевает струна.
Где времени конь остановит свой бег — угадать не дано.
Поводья в горсти не зажаты, не вдеты стопы в стремена.
Творенье с Творцом нераздельны, а если начну различать —
От сути его удаляюсь, и правда своя мне темна.
Как должно понять созерцанье? — задам я мудреный вопрос,
Ведь зримое, зрящий и зренье — три грани, а сущность — одна.
Слагается жизнь океана из многообразия форм.
Что значат в отдельности капля, и пена, и даже волна?
Нескромная! Под покрывалом от взоров таишься зачем?
Стыдливость жеманна. Кокетство — другая ее сторона.
Ты в зеркало смотришься, даже накинув густую чадру.
Неужто краса мирозданья не полностью завершена?
Отмечено тайны печатью все то, что мы явным зовем,
А те, кто во сне пробудился, по-прежнему пленники сна.
В одном убежден я: коль скоро Творцу сопричастен Али,
О Галиб, ему поклоняясь, душа моя Богу верна.

* * *

Создатель двух миров считал один из них блаженным.
Неловко было спорить с ним другого мира жителю.
Познанья каждая ступень — пристанище усталых.
Но как нам жить, не отыскав дороги к вседержителю?
Хоть жаль хиреющей свечи участникам пирушки,
Но если впрямь горенье — жизнь, что делать исцелителю?

* * *

Бег времени! Рядом с тобою зарницы мгновенье под стать
Медлительной поступи девы, чьи ноги окрашены хной.

* * *

Ни шелковинки, чтоб сплести себе зуннар священный, нет.
Изодран ворот, а примет любви самозабвенной нет.
Не жаль и сердца своего за то, чтоб на тебя взглянуть,
Да сил моих — перенести тот миг благословенный — нет.
Будь свидеться с тобой трудней — мне легче было б не в пример.
Блаженной трудности такой, признаюсь откровенно, нет.
Я жизни без любви не рад. В ее страданьях сладость есть,
Но сил душевных у меня для муки вожделенной нет.
Шальная голова моя обузой сделалась для плеч.
Разбил бы о́б стену ее... А есть в пустыне стены? Нет!
Ослабло сердце! Не ищи подавно ненависти там,
Где даже места для любви, соперник дерзновенный, нет.
Смотри, красавица, мой стон Господь услышит наконец!
Поверь, смиренный голос мой — не щебет птички пленной,— нет!
«Я выстою! Вонзай смелей в меня шипы своих ресниц!» —
Клянется сердце боль стерпеть, а сил у плоти бренной нет.
Таких воительниц, Аллах, непобедима простота!
Идут в сраженье — ни мечей, ни выучки военной нет!
Я видел Галиба в толпе и в одиночестве встречал.
Не спятил, но и не сберег он разум полноценный,— нет!

* * *

Будь сердце каменным — ему не сладить с болью непомерной.
Казнишь и плакать не велишь — таков обычай изуверный!
Кому я надобен? Зачем? Один сижу на раздорожье...
Ни алтаря, ни храма нет, ни врат, ни стражи нет придверной.
Зачем накинула чадру? Лицо твое как солнце полдня.
Взглянувший будет ослеплен его красой неимоверной.

Очей разящие мечи не вздумай в зеркало уставить:
Тебе самой опасен взор, губительной повадке верный.
До самой смерти человек от мук не видит избавленья,
Как будто плену бытия — страданья цепи соразмерны.
Своим зазнайством ты спасла соперника от униженья:
Его испытывать зачем красавице высокомерной?
Зачем зовешь меня в свой круг? Моя несовместима робость
С великолепьем, с красотой, с твоей гордыней беспримерной.
Мне горя мало, что тебя корят неверностью, безбожьем.
А правоверному — зачем ходить к безбожной и неверной?
С утратой Галиба ничто не пресеклось на белом свете.
Тогда зачем о нем рыдать, зачем печалиться чрезмерно?

* * *

Никого в том краю, где теперь суждено тебе жить, не будет.
Никого, чтоб словцо на родном языке проронить, не будет.
И не будет соседа в дому без окон и дверей,
И привратника там, чтоб хозяина оборонить, не будет.
Заболеешь — не будет никто за тобою ходить,
А умрешь — даже плакальщика, чтоб тебя хоронить, не будет!

* * *

Идолов, падких на лесть, величанье мне надоело.
Слово — с устами в размолвке. Молчанье — милое дело!
Зыблется в чаре, плывущей по кругу, влага хмельная.
Ищет с моими устами слиянья дань винодела.
В сваре с гулякой у двери кабацкой — горе монаху,
Чье опрометчивое замечанье пьяных задело.
Верность обманчива! Сам испытал я непостоянство:
Долго дружило с устами дыханье — и отлетело.

* * *

С мечтой мятущейся простясь, льет сердце слезы непрестанно:
Не в силах рассчитаться с ней должник, лишенный чистогана.
Я тоже из таких... Я сам — незаживающая рана,
Недогоревшая свеча, что загасили слишком рано.

* * *

Я живу мечтой диковинной вместо жизни обыденной,
И подобен крику сказочной птицы стон мой затаенный.
Что мне до весны и осени, если в клетке бесполезные
Крылья вечно мне мерещатся и скорблю душой смятенной.

Друг мой, ветрены любимые! Верность — это дело случая.
Сердца жалобы прелестница слушает неблагосклонно.
К счастью, нрав мой жизнерадостный верх берет над
безнадежностью:
Руки, сжатые в отчаянье,— клятва веры возрожденной.

* * *

Моим желаньям исполненья нет.
Мечте моей осуществленья нет.
В урочный день приходит смерть, но тщетно
Жду ночью сна: отдохновенья нет!
Над сердцем я смеялся! Зубоскалить —
Увы! — теперь обыкновенья нет.
За воздержанье нам сулят награду,
Но к ней, признаться, тяготенья нет.
Молчу я,— значит, есть на то причина!
Неужто говорить — уменья нет?
Молчать мне надо, чтоб меня хватились.
Заговорю — и попеченья нет.
Чутьем не распознал сердечной раны
Целитель мой! Мне облегченья нет.
Я — там, откуда самому ни слуху
Нет о себе, ни извещенья нет.
Смертельно жажду смерти: и приходит
И не приходит, а терпенья нет!
С каким лицом идешь в Каабу, Галиб?
Ужель в душе твоей смущенья нет?

* * *

Наивное сердце! С тобою нет сладу.
Где снадобье — вылечить эту надсаду?
И в чем тут загвоздка — открой мне, Творец!
Я — к ней, а она воздвигает преграду!
Ты знаешь сама — у меня есть язык!
Спросила бы, в чем нахожу я отраду?
Коль скоро вселенная — дело Творца,
Откуда сумятице быть и разладу?
Отколь своенравницы эти взялись?
Кто очарованье придал их наряду?
Зачем благовонье — волнистым кудрям
И нега — сурьмой окаймленному взгляду?
Откуда деревья, цветы, облака?
Кто выдумал ветер, несущий прохладу?

Что верности даже не нюхала ты —
Мне горько, доверчивому неогляду!
Заладил докучную песню дервиш:
«Добро сотворивший получит награду!»
Я в жертву тебе свою жизнь отдаю,
Но ханжества чужд, не привержен к обряду.
Хоть Галиб не стоит и впрямь ничего,
Бери: даровщина ведь лучше накладу!

* * *

Ночь скорби! Убежище мрачно мое, как подземелье.
Светильник, зари не дождавшись, погас. Ну и веселье!
Ни вести — для слуха, ни взору — красы. Уши и очи
Отринули ревность, забыли вражду и присмирели.
С надменной красавицы жаждет вино снять покрывало.
Угроза рассудку — любовь! Голова — будто с похмелья.
В зените — звезда продавца жемчугов: стройную шею
Красавицы нынче украсил вдвойне блеск ожерелья.
Свиданье за чашей, но нет в кабачке шума и гама:
Я в обществе дум и фантазий своих, в тихом безделье.

* * *

Приди наконец! Я зову тебя снова и снова,
В томленье, в смятенье, в тоске ожиданья сплошного.
За многострадальную жизнь посулили мне рай.
Но разве похмелье нам слаще напитка хмельного?
Когда над слезами утратил я начисто власть,
Твое окруженье прогнало меня, как блажного.
Весна загляделась, как в зеркало, в чашу цветка.
Мне в душу, как в зеркало, смотрит краса без покрова.
Какое блаженство! Меня поклялась ты убить,
Но жаль, если шаткой окажется клятвы основа.
Мы слышали, будто отрекся Асад от вина,
Да только никто не поверил, что сдержит он слово.

* * *

По пятам идет за мной палач. Как я благодарен провиденью!
Рада голова, что удалось ноги обогнать проворной тенью.
«Пьян до умопомраченья будь от вина любви»,— судьба писала,
Но, к несчастью, вывело перо только «пьян до умопомраченья»...
Опьяненье радостью любви уступило треволненью место.
Неурядицы мешают мне в пылких муках черпать наслажденье.

У ее ворот опередить суждено мне своего посланца.
Помоги ей, Господи, воздать должное такому нетерпенью!
Протекает в горестях мой век. Оттого и жажду я, чтоб этих
Безмятежных завитков ряды приобщились к моему смятенью!
В сердце у меня вскипает кровь. Как я мог принять кипенье крови
За свое дыханье? До чего нас доводит самообольщенье!
Те, что прежде без нужды клялись жизнью Галиба на каждом слове,
Беззастенчиво дают зарок не прийти к нему на погребенье.

* * *

Как разлука, встреча долгожданная в сдержанности робкой нам скучна.
Милой — обольстительность, влюбленному одержимость рьяная нужна.
Если жаждешь ты сорвать единственный поцелуй с ее прелестных уст —
Надобно желанье неотступное и решимость пьяная нужна!

* * *

Излей ты жалобу, душа,— в ней черт искусства нет.
У флейты есть и тон и лад, живого чувства нет.
Как нищий, разве станет сад выпрашивать вино?
Зачем же тыкву посадил садовник, а не цвет?
Во всей вселенной не найти подобья божеству,
Хотя хранит любой предмет его печать и след.
Где скажут — «есть», помысли — «нет»! Обманом бытия
Не обольщайся нипочем,— даю тебе совет.
Запомни: если нет весны — и осени не жди!
Чуждайся радости, зато избегнешь многих бед.
Отрыжкою пчелиной ты не брезгуешь, монах,
А кубок оттолкнул! Ужель вино тебе во вред?
Асад! Небытие — ничто, и бытие — ничто.
Ау, Ничто! Эй, что ты есть? Откликнись, дай ответ!

* * *

Извечный стон: «Внемли, Господь!» — не мыслю заглушить весельем.
Моя улыбка — четок ряд. В ней сходства мало с ожерельем.
Но добрым словом отомкнешь ты неподатливое сердце:
У потайных замков учусь, волшебным восхищен издельем.

Мне втайне свойственно желать, чтоб не сбылось мое желанье.
Мне сладостней — таков мой нрав! — сама печаль с ее похмельем.
Познав превратности любви, сроднились вы со мною, Галиб.
Давайте, господин Мирза, друг с другом эту грусть разделим!

* * *

Чернильные капли, с пера упав, расплылись на бумаге.
В книге судьбы моей так отмечены ночи разлуки.

* * *

Что делать? Усталое сердце свое опять испытую!
И розового не нацедят вина мне в чашу пустую.
Бранить виночерпия совестно мне, да много отстоя,
И в кубке нередко случается муть увидеть густую.
Нет в луке стрелы, и охотника нет в засаде.
Здесь очень спокойно. Я клетку ценю свою обжитую.
Не верю аскету. Пускай — не ханжа, но ждет воздаянья
За доброе дело и в сердце таит корысть зачастую.
Особой дорогой кичится мудрец. Что толку в зазнайстве?
В обход повседневных запретов найдешь дорогу простую.
Меня у святого колодца оставь! Не место в Каабе
Тому, кто в пути запятнает вином одежду святую.
Вот горе! Отказа ее не слыхал, в согласье — не верю.
Стою на своем и в открытую дверь ломлюсь я впустую.
Покуда я сердца не выплакал кровь, помедли, кончина!
Зачем подступаешь вплотную ко мне? Я жизни взыскую!
Возможно ли Галиба нынче не знать! Поэт знаменитый
И пишет отменно, да только снискал он славу худую.

* * *

Немало времени прошло с тех пор, как был я гостю рад.
Огнистым кубком на пирах не зажигал давно лампад.
Ресницы-стрелы! Я для вас осколки сердца соберу.
Вы эту самую мишень разбили много лет назад.
Давно я ворот разорвал. Воды немало утекло,
И чувства сдерживать привык я так, что дух во мне зажат!
Немало времени прошло, но искры вздохов без конца
Разбрызгивает сердце вновь, и жаром каждый вздох богат.
Опять любовь готовит соль для тысячи сердечных ран.
Опять она про боль мою расспрашивает невпопад.
К возлюбленной прикован взор. О ней мечтает сердце вновь.
Глазам и сердцу вновь грозит соперничество и разлад.

Опять, рассудку вопреки, я в переулок твой спешу —
У дома, где меня бранят, круженья совершать обряд.
Опять любовь, как продавец, выкладывает свой товар.
Мой разум, сердце, жизнь мою получишь без больших затрат.
Опять мне стоит увидать один затейливый цветок —
И ста пленительных садов я ощущаю аромат.
Я распечатать жажду вновь письмо возлюбленной моей
И обращенье вслух прочесть... За это жизнь отдать я рад.
Опять кого-то в тишине, под черною чадрой кудрей,
Рассыпавшихся по лицу, на плоской кровле ищет взгляд.
Мечтаю снова увидать глаза с кинжалами ресниц.
Кинжалы эти от сурьмы становятся острей стократ.
Опять прелестный лик весны расцвел от светлого вина.
Я взором внутренним прозрел ушедшей юности возврат.
У чьей-то двери я опять перед привратником стою,
Потупя голову, точь-в-точь как перед стражем райских врат.
Хотелось бы душе моей ту пору дивную вернуть,
Когда о милой день и ночь я был мечтаньями объят.
О Галиб, не терзай меня! Сердечной бури близок час:
Стеснили вздохи грудь мою, и слезы брызнуть норовят.

* * *

Строки сердца моего! Вы трудны. За это строго
Нас привыкли осуждать знатоки стиха и слога.
Чтобы стал понятней стих, просят изъясняться проще.
Буду трудно говорить: простота сложней намного!

* * *

Что сказать могу я, Галиб, о стихах Мир Таки Мира,
Чей диван благоуханней пышных цветников Кашмира?

* * *

Изображенья прелестниц да связка посланий любовных —
Все, что осталось в дому после кончины моей.

БАХАДУР ШАХ ЗАФАР

* * *

Нет, не светоч во веки веков я,
в одиночестве сгинуть готов я;
Бесприютная пригоршня праха,—
в безысходной печали таков я.

Для далеких друзей не ограда
и для близких моих не отрада,
Урожай разоренного сада,
пустоцвет вместо зрелых плодов я.
Позабыт я моею страною,
и свечу не зажгут надо мною,
И цветов не дождусь я весною:
гроб среди позабытых гробов я.
И в пустыне безжизненной грешен,
не услышан людьми, безутешен,
Я на горе великом помешан,
в безответном страдании зов я.
Я Зафар, я никем не возлюблен,
потому что мой корень подрублен;
Край, который навеки загублен,
безнадежно разрушенный кров я.

* * *

В неведении оставлен я,
и сам себе не явлен я;
Трезв или пьян, глуп или мудр,
забыт или прославлен я?
Мой чуткий слух внимает всем,
хотя молчат уста мои;
Не ведаю, где сон, где явь,
не знаю, чем отравлен я.
Не знаю, жив я или мертв.
Что значит радость и печаль?
Быть может, жизнью восхищен,
а может быть, подавлен я?
Благочестив и нечестив,
кляну мирское и люблю.
Быть может, я судьбой сражен,
а может быть, избавлен я?
Что мне Кааба, что мне храм!
Ты в сердце, Ты не здесь, не там.
Как будто в поисках Тебя
Тобою не направлен я!
Я весь ничто, и весь я всё:
пускай Зафар из праха прах,
Превыше духов я, Зафар,
хоть смерти предоставлен я.

* * *

И в небесах и на земле властительная суть.
Ты молод или стар,
Открой глаза! В тебе самом разительная суть:
Слепому вверен дар.
Очисти сердце, как стекло, от помышлений злых,
И в зеркале таком
Откроется тебе тогда пленительная суть
Прекрасней всяких чар.
Осмелься только посмотреть: повсюду красота!
И на горе Синай,
И в каждом камне до сих пор спасительная суть,
Неугасимый жар.
В Каабе, в капище, везде разыскиваешь ты
Сокровище души.
Таится лишь в тебе самом хранительная суть,
Предотвратив удар.
Веселье в чаше круговой, среди друзей хмельных.
Другого счастья нет.
Лишь в этом раз и навсегда живительная суть,
Все прочее — угар.
Любви своей не разглашай, любовь свою таи:
Ценнее тайны нет!
Останется в душе навек целительная суть.
Молчи, молчи, Зафар!

КИТАЙ

Составление и вступительная статья

Л. Эйдлина

Подстрочные переводы

Г. Монзелера, Б. Панкратова, Е. Серебрякова, В. Сухорукова, А. Карапетянца, Тань Ао-шуан, И. Смирнова

КИТАЙСКАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ ПОЭЗИЯ

Китайская поэзия известна в мире. На долю настоящего сборника пришлись века ее расцвета, века самых больших ее художественных достижений, века близости и внимания к жизни человека.

Что важно и наиболее привлекательно для нас в китайской классической поэзии? Необычность, национальная терпкость, все то, что отразила она из обычаев, из мировоззрения, из природы и что отличает ее от всех прочих поэзий Востока и Запада? Если бы было только так, то ничего, кроме любопытства, и не вызывала бы она у неродного читателя. Но мы видим, как переводы прекрасных ее образцов притягивают к себе сердца. А это означает, что главное в китайской поэзии все-таки общечеловеческое ее начало, содержащееся в ней и до перевода скрытое от неподготовленного взгляда за таинственно-завораживающей орнаментальной стеной из иероглифов.

Так ли уж много надо знать, чтобы почувствовать красоту и естественность линий здания или вазы, углубиться в смысл нарисованной картины, если их создал даже гений далекого от нас народа? Здесь нет явственных преград между зрителем и объектом его любования, здесь и чужестранец может иной раз быть не меньшим ценителем, чем соотечественник художника. Поэзия же другого народа для общения с собою требует перевода слов и передачи мыслей, что всегда нелегко и что не всегда доступно. Благодаря переводу, литературы стран и народов в совокупности своей с полным правом становятся литературой всего мира, то есть литературой общечеловеческой.

Благодаря переводу мы узнали и китайскую поэзию. И поняли, что национальное ее своеобразие есть лишь обрамление общих наших с нею дум и чувств. И, поняв это, без малейшего предубеждения, а скорее в ожидании новых радостей, склоняемся над тем, что сумел донести до нас переводчик китайских поэтов.

И вот уже мы читаем стихотворения Цао Чжи, помещая его у входа в то в достаточной мере зыбкое пространство, которое называется средневековьем и начинается в III веке: в первых десятилетиях его творил выдающийся поэт.

Следующая за Цао Чжи вершина китайской поэзии, может быть, самая высокая,— Тао Юань-мин. Он потрясает нас неожиданной простотою слова, выразившего сильную мысль, определенностью и чистой бескомпромиссностью этой мысли, всегда направленной на поиски истины.

Так приближаемся мы к преддверию танского государства, с обилием поэтов, ум и искусство которых, кажется, и не могут быть уже превзойдены, но за ними следуют поэты сунские, с новым своим взглядом на мир, а там и юаньские, и минские, хотя и повторяющие многое, но одарившие историю китайской литературы свежими, самобытными индивидуальностями. На них и заканчиваем мы сборник, не переходя за рубеж первой половины XVII века, то есть в пределы, отмеченные периодом цинского государства, хотя средние века, как мы приблизительно их понимаем, все еще тянутся и в XVIII веке еще не дали себя сменить тем временем, которое называется уже новым. Но надо же где-то приостановиться в этом потоке многовековой поэзии, и поныне не подвергшейся забвению.

Не странно ли, действительно, что почти две тысячи лет от Цао Чжи и путь в тысячу шестьсот лет от Тао Юань-мина (не говоря уже о сравнительно «близком» расстоянии от Ли Бо, Ду Фу, Су Ши, Лу Ю), не странно ли, что отдаленность эта не стерла волнений, пережитых поэтами, не помешала сочетать их с тревогами наших нынешних дней? Патина старины, легшая на светлую поверхность всех этих стихов, не заслонила бьющейся в них живой жизни. Стихи не потеряли своей увлекательности и не остались по преимуществу литературным памятником, как это произошло с рядом классических произведений мировой литературы.

Поэты старого Китая перед читателем. Они не требуют подробных рекомендаций и говорят о себе своими стихами. Мы же скажем о времени и обстоятельствах их творчества, а также о главных чертах его, обусловленных временем и обстоятельствами. Мы думаем, что достаточно одного лишь нашего направляющего движения для того, чтобы с полной силой зазвучала сама поэзия и рассказала о тех, для кого она творилась.

Стихотворения записаны иероглифическими знаками. Такова первая их особенность, которую можно было бы и не отмечать, так она очевидна. Но иероглифическая письменность делает и перевод иным, предоставляя ему большую свободу в выборе понятий и слов, стоящих за иероглифом. Мы ошибемся, если будем предполагать, как это иногда делается, что китайское стихотворение представляет собою живописное зрелище и само по себе является в некотором роде картиной. Такое предположение если не окончательная неправда, то уж, во всяком случае, огромное преувеличение, особенно для современного китайского читателя, видящего в иероглифе выражение понятия, и только, и забывающего о начале происхождения знака. Но понятие, объемлемое иероглифом, «многолико» и многословно, и, таким образом, китайское стихотворение, конечно, больше подчинено фантазии читателя, чем стихотворение, записанное фонетической азбукой. Переводчик — тоже читатель, и он

выбирает одно из ряда доступных ему читательских толкований и предлагает его **своему** читателю.

В наш сборник, охватывающий III—XVII века, вошли два основных жанра китайской классической поэзии — ши и цы. Ши — стихи с четырехсловной (чаще всего в дотанской поэзии), пятисловной и семисловной строкой, с двухстрочной строфой, с цезурой в четырехсловных и пятисловных стихах после второго знака, а в семисловных — после четвертого знака. Ши — изначальная и преимущественная форма, просуществовавшая, как и цы, до самого последнего времени. Цы появились позднее, в танское время, приблизительно в VIII веке, и тематика их вначале ограничивалась узколичными переживаниями стихотворца. Полной зрелости достигли они в сунском государстве, а Су Ши в XI веке доказал своим творчеством, что стихам цы доступны все сферы поэзии. Цы, в отличие от ши, состоят из неравных строк и сочинялись на определенные мелодии — вначале музыка, а затем стихи. Названия мелодий остались и впоследствии, когда стихи цы потеряли музыкальное сопровождение, уже теперь неизвестное нам и определяемое лишь по манере размещения неравнословных строк.

Перед умственным взором (как принято было говорить в старину) читателя нашего сборника должно пройти пятнадцать веков китайской поэзии. Поэт за поэтом свидетельствуют развитие мысли и литературы китайского общества. Сначала на малых просторах «Трех царств», «Юга и Севера», а затем в могучих феодальных государствах, по нескольку сот лет управляемых одной династией.

И каждое из времен рождало свою поэзию, нужную ему и крепкими узами связанную с предшествующей. Поэзия несла с собой и хранила традицию. Читая китайских поэтов в их последовательности, не очень трудно заметить учительную, воспитательную ее сторону. Поэзия и мировоззрение были в той нераздельности, какая диктовалась нераздельностью науки и искусства. Функции и задачи поэзии были столь серьезны, столь необходимы для самого внутригосударственного устройства, что меньше всего места могло отдаваться поэзии досуга, поэзии ленивого созерцания или, наоборот, пылкой страсти. Мы поясним это в дальнейшем.

В конфуцианском представлении о мироздании человек равен небу и земле, живя между ними и составляя вместе с ними триаду небо — земля — человек. Через всю историю китайской поэзии проходит внимание к человеку, сочувствие, а впоследствии и служение ему. Идея нравственной жизни была главенствующей в китайской литературе. (Не в этом ли также одна из причин сохранности китайской старины?)

Нравственность в ее конфуцианском понимании как труд для страны или в даосском понимании как уход от человеческого общества очень редко проявлялась в обнаженном, беспримесном виде, да и само проповедуемое даосизмом отшельничество на практике не было полным разрывом с людским окружением. В китайских династийных историях сведения о Тао Юань-мине даются в разделе «Жизнеописания отшельников». Уже одно это показывает

широту трактовки отшельничества китайской исторической традицией, свободу варьирования популярного термина. Тао Юань-мин был «отшельником», окруженным семьей, друзьями и деятельными соседями,— все они так или иначе присутствуют в его стихах. Его «отшельничество» — отказ от службы и жизнь в трудах на природе. Так понимал он «естественность», в которой обязан пребывать человек. Как и следует ожидать, предметом воспевания поэзии должно было стать во всех его видах именно отшельничество, более податливое к поэтизации, чем труд для страны, выражаемый в средневековом Китае чиновничьей службой.

Природа и человек в китайской поэзии слились в нерасторжимое единство, в котором и каждодневная жизнь среди людей, и отшельничество соседствуют рядом. Была близость человека к благодатной китайской земле, с ее цветами и плодами, ее деревьями, ее птицами, знание которых завещано Конфуцием в «Беседах и суждениях». Даже обширные государства средневекового Китая с их шумными торговыми городами не в силах были оторвать поэзию от земли, от крестьянско-помещичьей основы и заставить ее воспеть беспокойный город.

Путь китайского стихотворца был долог и труден. Те замечательные поэты, которых мы знаем и сегодня, изучали конфуцианские каноны и стихи своих предшественников для того, чтобы сдавать экзамены на чиновничью должность. Каждый государственный чиновник умел писать стихи, поэтами же становились немногие. Поэты были, как правило, чиновниками, реже — людьми с неудавшейся карьерой и почти никогда не бывали крестьянами. Не то, чтобы крестьянин не допускался в официальную поэзию или на государственную службу. Сама необходимость немалых средств для десятилетий непроизводительной жизни, когда все время отдавалось учению, устраняла возможный демократизм допуска на государственную службу и определяла круг чиновников, а значит, и поэтов из помещичьей среды.

Сдав экзамены, приезжали они служить в чужой (непременно чужой!), без родных и знакомых, край, полные трогательных воспоминаний о прошлой жизни, и так возникала поэзия тоски по родной природе. Они вершили дела на службе и, сталкиваясь с человеческими несчастьями, задумывались над тем, что творилось вокруг них. Конечно, не все. Но мы говорим о поэтах, что пришли к нам через цепь веков, а значит, о лучших, о самых умных и самых человечных. Недаром же в глазах старой китайской критики моральные свойства самого поэта целиком заключены в его стихах. Да и как могло быть иначе при этой системе, когда поэт почти непременно был управителем людьми. Репутация писателя устанавливается сначала его современниками, и «хорошие» стихи дурного человека были бы немедленно разоблачены. О добром правлении в Ханчжоу танского Бо Цзюй-и и сунского Су Ши история не забыла.

Итак, поэзия природы. Поэзия воспоминаний и любования сосной и кипарисом, цветами и травами. Поэзия чиновников, видящих природу из окна присутствия, поэзия буддийских монастырей в горах и на водах, поэзия лес-

ного сумрака и залитого солнцем крыльца. Весна и осень, соревнующиеся между собою в восприятии разных поэтов. И редко, очень редко суровая зима и знойное лето. И почти никогда в отрыве от человека: даже если природа одна и как будто сама по себе, все равно за нею следит одушевляющий ее внимательный глаз поэта, без которого нам ничего не увидеть и ничего не понять. Как ничего не увидит и сам поэт, если он живет в суете, не замечая, как сменяются времена года. И занятость монашеская здесь не предпочтительнее и не лучше суеты мирской.

В таком случае, что же представляет собою отшельник, друг и наблюдатель природы, без которого не обходится китайская поэзия? Уж он-то должен быть чист от «красной пыли» мирской. И тут мы сталкиваемся с упомянутым выше широким пониманием «ухода от мира», когда «мир» не отождествляется с людьми, а сам факт отшельничества не становится эгоистическим спасением собственной души. И о теме отшельничества в поэзии мы уже не можем говорить отдельно от темы духовного общения, а иначе сказать — дружбы. Духовное же общение людей высоких помыслов не обязательно предполагает даосский уход к одинокой жизни, и сановник, умеющий внутренне отвлечься от корыстолюбия, от жадного карьеризма и жестокости, окружающих его, находится в великом отшельничестве по сравнению с малым отшельничеством уединения в горах. Так отшельничество в китайской поэзии стало частью огромной темы верной дружбы людей, если не во всем одинаково воспринимающих мир, то уж, во всяком случае, знающих, что краткий миг человеческого существования должен быть оправдан делами на благо людей.

Миг человеческой жизни. О краткости его никогда не забывает поэт. Не отсюда ли стремление пораньше начать срок старости и так продлить время сознательного, мудрого существования, от которого были отняты годы на обучение для подготовки к деятельности чиновника и поэта. Мы привычно говорим — поэта. Но будем все время помнить, что в поэзии сосредоточились и наука того времени, и философия. Поэты и были мыслящим слоем общества. А в некоторые времена, как, например, в сунское, и самым влиятельным слоем общества, потому что стояли у кормила правления.

Поэзия была верна идее возложенной на нее учительности. Но дидактизм не мешал ее непосредственности, ее увлеченности живым миром людей и природы, не препятствовал быть ей поэзией чувства, однако же, подчеркнем, чувства, непременно проверенного разумом. Вот почему так ограниченна поэзия юности и главного в юности любовного чувства, не терпящего контроля над собой. Любовная поэзия древнего и средневекового Китая — это либо народные песни от «Шицзина» до юэфу, либо «древние стихотворения», с их любовной тоской и заботой супругов, где верность — их идеал. Любовный же лиризм жанра цы господствовал в этих стихотворениях, по масштабам китайской истории, сравнительно недолго, лишь до той поры, пока Су Ши, а вслед за ним и другие сунские стихотворцы, не приравняли цы к классическому жанру ши, расширив поле их применения. Порывы юной души редко проявлялись в китайской поэзии. Даже рано умершие поэты, ушедшие из

жизни, не достигнув и тридцатилетнего возраста, не оставили стихов беззаботной юности, предпочитая им поэзию мысли.

Китайский поэт приносил в поэзию мысль, которой он учился у своих предшественников и которую почитал общей для всех, поэзия же служила ему средством общения с друзьями. Недаром так много «ответов», «подражаний», «перепевов», «посланий» встречаем мы среди китайских стихотворений. Послания к друзьям, однако, не превращались в зашифрованный обмен некими сведениями, интересными и понятными лишь посвященным. Не существовало «ордена поэтов», парящего высоко над презираемой толпой. Потому что проповедуемые поэтами мысли были для всех, потому что искусным в стихотворстве мог быть каждый, готовивший себя к чиновничьей карьере. И помимо Ли Бо трудно назвать другого поэта, который бы в своих стихах возвышал себя над людьми. Но Ли Бо возвышал себя и над природой, что имело характер не личного высокомерия, а, как мы бы сейчас сказали, романтический. Да и так, действительно, необычен и резко непохож на других этот поэт, так выходит из общего ряда, что не может он быть подвергнут ни обыденному осуждению, ни даже упреку.

Китайская классическая поэзия рядом с людьми и для людей. Высокие свои достоинства она доказала одним присутствием ее среди нас, людей XX века. Эта поэзия не сразу приобрела ясность выражения. Она долго требовала разгадки запечатленной в иероглифических знаках мысли. «Пресность» (так любила говорить старая китайская критика) Тао Юань-мина предопределила вещность китайской поэзии, но не сумела еще ни отвергнуть неопределенность ее содержания, ни устранить стереотипность ее формы. Следующие за Тао Юань-мином поколения поэтов V—VII столетий не сразу восприняли его необыкновенные достижения. И только выдающиеся стихотворцы времени расцвета танского государства впервые по-настоящему поняли кому они обязаны подаренной им мощью. Написанные для современников китайские стихи на удивление современны и в наши дни. Современны, но, может быть, не всегда понятны? Эта поэзия оставила позади себя те столетия, в которые она уже оказалась особенно трудной для понимания и потребовала дополнительных комментариев. Она не легка и сейчас, но, благодаря тем самым столетиям, осветившим ее, вполне доступна, если соответствующим образом подготовить себя к ней,— доступна, и демократизм ее (решимся здесь на это выражение) очевиден.

Поэтические беседы с друзьями — одна из причин, почему китайская поэзия стала поэзией мысли. Как мы уже говорили, поэзией мысли, не отринувшей чувства: одно не исключает другого, а скорее обогащает его. Но и беседы с друзьями имели свои причины. Эти беседы не были просто следствием стремления выразить в письменном, стихотворном виде другу чувство и мысль. Были они принудительными, вызванными обстоятельствами жизни. Пафос «древних стихотворений», создававшихся к началу и в начале нашей эры, в разлуке жены с мужем. Разлука так и осталась «неразлучной» с китайской поэзией. Но на смену разлуке любящих пришла разлука друзей. Чинов-

ников, переезжающих на другое место службы, опальных сановников, ссылаемых в качестве правителей на окраины государства, неудачников, так и не добившихся должности и одиноко живущих в глубинах лесов и гор, монахов в затерянных буддийских и даосских храмах. И письма-стихи с размышлениями, вопросами и ответами на вопросы шли из столицы во все концы страны, и отовсюду в столицу, и писались на стенах почтовых станций, монастырей, куда ни забрасывала поэта судьба. Если можно так выразиться, китайская поэзия в значительной мере — общественная, с самого рождения своего явная, выносящаяся на люди: не себе, а всем поверяет свои мысли и чувства поэт.

Такая открытость китайской поэзии не противоречила ее «дневниковости». Воспринимаясь как нечто обыденное и необходимое, поэтическая запись применялась к каждодневным жизненным событиям, уже теперь приобретающим для нас (как всякое далекое по времени произведение искусства) окраску праздничности даже в грустных размышлениях поэта. А грусти много, особенно в танской поэзии. Грусти о себе и о людях. Есть традиция печалей китайского поэта. Но она лишь ветвь всей культурной традиции Китая, так и не отступившей в тень, а проявляющей себя и обновляющейся различным образом.

В поэзии общая культурная традиция поддерживается реминисценциями, взглядом в прошлое и опорой на него в прямых или уклончивых намеках, что создает и некую прелесть узнавания, окутывая стихотворение дымкой загадочности. Без всякой неожиданности для читателя XII века, например, укладывается строка из поэта IV века, и она определяет смысл сказанного: стоит только догадаться. А не догадаться нельзя, потому что читатель готов к этой поэтической «игре» благодаря знанию своей непрерываемой культуры, дошедшей до него хотя и не в полной целости, но все же в доброй сохранности. Непрерывность китайской культуры обеспечила обережение традиции и, следовательно, целостность поэзии, то есть плавное эволюционирование проходящих через нее тем, настроений, мыслей.

И вот как ветвь неубываемого наследия — традиция печалей. Начнем с самой значительной из них, с печали о смерти. Но печаль ли это? Скорее спокойно-грустный взгляд на «превращение» плоти, взгляд, не проникающий за черту, которая отделяет жизнь от небытия. И если даосский мыслитель Чжуан-цзы считает, что жизнь и смерть равны между собою, то он всегда найдет среди китайских поэтов конфуцианского опровергателя подобной идеи. Но и опровергатель не ужасом встречает смерть, а смотрит на нее как на неизбежность, включающую его, человека, в «таблицу предков» для почитания потомками.

Жизнь человека, в чем уверяют нас китайские поэты, не более чем недолгий постой. Мы упоминали уже о том, что краткость эта не стоит печали. Но она навевает раздумья, которые мы назвали бы тихой печалью и в которые входит наблюдение за сменой времен года и возникающая грусть при прощании с весной, а может быть, и при встрече с осенью, а затем и при уходе осени. Поэта не покидает чувство ожидаемой внезапности.

Старость — предвестница смерти. Печаль о старости. Поэт объявлял себя старцем в сорок лет, когда далеко еще ему было и до бессилия старости и до смерти. Поэтическая старость человека, полного сил, находящегося в духовном расцвете, позволяла поэту говорить о собственном своем приближении к смерти и о тяготах одряхлевшей плоти без трагизма сопричастности. Возникала поэзия старости, в которой жалобы были «эстетизированы», а на их фоне шли размышления о сути жизни и предназначении человека. Так повелось с самых ранних поэтов. Когда же надвигались беды подлинной старости, то о них уже говорилось по-иному: поэт старался не навязывать читателю личные свои несчастья. Эту последнюю истину не раз отмечали сами китайские поэты в своих стихах.

Печаль встреч и печаль расставаний. Не странно ли говорить о печали встречи? Но речь идет о китайской действительности, и печаль встречи в ней потому, что силами обстоятельств встреча поэтов-чиновников в первую очередь напоминает им о новом отъезде и, значит, о скорой разлуке, о потере старых друзей, о прошлых невозвратных днях. Надо ли комментировать печаль расставания, в которой и неизвестность будущего, и опасности переездов по необжитым местам, и длительность получения писем в те времена. (Стихотворный жанр цы первого периода его развития овеян тоскою по той, с которой в разлуке поэт.) А встречи и расставания были деталями обыденной жизни, заполняющими «дневниковые» стихи китайских поэтов. Между прочим, «дневниковость» мало затрагивала семейную жизнь поэта, каждодневный его быт: поэзия поднималась над едой и одеждой, пока еда и одежда не становились проблемой существования.

Печаль о самом человеке проделала большой путь в китайской поэзии. Путь от печали о себе до возмущения страданиями других. Пленительные стихи китайских поэтов не дают нам забыть о пережитом ими. Нам редко, очень редко, удастся найти безмятежную жизнь среди тех, чьи имена навеки украсили китайскую литературу. Теперь уже мы знаем, что от бед стихотворцев стала богаче и гуманнее китайская поэзия, но осознание этого не делает их беды легче.

Изысканность или, вернее, тонкость китайской поэзии не приводила ее к элитарности. Всегдашняя близость ее к насущной жизни определила неуклонное движение ко все большему узнаванию человека, чему помогала все большая широта кругозора китайского поэта, который в своей стране видел все. И уже в танском государстве поэт-чиновник, мучимый сознанием вины перед крестьянином, поднимается до громкого обличения несправедливости и передает эту миссию поэту следующего поколения, доходящему до открытого, мы бы сказали, всенародного протеста. Такие поэты — Ду Фу и Бо Цзюй-и. Пусть последний в своем стихотворении о халате, который согрел бы всех замерзающих, как будто повторяет первого с его домом, который вместил бы всех сирых (повторение — одна из черт китайской классической поэзии), главное же, что и тот и другой были правдивы и бесстрашны — не только поэты, но и лучшие люди времени. После них иной поэзии, отдаляющей

себя от злоключений народа, существовать не могло, что история китайской литературы и доказала.

Поэты не знали и не представляли себе возможности другого строя, как тот,— во главе с Сыном Неба, по идее мудрым государем, осуществляющим отеческую власть над народом. Вину за людские несчастья возлагали они на нерадивых и корыстных чиновников, обвиняя их перед народом и государем. Естественное для того времени заблуждение не уменьшало накала гневных обвинений, прямых стихотворных воззваний против удушающих налогов и против ненужных крестьянину губительных «войн на границах». Поэтов лишали чиновничьих должностей, ссылали на дальние окраины государства, но голоса их не умолкали.

Боль за человека перерастала в боль за всех людей родной страны, а дальше — и за судьбу страны, и в XII веке в сунском государстве, подвергшемся вторжению чжурчжэней с северо-востока и захвату северных территорий, развивается патриотическая поэзия, во главе которой можно поставить Лу Ю, а в жанре цы — Синь Ци-цзи, авторов многочисленных, распространившихся в народе стихов. Подобная поэзия продолжалась и в безнадежности подавления Китая монгольской династией Юань: сунская культура не дала себя убить, ревностно храня и обновляя продолженную и в дальнейшем традицию.

Поэты-печальники, поэты-обличители, поэты-заступники,— как иначе назовешь тех великих и их товарищей и соратников, кто (в особенности в танское и сунское время), рискуя карьерой и жизнью, и теряя высокие посты, и погибая в ссылке в диких, нетронутых цивилизацией тех веков краях, выступал в защиту крестьянина и призывал к доброму обращению с человеком,— поэты эти были проникновенными лириками. Лирика старых китайских поэтов отражает сложность душевных переживаний людей их времени, но и отвечает нашим нынешним мыслям и чувствам.

Не из печалей ли соткана китайская поэзия? Но печаль искусства всегда радость для наслаждающегося встречей с прекрасным. Тем более, что и печалясь, китайская поэзия вселяет в читателя радость владения кратким мигом жизни, который одаривает нас мыслью, дружбой с достойными людьми, общением с природой, заинтересованностью в судьбе человека, радость владения тем мигом жизни, с которым жаль расставаться, не совершив доброго дела. Без нравственности и искренности нет искусства. И все же следует снова отметить эти необходимые качества, как бросающиеся в глаза в китайской поэзии и составляющие большую ее силу.

Если бы мы писали многовековую историю китайской поэзии, то нам пришлось бы следовать за изгибами ее движения и возвращениями вспять, задерживаться на битвах воззрений, отмечать сравнительные достоинства поэтов, расставлять вехи на периодах развития, останавливаться на временах подъема и упадка и в конце концов в заключение установить место, занимаемое ею в мировом литературном процессе. Мы же пишем вступление к нашему собранию китайских стихов и даем общий взгляд на китайскую поэзию

как на нечто цельное, стараемся показать характер китайской классической поэзии, то преимущественное в ней, что составляет ее особенность во всем национальном наследии китайской культуры.

Китайская поэзия отдается на суд читателя. Мы верим, что, получив некое необходимое направление, он сам и почувствует и домыслит стихи китайских поэтов, которые, по мнению А. Блока, требуют читательского сотворчества в большей мере, чем европейская поэзия.

Китайские поэты предстают перед нашим читателем облаченными в русские одежды. Сохранили ли они лицо, прежней ли осталась душа? Не так уж давно забота эта затронула русскую поэзию. Первый перевод — стихотворение М. Михайлова из «Шицзина», а затем «Тень» А. Фета относятся к прошлому веку; в начале нынешнего столетия, в 1911 году, В. М. Алексеев опубликовал перевод «Стихотворений в прозе» Ли Бо, а в 1916 году — снабженный исследованием перевод «Поэмы о поэте» одного из последних танских стихотворцев Сыкун Ту. В двадцатые годы В. М. Алексеев в журнале «Восток» печатал в своем переводе стихотворения Ли Бо. Незабываема «Антология китайской лирики VII—IX веков», составленная и переведенная под руководством В. М. Алексеева учеником его Ю. К. Шуцким. Об этой небольшого объема книге можно сказать без преувеличения, что она открыла в 1923 году для русского читателя знаменитую китайскую лирику танского времени. В стихотворном отношении в восприятии читателя конца века представляющаяся уже несовершенной, работа талантливого китаиста сумела передать национальное своеобразие, глубину мысли, тонкость чувств. Прекрасны поэтичные вступления В. М. Алексеева к разделам, на которые разбита антология его верной рукой.

Таково начало ознакомления советского читателя с китайской классической поэзией. После победы революции в Китае еще более усилился интерес нашего общества к культуре и жизни освобожденного народа и, естественно, неизмеримо увеличилось и число переводов. У нас, пожалуй, знают китайскую поэзию. Издана четырехтомная антология, в которой три тома с большим количеством имен отведено классической поэзии, а выбор авторов согласован с лучшими китайскими знатоками. Полностью переведен древнейший памятник китайской поэзии «Книга песен» — «Шицзин», отдельными книгами выходили стихи Цюй Юаня, Цао Чжи, Тао Юань-мина, Ван Вэя, Ли Бо, Ду Фу, Бо Цзюй-и, Су Ши, Ли Цин-чжао, Лу Ю, Синь Цзи-цзи, в журналах постоянно публикуются переводы. Так что настоящий сборник не окажется некой еще не изведанной новостью. Но читатель найдет в нем немало и нового для себя.

Несколько необходимых слов о том, чем руководствовались составители при подготовке сборника, иначе говоря, о переводе стихов и о выборе их для книги.

Всем нам достаточно хорошо известно, что первейшее требование к переводчику — знание языка, с которого он переводит, и культуры народа, которому принадлежит переводимая им литература. Всем нам известно также,

что не все переводчики китайской поэзии,— и хорошие поэты в том числе,— умеют ее читать в подлиннике. А мы хотим, чтобы в нашей стране знали китайскую классическую поэзию в поэтическом же переложении. Как же быть в этом, увы, нередком случае?

Нам могут сказать, что для знакомства с поэзией достаточен прозаический подстрочник, выполненный знатоком языка. Но поэзии равноценна только поэзия. Больше того, поэтическим может быть и подстрочник, если он написан поэтом. (Но тогда он не будет подстрочником?) Мы же ищем поэта, способного передать средствами русской поэзии китайский подлинник. И, понимая, что лучше самому поэту уметь читать этот подлинник, мы все-таки, ввиду трудности и длительности освоения китайской классики (вспомним бедных китайских студентов, десятилетиями готовившихся к экзаменам в чиновники!), ищем (и порою находим) такого поэта, который, не зная китайского языка, был бы покорён магией китайской поэзии, и занялся бы изучением китайской культуры, и был бы внимателен к замечаниям автора подстрочника, даже помогая последнему своей поэтической интуицией.

Наш сборник, следовательно, составлен из стихотворений, переведенных непосредственно с китайского текста и переведенных с помощью подстрочника. В задачи статьи не входит оценка достоинств каждого из переводов, но с уверенностью можно сказать, что ни один из переводчиков не сочтет себя обойденным, если мы захотим обратить внимание читателя на В. М. Алексеева и А. А. Ахматову, первого — несравненного знатока и исследователя китайской культуры и вторую — прославленного собственными стихами поэта, чей взыскательный вкус избрал для перевода произведения китайской классической поэзии. Переводы В. М. Алексеева обладают удивительной, неповторимой особенностью обнажения ткани китайского стиха, так что русский читатель ощущает себя непосредственно приближенным к поэзии китайского стихотворения. Сделанные с подстрочника переводы А. А. Ахматовой сочетают обаяние и строгость ее оригинального творчества с точностью и бережностью восприятия и передачи самих элементов существа и внешнего строя старой китайской поэзии.

Мы могли бы в пределах дозволенного нам объема выбрать самых популярных в Китае поэтов, согласовав число полагающихся им строк с большим или меньшим значением каждого из них. Но и в этом случае у нас не хватило бы места на всех известных поэтов. И мы сочли за лучшее, не забывая, конечно, о знаменитых поэтах, предоставить иной раз сравнительно большое число строк и поэту менее знаменитому, если над изучением его давно и увлеченно работает переводчик. Мы понимаем также, что не во всех помещенных нами здесь переводах удалось в одинаковой степени хорошо передать высокие качества классической поэзии подлинника. Бо Цзюй-и когда-то сказал в стихотворении «После чтения Ли Бо и Ду Фу»: «Устремление Неба вы, должно быть, поняли оба: //В человеческом мире есть в хороших стихах нужда!» Мы были бы рады угодить великому поэту.

Л. Эйдлин

ЦАО ЧЖИ

ВЗДОХИ

Вздыхаю тяжко   о печальной доле
Мятущегося   перекати-поля,
Оно навеки   распростилось с корнем,—
Без отдыха   кружить ему доколе?
У девяти межей   его видали,
К семи тропам   явилось. Навсегда ли?
Внезапный ветер   схватит горемыку
И унесет   в заоблачные дали.
То вдруг сверкнет   небесная дорога,
То встретит пропасть   холодно и строго,
То вырвет вихрь   внезапно из пучины,
И будто до земли   уже немного.
Таков и я: хочу на землю юга,—
Морозит тело   северная вьюга.
Бреду на запад,   а хочу к востоку,—
В широком мире   нелегко без друга.
То падаю,   то поднимаюсь снова,
К пяти хребтам   несет меня, больного,
К восьми озерам...   на пути скитаний
Кто знает муки   всех лишенных крова!
О, как я жажду   в поле стать травою —
Пускай сожгут   осеннею порою,
Пусть я уйду,   терзаясь страшной болью,—
Я рядом с корнем   душу успокою.

КРЕВЕТКА И УГОРЬ

Креветкам и угрям   из озерка
Неведомы   ни море, ни река.
Чирикает на крыше   воробей,—

Ему ль постичь   дорогу лебедей?
А муж ученый   в суть проник давно:
Ничто   благодеянью не равно!
И я взошел   на пять священных гор,
Потом с холма   на землю бросил взор:
Людишки   суетятся подо мной,
Одна корысть   владеет их душой.
Я благородных дум   не в силах скрыть,
Хочу всю землю   умиротворить.
Сжимаю меч —   он верный друг громам —
И в бой готов,   отважен и упрям.
Иные зря   свои проводят дни,
Отважных духом   не поймут они.

* * *

Где-то в южной стране   эта девушка скромно живет,
И лицо у нее   схоже с персиком нежным и сливой.
Утром бродит она   у Чанцзяна стремительных вод,
А у берега Сян   выбирает ночлег сиротливый.
Только люди вокруг   равнодушны к ее красоте.
Для кого же тогда   улыбаться открыто и ясно?
А короткая жизнь   приближается к горькой черте.
Увядает краса —   и она разрушенью подвластна.

ПУТНИК

Путник усталый   дальней бредет стороной;
Из дому вышел —   тысячи ли за спиной.
Думает путник: «Что же мне делать теперь?
Может, вернуться?   Но где отворится дверь?»
Солнце сокрыто   в непроницаемой мгле,
Ветер печали   рядом с людьми на земле.

ПЕСНЯ

Лак да клей   крепки, пока сухие,
А размочишь —   станут мягче ваты;
Белый шелк   любой покорен краске —
Как узнать,   что белым был когда-то?..
Я не сам   жену свою оставил —
Клевета   в разлуке виновата.

ПОСВЯЩАЮ ДИН И

Ранняя осень, пора холодов осенних,
Никнут деревья, роняют листву устало.
Иней застывший лежит на белых ступенях,
Мечется ветер за окнами светлого зала.
Черные тучи никак не уйдут за кряжи.
Долгие ливни — на них я взираю с болью.
Просо ложится — воды непомерна тяжесть!
Нынче крестьянам не снять урожая в поле.
Знатный сановник бедных людей сторонится,
Редкое чудо — милость богатого мужа;
Ходит зимою в шубе на белой лисице —
Где уж тут вспомнить тех, кто дрожит от стужи.
Думаю часто о благородном Яне, —
Меч драгоценный отдал он без сожаленья.
Будь же спокоен в горестный час испытанья:
Мне незнакомо дружеских чувств забвенье!

ПОСВЯЩАЮ ВАН ЦАНЮ

Я сижу, цепенея, и нерадостна дума моя.
Вдруг накинул одежду и — на запад, в иные края.
Там, на дереве стройном, распустился весенний цветок,
И струится-струится бесконечный и быстрый поток.
Одинокая утка в середине потока, грустна,
Слышу крики и стоны, — видно, селезня ищет она.
До мятущейся птицы поскорей дотянуться бы мне.
Где ты, быстрая лодка на веселой прозрачной волне?
Я желаю вернуться, но дорогу найду я едва ль;
Я вокруг озираюсь, и на душу ложится печаль.
И тоскующий ветер провожает в дорогу меня,
И Си-хэ исчезает, колесницу на запад гоня.
Все живущее в мире увлажнили водой облака,
Не забыли травинки, напоили и листья цветка.
Если милость и благо ожидают тебя впереди,
Отчего же, поведай, сто печалей теснятся в груди?

ВНОВЬ ПОСВЯЩАЮ ДИН И

Дорогие друзья, — нам нечасто встречаться дано, —
Собрались за столом, и хмельное нам ставят вино.
Разве мог бы вести я беседу с чужими людьми?

Мы пируем в тиши, за прикрытыми плотно дверьми.
Много яств на столе, но не тянется к блюду рука,
А зато уж вина не осталось у нас ни глотка.
Муж высокого долга жемчужине в море сродни;
Это яркое чувство ты навеки в себе сохрани.
Лишь ничтожный душой добродетелей всяких лишен.
Совершивший добро,— даже этим ты вознагражден.
Муж высокого долга это гордое чувство постиг.
А от взлета — увы! — до падения жалкого — миг.
Не стесняться велит примирившийся с подлостью век,
Но блюдет чистоту совершенной души человек.

ПУТЕШЕСТВИЕ К НЕБОЖИТЕЛЯМ

К столетию едва ль мне подойти,
Проходят дни, а радость так ничтожна.
О, если б крылья, крылья обрести
И ввысь умчаться было бы возможно!
Отбросив прочь земную шелуху,
Пронзив туман, я устремился в небо;
Летаю я над озером Динху,
Спешу туда, где я вовеки не был.
Фусана блеск в восточной стороне,
Жэшуя воды в западной округе;
Бессмертные в пути явились мне,
Живущие на Севере и Юге.

БЕССМЕРТИЕ

Открыты мне Небесные врата,
Из перьев птиц я надеваю платье;
Взнуздав дракона, мчусь я неспроста
Туда, где ждут меня мои собратья.
Я линчжи рву в восточной стороне,
В краю бессмертных, у границ Пэнлая;
Ты снадобье прими, сказали мне,
И будешь вечно жить, не умирая.

ТРИ СТИХОТВОРЕНИЯ НА МОТИВ «ЖЕЛАЮ ОТПРАВИТЬСЯ К ЮЖНЫМ ГОРАМ»

*

О, Восточное море, завершенность бескрайних просторов!
Все же место найдется ста потокам в пучине морской;
Пять великих вершин— высота, недоступная взору,—
А ведь даже они не гнушаются пылью мирской.

*

Служат целям различным, скажем, нож или острое шило,
И в коляске и в лодке ценность разная заключена.
Отказаться от вещи непростительной будет ошибкой
Потому лишь, что вещь не для всякого дела годна.

*

Награждать за добро, сострадать не внимающим долгу—
Так мудрейший из мудрых поступил в стародавние дни;
Все, кто сердцем добры, будут здравствовать долго-предолго,
Потому что о людях неустанно пекутся они!

ЛЮ ЧЖЭНЬ

ИЗ СТИХОВ «ПРЕПОДНОШУ ДВОЮРОДНОМУ БРАТУ»

* * *

Одиноко склонилась сосна на макушке бугра,
А внизу по лощинам со свистом несутся ветра.
До чего же суров урагана пронзительный вой,
Как безжалостно он расправляется с этой сосной!
А наступит зима — как жестоки и иней и лед,
Только эта сосна остается прямою весь год.
Как же в лютую стужу сумела сберечься она?
Видно, духом особым крепки кипарис и сосна.

ЖУАНЬ ЦЗИ

СТИХИ, ПОЮЩИЕ О ТОМ, ЧТО НА ДУШЕ

1 Я ночью глубокой   уснуть не могу,
Встаю и играю   на цине певучем.
Мне ветер прохладный   халат распахнул,
Луна освещает   в окне занавеску.
Там, в северной роще   птица поет,
А в поле кричит   неприкаянно лебедь.
В скитаниях что же   увидишь еще?
Печальные мысли   всё ранят мне сердце.

8 Светит-горит,   опускаясь на западе, солнце,
Гаснущий свет   на халат мой ложится, тускнея.
Ветер, крутясь,   летает по стенам покоя,
Птицы тесней   на морозе прижались друг к другу.
Птицы чжоу-чжоу   все же клювами перья сжимают,
Звери цюн-цюн   тоже ищут себе пропитанья...
Можно ли, став   путником в дальней дороге,
Душу забыть,   стать подобьем звенящего камня?
Прямо спрошу: разве стоит, за славой гоняясь,
Чахнуть, страдать   и терзаньями сердце исполнить?
Много милей   с воробьями порхать, со стрижами,
Чем по морям   устремляться за Лебедем Желтым?
Вольно летит   в четырех он морях на просторе —
А с полпути   как сумеешь потом возвратиться?

17 Одинокий, забытый,   сижу я в покое пустом.
Кто понять меня сможет,   с кем речь я могу повести?
Выхожу за ворота —   дороге не видно конца;
Ни коней, ни повозок —   все пусто, куда ни взгляну.
Поднимаюсь на башню,   взираю на девять земель —
Без конца и без края   пустыня простерлась кругом.
Одинокая птица   на северо-запад летит,
Зверь, от стаи отбившись,   стремится на юго-восток...
На закате я вспомню   далеких друзей и родных:
Только с ними при встрече   я мог бы всю душу излить.

32 Светилу дня   два раза не взойти,—
Свершая путь,   темнеет белый лик.
Немного дней —   и осени конец,
И срок ее   не долее кивка.
Людская жизнь —   как пыль и как роса,
А Неба путь   туманен и далек.
Цзин-гун из Ци   всходил на гору Ню

И лил поток неудержимых слез.
Мудрейший Кун на берегу реки
Скорбел, что смерть быстрей полета птиц.
Мне не догнать ушедших навсегда,
Те, что придут, не встретятся со мной.
Хочу взойти на гору Тайхуа —
Отшельник Чи да будет спутник мой!
Скорбь бытия постиг отец-рыбак,
Когда в челне вниз по теченью плыл.

ЦЗИ КАН

ДАР СЮЦАЮ, УХОДЯЩЕМУ В ПОХОД

7 Человеческая жизнь коротка,
Протяженны небеса и земля.
Сотню лет, что протекут на земле,
Долголетьем кто из нас назовет?
И к бессмертию стремлюсь я в мечтах,
Быть к нетленному хочу приобщен.
Я топчусь, поводья сжал я в руке
И на друга все смотрю снизу вверх.

15 Ночью глубокой пустынно и чисто,
Ярко луна осветила террасу.
Ветер чуть-чуть шевелит мне одежду,
Полог простой высóко подобран.
Кубок наполнен вином превосходным,
Только мне не с кем делить мою радость.
Цинь мой певучий со мной неразлучно,
Жалко, что ныне играть на нем не с кем,
Взор подымаю, тоскую о друге,
Благоуханном, как цвет орхидеи...
Нет человека прекрасного рядом —
Разве же можно теперь не вздыхать мне?

ЧЖАН ХУА

СТИХИ О ЧУВСТВАХ

5 Рассеянно взор мой скользит по полям,
Бесцельно брожу я, подолгу стою.
Ручью орхидеи края оплели,
Цветы затеняют зеленый поток.

Здесь в целой округе красавицы нет —
Кому же цветы мне, нарвав, подарить?
Знакомы морозы всем жителям гнезд,
И ведомы ливни насельникам нор.
Кто в долгой разлуке не ведал тоски,
Тот радости встречи узнает едва ль.

ПОВОЗКА У ВОРОТ

Повозка у ворот и кони — гости!
«Откуда, сударь, вы?» — я вопрошаю.
И вмиг наперебой пошли вопросы —
И оказалось, мы соседи были!
Толкуем, что в былом мы горе знали,
Вздыхаем, что сейчас отрад не видим.
Мы утром речь ведем, бодрим друг друга,
И на закате дня все длятся речи...
Как трудно замолчать, начав беседу!
Заводим песню мы порой прощанья.
Еще былая скорбь не прекратилась,
А новая тоска уже настала.

ЦЗО СЫ

СТИХИ О РАЗНОМ

Ветер осенний, все холодней на ветру —
Белые росы инеем станут к утру.
Слабые ветви вечером стужа скует,
Падают листья ночи и дни напролет...
Вот над горами вышла луна в облаках,
Все побелело в льющихся лунных лучах.
За занавеску выгляну в маленький сад:
Дикие гуси в утреннем небе кричат.
К дальним просторам дух устремляется мой —
Дни коротаю в комнатке этой пустой.
Стар я скитаться вечно в чужой стороне.
Сумерки года... боль и досада во мне.

ТАО ЮАНЬ-МИН

УКОРЯЮ СЫНОВЕЙ

Уже сединою виски у меня покрылись
И мышцы и кожа свою утратили свежесть.
Хотя в моем доме и пять сыновей взрастает,
Но им не присуща любовь к бумаге и кисти.
Шу — старшему сыну исполнилось дважды восемь,
По лености вряд ли соперник ему найдется.
В пятнадцать Сюаня Конфуций «стремился к книге»,
Сюань же, напротив, не терпит искусства слова.
Дуаню и Юну — они близнецы — тринадцать,
Недолго обоим шестерку спутать с семеркой.
А младший мой, Тун-цзы, которому скоро девять,
Тот только и знает, что груши рвать да каштаны.
Коль Небо судьбою меня одарило этой,
Осталось прибегнуть к тому, что содержит чарка.

ВТОРЮ СТИХАМ ЧЖУБУ ГО

* * *

Густо-густо разросся лес пред самою дверью дома.
Когда лето в разгаре, сберегает он чистый сумрак.
Южный радостный ветер в это время как раз приходит,
И бесчинствует всюду, и распахивает мой ворот.
Я нигде не бываю,— выйду так, полежать без дела,
Или сяду спокойно и за цинь возьмусь, и за книгу.
Овощей в огороде у меня изобилье всяких,
Да и старого хлеба остаются еще запасы.
О себе все заботы ограничены ведь пределом,
Мне же больше, чем надо, никогда не хотелось в жизни.
Винный рис я очищу и вино на славу готовлю,
А поспеет, и сразу сам себе его наливаю.
Сын мой, маленький мальчик, здесь же, рядом со мной, играет.
Он мне что-то лепечет, а сказать еще не умеет.
И во всем этом вместе есть, по правде, такая радость,
Что уже я невольно о роскошной забыл булавке...
И в далекие дали провожая белые тучи,
Я в раздумьях о древнем; о, раздумья мои глубоки!

* * *

Теплотою и влагой   три весенние срока славны,
И чиста и прохладна   та, что белой зовется, осень.
Когда росы застынут   и кочующих туч не станет,
Когда небо высоко   и бодрящий воздух прозрачен,
Как причудливо-странны   воздымаются ввысь вершины,
Стоит только вглядеться, —   удивительно, неповторимо!
Хризантемой душистой   просветляется темень леса.
Хвоей сосен зеленой,   словно шапкой, накрыты горы.
Размышляю об этом   целомудренном и прекрасном,
Чья открытая доблесть   и под инеем нерушима,
И за винною чарой   об отшельнике древнем думы:
Будет тысячелетье,   как твоих мы держимся правил.
Но пока в моей жизни   неразвернутые стремленья...
Чувства, чувства такие   в «добрый месяц» меня тревожат.

В ОТВЕТ НА СТИХИ ЧАЙСАНСКОГО ЛЮ

И бедно живу,   и мало с миром общаюсь.
Не помню порой,   сменилось ли время года.
Пустынный мой двор   покрыт опавшей листвою.
Я, с грустью взглянув,   узнал, что осень настала.
Подсолнечник вновь   расцвел у северных окон.
Колосья уже   созрели на южном поле.
Мне как же теперь   не радоваться на это:
Уверен ли я,   что будущий год наступит?
Жену я зову,   детей мы берем с собою
И в добрый к нам день   гулять далеко уходим.

ОТВЕЧАЮ ЦАНЬЦЗЮНЮ ПАНУ

Когда Пан служил цаньцзюнем у Вэйского цзюня и был послан из Цзянлина в столицу, он, проезжая через Сюньян, подарил мне стихи.

1 За дверью из грубо   сколоченных досок
И цинь у меня,   и для чтения книги.
Стихи я пою,   я играю на цине,
Что главною стало   моею утехой.
А разве лишен   я других наслаждений?
Еще моя радость   и в уединенье:
Я утром с зарей   огород поливаю,
А к ночи ложусь   под соломенной кровлей.

2 Что мнится иному   сокровищем дивным,
Порою для нас   вовсе не драгоценность.
И если мы с кем-то   не равных стремлений,
Способны ли с ним   быть мы родственно-близки?
Я в жизни искал   задушевного друга
И правда же встретил   того, кто мне дорог.
И сердце приветно   сливается с сердцем,
Уже и домами   соседствуем тоже.

3 Теперь я скажу   о тебе, кто мне дорог,
Кто любит добро   и усердия полон.
Вино у меня   превосходное было,
Но только с тобою   в нем радость вкушал я.
За ним говорились   приятные речи,
За ним сочинялись   и новые строки.
Бывало, лишь день   я тебя не увижу,—
Как мог в этот день   о тебе я не думать!

4 Хоть истинный друг   никогда не наскучит,
А все ж наступило   нам время расстаться.
Тебя проводив   от ворот на дорогу,
Я чарку пригубил   без всякой охоты.
О, нас разлучившая   служба в Цзянлине!
О, скрытые далью   на западе тучи!
И вот человек   уезжает далёко...
Разумную речь   от кого я услышу?

5 В тот раз, когда я   распростился с тобою,
Весенние иволги   только запели.
Сегодня, когда   мы встречаемся снова,
Снег мокрыми хлопьями   падает с неба.
Всесильный дафань   дал тебе повеленье
На должность сановную   ехать в столицу.
Ты разве забыл   тишины безмятежность?
Да нет, это служба   не знает покоя!

6 Печально-печально   холодное утро.
Шумит и шумит   нескончаемый ветер...
Вперед понеслась   государева лодка,
И где-то качает   ее над пучиной.
Да будет удача   в делах твоих, странник!
В начале пути   о конце позаботься.
Воспользуйся всеми   удобными днями
И побереги   себя в дальней дороге.

ВОЗВРАТИЛСЯ К САДАМ И ПОЛЯМ

* * *

С самой юности чужды мне созвучия шумного мира,
От рожденья люблю я этих гор и холмов простоту.
Я попал по ошибке в пылью жизни покрытые сети,
В суету их мирскую,— мне исполнилось тридцать тогда.
Даже птица в неволе затоскует по старому лесу,
Даже рыба в запруде не забудет родного ручья.
Целину распахал я на далекой окраине южной,
Верный страсти немудрой, воротился к садам и полям.
Вся усадьба составит десять му или больше немногим,
Дом, соломою крытый, восемь-девять покоев вместит.
Ива с вязом в соседстве тень за домом на крышу бросают,
Слива с персиком рядом вход в мой дом закрывают листвой.
Где-то в далях туманных утопают людские селенья,
Темной мягкой завесой расстилается дым деревень.
Громко лает собака в глубине переулка глухого,
И петух распевает среди веток, на тут взгромоздясь.
Во дворе, как и в доме, ни пылинки от внешнего мира,
Пустота моих комнат бережет тишину и покой.
Как я долго, однако, прожил узником в запертой клетке
И теперь лишь обратно к первозданной свободе пришел.

* * *

Здесь, в глуши деревенской, дел мирских человеческих мало:
Переулок убогий чуть тревожат повозка и конь.
Белый день наступает, и терновую дверь затворяю,
Чтоб в жилище пустое не проникла житейская мысль.
Постоянно и снова по извилистым улочкам узким,
Стену трав раздвигая, мы проходим из дома и в дом.
И, встречая соседа, мы не попусту судим да рядим,
Речь о тутах заводим, как растет конопля, говорим.
Конопля в моем поле что ни день набирается силы;
Мной взрыхленные земли с каждым днем разрастаются вширь.
Я все время в боязни: вдруг да иней, да снег на посевы —
И конец моим всходам, и закроет все дикий бурьян!

* * *

Вот бобы посадил я на участке под Южной горою,
Буйно травы пробились, робко тянутся всходы бобов.
Утром я поднимаюсь — сорняки из земли вырываю,

К ночи выглянет месяц — и с мотыгой спешу я домой.
Так узка здесь дорога, так высоки здесь травы густые,
Что вечерние росы заливают одежду мою.
Пусть промокнет одежда, это тоже не стоит печали:
Я хочу одного лишь — от желаний своих не уйти.

* * *

С давних пор так бывало — ухожу я и в горы и к рекам,
Среди вольной природы знаю радость лесов и равнин...
И беру я с собою сыновей и племянников малых;
Сквозь кусты продираясь, мы идем по пустынным местам.
И туда и обратно мы проходим меж взгорьем и полем,
С сожаленьем взираем на жилища старинных людей.
Очага и колодца там следы во дворах сохранились,
Там бамбука и тута полусгнившие видим стволы.
— Ты не знаешь,— спросил я дровосека, рубившего хворост,—
Тех селений, в какие эти люди отсюда ушли? —
Дровосек распрямился, поглядел на меня и ответил:
— Эти умерли люди, их в живых уже нет никого...
«Поколенье другое — с ним дворцы изменились и площадь».
Значит, слов этих старых до сих пор еще правда жива.
Значит, жизнь человека состоит из игры превращений,
И в конце ее должен возвратиться он в небытие.

* * *

Никого. И в печали я иду, опираясь на палку,
Возвращаюсь неровной, затерявшейся в чаще тропой.
А в ущелье, у речки с неглубокой прозрачной водою,
Хорошо опуститься и усталые ноги помыть...
Процедил осторожно молодое вино, что поспело,
Есть и курица в доме — и соседа я в гости зову.
Вечер. Спряталось солнце, и сгущается в комнате сумрак.
В очаге моем хворост запылал,— нам свеча не нужна.
Так и радость приходит. Я горюю, что ночь не продлить мне:
Вот опять с новым утром появилась на небе заря.

СТИХИ О РАЗНОМ

* * *

В мире жизнь человека не имеет корней глубоких.
Упорхнет она, словно над дорогой легкая пыль.
И развеется всюду, вслед за ветром, кружась, умчится.

Так и я, здесь живущий,   не навеки в тело одет...
Опустились на землю —   и уже меж собой мы братья:
Так ли важно, чтоб были   кость от кости, от плоти плоть?
Обретенная радость   пусть заставит нас веселиться,—
Тем вином, что найдется,   угостим соседей своих!
В жизни время расцвета   никогда не приходит снова,
Да и в день тот же самый   трудно дважды взойти заре.
Не теряя мгновенья,   вдохновим же себя усердьем,
Ибо годы и луны   человека не станут ждать!

* * *

К ночи бледное солнце   в вершинах западных тонет.
Белый месяц на смену   встает над восточной горой.
Далеко-далеко   на все тысячи ли сиянье.
Широко-широко   озаренье небесных пустот...
Появляется ветер,   влетает в комнаты дома,
И подушку с циновкой   он студит в полуночный час.
В том, что воздух другой,   чую смену времени года.
Оттого что не сплю,   нескончаемость ночи узнал.
Я хочу говорить —   никого, кто бы мне ответил.
Поднял чарку с вином   и зову сиротливую тень...
Дни,— и луны за ними,—   покинув людей, уходят.
Так свои устремленья   я в жизнь претворить и не смог.
Лишь об этом подумал,   и боль меня охватила,
И уже до рассвета   ко мне не вернется покой!

* * *

Краски цветенья   нам трудно надолго сберечь.
Дни увяданья   отсрочить не может никто.
То, что когда-то,   как лотос весенний, цвело,
Стало сегодня   осенней коробкой семян...
Иней жестокий   покроет траву на полях.
Сникнет, иссохнет,   но вся не погибнет она!
Солнце с луною   опять совершают свой круг,
Мы же уходим,   и нет нам возврата к живым.
Сердце любовно   к прошедшим зовет временам.
Вспомню об этом —   и все оборвется внутри!

* * *

Солнце с луною   никак не хотят помедлить,
Торопят друг друга   четыре времени года.
Ветер холодный   обвеял голые ветви.

Опавшей листвою покрыты длинные тропы...
Юное тело от времени стало дряхлым,
И темные пряди давно уже поседели.
Знак этот белый отметил голову вашу,
И путь перед вами с тех пор все у́же и у́же.
Дом мой родимый — всего лишь двор постоялый,
И я здесь как будто тот гость, что должен уехать.
Уехать, уехать... Куда же ведет дорога?
На Южную гору: в ней старое есть жилище.

* * *

Послушная ветру сосна на высоком обрыве —
Прелестный и нежный, еще не окрепший ребенок.
И лет ей от силы три раза по пять миновало;
Ствол тянется в выси. Но можно ль к нему прислониться?
А облик прекрасный таит в себе влажную свежесть.
Мы в ясности этой и душу провидим и разум.

ЗА ВИНОМ

* * *

Я поставил свой дом в самой гуще людских жилищ,
Но минует его стук повозок и топот коней.
Вы хотите узнать, отчего это может быть?
Вдаль умчишься душой, и земля отойдет сама.
Хризантему сорвал под восточной оградой в саду,
И мой взор в вышине встретил склоны Южной горы.
Очертанья горы так прекрасны в закатный час,
Когда птицы над ней чередою летят домой!
В этом всем для меня заключен настоящий смысл.
Я хочу рассказать, и уже я забыл слова...

* * *

Хризантемы осенней нет нежнее и нет прекрасней!
Я с покрытых росою хризантем лепестки собрал
И пустил их в ту влагу, что способна унять печали
И меня еще дальше увести от мирских забот.
Хоть один я сегодня, но я первую чару выпью...
А она опустеет — наклониться кувшин готов.
Время солнцу садиться — отдыхают живые твари.

Возвращаются птицы   и щебечут в своем лесу.
Я стихи распеваю   под восточным навесом дома,
Я доволен, что снова   жизнь явилась ко мне такой!

* * *

Забрезжило утро,—   я слышу, стучатся в дверь.
Кой-как я оделся   и сам отворять бегу.
«Кто там?» — говорю я.   Кто мог в эту рань прийти?
Старик хлебопашец,   исполненный добрых чувств.
Принес издалёка   вино — угостить меня.
Его беспокоит   мой с нынешним веком разлад:
«Ты в рубище жалком,   под кровлей худою живешь,
Но только ли в этом   судьбы высокий удел!
Повсюду на свете   поддакивающие в чести.
Хочу, государь мой,   чтоб с грязью мирской ты плыл!»
«Я очень растроган   участьем твоим, отец,
Но я по природе   согласья и не ищу.
Сторонкой объехать   пусть даже не мудрено,
Предав свою правду,   я, что ж, не собьюсь с пути?
Так сядем покамест   и долг отдадим вину.
Мою колесницу   нельзя повернуть назад!»

* * *

Вот бывают же люди,—   даже в доме одном живут,—
Что принять, что отбросить —   нет единства у них ни в чем.
Скажем, некий ученый   в одиночестве вечно пьян.
Или деятель некий   круглый год непрестанно трезв.
Эти трезвый и пьяный   вызывают друг в друге смех.
Друг у друга ни слова   не умеют они понять.
В рамках узости трезвой   человек безнадежно глуп.
Он в наитье свободном   приближается к мудрецам.
И стихи обращаю   я к тому, кто уже хмельной:
Лишь закатится солнце,   пусть немедля свечу берет!

* * *

В убогом жилище   прилежных рук не хватает,
И дикий кустарник   мои захватил владенья.
Отчетливо в небе   видны парящие птицы.
Безлюдно и тихо —   не слышно шагов прохожих...
Мир так беспределен   во времени и в пространстве,
А жизнь человека   и ста достигает редко.

А годы и луны торопятся, как в погоне.
Виски обрамляя, давно седина белеет...
Когда не отбросишь забот о преуспеянье,
То все, чем живешь ты, окажется слишком жалким!

ПОДРАЖАНИЕ ДРЕВНЕМУ

* * *

Далеко на востоке живет благородный ученый,
И одет он всегда в неприглядное, рваное платье,
И из дней тридцати только девять встречается с пищей,
И лет десять, не меньше, он носит бессменную шапку.
Горше этой нужды не бывает, наверно, на свете,
А ему хоть бы что — так приветлив на вид он и весел.
Я, конечно, стремлюсь повидать человека такого.
И пошел я с утра через реки и через заставы.
Вижу — темные сосны, сжимая дорогу, теснятся.
Вижу — белые тучи над самою кровлей ночуют.
А ученому ясно, зачем я его навещаю.
Сразу цинь он берет, для меня ударяет по струнам.
Первой песней своей — «Журавлем расстающимся» — тронул
И уже ко второй, где «луань одинок», переходит...
Я хотел бы остаться пожить у тебя, государь мой,
Прямо с этого дня до холодного времени года!

* * *

С хвоей темно-зеленой это дерево в тесном доле...
И зимою и летом остается оно таким.
Год проходит, и снова видит дерево снег иль иней.
Разве кто-нибудь скажет, что не знает оно времен?
Мне наскучило слушать каждый день здесь мирские речи.
Отыскать себе друга я приду в столицу Линьцзы.
Там, в Цзися, как я слышал, много тех, кто книги толкует.
Эти люди помогут разрешить сомненья мои.
Я собрал свои вещи, даже день отъезда назначил.
Даже перед разлукой попрощался уже с семьей.
Но я все же колеблюсь, не успев уйти за ворота.
В дом вернусь и присяду и еще подумаю раз.
Нет, мне вовсе не страшно то, что путь окажется долгим.
А одно только страшно,— что обманут люди меня.
Вдруг да в нашей беседе не сойдется их мысль с моею,

И навек я останусь   лишь посмешищем для других...
Все, что сердце тревожит,   трудно выразить мне словами.
Чтоб с тобой поделиться,   написал я эти стихи.

* * *

Посадил я однажды   у Янцзы на прибрежье туты.
Думал — минет три года,   и дождусь урожая листьев.
Но когда на деревьях   начала разрастаться зелень,
Вдруг беда их постигла —   перемены в горах и реках.
Ветром сбило с них листья,   изломало голые ветви,
А стволы их и корни   все уплыли в седое море...
Шелкопрядов весенних   накормить уже больше нечем,
И у зимнего платья   не осталось теперь надежды...
Я, сажая деревья,   сам не выбрал повыше место.
Что же пользы сегодня   от моих сожалений горьких?

ПЕРЕСЕЛЯЮСЬ

* * *

И прежде хотел я   жить в этой Южной деревне,
И не потому, что   гаданьем ей выпал знак:
Здесь, слышал я, много   людей с простыми сердцами.
В их обществе радость   считать вечера и дни.
В мечтах о деревне   прождал я все-таки годы,
Покамест сегодня   я не поселился в ней...
А хижине бедной   к чему большие пространства?
Достаточно, если   прикроет она постель.
Важней, чтоб соседи   почаще ко мне ходили
И мы в разговорах   судили б о старине,
И чудным твореньем   мы вместе бы восторгались,
Неясные мысли   друг другу толкуя в нем.

* * *

Весною и осенью   много погожих дней.
На гору мы всходим   и там слагаем стихи.
Минуем ворота —   хозяин к себе зовет.
Вино поспевает —   и тут же его мы пьем.
В полях поработав,   расходимся по домам.
Домой воротившись,   мы думаем о друзьях.
А вспомнив о друге,   спешим накинуть халат:
В беседах и в смехе   мы не замечаем часов.
Жизнь в этих занятьях   не лучше ль всякой иной?

Не вспыхнет желанье, покинув ее, уйти.
Одежда и пища к тому же требуют средств.
На пахоте труд мой меня не введет в обман!

ГУЛЯЯ С ДРУЗЬЯМИ ПОД КИПАРИСАМИ МОГИЛ СЕМЬИ ЧЖОУ

До чего же сегодня ясно небо и светел день.
Чистый голос свирелей и напевные звуки струн.
Опечален теми, кто под сенью могильной спит,
Разве можем при этом уходить от веселья мы?
И свободная песня здесь творится из новых слов.
И вино зеленóе здесь рождает на лицах смех.
Ничего я не знаю о заботах, что завтра ждут,
И уже моим чувствам до конца отдаюсь теперь.

ЧИТАЯ «ШАНЬХАЙЦЗИН» — КНИГУ ГОР И МОРЕЙ

Лето в начале, растут деревья и травы.
Дом окружая, сплелись тенистые ветви.
Птицы слетелись и радуются уюту.
С ними я тоже свою полюбил лачугу.
Поле вспахал я и все, что нужно, посеял.
Время настало уже читать мои книги...
Нищ переулок вдали от колей глубоких,
Только заедет коляска близкого друга.
Чарку приятно весенним вином наполнить,
Овощи с грядок собрать в моем огороде...
Дождь моросящий с востока сюда приходит,
Ласковый ветер в пути его провожает.
Я пробегаю «Историю Чжоу-вана».
Снова любуюсь картинами «Шаньхайцзина».
Так я мгновенно вселенную постигаю...
Это не радость, то в чем же она иначе?

ВОСПЕВАЮ БЕДНЫХ УЧЕНЫХ

* * *

Во вселенной все сущее обретает свою опору.
Сиротливому облаку одному приютиться негде.
В дали, дали безвестные в пустоте небес исчезает,
Не дождавшись до времени, чтоб увидеть последний отблеск...

Чуть рассветное зарево   распахнет ночные туманы,
Как пернатые стаями   друг за дружкой уже летают.
Позже всех, очень медленно,   вылетает из леса птица
И задолго до вечера   возвращается в лес обратно...
В меру сил и старания   не сходя с колеи старинной,
Разве тем не обрек себя   на лишения и на голод?
А вдобавок и дружества   если более не узнаешь,
Что случится от этого   и какая нужда в печали?..

* * *

Как пронзителен холод,   когда близится вечер года.
В ветхой летней одежде   я погреться на солнце сел...
Огород мой на юге   потерял последнюю зелень.
Оголенные ветви   заполняют северный сад.
Я кувшин наклоняю,   не осталось уже ни капли,
И в очаг заглянул я,   но не видно в нем и дымка.
Лишь старинные книги   громоздятся вокруг циновки.
Опускается солнце,   а читать их всё недосуг.
Жизнь на воле без службы   не равняю с бедою чэньской,
Но в смиренности тоже   возроптать на судьбу могу.
Что же мне помогает   утешенье найти в печали?
Только память о древних,   живших в бедности мудрецах!

* * *

Ученый Чжун-вэй   любил свой нищенский дом.
Вокруг его стен   разросся густой бурьян.
Укрывшись от глаз,   знакомство с людьми прервал.
Стихи сочинять   с искусством редким умел.
И в мире затем   никто не общался с ним,
А только один   Лю Гун навещал его...
Такой человек,   и вдруг — совсем одинок?
Да лишь потому,   что мало таких, как он:
Жил сам по себе,   спокойно, без перемен —
И радость искал   не в благах, не в нищете!
В житейских делах   беспомощный был простак...
Не прочь бы и я   всегда подражать ему!

ПОМИНАЛЬНАЯ ПЕСНЯ

* * *

Если в мире есть жизнь,   неизбежна за нею смерть.
Даже ранний конец   не безвременен никогда.
Я под вечер вчера   был еще со всеми людьми,

А сегодня к утру   в списке душ уже неживых.
И рассеялся дух   и куда же, куда ушел?
Оболочке сухой   дали место в древе пустом...
И мои сыновья,   по отцу тоскуя, кричат,
Дорогие друзья   гроб мой держат и слезы льют.
Ни удач, ни потерь   я не стану отныне знать,
И где правда, где ложь,   как теперь смогу ощутить?
Через тысячу лет,   через десять тысяч годов
Память чья сохранит   нашу славу и наш позор?
Но досадно мне то,   что, пока я на свете жил,
Вволю выпить вина   так ни разу и не пришлось!

* * *

Прежде было ли так,   чтоб напиться я вдоволь мог,
А сегодня вино   здесь нетронутое стоит.
На весеннем вине   ходят пенные муравьи.
Я когда же теперь   вновь испробую вкус его?
И подносов с едой   предо мною полным-полно.
И родных и друзей   надо мной раздается плач.
Я хочу говорить,   но во рту моем звуков нет.
Я хочу посмотреть,   но в глазах моих света нет.
Если в прежние дни   я в просторном покое спал,
То сегодня усну   я в травой заросшем углу...
Так я в утро одно   дом покинул, в котором жил,
Дом, вернуться куда   никогда не наступит срок!

* * *

Все кругом, все кругом   заросло сплошною травой.
И шумят, и шумят   серебристые тополя...
Когда иней суров   и девятый месяц настал,
Провожают меня   на далекий глухой пустырь...
Ни в одной стороне   человеческих нет жилищ,
И могильный курган   возвышается, как утес.
Кони, в грусти по мне,   прямо к небу взывая, ржут.
Ветер, в грусти по мне,   скорбно листьями шелестит...
Тихий темный приют   лишь однажды стоит закрыть,
И на тысячи лет   распрощаешься ты с зарей.
И на тысячи лет   распрощаешься ты с зарей,
Величайший мудрец   не сумеет тебе помочь...
Было много людей,   проводивших меня сюда,
Поспешивших затем   воротиться — каждый в свой дом.
Но родные мои,   может быть, и хранят печаль,

Остальные же все   разошлись и уже поют...
Как я смерть объясню?   Тут особых не надо слов:
Просто тело отдам,   чтоб оно смешалось с горой!

ПЕРСИКОВЫЙ ИСТОЧНИК

В годы Тайюань правленья дома Цзинь
человек из Улина рыбной ловлей добывал себе пропитание.
Он плыл по речушке в лодке
и не думал о том, как далеко он оказался от дома.
И вдруг возник перед ним лес цветущих персиковых деревьев,
что обступили берега на несколько сот шагов;
и других деревьев не было там,—
только душистые травы, свежие и прекрасные,
да опавшие лепестки, рассыпанные по ним.
Рыбак был очень поражен тем, что увидел,
и пустил свою лодку дальше,
решив добраться до опушки этого леса.
Лес кончился у источника, питавшего речку,
а сразу за ним возвышалась гора.
В горе же был маленький вход в пещеру,
из которого как будто выбивались лучи света.
И рыбак оставил лодку и проник в эту пещеру,
вначале такую узкую,
что едва пройти человеку.
Но вот он сделал несколько десятков шагов,
и взору его открылись яркие просторы —
земля равнины, широко раскинувшейся,
и дома высокие, поставленные в порядке.
Там были превосходные поля, и красивейшие озера,
и туты, и бамбук, и многое еще.
Межи и тропинки пересекали одна другую,
петухи и собаки перекликались между собою.
Мужчины и женщины,— проходившие мимо
и работавшие в поле,— были так одеты,
что они показались рыбаку чужестранцами;
и старики с их пожелтевшей от времени сединой,
и дети с завязанными пучками волос
были спокойны, полны какой-то безыскусственной веселости.
Увидев рыбака, эти люди очень ему удивились
и спросили, откуда и как он явился.
Он на все это им ответил.

И тогда они пригласили его в дом,
принесли вина, зарезали курицу, приготовили угощение.
Когда же по деревне пошел слух об этом человеке,
народ стал приходить, чтоб побеседовать с ним.
Они говорили: «Деды наши в старину
бежали от жестокостей циньской поры,
с женами и детьми, с земляками своими пришли в этот
отрезанный от мира край
и больше уже отсюда не выходили,
так и расстались со всеми теми, кто живет вне этих мест».
Они спросили, что за время на свете теперь,
не знали они совсем ничего ни о Хань,
и, уж конечно, ни о Вэй и ни о Цзинь.
И этот человек подробно, одно за другим,
рассказал им все то, что знал он сам,
и они вздыхали и печалились.
И все они без исключения радушно приглашали его
в гости к себе в дома
и подносили ему вино и еду.
Пробыв там несколько дней,
он стал прощаться.
Обитатели этой деревни сказали ему:
«Только не стоит говорить о нас тем, кто живет
вне нашей страны».
Он ушел от них
и снова поплыл в лодке,
держась дороги, которою прибыл,
и всюду-всюду делая отметки.
А вернувшись обратно в Улин,
он пришел к правителю области и рассказал обо всем, как было.
Правитель области тут же отрядил людей,
чтобы поехали вместе с рыбаком
и поискали бы сделанные им отметки,
но рыбак заблудился и дорогу ту больше найти не смог.
Известный Лю Цзы-цзи, живший тогда в Наньяне
и прославившийся как ученый высоких правил,
узнав обо всем,
обрадовался, стал даже готовиться в путь,
но так и не успел:
он вскорости заболел и умер.
А после и вовсе не было таких, кто «спрашивал бы о броде»!

Вот что было при Ине: он нарушил порядок неба,
И хорошие люди покидали мир неспокойный.

Ци с друзьями седыми   на Шаншане в горе укрылись,
Люди повести этой   тоже с мест насиженных встали.
И следы их былые   не нашлись, как канули в воду,
И тропинки их странствий   навсегда заросли травою...
Каждый кличет другого,   чтобы в поле с утра трудиться,
А склоняется солнце,   и они отдыхать уходят...
Там бамбуки и туты   их обильною тенью дарят.
Там гороху и просу   созревать назначены сроки.
Шелкопряды весною   им приносят длинные нити,
С урожаем осенним   государевых нет налогов.
На заглохших дорогах   не увидеть путников дальних.
Лай собак раздается,   петухи отвечают пеньем.
Форму жертвенной чаши   сохраняют они старинной,
И на людях одежды   далеки от новых покроев.
Их веселые дети   распевают свободно песни,
Да и старцы седые   безмятежно гуляют всюду.
Зацветают растенья,—   люди помнят,— с теплом весенним,
Осыпаются листья,—   им известно,— с осенним ветром.
Хоть они и не знают   тех наук, что считают время,
Все же строятся сами   в ряд четыре времени года.
Если мир и согласье,   если в жизни радостей много,
То к чему еще нужно   применять ученую мудрость?..
Это редкое чудо   пять веков как спрятано было,
Но в прекрасное утро   мир нездешний для глаз открылся.
Чистоту или скверну   не один питает источник.
Мир открылся, но снова   возвращается в недоступность...
Я спросить попытаюсь   у скитающихся на свете,
Что они понимают   за пределом сует и праха.
Я хотел бы тотчас же   устремиться за легким ветром,—
С ним подняться бы в выси,   с ним искать бы тех, кто мне близок!

СЕ ЛИН-ЮНЬ

ВСХОДИТ СОЛНЦЕ НА ЮГО-ВОСТОКЕ...

Болянская башня —   как шапка над южной горой,
Коричный дворец   за источником северным скрыт.
Под утренним ветром   колышется полог ночной,
Рассветное солнце   на рамах узорных блестит.
Красавица-дева   за ширмой очнулась от сна—
Цветок орхидеи,   прекрасная яшма на ней.
Свежа и прелестна,   как осенью ранней сосна,
Чиста она,   словно сияние вешних лучей.

ВЕЧЕРОМ ВЫХОЖУ ИЗ ЗАЛА СИШЭ

Вдоль ограды пройдя, я из западных вышел ворот
И на запад смотрю, на уступы скалистых высот.
Как вздымаются круто хребты — над грядою гряда,
Утонула во мгле бирюзовая даль без следа!
Утром иней белеет на красной кленовой листве,
Вечерами туман прячет гребни вершин в синеве.
Вот и осень прошла, мне до боли ушедшего жаль.
Стало грустно душе — глубока в ней о прошлом печаль.
О супруге своем даже птица тоскует в силках,
Стая, сбившись с пути, о покинутых помнит лесах.
Как умеют они об утратах скорбеть и любить!
Что ж тогда обо мне, потерявшем друзей, говорить!
Стоит зеркало взять — сединою виски заблестят,
Исхудавшему телу и пояс велик и халат.
Я не верю зовущим меня примириться с судьбой —
Только лютня в глухом одиночестве дарит покой...

ИДУ ПО ЛОЩИНЕ СРУБЛЕННЫХ БАМБУКОВ, ПЕРЕСЕКАЮ ГОРЫ И РУЧЕЙ...

Обезьяны кричат. Час рассвета уже недалек,
Но в безмолвных долинах никак не рассеется мрак.
У подошвы горы собирается легкий дымок,
И роса на цветах все еще не заблещет никак.
Над обрывом кружит и змеится тропинка моя,
Уносясь по отвесным уступам к вершине хребта.
Вброд иду по ручью, поднимая одежды края,
Забираюсь все выше и выше по бревнам моста.
Острова на реке... то накатит волна, то уйдет.
Я плыву по потоку, любуясь изгибом волны.
По глубоким затонам трава водяная растет,
А озерный камыш — вдалеке от большой глубины.
Заберусь на валун зачерпнуть родниковой воды,
Нагибаю поближе весеннюю ветку с листвой
И у каменных стен вижу горного старца следы:
Весь в плющах и лианах он словно бы передо мной...
Орхидея в руке: вспоминаю далеких друзей,
Рву цветы конопли, о тоске не сказав никому.
Просыпаются чувства в душе восхищенной моей,
Как чудесно вокруг, но зачем это мне одному?!
Я на горы смотрю, забывая о мире людском.
Прозревает душа и не помнит уже ни о чем...

ВХОДИМ В ОЗЕРО ПЭНЛИ

День и ночь на воде...   Я от вечных скитаний устал.
Красота этих волн и ветров   неподвластна словам.
Острова над водой...   Мы несемся, петляя меж скал.
Крутизна берегов   преградила дорогу волнам.
Обезьяньи стада   безутешно кричат под луной,
Выпадает роса,   дальний берег цветами запах.
Хорошо зеленеют поля   этой поздней весной,
И, белея, лежат облака   на высоких холмах.
Дни и ночи мои   бесконечных раздумий полны,
От зари до зари   на душе десять тысяч скорбей.
На Зеркальном утесе   смотрю, как блестят валуны,
У Сосновых ворот   раздвигаю сплетенье ветвей.
Не узнает никто,   что здесь было, в долине Трех Рек,
Ни о чем в Девяти родниках   не расскажет вода.
В этом мире от нас   все чудесное скрыто навек,
И отшельник-даос   свою тайну унес навсегда.
Огоньки чудодейственных трав —   их нигде не найти,
И волшебную яшму свою   затаила река.
Для чего мне играть   тот напев о далеком пути:
Только лютня замолкнет,   и сразу приходит тоска...

ЗАКАТ ГОДА

Я тоскою охвачен,   никак не усну.
Да и сон не избавит   от горестных дум!
Лунный свет озаряет   снегов пелену,
Дует северный ветер,   и дик и угрюм.
Жизнь куда-то уходит,   не медля ни дня,
И я чувствую: старость коснулась меня...

НОЧЬЮ ПОКИДАЕМ БЕСЕДКУ «КАМЕННАЯ ЗАСТАВА»

Я множество троп
исходил между гор и камней,
Десятую ночь
провожу я в лодчонке своей.
Причалив, стоим,
засмотревшись на птичий полет,
Мерцание звезд
нас опять поманило вперед.

Повисла луна
на рассвете в пространстве пустом,
И россыпь росы
засверкала под лунным лучом...

ИЗ НАРОДНЫХ ПЕСЕН ЮЭФУ

* * *

Путь челноку преграждают волна за волной.
Что ему качка? Мы ловим каштан водяной...
Мой дом на Янцзы!
Что не играть с гуанлиньским приливом?
Нам он родной!

* * *

Зимой в лесу деревья
Совсем лишились листьев,
Весной в наряд блестящий
Оденутся опять...
Но мальве и горошку
Темно на дне оврага,—
Напрасно рвутся к солнцу:
Им солнца не видать!

* * *

Зеленые ветви шумят над широкой дорогой,
Лиловые, красные мелькают цветы средь ветвей.
Играет свирель, и я выхожу из деревни
И вместе с любимым бутоны весенние рву.

* * *

Волнующий ветер рождается в дни новолунья.
В лесах молодых зацветает цветочный покров.
Резвятся там пары при свете весенней луны,
Смеются и шутят, друг друга в игру вовлекая.

* * *

Когда разлучались, зеленели весенние травы.
А встретились нынче — ступени засыпаны снегом.
Кто мог бы подумать, что так мы с тобой постареем,
Что в локонах черных седые появятся пряди?

* * *

Северный ветер   всю землю покрыл белым снегом.
Лотосов стебли   шуршат на замерзших прудах.
Так хорошо   с милой, зá руки взявшись, гулять,
Вместе играя   только что выпавшим снегом.

* * *

Узнала, что милый   на север уходит в поход.
Его провожаю   до берега нашей реки.
Мы можем лишь молча   горячие слезы терять —
Нет силы о чувствах   тебе рассказать на прощанье.

* * *

Я тебя провожала   до желтой, унылой косы...
Я вижу, в реке   воды недостаточно много.
Так пусть мои слезы   наполнят ее до краев!

* * *

Скитаясь на севере,   видел озера и реки.
Глядел я на лилии,   смотрел на болотную ряску.
Где лотосы пышно   цветы раскрывают свои,
Зеленые воды   прозрачны и чисты.
Мы песни играем,   и струны ритмично звучат,
И кажется, будто   их звуки не знают предела!

* * *

Одеяло отброшу   и ясный светильник поставлю,
Одиночества бремя   кто в силах так долго нести?
Скоро-скоро узнаю   морозную долгую ночь —
Ведь в горячем и ярком   светильнике кончится масло...

* * *

Со смехом ко мне   приблизилась девушка нынче,
Я обнял ее   и теперь не хочу расставаться!
Озера засохнут,   и лотос от зноя увянет,
Но наша любовь   одновременно с нами умрет!

* * *

Скворец закричал — приближается светлое утро.
И радостен крик — предвестник встающего солнца.
Не стала бы я так горько лить слезы средь ночи,
Когда бы мой друг со мной до утра оставался...

БАО ЧЖАО

ИЗ СТИХОВ «ТЯГОТЫ СТРАНСТВИЙ»

* * *

...К яшмовым дверям в опочивальню
Мраморная лестница ведет...
На резных окошках занавески,—
Не могу их прелесть описать!
Там Цзинь-лань, наложница-хозяйка.
Запах тмина в ларях, где шелка!..
Ласточки весной мелькают в окнах,
Ветер сыплет сливы лепестки...
Занавеску сдвинула, смеется...
Петь хочу, но звук застрял во рту.
Ах, придет ли радость к человеку?
Вытираю слезы и грущу...
Парой птиц нам жить бы вместе в поле!
Не хочу быть в небе журавлем!

* * *

...Вдруг нашло печальное раздумье!
Выезжал из северных ворот,
Кладбище, где сосны, кипарисы,
Оглядел с высокого седла:
Заросло кустарником колючим...
Говорят, кукушка там живет!
Говорят, была она когда-то
Древним императором Шуди...
Непрестанный крик ее печален,
Чахлы перья, будто сбрил шутник!.
Все летает, ловит насекомых,—
Где в ней след величия найдешь?

Вероятно, диким, беззаконным
Был от жизни к смерти переход...
Жалко мне! И скорбь стеснила горло.
Рассуждать об этом не могу...

ИЗ ЦИКЛА «ПОДРАЖАНИЕ ДРЕВНЕМУ»

Еще не желтеет речная трава у излук,
А дикие гуси уже потянулись на юг.
Звенит и стрекочет осенний сверчок у дверей,
Склоняются женщины ночью над пряжей своей.
От воинов — тех, что недавно вернулись домой,
Услышала я о тебе, мой супруг дорогой.
Как раз на границе сраженье далекое шло,
И я на восток посмотрела, вздохнув тяжело.
Одежда и пояс становятся мне велики —
Я утро за утром теряю красу от тоски.
От этого участь моя тяжела и горька,—
Чем ночи длинней, тем сильнее на сердце тоска.
В шкатулке без дела пылятся мои зеркала,
Нефритовый цинь паутина давно оплела...

ШЭНЬ ЮЭ

ПРОЩАЮСЬ С АНЬЧЭНСКИМ ФАНЕМ

Давным-давно, в далеком детстве,
Разлука нас не устрашала —
А ныне мы идем к закату
И не вернуть той легкой грусти...
Довольно слов! Еще по чарке!
Не властны мы над днем грядущим...
Найду ль во сне дорогу к другу?
Чем утолить печаль разлуки?

ОПЛАКИВАЮ СЕ ТЯО

Поэт обладал, бесспорно, редкостным дарованьем,
Небывалый отзвук рождало изящество слога его.
С созвучьем металла и камня напевы его сочетались,
Над ветром и облаками мысли его неслись.

Кто смеет сказать, что свойствам, которым иней не страшен,
Грозит внезапная гибель от человеческих дел?
Яшмовый диск бесценный, так ты обижен тяжко,
Что в утро одно от горя стал земляным бугорком!

ФАНЬ ЮНЬ

СТИХИ НА ПРОЩАНИЕ

На восток и на запад отправлялся в скитания ты,
И опять мы простились, — с той поры миновал целый век.
Ты со мною прощался, и снег был похож на цветы,
А сегодня вернулся, и цветы так похожи на снег.

СЕ ТЯО

ВСХОЖУ ВЕЧЕРОМ НА ГОРУ САНЬШАНЬ И СМОТРЮ ИЗДАЛИ НА СТОЛИЦУ

Мне с берега реки Башуй видна Чанъань,
Открыт в Хэяне предо мной столичный вид:
Я вижу — загнуты края красивых крыш,
Под ярким солнцем в беспорядке все блестит!
Но гаснет запад, и заря — узорный шелк...
Как белый шелк, течет вода — чиста, легка..
Счастливый край покрыли птицы — и поют,
И все в цветах душистые луга.
Увы, я на чужбине жил!.. Года ушли.
Как грустно мне! Закончить пир давно пришлось...
Как дни удачи далеки, как долог путь!
Катятся по лицу снежинки слез...
Кто на чужбине вспоминал родимый край,
Тот потерял и черноту, и блеск волос!

ТО, ЧТО БЫЛО У МЕНЯ НА ДУШЕ В СВОБОДНОЕ ОТ ДЕЛ ВРЕМЯ

На свете, говорят, десятки тысяч гор,
Но холмиком одним не налюбуюсь я.
Здесь, у крыльца, есть все, что радует мой взор,
И не влечет меня в далекие края.
Стою на берегу во влажной духоте,

На осень посмотрю　　в открытое окно:
Как изменился сад,　　и птицы в нем не те,
Осенних орхидей　　вокруг полным-полно.
Достану из окна　　ветвистый старый сук
И подойду к ручью,　　что огибает дом.
Под мертвой чешуей　　зазеленел бамбук,
Белеют стаи птиц　　на поле травяном.
Цветов полна река　　у южных берегов,
У северной беседки —　　лотосы видны.
Круг солнца за нее　　вот-вот уйти готов,
Воздушный полог мой —　　в сиянии луны...
Пусть разожгут очаг,　　нарежут овощей,
Я соберу друзей　　за молодым вином.
Когда усталый сон　　сморит моих гостей,
Кому еще нужна　　природа за окном?!

ПЕЧАЛЬ НА ЯШМОВЫХ СТУПЕНЯХ

В павильоне вечернем　　на дверях занавески спускают.
Светлячки то проблещут,　　то вновь растворятся во тьме.
Долгой ночью одежду　　из тонкого шелка сшиваю,
И раздумью о милом　　вовек не наступит конец.

В ПОДРАЖАНИЕ СТИХАМ «ЧТО-ТО НА ДУШЕ» ЧЖУБУ ВАНА

Жду счастливого срока,　　но длится разлука.
Оставляю в унынье　　мой ткацкий станок.
По восточной тропинке　　хожу меж полями —
Очень мало прохожих,　　восходит луна...

СЮЙ ЛИН

ВЫХОЖУ ИЗ СЕВЕРНЫХ ВОРОТ ЦЗИ

К северу от Цзи　　вдаль смотрю бездумно,
В сумерках немых　　грустью сжало сердце.
Горы Янь стоят　　против древних пагод,
А в округе Дай　　крепости таятся.
Рушатся мосты　　от сражений частых;
Не течет вода —　　рвы заледенели.
Ратью в небесах　　выстроились тучи;

Словно осень в Ху,   стынет ханьский месяц.
Глина всю Ханьгу   залепила густо,
Надобно Лянчжоу   привязать веревкой:
Доблестный министр —   тот, с усами тигра —
Этим достигал   почестей и славы.

ЛУНА В ГОРАХ У ЗАСТАВЫ

Здесь, у заставы в горах,   трех пятерок луна.
Гость о Цзинчжоу всю ночь   не может не вспоминать:
Думает о жене —   в тереме в час ночной,
Верно, не спит она,   перед окном сидит.
Искристый Звездный Стяг   над Шулэ распростерт,
В небе рать облаков   над Пилянем встает...
Если так воспарил   воинский ярый дух,
Сколько еще годов   надо сражаться нам?

ЮЙ СИНЬ

СНОВА РАССТАЮСЬ С САНОВНИКОМ ШАНШУ ЧЖОУ

На Янгуань   путь в десять тысяч ли,
Где нет навстречу   ни одной души,
Где лишь стеснились   гуси у реки:
Как осень, так   летят они на юг.

ПОДРАЖАЮ «СТИХАМ, ПОЮЩИМ О ТОМ, ЧТО НА ДУШЕ»

10 Грустно пою,   переплыв Ляошуй,
Еле бреду,   Янгуань покинув.
Некогда здесь   Ли Лин проходил,
Шел на погибель   Цзин Кэ отсюда.
Нет больше писем,   нет голосов,
Образы близких   в памяти стерлись.
Мне облака   закрывают юг,
Снежные горы   тревогу внушают.
Ныне, Су У,   на мосту речном
Странник с тобой   попрощаться должен!

11 Листьев трепет и паденье —   это осень.
На душе обидно, пусто   и тоскливо.

Слыша плач, бамбук сяншуйский иссыхает,
И от слез жены Ци Ляна стены пали.
Небо рушится от злого ратоборства,
Солнце хмурится, как воин разъяренный.
Светит радуга прямая на рассвете,
Звезды падают и войску угрожают.
Песни в Чу протяжны, резки и зловещи,
Южный ветер к нам доносит звуки смерти.
Предо мной поставлен полный винный кубок...
Кто о славе после смерти рассуждает?

18 В раздумье, как сделаться князем десятка тысяч дворов,
В ночной тишине внезапно исполнился жгучей тоской.
Нежные звуки циня заполнили комнату мне,
Свитки мудрых писаний загромоздили кровать.
Хоть нынче я рассуждаю, как бабочкой стать во сне,
Но все же я не Чжуан-цзы — уж в этом уверен я.
Подобен луне ущербной новый месяц во всем,
Подобна осени прежней новая осень во всем.
Жемчужины сыплются с неба — это слезится роса.
Осколки огней мелькают — это пляс светляков.
«Что б ни было, радуйся жизни и ведай свою судьбу...»
Когда же, когда научусь я не ощущать тоску?!

О ВИТЯЗЯХ

Витязи любят сплетать поводья;
У статных коней золотые седла.
Тонкая пыль на дороге неровной,
Цветы испугались, пестрят и мелькают.
Витязей ловких вино взвеселило,
Пот прошибает их, кони надменны...
Засветло в дом вернуться желая,
Витязи взапуски пó мосту скачут.

ВАН БО

ПОМОЩНИК НАЧАЛЬНИКА УЕЗДА ДУ НАЗНАЧЕН В ШУЧУАНЬ

Под охраною башен и стен все три области циньских;
Я сквозь ветер и дымку взираю на пять переправ.
Наши мысли теперь — о разлуке, о скором прощанье...

Нам положено странствовать — служба такая у нас!
Край небес, опустившийся наземь, нам кажется близким,
Мне близка твоя даль, и пойму я тебя, как себя,—
И поэтому стоит ли нам на дорожном распутье,
Словно детям и женщинам, вместе платки увлажнять?

ПАВИЛЬОН ТЭНСКОГО ПРАВИТЕЛЯ

Правителя высокий терем на берегу Реки.
Нет звона яшмовых подвесок — нет песен, плясок нет.
К столбам подходят на рассвете от юга облака.
Поднимешь занавески к ночи — дождь с запада летит.
Здесь тучки легкие все время в реке отражены;
Как много осеней минуло — и сколько перемен!
Где ныне терема владыка, где отыскать его?
А за оградой безмятежно течет, течет Чанцзян...

ЧЭНЬ ЦЗЫ-АН

ВЕЧЕРОМ ОСТАНАВЛИВАЮСЬ В ЛЭСЯНЕ

Родимый мой край не виден нигде вдали,
и к вечеру солнце, а я одиноко иду.
Рекою, долиною застлана старая родина,
путями-дорогами в город иду к рубежу.
На дикой границе рвутся поляны тумана,
в глубоких горах — в линию встали деревья.
Вот такова тоска в эти черные дни!
Ау-ау да ау-ау кричит в ночи обезьяна.

ПОТРЯСЕН ВСТРЕЧЕЙ

Чуть видная луна меркнет в западном море,
А солнца тусклый круг, быстро светлея, всходит.
Миг один — и восток круглым светом заполнен,
А темная душа утром уже застыла.
Да, великий предел твердь и землю рождает.

О, вероятно, в том   сокрыта высшая тонкость...
Присущи началам трем   расцвет и увяданье —
Ценность Трех и Пяти   кто доказать сумеет?

2 Когда б и летом и зимой   орхидеи всходили,
Едва ль бы нам их красота   столь чаровала взоры.
Цветенье пышных орхидей   все в лесу затмевает,
На фиолетовых стеблях   красные листья никнут.
Медленно-медленно ползет   в сумрак бледное солнце,
Гибко, едва коснувшись земли,   взвился осенний ветер.
В расцвете лет — уже конец   трепета, опаданья...
Прекрасным замыслам когда ж   можно осуществиться?

5 Гордятся люди рынка   ловкостью и смекалкой,
Но жизни путь проходят,   словно в неведенье детском:
К мошенничеству склонны   и мотовством кичатся,
Ни разу не помыслят,   чем жизнь их завершится.
Им бы Трактат постигнуть   об истине сокровенной,
Им бытие узреть бы   в яшмовом чайнике Дао
И, в разочарованье   оставив небо и землю,
По правилам превращений   в беспредельности кануть!

ПЕСНЯ О ВОСХОЖДЕНИИ НА ЮЙЧЖОУСКУЮ БАШНЮ

Не вижу былого   достойных мужей.
Не вижу в грядущем   наследников им;
Постиг я безбрежность   небес и земли,
Скорблю одиноко,   и слезы текут.

ХЭ ЧЖИ-ЧЖАН

ПИШУ НА ДАЧЕ

С хозяином дачи я лично совсем не знаком,
но рядом сижу с ним, ради деревьев с потоком.
Вам не к чему, право, скорбеть, как купить вино:
в мошне у меня всегда были деньги на это.

ПРИ ВОЗВРАЩЕНИИ ДОМОЙ

Молодым я из отчего дома ушел,
воротился в него стариком.
Неизменным остался лишь говор родной,—
счет годов у меня на висках.
И на улице дети глядят на меня,—
все они не знакомы со мной,—
И смеются, и просят, чтоб гость рассказал,
из каких он приехал краев.

ВОСПЕВАЮ ИВУ

Украшенья из яшмы лазоревой стали деревом,
И свисают зеленые полосы шелка тонкого;
Эти узкие листья кто вырезал, мне неведомо —
Или ветер весенний, что ножницы, выстригает их?

ОТПРАВЛЯЮСЬ В ПУТЬ НА ЗАРЕ

Я слышу колокол рассветный на берегу,
Я вижу: маленькая лодка домой спешит.
Размеренно прошедшей ночью гремел прибой,
Роса речная на рассвете блестит везде.
Внезапно на песке прибрежном я вижу птиц,
Подобных тучами сокрытым вершинам гор.
О, как далек ты бесконечно, мой край родной!
Наутро с мыслями о друге сбираюсь в путь.

ХАНЬ-ШАНЬ

* * *

Старушка живет на восток от лачуги моей,
Три года назад у нее поприбавилось благ.
Недавно была и меня самого-то бедней,
А ныне она потешается: ты, мол, бедняк...
Все судит меня, что совсем я лишился лица,
Ее барышам я такой же упрямый судья.
Один над другим потешаемся мы без конца:
Она на востоке, напротив, на западе,— я.

* * *

В полях урожай не поспел еще в этом году,
Из старых запасов в амбаре ни зернышка нет.
И вот позаимствовать горсточку проса иду,
В смущенье надеясь: авось не откажет сосед.
Выходит хозяин, меня отсылая к жене.
Выходит хозяйка, к супругу спровадить спеша.
От жалкой нужды моей каждый из них в стороне:
Чем больше скопил человек, тем черствее душа.

* * *

Когда-то старик жил у северных стен городка,
Был дом его доверху полон едой и вином.
Однажды скончалась жена у того старика,
И сотня гостей помянуть ее съехались в дом.
Но вот очень скоро почтенный преставился сам,
О нем ни один не заплакал — не все ли равно?!
Во славу его набивавшим желудки гостям
Холодное сердце, наверное, было дано...

* * *

Обманщик, который морочит достойных людей,
Похож на глупца, что с корзиной идет за водой.
Спешит он, бедняга, домой обернуться скорей,
Да только у дома увидит корзину пустой.
Того ж человека, который обманут лжецом,
Я с луком сравню, что пророс в деревенском саду:
Его, что ни утро, под корень срезают ножом,
А он, как и прежде, заполнит пустую гряду...

* * *

Мои стихи ругал один знаток:
Мол, у Хань Шаня слишком бедный слог.
Но ты на древних мудрецов взгляни,
Ведь не стыдились бедности они!
Знаток почтенный хмыкнул мне в ответ:
«В твоих словах и капли смысла нет!»
Пускай он остается при своем,
Когда одна корысть и жадность в нем.

МЭН ХАО-ЖАНЬ

ПРОВОЖУ НОЧЬ В ГОРНОЙ КЕЛЬЕ УЧИТЕЛЯ Е. ЖДУ ДИНА, ОН НЕ ПРИХОДИТ

Вечернее солнце ушло на запад, за гору.
Повсюду ущелья внезапно укрылись тьмой.
Над соснами месяц рождает ночную свежесть.
Под ветром источник наполнил свободный слух.
Уже дровосеки все скоро уйдут из леса,
И в сумраке птицы находят себе приют.
А он, этот друг мой, прийти обещался к ночи,
И цинь одиноко всё ждет на тропе в плющах.

ОСЕНЬЮ ПОДНИМАЮСЬ НА ЛАНЬШАНЬ. ПОСЫЛАЮ ЧЖАНУ ПЯТОМУ

На Бэйшане среди облаков белых
Старый отшельник рад своему покою...
Высмотреть друга я всхожу на вершину.
Сердце летит, вслед за птицами исчезает.
Как-то грустно: склонилось к закату солнце.
Но и радость: возникли чистые дали.
Вот я вижу — идущие в села люди
К берегу вышли, у пристани отдыхают.
Близко от неба деревья, как мелкий кустарник.
На причале лодка — совсем как месяц.
Ты когда же с вином ко мне прибудешь?
Нам напиться надо в осенний праздник!

ЛЕТОМ, В ЮЖНОЙ БЕСЕДКЕ ДУМАЮ О СИНЕ СТАРШЕМ

Вот свет над горою внезапно упал на запад
И в озере месяц неспешно поплыл к востоку.
Без шапки, свободно дышу вечерней прохладой,
Окно растворяю, лежу, отринув заботы.
От лотосов ветер приносит душистый запах.
Роса на бамбуках стекает с чистым звучаньем.
Невольно захочешь по струнам циня ударить,
Но жаль, что не вижу того, кто напев оценит...
При чувствах подобных о друге старинном думы,
А полночь приходит — и он в моих сновиденьях!

НОЧЬЮ ВОЗВРАЩАЮСЬ В ЛУМЭНЬ

В горном храме колокол звонкий —
померк уходящий день.
У переправы перед затоном
за лодки горячий спор.
Люди идут песчаной дорогой
в селения за рекой.
С ними и я в лодку уселся,
чтоб ехать к себе в Лумэнь...
А в Лумэне месяц сияньем
деревья открыл во мгле.
Я незаметно дошел до места,
где жил в тишине Пан Гун.
В скалах проходы, меж сосен тропы
в веках берегут покой.
Только один лумэньский отшельник
придет и опять уйдет.

НА ГОРЕ СИШАНЬ НАВЕЩАЮ СИНЬ Э

Колышется лодка — я в путь по реке отправляюсь!
Мне надо проведать обитель старинного друга.
Закатное солнце хоть чисто сияет в глубинах,
Но в этой прогулке не рыбы меня приманили...
Залив каменистый... Гляжу сквозь прозрачную воду.
Песчаная отмель... Ее я легко огибаю.
Бамбуковый остров... Я вижу — на нем рыболовы.
Дом, крытый травою... Я слышу — в нем книгу читают...
За славной беседой забыли мы оба о ночи.
Мы в радости чистой встречаем и утренний холод...
Как тот человек он, что пил из единственной тыквы,
Но, праведник мудрый, всегда был спокоен и весел!

ПИШУ НА СТЕНЕ КЕЛЬИ УЧИТЕЛЯ И

Учитель там, где занят созерцаньем,
Поставил дом с пустынной рощей рядом.
Вдаль от ворот — прекрасен холм высокий.
У лестницы — глубоко дно оврагов...
Вечерний луч с дождем соединился.
Лазурь пустот на тени дома пала...
Ты посмотри, как чист и светел лотос,
И ты поймешь, как сердце не грязнится!

НОЧУЮ В ТУНЛУ НА РЕКЕ. ПОСЫЛАЮ ДРУЗЬЯМ В ГУАНЛИН

Во мраке горы́ слышу горький плач обезьян.
Синея, река убыстряет ночной свой бег.
А ветер шумит меж деревьев на двух берегах.
И светит луна над одним сиротливым челном...
Но местность Цзяньдэ не родная моя земля.
Вэйянских моих вспоминаю старых друзей.
И я соберу два потока пролитых слез
И вдаль отошлю к ним на западный берег морской.

МОИ ЧУВСТВА В ПОСЛЕДНЮЮ НОЧЬ ГОДА

И тяжел и далек путь за три горных края Ба
По опасным тропам где идти десять тысяч ли.
Средь неравных вершин на проталине снежной в ночь
С одинокой свечой из иной страны человек.
Отдвигается вдаль кость от кости, от плоти плоть,
И на месте родных верный спутник — мальчик-слуга.
Где же силы терпеть эту в вечных скитаньях жизнь?
С наступлением дня начинается новый год.

НОЧЬЮ ПЕРЕПРАВЛЯЮСЬ ЧЕРЕЗ РЕКУ СЯН

Путешествуя, гость к переправе спешит скорей.
Невзирая на ночь, я плыву через реку Сян.
В испареньях росы слышу запах душистых трав,
И звучащий напев угадал я — «лотосы рвут».
Перевозчик уже правит к свету на берегу.
В лодке старый рыбак, скрытый дымкой тумана, спит.
И на пристани все лишь один задают вопрос —
Как проехать в Сюньян, он в какой лежит стороне.

НА ПРОЩАНЬЕ С ВАН ВЭЕМ

В тоскливом безмолвье чего ожидать мне осталось?
И утро за утром теперь понапрасну проходят...
Я если отправлюсь искать благовонные травы,
Со мной, к сожаленью, не будет любимого друга,
И в этой дороге кто станет мне доброй опорой?
Ценители чувства встречаются в мире так редко...
Я только и должен хранить тишины нерушимость,—
Замкнуть за собою ворота родимого сада!

В РАННИЕ ХОЛОДА НА РЕКЕ МОИ ЧУВСТВА

Листья опали, и гуси на юг пролетели.
Северный ветер студён на осенней реке.
В крае родимом крутые излучины Сяна.
В высях далеких над Чу полоса облаков.
Слезы по дому в чужой стороне иссякают.
Парус обратный слежу у небесной черты.
Где переправа? Кого бы спросить мне об этом?
Ровное море безбрежно вечерней порой...

К ВЕЧЕРУ ГОДА ВОЗВРАЩАЮСЬ НА ГОРУ НАНЬШАНЬ

В Северный дом больше бумаг не ношу.
К Южной горе вновь я в лачугу пришел:
Я не умен,— мной пренебрег государь;
Болен всегда,— и поредели друзья.
Лет седина к старости гонит меня.
Зелень весны году приносит конец.
Полон я дум, грусть не дает мне уснуть:
В соснах луна, пусто ночное окно...

ВОЗВРАЩАЮСЬ ИЗ ДАОССКОГО ХРАМА ЦЗИНСЫГУАНЬ, А ВАН БАЙ-ЮНЬ — СЛЕДОМ ЗА МНОЙ

Я долину покинул с утра еще до полудня,
А вернулся домой, когда солнце уже померкло.
Обернувшись, гляжу на ведущую вниз дорогу,
Только вижу на ней, как бредут коровы и овцы.
На горé дровосеки теряют во тьме друг друга.
Насекомые в травах с вечерним холодом стихли.
Но убогую дверь оставляю все же открытой:
На пороге стою, чтобы встретить приход Бай-юня.

ВЕСЕННЕЕ УТРО

Меня весной не утро пробудило:
Я отовсюду слышу крики птиц.
Ночь напролет шумели дождь и ветер.
Цветов опавших сколько — посмотри!

ВАНУ ДЕВЯТОМУ

Солнце к закату, а сельский твой дом далек.
С горным приютом не медля все же простись.
Помни, что надо пораньше в путь выходить:
«Дети-малютки домой Тао Цяня ждут».

НОЧУЮ НА РЕКЕ ЦЗЯНЬДЭ

Направили лодку на остров, укрытый туманом.
Уже вечереет,— чужбиною гость опечален...
Просторы бескрайни — и снизилось небо к деревьям.
А воды прозрачны — и месяц приблизился к людям.

ПРОВОЖАЮ ЧЖУ СТАРШЕГО, УЕЗЖАЮЩЕГО В ЦИНЬ

Нынешний путник в Улин — Пять Холмов — уедет.
Меч драгоценный всю тысячу золотом стоит.
Руки разняли, его я дарю на память —
Дней миновавших одно неизменное чувство!

НАЧАЛО ОСЕНИ

Еще незаметна осень в начале,
а ночи уже длинней.
Порывами ветер прохладный веет
и свежесть с собой несет.
И жаром пылавший зной отступает,
и в доме тишь и покой.
И листья осоки внизу у ступеней
от капель росы блестят.

ПРОВОЖАЮ ДРУГА, НАПРАВЛЯЮЩЕГОСЯ В СТОЛИЦУ

Ты, поднимаясь, к синей уходишь туче.
Я на дорогу к синей горе вернулся.
Туче с горою, видно, пора расстаться.
Залил слезами платье свое отшельник.

ПЕРЕПРАВЛЯЯСЬ ЧЕРЕЗ РЕКУ, СПРАШИВАЮ У ЛОДОЧНИКА

Волна легла, река ровна —
нет ветра над водой.
Мы в легкой лодке по реке
с моим гребцом плывем.
Все время в нетерпенье я
смотрю на край небес:
«Которая из синих гор
вершина Юэчжун?»

ПРИХОДИЛ В ОБИТЕЛЬ ПРАВЕДНОГО ЖУНА

На горной вершине в келье монаха
одежды его висят,
А перед окошком в полном безлюдье
летают птицы с озер.
Пока еще сумерки не сгустились,
тропинкою вниз иду.
В пути я внимаю шороху сосен,
любуюсь гор бирюзой.

ЛИ ЦИ

НОЧУЮ В МОНАШЕСКОЙ КЕЛЬЕ ЕГО ПРЕПОДОБИЯ ИНА. СЛЫШУ ЦЕРКОВНЫЙ НАПЕВ

Храм вечных цветов... Святые напевы в даль, неизвестность уходят.
Месяц укрылся в высокой стене, звоны часов редки.
Ночь шевелит лесом под инеем, гонит слетающий лист;
утром я слушаю зовы небес, раскрываюсь весь в чистой мечте.
Безмолвье суровое входит уже, замирая, в пустошную стужу;
лавина бурная снова летит вслед за осенним дождем.
Здесь лишь прозрел я, что жизнь — поплавок наш — не знает,
за что зацепиться;
сразу же дам я почве души желанье к пристанищу льнуть.

ЦУЙ ХАО

НА БАШНЕ ЖЕЛТОГО АИСТА

Тот, что жил прежде, уже, взгромоздившись на белую тучу, исчез...
В этой земле бесплодно осталась Желтого Аиста башня.
Желтый тот аист однажды исчез и более не возвратится;

белые тучи уж тысячу лет напрасно идут да идут.
Чистые струи одна за другою в Ханьянских деревьях видны;
травы пахучие густо растут здесь среди островка Попугая.
Солнце уж к вечеру... Стены родные — где они, где, скажи?..
Волны в тумане на этой реке в грусть меня повергают.

ВАН ВЭЙ

ВЕСЕННЕЙ НОЧЬЮ В БАМБУКОВОЙ БЕСЕДКЕ ПРЕПОДНОШУ ЧИНОВНИКУ ЦЯНЮ, КОТОРЫЙ ВОЗВРАЩАЕТСЯ В ЛАНЬТЯНЬ

Тихая ночь.   Мир живых — покоем объят.
Лишь за рощей, порой,   собаки лают, не спят.
Вспоминаю опять   пребыванье в горном краю,
От ручья на закат —   убогую келью мою.
Завидую вам: на заре вы уехать должны
Папороть рвать,   богатство презрев и чины.

ПРЕПОДНОШУ ПЭЙ ДИ

Окрестный вид   прекрасен в закатный час.
Слагаю стихи,   предназначаю для вас.
Дальним простором   любуюсь к исходу дня.
Тихо гляжу,   подбородком к трости припав.
Ветер весенний   играет стеблями трав,
И орхидеи   пышно растут у плетня.
В жарких покоях —   сумрак и тишина.
Мне говорят   соседи-крестьяне тогда:
«Ликуют луга,   в полном разгаре весна.
В сельском пруду   весело плещет вода.
Слива и персик —   цветов не видно на них,
Но ветки уже   в набухших почках сплошных.
Просим готовить   посох дорожный свой.
Нынче приспело   время страды полевой!»

ДОМ В ГОРАХ ЧЖУННАНЬ

К срединным годам   возлюбил я истины суть.
Близ Южной горы   поселился в пору седин.
Радость вкусив,   всегда гуляю один,
К лучшим местам   наилучший ведаю путь.

К началу ручья дойду дорогой прямой,
Присяду, смотрю, как встают облака над горой,
Старик-дровосек навстречу выйдет порой:
Смех, болтовня,— забываем, что время домой.

ГОРНАЯ ОБИТЕЛЬ ОТШЕЛЬНИКА ЛИ

Толпы вельмож — в покоях дворцовых палат;
Мелкая сошка важных чуждается дел.
Как мудрецы, что у тиглей плавильных стоят,
Выше лесов, средь гор он жить восхотел.
На перевале цветы еще не цвели,
В облако вступишь — листва то светла, то темна,
День на дворе, а он не восстал ото сна.
Горная птица изредка свищет вдали.

ПИШУ В РАЗГАР ВЕСНЫ, СРЕДИ ПОЛЕЙ И САДОВ

В доме внемлю: воркуют весной голубки.
В садах, за селом, зацвел-зардел абрикос.
Взмахнув топором, обрубаю сухие сучки,
Ищу родники, рыхлю мотыгой откос.
Ласточки стаей к прежним гнездам летят,
В численник новый старые люди глядят.
Чарку вознес и опустил ее вдруг:
Грусть охватила, дальний вспомнился друг.

ПОСЕЩАЮ ЖИЛИЩЕ ЛИ И

Праздна калитка, осенние травы пред ней.
Целыми днями повозок нет и коней.
Заулок глухой негаданный гость посетил.
Взлаяли псы. Лес недвижно застыл.
Вечно без шпилек, пряди волос — вразброд.
Даже гуляя, даосские книги берет.
Мы духом едины, брезгуем смутой мирской,
Любим лишь Дао, нищую жизнь и покой.
Вино из Ичэна вместе с ним разопью
И возвращусь в Лоянскую келью мою.

ПОСЛЕ НЕНАСТЬЯ ГЛЯЖУ НА ПОЛЯ

Ширь небосвода вновь над равниной светла.
Не нагляжусь! — ни грязи, ни пыли нигде.
У переезда ворота, ограда села.
Купы деревьев тянутся к самой воде.
Светлое поле, за ним белеют пруды.
Горы синеют из-за холмистой гряды.
Лодырей нет в разгаре общей страды.
Пусто в домах — все принялись за труды.

ОТВЕЧАЮ НА СТИХИ ЧИНОВНИКА СУ, ПОСЕТИВШЕГО МОЙ ДОМ В ГОРАХ ЛАНЬЯНЬ И НЕ ЗАСТАВШЕГО МЕНЯ

Нищая келья, теснина, скальный отрог.
Горстка лачуг в кругу высоких стволов.
Зря повозку вы гнали средь горных дорог.
Гостя кто зазовет под отшельничий кров?
К мерзлому брегу прилип челнок рыбака.
В стылой степи — костер, охотничий стан.
Лишь с вышины, где, как снег, белы облака,
Колокол мерный, вопли ночных обезьян.

ОТВЕЧАЮ ЧИНОВНИКУ ЧЖАНУ

Только покой ценю на закате лет.
Тысячи дел уже не владеют мной.
В сердце давно обширных замыслов нет.
Знаю одно: вернуться к роще родной.
Ветер сосны качнет — распояшусь тогда,
Буду на цине бренчать под горной луной.
Спросите: в чем наша радость, наша беда?
Песней ответит рыбак на излуке речной.

РАДУЮСЬ ПРИЕЗДУ ЦЗУ ТРЕТЬЕГО, УГОВАРИВАЮ ЕГО ОСТАТЬСЯ НОЧЕВАТЬ

Друг из Лояна сошел у ворот с коня.
С платья дорожного пыль отряхнул поскорей.
Если случайный гость беспокоит меня,

Чаще всего не отмыкаю дверей.
Солнце заходит. Лучи ложатся на снег.
Люди редеют. Улицы пусты вокруг.
Век под халатом одним мы делили ночлег,—
Что же вы на ночь в путь пускаетесь, друг?

ПОСЫЛАЮ МИНИСТРУ ЧЖАНУ В ЦЗИНЧЖОУ

Где он теперь, былой покровитель и друг?
С грустью гляжу туда, где Цзинмэньский хребет.
В целой вселенной близких наперсников нет.
Помню до гроба милости давешних лет.
Вместе с крестьянами, не покладая рук,
Сад на старом холме насаждаю чуть свет.
Взором гусей провожаю, летящих на юг:
Как бы возмочь переправить с ними привет!

ЖИВЯ НА ПОКОЕ У РЕКИ ВАНЧУАНЬ, ПРЕПОДНОШУ СЮЦАЮ ПЭЙ ДИ

Яшмово-сизой стылая стала гора.
В русле все выше влаги осенней раскат.
С посохом вышел за изгородку двора,
К ветру лицом слушаю поздних цикад.
Над переправой — закат у края небес.
Над деревушкой сирый возносится дым.
Бражник Цзе-юй, «Чуский безумец», воскрес,
Пятеро Ив распевам внимают хмельным.

НА ИСХОДЕ ЗИМНЕЙ НОЧИ, В СНЕГОПАД, ВСПОМИНАЮ О ДОМЕ ОТШЕЛЬНИКА ХУ

Вестник зари — барабана мерзлого стук.
Старческий облик в зеркале видеть могу.
Ветр за окном встревожил-взвеял бамбук.
Дверь отворяю: горы в глубоком снегу.
В воздухе реет — на улицах глухо, мертво.
Сбился в сугробы — пустые дворы заволок.
Дом Юань-аня,— как обнаружу его,
Если хозяин за дверью замкнутой лег?

ОСЕННИЙ ВЕЧЕР В ГОРАХ

Весь день моросило   в пустынных горах дотемна.
Небесная глубь   вечерней прохладой полна.
Средь хвои сосновой   слепит-блистает луна.
Прозрачно бежит   по камням ручьевая волна.
Бамбук зашумел —   возвращаются прачки с реки.
Лотос качнулся —   рыбачьи плывут челноки.
Пусть отлетел   аромат весенней травы —
На осень в горах   со мной остались бы вы!

НАПИСАЛ, ВОЗВРАЩАЯСЬ К ГОРЕ СУНШАНЬ

Чистый поток   оброс ивняком и травой.
Конь и повозка   медленны, словно скользят.
Воды текут —   река сдается живой.
Поздние птицы   летят в гнездовья назад.
Близ переправы древней —   глухой городок.
Горы осенние   солнце зажгло ввечеру.
К склонам Суншань   труден путь и далек;
В горную келью   вернусь — и калитку запру.

НАПИСАЛ, ВОЗВРАЩАЯСЬ НА РЕКУ ВАНЧУАНЬ

Слышу при входе в долину   трезвон порой.
Реже навстречу бредут   лесоруб, рыбак.
Долгий тлеет закат   за дальней горой.
К белым стремлю облакам   одинокий шаг.
Стебель рогатика слаб —   к влаге приник.
Тополя пух невесом —   взмыл на ветру.
Луг восточный весной —   словно цветник.
Тихо грустя,   калитку молча запру.

ЖИЛИЩЕ В ГОРАХ

Запер калитку в тиши.   Безбрежен закат.
Вижу — гнездо журавля   на каждой сосне.
Дверцу из веток открыть   случится навряд,—
Редко друг и собрат   заглянет ко мне.
Красные лотосы   сбросили ветхий наряд.
Вешний бамбук — в пыльце,   рощи цветут.
На переправе   огни мелькают подряд.
Собран орех водяной,—   расходится люд.

ЖИВУ НА ПОКОЕ У РЕКИ ВАНЧУАНЬ

В Белый храм воротясь,   в келью мою,
В стольный не езжу град,   к Зеленым вратам.
К древу у дома припав,   нередко стою,
Даль созерцаю,   вижу селение там.
Белые птицы парят   над сизой горой,
Дикий рис отражен   зерцалом воды.
Словно второй Улин-цзы,   отшельник второй,
Движу скрипучий журавль,   поливаю сады.

В САДУ ВЕСНОЙ

В легких сандалиях   после ночного дождя
В утренник вешний,   ветхий накинув халат,
Сад по частям поливаю,   с бадейкой бредя.
Персик румяный цветет,   ивы пылят.
Словно доска для шахмат   делянки трав.
Поднял над рощей журавль   свой наклонный шест.
Столик из шкуры оленьей   к закату взяв,
Прячусь в полыни,   укромных взыскую мест.

ПОЛЯ И САДЫ НА РЕКЕ

Над плесом Цишуй   в благой живу тишине.
Нет гор на востоке.   Бескрайны дали полей.
За тутовой рощей   простор в закатном огне.
Меж сел побережных   река сверкает светлей.
В деревне подпасок   тропой бредет луговой.
Охотничий пес   бежит за владельцем, как тень.
Чем занят отшельник?   Ответа нет не впервой.
Калитка из веток   с рассвета закрыта весь день.

ПОЗДНЕЙ ВЕСНОЙ МЕНЯ НАВЕЩАЕТ ЧИНОВНИК ЯНЬ С ДРУЗЬЯМИ

Три тропинки,   астры и сосны в саду.
На пять повозок   в хижине свитков и книг.
Клубни варю,   гостей уважаемых жду.
К дому зову —   взглянуть на гибкий тростник.
Сорока спешит   взрастить птенцов по весне.
Иволга плачет —   поник засохший цветник.
Близясь к закату,   грущу о моей седине,
Время отныне   мне драгоценно вдвойне.

ПОСЕТИЛ ГОРНУЮ ОБИТЕЛЬ ПОЧТЕННОГО ТАНЬ СИНА В ХРАМЕ ГАНЬХУАСЫ

Тигровый ручей,— здесь на закате дня
С тростью в руках вы ожидали меня.
Торопливый гость услышал тигра вдали.
По дороге домой вы за течением шли.
Диких цветов заросли так хороши.
Голос птицы в теснине столь одинок и чист.
Вам ночью не спится. В тихом лесу — ни души.
Лишь в сосняке ветра осеннего свист.

МЕНЯ НАВЕЩАЕТ ПРАВИТЕЛЬ ОБЛАСТИ ГОЧЖОУ

Солнечный блеск озарил последки весны.
Луг обновлен. Свежа трава луговин.
Полировщик зеркал — близ ложа сижу у стены,
Поливальщик садов — брожу средь рощи один.
В пять коней колесница всполошила убогий приют.
Старца выводят слуги-мальчики под рамена.
Яства простые готовят на кухне, снуют.
Не обессудьте,— семья Жуаней бедна.

ПОСЕЩАЮ ОБИТЕЛЬ СЯНЦЗИ

Бреду наудачу к святому храму Сянцзи.
В глушь углубился,— гряда вершин, облака.
Деревья древни, безлюдны крутые стези.
Где-то в ущелье колокол издалека.
Меж скальных уступов клокочет пена реки.
Солнце на хвое к закату все золотей.
Под вечер монахи у дикой, глубокой луки,
Уйдя в созерцанье, смиряют дракона страстей.

ПРОВОЖАЮ ЦЮ ВЭЯ, КОТОРЫЙ, ПРОВАЛИВШИСЬ НА ЭКЗАМЕНАХ, ВОЗВРАЩАЕТСЯ К СЕБЕ В ЦЗЯНДУН

К вам пришла неудача — и меня печалит она.
Ветки ивы вдобавок так прекрасны в цветенье весны.
На чужбине остаться — золотая иссякла казна;
В край родной возвратиться — возрастет серебро седины.

Возле озера Тай   скромный домик, малый надел
И скиталец усталый   пред дорогой в тысячи ли.
Зная мудрость Ми Хэна,   продвинуть его не сумел,
Все придворные связи,   стыжусь,— помочь не могли.

ЛЮБУЮСЬ ОХОТОЙ

Ветер упруг.   Луки звенят у реки.
Военачальник   лов под Вэйчэном ведет.
Травы засохли.   У соколов злые зрачки.
Снега не стало.   Коней копыта легки.
Мимо Синфэна   мчит полководец вперед,
В лагерь Силю,   в стан подвластных полков.
На запад, назад   глядит, где стреляли орлов:
На тысячу ли   гряда заревых облаков.

ПИШУ РАННЕЙ ОСЕНЬЮ В ГОРАХ

Лишен дарований.   От службы себя отстранил.
О бегстве мечтаю   к ветхой ограде, к ручью.
Не каюсь, что рано   Шан Пин детей оженил,—
Жаль,— Тао столь поздно   должность покинул свою.
В келье сверчки   под осень стрекочут быстрей.
В стенаньях цикад   ввечеру нарастает тоска.
Давно не видать   гостей у пустынных дверей.
В безлюдном лесу   со мной — одни облака.

ПИШУ В ДЕРЕВНЕ У РЕКИ ВАНЧУАНЬ ВО ВРЕМЯ ДОЛГИХ ДОЖДЕЙ

В чаще глухой, в пору дождей,
Вяло дымит костер.
Просо вареное и гаолян
К восточной делянке несу.
Белые цапли летят над водой,—
Залит полей простор,
Иволги желтые свищут в листве
Рослых деревьев в лесу.
Живу средь гор, вкушаю покой,
Люблю на цветы смотреть,
Пощусь под сосной, подсолнухи рву
От мирской тщеты в стороне.

Веду простую, крестьянскую жизнь,
С людьми не тягаюсь впредь,
Но птицы,— не ведаю почему,—
Нисколько не верят мне.

СТИХИ О РАЗНОМ

ИЗ СТИХОВ «ДОМ ХУАНФУ ЮЭ В ЮНЬСИ»

1. ПОТОК, ГДЕ ПОЮТ ПТИЦЫ

Вкушаю покой. Отцветает корица вокруг.
Затишная ночь. Хребты пустынны весной.
Явилась луна, всполошила дремных пичуг:
Поют — не смолкают над вешней влагой речной.

2. ЗАВОДЬ, ГДЕ ЦВЕТУТ ЛОТОСЫ

Плыву что ни день по лотосы в утлом челне.
Остров велик. Допоздна замедляю возврат.
Толкаюсь шестом, не плещу, скользя по волне:
Боюсь увлажнить цветов червленый наряд.

ЗАТОН, ГДЕ ОХОТИТСЯ БАКЛАН

Юрко нырнул под красные лотосы вмиг.
Вынырнул, взмыл, над затоном набрал высоту.
Перья топорща, вновь одиноко возник.
В клюве рыбешка. Замер на старом плоту.

ПРУД, ЗАРОСШИЙ РЯСКОЙ

Пруд обширен. Челн под веслом кормовым
Вот-вот причалит, колеблет влажную гладь.
Лениво-лениво сомкнется ряска за ним.
Плакучая ива ее разгонит опять.

ИЗ СТИХОВ «РЕКА ВАНЧУАНЬ»

БАМБУКОВЫЙ ПЕРЕВАЛ

Рослый бамбук   отражен в пустынной реке,
Яхонт и яшму   рябью колышет вода.
Взойди на Шаншань   от мирской тщеты вдалеке,
Дровосеки в лесу   тебя не увидят тогда.

ОЛЕНЬЯ ЗАСЕКА

Горы пустынны.   Не видно души ни одной.
Лишь вдалеке   голоса людские слышны.
Вечерний луч   протянулся в сумрак лесной,
Зеленые мхи   озарил, сверкнув с вышины.

ИЗГОРОДЬ ИЗ МАГНОЛИЙ

В закатных лучах   осенние склоны хребта.
Птицы чредой   летят над лесистой горой.
Вечерний туман   кочует, меняет места.
Пестрая зелень   становится ярче порой.

БЕРЕГ, ГДЕ РАСТЕТ КИЗИЛ

Всюду полно   зеленых и красных плодов,—
Будто цветы   опять расцвели в тишине.
Чарку вина   поднести любому готов,
Кто погостить   пожалует в горы ко мне.

ТРОПИНКА СРЕДИ ВЫСОКИХ АКАЦИЙ

Между акаций   тропа шириной вполшага.
Заросли мха —   в густых и длинных тенях.
Только для гостя   тропу расчищает слуга:
Вдруг забредет   какой-нибудь горный монах!

БЕСЕДКА У ОЗЕРА

Гостя встречаю;   почтенный в легком челне,
К берегу близясь,   неспешно скользит по воде.
Два кубка вина   в беседке — другу и мне,
И лотос окружный   уже распустился везде.

ОЗЕРО И

На позднем закате   другу молвил: «Прости».
На флейте играю,   правлю на дальний брег.
Глянул назад,   проплыв половину пути:
Зеленые горы   в облаке, белом, как снег.

БЫСТРИНА У ДОМА ЛУАНЕЙ

Дождь осенний   рождает докучливый звук.
Бурно вода   бежит по камням напрямик.
Волны плещут,   мечут брызги вокруг.
Белая цапля   в страхе взлетает на миг.

БЕСЕДКА В БАМБУКОВОЙ РОЩЕ

В пустынной чаще бамбука   свищу, пою.
На цине бряцаю, тешу   ночную тьму.
Безвестен людям отшельник   в лесном краю,
И только луна приходит   светить ему.

ПРИГОРОК В МАГНОЛИЯХ

Мнится — лотос расцвел   в кронах густых.
Красным накрапом пестрят   склоны хребтов.
Горный дом над ручьем,   безлюден, притих.
Реют, опав, лепестки   алых цветов.

У ВЫСОКОЙ БАШНИ ПРОВОДИЛ ЧИНОВНИКА ЛИ

Простились у башни.   Пойма безбрежна на взгляд.
Закат изгорает,   меркнет медленно свет.
В укромные гнезда   птицы на ночь летят,
А путник шагает,—   скитальцу отдыха нет.

ПРОЩАНИЕ

С другом простился.   Пустынные горы вокруг.
Солнце зашло.   Закрыта калитка моя.
В новом году   травой покроется луг —
Встречу ли вас,   вернетесь ли в наши края?

ИЗ СТИХОВ «НАЛОЖНИЦА БАНЬ»

1 Снуют светляки   в нефритном проеме окна.
В безлюдных покоях   теперь царит тишина.
За пологом ждет.   Осенняя полночь темна.
Печально-печально   мигает лампада одна.

2 У входа в чертог   осенний поник травостой.
Любовь государя   отныне призрак пустой.
Терпения нет   свирелям и флейтам внимать,
Коль мимо ворот   несут паланкин золотой.

СОЧИНИЛ ЭКСПРОМТ И ПОКАЗАЛ ЕГО ПЭЙ ДИ

Как разорвать   с мирскими тенетами связь,
Прах отряхнуть,   отречься житейских забот?
Посох возьми   и возвратно, не торопясь,
Путь предприми   к роднику, где персик цветет.

ИЗ «СТИХОВ О РАЗНОМ»

1 Вы побывали   в моем селенье родном,
Знаете, верно,   все события в нем.
Очень прошу,   поведайте мне об одном:
Слива тогда   цвела под узорным окном?

2 Видела я —   слива цвела предо мной.
Слышала я —   стонала кукушка вдали.
С болью гляжу: проклюнулись травы весной,
Робкие стебли   к нефриту крыльца поползли.

ПОРТРЕТ ЦУЙ СИН-ЦЗУНА

Вас написал   в молодые ваши года.
Старость пришла,   голова сегодня седа.
Пусть на портрете   новые ваши друзья
Нынче увидят,   каким вы были тогда.

ИЗ СТИХОВ «РАДОСТИ ПОЛЕЙ И САДОВ»

1 Душиста и сочна весной густая трава.
В тени могучей сосны сбывает жара.
По улочкам сельским стада шагают в хлева.
Не видела сроду вельмож у нас детвора.

2 Персик в цвету ночным окроплен дождем.
Вешний туман ивы обвил опять.
Летят лепестки — слуга подметет потом.
Иволга плачет, а гость мой изволит спать.

3 Выпить вина пожелав, сидим над ручьем.
С цинем стою под сосной, опираюсь плечом.
В южном саду поутру подсолнухи рвем,
Ночью в восточном логу просо толчем.

В ДЕВЯТЫЙ ДЕНЬ ДЕВЯТОЙ ЛУНЫ ВСПОМИНАЮ О БРАТЬЯХ, ОСТАВШИХСЯ К ВОСТОКУ ОТ ГОРЫ ХУАШАНЬ

Один, томлюсь на чужбине чужак-старожил.
В осенний праздник на память приходит родня.
Чудится: братья в горах ломают кизил,
Но средь них, в украшенье ветвей, не видно меня.

В ШУТКУ ПИШУ НА ГЛАДКОМ КАМНЕ

Досадно, что камень лежит столь близко к ручью:
Ветвями ива смахнула чарку мою.
Скажут: досада поэта ветру чужда,—
Зачем же горсть лепестков привеял сюда?

ВМЕСТЕ С ЧИНОВНИКОМ ЛУ СЯНОМ ПОСЕТИЛ ЛЕСНУЮ ОБИТЕЛЬ ОТШЕЛЬНИКА СИН-ЦЗУНА

Деревья поляну укрыли тенью сплошной.
Темные мхи загустели, травы чисты.
Простоволосый, ноги поджав, сидит под сосной,
Белка́ми глядит на чужих из мира тщеты.

ПРОВОЖАЮ ЮАНЯ ВТОРОГО, ОТПРАВИВШЕГОСЯ В АНЬСИ

Утренний дождь.   Пыль стала сырой.
Двор постоялый.   Ивы ярче, свежей.
Очень прошу: выпьем по чарке второй.
Пройдя Янгуань,   вам не встретить друзей.

ПРОВОЖАЮ ШЭНЬ ЦЗЫ-ФУ, ВОЗВРАЩАЮЩЕГОСЯ В ЦЗЯНДУН

Малолюдная переправа.   Ивы и тополя.
Гонит лодку гребец кормилом,   влагу деля.
Как весна — пойдет вслед за вами   боль моей тоски,
По дорогам — на юг и на север   от Янцзы-реки.

ПИШУ В ДНИ ХОЛОДНОЙ ПИЩИ НА РЕКЕ СЫШУЙ

Под Гуанъучэном   встретил исход весны.
Из Вэньяна вернулся,   влажен платок от слез.
Лепестки опадают.   Птичьи стоны слышны.
В ивах и тополях   люди и перевоз.

ВЗДЫХАЮ О СЕДЫХ ВОЛОСАХ

Увял, обескровлен,   твой давний лик молодой.
Редеют седины,   вот-вот их лишишься ты.
Изранено сердце   мирской, жестокой тщетой.
И есть ли спасенье,   помимо Врат Пустоты?

В ГОРАХ

Белые камни   в речке устлали дно.
Небо застыло.   Мало красной листвы.
На горной дороге   дождь не падал давно.
Влажное платье   небесной полно синевы.

ВЕСЕННИЕ ПРОГУЛКИ

1 Вея всю ночь,   на рассвете ветер притих,
И расцвели   абрикосовые сады,
Деревья, деревья   в оттенках бледных, густых
Отразились в волнах   речной, зеленой воды.

2 Деревьев бесчисленных полон дворцовый сад,
Цветы распускаются неторопливо на них.
Коляски душистые, щеголи в платьях цветных
Даже в безветрие пыль облаками клубят.

ПАМЯТЬ О ДРУГЕ

Красных бобов много в южном краю.
Осень придет — новых побегов не счесть.
Очень прошу: рвите их в память мою,
Ибо они о друге — лучшая весть.

ПРОВОЖАЮ ВЕСНУ

Мы дряхлей, что ни день, седина все ярче видна.
Возвращается вновь с каждым новым годом весна.
Наша радость теперь — в утешной чаше вина.
Облетают цветы, — не будем грустить, старина!

ПИШУ С НАТУРЫ

Дождь моросит на хмурой заре.
Вяло забрезжил день на дворе.
Вижу лишайник на старой стене:
Хочет вползти на платье ко мне.

ИЗ СТИХОВ «ОСЕННЯЯ ТОСКА»

Стоит на террасе. Холодный ветр
Платье колышет едва.
Стражу вновь возвестил барабан,
Водяные каплют часы.
Небесную Реку луна перешла,
Свет — словно россыпь росы.
Сороки в осенних деревьях шуршат,
Ливнем летит листва.

МЕЛОДИИ ОСЕННЕЙ НОЧИ

1 Мерна капéль водяных часов,
А ночи исхода нет.
Меж легких туч, устилающих твердь,
Пробивается лунный свет.
Осень торопит ночных цикад,
Звенят всю ночь напролет.
Еще не послала теплых одежд,—
Там снег, быть может, идет.

2 Луна едва рождена.
Осенних росинок пыльца.
Надо бы платье сменить,—
Зябко под легким холстом.
Бренчит на серебряном чжэне,—
Ночи не видно конца.
Боится покоев пустых,
Не смеет вернуться в дом.

ЛИ БО

ДУМЫ В ТИХУЮ НОЧЬ

Перед постелью вижу сиянье луны.
Кажется — это здесь иней лежит на полу.
Голову поднял — взираю на горный я месяц;
голову вниз — я в думе о крае родном.

ИЗ ЦИКЛА «ОСЕННЯЯ ЗАВОДЬ»

*

Вода — словно одна полоса шелка,
Земля эта — то же ровное небо.
Что, если бы, пользуясь светлой луною,
Взор — в цветы, сесть в ладью, где вино?

*

Холм Персиков — один лишь шаг земли...
Там четко-четко слышны речь и голос.
Безмолвно с горным я монахом здесь прощаюсь.
Склоняю голову; привет вам в белых тучах!

*

Белых волос тысячи три саженей!
Грусть ведь моя так бесконечно долга!
Я не пойму: в зеркале светлом и чистом
где я добыл иней осенний висков?

ОСЕННИЕ ДУМЫ

У дерева Яньчжи желтые падают листья,
приду, погляжу — сама поднимусь на башню.
Над морем далеким лазурные тучи прорвались,
от хана-шаньюя осенние краски идут.
Войска кочевые в песчаной границе скопились,
а ханьский посол вернулся из Яшмы-Заставы.
Ушедший в поход, не знаю, когда он вернется,
напрасно грущу, что цветок орхидеи завянет.

ПРОВОЖАЮ ДРУГА

Зеленые горы торчат над северной частью,
а белые воды кружат возле восточных стен.
На этой земле мы как только с тобою простимся,
пырей-сирота ты — за тысячи верст.
Плывущие тучи — вот твои мысли бродят.
Вечернее солнце — вот тебе друга душа.
Махнешь мне рукою — отсюда сейчас уйдешь ты,
и грустно, протяжно заржет разлученный конь.

ПЕСНЬ О КУПЦЕ

Гость заморский ловит с неба ветер
И корабль далеко в страду гонит.
Словно сказать: птица среди облаков!
Раз улетит — нет ни следа, ни вестей.

СТРУЯЩИЕСЯ ВОДЫ

В струящейся воде   осенняя луна.
На южном озере   покой и тишина.
И лотос хочет мне   сказать о чем-то грустном,
Чтоб грустью и моя   душа была полна.

ОДИНОКО СИЖУ В ГОРАХ ЦЗИНТИНШАНЬ

Плывут облака   отдыхать после знойного дня,
Стремительных птиц   улетела последняя стая.
Гляжу я на горы,   и горы глядят на меня,
И долго глядим мы,   друг другу не надоедая.

РАНО УТРОМ ВЫЕЗЖАЮ ИЗ ГОРОДА БОДИ

Я покинул Боди,   что стоит средь цветных облаков,
Проплывем по реке мы   до вечера тысячу ли.
Не успел отзвучать еще   крик обезьян с берегов —
А уж челн миновал   сотни гор, что темнели вдали.

БЕЛАЯ ЦАПЛЯ

Вижу белую цаплю   на тихой осенней реке;
Словно иней, слетела   и плавает там, вдалеке.
Загрустила душа моя,   сердце — в глубокой тоске.
Одиноко стою   на песчаном пустом островке.

ХРАМ НА ВЕРШИНЕ ГОРЫ

На горной вершине   ночую в покинутом храме.
К мерцающим звездам   могу прикоснуться рукой.
Боюсь разговаривать громко: земными словами
Я жителей неба   не смею тревожить покой.

РАЗВЛЕКАЮСЬ

Я за чашей вина   не заметил совсем темноты.
Опадая во сне,   мне осыпали платье цветы.
Захмелевший, бреду   по луне, отраженной в потоке.
Птицы в гнезда летят,   а людей не увидишь здесь ты...

ШУТЯ ПРЕПОДНОШУ МОЕМУ ДРУГУ ДУ ФУ

На вершине горы,   где зеленые высятся ели,
В знойный солнечный полдень   случайно я встретил Ду Фу.
Разрешите спросить: почему вы, мой друг, похудели,—
Неужели так трудно   слагать за строфою строфу?

ВЕСЕННЕЙ НОЧЬЮ В ЛОЯНЕ СЛЫШУ ФЛЕЙТУ

Слышу: яшмовой флейты музыка, окруженная темнотой,
Пролетая, как ветры вешние, наполняет Лоян ночной.
Слышу «Сломанных ив» мелодию, светом полную и весной...
Как я чувствую в этой песенке нашу родину — сад родной!

ВСПОМИНАЮ ГОРЫ ВОСТОКА

В горах Востока не был я давно.
Там розовых цветов полным-полно.
Луна вдали плывет над облаками.
А в чье она опустится окно?

СРЕДИ ЧУЖИХ

Прекрасен крепкий аромат ланьлинского вина.
Им чаша яшмовая вновь, как янтарем, полна.
И если гостя напоит хозяин допьяна —
Не разберу: своя ли здесь, чужая ль сторона.

ТОСКА У ЯШМОВЫХ СТУПЕНЕЙ

Ступени из яшмы давно от росы холодны.
Как влажен чулок мой! Как осени ночи длинны!
Вернувшись домой, опускаю я полог хрустальный
И вижу — сквозь полог — сияние бледной луны.

ВЕСЕННИМ ДНЕМ БРОЖУ У РУЧЬЯ ЛОФУТАНЬ

Один, в горах, я напеваю песню,
Здесь наконец не встречу я людей.
Все круче склоны, скалы все отвесней,
Бреду в ущелье, где течет ручей.
И облака над кручами клубятся,
Цветы сияют в дымке золотой.
Я долго мог бы ими любоваться —
Но скоро вечер, и пора домой.

НАВЕЩАЮ ОТШЕЛЬНИКА НА ГОРЕ ДАЙТЯНЬ, НО НЕ ЗАСТАЮ ЕГО

Собаки лают, и шумит вода,
И персики дождем орошены.
В лесу оленей встретишь иногда,
А колокол не слышен с вышины.
За сизой дымкой высится бамбук,
И водопад повис среди вершин.
Кто скажет мне, куда ушел мой друг?
У старых сосен я стою один.

БЕЗ НАЗВАНИЯ

И ясному солнцу, и светлой луне
В мире покоя нет.
И люди не могут жить в тишине,
А жить им — немного лет.
Гора Пэнлай среди вод морских
Высится, говорят.
Там в рощах нефритовых и золотых
Плоды, как огонь, горят.
Съешь один — и не будешь седым,
А молодым навек.
Хотел бы уйти я в небесный дым,
Измученный человек.

ЗА ВИНОМ

Говорю я тебе: от вина отказаться нельзя,—
Ветерок прилетел и смеется над трезвым тобой.
Погляди, как деревья, давнишние наши друзья,
Раскрывая цветы, наклонились над теплой травой.
А в кустарнике иволга песни лепечет свои,
В золотые бокалы глядит золотая луна.
Тем, кто только вчера малолетними были детьми,
Тем сегодня, мой друг, побелила виски седина.
И терновник растет в знаменитых покоях дворца,
На Великой террасе олени резвятся весь день.
Где цари и вельможи? — Лишь время не знает конца,
И на пыльные стены вечерняя падает тень.

Все мы смертны. Ужели тебя не прельщает вино?
Вспомни, друг мой, о предках — их нету на свете давно.

ПРОВОЖУ НОЧЬ С ДРУГОМ

Забыли мы   про старые печали,—
Сто чарок   жажду утолят едва ли.
Ночь благосклонна   к дружеским беседам,
А при такой луне   и сон неведом,
Пока нам не покажутся,   усталым,
Земля — постелью,   небо — одеялом.

ПОД ЛУНОЮ ОДИНОКО ПЬЮ

* * *

Среди цветов поставил я   кувшин в тиши ночной
И одиноко пью вино,   и друга нет со мной.
Но в собутыльники луну   позвал я в добрый час,
И тень свою я пригласил —   и трое стало нас.
Но разве,— спрашиваю я,—   умеет пить луна
И тень, хотя всегда за мной   последует она?
А тень с луной не разделить.   И я в тиши ночной
Согласен с ними пировать   хоть до весны самой.
Я начинаю петь — и в такт   колышется луна,
Пляшу — и пляшет тень моя,   бесшумна и длинна.
Нам было весело, пока   хмелели мы втроем,
А захмелели — разошлись,   кто как, своим путем.
И снова в жизни одному   мне предстоит брести
До встречи — той, что между звезд,   у Млечного Пути.

С ВИНОМ В РУКЕ ВОПРОШАЮ ЛУНУ

С тех пор как явилась в небе луна —   сколько прошло лет?
Оставив кубок, спрошу ее,—   может быть, даст ответ.
Никогда не взберешься ты на луну,   что сияет во тьме ночной.
А луна — куда бы ты ни пошел —   последует за тобой.
Как летящее зеркало, заблестит   у дворца Бессмертных она.
И сразу тогда исчезнет мгла —   туманная пелена.
Ты увидишь, как восходит луна   на закате, в вечерний час.
А придет рассвет — не заметишь ты,   что уже ее свет погас.
Белый заяц на ней лекарство толчет   и сменяет зиму весна.
И Чан-э в одиночестве там живет —   и вечно так жить должна.
Мы не можем теперь увидеть, друзья,   луну древнейших времен.
Но предкам нашим светила она,   выплыв на небосклон.
Умирают в мире люди всегда —   бессмертных нет среди нас.

Но люди всегда любовались луной, как я любуюсь сейчас.
Я хочу, чтобы в эти часы, когда я слагаю стихи за вином,—
Отражался сияющий свет луны в золоченом кубке моем.

ПРОВОЖАЮ ДРУГА, ОТПРАВЛЯЮЩЕГОСЯ ПУТЕШЕСТВОВАТЬ В УЩЕЛЬЯ

Любуемся мы, как цветы озаряет рассвет.
И все же грустим: наступает разлука опять.
Здесь вместе с тобою немало мы прожили лет,
Но в разные стороны нам суждено уезжать.
Скитаясь в ущельях, услышишь ты крик обезьян,
Я стану в горах любоваться весенней луной.
Так выпьем по чарке — ты молод, мой друг, и не пьян:
Не зря я сравнил тебя с вечнозеленой сосной.

ПОСВЯЩАЮ МЭН ХАО-ЖАНЮ

Я учителя Мэн почитаю навек.
Будет жить его слава во веки веков.
С юных лет он карьеру презрел и отверг —
Среди сосен он спит и среди облаков.
Он бывает божественно пьян под луной,
Не желая служить — заблудился в цветах.
Он — гора. Мы склоняемся перед горой,
Перед ликом его — мы лишь пепел и прах.

ШУТЯ ПОСВЯЩАЮ ЧЖЭН ЯНЮ, НАЧАЛЬНИКУ УЕЗДА ЛИЯН

Тао — начальник уезда — изо дня в день был пьян.
Так что не замечал он, осень или весна.
Разбитую свою лютню слушал, как сквозь туман,
Сквозь головную косынку вино он цедил спьяна.
Лежал под окном у дома беспечный поэт седой,
Себя называл человеком древнейших времен земли.
...Когда я к тебе приеду осенью или весной,
Надеюсь, что мы напьемся в славном уезде Ли.

ПО ТУ СТОРОНУ ГРАНИЦЫ

1 Пятый месяц, а снег на Тяньшане бел,
Нет цветов среди белизны.
Зря о «сломанных ивах» солдат запел,—

Далеко еще до весны.
Утром бьет барабан,— значит, в бой пора,
Ночью спим, на седла склонясь,
Но не зря наш меч висит у бедра:
Будет мертв лоуланьский князь.

2 Император войска посылает на север пустыни,
Чтоб враги не грозили поить в наших реках коней.
Сколько битв предстоит нам, и сколько их было доныне,—
Но любовь наша к родине крепче всего и сильней.
Нету пресной воды — только снег у холодного моря.
На могильных курганах ночуем, сметая песок.
О, когда ж наконец разобьем мы врага на просторе,
Чтобы каждый из воинов лег бы — и выспаться мог!

3 Мчатся кони, быстрые, как ветер,
Мы несемся, сотни храбрецов,
С родиной прощаясь в лунном свете,
Чтоб сразить «небесных гордецов».
Но когда мы кончим бой погоней
И последний враг падет, сражен,—
Красоваться будет в Павильоне
Хо Великолепный. Только он!

4 Приграничные варвары с гор в наступленье пошли —
И выводят солдат из печальных китайских домов.
Командиры раздали «тигровые знаки» свои,—
Значит, вновь воевать нам средь желтых и мерзлых песков.
Словно лук, изогнулась плывущая в небе луна,
Белый иней блестит на поверхности наших мечей.
К пограничной заставе нескоро вернусь я, жена,—
Не вздыхай понапрасну и слез понапрасну не лей.

5 Сигнальные огни пронзили даль,
И небо над дворцами засияло.
С мечом в руке поднялся государь —
Крылатого он вспомнил генерала.
И тучи опустились с вышины.
И барабан гремит у горной кручи.
И я, солдат, пойду в огонь войны,
Чтобы рассеять грозовые тучи.

ТОСКА О МУЖЕ

Уехал мой муж далеко, далеко
На белом своем коне,
И тучи песка обвевают его
В холодной чужой стране.
Как вынесу тяжкие времена?..
Мысли мои о нем,
Они все печальнее, все грустней
И горестней с каждым днем.
Летят осенние светлячки
У моего окна,
И терем от инея заблестел,
И тихо плывет луна.
Последние листья роняет утун —
Совсем обнажился сад.
И ветви под резким ветром в ночи
Качаются и трещат.
А я, одинокая, только о нем
Думаю ночи и дни.
И слезы льются из глаз моих —
Напрасно льются они.

ВЕТКА ИВЫ

Смотри, как ветви ивы гладят воду —
Они склоняются под ветерком.
Они свежи, как снег, среди природы
И, теплые, дрожат перед окном.
А там красавица сидит тоскливо,
Глядит на север, на простор долин,
И вот — она срывает ветку ивы
И посылает — мысленно — в Лунтин.

ОСЕННИЕ ЧУВСТВА

Сколько дней мы в разлуке, мой друг дорогой,—
Дикий рис уже вырос у наших ворот.
И цикада смирилась с осенней порой,
Но от холода плачет всю ночь напролет.
Огоньки светляков потушила роса,
В белом инее ветви ползучие лоз.
Вот и я рукавом закрываю глаза,
Плачу, друг дорогой, и не выплачу слез.

ЧАНГАНЬСКИЕ МОТИВЫ

1 Еще не носила прически я — играла я у ворот.
И рвала цветы у себя в саду, смотрела, как сад цветет.
На палочке мой муженек верхом скакал, не жалея сил,—
Он в гости ко мне приезжал тогда и сливы мне приносил.
Мы были детьми в деревне Чангань, не знающими труда,
И, вместе играя по целым дням, не ссорились никогда.

2 Он стал моим мужем,— а было мне четырнадцать лет тогда,—
И я отворачивала лицо, пылавшее от стыда.
Я отворачивала лицо, пряча его во тьму,
Тысячу раз он звал меня, но я не пришла к нему.
Я расправила брови в пятнадцать лет, забыла про детский страх,—
Впервые подумав: хочу делить с тобой и пепел и прах.
Да буду я вечно хранить завет обнимающего устой,
И да не допустит меня судьба на башне стоять одной!
Шестнадцать лет мне теперь — и ты уехал на долгий срок.
Далёко, туда, где в ущелье Цюйтан кипит между скал поток.
Тебе не подняться вверх по Янцзы даже к пятой луне.
И только тоскливый вой обезьян слышишь ты в тишине.

3 У нашего дома твоих следов давно уже не видать,
Они зеленым мхом поросли — появятся ли опять?
Густо разросся зеленый мох и след закрывает твой.
Осенний ветер весь день в саду опавшей шуршит листвой.
Восьмая луна — тускнеет все, даже бабочек цвет.
Вот они парочками летят, и я им гляжу вослед.
Осенние бабочки! Так и я горюю перед зимой
О том, что стареет мое лицо и блекнет румянец мой.

4 Но, рано ли, поздно ли, наконец вернешься ты из Саньба.
Пошли мне известье, что едешь ты, что смилостивилась судьба.
Пошли — и я выйду тебя встречать, благословив небеса,
Хоть тысячу ли я пройду пешком, до самого Чанфэнса.

НОЧНОЙ КРИК ВОРОНА

Опять прокаркал черный ворон тут —
В ветвях он хочет отыскать приют.
Вдова склонилась над станком своим —
Там синий шелк струится, словно дым.
Она вздыхает и глядит во тьму:
Опять одной ей ночевать в дому.

ВОСПЕВАЮ ГРАНАТОВОЕ ДЕРЕВО, РАСТУЩЕЕ ПОД ВОСТОЧНЫМ ОКНОМ МОЕЙ СОСЕДКИ

У соседки моей под восточным окном
Разгорелись гранаты в луче золотом.
Пусть коралл отразится в зеленой воде —
Но ему не сравниться с гранатом нигде.
Столь душистых ветвей не отыщешь вовек —
К ним прелестные птицы летят на ночлег.
Как хотел бы я стать хоть одной из ветвей,
Чтоб касаться одежды соседки моей.
Пусть я знаю, что нет мне надежды теперь,—
Но я все же гляжу на закрытую дверь.

* * *

Когда красавица здесь жила —
Цветами был полон зал.
Теперь красавицы больше нет —
Это Ли Бо сказал.
На ложе, расшитые шелком цветным,
Одежды ее лежат.
Три года лежат без хозяйки они,
Но жив ее аромат.
Неповторимый жив аромат.
И будет он жить всегда.
Хотя хозяйки уж больше нет,
Напрасно идут года.
И ныне я думаю только о ней,
А желтые листья летят,
И капли жестокой белой росы
Покрыли зеленый сад.

ПЕСНЯ О ВОСХОДЕ И ЗАХОДЕ СОЛНЦА

Из восточного залива солнце,
Как из недр земных, над миром всходит.
По небу пройдет и канет в море.
Где ж пещера для шести драконов?
В древности глубокой и поныне
Солнце никогда не отдыхало,
Человек без изначальной силы
Разве может вслед идти за солнцем?

Расцветая, травы полевые
Чувствуют ли к ветру благодарность?
Дерева, свою листву роняя,
На осеннее не ропщут небо.
Кто торопит, погоняя плетью,
Зиму, осень, и весну, и лето?
Угасанье и расцвет природы
Совершаются своею волей.
О, Си Хэ, Си Хэ, возница солнца,
Расскажи нам, отчего ты тонешь
В беспредельных и бездонных водах.
И какой таинственною силой
Обладал Лу Ян? Движенье солнца
Он остановил копьем воздетым.
Много их, идущих против Неба,
Власть его присвоивших бесчинно.
Я хочу смешать с землею небо,
Слить всю необъятную природу
С первозданным хаосом навеки.

ЛУНА НАД ПОГРАНИЧНЫМИ ГОРАМИ

Луна над Тянь-Шанем восходит, светла,
И бел облаков океан,
И ветер принесся за тысячу ли
Сюда от заставы Юймынь.
С тех пор как китайцы пошли на Бодэн,
Враг рыщет у бухты Цинхай,
И с этого поля сраженья никто
Домой не вернулся живым.
И воины мрачно глядят за рубеж —
Возврата на родину ждут,
А в женских покоях как раз в эту ночь
Бессонница, вздохи и грусть.

НА ЗАПАДНОЙ БАШНЕ В ГОРОДЕ ЦЗИНЬЛИН ЧИТАЮ СТИХИ ПОД ЛУНОЙ

В ночной тишине Цзиньлина
Проносится свежий ветер,
Один я всхожу на башню,
Смотрю на У и на Юэ.

Облака отразились в водах
И колышут город пустынный,
Роса, как зерна жемчужин,
Под осенней луной сверкает.
Под светлой луной грущу я
И долго не возвращаюсь.
Не часто дано увидеть,
Что древний поэт сказал.
О реке говорил Се Тяо:
«Прозрачней белого шелка»,—
И этой строки довольно,
Чтоб запомнить его навек.

ПРОВОЖАЯ ДО БАЛИНА ДРУГА, ДАРЮ ЕМУ ЭТИ СТИХИ НА ПРОЩАНЬЕ

Я друга до Балина провожаю.
Потоком бурным протекает Ба,
Там на горе есть дерево большое,
Оно состарилось и не цветет.
Внизу весенняя пробилась травка,
Что ранит душу слабостью своей.
Я спрашиваю жителей окрестных:
«Куда меня дорога приведет?»
Мне отвечают: «По дороге этой
«На юге» некогда Ван Цань всходил».
Не прерываясь, тянется дорога
До города столичного Чанъань,
Садясь, тускнеет солнце над дворцами,
Плывут по небу стаи облаков.
И вот сейчас, когда прощаюсь с другом,
Разлуки место ранит душу мне.
И голос друга, «Иволгу» поющий,
Мне слушать нестерпимо тяжело.

ГАО ШИ

НОЧЬЮ ПРОЩАЮСЬ СО СТОЛОНАЧАЛЬНИКОМ ВЭЕМ

В высоком подворье расставлены лампы и чисто, к тому же — вино.
И колокол ночью... Луна на ущербе... Крик диких обратных гусей...
Сказано только, что птица поющая может искать себе пару.

Ветер весны, и что с ним поделать? Хочет тебя проводить.
В этих извивах Желтой реки песок берега образует;
там рядом с бродом Белых Коней есть город Ивовых Стран.
Ты не горюй, что в чужой стороне временно будешь в разлуке:
знаю наверно я: где бы ни был, будет тебе привет.

ПОДРАЖАНИЕ ЯНЬСКОЙ ПЕСНЕ

Ханьский дом в огне и в пыли
на северо-востоке,—
С домом простясь, на дерзких врагов
двинулись полководцы.
От века свойственно смелым мужам
жизнь проводить в походах,
Ибо Сын Неба смелых бойцов
жалует за отвагу.
Гонги гремят, барабаны бьют —
вот в Юйгуань спустились,
Грозно мелькают меж склонов Цзеши,
реют хоругви и стяги.
От полководца письмо с пером
перелетело Гоби,
Шаньюя огни озарили Ланшань
до самой ее вершины.
Рекам и скалам неведом предел —
тянутся к краю света,
Всадников хуских ярый напор
вихрю и ливню подобен.
Столько же вышло из боя живых,
сколько осталось мертвых.
Все еще длятся под сенью шатров
песни и пляски красавиц.
Сохнет трава на валу крепостном,
в пустыне кончается осень,
Ближе к закату — меньше бойцов
в крепости одинокой,
Но презирает недруга тот,
кто государем взыскан.
Силы защитников истощены,
но не сдаются заставы.
Трудно пришлось на чужой стороне
воинам в латах железных!

Яшмовым палочкам долго рыдать —
скоро ль конец разлуке?
Вот-вот все оборвется внутри
у жены молодой на юге...
Тщетно боец на севере, в Цзи,
силится дом увидеть:
Скрывает просторы бескрайние пыль —
как их пройти-измерить?
В них пустота, беспредельность в них —
что там еще найдется?
Три времени года убиты сейчас:
стал тучею дух-убийца,
Зимой на морозе всю ночь до утра
удары в котлы грохочут.
На белых клинках замерзает кровь
и хрупким инеем стала,
Но разве к лицу беззаветным бойцам
заботиться о награде?
Песчаного поля не видели вы,
не ведали ратных тягот —
А мы до сих пор еще помним Ли,
славного полководца!

ПРОВОЖАЮ ДУНА СТАРШЕГО

Желтые тучи на десять ли,
в сумерках белый день.
Северный ветер гонит гусей,
сыплется, вьется снег.
Брось горевать, что в свой дальний путь
едешь ты без друзей:
Есть ли под нашим небом такой,
кто бы не знал тебя!

ЛЮ ЧАН-ЦИН

СНОВА ПРОВОЖАЮ ПЭЯ ИЗ ШТАТА МИНИСТРА, ССЫЛАЕМОГО В ОБЛАСТЬ ЦЗИЧЖОУ

Вой обезьяны... Гости ушли... Вечер сейчас над цзяном.
Люди, конечно, ранены в сердце; воды, конечно, текут.
Вместе мы оба чиновники в ссылке,— вы еще дальше, чем я.
Синие горы на тысячи верст, и одна лишь лодка-сиротка.

ДУ ФУ

ПИШУ НАД ЖИЛИЩЕМ-СКИТОМ ГОСПОДИНА ЧЖАНА

В весенних горах мне спутника нет, один я тебя ищу.
Там дерево рубят: стук-стук да стук-стук, а горы еще безлюдней.
Ложе потока все еще в стуже, иду по снегу и льду.
От каменных входов наклонное солнце доходит до леса и взгорья.
Здесь жадничать нечего: ночью познаешь дух золота и серебра;
далеко от зла: здесь утром смотри лишь, как бродят олени и лани.
Подъем вдохновенья,— и в мрачной дали там сомненья: служить или нет;
сижу пред тобою, и кажется мне, что я плаваю в лодке пустой.

УСЕЧЕННЫЕ СТРОФЫ

Река бирюзова, и птица стала белее;
гора зеленеет, цветам захотелось гореть.
Я нынче весну смотрю, а она ведь проходит!
В какой же мне день настанет пора домой?

КАРТИНА, ИЗОБРАЖАЮЩАЯ СОКОЛА

С белого шелка вздымаются ветер и холод —
Так этот сокол искусной рукой нарисован,
Смотрит насупившись, словно дикарь невеселый,
Плечи приподнял — за птицей рвануться готов он.
Кажется, крикнешь, чтоб он полетел за добычей,
И отзовется тотчас же душа боевая.
Скоро ль он бросится в битву на полчище птичье,
Кровью и перьями ровную степь покрывая?

ПЕСНЬ О БОЕВЫХ КОЛЕСНИЦАХ

Боевые гремят колесницы,
Кони ржут и ступают несмело.
Людям трудно за ними тащиться
И нести свои луки и стрелы.
Плачут матери, жены и дети —
Им с родными расстаться не просто.
Пыль такая на белом на свете —

Что не видно сяньянского моста.
И солдат теребят за одежду,—
Все дрожат перед близостью битвы,—
Здесь Мольба потеряла Надежду.
Вознося в поднебесье молитвы.
И прохожий у края дороги
Только спросит: «Куда вы идете?»
Отвечают: «На долгие сроки,
Нет конца нашей страшной работе.
Вот юнец был: семье своей дорог,
Сторожил он на Севере реку,
А теперь, хоть ему уж за сорок,
Надо вновь воевать человеку.
Не повязан повязкой мужскою,—
Не успел и обряд совершиться,—
А вернулся с седой головою,
И опять его гонят к границе.
Стон стоит на просторах Китая —
А зачем императору надо
Жить, границы страны расширяя:
Мы и так не страна, а громада.
Неужели владыка не знает,
Что в обители ханьской державы
Не спасительный рис вырастает —
Вырастают лишь сорные травы.
Разве женщины могут и дети
Взять хозяйство крестьянское в руки?
Просто сил им не хватит на свете,
Хватит только страданья и муки.
Мы стоим, как солдаты, на страже
И в песках, и на горных вершинах...
Чем отличны баталии наши
От презренных боев петушиных?
Вот, почтенный, как речью прямою
Говорим мы от горькой досады...
Даже этой свирепой зимою
Отдохнуть не сумели солдаты.
Наши семьи сломила кручина —
Платят подати, платят налоги;
И уже не желаешь ты сына,
Чтоб родился для слез и тревоги.
Дочь родится, годна для работы,—
Может, жизнь ее ты и устроишь.
Ну, а сын подрастет — уж его-то

Молодого в могилу зароешь.
Побродил бы ты, как на погосте,
Вдоль нагих берегов Кукунора;
Там белеют солдатские кости —
Уберут их оттуда не скоро.
Плачут души погибших недавно,
Плачут души погибших когда-то.
И в ночи боевой и бесславной
Их отчетливо слышат солдаты».

СТИХИ В ПЯТЬСОТ СЛОВ О ТОМ, ЧТО У МЕНЯ БЫЛО НА ДУШЕ, КОГДА Я ИЗ СТОЛИЦЫ НАПРАВИЛСЯ В ФЭНСЯН

В Дулине человек в пеньковом платье,
Хоть постарел,— а недалек умом:
Как мог такую глупость совершать я,
Чтоб с Цзи и Се равнять себя тайком?
А просто во дворце я непригоден,
И надо мне безропотно уйти.
Умру — поймут, что о простом народе
Всегда я думал, до конца пути.
И сердца жар, бредя тропой земною,
Я отдавал народу всей душой.
Пусть господа смеются надо мною,
Но в громких песнях слышен голос мой.
Не то чтоб не хотел уйти от шума
И жить, не зная горя и тревог,—
Но с государем, что подобен Шуню,
Расстаться добровольно я не мог.
Не смею утверждать, что ныне нету
Людей, способных управлять страной,
Но как подсолнечник стремится к свету,
Так я стремился верным быть слугой.
Я думаю о стае муравьиной,
Что прячется в тиши спокойных нор.
А я хотел, как истинный мужчина,
На океанский вырваться простор.
Для этого и жить на свете стоит,
А не искать вниманья у вельмож.
Пусть пыль забвения меня покроет,
Но на льстецов не буду я похож.
Сюй-ю и Чао-фу не так страдали,
Стыжусь, а измениться не могу.

Вином пытаюсь разогнать печали
И песнями — гнетущую тоску.
Теперь зима, и листья облетели,
От ветра треснут, кажется, холмы.
Ночные небеса грозят метелью,
И я бреду среди угрюмой тьмы.
Окоченели пальцы — силы нету,
А пояс развязался, как на грех.
Но до Лишани доберусь к рассвету,
Где государь пирует без помех.
Колышутся знамена, как в столице,
В дозоре гвардия — на склонах гор.
Над Яочи горячий пар клубится,
И блеск оружья ослепляет взор.
Здесь государь проводит дни с гостями,
Я слышу — музыка звучит опять.
Те, кто в халатах с длинными кистями,
Купаться могут здесь и пировать.
Но шелк, сияющий в дворцовом зале,—
Плод женского бессонного труда.
Потом мужчин кнутами избивали —
И подати доставили сюда.
И если государь наш горделивый,
Тот дивный шелк сановникам даря,
Хотел, чтоб власти были справедливы,—
То не бросал ли он подарки зря?
Да, здесь чиновников полно повсюду,
А патриотам — не открыть сердца.
К тому ж я слышал: золотые блюда
Увезены из алого дворца.
И три небесных феи в тронном зале,
Окутав плечи нежной кисеей,
Под звуки флейт, исполненных печали,
С гостями веселятся день-деньской.
И супом из верблюжьего копыта
Здесь потчуют сановных стариков,
Вина и мяса слышен запах сытый,
А на дороге — кости мертвецов.
От роскоши до горя и бесправья —
Лишь шаг. И нет упрека тяжелей.
Я колесницу к северу направил,
Чтобы добраться к рекам Цин и Вэй.
Тяжелый лед на реках громоздится
Везде, куда ни взглянешь на пути.

Уж не с горы ль Кунтун он вдаль стремится,
Как бы грозя Небесный Столб снести?
Плавучий мост еще не сломан, к счастью,
Лишь балки неуверенно скрипят,
И путники сквозь ветер и ненастье
Скорее перейти его спешат.
Моей семьи давно уж нет со мною,
И снег и ветер разделили нас.
Я должен снова встретиться с семьею,
И вот ее увижу я сейчас.
Вхожу во двор — там стоны и рыданья:
От голода погиб сынишка мой.
И мне ль, отцу, скрывать свое страданье,
Когда соседи плачут за стеной?
И мне ль, отцу, не зарыдать от боли,
Что голод сына моего убил,
Когда все злаки созревали в поле,
А этот дом пустым и нищим был?
Всю жизнь я был свободен от налогов,
Меня не слали в воинский поход.
И если так горька моя дорога,
То как же бедствовал простой народ?
Когда о нем помыслю поневоле
И о солдатах, павших на войне,—
Предела нет моей жестокой боли,
Ее вовеки не измерить мне!

ЛУННАЯ НОЧЬ

Сегодняшней ночью в Фучжоу сияет луна.
Там, в спальне далекой, любуется ею жена.
По маленьким детям меня охватила тоска —
Они о Чанъани и думать не могут пока.
Легка, словно облако, ночью прическа жены,
И руки, как яшма, застыли в сиянье луны.
Когда же к окну подойдем мы в полуночный час
И в лунном сиянии высохнут слезы у нас?

ПОСВЯЩАЮ ВЭЙ БА, ЖИВУЩЕМУ НА ПОКОЕ

В жизни нашей редки были встречи,
Мы как Шан и Шэнь в кругу созвездий.
Но сегодняшний прекрасен вечер —

При свече сидим с тобою вместе.
Молодость ушла бродить по свету,
Головы у нас седыми стали.
Спросишь о друзьях — иных уж нету,
И душа сгорает от печали.
Нужно было два десятилетья,
Чтоб я вновь вошел в твои покои.
У тебя, гляжу, жена и дети,
И детей — не двое и не трое.
С уважением меня встречая,
О дороге спрашивают длинной.
Но, вопросы эти прерывая,
За вином ты посылаешь сына.
И велишь пырей нарезать свежий,
Рис варить, с пшеном его мешая,
И за то, чтоб быть в разлуке реже,
Пьем, за чаркой чарку осушая.
Десять чарок выпил — не хмелею,
Но я тронут дружбой неизменной...
Завтра ж нас разделят, к сожаленью,
Горных кряжей каменные стены.

ПРОЩАНИЕ БЕЗДОМНОГО

Как пусто все на родине моей:
Поля у хижин — в зарослях полыни.
В деревне нашей было сто семей,
А ныне нет их даже и в помине.
О тех, кто живы, не слыхать вестей,
Погибшие гниют на поле боя.
А я из пограничных областей
Сюда вернулся старою тропою.
По улице иду я в тишине,
Скупое солнце еле золотится.
И попадаются навстречу мне
Лишь барсуки да тощие лисицы.
В деревне нету никого нигде,
Одна вдова живет в лачуге нищей.
Но если птица помнит о гнезде,
То мне ль не помнить о своем жилище?
С мотыгой на плече весенним днем
Пошел я в поле наше за рекою,
Но разузнал чиновник обо всем —

И снова барабан не даст покоя.
Но хоть служу я там, где отчий край,
Кому на помощь протяну я руки?
Теперь куда угодно посылай:
Мне не придется думать о разлуке.
Нет у меня ни дома, ни семьи,
Готов служить и там, где мы служили.
Лишь мать печалит помыслы мои —
Пять лет она лежит в сырой могиле.
При жизни я не мог ей помогать:
Мы вместе плакали о нашей жизни.
А тот, кто потерял семью и мать,—
Что думает о матери-отчизне?

ВИЖУ ВО СНЕ ЛИ БО

Если б смерть разлучила нас — я бы смирился, поверь,
Но разлука живых для меня нестерпима теперь,
А Цзяннань — это место коварных и гиблых болот,
И оттуда изгнанник давно уже писем не шлет.
Закадычный мой друг, ты мне трижды являлся во сне,
Значит, ты еще жив, значит, думаешь ты обо мне.
Ну, а что, если это покойного друга душа
Прилетела сюда, в темноту моего шалаша?..
Прилетела она из болотистых южных равнин,
Улетит — и опять я останусь во мраке один.
Ты в сетях птицелова, где выхода, в сущности, нет.
Где могучие крылья не в силах расправить поэт.
Месяц тихим сияньем мое заливает крыльцо,
А мне кажется — это Ли Бо осветилось лицо.
Там, где волны бушуют, непрочные лодки губя,
Верю я, что драконы не смогут осилить тебя.

В ЕДИНЕНИИ С ПРИРОДОЙ

1 Скупое солнце дорожит лучом,
Речные струи — в водяной пыли.
Все отмели покрыты камышом,
От дома к дому тропки пролегли.
Халат я лишь накидываю свой
И Тао Цяню следую во всем.
Нет пред глазами суеты мирской,
Хоть болен я — а легок на подъем.

2 Встречаю я весеннюю зарю
Там, где цветы заполонили сад.
И с завистью теперь на птиц смотрю,
А людям отвечаю невпопад.
Читая книги, пью вино за двух,
Где трудно — пропущу иероглиф.
Старик отшельник — мой хороший друг —
Он знает, что я истинно ленив.

ЖАЛЬ

Зачем так скоро лепестки опали?
Хочу, чтобы помедлила весна.
Жаль радостей весенних и печалей,—
Увы, я прожил молодость сполна!
Мне выпить надо, чтоб забылась скука,
Чтоб чувства выразить — стихи нужны.
Меня бы понял Тао Цянь, как друга,
Но в разные века мы рождены.

СТИХИ О ТОМ, КАК ОСЕННИЙ ВЕТЕР РАЗЛОМАЛ КАМЫШОВУЮ КРЫШУ МОЕЙ ХИЖИНЫ

Осенний ветер дует все сильней,
Дела свои разбойничьи верша:
Он с тростниковой хижины моей
Сорвал четыре слоя камыша.
Часть крыши оказалась за рекой,
Рассыпавшись от тяжести своей.
Часть, поднятая ветром высоко,
Застряла на деревьях средь ветвей.
Остатки в пруд слетели, за плетень,
И крыша вся исчезла, словно дым.
Мальчишки из окрестных деревень
Глумятся над бессилием моим.
Они, как воры, среди бела дня
Охапки камыша уволокли
Куда-то в лес, подальше от меня,
Чем завершили подвиги свои.
Рот пересох мой, губы запеклись.
Я перестал на сорванцов кричать.
На стариковский посох опершись,
У своего окна стою опять.

Стих ветер   над просторами земли,
И тучи стали,   словно тушь, черны.
Весь небосклон   они заволокли,
Но в сумерках   почти что не видны.
Ложусь под одеяло   в тишине,
Да не согреет   старика оно:
Сынишка мой,   ворочаясь во сне,
Поистрепал его   давным-давно.
А дождь   не то чтобы шумит вдали —
Он просто   заливает мне кровать,
И струйки,   как волокна конопли,
Он тянет —   и не хочет перестать.
И так уж   обессилен я войной,
Бессонница   замучила меня,
Но эту ночь,   промокший и больной,
Как проведу   до завтрашнего дня?
О, если бы   такой построить дом,
Под крышею   громадною одной,
Чтоб миллионы комнат   были в нем
Для бедняков,   обиженных судьбой!
Чтоб не боялся   ветра и дождя
И, как гора,   был прочен и высок,
И если бы,   по жизни проходя,
Его я наяву   увидеть мог,
Тогда —   пусть мой развалится очаг,
Пусть я замерзну —   лишь бы было так.

ЗАПИСАЛ СВОИ МЫСЛИ ВО ВРЕМЯ ПУТЕШЕСТВИЯ НОЧЬЮ

В лодке с высокою мачтой   тихою ночью плыву я.
Гладя прибрежные травы,   легкий проносится ветер.
Мир заливая сияньем,   светит луна, торжествуя,
И над Великой рекою   воздух прозрачен и светел.
Если бы литература   мне помогла хоть немного:
Освободила от службы —   вечной погони за хлебом.
Ныне ж мое положенье   схоже своею тревогой
С чайкой, которая мечется   между землею и небом.

НЕ СПИТСЯ

В Цаньянском ущелье   вода черна.
Сменилась   ночная стража.
В таком тумане   плывет луна —

Порой не увидишь даже.
Увы! Не назначить желанный срок
Для старческих снов непрочных:
Ведь только во сне находить я мог
Свой Персиковый источник.

МНЕ СНИТСЯ ДНЕМ...

Стосковавшись по родному краю,
Забываюсь я тяжелым сном...
Я не только ночью засыпаю —
Сплю теперь я даже ясным днем.
От цветенья персиков, от зноя
Старые глаза мои хмельны.
Солнце пламенеет над землею —
А меня уже уносят сны.
Снится мне, что жизнь иною стала,
К дому нет тропы — куда ни глянь.
Торжествуют тигры и шакалы,
Ордами штурмуя Чжунъюань.
А проснувшись, думаю в тревоге:
Как войну бы кончить в этот год
И убрать чиновников с дороги,
Грабящих измученный народ.

НАПИСАНО В ЛОДКЕ В ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ХОЛОДНОЙ ПИЩИ

Себя я принуждаю пить вино
Из-за того, что пища холодна.
На мне — убор отшельника давно,
Вокруг меня — покой и тишина.
Плыву я тихо в лодке по реке,
А кажется, что пó небу плыву,
И старыми глазами вдалеке
Цветы я различаю и траву.
А бабочки танцуют танец свой
У занавески моего окна.
И белых птиц, слетевшихся гурьбой,
Уносит по течению волна.
За облака, за кручи темных гор
Гляжу я вдаль, за десять тысяч ли:
Хочу увидеть севера простор
Там, где Чанъань раскинулась вдали.

ГУ КУАН

СЛУШАЮ РОГ ГОРНИСТА, ДУМАЮ О ВОЗВРАЩЕНИИ ДОМОЙ

В саду моем милом желтые листья заполнили сизый мох.
Только проснулся, за стеной услышал утренний плач рожка.
Этою ночью, мне рвущею душу, мне не видать человека.
Встану, пойду в остатней луне, и, качаясь, шагает тень.

ДАЙ ШУ-ЛУНЬ

НОЧЬЮ ВЫЕЗЖАЮ ИЗ РЕКИ ЮАНЬ И ПИШУ ЭТИ СТРОКИ ЛИ ИЗ ИНЧУАНЬ И ЧИНУ ИЗ ШТАТА МИНИСТЕРСТВА ЛЮ

В полночь ладью поворачиваю, въезжаю в Чускую землю.
Светит луна; и горы и воды сине-зелеными стали.
Одна обезьяна вдруг вскрикнет средь ночи в порывах осеннего ветра,
И даже тому, кто совсем не грустит, она оборвет нутро.

ВЭЙ ИН-У

ПОДНЯЛСЯ НА БАШНЮ

Ван Цину

Дома ли бродим, гуляем ли в роще —
хочется быть нам вдвоем.
В тучах над Чу и над морем лазурным
каждый в тоске о другом.
Несколько прачек белье выбивают
возле осенней горы,
Наша округа, заросшая терном,
вся под холодным дождем.

ДАОСУ-ОТШЕЛЬНИКУ В ГОРАХ ЦЮАНЬЦЗЯО

Нынешним утром холод в моем кабинете,—
Вспомнил я горы, друг там живет дорогой.
Хворост колючий он собирает в ущелье,
Белые камни варит, вернувшись домой.
Как бы хотел я, кубок с вином поднимая,

Друга утешить в вечер ненастный, сырой.
Горы пустые все в опадающих листьях,
Как же найти мне след затерявшийся твой?

ГОРНАЯ РЕЧКА К ЗАПАДУ ОТ ЧУЧЖОУ

Как люблю я ростки этой нежной травы —
по ущелью пробилась она.
И еще я люблю, когда в чаще лесной
песня иволги желтой слышна.
В половодье весеннее дождь начался
и под вечер сильнее шумит,
На заброшенном броде не видно людей,
лишь колышется лодка одна.

МЭН ЦЗЯО

НА ДРЕВНИЙ МОТИВ РАЗЛУКИ

Готова расстаться... Тяну тебя, милый, за платье...
Нынче ты, милый, едешь в какие края?
Не упрекну я, если вернешься ты поздно:
Только не езди в этот, ты знаешь, Линьцюн.

ПУТНИК

У матери нежной иголка и нитка в руках:
Готовится путник одеться в дорожный халат.
Чем ближе к прощанью, тем чаще и чаще стежки,
И страшно: домой он не скоро, не скоро придет...
Кто может ручаться, что малой травинки душа
Всей мерой отплатит за теплую ласку весны!

ЖЕНСКОЕ ЦЕЛОМУДРИЕ

Вместе прихода старости
ждут деревья утун,
Вдвоем проживут и скончаются
уточки юань-ян.
Память мужа погибшего
чистой жене дорога —

Им подобно, расстанется
с жизнью земной она.
Сердце супруги верное
не возмутимо ничем —
Влаге в глубоком колодезе
подобно сердце ее.

ЧЖАН ЦЗИ

СВИРЕПЫЕ ТИГРЫ

Что юг, что север — везде в горах
под лиственным сводом — тьма;
Свирепые тигры средь бела дня
бродят вокруг села.
К вечеру жертву свою они
пожирают у всех на глазах;
Что юг, что север — в горах везде
олени боятся дышать.
В долине голой из года в год
все больше и больше тигрят;
Тигр с тигрицей выходят врозь,
будто не муж и жена.
В долине вблизи от логова их —
село на склоне холма;
Свирепые тигры из года в год
крадут у крестьян телят.
Даже улинские молодцы
не смеют в тигров стрелять;
Напрасно в рощу входят они
и на следы глядят.

ПЕСНЯ ЧЕСТНОЙ ЖЕНЩИНЫ

Вы понимаете, что я служанка мужа,
А преподносите две светлые жемчужины.
Глубоко тронута великой вашей страстью
И вашим жемчугом украшу платье красное.
Мой дом возвысился над деревами парка,
Мой муж с копьем стоит у трона императора.
Хоть ваша искренность луны и солнца ярче,
Но с мужем в жизни я и в смерти быть обязана.
Я возвращаю вам в слезах ваш жемчуг чудный,—
Жаль, мы не встретились до моего замужества.

ДРУГУ, ПРОПАВШЕМУ БЕЗ ВЕСТИ В ТИБЕТЕ

В позапрошлом году   ты стоял в юэчжийской твердыне.
Только вышли за стены,   как было разгромлено войско.
Из Тибета сюда   с той поры не приходит известий.
Ты живой или мертвый,   но наша разлука — надолго.
В опустелый шатер   никогда не войдет полководец.
Конь вернулся без всадника.   Знамя изорвано в клочья.
Может, ты еще жив?   Возлагаю с надеждою жертвы.
На дорогу гляжу   и не вижу дороги от слез.

НОЧУЮ В ДОМЕ РЫБАКА

Дом рыбака   расположен у устья реки.
Волны прилива   вбегают во двор за плетень.
Гостю проезжему   надо здесь ночь провести,
Только хозяин   еще не вернулся домой.
Гуще бамбук,—   потемнела дорога в село.
Вышла луна,—   стало меньше рыбачьих челнов.
Вижу — вдали   он на берег песчаный ступил.
Ветер весенний   играет плащом травяным.

ХАНЬ ЮЙ

ГОРЫ И КАМНИ

Неровны щербатые камни,
    едва заметна тропа.
Пришел я в сумерки к храму,
    летают нетопыри.
Я в зале сел на ступени,
    влажные от дождя.
Огромны бананов листья,
    пышен гардений цвет.
Монах мне сказал: на стенах
    буддийские росписи есть.
Принес огня посветить мне,—
    отменное мастерство!
Циновку встряхнул для ложа,
    похлебкою угостил;
Мне пищи простой довольно,
    чтоб голод мой утолить.

Все тихо, лежу спокойно,
    не слышен стрекот цикад.
Встал чистый месяц над кряжем,
    сияние входит в дверь...
Светает. Иду на воздух.
    Нигде не видно дорог.
Блуждаю кругом бесцельно,
    лишь дым и туман окрест.
В сиянье алеют горы,
    лазурью блещут ручьи,
И вижу: в десять обхватов
    и сосны здесь и дубы.
На камни ручья спокойно
    ступаю босой ногой;
Журчит вода, убегая,
    мне ветер треплет халат.
При жизни такой нетрудно
    возрадоваться всему —
Зачем же сидеть непременно
    на привязи у других!
В одном желанье признáюсь
    моим немногим друзьям:
Хочу до старости жить здесь,
    отсюда не уходить!

В ПЯТНАДЦАТЫЙ ДЕНЬ ВОСЬМОЙ ЛУНЫ ДАРЮ ЧЖАН ГУН-ЦАО

Облака подвернуты кругом,
    нет Реки среди небес,
Чистый ветер дует в пустоте,
    сгладил волны свет луны.
Спит вода, спят ровные пески,
    образов и звуков нет.
Пьем с тобой из кубка одного —
    спой мне что-нибудь, прошу.
Ты поешь — с кислинкою напев,
    а слова твои горьки;
Не могу дослушать до конца —
    слезы льются, словно дождь.
«С небесами высота Цзюю̀
    сводит озеро Дунтин,
Всплыл дракон и снова в глубь нырнул,
    слышны крики обезьян.

Десять жизней, девять в них смертей —
вот как выслужил я чин.
А теперь один в глуши живу,
точно скрывшийся беглец.
Покидая ложе, змей боюсь
и отравы жду в еде.
Воздух моря увлажнил червей,
мяса, крови смрад вокруг.
Пред ямынем барабан большой
бил торжественно вчера:
Новый государь у нас теперь,
Гао будет вознесен.
За день о прощении указ
десять тысяч ли прошел,
Всем, кто к казни был приговорен,
жизнь дарована была;
Возвращают ссыльных, служба ждет
всех, кто отрешен от дел,
Будет смыта грязь, сметен порок,
стихнут козни во дворце.
В списки некий чин меня вписал —
имя вымарал другой,
Не везло мне — только удалось
к варварам забраться в Цзинь.
Что судебный исполнитель? Тля!
Если жалобу подам,
То накажут палками меня
да затопчут в пыль и в грязь.
А из тех, кто начинал со мной,
в гору многие пошли...
Тяжко подыматься в высоту
по Небесному пути».
Ты окончил песню, а теперь
слушай то, что я спою,
Подарю тебе я песнь мою,
столь несхожую с твоей:
«Ночью ныне ярок лунный свет —
хватит и на целый год,
Жизнь стремится по стезе судьбы,
и другого нет пути.
Если есть вино, а ты не пьешь,
то зачем луне светить?»

ПОСЕТИВ ХРАМЫ ХЭНЪЮЭ И ПЕРЕНОЧЕВАВ В ХРАМЕ НА ВЕРШИНЕ ГОРЫ, ОСТАВЛЯЮ НАДПИСЬ НА НАДВРАТНОМ ПАВИЛЬОНЕ

Пять гор по уставу обрядов
    стоят, как гордые гуны,
Четыре горы — что стражи,
    и высится Сун в середине.
Земля на Хэнъюэ пустынна,
    немало чудес там встретишь:
Там небо горам дарует
    волшебную власть и силу.
Росою и облаками
    горы половина сокрыта,
Хоть есть у нее вершина,
    кто в силах ее достигнуть?
Туда я как раз приехал
    во время осенних ливней.
Дух инь был угрюм и темен,
    и чистый ветер не веял;
Вознес я моленье сердцем,
    от суеты отрешенным,—
Или неверно, что к Небу
    взнесется праведный голос?
Лишь миг — и туман растаял,
    и гор вершины открылись;
Взглянул я вверх: как огромен
    простор пустоты лазурной!
Цзыгай протянулась далеко,
    пока Тяньчжу не коснулась,
Шилинь обрушилась, прянув,
    и на Чжуюн навалилась.
И вдруг душа взволновалась,
    я спешился поклониться,
Меж сосен и кипарисов
    спешу во дворец чудесный.
Колонны алые ярки,
    светятся белые стены,
Ало-сини картины
    и поклоненья предметы.
Всхожу, в поклоне сгибаясь,
    вручаю вино и мясо,—
Пусть эти дары ничтожны,
    но искренность несомненна!

Старик премудрый во храме
    желания духов знает,
Бесхитростен он и весел,
    любезен к духам и гостю;
Гадательные таблички
    раскинуть мне предлагает
И говорит, что выпал
    мне самый счастливый жребий.
Я изгнан, как крыса, в пустыню,
    но, к счастью, еще не умер,
Еды бы малость, одежды —
    и здесь до смерти останусь.
Не буду вовек я князем,
    сановником, полководцем —
И даже духи едва ли
    доставить мне счастье могут.
Ночую в буддийском храме,
    всхожу на высокую башню —
Светлы облака, и в небе
    луны и звезд переливы.
Кричат обезьяны в роще,
    мне слышен звон колокольный,
Холодное белое солнце
    рождается на востоке.

ПЕСНЬ О КАМЕННЫХ БАРАБАНАХ

Список надписей с барабанов
    мне доставил почтенный Чжан
И о каменных барабанах
    попросил меня песнь сложить.
С нами больше нет Шао-лина
    и Отшельник Ссыльный почил —
Где уж каменные барабаны
    недостойному воспевать!
Когда чжоуский престол пошатнулся,
    к потрясению всей страны,
Сюань-ван воспрянул во гневе,
    и взмахнул небесным копьем,
И в престольной палате принял
    поздравленья князей и вельмож —
А у них мечи и подвески,
    мерно стукаясь, пели в лад,

И пошла большая охота
    на полуденном склоне Ци,
И на тысячи ли в округе
    не спаслись ни птица, ни зверь.
Государь про ловитву надпись
    повелел на камне иссечь,—
Барабаны творя из камня,
    обтесали глыбы тогда.
Все, кто послан был, отличались
    дарованьем и мастерством,
Подобрали слова усердно
    и на склонах оставили их.
Ливень лил, и палило солнце,
    и пылал свирепый огонь,
Существа чудесные зорко
    их блюли, творя волшебство...
О, скажите, где вы сумели
    этот дивный список достать?
Ни ошибок нет, ни описок,
    четко виден любой волосок;
Слог отборен, но смысл глубокий
    нелегко при чтенье постичь,
Начертанье письмен не схоже
    ни с лишу и ни с кэдоувэнь.
Неужели можно избегнуть
    искажений за столько лет?
Крокодила живого разом
    меч стремительный разрубил.
Феникс ввысь воспарил с луанем,
    все отшельники сходят с гор,
У лазурного древа с кораллом
    цепко ветви переплелись,
Связь крепка золотых веревок
    и железных жестких шнуров,
Буен пляс треножников древних,
    и взлетает, клубясь, дракон...
Но вниманьем мелких ученых
    эти надписи обделены,
Широты не хватает, право,
    в Одах малых, в Одах больших.
Устремясь на запад, Конфуций
    не сумел добраться до Цинь;
Взял он звезды и взял планеты,
    но оставил и Си и Э.

Почему, так любящий древность,
    был я слишком поздно рожден?
Я о том проливаю слезы,
    бурно льются они из глаз.
Вспоминаю: будучи юным,
    получил я званье боши —
Заменили девиз правленья
    той порою на Юаньхэ.
В то же время в Юфу образцово
    друг мой службу ратную нес,
И со мной предложил он вместе
    головастиков ямы разрыть.
Вымыл шапку, свершил омовенье
    и начальнику доложил:
«Драгоценных таких сокровищ
    разве много дошло до нас?
Завернем их в циновки, в войлок,
    и нетрудно доставить их;
Барабанов числом десяток,
    их верблюды в силах везти,—
И войдут, Гао-дину подобны,
    барабаны в верховный храм.
Разве меньше будет их ценность,
    коль стократно их восхвалять?
Если в Высшей школе оставить
    барабаны эти велит
Совершенномудрая милость,
    разберутся ученые в них,—
Вход заполнили те, что каноны
    в Лебедином учат Дворе.
Вы увидите: все государство
    к ним нахлынет, словно прилив.
Надо будет с них грязь отчистить,
    плесень смыть, и мох соскоблить,
И, наклона не допуская,
    прямо-прямо поставить их.
Осенить их большою крышей,
    стены прочные возвести —
Эти древности и в грядущем
    от несчастий должно беречь».
Но погрязли в наветах и козиях
    все сановники при дворе
И моим словам не внимали,
    околичности говоря.

Пастушата огонь высекают,
в поле буйволы точат рога,—
Кто бы ласкою их приветил,
кто погладил бы их теперь?
Солнце рушит их, луна плавит,
лягут в землю — и пропадут!
Год седьмой, обратясь на запад,
я вздыхаю, а толку нет.
Красоты полна несказанной
даже скоропись у Си-чжи,
Коль отдашь немного бумажек,
то твоим будет белый гусь.
После Чжоу было восемь династий,
и усобицы прекращены,
Барабаны же ныне в забросе —
но возможно ль о них забыть?
Много дней не приходят смуты,
и царит великий покой,
Власти ныне весьма учены,
ими чтимы и Кун и Мэн,—
Если б тем, что здесь написал я,
мне внимание их привлечь!
Пусть уста рассуждают плавно,
как подвешенная река!
Песнь о каменных барабанах
завершаю на этих словах —
Но, увы, я над ней, наверно,
лишь напрасно время терял!

ЛЮ ЦЗУН-ЮАНЬ

РАННЯЯ ВЕСНА В ЛИНЛИНЕ

Спрошу весну — о том, когда она
Направится отсюда в Циньюань,
Чтоб с ней послать мои о доме сны.
Пусть хоть они войдут в родной мне сад.

ВЪЕЗЖАЯ В ХУАНЦИ, СЛУШАЮ ОБЕЗЬЯН

Путь проходит водою, извиваясь, тысячи ли,
Да еще обезьяны где-то так тоскливо кричат.
Но опальный чиновник свои слезы выплакал все,
И его не встревожит обрывающий сердце крик.

СНЕГ НАД РЕКОЙ

Вздымается тысяча гор —
а птицы над ними летать перестали,
Лежат десять тысяч дорог —
но только следов на них больше не видно,
Лишь в лодочке старый рыбак
в бамбуковой шляпе, в плаще из соломы
Согнулся, закинув крючок,
а снег все идет, и река холодеет.

СТАРЫЙ РЫБАК

С ночи на западный темный утес
старый рыбак взошел,
Сянской воды на рассвете набрал,
чуский бамбук зажег.
Дым разлетелся, вот и заря,
нет ни души кругом,
Зелены горы и воды, в тиши
только уключин скрип.
Вижу, что к середине реки
снизился неба край,
А над утесом резво летят
легкие облака.

УТРОМ В ХРАМЕ НАСТАВНИКА ЧЖАО ЧИТАЮ БУДДИЙСКУЮ СУТРУ

Рот полощу водой колодца, и холодно зубам.
Очищен разум, чисто сердце, с халата пыль стряхнул.
В руках сжимаю праздно книгу из пальмовых листов,
Восточный павильон покинул, читаю нараспев.
Источник истинный навеки от разума сокрыт,
По следу ложному так часто стремятся в наши дни.
Словам оставленным, надеюсь, нас просветить дано;
Добросердечье очень редко, и как созреть ему?
Даосский дворик тих и мирен, ни шороха кругом,
Сливается с глухим бамбуком темно-зеленый мох.
Восходит солнце, и от влаги тумана и росы
Как будто залил зелень сосен густой, блестящий лак.
Во мне все тает, растворилось, и трудно говорить...
Со мною радость просветленья — что надо мне еще?

У РУЧЬЯ

Я долго был связан с людьми, носящими шпильки,
Но, к счастью, сослан к южным варварам был.
Я празден, соседи мои — огородник да пахарь,
Порой я похож на гостя гор и лесов.
Я утром пашу — и трава в росе шевелится,
Бью ночью багром — и камни в ручье звенят.
Слоняюсь бесцельно, людей на пути не встречая,
И чуского неба лазурь протяжно пою.

БО ЦЗЮЙ-И

Я ОСТАНОВИЛСЯ НА НОЧЬ В ДЕРЕВНЕ НА СЕВЕРНОМ СКЛОНЕ ГОРЫ ЦЗЫГЭ

С утра я бродил по склонам горы Цзыгэ,
А вечером спать к подножью в деревню сошел.
В деревне старик встретил радушно меня.
Он для меня открыл непочатый кувшин.
Мы подняли чарки, еще не пригубили их,
Свирепой толпой наемники в дом ворвались.
В лиловой одежде. Топор или нож в руке.
Их сразу набилось больше десяти человек.
Схватили они с циновки все наше вино,
И взяли они с блюда всю нашу еду.
Хозяину дома осталось в сторонку встать
И руки сложить, как будто он робкий гость.
В саду у него было дерево редкой красы,
Что он посадил тридцать весен тому назад.
Хозяину дома жалко стало до слез,
Когда топором под корень рубили ствол...
Они говорят, что им велено строить дворец.
Они берегут государев священный покой!
Хозяину дома разумней всего молчать:
Начальник охраны в большой при дворе чести.

СПРАШИВАЮ У ДРУГА

Посадил орхидею, но полыни я не сажал.
Родилась орхидея, рядом с ней родилась полынь.
Неокрепшие корни так сплелись, что вместе растут.
Вот и стебли и листья появились уже на свет.

И душистые стебли,   и пахучей травы листы
С каждым днем, с каждой ночью   набираются больше сил.
Мне бы выполоть зелье,—   орхидею боюсь задеть.
Мне б полить орхидею,—   напоить я боюсь полынь.
Так мою орхидею   не могу я полить водой.
Так траву эту злую   не могу я выдернуть вон.
Я в раздумье: мне трудно   одному решенье найти.
Ты не знаешь ли, друг мой,   как в несчастье моем мне быть?

В ЖЕСТОКУЮ СТУЖУ В ДЕРЕВНЕ

В год восьмой,   в двенадцатый, зимний, месяц,
В пятый день   сыплет и сыплет снег.
Кипарис и бамбук   замерзают в садах и рощах.
Как же вытерпят стужу   те, кто раздет и бос?
Обернулся, гляжу —   в этой маленькой деревеньке
На каждый десяток   восемь-девять дворов в нужде.
А северный ветер,   как меч боевой, отточен,
И ни холст, ни вата   не прикроют озябших тел.
Только греются тем,   что жгут в лачугах репейник
И печально сидят   всю ночь, дожидаясь дня.
Кто же не знает,   что в год, когда стужа злее,
У бедного пахаря   больше всего невзгод.
А взгляну на себя —   я в это самое время
В домике тихом   затворяю наглухо дверь.
Толстым халатом   накрываю шелк одеяла.
Сяду ли, лягу —   вволю теплом согрет.
К счастью, меня   миновали мороз и голод.
Мне также неведом   на пашне тяжелый труд.
Но вспомню о тех,   и мне становится стыдно:
Могу ль я ответить —   за что я счастливей их?

Я СШИЛ СЕБЕ ТЕПЛЫЙ ХАЛАТ

Холст из Гуэй   бел, точно свежий снег.
Вата из У   нежнее, чем облака.
И холст тяжелый,   и ваты взят толстый слой.
Сшили халат мне —   вот уж где теплота!
Утром надену —   и так сижу дотемна.
Ночью накроюсь —   спокойно сплю до утра.
Я позабыл   о зимних морозных днях:
Тело мое   всегда в весеннем тепле.
Но как-то средь ночи   меня испугала мысль.

Халат я нащупал, встал и заснуть не мог:
Достойного мужа заботит счастье других.
Разве он может любить одного себя?
Как бы добыть мне халат в десять тысяч ли,
Такой, чтоб укутать люд всех четырех сторон.
Тепло и покойно было бы всем, как мне,
Под нашим бы небом не мерз ни один бедняк!

НАВЕЩАЮ СТАРОЕ ЖИЛИЩЕ ПОЧТЕННОГО ТАО

Я с давних пор люблю Тао Юань-мина. В прежние годы, когда я не был занят службой и жил на реке Вэй, я написал шестнадцать стихотворений в подражание Тао. Теперь, посетив Лушань, побывав в Чайсане и в Лили, думая об этом человеке и навестив его жилище, я не могу молчать и снова пишу стихи.

Самой страшною грязью осквернить невозможно нефрит.
Фэн, волшебная птица, пищи, салом смердящей, не ест...
О «спокойный и чистый», нас покинувший Тао Цзин-цзе,
Жизнь твоя охватила гибель Цзинь и восшествие Сун.
Глубоко в своем сердце ты хранил благородную мысль,
О которой устами людям прямо поведать не мог.
Но всегда поминал ты сыновей государя Гучжу,
Что, одежду очистив, стали жить на горе Шоуян.
Бо и Шу, эти братья, оказались на свете одни,
И мучительный голод их поэтому и не страшил.
У тебя ж, господин мой, в доме выросло пять сыновей,
И они разделяли нищету и несчастья с тобой;
И в семье твоей бедной никогда не хватало еды,
И на теле носил ты весь в заплатах потертый халат.
Ко двору приглашали, но и там ты служить не хотел.
Вот кого мы по праву настоящим зовем мудрецом!
Я на свет появился, государь мой, намного поздней:
Пролегли между нами пять столетий, пять долгих веков,
Но когда я читаю «Жизнь под сенью пяти твоих ив»,
Я живым тебя вижу и почтительно внемлю тебе.
Как-то в прежнее время, воспевая заветы твои,
«В подражание Тао» сочинил я шестнадцать стихов.
Наконец я сегодня навещаю жилище твое,
И мне кажется, будто и сейчас ты находишься в нем...
Не за то ты мне дорог, что любил, когда в чаше вино,
Не за то ты мне дорог, что на цине бесструнном играл.
То всего мне дороже, что, корыстную славу презрев,
Ты на старости умер среди этих холмов и садов!

А Чайсан, как и прежде,— с деревенькой старинной, глухой.
А Лили, как и раньше,— под горою, у той же реки.
Я уже не увидел под оградой твоих хризантем,
Но еще задержался в деревнях расстилавшийся дым.
О сынах и о внуках мир хотя не узнал ничего,
Но доныне потомки с мест, обжитых тобой, не ушли;
И когда я встречаю с добрым именем Тао людей,
Снова каждая встреча расставаньем пугает меня!

ЛУНА НА ЧУЖБИНЕ

Гость недавно пришел из Цзяннани к нам.
В ночь прихода месяц рождался вновь.
В странах дальних, где путник долго бродил,
Трижды видел он чистый и светлый круг.
Утром вслед за ущербной луною шел,
Ночью рядом с новым месяцем спал.
Чьи это сказки, что нет у луны души?
Тысячи ли разделяла невзгоды с ним!
Утром встанет на мост над рекою Вэй,
Ночью выйдет на старый Чанъаньский путь.
Разве скажешь, еще у кого в гостях
Этой ночью будет светить луна?

МОЙ ВЗДОХ ПРИ ВЗГЛЯДЕ НА ГОРУ СУН И РЕКУ ЛО

Наконец-то сегодня Сун и Ло у меня пред глазами:
Я назад обернулся и вздыхаю о тяготах мира,
Где цветенье и слава преходящи, как быстрые воды,
Где печали и беды поднимаются выше, чем горы.
Только горе изведав, знаешь радости полную цену,
После суетной жизни станет милым блаженство покоя.
Никогда не слыхал я, чтобы птица, сидевшая в клетке,
Улетев на свободу, захотела вернуться обратно.

После того, как впервые расстался с Юанем Девятым, вдруг увидел его во сне, а когда проснулся, получил от него письмо вместе со стихотворением о цветах туна. Растроганный и взволнованный, посылаю ему эти стихи.

В Чанъани мы в храме Юншоу с тобой говорили
И в северной части Синьчана с тобой расстались.
Домой я вернулся и лил безутешные слезы,

Скорбя о несчастье, не просто Юаня жалея.
В далекие дали ведет за Ланьтянем дорога.
С тех пор, как уехал, о нем ничего не известно.
А я все считаю привалы его и ночлеги:
Уже он, должно быть, за северным склоном Шаншаня...
Вчерашнею ночью на небе рассеялись тучи
И все расстоянья одною луной озарились.
С приходом рассвета во сне я увидел Юаня.
Он тоже, конечно, не мог об мне не подумать.
В моем сновиденье я крепко сжал руку Юаню.
Спросил у Юаня: «Скажи мне, о чем твои мысли?»
Юань мне ответил: «Я с болью тебя вспоминаю.
И нет человека, который письмо передал бы»...
От сна пробудился, еще и не вымолвил слова,
Как в дверь застучали — дун-дун — и послышались крики.
И мне доложили — мол, прибыл гонец из Шанчжоу,
Привез господину письмо и вручить его должен.
Подушку покинул и сразу в волненье поднялся.
Не глядя, поспешно набросил на тело одежду.
Письмо я вскрываю и вижу — знакомой рукою
Ко мне на бумаге тринадцать начертано строчек.
В начале он пишет о тягостном горе изгнанья,
Затем переходит к тяжелой печали разлуки.
Те горе с печалью так неисчерпаемы сами,
Что не было места для вежливых слов о погоде.
Читаю: писалось письмо это в полночь глухую
Во время ночлега в пути на востоке Шанчжоу.
И лишь для Юаня горел сиротою светильник
В Янчэне, в какой-то дорожной гостинице горной.
Глубокою ночью, когда завершал он посланье,
Луна над горами все больше клонилась на запад.
И дерево встало вдруг перед глазами Юаня,
Луну заслонили цветы темно-красного туна.
А тун, как известно, когда отцветать начинает,
Считается это тоскою о друге любимом.
В знак нежности пишет он на обороте посланья
И мне посвящает «Цветы темно-красного туна».
Лишь восемь созвучий в «Цветах темно-красного туна»,
Но, ах, как глубоки в них мысли и чувства Юаня!
Они всколыхнули мой сон на рассвете сегодня
И соединили с тоскою Юаня той ночью...
Я стихотворенье без устали трижды читаю,

Строку за строкою   раз десять пою с наслажденьем.
Мне так драгоценны   все восемьдесят этих знаков,
Что каждое слово   как чистого золота слиток.

ИЗ «ЦИНЬСКИХ НАПЕВОВ»

ПЕСНИ И ПЛЯСКИ

К Циньской столице   приблизился вечер года.
Снегом глубоким   укрыт государев город.
В снежную мглу   вышли из зал дворцовых
В лиловом и красном   вельможи — гуны и хоу.
Для знатного есть   в ветре и в снеге радость.
Богатый не знает,   как стужа и голод тяжки.
В думах у них —   устроить свои хоромы.
Желанье одно —   безделье делить с друзьями.
У красных ворот   верхом и в колясках гости.
При ярых свечах   песни и пляски в доме.
Упившись вином,   теснее они садятся.
Пьяным тепло —   снимают тяжелое платье.
Блюститель законов   сегодня хозяин пира.
Тюремный начальник   среди приглашенных первый.
Средь белого дня   они за вином смеются
И ночью глубокой   прервать веселье не могут...
Что им до того,   что где-то в тюрьме в Вэньсяне
Лежат на земле   замерзших узников трупы!

ИЗ «НОВЫХ НАРОДНЫХ ПЕСЕН»

ДУЛИНСКИЙ СТАРИК

СТРАДАНИЯ КРЕСТЬЯНИНА

Дулинский старик, крестьянин,
  живет за столицей в деревне.
Он нынче засеял тощее поле
  площадью больше цина.
В третий месяц дождь не пролился,
  поднялся засушливый ветер.
Всходы пшеницы не покрылись цветами,
  много их, пожелтев, погибло.
В девятый месяц пал белый иней,
  поторопился осенний холод.
Колосья зерном не успели налиться —
  все они, не созрев, засохли.

Старший сборщик все это знает,
　　но не просит снизить поборы.
За податью рыщет, налоги тянет,
　　чтоб видали его старанье.
Заложены туты, продано поле,
　　внесена тяжелая подать.
Ну, а дальше — одежду и пищу
　　где найдет разоренный крестьянин?
«С наших тел
　　сдирают последний лоскут!
Из наших ртов
　　вырывают последний кусок!
Терзают людей, отбирают добро
　　шакалы и злые волки!
Почему эти крючья-когти, почему эти пилы-зубы
　　пожирают людское мясо?»
И все же какой-то человек нашелся,
　　доложил обо всем государю.
В душе государя состраданье и жалость —
　　он узнал о муках народа.
На листе казенной белой бумаги
　　начертал он ответ свой добрый:
«В столичной округе вносить не надо
　　никому в этот год налоги».
И уже вчера деревенский чиновник
　　от ворот подходил к воротам
И, держа в руках указ государя,
　　объявлял деревенским людям.
Но на каждые десять дворов в деревне
　　с девяти уже все взыскали.
Ни к чему теперь для них оказалась
　　господина нашего милость!

ВЕЧНАЯ ПЕЧАЛЬ

Был один государь. Он, красавиц любя,
　　«покорявшую страны» искал.
Но за долгие годы земле его Хань
　　не явилась подобная вновь...
Вот и девочке Янов приходит пора
　　встретить раннюю юность свою.
В глуби женских покоев растили дитя,
　　от нескромного взора укрыв.

Красоту, что получена в дар от небес,
разве можно навек запереть?
И однажды избрали прелестную Ян
самому государю служить.
Кинет взгляд, улыбнется — и сразу пленит
обаяньем родившихся чар,
И с дворцовых красавиц румяна и тушь
словно снимет движеньем одним.
Раз прохладой весенней ей выпала честь
искупаться в дворце Хуацин,
Где источника теплого струи, скользя,
омывали ее белизну.
Опершись на прислужниц, она поднялась, —
о, бессильная нежность сама!
И тогда-то впервые пролился над ней
государевых милостей дождь.
Эти тучи волос, эти краски ланит
и дрожащий убор золотой...
За фужуновым пологом в жаркой тиши
провели ту весеннюю ночь.
Но, увы, быстротечна весенняя ночь, —
в ясный полдень проснулись они.
С той поры государь для вершения дел
перестал по утрам выходить.
То с любимым вдвоем, то при нем на пирах,
от забот не уйдет ни на миг,
И в весенней прогулке всегда она с ним,
и ночами хранит его сон.
Их три тысячи — девушек редкой красы —
было в дальних дворцах у него,
Только ласки, что им предназначены всем,
он дарил безраздельно одной.
В золотой она спальне украсит себя —
с нею, нежной, пленительней ночь.
А в нефритовой башне утихнут пиры —
с нею, пьяной, милее весна.
Многочисленным сестрам и братьям ее
во владение земли он дал,
И завидного счастья немеркнущий свет
озарил их родительский дом.
И уже это счастье под небом у нас
для отцов с матерями пример:
Их не радует больше родившийся сын,
все надежды приносит им дочь...

Высоко вознесенный Лишаньский дворец
упирался в небесную синь.
Неземные напевы, с ветрами летя,
достигали пределов страны.
Песни тихий напев, танца плавный полет,
шелк струны и свирели бамбук...
Целый день государь неотрывно глядел,
на нее наглядеться не мог...
Загремел барабана юйянского гром,
затряслась под ногами земля.
Смолк, изорван, «Из радуги яркий наряд,
из сверкающих перьев убор».
Девять врат во дворцы государя вели,
дым и пыль их закрыли от глаз.
Это тысячи всадников и колесниц
держат путь в юго-западный край.
Шевелятся драконы расшитых знамен,—
и идут. И на месте стоят.
От столицы на запад они отошли
за сто ли. И недвижны опять.
Непреклонны войска. Но чего они ждут,
что заставит в поход их пойти?
Брови-бабочки — этого ждали они —
наконец перед ними мертвы!
Наземь брошен цветной драгоценный убор,
не украсит ее никогда
Перьев блеск изумрудный, и золото птиц,
и прозрачного гребня нефрит.
Рукавом заслоняет лицо государь,
сам бессильный от смерти спасти.
Обернулся, и хлынули слезы и кровь
из его исстрадавшихся глаз...
Разнося над селеньями желтую пыль,
вечный ветер свистит и шумит.
Там мосты и тропинки, кружа в облаках,
ввысь ведут до вершины Цзяньгэ.
Под горою Эмэй, там, в долине пустой,
проходящих не видно людей.
Боевые знамена утратили блеск,
и тусклее там солнечный свет.
Край тот Шу — с бирюзовыми водами рек
и вершинами синими гор.
Мудрый наш властелин там в изгнанье ни днем
и ни ночью покоя не знал.

Бередящее душу сиянье луны
видел он в отдаленном дворце.
Все внутри обрывающий звон бубенцов
слышал он сквозь ночные дожди...
С небесами земля совершила свой круг.
Возвращался Дракон-государь.
Подъезжая к Мавэю, поник головой
и невольно коня придержал.
Здесь, в Мавэе, под памятным этим холмом,
на сырой этой грязной земле
Как узнает он место, где яшмовый лик
так напрасно похитила смерть?
Друг на друга властитель и свита глядят,
их одежда промокла от слез,
И к воротам столицы они на восток
едут дальше, доверясь коням.
Воротились в Чанъань. Вид озер и садов
все такой же, как в прошлые дни,
И озерный фужун, как всегда на Тайи,
те же ивы в Вэйянском дворце.
Как лицо ее нежное — белый фужун,
листья ивы — как брови ее.
Все как было при ней. Так достанет ли сил
видеть это и слезы не лить?
Снова веснами персик и слива цветы
раскрывали под ветром ночным.
Вновь осенний утун с опадавшей листвой
расставался под долгим дождем.
Государевы южный и западный двор
зарастали осенней травой.
На ступени опавшие листья легли,
и багрянца никто не сметал.
У певиц, что прославили «Грушевый сад»,
в волосах белый снег седины,
Для прислужниц, заполнивших Перечный дом,
юных лет миновала весна.
К ночи в сумрачных залах огни светлячков
на него навевали печаль,
И уже сиротливый фонарь угасал,
сон же все не смежал ему век.
Не спеша, не спеша отбивают часы —
начинается длинная ночь.
Еле светится-светится в небе Река,
наступает желанный рассвет.

Стынут в холоде звери двойных черепиц,
Как приникший к ним иней тяжел!
Неуютен расшитый широкий покров.
Кто с властителем делит его?
Путь далек от усопших до мира живых.
Сколько лет, как в разлуке они,
И ни разу подруги погибшей душа
не вошла в его тягостный сон...
Из Линьцюна даос, знаменитый мудрец,
пребывавший в столице в тот век,
Чист был сердцем и высшим искусством владел
души мертвых в наш мир призывать.
Возбудил сострадание в нем государь
неизбывной тоскою по ней,
И, приказ получив, приготовился он
волшебством государю помочь.
Как хозяин пустот, пронизав облака,
быстрой молнией он улетел.
Был и в высях небес, и в глубинах земли,—
и повсюду усердно искал.
В вышине он в лазурные дали проник,
вглубь спустился до Желтых ключей,
Но в просторах, что все распахнулись пред ним,
так нигде и не видел ее.
Лишь узнал, что на море, в безбрежной дали,
есть гора, где бессмертных приют.
Та гора не стоит, а висит в пустоте,
над горою туман голубой.
Красоты небывалой сияют дворцы,
облака расцветают вокруг,
А в чертогах прелестные девы живут,—
молодых небожительниц сонм.
Среди этих бессмертных есть дева одна,
та, чье имя земное Тай-чжэнь,
Та, что снега белее и краше цветка,
та, которую ищет даос.
Видя западный вход золотого дворца,
он тихонько по яшме стучит.
Он, как в старой легенде, «велит Сяо-юй
доложить о себе Шуан-чэн».
Услыхавши о том, что из ханьской земли
сыном неба к ней прислан гонец,
Скрыта пологом ярким, тотчас ото сна
пробудилась в тревоге душа.

Отодвинув подушку и платье схватив,
чуть помедлила... бросилась вдруг,
И завесы из жемчуга и серебра
раскрывались послушно пред ней.
Уложить не успела волос облака
в краткий миг, что восстала от сна.
Сбился наспех надетый роскошный убор.
В зал сошла, где даос ее ждет.
Ветер дует в бессмертных одежд рукава,
всю ее овевает легко,
Словно в танце «Из радуги яркий наряд,
из сверкающих перьев убор».
Одиноко-печален нефритовый лик,—
плачет горько потоками слез
Груши свежая ветка в весеннем цвету,
что стряхнула накопленный дождь.
Скрыв волненье, велит государю сказать,
как она благодарна ему:
«Ведь за время разлуки ни голос, ни взгляд
не пронзали туманную даль.
В Осиянном чертоге, где жил государь,
прервалась так внезапно любовь.
На священном Пэнлае в волшебном дворце
долго тянутся длинные дни.
А когда я смотрю на покинутый мной
там, внизу, человеческий мир,
Я не вижу столицы, Чанъани моей,
только вижу я пыль и туман.
Пусть же вещи, служившие мне на земле,
скажут сами о силе любви.
Драгоценную шпильку и ларчик резной
государю на память дарю.
Но от шпильки кусочек себе отломлю
и от ларчика крышку возьму».
И от шпильки кусочек взяла золотой,
в платье спрятала крышку она:
«Крепче золота, тверже камней дорогих
пусть останутся наши сердца,
И тогда мы на небе иль в мире людском,
будет день, повстречаемся вновь».
И, прощаясь, просила еще передать
государю такие слова
(Содержалась в них клятва былая одна,
два лишь сердца и знало о ней):

«В день седьмой это было, в седьмую луну,
мы в чертог Долголетья пришли.
Мы в глубокую полночь стояли вдвоем,
и никто не слыхал наших слов:
Так быть вместе навеки, чтоб нам в небесах
птиц четой неразлучной летать.
Так быть вместе навеки, чтоб нам на земле
раздвоенною веткой расти!»
Много лет небесам, долговечна земля,
но настанет последний их час.
Только эта печаль — бесконечная нить,
никогда не прервется в веках.

ПРИГЛАШАЮ БУДДИЙСКОГО МОНАХА, ЖИВУЩЕГО В ГОРАХ

В столицу не можешь ли ты прийти
пищу просить, монах?
Оставь отговорки, что грязь и пыль
плащ замарают твой.
Ты хочешь узнать, где найдешь приют?
Ты на восток пойди.
Бамбук обойдешь, зазвенит ручей,
там Бо Лэ-тянь живет.

РАННЯЯ ВЕСНА

Растаял снег за теплым дуновеньем.
Раскрылся лед под греющим лучом.
Но растопить весне не удается
Одно лишь только — иней на висках.

ПЕРСИКОВЫЕ ЦВЕТЫ В ХРАМЕ ДАЛИНЬ

В четвертый месяц в нашем мире
кончаются цветы,
А в этом горном храме персик
сегодня лишь расцвел.
Я горевал — весна уходит,
ее вернуть нельзя.
Как мог я знать, что по дороге
она зайдет сюда.

ЦИНЬ

Мой цинь я поставил на тонкий изогнутый столик.
Я ленью охвачен, а чувства теснятся во мне.
Какая забота мне струны тревожить рукою?
Их ветер ударит — и сами они запоют.

ПОСВЯЩАЮ ПЕЧАЛЬНОМУ СТРАННИКУ

Прибрежной ивы холодная тень
на сырой от дождя земле.
Прилетного лебедя частый крик
в обещающей снег высоте.
Причалил к песку одинокий гость,
чтобы на ночь прервать свой путь.
Вода обегает речной тростник,
и луна заполнила челн.

НА ДОРОГЕ ЗА СТАРОЙ ЗАСТАВОЙ

Горы и реки на этой Ханьгуской дороге.
Пылью покрыты у едущих путников лица.
Тягостно-грустно с родной стороной расставанье...
Ветер осенний поднялся из древней заставы.

КРАСНЫЙ ТЭНОВЫЙ ПОСОХ

И друзья и родные, перейдя через Шэнь, распростились.
И коляски и кони у реки повернули обратно.
И единственный только старый посох из красного тэна,
Неразлучный мой спутник, всю дорогу прошел издалёка.

РАННЕЙ ОСЕНЬЮ НОЧЬЮ ОДИН

Утун у колодца колышет прохладной листвою.
Валек у соседки разносит осенние стуки.
Один направляюсь я спать под нависшую кровлю.
Проснулся и вижу: луны — половина постели.

НОЧЬ ХОЛОДНОЙ ПИЩИ

Не светит месяц, нет огня
   здесь в ночь холодной пищи.
Ночь глубока — я все стою
   над темными цветами.
И вдруг, встречая новый день,
   я лет своих пугаюсь.
До сорока сегодня мне
   один лишь год остался.

НОЧЬЮ СЛУШАЯ ЧЖЭН

Когда в Цзянчжоу по ночам
   я слышал тихий чжэн,
Седеть я только начинал —
   и слушать не хотел.
А вот сегодня час пришел —
   я бел, как белый снег.
Играй на чжэне до зари —
   я разрешу тебе.

СМОТРЮСЬ В ЗЕРКАЛО

Чист и блестящ   круг бронзовый, зеркальный.
Рябят-пестрят   виски от белых нитей.
Да можно ли   упрятать глубже годы?
Моим летам   ты, зеркало, не веришь!

ГОРЕЧЬ РАЗЛУКИ

На дороге у ивы зеленой стояли,
   провожал уезжающих вдаль.
Повернули коляски, и кони умчались,
   лишь увидел, как пыль поднялась.
Не почувствовал сам, как во время прощанья
   слезы красные все истекли,
А вернулся домой, и слезы не осталось,
   чтобы ею платок омочить.

НА ОЗЕРЕ

Буддийский отшельник сидит за игральной доской.
На шахматном поле бамбука отчетлива тень.
В бамбуковой роще монаха не видит никто,
Лишь изредка слышен фигур опускаемых стук.

В ДЕРЕВНЕ НОЧЬЮ

Под инеем ночью мерцает трава,
  цикады кричат и кричат.
На юг от деревни, на север — нигде
  прохожих не видно людей.
Один выхожу за ворота свои,
  гляжу на луга и поля.
Сияет луна, и гречихи под ней
  цветы — словно выпавший снег.

НАВЕЩАЮ ЧЖЭНА, УДАЛИВШЕГОСЯ ОТ ДЕЛ

Я недавно узнал, что службе своей
  предпочел ты сельскую тишь
И что только в густой бамбуковый лес
  отворяется в доме дверь,
И нарочно пришел,— никогда б не стал
  докучать я просьбой иной,—
Чтобы в южной беседке твоей побыть,
  из нее на горы взглянуть.

ПОЛУЧИЛ ОТ ДВОРЦОВОГО ЧИНОВНИКА ЦЯНЯ ПИСЬМО, В КОТОРОМ ОН ОСВЕДОМЛЯЕТСЯ О МОЕЙ БОЛЕЗНИ ГЛАЗ

Пришла весна. В глазах темно,
  в душе веселья мало.
Все вышли капли хуанлянь,
  а боль не утихает.
Но получил твое письмо,
  оно сильней лекарства:
Я не читал, лишь вскрыл печать...
  И зренье прояснилось.

ПРОВОЖАЮ НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛЕНИЯ ЛУ, ОТПРАВЛЯЮЩЕГОСЯ В ХЭДУН В УПРАВЛЕНИЕ ГОСПОДИНА НАЧАЛЬНИКА ПЭЯ

В час разлуки с тобой был в сумерках дождик
на реке у Лоянского моста.

В день приезда в Хэдун будет ветер прохладный
там, где Фэнь расстилаются волны.

Сюнь-начальник, увидя тебя в управленье,
обо мне тебя спросит, наверно.

Ты ему передай, что осенние травы
в дом мой накрепко заперли входы.

СЛУШАЯ ЦИКАД

Там где-то цикады кричат-кричат,
и тянется нитью ночь.
Да тут еще этот осенний мрак,
и небо грозит дождем.
Как будто боясь, что в своей тоске
забудусь я сном на миг,
Они переносят свой крик сюда,
где я постелил постель.

У МЕНЯ ПОБЫВАЛ СЯО — НАСТАВНИК НАСЛЕДНИКА ГОСУДАРЯ

Ровно в полдень прискакали кони.
Кто гостит в семействе Бо Лэ-тяня?
Друг наш добрый, сам наставник Сяо,
Пьет вино, не брезгует и чаем.

ВЕСНА В ЛОЯНЕ

На лоянских дорогах, полях и межах
постоянна и вечна весна.
С ней когда-то простился я, нынче пришел.
Двадцать лет промелькнуло с тех пор.
Только годы мои молодые найти
мне уже не удастся никак,
Остальное же все — десять тысяч вещей —
неизменно, как было тогда.

С ДОСАДОЙ ДУМАЮ О ПРОШЛОМ ГОДЕ

Я постарел, но все к вину пристрастен.
Весна придет, мне дома не сидится.
А в том году я вышел слишком поздно
И не видал лоянского цветенья.

СНЕЖНОЙ НОЧЬЮ В ДЕРЕВНЕ

Окно на юг — сижу спиною к лампе,
Под ветром хлопья кружатся во тьме.
В тоске, в безмолвье деревенской ночи
Отставший гусь мне слышится сквозь снег.

ВОЗВРАЩАЮСЬ ВЕЧЕРОМ В ВОСТОЧНЫЙ ГОРОД

На взятой в дорогу бамбуковой палке
висит черепаховый жбан.
С ребячьей прической сучжоуский мальчик
ведет за уздечку коня.
Я по́д вечер в город восточный въезжаю,
меня не узнает никто:
Короткая обувь, и низкая шапка,
и белый холщовый халат.

ГУЛЯЮ В ЧЖАОЦУНЬ СРЕДИ АБРИКОСОВЫХ ЦВЕТОВ

В Чжаоцунь абрикосы алеющий цвет
каждый год раскрывают весной.
Лет пятнадцать последних я в этих садах
столько раз любовался на них!
Человеку, которому семьдесят три,
нелегко уже снова прийти.
Если этой весною пришел я сюда —
я проститься с цветами пришел.

МНЕ ЖАЛЬ ЦВЕТОВ

Жалость какая — прекрасным и нежным
самое время цветенья.
Только недавно бушующим ветром
за ночь сорвало их с веток.

Резвая иволга утром сегодня
в старых местах побывала.
Множество слов, что она накричала,
в голых деревьях осталось.

ЛЮ ЮЙ-СИ

ПРОВОЖАЮ ВЕСНУ

Ведь вчера еще только взошел на башню,
поздравляя весну с приходом,
А сегодня поднялся на башню снова,
чтобы с ней уже попрощаться...
И цветы орхидей в увядшем уборе
сбереженной росою плачут.
Ивы длинными рукавами веток
налетевшему ветру машут.
И красавица в гладком зеркале видит,
как лицо ее изменилось.
Чуский гость у речного берега знает,
что надежды его напрасны...
И за десять тысяч веков и доныне
одинаковы те печали.
Остается вином допьяна напиться
и забыть обо всем на свете.

ОСЕННИЙ ВЕТЕР

Откуда же к нам   явился осенний ветер?
Со свистом, со свистом   летит за гусиной стаей...
Сегодня с утра   проник он в деревья сада,
И гость одинокий   всех раньше его услышал.

ОСЕНЬ

[1] С древности самой встречали осень
скукою и печалью.
Я же скажу, что осени время
лучше поры весенней.
Светлая даль, журавль одинокий
в небе над облаками
Могут поднять мое вдохновенье
прямо к лазурным высям.

2 Ясные горы, чистые воды,
с ночи лежащий иней.
В яркой листве краснота деревьев
тронута желтизною.
Если к тому же взойти на башню,—
свежесть проникнет в кости.
Это не то что дурман весенний
и от него безумье.

СКОРБЛЮ О ПОТОКЕ ГЛУПЦА

Мой друг Лю Цзун-юань, когда был сослан в Юнчжоу, нашел прекрасное место, где построил свой скромный дом, посадил огород, запрудил ручей и сделал озерко, на котором возвел беседки и башенки, и назвал все это Потоком Глупца. Прошло уже три года с того времени, как не стало учителя Лю. Один буддийский монах, побывавший в Линлине, сказал мне, что Поток Глупца теперь в запустении. Когда я услышал слова монаха, меня охватила неодолимая грусть. Об услышанном мною написал я в семисловных стихах, дабы выразить свою печаль.

1 Воды потока прозрачно-чистые;
в час урочный пришла весна.
В доме отшельника нет хозяина,—
только ласточки проснуют.
Сквозь занавеску из дома виднеется
двор пустынный с густой травой,
Горный гранат, в своем одиночестве
расцветающий, как и встарь.

2 Несколько строк знаменитого мастера,
сохранившихся на стене.
Тысячью веток сад апельсиновый
окружает соседский дом.
Перед селением над воротами
с именами славных доска.
В грустном безмолвии ранних сумерек
возвращается дровосек.

3 Ивовый вход с бамбуковой улочки
существует и до сих пор,
Мохом зеленым и дикими травами
зарастая день ото дня.

Лишь иногда соседу захочется
на свирели здесь поиграть.
Кроме него, из былых товарищей
кто приходит сюда еще!

ВОЛНЫ ОМЫВАЮТ ПЕСОК

В девяти излучинах Хуанхэ
песку десять тысяч ли.
Ветер играющую волну
возносит до края небес.
Вверх по течению Млечный Путь —
Серебряная Река:
Пойди, поплыви — и войдешь в дома
Ткачихи и Пастуха.

ГОРОД ШИТОУ

Древняя, выжженная земля.
Горы со всех сторон.
Волны от старых развалин вспять
бегут в тишине ночной.
Вверху, на восток от реки Хуай,—
луна минувших времен.
Ночью, домой возвращаясь, плыву
под городской стеной.

УЛИЦА ЧЕРНЫХ ОДЕЖД

К мосту Малиновых Воробьев
идешь по сплошной траве.
У входа на улицу Черных Одежд
заката косой свет.
Летали ласточки возле дворцов
знатных Вана и Се,
А ныне влетают в простые дома
обыкновенных людей.

ВЕСЕННИЕ СТИХИ

В ярких румянах, свежей сурьме,
 из красного вышла дворца.
Еще за глухою дверью весна,
 и в блеклом саду печаль.
Тихо в восточный дворик идет
 гроздья цветов считать.
На яшмовую заколку волос
 спускается стрекоза.

ХРАМ ПЕРВОГО ГОСУДАРЯ СТРАНЫ ШУ

Осень тысячу раз разоряла небо и землю,
Но поднесь уцелел героический дух Лю Бэя.
Было царство одно, стало три, как три ножки дина.
В царстве У, в царстве Вэй медяки в пять чжу возродились.
Полководец бы мог стать началом династии новой,
Только сыну его не хватило царственной мощи.
Так прошло царство Шу. Молодым танцовщицам шуским
Перед вэйским дворцом танцевать для чужого грустно.

В ГОРАХ СИСАЙ ДУМАЮ О БЫЛОМ

Тяжелые корабли Ван Цзюня
 идут рекою в Ичжоу.
В Цзинлине, столице своей, властитель
 поник в тоске головою.
Железные цепи на дно упали
 и не преграждают дорогу.
Как знак покорности тысяча стягов
 приспущена над Шитоу.
Живешь в настоящем, а сам все время
 кручинишься по былому.
Узоры горных вершин, как прежде,
 парят над холодной рекою.
И ныне, когда все четыре моря
 вернулись к единому дому,
Забытые древние укрепленья
 шуршат осенней осокой.

ПЕСНИ О ВЕТКЕ БАМБУКА

1 Ветви персиков в алом цвету
небо скрыли от глаз.
Вешние воды шуской Реки
лижут подножья скал.
Алые быстро вянут цветы —
так и любовь твоя.
Но бесконечно теченье вод,
точно моя тоска.

2 Зелены ивы и тополя,
реки незаметен ток.
Слышу, любимый песню запел
над гладью молчащих вод.
Солнце вдруг озарило восток,
на западе — снова дождь.
Ты говоришь, непогожий день,—
а день куда как погож!

ЮАНЬ ЧЖЭНЬ

ПЕСНЯ ТКАЧИХИ

Ткачиха, тревоги свои оставь —
ты вовремя сдашь урок.
Три раза должен уснуть шелкопряд —
он спит уже третьим сном.
Искусство и Шелковичный Дух
спрядут желанную нить,—
Ведь в этом году шелками налог
до срока надо внести.
Берут до срока,— тому виной
не сборщики подате́й,
А то, что в прошлом году страна
была занята войной.
Солдаты в походе после боев
бинтуют раны свои.
Вожди их после громких побед
сменяют свои шатры.
Ты нити мотаешь и ткешь шелка
не хуже молодой.
Менять основу, вести узор
тебе уже нелегко.

В восточном доме соседки твои
с почтенною сединой
Всю жизнь искусно ткали узор
и не нашли мужей.
Иная пряжа под потолком.
Одна из нитей дрожит —
На ней раскачивается паук
и бегает вверх и вниз.
Ну, как не завидовать: эта тварь
умеет по небу ходить,
Умеет приют найти в пустоте
и сети из шелка ткать.

ПРИ ИЗВЕСТИИ, ЧТО ПОЭТ БО ЦЗЮЙ-И НАЗНАЧЕН ЦЗЯНЧЖОУСКИМ СЫМА

Огарок свечи мерцает во тьме,
и тени дрожат предо мною.
Сегодня вечером я узнал,
что ты в изгнанье в Цзянчжоу.
Смертельно больной, я с ложа привстал,
узнав о твоей недоле.
Холодный ветер капли дождя
забросил в окно ночное.

СТАРЫЙ ПОХОДНЫЙ ДВОРЕЦ

Заброшен, забыт старый походный дворец.
Дворцовым цветам зря суждено алеть.
На старости лет дамам былого двора
Осталось вести о Сюань-цзуне рассказ.

ЛИ ХЭ

ЮЖНЫЙ ПАРК

Ветви деревьев и стебли трав
зацвели у всех на глазах.
Белые, алые лепестки —
словно щеки юэских дам.

Грустно подумать что на склоне дня:
их достоинства пропадут —
Свахи не нужно, чтобы цветам
сочетаться с ветром — и в путь!

ПОБЕГИ БАМБУКА В ПАРКЕ ЧАНГУ

Чуские строфы пишу на стволе,
кожицу сняв ножом.
На обнаженную зелень легли
черные точки слов.
Раз не умеет читать бамбук,
кто же стихи прочтет?
Влага садится, туман ползет
между бессчетных стволов.

СОН О НЕБЕСАХ

Старый заяц и грустная жаба тоскуют на бледном небе.
Облачные дворцы опустили косые лунные стены.
Яшмовое колесо прокатилось по травам в росистом блеске.
Фениксовые подвески бессмертья цветут на коричной ветке.
Желтый прах и прозрачная влага молчат под Тремя горами.
Тысячелетия, точно кони, в пути друг друга сменяют.
Издали Равные области вижу, как девять колечек дыма.
Невозмутимые воды моря в широком блюде застыли.

К ВИНУ

В затишье меж двух больших злоключений
мне чашу вина подносят.
Хозяин кубок поднял, желая
спокойной старости гостю.
Чжуфу за счастьем ходил в столицу
и горем кончил скитанья.
Его домочадцы сломали иву,
с ветвей на дорогу глядя.
Хозяин любезен со мной: «В Синфэне
трактирщик бранил Ма Чжоу.
Могли ль помыслить земля и небо,
что будет славен ученый?

А он на гладкой бумаге тушью
две строчки искусно вывел
И, смело став пред лицом Дракона,
увидел царскую милость».
Давно душа моя затерялась,
и звать ее бесполезно.
Петух заранее кличет утро,
чтоб день вернулся на землю.
Лишь в юные годы приходит прихоть
ловить облака руками.
Тогда ли думать о том, что старость
жалуется и вздыхает?

ЦЗЯ ДАО

ИЩУ ОТШЕЛЬНИКА, НЕ ЗАСТАЮ

Под соснами где-то спрошу о нем ученика.
Он скажет: учитель ушел собирать снадобья.
Он здесь пребывает, на этой самой горе,
но тучи глубоки, и где он — я так и не знаю.

ЛИ ШЭНЬ

ПЕЧАЛЮСЬ О КРЕСТЬЯНИНЕ

Весною посадит он зернышки по одному,
А осень вернет их обильнее в тысячи раз...
Где Моря Четыре,— земли невозделанной нет,
А всё к земледельцу приходит голодная смерть!

ДУ МУ

МЕЧТАЮ О ВОЗВРАЩЕНИИ ДОМОЙ

Свежесть в окне, и на циновке прохлада.
Спать не могу — мысли о Сяо и Сяне.
Горы стоят гордо, невозмутимо.
А человек день и ночь суетится.
Ветер в ветвях, словно полночный ливень.
Сквозь кисею — в комнате лунный иней.
Сесть на коня, к югу сейчас поспешить бы!
В устье Реки вновь цветут мандарины.

ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ

Сынишка мой за край одежды тянет:
«Ты почему домой не возвращался
И с кем играл на месяцы и годы,
Что выиграл серебряные пряди?»

В ДАР ОТЦУ-РЫБАКУ

Травы в цвету, озера прохладны,
удочки нить спокойна.
Лунные ночи, ненастные утра —
сколько десятков весен?
Сам говоришь с одинокой лодки,
вторя словам поэта,
Что не встречал на веку ни разу
трезвого человека.

ПОДПЛЫВАЮ К НАБЕРЕЖНОЙ ЦИНЬХУАЙ

Туман осел на холодную воду,
лунный свет — на песок.
Во мраке к берегу подплываю
возле веселых домов.
Продажным женщинам не оплакать
гибель страны отцов.
Слышу, на том берегу горланят
«Цветы на заднем дворе».

ДУМАЮ О ПРЕЖНЕМ ПУТЕШЕСТВИИ

На храме к западу от Реки
стихи написал Ли Бо.
Старые сосны вокруг горы,
сквозняк под ветхим шатром.
А я, полутрезвый, полухмельной,
бродил здесь четыре дня.
Красно-белые лепестки
глядят сквозь полог дождя.

ВЕСНА В ЦЗЯННАНИ

Запели птицы на тысячи ли,
травы алеют цветами.
В селеньях у рек и на кручах гор
реют винные флаги.
Четыреста восемьдесят вокруг
храмов Южных династий.
Как много пагод и старых дворцов
мешает видеть ненастье!

ПОЕЗДКА В ГОРЫ

Еду к холодным вершинам гор,
дороги кру́ты и у́зки.
Там, где рождаются облака,
живут, как и всюду, люди.
Остановлю повозку, сойду
взглянуть на вечерние клены.
В инее листья красней цветов
второго месяца года.

ОСЕННИЙ ВЕЧЕР

На ширму свет серебристой свечи
навел морозный узор.
Прозрачный шелковый веер накрыл
танцующих светлячков.
Небесная лестница, словно река
в осенний день, холодна.
Лежу и смотрю на огни домов
Ткачихи и Пастуха.

ПРОЕЗЖАЮ МИМО ДВОРЦА ХУАЦИН

С дороги оглядываюсь на Чанъань,—
как вышитые, дома.
Одна над другою вершины гор
открылись, как сто ворот.
Промчался в красной пыли гонец,
и радостна Ян Гуй-фэй.
И как догадаться, что это везут
всего лишь плоды личжи?

РАЗЛУКА

1 Стройная-стройная, гибкая-гибкая
в неполных четырнадцать лет.
Словно в начале второго месяца
душистый горошек цветет.
Ветер на десять ли по Янчжоуской
дороге веет весной.
Всюду в окнах виднеются девушки —
никто не сравнится с ней.

2 Так много сразу чувств у меня,
что словно замерли чувства.
Лишь чувствую, глядя на чарку вина,
что трудно мне улыбнуться.
Подумать, у восковой свечи
полно сострадания сердце:
О нашей разлуке слезу за слезой
роняет всю ночь до рассвета.

СОЖАЛЕНИЕ

Утратив душу, вдоль рек, у озер
брожу, прихватив вино.
Танцовщица чуская так легка,
хоть ставь ее на ладонь.
В Янчжоу впервые за десять лет
очнулся на миг от сна
И вижу, даже в Синих домах
не почитают меня.

САД ЦЗИНЬГУ

Роскошная жизнь расточилась вослед
за благоуханной пыльцой.
Бегущие воды не знают чувств,
трава не знает людей.
Восточный ветер и птичий стон
в деревьях на склоне дня.
Со стебля падает лепесток,
как девушка из окна.

В ГОСТИНИЦЕ

В гостинице ночью   не с кем поговорить.
Нахлынули чувства,   горечи не унять.
Зажженная лампа   холод льет над былым.
Сквозь сон различаю   грустный гусиный крик.
От сонных видений   в новый вхожу рассвет.
Известье из дома   будет здесь через год.
Над гладью речною   в дымке блестит луна.
У самой двери   вижу челн рыбака.

ЛИ ШАН-ИНЬ

ЛЭЮЮАНЬ

День кончился, печаль в душе моей,
На Гуюань я еду меж ветвей...
Вечерняя заря прекрасна,
Но сумрак все становится черней.

НОЧЬЮ В ДОЖДЬ ПИШУ НА СЕВЕР

Спросила ты меня о том,
Когда вернусь к любимой в дом.
Не знаю сам. Пруды в горах
Ночным наполнились дождем...
Когда же вместе мы зажжем
Светильник на окне твоем,
О черной ночи говоря
И горном крае под дождем?

ДРАГОЦЕННАЯ ЦИТРА

Нефритом украшена цитра моя,
И струн на ней пятьдесят.
И все эти звонкие струны со мной
О давних днях говорят.
Мудрец Чжуан-цзы в глубоком сне
Сияющей бабочкой был.
Ван-ди после смерти все чувства свои
В лесную кукушку вселил.

А в южных морях под взором луны
Текут жемчуга по щеке.
На синих полях под лучом дневным
В прозрачном яшма дымке.
О всех этих чудных явленьях не раз
Придется мне размышлять.
Но надо признаться, сейчас на моей
Душе печали печать.

ПИШУ О ДУМАХ

Гуси и ласточки вдалеке
    летают над Верхним лесом.
В небе осеннем взор утонул,
    пою протяжную песню.
Как поперек потока судьбы
    пороги Туна и Цзяна,
Так в гряде занебесных гор
    опасности гор Юйлэя.
Солнце склоняется к лепесткам
    в прощальном вечернем блеске.
Медлят над городом облака,
    рождая слоистые тени.
Три уже года бездомен я,
    но слезы прочь отгоняю.
Завтра начнется четвертый год —
    как тогда не заплакать?

БЕЗ НАЗВАНИЯ

Как встречаться нам тяжело,
    так тяжело расставаться.
Ветер жизни лишился сил,
    все цветы увядают.
Лишь когда шелкопряд умрет,
    нити дум прекратятся.
Лишь когда фитиль догорит,
    слезы свечи иссякнут.
Утром у зеркала я грущу,
    видя облачный во́лос.
Ночью, читая стихи, узнаю́
    лунного света холод.

До небожителей, на Пэнлай,
путь не такой уж трудный:
Темная птица о трех ногах,
дай мне знать о грядущем.

БЕЗ НАЗВАНИЯ

Восточный ветер опять свистит,
опять моросит дождь.
За клумбой с пионами, за рекой
разносится дальний гром.
Волшебная жаба и через дверь
пошлет благовонный дым.
И яшмовый тигр поднимет ведро,
вода ж устремится вниз.
Цзя Гуна дочь не сводила глаз
с того, кто отцу служил.
За песни подушку свою Ми-фэй
оставила Цао Чжи.
Весеннее сердце наперегонки
с цветами цвести не должно.
Придет назавтра новая страсть —
былая станет золой.

БЕЗ НАЗВАНИЯ

Минувшей ночью звезды видал
и слышал, как ветер выл
К закату — возле Коричных палат,
к восходу — возле Речных.
Не феникс тысячецветный я,
и крыльев мне не дано;
Но сердце, вещее, как носорог,
проникло в сердце твое.
К себе по очереди вино
подтягивал острым крючком;
Над красным воском жарких свечей
угадывал сходство слов.
Часы истекли; пробил барабан;
увы, на службу пора.
Везет меня конь в дворец Орхидей —
качусь, как в степи трава.

ОПАВШИЕ ЦВЕТЫ

Из высокого дома гости навек ушли.
В опустевшем парке кружатся лепестки.
То взлетят, то струятся вдоль тропинок витых.
Провожает взглядом солнца косые лучи.
Вся душа изболелась — жалко двор подметать.
Все глаза проглядела — надо идти назад.
Благовонное сердце выдохлось, как весна.
Остается на память платье в горьких слезах.

ЧАН Э

За ширмой из Матери Облаков —
глубокая тень от свечи.
Мелеет Серебряная Река,
и блекнут звезды вдали.
Должно быть, раскаивается Чан Э,
что смéла бессмертье украсть,—
В лазури морей, в синеве небес,
в рыданиях по ночам.

ВЭЙ ЧЖУАН

ЦЗИНЛИНСКИЙ ПЕЙЗАЖ

Снова дождь над Рекой моросит,
приречные травы лежат.
Шесть династий прошли, как сон;
бесчувственно птицы поют.
Ивы Тайгэна, земли дворцов
бесчувственней праздных птиц:
Как прежде, окутали дымом листвы
плотину на десять ли.

НОЧНЫЕ МЫСЛИ В ЧЖАНТАЕ

Многострунный сэ рыдает в долгую ночь.
Его чистый звон пронзает ветер и дождь.
Под чужим фонарем послышалась флейта Чу.
Под ущербной луной спускаюсь с башни Чжантай.

Благовоние трав   сулит их скорый конец.
Дорогой человек   еще не пришел ко мне.
И в родные края   теперь не дойти письму,
Ведь осенний гусь   опять вернулся на юг.

ЛИ ЮЙ

ВОЛНЫ ОМЫВАЮТ ПЕСОК

Шум дождя
    за бамбуковой шторкой в окне.
Вид унылый — в ущербе весна.
В пятой страже рассветный холод
    заползает в шелка одеял.
Позабылось во сне,
    что гощу поневоле в чужой стороне,—
В сердце радости вдруг пожелал.

Одинокий,
    вечерами стою на стене.
Вижу реки и горы во мгле.
Как легко расставание с ними,
    и как трудно вернуться туда.
Пролетают года,
    опадают цветы, убегает вода.
Жил на небе — живу на земле.

РАДОСТЬ ВСТРЕЧИ

На западной башне стою,
    вижу закатные дали,
Месяца медный крюк,
Осень таится в глубоком саду —
    платаны стоят вокруг.
Грустные мысли — не пряжа,
    их оборвешь едва ли.
Хочешь распутать —
    только запутаешь вдруг.
Время долгих разлук
В сердце оставило
    тонкий привкус печали.

* * *

Безмерна скорбь.
Я эту ночь во сне
Гулял в дворцовом парке,
Как бывало...
Драконы-кони,
Колесниц поток,
Кругом цветы
И в небе
Лунный рог —
Весной дышало все
И ликовало.

* * *

Маленький сад опустел,
Царит во дворе тишина.
Лишь не смолкает валёк
И ветер с ним заодно.
Мне теперь не заснуть,
А ночь бесконечно длинна.
Звуки и лунный свет
Льются в мое окно.

ОУЯН СЮ

ИЗ «ПЯТНАДЦАТИ СТИХОТВОРЕНИЙ НА РАЗНЫЕ ТЕМЫ, СОЗДАННЫХ ВО ВРЕМЯ ПУТЕШЕСТВИЯ В ЛУНМЭНЕ»

1. ВЗБИРАЮСЬ НА ГОРУ

Взбираюсь-карабкаюсь   вверх, на вершину крутую,
Безмолвие бездны   приводит меня в восхищенье.
По тонкому запаху   в скалах источники чую.
За горными кряжами —   шири бескрайней свеченье...
Деревья меня обступили,   блуждаю в тревоге,
На звук лесорубовой песни   бреду без дороги.

2. СПУСКАЮСЬ С ГОРЫ

Иду, распевая,   сквозь ярко-зеленую чащу,
Дорога все вниз,   все отвесней становятся спуски,
И горные пики   круг солнца затмили блестящий,

Попрятались птицы, спустившись к расселине узкой.
Темно, ни души. Из ущелья я выбрался ходко,
Дошел до Фанчжоу — привязана к дереву лодка.

3. ПОРОГИ НА РЕКЕ

Один за другим прохожу я речные пороги,
Но ветра порывы движение мне затрудняют;
Скиталец бездомный, уж целую вечность в дороге,
Взираю на горы — все мимо они проплывают.
Проносятся белые чайки, и, кажется, кстати
Пристанище-остров заметен вдали, на закате.

СКВОЗЬ СОН...

Дыханьем ночи, звуками свирели
заполнено пространство под луной,
И мудрено не потерять дорогу:
вокруг — такое множество цветов!
Как поменять мне отношенья с миром —
я не решу за шахматной игрой;
Не лучше ли всего за винной чаркой
мне, гостю, вспоминать родимый кров.

ВЕЧЕРОМ ПРОХОДИЛ ПО СЕВЕРНОМУ БЕРЕГУ РЕКИ

Подтаивал на речке снег,
но был еще недвижен лед;
Крошился, трескался, тончал,
пока не ожила река.
Все разошлись, один слежу,
как солнце на закат идет,
Как птицы, с отмели слетев,
обсели лодку рыбака.

НА ЗАКАТЕ СОЛНЦА СИЖУ У ОКНА

На рассвете услышала: птицы тревожно взлетели.
На закате увидела: птицы вернулись опять.
Друг другу мы с цинем яшмовым, видно, уже надоели.
Вновь про все сокровенное некому мне рассказать.

* * *

Над ивами гремит весенний гром,
От капель дождевых вскипает пруд,
Высокий лотос никнет под дождем,
И шелест мокрых листьев слышен тут.
В беседку льется тонкий аромат,
Дождь перестал, и туч на небе нет,
Но маленькая башенка-квадрат
От взора заслонила звездный свет.
Хорошо у перил. Ночь темна. Тишина.
Дожидаюсь — скорее взошла бы луна.
Вот ласточка заблудшая кружит,
Уселась на узорчатый карниз.
Нет ветра, и циновка не дрожит.
Поднявшись, месяц долго смотрит вниз.
Под ним зеркальная застыла гладь
Притихшего безмолвного пруда,
Ни шороха, ни всплеска не слыхать,
Блестит кристально чистая вода.
А месяц похож на изогнутый нож.
Блестит на подушке забытая брошь...

ЧЖАН ШЭНУ

Меж разлукой нашей и встречей
семь и десять весен промчалось.
Вот и спрашиваем друг друга,
как лысели да как старели.
Среди рек и озер скитаюсь,
и осесть еще не случалось,
Да и вы по дворам постоялым
мало ль трудностей претерпели!
Костью хрупок скакун под старость,
бьется сердце его спокойно;
Много лет сосне, а все так же
обновляет зелень она.
Трудно в горном глухом городишке
человека принять достойно...
Много-много раз бессловесно
осушаем чаши до дна.

В БАШНЕ БЕЗМЯТЕЖНОГО ОТДОХНОВЕНИЯ

Беседа чистая весь день
за чашей светлого вина —
Не хвастовство мошной иль тем,
чья знатность более знатна!
И горы есть, и реки есть,
чтоб гостя воодушевить,
Готовы ветер и луна
пленить его и опьянить!

РУЧЕЙ, БЕГУЩИЙ ИЗ ТЕМНОГО УЩЕЛЬЯ

Течет ручеек, пробирается между камней,
Течет из ущелья, где и холодней и темней;
А здесь, на свету, густо-густо разросся бамбук.
Прибрежные стайки бамбуковых хижин-лачуг.
Канавки с водой далеко от ручья разбрелись,
Здесь вырастят просо и вовремя высадят рис.
Вода долголетья. Деревья теснятся к ручью.
И сами крестьяне целебному рады питью.
Всегда здесь тепло, и рассаду не бьют холода,
Веселую песню ручей напевает всегда.
Скажу о себе: пусть давно я немолод и сед —
Ручей навестить собираюсь на старости лет.
Опять и опять рад увидеть все те же края
И вновь услыхать несмолкающий голос ручья.

ДВА БЛАГОРОДНЫХ ДЕРЕВА ВОЗЛЕ ДОМА

Два дерева выросли около дома,
тенисты и стройны;
Одно постоянно кивает другому,
друг друга достойны.
Поднимется ветер иль выпадет иней —
их зелень не реже;
В холодное время все вянет и стынет,
а листья — все свежи!
О, сколько деревья желанной прохлады
в жару навевают,
От стужи туманов их купы-громады
в ночи укрывают.

Чуть персикам, грушам пора наливаться —
тут малый и старый
Верхом и в повозках скорее стремятся
к воротам базара.
А я — в одиночестве... Не покидаю
привычные стены,
Печали отдавшись, все так же вздыхаю,
томлюсь неизменно
И мыслю: ко времени ль ныне такое
вокруг оживленье? —
Нет, благо провижу я только в покое
и в уединенье.
Всегда в постоянстве своем укрепляться
достойным приятно,
А низкие склонны менять да меняться —
и неоднократно.

ВАН АНЬ-ШИ

НАЧАЛЬНЫЙ ДЕНЬ

Хлопушки взрываются над головой,
погоняя созревший год.
Весенний ветер приносит тепло,
проникающее в вино.
На десять тысяч ворот и дворов
расплескался небесный блеск.
На месте старого на дверях
новогодний висит амулет.

ПЕСНЬ О МИН-ФЭЙ

Когда ослепительная Мин-фэй
прощалась с Ханьским дворцом,
Весенний ветер слезы ее
отнес до самых висков.
Понурив голову, пряча лицо,
оглядывалась на тень.
Не верится, что император мог,
несчастную не пожалеть..

Постигший красный и синий цвет
плохой портрет написал.
А в жизни такие красавицы нам
встречаются сколько раз?
На лучшей картине не передашь
осанку ее и лицо.
Напрасно властитель велел казнить
художника Мао Янь-шоу.
Ушла, и сердце ей говорит:
вернуться назад нельзя.
Увы, ветшают в дальней глуши
одежды большого дворца.
Пошлет письмо, мечтает узнать
про жизнь на юг от застав.
Приходит, уходит за годом год,
а гуси все не летят.
Родным за десяток тысяч ли
всегда сообщит одно:
Над войлочным городом тишина,
и мне совсем хорошо.
И ты не видишь,
Как здесь, во дворце Длинных Ворот,
А-цяо навек замкнут.
Несчастье за человеком идет,
равняя север и юг.

НЕЛЬЗЯ НА ТЕБЯ ПОЛОЖИТЬСЯ

Утром роза в саду зацветет,
а вечером облетает.
Я, наложница, от цветка
судьбою не отличаюсь.
Помню, встретились первый раз.
Как молоды были оба —
Спорили, все не могли решить,
кто превосходит любовью.
Чувство глубокое оценив,
пошла за тобою следом.
Все заботы брала на себя,
для дома сил не жалела.
Многообразны пути людей —
возможно ли их предвидеть?
Злые речи едва услыхал,
и сразу же удалился.

Свадебный мой расшитый наряд
теперь бы надеть постыдилась.
Только теперь узнала тебя:
нельзя на тебя положиться.
Нельзя на тебя положиться.
Несчастной наложнице не забыть
клятвы твои былые.

МЭЙХУА

В углу стены
безлиственная мэйхуа.
Стоит в цвету,
хотя еще холода.
Легко узнаю —
не снег на ветвях лежит:
От них ко мне
доносится аромат.

СУ ШИ

* * *

Лишь добрался до этого края —
Ветер дунул и дождь закапал.
Одинокий скиталец — найду ли
Я пристанище в мире большом?
Мне достать бы облако с неба
И надеть бы его, как шляпу.
Мне б укутать себя землею,
Как простым дорожным плащом!

В ДЕВЯТНАДЦАТЫЙ ДЕНЬ ОДИННАДЦАТОЙ ЛУНЫ ГОДА СИНЬ-ЧОУ РАСПРОЩАЛСЯ С ЦЗЫ-Ю У ЗАПАДНЫХ ВОРОТ ЧЖЭНЬЧЖОУ, В ПУТИ НАПИСАЛ И ПОСЛАЛ ЕМУ ЭТИ СТРОКИ

Голову вскружило не вино,
И не от него моя печаль.
Хорошо бы повернуть коня
И галопом поскакать назад.
Ты один остался из мужчин
В доме за хозяйство отвечать,

Как же одиночество твое
Мог бы скрасить я, о младший брат?
Поглядел с вершины — сколько гор!
Ни дорог, ни троп в них, ни путей...
Ты еще заметен вдалеке,
Вижу черной шапки силуэт.
Думаю, в такой мороз тебе
Надо бы одеться потеплей,
А мой конь бредет — и на горе
Словно топчет бледный лунный свет.
Гости постоялого двора
Веселы и радостно поют,
Удивился паренек-слуга:
Отчего я мрачен-удручен?
Знаю, без разлук не проживешь,
Чередой они всю жизнь идут,
Но неужто век скитаться мне
Далеко от дома, где рожден?
Думаю при тусклом фонаре,
Вспоминаю юные года,
Брат и я — мы при дожде ночном
Словно вместе — не разлучены...
Так уговорились в детстве мы,
Не нарушим слова никогда,
Наш союз не в силах подорвать
Слава иль высокие чины!

У ОКНА

У соседей восточных в саду
Много белых растет тополей.
Ночью дождь начался,— при дожде
Шум листвы все сильней и сильней.
Мне не спится, сижу у окна,
И совсем бы я был одинок,
Если б стайки ночных мотыльков
Не летели на мой огонек...

НОЧУЮ НА ГОРЕ ДЕВЯТИ СВЯТЫХ

Из мудрых мудрейшим считался Ван Се,
И дух его ныне живет.
Хотя миновало с кончины его,
Мне кажется, весен пятьсот...

Из яшмы и золота высится храм,
Он ханьских светил пережил,
Нет циньской державы, а персик цветет,
И речка, как прежде, бежит...
Лежу я, вдыхая цветов аромат,
Я в небытие погружен,
Вдруг скалы-утесы сошлись надо мной,
Надвинулись с разных сторон...
Когда же средь ночи меня разбудил
Заботливый старый монах,
Смотрел я на небо, где лодка-луна
Плыла в облаках — как во льдах!

ВТОРЮ СТИХОТВОРЕНИЮ В ШЕСТЬ СЛОВ ХЭ ЧЖАН-ГУАНЯ

Так внезапно и чистый ветер
Заиграл на земле-свирели.
И луна украсила небо
Нарисованной ею рекой.
Если беден, то как для гостя
Я смогу устроить веселье?
А вот так: ухвачусь за ветер
И луну поглажу рукой!

ПРОВОЖАЮ ВАН ЦЗЫ-ЛИ У ИСТОЧНИКА БОДХИСАТТВ, ЧТО В УЧАНЕ

В путь без вина провожаю тебя,
Уходишь с пустой сумой.
Прошу из источника бодхисаттв
Чистой воды испить.
Не надо голову опускать
Потом, расставшись со мной,—
Где бы ты ни был, небо в воде
Будет, как прежде, плыть...

ЗА ГОРОДОМ ПРОВОДИЛ ГОСТЯ И НЕТОРОПЛИВО ПРОГУЛИВАЮСЬ У РЕКИ

Расстался с гостем — он уже в пути.
Искал цветы — расцветших не нашел.
Но в город мне не хочется идти,

На берегу реки   так хорошо!
Ко мне подходит   старый человек:
«Что, господин,   пророчит нам весна?»
Ответствую: «Был добрым дождь и снег —
Горою будет   урожай зерна!»

ВЗДЫХАЮ, ДУМАЯ О ПЛОДАХ ЛИЧЖИ

Десять ли прошли, но нет харчевни,
Лишь зола да ветер неспокойный.
Шли еще пять ли — и снова пепел
Там, где прежде был приют убогий.
Доставляли с юга фрукты личжи,
Для двора везли и «глаз драконий»,
Кто расскажет, сколько тел недвижных
Коченеет в ямах у дороги!
Но как ветер — над горами мчались,
Над водой — летели, словно птицы,
Потому и стебли и листочки
Привезли в Лоян с живой росою,
И, довольна, во дворце красотка
На себя глядит не наглядится,—
Что ей до того, что соки фруктов
С кровью перемешаны людскою?
В годы Юн-юань правленья Ханей
Личжи с юга Цзяо привозили,
В годы Сюань-цзуна дома Танов
Через Фу в Лоян их доставляли.
И поныне злобу и жестокость
Танского Линь-фу мы не забыли,
Но Бо-ю почтенного советы
Разве помнит кто-нибудь? Едва ли!
О, услышь, Небесный Повелитель,
Как живется тягостно крестьянам!
Разве прихоть Ян Гуй-фэй важнее
Мук народа, всех его страданий?
Пусть хлеба взойдут при теплом ветре,
Дождь пройдет не поздно и не рано,
Пусть не мерзнут и не чахнут люди —
Нет щедрей таких благодеяний!

...А знаете ли вы, что в Уишане
Открыли чай — «Дракон большой и малый»?
И вновь обозы на дорогах южных,
Как будто прежних бедствий не бывало!
От перевозок наживаться могут
Лишь те, кто родовиты и богаты,
Кто о своем печется рте и теле,—
А не они ль потворники разврата?
Но у меня или у вас, скажите,
Есть недостаток в этом ли товаре?
Конечно, были честные в Лояне
И преданные слуги государя,
Но я скорблю:
Цветы таохуана
Везут в столицу,
Как везли при Танах!

ТЕНИ

Ползут, поднимаясь на Яшмовый храм
Слоями: на слой надвигается слой.
Не раз уж говорено было слуге
Сметать их, как явится, тут же метлой!
Вот солнце, поднявшись и мир осветив,
Сгребло их в охапку и бросило вон.
Но кончился день, а с луною опять
Они возвращаются с разных сторон...

В ДОЖДЬ НАВЕЩАЮ ХРАМ ВСЕМИЛОСТИВЕЙШЕЙ ГУАНЬИНЬ НА ГОРЕ ТЯНЬЧЖУ

Стареет кокон, и хлеба   желты уже наполовину,
А за горой и под горой   упрямый дождь все льет и льет,
Крестьянин руки опустил,   крестьянка бросила корзину,
В высоком храме Белый Бог   один не ведает забот!

В ДАНЬЭР (II)

Постарел Дун-по, неуклюжим стал.
Что ни день — то новый недуг.
Борода жидка, голова бела,—
То не иней, а седина.
«Не дивитесь, что щеки мои горят,—
Я румян, но не так, как внук;
И когда смеюсь, то грущу, смеясь,
Потому что хлебнул вина!»

ВТОРЮ СТИХАМ ТАО ЮАНЬ-МИНА «ПОДРАЖАНИЕ ДРЕВНЕМУ»

Гость нежданный явился
И в ворота ко мне стучится.
Вот коня привязал он
К растущей у дома иве.
Во дворе моем пусто,
Разлетелись куда-то птицы,
И ворота закрыты,
И гость стоит сиротливо.
А хозяин за книгой
Заснул, на подушке лежа...
Мне во сне повстречался
Мой старинный, близкий приятель,
Только стук беспрерывный
Наконец-то меня встревожил,
Как от выпитой чарки —
Не осталось от сна ни капли!
Одеяло отбросив,
Вскочил, чтобы гостя встретить,
Стоя друг перед другом,
Смущены мы сначала были,
А потом за беседой
О былом и нынешнем свете
Я и мой собеседник,
Мы про знатность-чины забыли...
Он спросил: «Как случилось,
Что в этом живете крае?»
И ответил я гостю,
Что причины и сам не знаю!

ВТОРЮ СТИХОТВОРЕНИЮ ТАО ЮАНЬ-МИНА «ДОВОЛЬНО ВИНА!»

В год дин чоу я был отправлен в ссылку на Хайнань, а брат Цзы-ю — в Лэйчжоу; в одиннадцатый день пятой луны встретились мы и вместе добрались до места его поселения, а в одиннадцатый день шестой луны расстались на берегу моря. Я в это время чувствовал себя больным, вздыхал и стонал, и Цзы-ю не спал по ночам. И вот я продекламировал стихотворение Тао Юань-мина «Довольно вина!», а затем и сам написал, вторя поэту, строки в дар Цзы-ю на прощание, а также в знак решения не пить вина.

Видно, время приходит —
Ведь ничто в этом мире не вечно!
Век бывает и длинным,
Но ему все же будет предел.
Мы с тобою, о брат мой,
Шли одною стезей человечьей
И в глуши, на чужбине,
В стороне оказались от дел...
И опять — как печально! —
Разлучает нас эта коляска,
Я умчусь в ней надолго,
Я и этот подросток — мой сын.
Рад, что в доме твоем
Есть супруга — забота и ласка,
Под моею же крышей
Будет светочем Будда один.
Мы в долине средь гор
Повстречались — и вновь расставанье!
Провели неразлучно
Последнюю нашу луну,
Мне еще предстоит
Пробираться на север Хайнаня,
Как-нибудь эту жизнь
Там, на острове, и дотяну...
Но себя убеждаю
Идти по стопам Юань-мина,
Сил, конечно, немного —
И все же пора прекратить...
Я от хмеля больной,
Мне во вред веселящие вина,
Но здоровье поправлю,
Если брошу немедленно пить!

Я стремился к Пути,
И похоже, что близок, знаком он,
И его я увижу,
Отогнав от очей пелену,
Но отныне в обители
Старца с Восточного склона
Не заставит Ду Кан
Поклоняться, как прежде, вину!

С ЛОДКИ СМОТРЮ НА ГОРЫ

С лодки на горы смотрю — они
как резвые жеребцы.
Быстро мимо лодки летит
во сто голов табун.
Впереди — отчетливо предстают
скал исполинских зубцы,
Позади — испуганно мчатся прочь
бесчисленные беглецы.
Выше смотрю — крутая тропа,
склон каменист, высок.
По тропе неспешно идет человек,
едва приметный вдали.
Машу рукой, окликнуть хочу —
меня уносит поток.
Как вольная птица, летит на юг
мой одинокий челнок.

В НАЧАЛЕ ОСЕНИ ПОСЫЛАЮ ЦЗЫ-Ю

Теченье рек подобно теченью лет.
Все живое и мы уходим друг другу вослед.
И только сердце такое же, как всегда.
Память полна все тех же, прежних примет.
Помню, как мы запирали дверь поутру —
Тяжко осеннюю было сносить жару.
События древние мы изучали вдвоем,
И похлебка из лебеды не вредила нутру.
Осень кончалась, близился зимний хлад,
В окна и двери ворваться хотел листопад.
Я для тебя теплое платье добыл,
Малости этой был ты безмерно рад...

От ложных надежд   невеликий в юности прок.
Из мысли этой   нужно извлечь урок.
Видно, разлуки   избегнуть было нельзя;
Заслугам и почестям   вряд ли назначен срок.
Но сожалеть   не стоит об этом ничуть.
Оба состарились,   горя пришлось хлебнуть.
Поздно уже   держаться прежних путей,
Поздно уже   постигать истинный путь.
Осенью переговоры   о покупке земли предприму,
Встретить весну   надеюсь в новом дому.
В Снежном Жилище   по ночам только ветер и дождь —
А прежде твой голос   к изголовью летел моему.

* * *

Написано в Праздник середины осени.

В голубизне растворилось
Облако на закате.
Сковано все прохладой,
Всюду прозрачность такая.
По небу скользит бесшумно
Круглый сосуд из яшмы,
К востоку перемещаясь,
Млечный Путь рассекая.
В жизни моей, вспоминаю,
Не всегда выдавались
Радостные мгновенья
В этот праздничный вечер.
Новое полнолунье
В новом году грядущем
В далях такого края,
Вечно скитаясь, встречу.

ПОКИДАЯ ЦЗИНКОУ

Тонкий слой облаков.
В них укрылась луна.
Где-то в стражу вторую,
Протрезвев, я оставил причал.
За кормою все дальше уходит стена,
И во мгле городок всё трудней различать.

Дни веселья с друзьями
Я в сердце храню,
И о днях возвращения
Мысли гоню.
С головы моей
Набок повязка сползла.
Веер выпал,
Беззвучно скользнул на кровать.
Я заснул. И во сне
Жизнь иная была,
А проснулся —
И некому рассказать.
И когда, наконец, я не буду в пути,
Словно вихрем подхвачен,
Вдали от родных!..
Юго-запад
Их, к счастью, давно приютил,
Я на Юго-востоке

* * *

Это стихотворение написано в Динхуэйюане, что в Хуанчжоу.

Ущербный месяц. Редкие утуны.
Часы звенеть капелью перестали.
Все спит. Лишь кто-то,
Погруженный в думы,
Бредет один
Видением угрюмым,
Как лебедь,
Оторвавшийся от стаи.
Вдруг встрепенулся, повернулся круто,
Во взоре скорбь, но кто про это знает!
Все ветви перебрал,
Но почему-то
Нигде
Не отыскал себе приюта...
Студеная уцзян.
И клен листву роняет.

* * *

Попрошу вас в Дунпо сказать,
Что я здесь нахожусь теперь
И что мне в Нефритовый зал
Широко распахнулась дверь.

Дни за днями в разлуке бегут...
Кто Дунпо навестить готов?
Мостик весь утопает в снегу,
Там ничьих не видно следов.
Поскорей бы
Вернуться мне.
Поскорей бы
Вернуться домой!..
Вот и вешний день прозвенел,
Благодатный дождь над рекой.

НОЧЬЮ ВОЗВРАЩАЮСЬ ПО ОЗЕРУ СИХУ

Дождь над Сиху перестал.
Озерная гладь светла.
За осень на полшеста
Прибавилось здесь воды.
Свесившись за борт, гляжусь
В холодные зеркала,
В них старое вижу лицо
И пряди волос седых.
С пьяной моей головы
Ветер повязку рвет,
Гонит волны с реки,
И в них ныряет луна.
Я правлю в обратный путь
Один, не зная забот...
Пускай же мой утлый челн
Качается на волнах!

ХУАН ТИН-ЦЗЯНЬ

ПОД ДОЖДЕМ ГЛЯЖУ НА ГОРУ ЦЗЮНШАНЬ ИЗ БЕСЕДКИ ЮЭЯН

1 Был сослан на десять тысяч смертей,
седым возвращаюсь домой.
Живым пробрался через Цюйтан
и сквозь заставу Яньюй.
Уже я весельем полон, хотя
в Цзяннань еще не попал.
С высокой беседки Юэян
гляжу на гору Цзюншань.

2 Стою у перил напротив горы,
над озером ветер и дождь.
Закручены волосы феи Сян Э
в двенадцать тугих узлов.
Увы, двенадцать уступов скал
вздымаются из воды.
Колеблются горы из серебра
вокруг голубой горы.

ПОДНЯВШИСЬ В БЕСЕДКУ КУАЙГЭ

Опять смешной глупец отложил
правительственные дела.
Любуюсь под вечер из Куайгэ
закатом после дождя.
Листва опадает на сотнях гор,
уходят вдаль небеса.
Во всей спокойно текущей Чэн
уже отразилась луна.
Оплакал друга славный Бо Я
и красные струны порвал.
Темнели от счастья глаза Жуань Цзи,
отведавшего вина.
Вернулись из дальних стран корабли,
на пристани флейты поют.
Как белая чайка, на высоте
готов крылами взмахнуть.

ВПЕРВЫЕ ВЗГЛЯНУЛ НА ГОРЫ У РЕКИ ХУАЙ

Под шубой ветер, на шапке снег —
прощался с домом у леса.
Зеленая иволга, серый стриж —
пришло глубокое лето.
Мне нужно всего три котла зерна —
хочу зарабатывать деньги.
С надеждой сердце матери ждет
весь год моего возвращенья.
Живу в заботах, ночую в корчмах,
не знаю дня передышки.
Больными глазами на горы взглянуть —
и то не хватает силы.

О, если б вечернее солнце мне
увидеть на трех тропинках,
Когда умолкает гомон цикад
и ивы темны и тенисты...

ЧЖУ ДУНЬ-ЖУ

СТРОФЫ О РЫБАКЕ

От суеты мирской
Ушел, не страшась молвы.
То трезв, а то пьян опять,—
Случается когда как.
В бамбуковой шляпе своей,
В зеленом плаще из травы
Иней да снег привык
Смело встречать рыбак.
Ветер утихнет едва —
С удочкой вечером он.
И наверху и внизу —
Месяца волшебство.
Что небо и что река —
Мир в синеву погружен,
Где разве что гусь порой
Возникнет — и нет его!

* * *

Из объятий садов
Убежав на простор,
Здесь, над звонким ручьем,
Мэйхуа расцвела...
Нет, ее не страшит
Холод в горной глуши,
Ей как будто бы встреча
С весной не мила.
Кто узнает, о чем
Загрустила она,
Сокровенные кто
С ней разделит мечты?
Ароматная, нежная,
И — одна!
Разве месяц взойдет,
Чтоб взглянуть с высоты.

ЛИ ЦИН-ЧЖАО

* * *

Вижу снова простор голубой,
Над беседкою тихий закат.
Мы совсем захмелели с тобой,
Мы забыли дорогу назад.
Было счастье — и кончилось вдруг!..
В путь обратный пора нам грести,
Только лотос разросся вокруг,
Всюду лотос на нашем пути.
Мы на весла
Дружней налегли,
Мы гребем,
Выбиваясь из сил.
...И в смятении чайки вдали
Улетают с песчаной косы.

* * *

Весны приметы ярче с каждым днем.
Уютный дворик. Тихое окно.
Еще не поднят занавес на нем,
Но пали тени синие давно.
В молчанье с башни устремляю взгляд,
И струны цитры яшмовой молчат,
Над горною вершиной облака —
Они торопят сумерек приход.
Зыбь по траве прошла от ветерка,
Кропит дождем померкший небосвод.
Цветущей груше холода страшны,
Боюсь, цветам не пережить весны.

* * *

Весна тревожней стала и грустней,
И День поминовенья недалек...
Курильница из яшмы. А над ней,
Редея, извивается дымок.
Не в силах встать — лежу во власти грез,
И не нужны заколки для волос.
Прошла пора цветенья нежных слив,
Речные склоны поросли травой.
Плывет пушок с ветвей плакучих ив,
А ласточка все не летит домой.
И сумерки. И дождик без конца.
И мокрые качели у крыльца.

* * *

Слабый луч. Ветерок несмелый.
То вступает весна на порог.
Я весеннее платье надела,
На душе ни забот, ни тревог.
Я с постели только что встала,
Охватил меня холодок.
В волосах запутался алый
Мэйхуа опавший цветок.
Где ты, край, мне навеки милый?..
Нам в разлуке жить суждено.
Нет, забыть я тебя не в силах,
Не поможет тут и вино!
Свет курильницы тускло мерцает,
Словно омут, манит постель...
Догорает свеча и тает,
Но еще не проходит хмель.

* * *

Крик залетного гуся слышу,
Вижу яшмовой тучи следы.
Снова снег осыпает крыши,
Из курильницы тянется дым.
Птица-феникс — заколка резная,
И на ней отраженье свечи.
Отчего — я сама не знаю,—
Радость в сердце ко мне стучит.
Где-то звуки рожка на рассвете
Ускоряют утра приход.
Ковш с Тельцом в час урочный встретить
На востоке заря встает.
Ни цветочка нигде не видно,
Только знаю: весна в пути.
Ветер западный — так обидно —
Холодам не дает уйти.

УТУНЫ

Гор молчаливые толпы
Вижу я с башни высокой.
И на безлюдной равнине
Стелется дымка седая,

Стелется дымка седая...
Угомонились вороны —
Спят, прилетев издалёка,
Ярким закатом любуюсь,
Голосу рога внимая.
Свечи давно не курятся,
И опустели бокалы.
Грустно мне так и тревожно,
А отчего — я не знаю.
Не оттого ль, что с утунов
Листьев так много опало,
Листьев так много опало...
Осень, глубокая осень,
Тихая и глухая.

БАНАНОВАЯ ПАЛЬМА

Не знаю кем посаженная пальма
Так разрослась с годами под окном...
Она весь двор
Закрыла черной тенью,
Она весь двор
Закрыла черной тенью.
Листы ее
При ветра дуновенье
Все шепчутся
О чем-то о своем.
Лежу одна, печальная, в постели,
До третьей стражи — дождик за стеной,
За каплей капля
Проникает в душу,
За каплей капля
Проникает в душу.
Мне больше не по силам
Шум их слушать
И ночь в разлуке
Коротать одной.

* * *

Грусть в сердце. И смятенье дум,
Тревожит каждый звук.
Холодный мир вокруг угрюм,
И пусто все вокруг.
Луч обласкал — и вновь темно,
И холодно опять.

С ненастным ветром и вино
Не может совладать.
Печальный голос слышен мне:
«Наш старый друг, прощай!»
То гуси где-то в вышине
Летят в далекий край.
Здесь было много хризантем,
Цвели — и отцвели.
О них кто вспомнит и зачем?
Валяются в пыли.
Я у окна чего-то жду,
И скорбь меня гнетет.
А тут еще, как на беду,
Дождь льет, и льет, и льет.
Утун, промокший до корней,
И сумеречный свет,
И в небе, как в душе моей,
Просвета нет и нет.

* * *

Расплавленное золото заката
И яшма лучезарных облаков...
Не вместе ты со мною, как когда-то,
Ты в этот вечер где-то далеко.
Дымятся ветки опушенной ивы,
И звуки флейты грустные слышны,
Поет она про увяданье сливы,—
О, таинства извечные весны!
Удался Юаньсяо тих и светел,—
Принес он радость первого тепла,
Но разве не подует снова ветер
И не нависнет дождевая мгла?
Друзья по песням и вину гурьбою
Пришли за мной. Коляска ждет давно.
Хочу я быть
Наедине с собою,
Мне не нужны
Ни песни, ни вино.
А в мыслях — процветающий Чжунчжоу,—
Чреда ничем не омраченных дней.
Мне праздники весны под отчим кровом
С годами все дороже, все родней.
Усыпанные жемчугом уборы,
И камни изумрудные в косе,

И золотые на шелках узоры,
И состязанье в блеске и красе.
Но все прошло. И вот краса увяла.
От бури жизни — иней на висках.
И не манит уж больше, как бывало,
В ночных прогулках радости искать.
Мне лучше в стороне,
Вдали от всех,
За занавеской слышать
Чей-то смех!

ЯН ВАНЬ-ЛИ

МАЛЕНЬКИЙ ПРУД

Грустное око пруда, ручья беззвучные слезы.
Любят глядеться погожим днем в воду тенистые лозы.
Побеги лотосов только что проклюнулись из воды —
На острых проростках уже сидят маленькие стрекозы.

НА РАССВЕТЕ ВЫХОЖУ ИЗ ХРАМА ЧИСТОГО ЛЮБВЕОБИЛИЯ И ПРОВОЖАЮ ЛИНЬ ЦЗЫ-ФАНЯ

Виды Сиху в середине шестой луны
Не те, что зимою, осенью или в начале весны.
Листья лотосов в отраженье небес неиссякаемо бирюзовы.
В солнечном блеске цветы на воде по-особенному красны.

ЛУ Ю

У ПОЧТОВОЙ СТАНЦИИ ЦЗЯЧУАНЬПУ ПОПАЛ В МЕЛКИЙ ДОЖДЬ; ВОКРУГ СТАЛО УДИВИТЕЛЬНО КРАСИВО

Вешний ветер, дорожная пыль
докучали с утра в пути.
Быстрый дождь пробежал по горам —
и веселей идти.
В опасном ущелье узкий мосток
над синей кручей повис.
Цветы опадают — скользят лепестки
по зеленым утесам вниз.
Облако прямо перед глазами
одинокой птицей парит.
Внизу, под ногами, горный поток
далекой грозой гремит.

Смеху подобно,— ученый муж,
я жизнью не дорожу:
Сам выбираю опасные тропы,
долго по ним брожу.

ВЗДЫХАЮ

Вздыхаю, вздыхаю, тоски не могу унять.
Конца не видно — скитаюсь который год.
Иней пал — скоро зима опять.
Птицы кричат — солнце скоро зайдет.
Вальков стукотня — жены стирают мужьям;
Солдаток много и здесь, на краю земли.
Листвой завален ветхий почтовый ям,
И я, одинокий, от родины в тысячах ли
Средь барсов и тигров свой доживаю век.
Кровь на траве, кровь по терновым кустам —
Здесь, у дороги, съеден был человек.
А я от рожденья духом и тверд и прям.
Служил государству и даже семьей пренебрег.
Я и теперь не боюсь девяти смертей.
Но чем же семье, чем государству помочь?
Давно на равнине смута и стук мечей.
Муж отважный слез не смог превозмочь.
Мне рано в отставку — послужит еще книгочей:
Коня оседлает, и разбойников — прочь!

ДЕЛЮСЬ ЧУВСТВАМИ, МНОЮ ВЛАДЕВШИМИ В ХОЛОДНУЮ НОЧЬ

Сижу перед полной чаркой — не пью.
Печальные мысли пьянят сильнее, чем хмель.
Многое видел, побывал не в одном краю —
Тоску схоронить не смог ни в одной из земель.
В столицу приехал, помню, то было давно.
Конь на бегу гривой густою тряс.
На синей башне ночью пили вино.
Веселая песня в небесную даль неслась.
Вернуть невозможно счастья минувших дней.
До шеи свисают длинные пряди седин.
Прекрасна в окне луна над горами Эмэй:
Осень пришла, грущу с луною один на один.
Под утро луна озаряет пустую кровать:
Глаз не смыкал — цикады пели окрест.
Понял давно: от печали нельзя сбежать —
Чего же ради уйду из родимых мест.

НЕЧАЯННО НАПИСАЛ В БЕСЕДКЕ У ПРУДА

Сижу, беспечный, в тени беседки,
свищу на яшмовой флейте.
На беззаконную грусть о прошлом
зря потратил десятилетье.
Старое древо упало в поток —
кто же вспомнит о нем?
Сама не знает сухая полынь,
куда ее катит ветер.
Платан у резного колодца в полдень
тень рождает и тишину.
Рябью подернулся синий пруд —
чуть колышется тина.
Людям присуще радость искать —
так было и в старину.
Закон известный — его толковать
разве необходимо?

ПАВИЛЬОН ЦУЙПИНГЭ НА ЗАПАДНОМ УТЕСЕ

В далекой беседке полдня провел
с чаркой один на один.
Своими глазами видел осенний
вид Хэшаньских вершин.
Знаю — красоты здешних мест
словами трудно изобразить.
Рад — беззаботно брожу по горам,
сам себе господин.
Орлы слетают с высоких скал,
клекочут весь день.
В глубокой пади на водопое
вечерами трубит олень.
Живущий свободно, как сердцу угодно,
радость найдет в пути.
Жизнь просидевший в богатом доме
подобен узнику взаперти.

МАЛЕНЬКИЙ САД

Что южный, что северный край деревни —
горлиц слышу вдали.
Проростки риса торчат из воды —
полей неоглядна гладь.

Не раз бывал на краю земли,
отсюда в тысячах ли.
А ныне сам у сельчан учусь
вешнюю землю пахать.

ПРИ ЛУНЕ

Луна светла; двор пуст;
тени дерев наискосок.
В темных кустах шорох, возня:
не спит семейство сорок.
Старый ученый, ныне учусь
у несмышленых детей —
Пытаюсь поймать жука-светляка —
халат от росы намок.

НОЧЬЮ СИЖУ. КОНЧИЛОСЬ МАСЛО В ЛАМПЕ: В ШУТКУ НАПИСАЛ СТИХИ

Книгу хотел дочитать, но вдруг
в светильне фитиль погас.
Жаль, темно, не могу разобрать
последних несколько фраз.
Разве не глупо всю жизнь
потратить лишь на бумагу!
Засмеялся; окно распахнул, сижу,
с луны не свожу глаз.

ВЫЗДОРАВЛИВАЮ

В селенье горном болел — поправляюсь;
шапку надел — велика.
На юге, в долине Янцзы,— весна,
а мы всё тепла ждем.
Грущу,— в пустынном краю герой
стал немощней старика.
Вижу — цветы, воспетые всеми,
обрывает ветер с дождем.
Удобно лежу в подушках; вдыхаю
цветочный дух у окна.
Стыдно выйти — так разрослись
дикие травы в саду.

Книги расставил; читаю письмо;
отставил чарку вина.
Печальные вести — много несчастий
случилось в этом году.

СЛУШАЯ ДОКЛАДЫ, СМОТРЮ ВДАЛЬ, НА ГОРЫ МУМУШАНЬ

Нет покоя — с утра до ночи
чиновничья служба томит.
В пыли казенных бумаг задыхаюсь;
лицо со стыда горит.
Но кое-чем похвалиться и я
перед другими могу:
В окно присутствия горы видны —
прекрасный заречный вид.

ЧИНОВНЫЕ ДЕЛА

Когда же смогу, хотя бы на время,
уйти от чиновных дел?
Годы идут; на моей голове
волос уже поседел.
Только отдамся душевной беседе —
высокого гостя встречай.
Только что видел светлые сны —
вставай, бубенец прозвенел.
Уйти бы в горы под облака —
век бы на них глядел.
Дружил бы с овчаром и с дровосеком
за трапезой вместе сидел.
Стихи записал — пора бы теперь
в сердце смирить гнев:
Птице в неволе крыло подрезают,
что делать — таков удел.

НОЧЬЮ ДВАДЦАТЬ ПЯТОГО ЧИСЛА ТРЕТЬЕЙ ЛУНЫ НЕ МОГ ЗАСНУТЬ ДО САМОГО УТРА

Ночь не спал,   совсем головой поник.
Болею, болею,—   вовсе я стал старик.
Сяо-сяо —   тени бамбука в окне.

Чжэ-чжэ — птичий в заречье крик.
Зря выбивали ратный налог батогом.
Пыль, дым,— страна под варварским сапогом.
Спать не могу: печалюсь не о себе —
Плачу о нынешних временах, и ни о чем другом.

ЖАЛОБЫ КРЕСТЬЯНИНА

По взгоркам, где почва суше, пшеницу сею.
В низинах, где есть вода, сажаю рис.
До самой кости буйвол протер шею.
Пашем и ночью — кричу: давай, не ленись!
Из сил последних сеем, сажаем, пашем.
Страда не вечна — день отдыха недалек.
Но кто дубасит с утра по воротам нашим?
Уездный чиновник пришел собирать налог.
К уездной управе меня ведут под охраной.
Днем и ночью жестоко порют плетьми.
Кто же из смертных не трусит смерти нежданной?
Думал, умру, не простясь ни с родителями, ни
с детьми.
Домой вернулся, хотел обо всем поведать.
Не стал вестями тревожить родительский слух.
Лишь бы отцу и матери было чем отобедать.
А дети с женой — все равно, что лебяжий пух.

БОЛЕЮ

Болею; лежу в саду; стар,—
стала седой голова.
Снадобья пью — тем и живу;
одолело меня нездоровье.
В дымке луна; в невысоких горах,
слышу, кричит сова.
Свет из окна; на высоких деревьях,
вижу, воронье гнездовье.
Силу мою подорвали несчастья,
ложь, наветы, злословье.
Душу мою истомила нужда —
сердце бьется едва.
Юные годы вспомню — и вправду,
будто прошли века.
Не о себе говорю — о государстве
мысли мои и слова.

В СИЛЬНЫЙ ДОЖДЬ НА ОЗЕРЕ

Туман клубится в устье ручья —
озерная скрылась коса.
Дождь нежданный все поглотил —
горы и небеса.
Природе чуждо великолепье —
ее красота в простоте.
Луна в облаках провожает домой
рыбачьей ладьи паруса.

В НАЧАЛЕ ОСЕНИ НАПИСАЛ СТИШКИ НА РИФМУ: «СТАРИК У ОКНА ДОЖИВАЕТ ПОСЛЕДНИЕ ДНИ. К СТАРЫМ ДЕРЕВЬЯМ ОСЕНЬ ЯВИЛАСЬ ВДРУГ»

Всяк о себе
думает в наши дни.
По этой причине
столько несчастий вокруг.
Тот, кто не делит мир
на «я» и «они»,
Тот в этом мире
мой друг.

СОЧИНИЛ В ПОСТЕЛИ, А ДО ТОГО УСЛЫШАЛ, ЧТО НА МОРСКОМ ПОБЕРЕЖИИ У ГОР СЫМИН БОЛЬШОЕ НАВОДНЕНИЕ

Лежу в постели, тяжко вздыхаю,—
думы все об одном.
Совсем обнищал,— голодная смерть
теперь угрожает мне.
В доме холод; шумит, шумит
дождевая вода за окном.
Тысячу ли нынче прошел
ночью в тревожном сне.
Там — речные ракушки в полях;
ветер в горах, гром.
В приморских селеньях половину домов
затопила речная вода.
Вчера поздравлял соседа сосед
с изобильем осенних нив.
Надежды прахом — вместо еды
досталась людям беда.

ЗАПИСАЛ СВОЙ СОН

Если бы знать, сколько еще
  среди людей проживу.
Вальков стукотня, звуки рожка
  грустью тревожат слух.
Снова с войском иду на врага —
  в сновидении, как наяву.
Ныне тот же юный во мне,
  неукротимый дух.
На дальней заставе, помню, дивился
  небу цвета реки.
Все остальное забыл за годами —
  поседели давно виски.
Тело умрет, но никогда
  я в стихах не умру.
Кто же с первого взгляда по строчке одной
  не признает моей руки?!

СИНЬ ЦИ-ЦЗИ

СОВЕРШАЮ ПРОГУЛКУ НА ОЗЕРО ЭХУ И, ВЫПИВ ВИНА, ПИШУ СТИХИ НА СТЕНЕ ТРАКТИРА

Весна осела прочно на равнине —
Пастушья сумка всюду зацветает.
На борозды распаханного поля
Ворон крикливых опустилась стая.
Я стар и сед, а в сердце чувства зреют.
Кому и как их изольешь весною?
В лучах заката вывеска трактира.
Там, верно, отпускают в долг хмельное.
Живу в тиши,
Природой наслаждаюсь,
И в праздности
Проходят дни за днями.
Вот скотный двор. Кунжут и шелковица
У западной стены сплелись ветвями.
В зеленой юбке, в кофте белоснежной
Выходит незнакомка за ограду.
Она спешит родителей проведать
Теперь, когда окрепли шелкопряды.

ПИШУ РАДИ ЗАБАВЫ НА СТЕНЕ ДЕРЕВЕНСКОЙ ХИЖИНЫ

Уж вечереет. Но еще в деревне
Повсюду кур и уток гомон слышен.
Как разрослись тутовник с коноплею —
Их ветки возвышаются над крышей.
Тот счастлив, кто довольствуется малым,
Ему всегда завидую невольно.
В конце концов что требовать от жизни?
Наелся вдоволь — и с тебя довольно.
Я вижу
Молодую поросль ивы,
И отмели
Уже не те, что были.
Вот здесь когда-то ручеек струился,
Теперь его теченье изменили.
Когда на свет рождается ребенок,
Здесь чуда от него не ждут большого
И говорят: «Вот и невеста Юям!»
Или: «А вот и зять для дома Чжоу!»

ЧИТАЛ СТИХИ ТАО ЮАНЬ-МИНА И НЕ МОГ ОТ НИХ ОТОРВАТЬСЯ. РАЗВЛЕКАЯСЬ, НАПИСАЛ И ПОСВЯТИЛ ЕМУ НЕБОЛЬШОЕ СТИХОТВОРЕНИЕ

На склоне лет он сам ходил за плугом,
На трудности не сетовал в беседе.
Вина есть доу, есть к вину цыпленок —
И можно приглашать к себе соседей!
Что для него история династий?
И Цзинь и Сун — тщета больного века!
Фу-си считал он образцом для смертных
И был иного мира человеком.
Тысячелетье
В вечность отлетело,
А все живут
Бессмертные творенья!
И каждый знак, написанный поэтом,
В себе содержит ясное значенье.
Я размышляю: если б и поныне
Все здравствовали Се и жили Ваны —
Все их дела не стоили бы больше,
Чем прах с полей священного Чайсана!

ПРОВОЖАЯ ДРУГА

Давно умолкла «Песня о разлуке»,
Но на глазах слеза блеснет порою.
Нам много ль надо? Только б чашку риса,
А слава — дело для мужей второе!
Лазурь воды слилась с лазурью неба,
Их только разделяет кромка леса.
Вдруг опустилась туча дождевая
К подножию горы сплошной завесой.
Как в старину,
Так и теперь разлука
Вселяет в сердце
Горечь и досаду.
Затем ли, чтоб узнать и скорбь и радость,
Нам расставаться и встречаться надо?
Поднимется ли шторм в пути — не знаю,
Да и гадать не стоит понапрасну.
Одно я знаю, что дорога жизни
Трудна для человека и опасна!

* * *

Я один за судьбу отвечаю мою,
Небо спрашивать я ни о чем не желаю!
Одиноко
На башне высокой стою,
И в душе моей скорбь
Без конца и без края.
В неурочный вы час повстречались со мной:
Сон меня одолел, сердце отдыха просит...
Вам бы лучше, пожалуй,
Вернуться домой,
Вам бы лучше, пожалуй,
Вернуться домой...
И пускай ветер западный
Осень приносит!

ПОСВЯЩАЕТСЯ ДЕВУШКЕ, КОТОРАЯ ПРИСЛУЖИВАЛА ГОСТЯМ НА ПИРУ У ЯН ЦЗИ-ВЭНЯ

Совсем, совсем еще девочка —
Пятнадцать ей лет от рожденья.
И с нею за шелковым пологом
Один только ласковый ветер.

Как рад я: ее не заметил
Никто, в ком живет вожделенье.
Я слышал: она очень робкая
И быстро приходит в смущенье.
Едва вас завидит, как личико
Зальется под пудрою краской.
На вас разве только украдкой
Задержит свой взгляд на мгновенье.
У озера прошлой ночью
Сгустились холодные тени,
Она в окруженье подружек
От дома вдали загулялась.
Цветком она слабым казалась
Иль ивой, поникшей в томленье.
Она еще так неумело
Гостям подает угощенья,
Вино наливает — и мнится:
Вот-вот его на пол расплещет...
Ей петь — и в прическе трепещет
Цветок, выдавая волненье.

ОДИН ПРОВЕЛ НОЧЬ В ГОРАХ

Ничтожны века моего свершенья,
Все — от начала до конца — ничтожны.
Вокруг надолго утвердилась осень,
И тишиною насладиться можно.
Не спится мне. И слух мой жадно ловит
Все шорохи и звуки поздней ночи.
Бурлит, шумит ручей неугомонный —
На что он вечно сердится и ропщет?
Серп месяца, и бледный и холодный,
Навеял грусть. И грусти нет предела.
Далеко где-то петухи проснулись —
Ко мне их перекличка долетела.
Здесь мир иной. Здесь слава и нажива
Еще собой не заслонили света.
Но почему так рано встали люди
И трудятся задолго до рассвета?

ГАО КЭ-ГУН

ПРОЕЗЖАЯ ПО ОКРУГУ СИНЬЧЖОУ

На две тысячи ли вокруг
　　　прекрасны земли на вид.
Вдоль дороги чиновничьей весь откос
　　　бегониями увит.
Прошлогодние листья ветер метет,
　　　поторапливает коня.
Еще усердней, чем человек,
　　　весенний ветер спешит.

ЧЖАО МЭН-ФУ

МОГИЛА ПОЛКОВОДЦА ЮЭ ФЭЯ

Травою зарос могильный курган.
　　　Здесь лежит великий герой.
Безлюдно. Только каменный лев
　　　охраняет его покой.
Сановники, даже сам государь,
　　　трусливо бежали на юг.
На севере разве что старики
　　　о свободе вздохнут с тоской.
Однако давно убит Юэ Фэй —
　　　нет печальным вздохам числа.
Захватили Север чужие войска,
　　　и на Юге плохи дела.
Не сто́ит над озером Сиху
　　　грустную песню петь —
Красота пленительных гор и рек
　　　развеять скорбь не смогла.

ЦЗЕ СИ-СЫ

СВИТОК С ИЗОБРАЖЕНИЕМ ПЕЙЗАЖА

Чуть приметно деревья　колышутся в дымке седой.
Светит луна　над неровной горной грядой.
У дальнего берега　обратная лодка видна.
Слева и справа　утесы стоят над водой.

Является мысль от мирских соблазнов уйти,
С дровосеками и рыбаками дружбу отныне вести.
Обширное озеро, синие горы вдали.
В эту страну, увы, не знаю пути.

ХУАН ЦЗИНЬ

ЛЕНИВО НАПИСАЛ В ЛЕТНИЙ ДЕНЬ

Курильница возле подушки стоит,
поправляю палочки в ней.
Птицы поют под самым окном,
становятся тени длинней.
Дождь прошумел в бирюзовых горах,
чист небесный простор.
Не шелохнутся ветви дерев,
к вечеру все холодней.
Молодость от человека ушла,
подходит старости срок.
Сновиденьям конец, начало стихам —
словно вступаю в поток.
Сегодня ни Цю, ни Ян не пришли
в мой позабытый дом.
Ворота закрыл, стихи записал,
на жесткое ложе лег.

ВАН МЯНЬ

ЦВЕТЫ СЛИВЫ

Теплом повеял восточный ветр —
последний растаял снег.
Тянется горная цепь на юг
синяя, словно волна.
Слышу флейты печальный напев,
но деревьями скрыт человек.
Лепестки усыпали маленький мост —
их не сочтешь вовек!

ХУАН ЧЖЭНЬ-ЧЭН

ЗАПИСЬ, СДЕЛАННАЯ МНОЮ К ЗАПАДУ ОТ ГОРОДА

Потеплело. В раздумье
стою у открытых ворот.
Устремился за город,
в деревню на запад пошел.
Тревожусь о веке:
пережито немало невзгод,
Как изменился
некогда славный народ.
Не вижу деревьев,
ожиданьям своим вопреки.
Развалины храма,—
сохранилась только стена.
На месте беседки
ныне растут сорняки,
Где стояли дома —
овощей молодые ростки.
Так слонялся без цели,
по дорогам окрестным пыля,—
Случайно услышал
крестьянина грустный рассказ:
«Рисовая рассада
не высажена в поля,
Зеленых побегов
никак не дождется земля.
Крестьян молодых
угнали, не внемля мольбе.
Назначили день,—
их чиновник в управе ждал.
Буйвола нет —
паши на самом себе...
Всего не расскажешь
о горькой нашей судьбе!»
На сердце печаль
навеяла грустная весть.
Чем же помочь
беднякам несчастным смогу?
Стар я, себя
не смогу к землепашцам причесть,—
Как же теперь
осмелюсь досыта есть?!

КЭ ЦЗЮ-СЫ

МОСТИК

По лепесткам, как по снегу, еду верхом.
Аромат опавших цветов.
Близко, в кронах редких дерев,
иволги скорбный зов.
К мостику малому подошел.
Голубые тени весной.
Длинные ветви плакучих ив
залиты светлой водой.

НИ ЦЗАНЬ

СЛУЧАЙНО НАПИСАЛ В ПЯТЫЙ ДЕНЬ ШЕСТОГО МЕСЯЦА

Сижу и смотрю, как зеленый мох
ко мне на халат ползет.
Весенней водою наполнен пруд,
светел и чист небосвод.
Ни повозки, ни всадника в нашем краю
не встретишь за целый день.
Лишь случайное облачко порой
вслед журавлю проплывет.

СА ДУ-ЦЫ

УТРОМ ОТПРАВИЛСЯ В ПУТЬ ПО РЕКЕ ХУАНХЭ И НАПИСАЛ ОБ УВИДЕННОМ

Ранним утром   в лодке отправился в путь.
Свет зари   воду тронул чуть-чуть.
Нежные-нежные   деревья видны вдалеке.
Поднимается дымка.   Плыву по Великой реке.
Доносится лай,   трижды пропел петух.
Бредут бараны,   на буйволе едет пастух.
Над камышовыми крышами   сизые вьются дымки.
На полях зеленеют   осеннего риса ростки.
Плодов урожая   крестьянин отведать не смог.
Чиновники всюду   спешно сбирают налог.
С дамбами вровень   встала речная вода.
На дорогах разбойники,—   не спрячешься никуда.

А в столице Чанъани вельможных отцов сыны
Живут беспечально, в конюшнях стоят скакуны.
Утром гарцуют, вечером сбросят халат
В тысячу золотом, новый наденут наряд.
На пяти базарах, что ни день,— бои петухов.
Веселые песни из высоких слышны теремов.
Яшмовые красотки меняют бирки в игре.
Рядом другие разносят вино в серебре.
Не знает богач, что сейчас, когда ветер злей,
Крестьяне, стеная, урожай убирают с полей.
О счастливой осени мечтает, иззябнув, бедняк.
По колено в воде, вечно голоден, наг.
Жены и дочери ткут весь день напролет.
Мотыжат сыны, проходит за годом год.
Спешит крестьянин государству налог заплатить,
На могилах предков должные жертвы свершить.
Чтобы дамбу построить, как пленников, гнали мужчин.
Отнимают кормильца, дома сиротствует сын.
Вымирают деревни, некому сеять и ткать.
Из восточных земель доносятся стоны опять.
От голода мрут — не поднять иссохшей руки;
Гонят крестьян вдоль Великой реки.
Река Хуанхэ истоки берет в небесах.
Низвергается с шумом, пенясь в крутых берегах.
В древности люди наперед могли рассчитать.
Ныне не то, мельчает людская стать.
О реке Хуанхэ песня звучит моя.
Услышь, государь! Внемлите, князья!
Ветер воет, шелестит сухою травой.
Ветви колышет, играет моей сединой.

ГАО ЦИ

ИЗ СТИХОВ, НАПИСАННЫХ В ДЕРЕВНЕ

В краю восточном жилье
мне удалось найти.
Подыскал удобный валун —
рыбу с него удить.
Дождь предрассветный —
влажный ивняк на пути.
Ветер полдневный —
рис кончает цвести.

Стараюсь не вспоминать
прежнюю службу мою.
Стараюсь не отвечать,
когда на службу вернусь.
Чиновничья шляпа
не понравится в здешнем краю.
Выучусь шить
и крестьянское платье сошью.

УСЛЫШАЛ ЗВУКИ ФЛЕЙТЫ

Хлынули слезы, как только ветер
пенье флейты донес.
Одинокая лампа. Нити дождя.
Тихий речной плёс.
Прошу вас, не надо петь
о тяготах дальних дорог,—
В смутное время хватает и так
горя, печали, слез.

ПРИГЛАШАЮ ДРУЗЕЙ НА ПРОГУЛКУ

Снова не делаю ничего,—
весна безмерно грустна.
От города к западу горная цепь
ясно вдали видна.
Жду друзей,— я с ними хочу
на высокое солнце глядеть.
Меж цветов абрикоса успел захмелеть:
хватило чаши вина.

СЛУШАЮ ШУМ ДОЖДЯ: ДУМАЮ О ЦВЕТАХ В РОДНОМ САДУ

Столичный город, весенний дождь,
грустно прощаюсь с весной.
Подушка странника холодна.
Слушаю дождь ночной.
Дождь, не спеши в мой родимый сад
и не сбивай лепестки —
И сбереги, пока не вернусь,
цветы хоть на ветке одной.

НА РАССВЕТЕ ВЫЕЗЖАЮ ИЗ ГОРОДА ЧЕРЕЗ ВОСТОЧНЫЕ ВОРОТА, СЛЫШУ ПЛЕСК ВЕСЛА

Городские ворота открыты с утра.
Тихо иду вдоль реки.
Из тумана доносится гул голосов,—
мимо рыбного рынка иду.
Слышу всплески весла с воды,
стремительны и легки.
Селезень спящий затрепетал.
Чуть шелестят ивняки.
Челнок проплыл — набежавшие волны
лижут полоску песка.
Кажется, где-то колеса скрипят...
Снова плещет весло...
Повозка путника по склону холма
катится издалека.
Женщины трудятся во дворах:
слышится шум станка.
Я бродяга и по природе своей
не желаю судьбы иной.
Случайно спустился в бренный мир —
наутро уеду прочь.
Вспоминать напрасно, где и когда
эти звуки слышаны мной...
На востоке едва забрезжил рассвет.
Просыпаюсь в лодке, хмельной.

НОЧЬЮ СИЖУ НА ЗАПАДНОМ КРЫЛЬЦЕ ХРАМА НЕБЕСНЫХ ПРОСТОРОВ

Луна взошла. Храм тишиной объят.
Освещенный луной, один сижу на крыльце.
Пустынно вокруг,— монахи давно уже спят,
Я одинок. мысли к дому летят.
Светлячки огоньками в тумане кажутся мне.
Ветер в ветвях — цикады умолкли давно.
Любуюсь природой в глубокой ночной тишине...
Но ничто не сравню я с садом в родной стороне.

ХОЛОДНОЙ НОЧЬЮ В ЛОДКЕ ПО ОЗЕРУ ПЛЫВУ К ВОСТОЧНОМУ ДОМУ

Озерный залив. Рыбачье селенье.
Луна стоит в вышине.
Звонко разносятся над дворами
крики гусей в тишине.
Окутан туманом прибрежный храм,
колокол тихо звучит.
Давно причалили рыбаки,
пора бы домой и мне.
Холодный ветер свистит-свистит,
и вал холодный высок,
Жалею, что нет кувшина с вином,—
в лодке я одинок.
Сосед еще не ложился спать,—
наверное, ждет меня.
Тусклая лампа в желтой листве.
Жужжит на станке челнок.

НОЧУЮ ПОД ГОРОДОМ УСИ

Лодка во рву городском, где ивы
свисают над гладью вод.
Никак не хочет криком петух
возвестить открытье ворот.
Слышу звук водяных часов
в башне сторожевой.
Вижу горный хребет вдали,
когда зарница блеснет.

Вовсе заброшен вал городской,
заметны следы войны.
Однако же стали дороги вокруг
не так, как прежде, страшны.
В утлой лодке сижу один
и на огонь гляжу.
Горожанам не уподоблю себя,
спокойно смотрящим сны.

НАВЕЩАЮ ОТШЕЛЬНИКА ХУ

Переправился через реку,
но опять впереди река.
Залюбовался цветами,
а дальше снова цветы.
С весенним ветром дорога
была легка.
Незаметно к вашему дому
явился издалека.

В ДЕРЕВЕНСКОЙ ЛАЧУГЕ НОЧЬЮ ОБДИРАЮТ РИС

Обдирает крестьянка рис допоздна,
никак не ложится спать.
Темно и холодно в бедной лачуге,
дождь зарядил опять.
У тусклой лампы над колыбелью
шепчет: «Малыш, не плачь».
Тому, кто завтра отправится в путь,
еще еду собирать.

ВЕСНОЮ В ДОЖДЬ ГЛЯЖУ ВДАЛЬ

На дозорную башню высоко взошел,
вдаль на реку смотрю.
В «карете лаковой» езжу весной —
дела забросил давно.
С дикой груши опали цветы —
праздник по календарю.
За то, что этой весной не грущу,—
птичьи песни благодарю!

ВОЗВРАЩАЯСЬ В У, ДОСТИГ МОСТА ФЭНЦЯО

Некогда здесь была пагода, теперь остались одни развалины.

Похоже, вдали городская стена...
боюсь себя обмануть.
Не показалась гора Синьшань,
знакомой пагоды нет.

Удостоился должностей и чинов —
не в них, очевидно, суть.
Родимый говор слышу опять —
к дому привел мой путь!
В дымке заката скрыт монастырь.
Ворон кричит в тишине.
Осенний поток. Пустынный мост.
Молодые утки летят.
Посылать домой письмо за письмом
больше не нужно мне.
Одежды парадные скоро сниму
здесь, в родной стороне.

ТОЛЬКО ВЫЕХАЛ ИЗ ЗАПАДНЫХ ВОРОТ, НОЧЬЮ ПРИЧАЛИЛ К БЕРЕГУ

Каркает ворон. Светит луна.
Равнина пуста-пуста.
Обернулся и вижу: город вдали
не скрыла еще темнота.
Покинув семью — в первую ночь
начинает скучать человек.
Далекий колокол. Плеск весла.
Ночую возле моста.
Сплошной песок. В дымке луна.
Путник еще не спит.
Звуки песен из винной лавки.
Лампа в окне горит.
Отчего сегодня, отправившись в путь,
ночую у самых ворот?..
Все как тогда на реке Циньхуай:
лодка у темных ракит.

ГУН СИН-ЧЖИ

ПОЛЮБОВАЛСЯ ИВОЙ ЗА ВОРОТАМИ ЮНЦЗИНМЫН

Вербная поросль недавно была
в сережки облачена.
Всего три дня коротких прошло —
в листву оделась она.
Молодую ветку сломаю одну,
в город ее отвезу.
Пусть горожане получат весть:
стала более поздней весна.

ШАО СЯН-ЧЖЭНЬ

В НАЧАЛЕ ЛЕТА НА ЧИСТОМ РУЧЬЕ

Ветрено. Мелия расцвела.
    Волны бегут без конца.
Одинокая лодка на переправе.
    Пустынно у озерца.
Возле воды на песчаной косе,
    наклонившись, мальчик стоит.
Играя, ряску с воды собрал —
    кормит гусенка-птенца.

ЛАНЬ ЖЭНЬ

В ГОРАХ ВЕЧЕРОМ ВОЗВРАЩАЮСЬ ДОМОЙ

Возвращаюсь домой;   горная даль темна.
Омываю ноги;   отражается в речке луна.
У бедных ворот   сороки спокойно спят.
Между деревьев   снуют светляки допоздна.
Жена и ребенок   ждут меня и на этот раз.
Вареные овощи   нынче на ужин у нас.
Долго стою   в прохладе коричных дерев.
Звездный Мост   поднят высоко сейчас.

ХУ ЧЭН-ЛУН

ПЕЧАЛЮСЬ О КРЕСТЬЯНИНЕ, НЕ ИМЕЮЩЕМ ВОЛА

Простирается поле до самых гор
    сразу от края села.
Невозможно вспахать его одному,
    если нет в хозяйстве вола.
Старый крестьянин ведет борозду,
    сгорбившись над сохой.
Согнулись женщины под ярмом —
    ноша весьма тяжела.
Обгорели спины, руки болят,
    много сошло потов.
Недопахано поле, хотя до утра
    трудиться каждый готов.
В камышовую хижину воротясь,
    горькие слезы льют.

Кажется, будто ревут волы
из голодных их животов.
Вспоминаю, как в прежние времена
бывал урожайный год.
Крестьянам служили сотни волов
для полевых работ.
Пришли беспорядки вместе с войной,
благие ушли времена.
Погибли волы,— крестьянин скорбит,
кто горе его поймет?
Опушка рощи зеленой травой
уже заросла сейчас.
Был бы в доме бычок — пошла бы трава
ему на прокорм как раз.
Нет у крестьянина больше сил
дожидаться конца войны.
Плачет он, глядя, как в небесах
пасет вола Волопас.

ЛИНЬ ХУН

ПЬЮ ВИНО

Конфуцианских мужей восхищают былые года.
Древность хвалить — их основная нужда.
Родись они прежде дней государя Фу-си —
О чем бы стали беседы вести тогда?
Древние люди давно отошли во тьму.
Древние мысли лишь по книгам известны уму.
Одна пустота во многих тысячах книг.
Доверять невозможно речению ни одному.
Круглый год упиваться хочу вином.
Ведать в жизни ни о чем не хочу ином.
Знайте, что человек, пребывающий во хмелю,
В цепи вселенной служит главным звеном.

ЛЮ ЦЮ

ЖИВУ В ГОРАХ

Река огибает деревушку в лесной тиши.
В горы уходит тропа, теряясь в глуши.
Ведать не ведаю — там, средь лесов и гор,
Много ль семей, затаясь, живет до сих пор?

ЮЙ ЦЯНЬ

БЕЗЛЮДНАЯ ДЕРЕВНЯ

Деревня пустынна,   не топлены очаги.
Засуха и саранча —   пахарей бедных враги.
Те, кто постарше,   ушли пропитанья искать.
Малые дети   проданы за долги.
Ветер в домах,   рухнули кровли лачуг.
Лежит на постели   лунного света круг.
Правители местные   виновны в крестьянской беде.
Известить государя   было им недосуг.

ВОСПЕВАЮ ИЗВЕСТЬ

Тысячи ударов по долоту́ нужны,
чтоб известняк извлечь.
Обычной известью станет камень,
если его обжечь.
Известь дробят, измельчают в прах,—
она ничего не боится:
Хочет даже среди людей
чистоту белизны сберечь.

ЦЯНЬ БИН-ДЭН

СТИХИ О ПОЛЯХ И САДАХ

Весенние дни,—   стало тепло с утра.
Зимнее платье   уже постирать пора.
Чем же прикрою   тогда свою наготу?
Старая куртка   доходит едва до бедра.
До́ма родные   чарку подносят мне —
Можно тепло   почерпнуть в подогретом вине.
Много не пью —   пото́м пахать тяжело,
Сеять пора —   скоро конец весне.
С усердьем большим   в поле тружусь дотемна.
Куртку сбросил —   осталась шапка одна.
Если работаешь   без устали целый день,
Даже в мороз   одежда не будет нужна!
Считаете, греет   богатого лисий халат?
Всегда у него   руки и ноги болят!

СЮЙ ЧЖЭНЬ-ЦИН

НАПИСАЛ НА РЕКЕ ЦЗИШУЙ

В скитаньях провел два года,
третья осень грядет.
От дома вдали по реке Цзишуй
одинокая лодка плывет.
Вдруг увидел желтые хризантемы —
стало еще грустней.
Завтра снова в родимый сад
праздник Чунъян придет.

ЯН ШЭНЬ

ВТОРЮ ПЕСНЕ МОЕГО ДРУГА ВАН ШУНЬ-ЦИНА «ЛОДКА ПЛЫВЕТ»

Луна ясна,   безоблачен небосвод.
Видно отчетливо, как по Янцзы   из края далекого лодка плывет.
Словно вода, прозрачен   свет, струимый луной.
Гладь Янцзы не тревожима   даже самой малой волной.
С цветом неба сливается   цвет спокойной влаги речной.
Плакучие ивы на берегах   легко различить вдалеке.
Испуганы ярким светом луны,   птицы кричат на песке.
Бросить бы весла и бечеву,   подняться бы налегке,
С попутным ветром уйти в небеса,   плыть по Небесной Реке.

ЦИ ЦЗИ-ГУАН

НАПИСАЛ ВЕРХОМ НА КОНЕ

Еду на север, скачу на юг —
исполняю государев приказ.
Северной степью, цветами юга
любовался уже не раз.
Годы проходят — в каждом
три сотни и шесть десятков дней.
Верхом на коне с копьем наготове
каждый день, каждый час.

ВАН ЧЖИ-ДЭН

НОЧЬЮ ВСТАЛ НА ПРИЧАЛ В УСТЬЕ РЕКИ ХУАНПУ

На мелях в устье реки Хуанпу
волны о небо бьются.
В лунной дымке город застыл,
в тумане вершины ив.
Луна под утро еще светла;
рыбы в сетях бьются.
Люди готовят к отплытью лодки;
вот-вот начнется прилив.

ЛИ СЯНЬ-ФАН

НАПИСАЛ ПО ДОРОГЕ ИЗ ШАНЦЮ В ГОРОД ЮНЧЭН

В третьей луне ветер повеет —
по пшенице бежит волна.
На закатах с берега Хуанхэ
безмятежная гладь видна.
Везде — в селеньях, по краям полей
плакучие ивы стоят.
Дорога до самых ворот Юнчэна
вся зеленым-зелена.

ТАН СЯНЬ-ЦЗУ

НОЧУЮ НА БЕРЕГУ РЕКИ

Лежит тишина над осенней рекой,
редки лодок огни.
Ущербный месяц на небе слежу,
стоя в лесной тени.
Водяные птицы от света луны
встрепенутся, снова заснут.
Светлякам на крылья пала роса:
летать не могут они.

ЧЖАН ГАН-СУНЬ

ПЕСНЯ О СТРАШНОЙ ЗАСУХЕ

На рисовом поле иссохлась земля,—
готова дорога коню.
Стебли уже пожелтели совсем,—
гибнет рис на корню.
Пять месяцев — и ни капли дождя!
Скоро шестой пройдет...
Крестьяне горькие слезы льют,
в пустой глядят небосвод.
В прошлом году обильный снег
засыпал поля и сады.
Старики говорили — в новом году
будет много воды.
За месяцем месяц идет чередой,
солнцем земля сожжена.
Видать, голодное время пришло,
на рис поднялась цена.
По берегам Великой реки
ветер клубит песок.
В колодце нет ни капли воды,
бездействует водосток.
Птицы раскрыли клювы в лесах —
зной палящ и зловещ.
На дне иссякшей реки лежит
высохший мертвый лещ.
На измученных лицах кожа черна,
больные в каждом дому.
Десятерых уложит жара,
выжить — едва одному.
Если бы жизнедатным дождем
внезапно сменилась жара —
Вот бы радовались старики,
веселилась бы детвора!
В низинах влажных смогли б собрать —
пусть небольшой — урожай.
Но и в этот год в государев амбар
зерновой налог подавай!
Не уплатишь налога — чиновников жди,
страшна их скорая месть:
Сколько до смерти засекут
детей, стариков — не счесть!

ЧЭНЬ ЦЗЫ-ЛУН

ПЕСНЯ О МАЛЕНЬКОЙ ТЕЛЕЖКЕ

Скрипят колеса в желтой пыли
на вечернем пути.
Муж толкает, жена впряглась
в оглобли тележки.
Бросили дом —
куда же теперь идти?
Вместо обеда жуют на привале
ильмовые орешки.
Мечтают: в мирном краю
риса вдосталь — не то что в родном.
Сухую полынь
ветер гонит по свету.
Вдруг впереди
ограду увидели, дом.
Встретят гостей
и вволю накормят в нем.
Стучат в ворота — ответа нет;
давно покинут — пустого котла не сыскать.
Куда же дальше? В пустынном проулке
слезы льются дождем.

КОРЕЯ

Вступительная статья
М. Никитиной

Составление, научная редакция переводов
Л. Концевича

Подстрочные переводы со старокорейского М. Никитиной, Л. Концевича; с ханмуна — Е. Синицына, Л. Ждановой.

ПОЭТИЧЕСКОЕ СЛОВО В КОРЕЙСКОЙ КУЛЬТУРЕ

Историограф Ким Бусик, повествуя о создании ранних корейских государств, отнес появление первых поэтических произведений к 28 году н. э. Песни, которые сочинил правитель Силла Юри-ван, стали, как пишет Ким Бусик в «Исторических записях о Трех государствах» («Самчук саги», 1145), «началом песен и музыки на корейской земле». Юри-вану же приписывается и «Песня об иволгах». Внимание, которое уделил историограф этим событиям, говорит об осознании поэтического творчества как предельно значимого явления своей культуры, как свидетельства перехода от состояния «дикости» к государственности и цивилизации.

Такое отношение к поэтическому слову было унаследовано от тех далеких времен, когда на Корейском полуострове обитали отдельные племена, создавались племенные союзы. В их жизни большую роль играл ритуал, который в пережиточной форме сохранялся и позже. В первых веках нашей эры, когда возникают государства Силла, Пэкче, Когурё, складывается с помощью китайской своя письменная традиция, ритуальные поэтические тексты записываются. Они дошли до нас в исторических сочинениях, в обрамлении преданий и легенд, объясняющих древний поэтический текст, истинный смысл которого ко времени записи бывал уже забыт. Историки соотносили их с актами образования государств («Взываем к черепахе»), с критическими моментами в жизни первых правителей или важных в стране лиц («Песня об иволгах», «Море»).

Песня «Взываем к черепахе» входила в состав ритуала, призванного, по-видимому, поднять плодоносящую силу земли и подразумевающего активную роль в этом племенного вождя. «Взываем к черепахе», «Море», «Песня об иволгах» сохранились в переводах на китайский язык, который позже получил название ханмун (корейская разновидность древнего китайского литературного языка «вэньянь»). Произведения древней поэзии записывались и по-корейски, при помощи «хянчхаля» — одной из разновидностей

«иду»[1]. Они назывались «хянга», или «санвэ норэ»,— «песни родной стороны» (или «песни востока»), в противоположность «танси» — «танским стихам», то есть китайской поэзии.

Сохранилось двадцать пять хянга. Среди них — авторские произведения, сравнительно поздние. Встречаются и фольклорные, восходящие к древним обрядам (в том числе, возможно, свадебным, как «Песня о цветах»). Не исключено, что эти хянга, содержание которых со временем было переосмыслено, не менее древние, чем «Взываем к черепахе».

Судя по тому, что сообщается о хянга в сочинении буддиста Ирёна «События, оставшиеся от времен Трех государств» («Самгук юса», около 1285), где помещены четырнадцать текстов, к их созданию и исполнению прибегали в критических ситуациях в судьбе отдельного человека или целого государства. Астролог Юн творит хянга, чтобы сгинула комета — небесное знамение, грозящее вторжением с Японских островов; буддийский монах Вольмён слагает хянга — заупокойную молитву, дабы помочь духу усопшей сестры, и т. д.

Самые поздние хянга,— их одиннадцать,— принадлежат известному деятелю корейского буддизма и поэту Кюнё (917—973). По существу, это первый сохранившийся до нашего времени сборник поэзии на корейском языке. Хянга Кюнё исполнялись не только во время буддийских церемоний, где ими заменялись китайские тексты. По свидетельству современника, они были очень популярны в народе, их читали нараспев для исцеления от болезней, их тексты вешали на стены с целью отогнать духов. Хянга Кюнё — значительное явление как в истории корейского буддизма, так и в истории корейской поэзии на родном языке: их воздействие сказывалось столетия спустя.

Хянга содержат от четырех до десяти строк. «Десятистрочные» хянга (к ним относятся и хянга Кюнё) состоят из трех строф: двух четырехстрочных и последней двухстрочной, которая предваряется междометием. Их размер сейчас не вполне ясен из-за сложности расшифровки текстов, однако поэтика их в свое время осознавалась очень четко.

«Десятистрочные» хянга можно рассматривать как явление литературной поэзии. Их не только записывают, фиксируя текст спустя неопределенное время после создания. Их пишут на хянчхале и сами авторы. Некоторые хянга обнаруживают влияние буддийской и конфуцианской традиций, воспринятых из Китая, а также — китайской поэзии.

В то же время их создание (в том числе и написание) мыслилось как магический акт воздействия на мир в целом или на отдельные его феномены. Для исполнения песен «Взываем к черепахе» и «Море» требовалось, по словам

---

[1] Иду — способ записи корейских слов и целых текстов при помощи китайских иероглифов путем комбинированного использования их значений и звучания. По мнению исследователей, оказал влияние на создание японского способа записи «манъёгана» (см. вступительную статью к разделу «Япония»).

историка, «собрать вместе голоса», чтобы песня, кем-то в древности сложенная и неоднократно исполнявшаяся, проявила свою магическую силу очередной раз. Творит же хянга, то есть создает и исполняет, отдельная личность.

Остановимся на двух хянга — «Песне о хваране Кипха» и «Песне о туе», которые в известном смысле могут считаться первыми пейзажными произведениями в корейской поэзии. Для их создания выбиралось определенное время: лунная ночь,— вероятно, момент восхода луны в полнолуние. (Возможно, поэтому единственное светило в хянга — луна). Выбиралось место: берег, желательно обрывистый, над рекой или прудом, то есть водной поверхностью, ограниченной берегами. Человек, обращенный лицом к воде, в которой отражается луна, мысленно ставил себя в центре космоса, на оси мира, одновременно сопровождая эту операцию ритуальным по происхождению движением: поднимал голову вверх и смотрел на луну, затем наклонял ее и всматривался в отражение луны в воде. Потому, что являла собой отраженная луна, человек судил о состоянии космоса в данное время. При этом подразумевалось, что образ космоса определяется обликом «старшего» (хварана-наставника, государя), отраженная же в воде луна, по сути, есть также и отражение «старшего». Вся ситуация в целом воспроизводилась в хянга. Акт ее создания требовал огромного внутреннего напряжения и незаурядного поэтического дара. Здесь угадывается шаманская традиция, отшлифованная в «школах» хваранов, выполнявших среди прочих и шаманские функции, являвшихся хранителями и творцами древнекорейской поэтической традиции. Принципиальным моментом, во многом определившим характер и дальнейшее развитие поэзии, была высокая степень активности отдельной «рядовой» личности («младшего»: ученика, подданного), которая осознавала себя ответственной за происходящее в мире и осознавала за собой право и возможность влиять на космос в целом.

Строго говоря, в хянга «Песня о хваране Кипха» и «Песня о туе» не изображается пейзаж как таковой. Мы можем говорить лишь об элементе «пейзажности» в весьма специфическом тексте, о предвестии более позднего пейзажа (как изображения природы, доставляющего эстетическое наслаждение). В этих двух хянга образ мира приравнивался к образу «старшего». «Младший» же был призван относиться к «старшему», не просто констатируя соответствие или несоответствие его облика космосу. Он смотрит на лицо «старшего» «снизу вверх», с почтением, с обожанием. Он с предельным накалом чувств клянется в верности «старшему»; образ его он навечно запечатлел в своем сознании. Наконец, «младший» любит «старшего» («Песня о хваране Чукчи»). При этом отношение «младшего» диктуется только восхищением нравственными достоинствами «старшего». Если «старший» нарушает нравственные принципы, «младший» покидает его, выражая возмущение или обиду. В таком предельно эмоциональном отношении к «старшему» и содержалось зерно эстетического переживания пейзажа. Осмысление пейзажа как космоса в целом — через личность другого человека, стоящего нравственно и социально выше, мы обнаружим в претворенном виде и позднее в сиджо (на-

пример, у Мэн Сасона).

Хянга осознавались в период Силла как одна из высших государственных и культурных ценностей. Ими гордились, их стремились сделать известными за пределами своего государства, для чего переводили, перелагая в китайские стихи. Считалось, что хянга могут «потрясти Небо и Землю, растрогать духов» и что «не одним одам из «Шицзина» это дано».

Двадцать пять хянга — это одновременно и очень много и очень мало. Много потому, что эти тексты очень емки, они достаточно могут рассказать о жизни и духовном мире древних корейцев. У человека, слагавшего хянга, были свои, отличные от наших, представления о мире, о своем месте в нем, о назначении поэтического слова. Однако поводы, по которым они сочинялись, и чувства, которые испытывали их авторы, понятны нам: смерть близкого, внезапная слепота ребенка, горечь разлуки, нравственное потрясение, вызванное предательством человека, которому верил, и т. д.

По сохранившимся упоминаниям об авторах хянга, названиям не дошедших до нас произведений, сборников и т. д. мы можем судить о том, как богата была поэтическая традиция корейской древности и как немного от нее дошло до наших дней. В «Исторических записях о Трех государствах» говорится о создании в 888 году по специальному указу государыни Чинсон-ёван антологии «Самдэмок» («Свод поэзии древности»). Как знать, сохранись эта антология до наших дней, возможно, мировая культура располагала бы чем-то подобным японской антологии «Манъёсю».

Далеко не все, к сожалению, дошло до нас и из корейской поэзии на ханмуне, с неизбежностью возникшей и развившейся в Объединенном Силла под влиянием многовековой китайской культуры. Нередко способные молодые люди направлялись в Китай на обучение,— государство создавало административный аппарат по китайскому образцу. Затем в конце эпохи Силла были введены собственные государственные экзамены, где требовалось знание конфуцианских классиков и умение слагать китайские стихи.

Это довольно быстро принесло плоды, и уже IX—X века дают несколько крупных поэтических имен, прежде всего «трех Чхве»: Чхве Гвану, Чхве Сыну и Чхве Чхивона (псевдоним Коун, 857—?). Последний является гордостью корейской литературы. Выдающийся поэт, историк, государственный деятель, человек, прославленный высокой нравственностью,— таким он остался в памяти своего народа на многие столетия. В одиннадцатилетнем возрасте Чхве Чхивона отправили в Китай учиться, где он успешно выдержал экзамены на чин, служил и в общей сложности пробыл шестнадцать лет. Здесь он пережил бурные годы восстания Хуан Чао, непосредственно участвуя в этих событиях. Он был хорошо знаком с литературной жизнью тогдашнего Китая, поддерживал дружеские отношения с поэтами Гу Юнем, Ло Инем...

Творчество Чхве Чхивона разносторонне. Он пишет о родине, о разлуке с ней; затрагивает социальную проблематику («Дочери Цзяннани»); сквозной темой его творчества была тема дружбы («Дождливой осенней но-

чью»). Чхве Чхивону принадлежат первые в корейской поэзии пейзажные стихотворения на ханмуне. Они навеяны китайской даосско-буддийской традицией. Но в то же время близки по духу хянга: сильным личностным импульсом, напряженностью противостояния «я» и «космоса». Они, в сущности, не дают слияния «я» с «космосом». Безупречные с точки зрения принципов китайской поэтики, его стихи вместе с тем — стихи корейского поэта эпохи Силла: по мироощущению, по осознанию своей позиции в мире, своей роли в космосе.

Деятельность первых государей династии Корё (X—XIV вв.), направленная на укрепление центральной власти, в области культуры определялась стремлением «цивилизовать» свое государство на китайский лад. Закрепляется система государственных экзаменов, по китайскому образцу готовятся кадры чиновников. Экзамены сдают и буддийские монахи, претендующие на занятие духовных должностей. Усиливается роль конфуцианства, освящающего государственные устои; крепнет влияние буддизма, степень «китаизации» которого значительно повышается. Система хваранов теряет свое значение. Хвараны частично становятся буддийскими монахами, частично вырождаются в «рядовых» шаманов и предсказателей, а частично, видимо, сливаются с бродячими актерами и певцами. Все это понизило роль словесности на родном языке, и в первую очередь — поэзии, и повысило значимость словесности на ханмуне.

Если первыми прославленными корейскими поэтами, писавшими по-китайски, были прежде всего люди, получившие образование в Китае, то отныне отечественную поэзию на ханмуне представляют авторы, учившиеся у себя на родине. Таковы Чон Джисан (Намхо, ? — 1135), Ли Инно (Пхахан, Санмёнджэ, 1152—1220), Ли Гюбо (Пэгун-коса, 1169—1241) и др. Они прекрасно знали старую китайскую литературу, были хорошо знакомы с творчеством авторов близкого им по времени сунского Китая.

К XII веку центральная власть в Корё ослабла. Раздоры придворных группировок, выступления крестьян, следовавшие одно за другим иноземные вторжения, которым правители Корё не были способны дать должный отпор,— все это содействовало разочарованию части образованного сословия в идеалах, связанных с сильной государственностью. Создается почва для расцвета даосско-буддийской поэзии, возникает поэтическое течение «Литература бамбуковых рощ». Даосско-буддийские мотивы звучат в стихах Чон Джисана («Павильон Чанвонджон»), Ю Они («Минет весна — осень придет...»), Ким Гыкки («Ыльмильдэ»), Лим Чхуна («Пустынный храм»)...

Приобретает известность общество «Семеро мудрых из Страны к востоку от моря», куда входили Лим Чхун (Соха, вторая половина XII в.), Ли Инно и другие. Ли Инно в своем «программном» эссе «Долина журавлей в горах Чирисан» отвергает социальную жизнь и обращается к миру природы — единственному прибежищу в век смут и бедствий. Об этом же он пишет и в стихах (например, «Весна ушла...»). Для эпохи Корё характерна и другая тенденция в сфере поэзии на ханмуне, реализующая конфуцианские начала в ко-

рейской культуре: активное отношение к социальной жизни, стремление изменить ее к лучшему, выявив недостатки и указав на них.

Наиболее ярким представителем этого направления был Ли Гюбо — поэт разностороннего дарования. Он пишет стихи о старинных временах, когда правили мудрые государи — пример современным правителям (поэма «Тонмён-ван»); о положении землепашцев, которых разоряют чиновники, забывшие свои нравственные обязанности; о страданиях родины, о набегах разорявших ее монголов. Резкая критика Ли Гюбо политики двора облечена в традиционную форму. Согласно корейским культурным представлениям, за все происходящее в мире ответствен государь. А все симптомы свидетельствуют о катастрофическом неблагополучии в сфере правления. Нарушается порядок в природе («Молния в десятую луну»). Падение нравов в государстве достигло предела: мать бросает свое дитя («Ребенок, брошенный на дороге»). В творчестве Ли Гюбо сильны и даосско-буддийские настроения. Значительную часть его наследия составляют пейзажные стихотворения, стихи о бренности жизни и о вине («Преподнося вино...»). Он одним из первых начал писать любовные стихи в жанре акпу (китайск. «юэфу»). Творчество Ли Гюбо оказало большое влияние на последующие поколения поэтов, писавших на ханмуне.

Поэзия на ханмуне завоевывает в эпоху Корё такое же место в культуре, какое занимали хянга в эпоху Силла. С ней связываются патриотические устремления образованной части общества; именно она способна выигрышнее всего представить страну за ее пределами. Поэзия на родном языке отодвигается на второй план. Вот почему поэтических произведений на родном языке, носящих наименование «Корё каё» («песни Корё»), сохранилось не более, чем хянга. В отличие от эпохи Силла, в эпоху Корё, по-видимому, не делалось попыток собрать антологию поэзии на родном языке.

Каё более разнообразны по форме, чем хянга. Есть короткие, в несколько строк, и — длинные, содержащие более десятка строф. Отличаются они от хянга и тематически. Среди каё нет буддийских произведений, хотя воздействие буддийской традиции угадывается в некоторых из них. Несколько каё посвящены разлуке с любимым; некоторые содержат социальную критику. Встречаются каё на знакомую нам по хянга тему верности «старшему» (например, «Песня Чон Гваджона», «Песня о резце и камне»), которая здесь раскрывается как тема безоговорочной верности подданного своему государю. Примерно одна и та же ситуация — невольная несправедливость государя по отношению к подданному — в эпоху Силла породила энергичный протест Синчхуна, сложившего «Песню о туе» и восстановившего справедливость в мире, в эпоху Корё дала «Песню Чон Гваджона», где сановник Чон Со (литературное имя — Гваджон, середина XII в.) умоляет снова возлюбить его.

Вместе с тем в каё прослеживаются традиции хянга. Так можно говорить о родстве с пейзажными хянга песни «Тон-дон», начало которой воспроизводит, в сущности, тот же тип пространства и ту же связь между обликом

«космоса» и обликом «старшего», что «Песня о туе» и «Песня о хваране Кипха». В «Песне Чон Гваджона» варьируется формула верности из восьмой хянга цикла Кюнё «Постоянно следую учению Будды». В эпоху Корё была создана «Песня Чхоёна» — развившаяся в театральное действо хянга с тем же названием. Все это говорит о том, что традиции хянга не исчезли бесследно, но до поры не находились в фокусе культуры.

В конце XIV века в Корее утверждается новая династия Ли — событие, как и смена династий на рубеже IX—X веков, явившееся внешним показателем глубины социально-политических и экономических процессов, протекавших в недрах корейского феодального общества. Первая половина XV века была временем относительной стабилизации положения корейского государства, его военного усиления, периодом экономического и культурного расцвета. Новая династия укрепляет свои политические и идеологические основы, пропагандируя неоконфуцианство,— сунский вариант конфуцианского учения, интерпретированный в интересах авторитарного государства. И вновь поднимается роль китайской учености. Эта тенденция в ближайшие века находит крайнее выражение у части представителей высшего сословия в презрительном отношении к любому проявлению корейской культуры и восхвалению всего китайского, особенно там, где дело касалось словесности.

Вместе с тем существовала и другая точка зрения на свою культуру и на свою поэзию, которая корнями уходила в эпоху Силла и вела к хянга. В середине XV века создается корейская фонетическая письменность, которая существенным образом повлияла на дальнейшее развитие корейской литературы. Одним из первых произведений, записанных ею, была «Песнь о драконе, летящем в небе» — поэма, сочиненная по указу государя Седжона в 1445 году Чон Инджи и двумя другими поэтами. В ней воспевается новая династия, доказывается «право на существование» корейского государства. «Песнь» стала частью государственного ритуала. В 1447 году Суян-тэгуном (будущим государем Седжо) была написана «Песнь о луне, отраженной в тысячах рек» с тем, чтобы помочь духу усопшей государыни Сохон-ванху. Прообразом такого акта может служить создание буддийским монахом Вольмёном хянга «Молитва о покойной сестре».

Династия Ли приводит в порядок свой ритуал. О том, каков он был, рассказывают «Основы музыкознания» («Акхак квебом»), изданные Со Годжоном и др. во второй половине XV века. Из них мы узнаем, что к числу ритуальных песнопений, помимо «Песни о драконе», относились пять каё, в том числе «Тон-дон», «Песня Чхоёна», «Песня Чон Гваджона», о родстве которых с хянга уже говорилось. Они были записаны новым алфавитом в памятнике, в целом созданном на ханмуне. Появляются произведения, близкие по значению ритуальным, такие, как «Песнь о новой столице» Чон Доджона (Самбон, ок. 1337—1398 гг.), имеющая тройственную структуру и воссоздающая пространство по типу пейзажных хянга. Так реализовалась новая письменность в сфере «официальной» словесности.

«Неофициальное» применение новой письменности было связанно со своеобразным оживлением сферы «индивидуального» ритуала, знакомого нам по хянга, которая в новых условиях породила жанры сиджо и каса.

Жанр сиджо возник на рубеже XIV—XV веков. Популярнейший жанр средневековой поэзии, он просуществовал в течение нескольких веков; к нему нередко обращаются и современные поэты. Сиджо удивительным образом напоминает собой «десятистрочные» хянга. Оно повторило их тройственную структуру, унаследовало особую роль третьей, заключительной, части и т. д. В то же время сиджо — принципиально новое явление в корейской культуре. Сиджо довольно четко организовано метрически. Каждая из его трех строк содержит два полустишия, и стихотворение на русский переводится шестистишием. Полустишие состоит из двух стоп (обычно трех- и четырехсложных), за исключением первого полустишия третьей строки (то есть пятого) трехстопного.

События рубежа XIV—XV веков, связанные со сменой династий, произвели глубокое впечатление на современников. Для тех представителей высшего сословия, которые оставались верными последнему государю династии Корё в «проигрышной ситуации», нравственным прибежищем оказались вековые культурные ценности. Импульс к нравственному самоутверждению облекался в поэтическую форму, близкую хянга. Особенно это заметно в одном из ранних сиджо — стихотворении Чон Монджу (Пхоын, 1337—1392), обратившегося, так же как в свое время Чон Со, за вдохновением к восьмой хянга Кюнё «Постоянно следую учению Будды».

Традиция хянга дала образ высоконравственной личности: туя, не боящаяся непогоды. В хянга это — «старший». В сиджо «туя» не встречается, зато в той же роли выступает близкий образ — «сосна». Но «сосна» в сиджо — подданный государя, то есть «младший». Известно, что «сосна» в конфуцианской традиции со времен Конфуция ассоциировалась с преданным подданным. Этот образ появляется в сиджо авторов (Сон Саммун, Пак Пхэннён, Ю Ынбу и др.), отозвавшихся на узурпацию престола Седжо в 1456 году и погибших (их называют «шестью казненными»). Самоутверждение личности идет по новому руслу, однако сила импульса к самоутверждению своего «я» перед лицом нравственно неправого «старшего» говорит о воскрешении духа хянга.

Стихи сторонников новой династии, активно укреплявших государство, и стихи ее противников, а также — авторов, не признававших законным воцарение Седжо, полны пафоса гражданственности. Авторская личность проявляется в них как активная, утверждающая свои нравственные устои в трудных, а порою смертельно опасных социальных ситуациях. Это относится и к стихам военачальников, особенно Ким Джонсо (1390—1453).

Золотой век правления первых государей династии Ли длился недолго. Довольно скоро обнаружились кризисные явления бюрократизированного феодального общества, проявлявшиеся в крестьянских волнениях, в борьбе придворных партий, раздиравшей высшее сословие на протяжении

веков, ослаблявшей государство и подвергавшей опасности жизни людей, состоявших на службе. Новая династия не принесла социальной и нравственной справедливости и не дала гарантий безопасности отдельной личности.

Усиливаются «индивидуалистические» тенденции в корейском обществе, которое выработало для таких случаев особый идеал поведения и образа жизни — отшельничество,— подсказанный как опытом собственной культуры, так и навеянный китайской традицией. «Идеологической» его базой были даосизм и буддизм чаньского толка (корейск. «сон», японск. «дзэн»), получивший широкое распространение в Корее в XV—XVII веках. Бегство от мира становится чуть ли не массовым явлением. Расцветает пейзажная поэзия, получившая наименование «канхо»,— поэзия «рек и озер».

В сиджо тема природы приходит с появлением циклаиз четырех стихотворений Мэн Сасона (Кобуль, 1359—1431), воспевающего жизнь отшельника в течение четырех времен года, и с тех пор господствует в этом жанре. В сиджо, посвященных природе, сказываются традиции хянга. Сиджо наследует особую роль луны и ночного времени; внимание авторов сиджо привлекает главным образом тот тип пейзажа, который наметился в пейзажных хянга. Их сходство угадывается и еще в одном аспекте. Сиджо подчас воспроизводит некий индивидуальный ритуальный акт, осуществлявшийся обычно в полнолуние на рубеже заката солнца и восхода луны. Изображается окружающая обстановка и сам момент переживания человеком особого психологического состояния.

Непременным условием достижения этого состояния является одиночество. Созерцание гор, расцвеченных осенними красками, реки, в которой отражаются горы, рыбацкой деревушки на берегу, освещенных вечерним солнцем цветов сливы,— созерцание, дающее эстетическое наслаждение,— приближает это состояние. Внутренняя раскованность позволяет отождествить себя с белой чайкой, белой цаплей — почувствовать себя такой же, как они, частью природы. Размышления по поводу того или иного элемента природы,— чаще всего луны, гор, воды,— дает мгновенное постижение законов бытия. «Общение» с луной приводит к озарению, ощущению причастности мирозданию и ощущению «выпадения» из времени, неподвластности его ходу и причастности к вечности...

Однако создание хянга предусматривало воздействие личности («младшего») на космос, с тем чтобы привести его в гармоническое состояние. При этом не преследовались «личные цели», а имелись в виду интересы социума. В сиджо мы наблюдаем нечто иное: акт сугубо «индивидуалистический». И это не случайно. Сфера «индивидуального» ритуала в XV—XVII веках, породившая пейзажные сиджо и каса, тяготеет к пришедшим из Китая даосизму и чаньскому буддизму, для которых характерна ориентация на индивидуальное сознание, на освобождение личности от рамок обыденного.

И все-таки наследие хянга сказывается и здесь: оно проявляется в активном характере личности, остающейся один на один с мирозданием и ре-

шающей вопросы бытия. Как правило, сиджо изображает не безмятежное растворение «я» в природе, а скорее — энергичную устремленность к космосу, твердое намерение найти в нем свое место, так напоминающие противостояние «я» и «космоса» в пейзажных хянга. Подобно «гражданским» сиджо, пейзажные также сплав пришлой традиции с корейской культурной основой.

Несколько иное осознание человеком своей причастности мирозданию свойственно циклам сиджо. Сиджо объединялись в циклы по временному принципу, например, циклы Мэн Сасона и Юн Сондо (Косан, 1587—1671) («Времена года рыбака»); по пространственно-временному, как, например, «Девять излучин Косана» Ли И (Юльгок, 1536—1584), где описания девяти излучин реки соотносятся с четырьмя временами года. В циклах подчеркивается полное слияние ритма жизни человека с равномерным ходом времени в пределах годового цикла и суточного цикла. Это же ощущение времени было свойственно и другому жанру корейской поэзии на родном языке — каса.

Жанр поэм-каса появился в середине XV века, по-видимому, в результате синтеза традиций пейзажных хянга, воздействия каё и даосско-чаньских настроений. Одной из первых каса была «Воспеваю весну» Чон Гыгина (Пурухон, 1401—1481). Если проводить параллели между пейзажной живописью, начавшей развиваться в Корее примерно в эту же эпоху, то сиджо можно сопоставить с вертикальным свитком, каса же и циклы сиджо — с горизонтальным.

Расцвет каса связан прежде всего с именем выдающегося поэта Чон Чхоля (Сонган, 1537—1594). Чон Чхоль — разносторонний поэт, оставивший после себя семь томов сочинений на ханмуне, более восьмидесяти сиджо и четыре каса; последние принесли ему славу еще при жизни. Чон Чхоль сложил две пейзажные каса — «Квандонские напевы» и «Сонсанские напевы», пронизанные ощущением близости к природе. Воспевая величие природы, радость своего единения с мирозданием, поэт обращается к творчеству Ли Бо. Космический размах образов, масштабность сравнений сочетаются у Чон Чхоля с экспрессивностью и динамичностью. В корейской поэзии трудно найти описание природы, равное в этом отношении пейзажу в «Квандонских напевах». Несколько иной дается природа в «Сонсанских напевах», где смена времен года создает плавный временной ритм. Человек обретает радость в тихом общении с природой.

Особенности творческой манеры поэта проявились в двух самых знаменитых его каса — «Тоскую о милом» и «Продолжаю тосковать о милом»,— написанных в традициях народной лирической песни о покинутой возлюбленной. «Милый» здесь одновременно также и государь, о разлуке с которым печалится подданный,— «покинутая возлюбленная». Эти произведения были созданы поэтом во время его отшельнической жизни на юге страны в 1585—1587 годах и, по-видимому, не без воздействия «женских каса», широко распространенных в южных провинциях.

Продолжателем Чон Чхоля был другой известный поэт — Пак Инно (Ноге, 1561—1642), также сочинявший в жанрах сиджо и каса. Его каса «Песнь о местечке Ноге» и «Слово о глухом переулке» посвящены отшельнической жизни поэта. Природа у Пак Инно предстает более умиротворенной, чем у Чон Чхоля, переживание поэтом своего единения с ней ближе изображенному в «Сонсанских напевах», чем в «Квандонских напевах». Пак Инно был активным участником разгрома японской армии и флота во время Имджинской освободительной войны 1592—1598 годов. Военные и послевоенные его каса «Песня о мире», «Думы на корабле» и др., отразившие патриотические настроения эпохи, перекликаются со стихами национального героя корейского народа флотоводца Ли Сунсина (1545—1598).

Общее внимание поэзии XVI—XVII веков к человеку вне «деловой», официальной сферы проявилось в популярности не только пейзажной темы, но и любовной тематики. Она культивировалась в творчестве «кисэн» — гетер, среди которых было немало образованных и талантливых поэтесс. О наиболее известных из них слагались легенды, и их имена были знакомы каждому корейцу. Самой прославленной была Хван Джини (Мёнволь, 1506—1544). Совершенство сиджо Хван Джини, обращенных к личному в человеке, изящный юмор делают ее творчество незаурядным явлением в корейской поэзии.

Интимная тема звучит в каса XVI века и не только у Чон Чхоля. Под влиянием народных «женских каса» была создана «Тоска на женской половине дома» Хо Нансорхон (1563—1589), талантливой поэтессой, сестрой выдающегося писателя и поэта Хо Гюна (1569—1618), автора «Повести о Хон Гильдоне».

В процессе развития поэзии на родном языке от сиджо ответвляются «длинные сиджо» («чансиджо»). «Длинные сиджо» — общее название для нескольких разновидностей поэтических форм, по объему бо́льших, чем сиджо. Рождение «длинных сиджо» — одно из проявлений перемен, происходивших в корейской культуре XVII—XVIII веков.

Это было время активности идейного течения «Сирхак» («реальных наук»), приверженцы которого ратовали за поощрение практических наук, за проведение реформ в области экономики, большое внимание уделяли проблеме положения человека в обществе. В связи с этим обозначились и сдвиги в литературе. В поэзии и прозе появляется новый герой — человек низкого происхождения и положения, а вместе с ним находит отражение та сфера, где он живет и действует. Освещаются новые аспекты действительности — социальные и бытовые. Появляется новый читатель и новый автор, преимущественно анонимный. К чтению и сочинению поэзии на родном языке приобщаются ремесленники, торговцы, крестьяне. Большую роль в судьбе литературы на родном языке начинают играть женщины; недаром корейскую письменность и литературу на ней с пренебрежением именовали «женским письмом». Участие в литературной деятельности новых общественных слоев привело к небывалому расцвету литературы на родном языке,

в частности, поэзии. Впервые после давно утраченной антологии «Самдэмок» издаются обширные сборники поэзии на родном языке. В 1727 году выходит собранная поэтом Ким Чхонтхэком (Нампха) антология «Чхонгу ёнон» («Неувядаемые слова Страны зеленых холмов»), после которой на протяжении XVIII—XIX веков выходят более десятка различных антологий.

В «длинных сиджо», пожалуй, ярче всего выражено новое мироощущение эпохи. Человек, в силу даосско-буддийских воззрений ощущавший себя частицей великого и вечного космоса, здесь перестает осознаваться некой сущностью, лишенной социально-бытовых примет, равно как и звеном в отношениях «высшего» уровня: государь — подданный. Почувствовав себя свободным, не привязанным ни к какому сверхпорядку, он обращается к чисто человеческому миру. Этот мир, своего рода малый космос, не так уж велик. Но зато центром его является сам земной человек, радующийся жизни или сетующий на свои житейские незадачи, посмеивающийся и над другими, и над собой, метко и зло клеймящий бездельников и дармоедов. И все, что связано с его немудреной жизнью,— любовное приключение, семейные ссоры, торговля на базаре,— отныне важно и достойно быть предметом поэзии. Изменение картины мира, которое привело к рождению «длинных сиджо», принесло осознание сложности и многообразия материального мира и обычной человеческой жизни. Происходит резкий поворот к конкретному изображению действительности, увеличивается вес бытовой и психологической детали. В поэзию вливается разговорная речь, большое место занимает диалог.

Примерно та же эволюция, которую проделало сиджо на пути к «длинным сиджо», произошла и с другим традиционным жанром средневековой поэзии на корейском языке — каса. Во второй половине XVIII века появляется особая разновидность каса — «кихэн каса» (путевые записи), связанная с утверждением познавательного подхода к миру, с нарушением установившегося даосско-буддийского отношения к природе. Эти каса явились своеобразным отрицанием традиционных пейзажных поэм.

Наряду с ними большой популярностью пользовались «женские каса» («кюбан каса»), ведущие начало от народной поэзии и сохранившие многие ее черты. Темы «женских каса» — разлука с любимым, одиночество и несложившаяся жизнь в доме мужа, тоска по друзьям и родителям... «Женские каса», авторами и читателями которых были преимущественно женщины, как правило, анонимны.

Поэзия на ханмуне XV—XIX веков, как мы уже знаем, занимавшая ведущее положение в корейской словесности, в отличие от поэзии на корейском языке, сохраняет без изменений ту систему жанров, которая установилась века назад. Сохраняется в принципе та же, традиционная для нее, тематика: социальная критика с конфуцианских позиций, пейзажная поэзия, интимная лирика.

Как это было всегда в корейской культуре, поэзия на ханмуне и поэзия

на корейском языке не были отделены глухой стеной друг от друга. Взаимно дополняя друг друга, они составляли единое целое — корейскую поэзию. Мы уже знаем, что XV—XVII века были временем расцвета поэзии на корейском языке, временем создания непревзойденных образцов пейзажной лирики в жанрах сиджо и каса. Не уступала им и поэзия на ханмуне. Чтобы убедиться в этом, приглядимся внимательней к одному из стихотворений выдающегося деятеля корейской культуры поэта и прозаика Со Годжона (Сагаджон, 1420—1488) «Вешний день».

Это — маленький шедевр корейской пейзажной «живописи словом» в духе чань. Перед нами небольшой старый пруд ранней весной. Ивы и дикая слива «мэ» по берегам, заросшим мхом, вода в пруду — все ярко высвечено солнцем: «Струится золото плакучих ив, // яшму роняет слива. // Вешние воды синеют в пруду, // мхом окаймлен пруд. // Вешние чувства трудно понять — // и радостно, и тоскливо. // А ведь ласточек нет еще, // и цветы еще не цветут».

Слова «солнце» в стихотворении нет. Но солнце сразу же возникает в сознании читателя, оно является «активным действующим лицом» в этом предельно насыщенном цветом кадре.

Ранней весной в ивах пробуждается жизнь, и их тонкие голые ветки приобретают желтоватый оттенок, который пропадает с появлением листвы. Плакучая ива кажется золотой, когда на ее бесчисленные глянцевые желтые нити падает солнечный свет. С «золотом» соседствует белизна яшмы — отцветает, роняя лепестки, дикая слива «мэ». Синеет в зеленом кольце замшелых берегов вода, отражающая синеву неба. Яркие цветовые контрасты — золотое, бело-яшмовое, сине-зеленое, стянутые к маленькому пятачку пруда, вызывают представление о ясном весеннем дне, синем небе и сияющем солнце. Пейзаж развертывается по законам вертикального свитка: взгляд скользит вниз по свисающим к воде ветвям ив, провожает падающие лепестки, останавливается на воде пруда, на цветной кайме его берегов.

Созерцание залитого солнцем заросшего пруда доставляет наслаждение поэту, вызывает его восхищение. И это восхищение нам кажется естественным, мы разделяем его. Но чувство, которое вызывала у корейского поэта XV века и его читателя эта картина, было неоднозначным. В нем — и восхищение чудом весны, и острая печаль. И вот это для нас — неожиданность. Ведь стихотворение не содержит привычного объяснения: нет каких-то личных грустных или трагических обстоятельств, диссонирующих с ликованием природы. Значит, дело в самом пейзаже, в самой весенней природе, точнее — в ее восприятии человеком другой культуры. Разделить восторг поэта мы можем, разделить его печаль нам трудно. Постараемся же понять ее причины и оценить ее глубину.

В корейской культуре, как, по-видимому, и вообще в культуре стран Дальнего Востока, отношение к природе и соответственно к пейзажу в словесном и изобразительном искусстве было особым. Природа в целом и отдельные ее феномены — горы, реки, цветы — несут идею вечности мироздания. Каждый воплощает вечное как вечно сущее (луна, горы) или как вечно рож-

дающееся и умирающее, чтобы вновь родиться (солнце, цветы, трава). Осознание человеком своего места в мире идет через отождествление себя с теми явлениями природы, которые наиболее наглядно передают ее ритмы. Так, время между расцветанием и увяданием цветка, восходом и заходом солнца ассоциировалось с жизнью человека. Однако растение увядало и вновь зеленело и цвело весной; солнце уходило и вновь появлялось утром; человек же, умерев, не воскресал. Человеческая мысль искала выхода из этой ситуации, проблема смерти — бессмертия стояла остро в корейской культуре.

Посмотрим же, как под этим углом зрения «прочитывается» пейзаж в «Вешнем дне». Золотой иву можно увидеть только ранней весной, но такой она простоит недолго: зазеленеют ее ветви, превратятся в «зеленые нити», так часто воспеваемые корейскими поэтами. «Золото» — краткий этап в жизни ивы, он быстро пройдет. Опадающие лепестки символизируют краткость существования растущего и живого, они — символ необратимости хода времени — универсальный в дальневосточной культуре. То есть первая строка стихотворения говорит о вре́менном в природе, о неизбежности и необратимости ухода времени. Взгляд скользит вниз: вот старый пруд. Не раз расцветали, меняли листву деревья на его берегах, и так будет повторяться год за годом. А он еще долго останется все тем же. Он здесь с незапамятных времен, его берега затянулись мхом. Старый пруд — знак вечного (вспомним знаменитое хокку Басё).

Человек, как ива, минует раннюю молодость, наберет силу и, как опадающие цветы, кончит свой недолгий век. Солнце, так волшебно расцветившее пейзаж, угаснет. Уйдет из жизни человек. Об этом ему в полный голос говорят деревья, цветы, яркие краски природы, ослепительный солнечный свет. И чем ярче и ослепительней картина, тем острее ощущение собственной «обреченности»: он уйдет навсегда, пруд останется, а на его берегах будут каждую весну зеленеть и расцветать деревья. Отсюда — печаль поэта.

Важен и еще один момент: «переживание пространства». С точки зрения данной культуры, любой уголок природы, самый маленький,— всегда капелька воды, представляющая океан. Заросший пруд — вся природа в миниатюре, ее микромодель, где вертикаль обозначена деревьями, свисающими вниз ветвями, падением лепестков; горизонталь — замкнутой поверхностью пруда (ср. тую и пруд в хянга «Песня о туе»).

Поэт (а с ним и его корейский читатель) переживает одновременно глубоко противоположные чувства: радость весны и горечь весны. Радость — наслаждение от приобщения к красоте природы, от осознания причастности к великому миру и его законам. Горечь — глубокое мучение от приобщения к трагическому. Как уже говорилось, проблема смерти — бессмертия всегда была острой в корейской культуре: человек постоянно осознавал временность своего существования на земле. Искусство и литература в духе чань давали психологическую разрядку, вызывая у человека «одновременную и разно-

направленную эстетическую реакцию». Пейзажная поэзия на ханмуне, стихи в жанрах сиджо и каса были столь же явлением эстетическим,— это была поэзия в высшем смысле этого слова,— сколь и явлением религиозно-философским, ибо здесь проблема соотношения конечности жизни и вечности бытия разрешалась путем духовного приобщения к особому божеству — природе.

Каждая эпоха выдвигала своих кумиров — поэтов, писавших на ханмуне. В XV—XVI веках ими были прежде всего Ким Сисып (Мэвольдан, 1435—1493) и Лим Дже (Пэкхо, Кёмджэ, 1549—1587), вошедшие в историю корейской литературы также как блестящие прозаики. Они развивали традиции социальной критики, заложенные в корейской поэзии еще Ли Гюбо. Трудно было бы ожидать от авторов XV—XVI веков понимания подлинной природы социальной несправедливости в феодальном обществе. Они объясняли ее с конфуцианских позиций, ища корни зла в дурном правлении, в забвении правителем и его чиновниками нравственных норм. Не видя истинных причин, они тем не менее прекрасно видели и с большой художественной наглядностью изображали их следствия — разорение страны, отчаянное положение тружеников-крестьян, живущих под непомерным бременем поборов, бесстыдство и алчность обирающих их чиновников.

Проблема судьбы страны, находящейся во власти недостойных правителей, поднималась в творчестве Квон Пхиля (Сокчу, 1569—1612) («Верхом на коне произношу стихи»), Хо Гюна и других поэтов. Стихи Лю Монъина (Оудан, 1559—1623) («Гребень») — поэта и выдающегося новеллиста — перекликаются с произведениями Ким Сисыпа, посвященными бедствиям тружеников.

В XVIII веке лучшими считались четыре поэта, писавшие на ханмуне: Ли Донму (Хёнам, 1741—1793), Лю Дыккон (Нэнджэ, 1748—?), Пак Чега (Чходжон, 1750—1805), Ли Согу (Сованджон, 1754—?). XVIII век — период расцвета движения «Сирхак», и многие поэты были активными его приверженцами. В это время живет и творит один из выдающихся умов своего времени — Пак Чивон (Ёнам, 1737—1805), философ, прозаик, поэт. В творчестве Пак Чивона, как и другого идеолога течения «Сирхак», Чон Ягёна (Тасан, 1762—1836), ярче всего отразились передовые настроения, захватившие корейское общество в XVII—XVIII веках. Они проявлялись прежде всего в резкой критике различных социальных явлений современной им действительности. И в то же время тот и другой были талантливыми поэтами-пейзажистами. Пак Чивону принадлежит знаменитая «Поэма солнца»; в обширном наследии Чон Ягёна почетное место занимают пейзажные миниатюры.

Как правило, образованный кореец мог слагать стихи и на ханмуне, и на родном языке. Примерами могут служить полководцы Нам И (1441—1468) и Ли Сунсин, Ким Санхон (Чхоным, 1570—1652) и многие другие. Правда, история корейской литературы не знает примеров, когда поэт был бы равно талантлив в той и другой области. Что-то все-таки удавалось лучше. Так, по общему признанию, Чон Чхоль был непревзойденным мастером каса; от-

дельные его сиджо вызывали нарекания современников; стихи же на ханмуне оценивались ниже, чем его произведения на родном языке. Хо Нансорхон, автор каса «Тоска на женской половине дома», прославилась и как автор великолепных стихов на ханмуне, которыми гордилась Корея. Их сборник был издан в Китае раньше, чем на родине, что по тем временам было высшим признанием поэта. Позже ее стихи издавались в Японии (1711 г.), где снискали большую популярность.

Общим для корейской поэзии на родном языке и на ханмуне было видение мира, ощущение времени. И в той, и в другой сфере поэзии можно встретить сходную поэтическую образность. Все это при чтении создает впечатление целостности, единства культурного явления, именуемого корейской поэзией.

М. НИКИТИНА

ЮРИ-ВАН(?)

ПЕСНЯ ОБ ИВОЛГАХ

Иволги золотые порхают вдвоем,
Парой летят — неразлучны он и она.
Об одиночестве нынче мысли мои:
С кем скоротаю теперь дорогу домой?

НЕИЗВЕСТНЫЙ АВТОР

ВЗЫВАЕМ К ЧЕРЕПАХЕ

Черепаха, эй, черепаха, слушай меня!
Из-под панциря высунь голову, я велю!
Если сейчас же не высунешь ты головы —
На огне поджарю тебя и съем!

ЫЛЬЧИ МУНДОК

ГЕНЕРАЛУ ЮЙ ЧЖУН-ВЭНЮ

Уменье по звездам читать принесло
тебе немало побед.
Уменье войска по земле вести
твое весьма велико.
Ты мыслишь, будто в ратных делах
у тебя соперников нет.
Остановись же скорей — таков
тебе мой добрый совет.

ИЗ ПЕСЕН «ХЯНГА»

АСТРОЛОГ ЮН

ПЕСНЯ О КОМЕТЕ

С восточного древнего берега вижу я
Город, над коим гандхарвы вечно кружат.
Вижу: японское войско войной пришло.
На границах огни сигнальные зажжены.
Прослышав, что три хварана в горы пошли,
Даже луна засверкала в полную мощь.
Некто, увидев «звезду, подметавшую путь»,
Воскликнул: «Это комета, смотрите все!»
Плавно комета прочь уплыла с небес.
Полно, комета ли это вправду была?

ТЫГО

ПЕСНЯ О ХВАРАНЕ ЧУКЧИ

Горестью томлюсь о былой весне.
Плачу и скорблю, разлучен с тобой.
Облик твой, являвший мне красоту,
Временем безжалостно искажен.
Если б хоть на миг былое вернуть,
Встретиться, как в прежние времена!
О хваран! Стезю навсегда избрал
Разум мой, тоскующий о тебе, —
Такова ль она, что заснуть смогу
В переулке, где разрослась полынь?

СИНЧХУН

ПЕСНЯ О ТУЕ

Туя густая — в дни, когда осень придет,
Не увядает — таков природы закон.
Ты говорил мне: «Я не забуду тебя».
Но изменилось ныне твое лицо.
В старом пруду лежит отраженье луны.
Взболтан волнами песок. Воистину так:
Сколько бы ни смотрел я на облик твой —
Он искажен, и с ним искажен весь мир.

ВОЛЬМЁН

МОЛИТВА О ПОКОЙНОЙ СЕСТРЕ

Жизни и смерти стезя была пред тобой.
В жизни прошедшей страшно было тебе.
Ты не сказала даже: «Я ухожу»,—
Прежде, чем смерти стезею от нас ушла.
С первым осенним ветром листья летят,
С веток сорвавшись, и падают здесь и там,
Словно бы уходя в неведомый край,—
Так вот и мы разлучились ныне с тобой.
В мир Амитабы приду и встречу тебя —
Жди, покуда я путь до конца пройду!

ЧХУНДАМ

ПЕСНЯ О ХВАРАНЕ КИПХА

Вверх посмотрю: недавно взошла луна
И не плывет за белым облаком вслед,
Ибо не должно за облаком плыть луне.
Вниз посмотрю: в реке, в голубой воде,
Образ хварана Кипха встает предо мной.
Здесь, над рекою Иро, на обрыве, клянусь
Следовать зорко пределам своей души —
Ибо, как должно, тебя сберегает она!
Ты, словно туя высокая, о хваран!
Инея ты не страшишься в «холодный год»!

ЧХОЁН

ПЕСНЯ ЧХОЁНА

По столице всю ночь я гулял,
Высоко светила луна.
Вижу, придя домой,
На ложе — четыре ноги.
Две ноги, конечно, мои,
Ну, а чьи две другие тогда?
Прежде тоже были мои,
А теперь не мои. Как же быть?

К Ю Н Ё

ПОСТОЯННО СЛЕДУЮ УЧЕНИЮ БУДДЫ

Заветы нашего Будды, желанья его,
Добытые им на пути тягот и скорбей,
В перерожденьях прежних данные им,
Преданно исполнять буду я всегда.
Пусть обернется прахом тело мое,—
Пусть мне и жизнь суждено за это отдать,—
Твердо стою и вовек с пути не сверну,
Все будды всегда поступали именно так.
Разум, увидевший вечного Будды путь!
Разве захочешь свернуть ты на путь иной?

МОЛЮ О ТОМ, ЧТОБЫ ПОВЕРНУЛОСЬ КОЛЕСО ЗАКОНА

В мире, что Будды радением возведен,
К престолу Будды направив свои стопы,
Молю, чтоб излился вечной истины дождь
На этот погрязший в заботах суетных мир.
Да оросит он поля, где все живое живет,
Где произрасти не в силах побеги добра,
Ибо, корнями в грубую почву уйдя,
Души живые пылают в огне страстей.
Да взойдет луна пробужденья над миром земным,
Да настанет осень, да созреют познанья плоды!

Ч Х В Е   Ч Х И В О Н

ВЕТЕР С ВОСТОКА

Знал: непременно в урочный час
из-за моря ветер придет.
Стихи на рассвете читал у окна,
размышлял всю ночь напролет.
Не успел пожалеть, что ветер исчез,—
он снова коснулся книг,
Словно поведал: в родном краю
время цветения настает.

НАКАНУНЕ ВОЗВРАЩЕНИЯ В ХЭДОН С ВЫСОКОГО ГОРНОГО ПИКА СМОТРЮ ВДАЛЬ

На горизонте туманные волны
безбрежны, почти черны.
Там предрассветный ворон летит,
там заставы отчизны видны.
Стихла тоска, лишь достиг этих мест,
седеть перестали виски.
Нежданно улыбка коснулась лица,
веет дыханье весны.
Волны морщат песчаный мыс,
берег цветами пестрит.
Облака окаймляют вершину горы,
склоны прекрасны на вид.
Я бы тысячу золотом сразу отдал,
послал бы к торговцу вином.
Кто бы взялся мне блаженство купить?
Вино блаженство сулит.

ИВА У СКИТА «ВОРОТА У МОРЯ»

«Бабочки-брови», близ Гуанлина
я с вами расстался давно.
Думал ли, что красавицу мне
вновь повстречать суждено?
Не смею с ивы никак отломить
даже тонкую ветвь.
Гуаньинь, милосердой, дерева жаль,
сердце трепетом пронзено.

ДИКАЯ РОЗА

Дикая роза,   расту на заброшенном поле,
В уединении   тонкие ветки клоню.
Северный ветер утихнет —   и я неподвижна,
Дождь прошумит —   аромат свой подолгу храню.
Конный, в повозке ль   проедут, меня не похвалят;
Бабочки, пчелы   тайком друг за другом следят...
Стыдно: взрастаю в глуши,   на земле захудалой.
Больно: вдали ото всех я,   никто мне не рад.

ВЕСЕННИМ ДНЕМ ПРИГЛАСИЛ БЛИЗКОГО ДРУГА, НО ОН НЕ ПРИШЕЛ, ПОЭТОМУ ПОСЫЛАЮ ЕМУ ЭТИ «ОБОРВАННЫЕ» СТРОКИ

Старая горечь в сердце моем,
    едва Чанъань вспомяну.
В саду, который заброшен и пуст,
    нестерпимо встречать весну.
Опять вы пыльный мир предпочли
    прогулке в горах со мной.
Жаль, что тот, кого другом считал,
    у корысти и славы в плену.

БЕСЕДКА ЛИМГЁН НА РЕКЕ ХВАНСАН

Окутаны горы дымкой.   Широкий речной простор.
В зеркальной воде отразились   деревня и зелень гор.
Возникший внезапно парус   наполнился ветром, исчез.
Мелькнула и скрылась птица...   Покой земли и небес.

В ШАНЬЯНЕ РАССТАЮСЬ С ДРУГОМ ИЗ РОДНЫХ МЕСТ

Повстречались — недолгая радость:
    в горы Чу воротилась весна.
Вот опять предстоит разлучиться,
    и слезами наполнен платок.
Жизнь гонимого ветром скитальца
    то уныньем, то верой полна.
Земляка на чужбине увидеть
    удивительный случай помог!..

БЕСЕДКА НА ОЗЕРЕ ПОЯНХУ В ЖАОЧЖОУ

На закате стою, читаю стихи,
    конца размышленьям нет.
Взглядом одним охватить могу
    реки и горный хребет.
В заботах о нуждах народа покой
    чиновник забыл давно.
Достоянье отшельника-рыбака —
    ветер и лунный свет.

ХРАМ «ВЕРШИНА В ОБЛАКАХ»

За ветви цепляясь, вершины достиг
облачной белизны.
Стою, в тишине созерцаю простор,
безмерную пустоту.
Как на ладони, тысячу гор
вижу теперь с вышины.
Десять тысяч деяний людских
в груди моей заключены.
На освещенном солнцем снегу
пагоды тень лежит.
Ветер меж сосен врачует слух,
небосвод бесконечно высок.
Зарей и дымкой любуюсь вновь,
по лицу улыбка бежит.
Скоро в пыльную клетку свою
вернуться мне надлежит.

МЕСТО В ГОРАХ КАЯСАН, ГДЕ Я ЧИТАЛ СТИХИ

Грохочет поток в ущелье, меж скал,
ставших гряда за грядой.
В пределах шага не разберешь,
что сказал собеседник твой.
Все же боюсь: а вдруг долетят
голоса мирские сюда?
Так пусть заполнит горный простор
водопада рев громовой!

ДАВНЕЕ СТРЕМЛЕНИЕ

Красавицей гордой даже лиса
прикинуться может подчас.
Не хуже ученого мужа барсук
способен трактаты писать.
Как этих оборотней разгадать,
увидеть их без прикрас?
Они, человеческий облик приняв,
ловко морочат нас.
Выдать одно за другое легко,
да много ли толку в том?

Быть господином желаний своих,
право, куда трудней.
Правду от лжи отличать хочу,
во всем, что вижу кругом.
Зерцало сердца готов шлифовать,
чтоб истину видеть в нем.

ВОШЕЛ В ГОРЫ

Для чего восхваляешь ныне, монах,
красоты зеленых гор?
Если прекрасны они, зачем
покидаешь горный простор?
Хотя бы раз не сочти за труд
взглянуть на мои следы:
Я в зеленые горы однажды вошел —
не уходил с тех пор.

ДОЖДЛИВОЙ ОСЕННЕЙ НОЧЬЮ

Читаю стихи,   в сердце горечь храня.
В суетном мире   истинных мало друзей.
За окнами дождь.   Светильник. Сижу у огня.
Думы мои —   за тысячу ли от меня.

ПАК ИННЯН

МОНАСТЫРЬ ГУЙШАНЬСЫ В СЫЧЖОУ, КОТОРЫЙ Я ПОСЕТИЛ, БУДУЧИ ПОСЛАННИКОМ В СУНСКИЙ КИТАЙ

Крутые уступы, глыба на глыбе,—
скала причудлива и высока.
Венец вершины — пустынный храм;
внизу, под скалой, река.
На воду падает пагоды тень,
мерцает лунная рябь:
Било ударит — луна всколыхнется —
звук улетит в облака.
Перед вратами ладья с гостями
носом режет волну.
Досуг монахов — отдых в беседке,
беседа и шахматная доска.

Гонец государев прибыл сюда,
и не хотел уезжать.
Здесь он оставил уставные строфы,
чтобы вернуться наверняка.

КИМ ХВАНВОН

СТИХИ, НАПИСАННЫЕ ОТШЕЛЬНИКОМ С ВОСТОЧНОЙ ГОРЫ

Где бы я ни был,   мне бы хлебнуть винца.
Попусту ноги топтал   возле дворца.
Зря подношений жду   у красных врат:
Поздно — очаг простыл,   все спят.
Ночью вина   не сыскать ни в одном дворе.
Створы небесных врат   отворяются на заре.
Остров Пэндао   я обошел кругом.
Камни Лочэна   попираю, поросшие мхом.
Под сенью дерев   слышу отроков голоса.
Нефритовый царь явился —   отворяются небеса.
Сановники Ао   вовек не знают забот.
Драконья упряжка   ходит взад и вперед.
Хоть кисть возьми,   в тушь омакни, пиши.
Один подымаюсь на башню,   вокруг ни души.
Солнца не вижу — тьма,   не любуюсь луной.
В гневе взираю   на облако пыли земной.
Взошел по ступеням,   в унынье один стою.
К одинокому камню припал,   в сердце печаль таю.
В такое-то время   нет ни капли вина!
Чем же сегодня   утешу душу мою?

ЧОН ДЖИСАН

РЕКА ТЭДОНГАН

Дожди миновали; на долгой дамбе
травой поросли пески.
Гость уезжает к морю, в Нампхо,
а я напеваю с грустью:
Вовек не иссякнут зеленые струи
в берегах Тэдонган-реки —
Слезами разлуки моей пополню
воды, текущие к устью.

ПАВИЛЬОН ЧАНВОНДЖОН

Ветр провожает парус гостей,
тучу — туче вослед.
В росе черепитчатый кров дворца
чешуйчат, яшмово-сед.
Купа дерев осеняет дом —
восемь покоев в нем.
На башенной вышке стоит луна,
и почти никого нет.

ЗАПАДНАЯ СТОЛИЦА

Вешний ветер с холмов зеленых,
дождь по дороге бежит.
Ив плакучих качаются плети,
пыль недвижно лежит.
В женских покоях свирели свист
слышен у красных врат.
Все точь-в-точь, как на сцене столичной
школы «Грушевый сад».

СТАРЕЦ-ДАОС

На древней тропе, крутой и пустой,
корни сосен сплелись.
Можно Северный Ковш потрогать рукой —
близко звездная высь.
Плывут облака, журчит родник —
странник гостит в горах.
Красные листья, зеленый мох —
дверь запирает монах.
Холодом веет осенний ветр,
ложится легкий туман.
Тусклые отсветы горной луны.
Дальний крик обезьян.
У старца древнего брови густы,
он в темную рясу одет.
Давно у него о мирской суете
в сердце печали нет.

ЮН ОНИ

* * *

Минет весна — осень придет.
Цветы расцветут — листва опадет.
Был на восходе — иду на закат.
Там старец-подвижник подвижника ждет.
Всю жизнь в дороге. Смотрю назад,
Что это было, хочу понять.
На десять тысяч ли — пустота
И безмятежного облачка прядь.

ЛИ ИННО

ДОЛИНА ЖУРАВЛЕЙ В ГОРАХ ЧИРИСАН

Над грядой Турюсана облака на закате повисли.
Сотни скал и ущелий не уступят Гуйцзи красотою.
К Журавлиной долине, взявши посох, ищу я дорогу.
В дальней чаще безлюдье, только слышно — кричат обезьяны.
Еле видимы башни трех священных вершин в отдаленье,
Затерялись под мхами разных записей древние знаки.
Хоть спросил я сначала, как найти мне источник Блаженных,
Все же сбился с дороги средь ручьев, лепестками покрытых.

ЛИМ ЧХУН

ПУСТЫННЫЙ ХРАМ

Мои сочиненья не первый год
волнуют в столице сердца.
В мире, мнил, нет никого,
кроме старого мудреца.
Ныне впервые почуял дыханье
блаженных врат пустоты:
Меня во храме никто не знает,—
ни имени, ни лица.

КИМ ГЫККИ

ЫЛЬМИЛЬДЭ

Беседка над кручей рядом с луной;
внизу, под скалой, вода.
То на веслах иду, то на шесте —
вверх и вниз по реке.
Кого журавли вознесли в небеса,
тот не вернется сюда.
Лишь птицы речные то в небо взмывают,
то сидят на песке.

ЛИ ГЮБО

ПРИБЛИЖАЕТСЯ НОВЫЙ УРОЖАЙ

1 Зернышко риса, зернышко риса — скуден иль тучен год?
Умер ли кто, родился ли кто — бедность бери в расчет.
Как Будду положено почитать, я почитаю крестьян.
Будде — и то неприятно весьма, когда на земле недород.

2 Пусть возрадуются седовласые старики:
На обильную жатву в этом году надежды весьма велики!
Быть не должно теперь голодных смертей,
Уродился обильный рис на востоке, можно пожить по-людски.

РЕБЕНОК, БРОШЕННЫЙ НА ДОРОГЕ

Своему детенышу тигр или волк
не причиняет зла,—
У женщины, верно, камень в груди,
если бросить ребенка смогла!
В этом году урожай неплох,
голода нет в стране —
Оттого ли, что нового мужа взяла,
на эту жертву пошла?
Ну, а если бы вправду весь урожай
сгубили холод и зной?
На сколько бы ложек кормильцев своих
объел ребенок грудной?
Однажды утром в заклятых врагов
превратились дитя и мать,—
Черствость и низкая злоба людей
всецело тому виной.

МОЛНИЯ В ДЕСЯТУЮ ЛУНУ

Как бессердечно, как злобно беснуются наши враги!
А тут еще — молния в небе промчалась, ярко горя.
Супостатов, молния, порази, их истребить помоги!
Скажу: не вовремя ты пришла, но, по крайней мере, не зря!

КАК МУЧИТЕЛЬНА СТУЖА!

Я не Конфуций, не Мо-цзы,
не любитель невзгод.
Отчего лежанка моя холодна,
не закопчен дымоход?
Довольно, дети, довольно, жена,
плакать всю ночь напролет!
Я на восточную гору пойду,
дров наколю на целый год,
Пускай отогреется мой дом,
тепло до морей четырех дойдет —
Чтоб и в последний месяц зимы
лился обильный пот!

ВЕЧЕРОМ В ГОРАХ ВОСПЕВАЮ ЛУНУ В КОЛОДЦЕ

1 В бирюзовом колодце легкая рябь. Бирюзовый утес в стороне.
Молодая луна хороша в небесах и в колодезной глубине.
Вместе с водой в тяжелый кувшин половину луны зачерпну.
Надеюсь, такой же ее донести сегодня удастся мне.

2 Луна для отшельника нынче светом скудна.
Тяжелый кувшин наливаю водой дополна.
Ко храму приблизился,— истиной вмиг озарен.
Опорожняю кувшин — исчезает луна.

В САДУ СЛУШАЮ ЦИКАДУ

1 К высокому тополю не смею даже шагнуть.
Цикаду боюсь с высоких ветвей спугнуть.
Расслышать стараюсь полностью каждый звук.
Остальные деревья меня не влекут ничуть.

2 Мягкая кожица сброшена на траву.
Стрекот с ветвей возносится в синеву.
Слушаю голос, оболочки телесной не зрю.
Глубоко-глубоко певунья сокрылась в листву.

РЯДОМ, В ВЕСЕЛОМ ДОМЕ, ЗАБАВЛЯЮТСЯ С ОГНЕМ

Играют с огнем,
как всегда, в веселом дому —
Что же спасаться
не хочется никому?
Не размышляю —
в детстве бывает так.
Может, и вправду
бояться здесь ни к чему.

ПОДНОСЯ ВИНО, ПРОДОЛЖАЮ СТИХИ ЛИ БО

С другом беседуя, медленно пьем
индиговое вино.
Сто лет проживу, однако друзья
не наскучат мне все равно.
Как долго еще на главе моей
будут черны власы?
Недолговечней тело мое,
чем капля рассветной росы.
Однажды укроет меня под сосной
могильной земли гряда.
Десятки тысяч лет пролетят —
кто вспомнит меня тогда?
Сорняки на бедной могиле моей
вырастут сами собой.
На нее не глянув, мимо пойдут
звери на водопой.
За всю мою жизнь чашу с вином
не выпустил ни на миг,
Все же хотел бы еще хоть раз
смочить уста и язык.
О Лю Бо-лунь, ты из всех людей
избрал наилучший удел —
Всегда держал вино при себе,
очень редко трезвел!

Прошу вас, выслушав эти слова,
напиться со мной допьяна,
Ибо с собой даже Лю Бо-лунь
в могилу не взял вина!

ЭПИЛОГ К ПОЭМЕ «ТОНМЁН-ВАН»

...Я по природе человек предельно простой.
«Удивительные истории» числю забавой пустой.
Когда о Тонмёне прочел я в первый раз —
Вымыслом и загадкой почел я древний рассказ.
Но старательно я продолжал разбирать письмена,
И стала мне истина древних речений видна.
Многое сказано в записях древних бумаг,
На листах летописных не лжет ни единый знак.
Вовеки не угасает священных деяний свет,
Молва о них сбережется на десять тысяч лет!
Основатель рода, чью память века хранят,
Да сгинут сомненья — может ли быть не свят?
Лю Вэнь возле озера пребывала в объятьях сна,
Любовь божества в тот час познала она!
Тучами грозовыми был закрыт небосклон,
Сверкая в зарницах, к Лю Вэнь спустился дракон.
С этого дня во чреве она понесла
И славного сына в должный срок родила.
Красный Государь был его великим отцом.
Знаменья возвещают: возрождается правящий дом.
Когда родился Ши-цзу, должный владычить страной,
Наполнился светом его дворец родной.
«Чифу» указали, что престол его ждет.
«Желтые повязки» истребили его славный род.
По многим примерам установлено было встарь:
Благое знаменье означает: рожден государь.
Но воля потомков куда слабее была.
Без продолженья остались славных предков дела.
Лишь тот государь, кто блюдет старинный закон.
В трудностях строже к себе относится он.
Человечностью, великодушьем государь свое имя блюдет,
Заветом и долгом им управляем народ.
У благих государей обычай всегда таков,
И да продлится в державах у них покой во веки веков!

КИМ ГУ

ОПАДАЕТ ГРУШЕВЫЙ ЦВЕТ

Кружатся, пляшут — вверх, вниз,
    к земле припадут — и опять,
Ветер повеет, они летят
    родимую ветвь искать.
И вдруг из тысячи тысяч один
    в паутине повис лепесток.
По шелковой нити бежит паук,
    думая,— вот мотылек.

У ТХАК

* * *

Вешний ветер, снег на горах растопивший,
Ты дуешь не в полную силу.
Прошу тебя, хоть ненадолго,
Повей над моей головой.
Иней, иней минувших лет, мои виски убеливший,
Может быть, ты растопишь.

* * *

В одной руке — тяжелый посох,
В другой — колючая ветка.
Колючей веткой хотел от старости отмахнуться,
Тяжелым посохом — от седины отбиться,—
Как ни старался, вот седина, моя первая гостья,
Сам я к старости поспешаю.

ЛИ ДЖЕХЁН

СВЕРЧОК

Тут сверчок, и там сверчок.
Звук печальный — скрип ли, плач.
Хоть всю ночь скрипи станок —
Не соткешь ни пяди, ткач.

Но, тебя заслышав,
    в два ручья ревет солдатка,
И солдат в походе
    вдруг сникает, как с устатка.
Вешний день — на сливах завязь,
    ветер веет сладко.
Летний день — гнездо свивает
    ласточка-касатка.
О себе забыл сверчок.
Скоро станут дни короче, утренники грянут,—
    осень-то близка.
Ах, сверчок мой, дурачок!
Ведь светила дня и ночи в небе не застрянут
    для тебя, сверчка.

НА ТЕМУ ОДНОЙ ПЕСНИ КОРЁ

Вольготно рыжим воробьям —
    здесь побывали, там побывали.
Весь год не сеют и не жнут —
    не знают горя, ни печали.
Старик-бобыль вспахал надел,
    сам сеял, сам полол.
А воробьям что рис, что просо —
    все в поле поклевали.

СНЕЖНОЙ НОЧЬЮ В ГОРАХ

Под бумажным одеялом зябко,
    плошка еле тлеет в алтаре.
Сонный служка ленится ударить
    в колокол ночной порой.
Только гостя позднего заслышав,
    отворит калитку на заре,
И увидит вдруг: нападал снег,
    сосны побелели под горой.

ЛЮБОВЬ ОТШЕЛЬНИКА

В кустах трещит сорока   за бамбуковым плетнем.
Паучок над изголовьем   ткет тенета день за днем.
Жду — должна красавица вернуться,   вижу по приметам.
И, должно быть, скоро,—   сердце говорит об этом.

ЛИ СЭК

* * *

Долину всю снегами замело,
И тучи черные ее застлали.
Я за цветами сливы шел туда,
Но где цветут они — никто не знает.
В лучах заката я один стою
И разыскать дорогу не умею.

КИМ ГУЁН

УЧАН

Под башней Желтого Журавля
        речная кипит волна.
Дверных занавесок ряды вдоль реки —
        сколько тысяч домов!
Тоска одолела! Собрать бы деньжат
        да в складчину выпить вина.
Уже весна, и гора Дабешань
        солнцем искоса озарена.

ИЗ ПЕСЕН КОРЁ

ЧОН СО

ПЕСНЯ ЧОН ГВАДЖОНА

О государе печалуясь, плачу я.
Кукушка в горах и я— мы сходны тоской.
Ведал ли кто, что я потерплю наговор!
Правда открыта лишь закатной луне да рассветной
                                        звезде!
С государем душа моя, даже если умру!
Чей же навет столь безжалостен и жесток?
Ни проступка нет, ни малой ошибки за мной!
Возведенную злобно напраслину я терплю!
        Ты забыл обо мне, государь?
Жалобу выслушай, снова меня возлюби!

СИН, МАТЬ ЧОН МОНДЖУ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Над этой долиной вороны кружат...
Ты, белая цапля, туда не ходи!
Берегись, узнаешь черную зависть.
Белых перьев твоих воронье не простит.
Так смотри ж, не запачкай липкою грязью
Оперенье, омытое чистой волной.

ЧОН МОНДЖУ

ПЕСНЯ О ПРЕДАННОМ СЕРДЦЕ

Я знаю, тело бренное погибнет,
Сто раз излеченное, все ж умрет,
И даже кости станут пыльным прахом.
Останется ль душа? — мне все равно.
Не сгинет никогда частица сердца,
Навеки преданного государю.

ЛИ ДЖОНО

* * *

Молвят неправо —
Мол, облака непричастны мирской суете.
Своевольно витают-плывут
В вышине голубой
И слепящий солнечный свет
Затмевают собой.

ЧОН ДОДЖОН

* * *

Вода, что под мостом Сонин течет,
Бесследно к Чахадону утекает.
Деяния владык за сотни лет —
Лишь шум воды, текущей к Чахадону.
О юноша! Не спрашивай меня,
Как расцвело и как погибло царство.

ПЕСНЬ О НОВОЙ СТОЛИЦЕ

Эти земли прежде звались округой Янджу,
Но теперь — столица в этих прекрасных местах!
Превосходномудрый наш государь
даровал нам век золотой!
Надлежащий облик столица приобрела!
Радостно подданным, что государь
проживет десять тысяч лет!
Ах, тарондари!
Река Ханган — впереди, гора Самгаксан — позади,
Между горой и рекой, силою полных твоей,
наслаждайся, наш государь!

КИЛЬ ДЖЭ

* * *

К развалинам древней столицы
Возвращаюсь, коня тороплю.
Горы и реки — как в года старины,
А люди ушли неизвестно куда.
Оджыбо! Времена процветанья в пору туманной луны,
Неужто вы снились мне?

ВОН ЧХОНСОК

* * *

Кто сказал, что бамбук
Гнется под снегом?
Когда бы коленца гнуться могли,
Разве он зеленел бы зимой?
Верно, в морозы стоек один лишь бамбук,
Непреклонный, духом прямой.

МЭН САСОН

* * *

Зима сковала воды озер и рек.
Выпал глубокий снег.
Соломенной шляпой накрылся наискосок,
Облачился в плащ травяной,
Не мерзну, согрет.
Государева милость равно и в этом со мной.

КИМ ДЖОНСО

* * *

Воет северный ветер в верхушках дерев,
Снег блестит под холодной луной.
У границы за тысячу ли от родных
Стал на стражу я с длинным мечом.
Громок посвист мой... грозен пронзительный крик...
Нет преград для меня на земле.

ПАК ПХЭННЁН

* * *

Пусть крылья ворона в метель
Нам белыми казаться могут.
Но свет сияющей луны
От черной ночи не темнее.
Так сердце чистое мое
Всегда пред государем ясно.

СОН САММУН

* * *

Если спросишь, кем я стану
После смерти,— я отвечу:
Над вершиною Пэнлая
Стану я сосной высокой.
Пусть замрет весь мир под снегом,
Зеленеть один я буду.

Ю ЫНБУ

* * *

Прошедшей ночью ветер дул,
И землю снег покрыл,
И сосен крепкие стволы
Повержены во прах.
Так что ж сказать мне о цветах,
Которым не цвести?

ВОН ХО

* * *

Минувшей ночью шумела на перекатах вода.
Горестно плача, прочь убегала она.
И только утром я вдруг постиг —
То текли государевы слезы.
Когда бы ночная вода вспять повернула и вновь потекла,
С ней я смешал бы мои горькие слезы.

СО ГОДЖОН

ВЕШНИЙ ДЕНЬ

Струится золото плакучих ив,
яшму роняет слива.
Талые воды синеют в пруду,
мхом окаймлен пруд.
Вешние чувства трудно понять —
и радостно и тоскливо.
А ведь ласточек нет еще,
и цветы еще не цветут.

КИМ ДЖОНДЖИК

ХВАН ЧХАН

Был человек этот возрастом юн,
ростом всего в три *ча*.
Зато он мужеством был богат —
откуда взялось оно?

Всю жизнь он хотел походить на Ван Цзи —
кровь его была горяча.
Смыть позор со своей страны
было ему суждено.
Когда меч над горлом его висел,
пощады он не просил.
Когда к сердцу его приближался меч —
не дрожали ноги ничуть.
Он, словно танцуя, удар отражал,
ответный удар наносил,
Будто море полночное мог перейти
или гору перешагнуть.

КИМ СИСЫП

ЭПИЛОГ К СБОРНИКУ «НОВЫЕ РАССКАЗЫ, УСЛЫШАННЫЕ НА ГОРЕ ЗОЛОТОЙ ЧЕРЕПАХИ»

В низкой комнате, устланной войлоком черным,
так уютно, тепло...
Тень от сливы лежит силуэтом узорным,
ночное светило взошло.
Лампу я поправляю, вьется дым благовонный,
мигом кажется час.
Праздно дни провожу я,— только ночью бессонной
мой огонь не погас.
На казенную службу мне ходить неохота,
кистью работать — невмочь.
Только память со мной; не приходит дремота,
хоть сейчас — глубокая ночь.
У окна, за которым сосна молодая
радует глаз,
Стол да медный кувшин,— и сижу я, слагая
за рассказом рассказ.

ПЕСНИ РАДОСТИ

1

Есть у меня длинный стальной меч.
Луч от клинка звездных миров достиг.
Раз ударю — скалы могу рассечь.

Два ударю — львиный раздастся рык.
Когда наступаю — нет преград впереди.
Когда отступаю — нет врага позади.
Всех бы неправых этим мечом достать!
Потом отступить — и в оборону встать.

2

Есть у меня острый бинчжоуский меч.
Могу пучину до самого дна рассечь.
Там, в берлоге, черный живет дракон —
Перл бесценный хочу из моря извлечь.
Валы сотрясают великую пустоту.
Гром грохочет, огнь сечет темноту.
Схватил за бороду, пасть драконью раскрыл,
Добыл жемчужину — сразу прибыло сил.

ПЕСНЯ ВОЛА

«Му-ка, му-ка!» — о жизни сказать хочу.
Слезы лью, сказать не могу — мычу.
Тружусь на чужих — труды моей жизни тяжки.
Годами хожу в тяжкой упряжке.
Не знаю, душу спасти может ли бессловесный?
Есть ли для нас где-нибудь рай небесный?
Никто не может ответить мне толком.
Морду в кусты уткнул, слезы лью тихомолком.

ДЯТЕЛ

Дятел, дятел-ттактагури,
о чем печалишься? что утратил?
Сухое древо долбишь на дворе —
только и слышно: дя-тел! дя-тел!
От древа к древу перелетаешь
с горестным криком: ишь ты! ишь ты!
Людей боишься — едва завидишь,
в горные чащи летишь ты.
Чаще и громче кричишь ты, дятел,
в чащах лесных под горою.
Много таится вредных личинок
на деревах под корою.

Утробу набьешь до отвала, дятел,
молью и тлей отобедав.
Немало заслуг приобрел ты в жизни,
поедая жуков-короедов.
Чиновная моль, тля и жучки
так же вредят народу.
Их тысячи тысяч — никто одолеть
не в силах эту породу.
Деревья спасая от многих бед,
ты— мастер по этой части.
Так почему же людей не можешь
спасти от поганой напасти?

НАМ И

* * *

На горной вершине один я стою
С мечом обнаженным в руке.
Листочек древесный — Корея моя!
Зажат ты меж юэ и хо.
Когда, о, когда мы развеем совсем
На юге и севере пыль!

ОТПРАВЛЯЯСЬ В ПОХОД НА СЕВЕР

Мечами сточены камни
на горе Пэктусан.
Кони испили до капли
течение Тумапган.
Коль скоро, двадцатилетние,
мира в стране не устроим,
Кто же в будущем веке
меня назовет героем?

ВОЛЬСАН-ТЭГУН

Ночь на осенней реке.
Волны как лед.
Снасти смотал,
Ждал, ждал — не клюет.
Возвращаюсь в пустом челноке
С грузом лунного света, чуждым страстей и забот.

ЛИ ХЁНБО

* * *

Склонившись, смотришь — бездна вод синеет;
Оглянешься назад — там зелень гор,
И ржавый прах, прах суетного мира,
Блаженных этих не коснется мест.
Луна ясна над водяным простором,
И оттого беспечнее душа.

* * *

Несется туча над вершиной горной,
И чайка над морской резвится гладью.
О, эти двое!
Как они свободны!
Подобно им, забыв о всех тревогах,
Я буду в мире беззаботно жить!

* * *

Взглянул назад, где пышная столица,
Где царственный красуется чертог.
О нем я помню каждое мгновенье,
В рыбачьей лодке лежа на спине.
А это вовсе не моя забота —
Пусть без меня мудрец спасает мир.

ПАК ЫН

МОНАСТЫРЬ ПОННЁНСА

Воистину так: старейший в Силла
этот пустынный храм.
Тысяча будд — их привезли
из Индии дальней к нам.
Древле подвижники здесь стяжали
на небо путь благой.
И ныне это святое место
подобно Небесным вратам.
Тучи набрякли вешним дождем,
птичий в кустах пересвист.

Старые сосны бесстрастны и немы —
лишь ветру присущ непокой.
От тысячи тысяч событий земных
здесь пребываешь чист.
Там, за горами, вздымается в небо
пыль суеты мирской.

СО ГЁНДОК

ГОЛОС РОДНИКА

Бурлит-бурлит день и ночь под высокой скалой родник.
То слышен ропот, то тихий плач, то яростной битвы крик.
Сколько же в суетном мире дел, рождающих в сердце гнев!
Взываю к синему небу, печалясь, что спокойствия не достиг.

АН ДЖОН

* * *

Погоняю хромого осла.
Солнце почти зашло.
Дорога в горах опасна.
Не шумит ли в ущелье река?
Слышу, собачий лай ветром сюда донесло.
Кажется, я уже дома.

ЛИ ХВАН

ИЗ ЦИКЛА «ДВЕНАДЦАТЬ НАПЕВОВ ТОСАНА»

* * *

Горы каждой весною цветут,
Ночи осени в лунном сиянье,
Ход времен, неизменный всегда,
Человеку таинственно сроден.
Рыба плещется, ястреб парит...
Как поверить, что это случайно?

* * *

Я на время верный путь оставил,
На который некогда вступил.
Проблуждал я где-то эти годы,
А теперь опять пришел сюда.
Но о том, что возвратился поздно
К правде,— бесполезно сожалеть.

* * *

Древние люди меня не встречали,
Их я не мог лицезреть.
Хоть и не видел я ликов их светлых,
Путь их всегда предо мной.
Если навеки их путь предо мною,
Как по нему не идти?

* * *

Пусть гром разрушит скал гряду,
Глухим рожденный не услышит.
Пусть солнце блещет в небесах,
Слепорожденный не увидит.
Да, зрячи мы, наш чуток слух,
И все же мы слепоглухие.

* * *

Орхидеи в долине цветут,
Их вдыхать — мне одно наслажденье;
Облака на вершинах лежат,
Видеть их — мне одно наслажденье.
И средь этой земной красоты
Позабуду ли я государя?

ХОН СОМ

* * *

О яшме сказали: камень!
Это печально!
Но человек ученый
Истину знает.
Знать-то знает, да делает вид, что не знает.
Это всего печальней!

ХВАН ДЖИНИ

* * *

Гора всегда одна и та же,
Река изменчива всегда;
Она струится неустанно,
И ей не обратиться вспять.
И человек реке подобен —
Уйдет и не вернется вновь.

* * *

О, синий мой ручей в горах зеленых!
Ты не гордись, что так легко течешь,
Знай, выбраться обратно невозможно
Тому, кто в ширь морскую попадет.
Все горы залиты луною ясной,
Не хочешь ли утешиться, ручей?

ВОДОПАД ПАГЁН

Жернов — гора — перемалывает поток.
　　　　Пыль водяная, мга.
Драконье бучило в сто киль глубиной
　　　　кипит и бьется о берега.
Струя ниспадает, а кажется — вспять
　　　　востекает Небесной Рекой.
Ярясь, извергается в пропасть вода —
　　　　радуги белой дуга.
Рокотом града земле водопад
　　　　о себе подает весть.
Возносятся россыпи брызг в пустоту —
　　　　зерна: яшма и жемчуга.
Странник! Зачем же горе Лушань
　　　　одной воздается честь?
В Стране к востоку от моря гора
　　　　Жернов Небесный есть.

ЛИ ТХЭК

* * *

Не смейся ты, огромный гриф,
Над тем, что воробей тщедушен!
Ведь ты и он, ведь оба вы
Летаете в бескрайнем небе.
Летающие птицы вы,—
Не вижу разницы меж вами.

ЛИ ХЯНГЫМ (КЕСЭН)

ДВА ЖЕНИХА

«В дом на восточной стороне холма
За богача ты можешь замуж выйти,
И в дом на склоне западном холма
За бедняка ты можешь замуж выйти.
Как жалок первый! Как хорош второй!..
С которым же из двух ты обручишься?»
«Нельзя ли стать женою бедняка,
А к богачу тому ходить обедать?»

ЯН САОН

* * *

Говорят, что Тайшань высока,
Но ведь небо-то все-таки выше!
И, решив до вершины дойти,
Ты бесстрашно туда и взберешься.
Так и люди: боясь высоты,
Неприступными горы считают.

СОН ИН

* * *

Слышу слова — забываю вмиг.
Деянья вижу — как не видал.
Такова мирская тщета,
Что о правде и кривде презираю людскую молву,—
Верно одно — моя десница крепка
И держит чарку. Так живу.

ЛИ ХУБЭК

* * *

На отмель опустился дикий гусь.
За нашей деревушкой солнце село.
Уже вернулись с лова рыбаки,
И чайки белые угомонились...
Я задремал, но звук свирели дальний
Вдруг долетел — и мой нарушил сон.

КВОН ХОМУН

* * *

Зеленые горы глядятся в синий ручей.
За ручьем — деревушка в тумане.
Думы отшельника в бедной лачужке
Знаешь, верно, лишь ты, белая чайка.
Ночью прозрачной, когда луна светит в окошко,
Слышится звук каягыма.

* * *

Едва стемнеет,
Опять отдаюсь безделью.
Затворяю калитку из сосновых ветвей
И лежу под луной.
И ни единая мысль о мирской суете
Не приходит ко мне.

* * *

Ветер природно чист.
Луна природно ясна.
Во дворе, где растет за сосновой оградой бамбук,
Ни единой пылинки мирской тщеты.
Комунго и великое множество книг
Еще более чисты.

СОН ХОН

* * *

Безглагольны зеленые горы.
Многолики текучие воды.
Чистый ветер не продается.
Луна никому не подвластна.
И я среди них, не знающий хворей,
Беззаботно состарюсь.

ЛИ И

ДЕВЯТЬ ИЗЛУЧИН КОСАНА

(Фрагменты)

1 О девяти излучинах Косана
Хочу я людям ныне рассказать,
Камыш я срезал, дом себе построил,
Живу здесь, и ко мне друзья пришли.
Так я живу, и об Уи мечтаю,
И собираюсь изучать Чжу Си.

2 Излучину, что у Кванак, я славлю!
Хорош Кванак под солнцем золотым,
Тогда туман над травами редеет
И возникают очертанья гор.
Поставь средь сосен жбан вина зеленый
И жди друзей — вот счастье на земле.

7 Излучину, что у Чодэ, я славлю!
Здесь, у Чодэ, раздолье рыбакам!
Здесь я блажен, и веселятся рыбы,
И кто счастливей, отвечайте мне,
Когда я, удочки смотав неспешно,
Иду домой, луною озарен?!

8 Излучину, что у Пхунам, я славлю!
Здесь осенью бывает хорошо:
Под инеем сияет клен багряный,
А скалы все красуются в парче.
Тогда один сижу я на обрыве,
Забыв, что возвращенья минул час.

ЛИ ОКПОН

ДВЕ КРАСАВИЦЫ

Двух жен-красавиц покинул император-супруг.
Они утонули в Сяншуе, поспешая на юг.
Феи-вдовы немало пролили слез,—
Слезами крапленный, возрос над рекой бамбук.
Храм Цзюимяо — темные тучи вокруг.
Солнце зашло — гора Цанъушань в тени.
Печали мои все утопить бы вдруг —
Вода унесет, и не вернутся они.

ДЕВИЧЬИ ЧУВСТВА

Обещал прийти — до вечера я ждала.
Вижу, в саду слива почти отцвела.
Слышу, сорока-вещунья в кустах трещит.
Зря перед зеркалом брови я подвела.

ЧОН ЧХОЛЬ

* * *

Пусть обопрется старец на тебя,
Ты поддержи его двумя руками.
Пусть выйдет старец из дому с тобой,
Дай посох старцу, будь ему опорой,
А после пира старца проводи
Внимательно и бережно до дома.

* * *

Когда болеет дерево, никто
Под ним не отдыхает у дороги,
А под здоровым деревом всегда
Прохожий ищет тени и приюта.
Но вот оно без веток, без листвы,
И на него теперь не сядет птица.

* * *

Кто проводил и отбыл кто,
Друг друга не жалейте.
Кто захмелел, кто трезвым стал,
Не смейтесь друг над другом!
Пусть зной палит, а я в плаще,
Кому какое дело?

* * *

Два каменных будды,
Нагие, стоят у дороги;
Их ветр овевает
И хлещут дожди и метели.
Завидуй! Не знают
Они человечьей разлуки.

* * *

На яркой пестроте цветов
Две бабочки всегда вдвоем;
Средь зелени плакучих ив
Две иволги всегда вдвоем.
Живое все всегда вдвоем,
Лишь я на свете одинок.

* * *

Ох, рубят, безжалостно рубят
Высокие, гордые сосны!
Коль дать подрасти им немного,
Какие бы вышли стропила!
Вдруг тронный покой покосится...
Ну, чем подпирать его будем?

* * *

Журавль всегда парил под облаками,
Но как-то с высоты спустился вниз.
Наверно, посмотреть он захотел,
Как на земле у нас живется людям.
Они его исправно ощипали —
И к небесам он больше не взлетел!

* * *

Зачем, старик, несешь ты эту ношу?
Давай-ка лучше я ее возьму!
Я молод и силен и груз тяжелый,
Взвалив на плечи, донесу легко.
А ты с собой повсюду старость тащишь,
Она ведь и сама — тяжелый груз!

* * *

Над тихою водою тень скользнула —
По мостику идет старик монах.
Скажи мне, все дороги исходивший,
Куда теперь ты направляешь путь?
Не замедляя шаг, он поднял посох
И молча мне на небо указал.

* * *

Всего одной струны на комунгó
Я палочкой бамбуковой коснулся:
И звук поплыл, как вешняя вода,
Что подо льдом журчит на перекате,
И стало слышно: вторя комунго,
По лотосовым листьям дождь закапал.

* * *

Любуюсь яшмовым старинным кубком,
Как любовался десять лет назад.
За эти годы не переменился
Его прозрачно-белый нежный цвет.
Так почему же сердце человека
День ото дня становится другим?

* * *

К пятидесяти жизнь моя подходит,
Но мне вино, как прежде, подают.
Я улыбаюсь, как в былое время,
Хоть для улыбки этой нет причин:
Ведь все, что радовало нас когда-то,
В конце концов нам суждено забыть.

* * *

Пить будем кислое вино с тобой,
Покамест кислое душа приемлет.
Есть будем травы горькие с тобой,
Покамест в них еще находим сладость.
Потом пойдем на улицу — гулять,
Покамест гвозди держатся в подметках!

* * *

Приятель Ко свой камышовый домик
Соорудил у Южного холма.
У Южного холма — цветы и месяц,
И сосны, и утесы, и ручьи...
Наверно, и вино там есть — иначе
Меня не зазывал бы он к себе!

* * *

Журавль уже куда-то улетел,
Терраса над водою опустела.
А если вслед за ним и я уйду,
Смогу ль когда-нибудь сюда вернуться?..
Уйду ли я навек, вернусь ли я —
Давай-ка мы, дружище, сдвинем чаши!

ТОСКУЮ О МИЛОМ

(Фрагменты)

На свет я родилась лишь потому,
Что мне предназначалось быть с тобою.
И разве в Небесах о том не знали,
Что путь земной нам проходить вдвоем?
Лишь для тебя была я молодой,
Одну меня любил ты в целом мире.
Такой любви, как эта, не бывало,
И для нее сравненья не найти.
С тобой в покои Лунного дворца
Еще недавно мы входили вместе.
Так почему же старость я встречаю
Совсем одна, от милого вдали?

За что меня услали в мир людей
И всех небесных радостей лишили?
С тех пор уже три года миновало,
Как не причесывала я волос,
Румян не доставала и белил;
К чему мне украшенья и наряды,
Когда, как снежные сугробы в поле,
Лежит в душе глубокая печаль?..
Что бы ни делала — вздыхаю я,
Куда бы ни пошла — роняю слезы
И думаю: предел положен жизни,
А горю моему предела нет!
Минует время, как бежит вода,
И в свой черед приходят зной и стужа.
Зима идет за летом — и окрестность
Свой облик изменяет на глазах.

Осенний иней выпал на поля,
С прощальным криком гуси улетели.
Поднявшись на последний ярус башни,
Через хрустальное окно смотрю.
Над темною горой взошла луна.
Полярная звезда стоит на небе,
Всегда прекрасная, как мой любимый,—
И слезы набегают на глаза!
Собрав в охапку свет луны и звезд,
Я к башне Феникса его отправлю.
Пусть яркими лучами воссияет
Над городом, где милый мой живет,
Чтоб все четыре стороны земли
Прозрачным этим светом озарились,
Чтоб на горах и в глубине ущелий,
Как в летний полдень, стало вдруг светло!

Зима и на земле и в небесах,
И снег уже окрасил белым светом
Окрестные холмы, поля и рощи,
И реку Сяосян сковало льдом;
Не слышно голосов людских нигде,
Не видно птиц, летавших здесь недавно.
А если и у нас похолодало,—
Как холодно в Нефритовом дворце!
Он мрачен и высок, в нем солнца нет —

Над ним оно, наверно, и не всходит...
К тебе сама широким опахалом
Я погнала бы вешнее тепло!

6 Малиновую юбку подоткнув
И аккуратно засучив до локтя
У темно-синей блузки рукава,
По рощице бамбуковой брожу.
Понять стараюсь, в чем моя вина?
День на исходе. Долго ночь продлится.
В дом воротясь, сижу я неподвижно,
О локоть подбородком опершись.
Придвинувшись поближе к фонарю,
Прикрытому светло-зеленым шелком,
Беру я в руки арфу, на которой
Из перламутра выложен узор...
Ложусь под одеяло, а на нем
Красуются две уточки, как прежде.
И ночь все не кончается, все длится.
И зябко мне, и не приходит сон...
Всего двенадцать месяцев в году,
Но в каждом тридцать дней таких, как этот,
Где каждый час и каждое мгновенье
Исполнены печалью о тебе.
Она таится в сердце у меня,
Подобная неведомой болезни;
С ней совладать не мог бы и Бянь-цяо,
И от нее лекарства не найти!
О, если б мне скорее умереть
И вновь родиться бабочкою пестрой:
Порхала бы я солнечной порой
С цветка и на цветок в траве зеленой;
И над плащом пурпуровым твоим
Я вечно крылышками трепетала б,
Тебя овеивая ароматом...
А ты бы и не знал, что это я!

ХРИЗАНТЕМЫ, КОТОРЫЕ ЦВЕТУТ НАПРОТИВ ГОСТИНИЦЫ В ХАМХЫНЕ

Осень в ущербе; опять над рекой
горестный крик гусей.
Тоскую по дому; гляжу из беседки —
даль, что ни день, грустней.

В десятой луне безрадостен вид
    хризантем на горе Хамсан.
В день девятый девятой луны
    они восхищали гостей.

ХАН ХО

* * *

Стоит ли сюда нести циновку?
Можно и на листьях посидеть.
И светильник зажигать не надо,—
Как вчера, посветит нам луна.
Дешево вино, и дики травы.
Не беда! Все подавай скорей.

ЧО ХОН

* * *

Над озером пролился дождь;
На ветках ивы блещут капли.
Куда-то лодочник ушел,
На привязи — пустая лодка.
Заходит солнце, вечер тих,
А чайки в воздухе резвятся.

ЛИ СУНСИН

* * *

В ночь лунную на острове Хансан
Гляжу на море я с дозорной башни;
Мой верный меч, мой длинный меч при мне,
А на сердце — тяжелое раздумье.
Вдруг камышовой дудки слышу свист,
Протяжный свист — он душу мне встревожил.

ЧИТАЮ НАРАСПЕВ СТИХИ НОЧЬЮ НА ОСТРОВЕ ХАНСАН

Водное царство темнеет; осенний закат.
В небе высоко гуси летят на юг.
Ночь напролет хожу, тревогой объят.
На заходе луна меч озаряет и лук.

ЛИ ВОНИК

* * *

Ветвями-нитями зеленой ивы
Кто может вешний ветер привязать?
Что толку в грусти бабочек и пчелок,
Когда цветы роняют лепестки?
Как ни сильна, ни горяча любовь,
Что сделаешь, когда уходит милый?!

ЧАН ГЁНСЕ

* * *

Двадцать лет проспал я в багряной пыли мирской
И вот очнулся — давнее словно вчера.
Стал я пасущимся вольно конем,
Средь зеленых ив душистую щиплю траву,
Голову подымаю порой
И тоскливым ржаньем хозяина тщетно зову.

ЛИМ ДЖЕ

* * *

Там, где густая трава зелена,
Ты отдохнуть прилегла или объята сном?
Твоя красота — где нынче она?
Ужель здесь зарыты лишь белые кости твои?
Нет более той, кто мне чару вина поднесет.
Потому и грущу.

РЕКА ПХЭГАН

Гуляет девушка вешним днем
по откосам Пхэган-реки.
Свисают нити плакучих ив —
сердце рвется с тоски.
Из этих нитей, из дымки зеленой
если б холста наткать!
Сшила бы милому новый халат —
пошел бы в нем щеголять.

ПЛАЧ НА ЖЕНСКОЙ ПОЛОВИНЕ ДОМА

Подросток-девочка,   что курочка юэская, мила.
Крадется со свидания,   людей обходит стороной.
Домой пришла,   тяжелую калитку заперла.
Стоит и плачет,   глядя на грушу под луной.

ПАВИЛЬОН МИНДЖОН НА ПЕРЕВАЛЕ ЧАМНЁН

Огромный кит   в море Восточном не спит.
У Закатных ворот   дикий кабан ревет.
На дамбе речной   раненый воин лежит,—
Нет у стражи морской   ни высоких валов, ни ворот.
Двор государев   ничего не берет в расчет.
Как же солдат   в битве жизнь сохранит?
Прозорливец Хань-фэн   среди нас не живет!
Уши мои обвиснут,   согнусь до земли —
Кто тогда поймет,   что травой препоясан тот,
Чье смелое сердце в день пробегает   тысячу ли?!

ТОККЁ

В РАЗЛУКЕ

Я старалась заглушить разлуку,
Струны звучные перебирая.
Только все мелодии забыла —
Не несет мне цитра утешенья.
Летним вечером сижу в беседке,
И со мною дождь холодный.
Падают прозрачные слезинки
На мою узорчатую юбку.

ЧО ДЖОНСОН

* * *

Приготовь мне, мальчик, плащ в дорогу
И соломенную шляпу дай.
Леску я к удилищу приладил,
Без крючка рыбачить ухожу.
Рыбы, вы меня теперь не бойтесь!
Просто я развлечься захотел.

ЛИ ХАНБОК

* * *

И времена разэтакие,
И людские дела растакие.
А если дела растакие,
Значит, станут они разэтакими!
Все твердят: времена растакие! люди разэтакие!
Я же только вздыхаю.

НА ПЕРЕВАЛЕ ЧХОЛЛЁН НОЧУЮТ ОБЛАКА

На перевале Чхоллён облака ночуют — и дальше летят.
Летят и летят — будто их ждут там.
Здесь, одинокий, отстраненный чиновник, плачу, жизни своей не рад, —
Пусть слезы мои с облаками сойдут в межгорье Пэгак и Чоннам
И яшму перил на Нефритовой башне обильным дождем оросят.

ЛЮ МОНЪИН

ВДОВА

Старухе-вдове давно за семьдесят лет.
Покои одна сторожит, дом ее пуст.
Выйти замуж когда-то ей давали совет
За парня, что обликом был как розовый куст.
Но строго блюдет она добродетель жены,
Ей об этом сестра и свекровь твердили всегда.
Чем одежду вдовью носить, дожив до седины,
Не жалеть бы румян и белил в молодые года!

ЛИ ДАЛЬ

РАССТАВАЯСЬ С ЛИ ЕДЖАНОМ

Тунговый цвет редеет —
предрассветный туман.
Пальмы «хэсу» прозрачны —
вешние облака.
Выпили на прощанье;
горько пахнет бурьян.
Выпили и за встречу
в стольном граде Лоян.

НА СЮЖЕТ ОДНОЙ КАРТИНЫ

Восточное озеро; весла сушу;
лодка сама плывет.
Ивы, осины стоят недвижимы
по-над закраем вод.
Челн одинокий, кормщик усталый;
светла над водой луна:
В саду задичавшем по листьям опавшим
старый монах бредет.
Травы пахнут — тоска по дому
и сердце, как ночь, темна.
Дом — за горами, далекие горы
дальняя застит волна.
Слежу, одинокий, течение облак,
плывущих в заморский край,
Силы нет под закатным солнцем
слушать вороний грай.

ПАК ИННО

* * *

Вот ранняя хурма на блюде
Алеет, радуя глаза.
Пусть не чета она цитрону,
Унес бы я ее домой,
Но больше некого повеселить гостинцем,
И оттого так грустно на душе!

* * *

Вот если бы насадить на веревку
Десять тысяч острых крючков
И солнце поймать на небесной дороге
Длиной в девять на десять тысяч ли,
Чтоб медленнее в своих покоях
Седые родители старели!

* * *

Туда, где фениксы стаей слетелись,
Один затесался черный ворон.
Но пусть ты словно невзрачный камень
В россыпях драгоценной яшмы,

Останься! Как фениксы, ты крылат,
Отчего тебе с ними не полететь?

* * *

Пусть будут любовь и дружба крепки!
Сто лет не расстанемся мы,
Будем поровну делить меж собой
Одежду и каждый кусок.
Так, старея вместе из года в год,
Не заметим, кто первый из нас поседел.

* * *

Безмолвствуя, высится утес,
Но мнится, он полон жизни.
Пусть люди безмерно богаче душой,
Не выстоять им без опоры,
А он не сгибается... Время само
Бессильно лик его изменить.

* * *

Высится в устье реки утес.
Взглядом смерь — вознесется выше.
Невзгодам не покорить его,
Бей, дроби — он под молотом крепче.
Будь во всем подобен этой скале:
Великаном станешь и ты, человек.

* * *

К отвесной горной скале
Хижинку я прилепил.
Два цвета — сосна и бамбук —
Привычны больным очам.
Так живу я — и даже не замечаю,
Как весна уходит, как близится осень.

* * *

Потоки спокойно струятся
С пологого ската Хамнюдэ.
Сливаются дружно, не споря,
И слева и справа вбирают ручьи.
Им невдомек, что в долине
Станут они широкой рекой.

* * *

Как высок хребет Кёкчиллён!
Как далек, как невидим мир суеты.
К тому же глохнут уши мои,—
Хочу прочистить, но только теряю слух.
Вот и не вижу, вот и не слышу
Ни лжи, ни правды: они за горами царят.

* * *

На горе Куинсан я срубил сосну
И ладью спасения создал,
Чтобы всех заблудших в пути людей
Отвезти на желанный берег;
Но покинул ладью равнодушный кормчий
Где-то в устье реки, на закате солнца.

* * *

Выше горы Куинбон ничего не найти.
Вершина ее над всеми горами царит.
Но хорошие стихи написать
Не легче, чем вырасти вровень с этой горой,
Ведь все стихи, что ты создал с упорным трудом,
Разом рухнут в провал — из-за одной неудачи.

КИМ САНЪЁН

* * *

Слово лживое — любовь!
Лжешь ты, говоря, что любишь!
Говоришь, что снилась мне?!
Это значит — лжешь ты вдвое.
Не могу сомкнуть очей...
Как же ты могла явиться?

ХО НАНСОРХОН

* * *

Куст орхидей под окном взрос.
Зелени запах нежен, густ.
Западный ветер, первый мороз,—
Грустя, увял под инеем куст.

Пожухлые листья вихрь унес.
Но чудится — пахнет еще листва.
Гляну в окно — сердце болит.
Плачу — намокли одежд рукава.

ОПЛАКИВАЮ СЫНА

В прошлом году любимую дочь схоронила.
В этом году сына взяла могила.
Плачу и плачу,— рядышком два холма,—
Обе могилы слезами я оросила.
Ветер в деревьях; блуждают вокруг огни.
Бумажные деньги жгу на осеннем ветру.
Чистым вином кроплю в вечерней тени.
Быть может, встретил братец свою сестру —
Не бродят ли ночью друг за другом они?
Покуда во чреве — живо еще дитя.
Быть может, умрет год или два спустя.
Кровавые слезы лью, прерывается голос,
Напеваю «Хуантайцы», безысходно грустя.

* * *

Красные шторки издалека видны —
светильня красная на окне.
Ночью проснулась — под шелковым одеялом
рядом место пустует.
На яшмовый ларчик иней пал,
попугай прокричал в тишине.
Крыльцо утонуло в листьях платана —
ветер западный дует.

СОБИРАЮ ЛОТОСЫ

Осеннее озеро — яшмовой зеленью
тихо струится вода.
Заросли лотоса — в лодке узорчатой
сплавала я туда.
Вернулась на берег — в милого бросила
пригоршню лотосовых семян.
Знак любовный люди заметили —
полдня горю со стыда.

МУКИ ВОЗВЕДЕНИЯ КРЕПОСТИ

1 Тысяча рук   тысячей бьет вальков.
Гул по земле идет —   гром в небесах таков.
Из сил последних   крепость возводим.
Стена высока —   едва не касается облаков.

2 Стену возводим —   все выше, выше она.
От орд разбойных   нас охранить должна.
Боюсь, коль скоро   разбойников будет много,
От них не спасет   даже эта стена.

ТОСКА НА ЖЕНСКОЙ ПОЛОВИНЕ ДОМА

(Отрывок)

...Зажигаю во мгле свечу.
Комунго беру и играю.
И струна комунго звучит
В лад печали моей глубокой.
Так в дождливую ночь бамбук
У реки шелестит одиноко.
Так кричит под луной журавль
У могилы тысячелетней.
Я играю — и жду, когда
Голос твой у дверей раздастся.
Но за пологом — никого,
И никто меня не услышит!
Изболелось сердце в тоске,
Разорваться оно готово...
О, когда б я могла уснуть,
Чтоб во сне с тобой повстречаться!
Но шуршит на ветру листва,
И кричат непрестанно птицы —
Как враги, ни ночью, ни днем
Ни на миг не дадут забыться!
Волопаса Ткачиха ждет
За Серебряною Рекою.
В день седьмой, в седьмую луну
Суждена ей с любимым встреча.
Ты же, верно, у той реки,
Что в далеком краю бессмертных,—
Потому ли весть не подашь?
Никогда уже не вернешься?..

На дорогу молча смотрю,
По которой милый уехал.
На траву упала роса,
И вечерние тучки скрылись.
Средь бамбука в роще густой
Закричала тоскливо птица.
Говорят, на земле у нас
Хватит горестей и печалей.
Только той, что мучит меня,
Не встречали люди ни разу...
И сама не могу понять —
Умерла я или жива я!

СИН ХЫМ

* * *

В селенье горном снег на землю пал,
И замело в горах крутые тропы.
Пусть будет заперта сегодня дверь
Плетеная,— кто может быть за нею?
В ночной тиши лишь светлый серп луны,
Единый друг гостит в моем жилище.

* * *

Слава — это башмаки худые
На дырявых нищенских чулках...
Я давно ушел в поля и рощи
И теперь с оленями дружу.
Так согласен жить я бесконечно,
А тебе спасибо, добрый ван.

* * *

Пусть из неравных бревен крыша сбита,
Погнулся столб один, другой упал;
И хижина так велика, что можно
В ней две циновки рядом расстелить;
Но каждый листик повилики горной
В лучах луны мне самый верный друг.

* * *

Слышал — ночью сильный ливень шумел.
Вышел — все цветы граната раскрылись.
Блистает завеса из капель хрустальных
На ветках над лотосовым прудом.
И следа не осталось от мыслей печальных.
Отпустила тоска, на душе светло.

СОРИ

* * *

Толкуют: сосна, сосна!
О какой же это сосне?
О гордой, над обрывом,—
Не иначе, как обо мне.
Эй, внизу, мальчишки с серпами,
Не добраться вам до меня!

КВОН ПХИЛЬ

ВЕРХОМ НА КОНЕ ПРОИЗНОШУ СТИХИ

Трудные нынче для нашей земли времена.
Ни сановников, ни воевод не имеет в достатке страна.
В Ённаме, на юге, никак не кончается бой.
В Кванбуке, на севере, горе в деревне любой.
Печалюсь о том, что стало жить тяжело,
Что бремя войны нынче на нас легло.
На одежду слезу роняю, тоски не стерпев.
Военный доклад, как стихи, твержу нараспев.

ХО ГЮН

СЕЛЕНИЕ ПРЕКРАСНОГО

Всегда по весне забытый погост
обряжается в новый наряд.
Цветы на деревьях — шитье на халате,
зеленые травы — шелка.

Не счесть лепестков опавших цветов —
душистой дымкой летят.
Падают вниз — похоже на дождь,
возносятся вверх — облака.

КАК НА ЭКЗАМЕНЕ СРЕЗАЛИ ИМ МУСУКА

Летают между зеленых ив
иволги в парке дворцовом.
Вешнее солнце, город в цвету,
как в одеянье новом.
И во дворце, и в бедных домах
спокойствию рады все.
Кто же смеет народ бунтовать
опасно правдивым словом?

КИМ САНХОН

* * *

О гора Самгаксан! Уезжаю!
Расстаюсь с вами, воды Хангана!
Покидаю, увы! — с неохотой
Дорогие мне горы и реки,
Да и время настало такое,
Что не знаю, увижу ль их снова.

РАЗДУМЬЯ В ШЭНЬЯНСКОЙ ТЮРЬМЕ ОСЕННИМ ДНЕМ

Нежданно-негаданно осень встречаю,
заброшен в чужие края.
Год промелькнул для меня быстрее,
чем талые воды ручья.
Что ни день — доносится с западным ветром
увядающих трав аромат.
Холодны облака над бескрайней пустыней,
печален тусклый закат.
Су У возвращенья на родину ждал
столько лет напролет!
Когда, в каком краю Чжун-сюань
снова на башню взойдет?

Поэты, отчизны ревнители, нынче
в подземелья заточены,
Ненавидя, мучаются, седеют
вдалеке от родной страны.

ХОН СОБОН

* * *

В день разлуки моей с государем
Плакал, а сколько — не помню.
Поблекли от слез кровавых
Амноккана синие воды.
И старый лодочник покачал белою головой:
«Впервые такое вижу!»

КИМ ГВАНУК

* * *

Забыл я почести и славу,
Богатство, знатный род забыл;
Забыты горести навеки,
Тревоги, жизни суета;
Я даже сам забыт собою,
Не надо ж вспоминать меня.

* * *

Одинокая белая цапля, стоишь
Ты на белом прибрежном песке.
Знаю я: только ты бы могла разделить
Сокровенные думы мои.
Вихрь над прахом земным я с тобою презрел,
И меж нами различия нет.

* * *

Вдруг ветер восточный подул.
Слежавшийся снег растаял.
Древние горы в зеленом уборе
Взору предстали.
Но иней, что на висках за годы скопился,—
Кто знает, растает ли он?

* * *

Пока по стрехе луч солнца скользит,
Лень да и, право, нечем заняться.
На камышовой циновке прилег,
Пробудился лишь на закате.
Негромко покашливают за воротами —
Пора, сосед на рыбалку зовет!

* * *

Горы и реки — великий покой.
Неужто стану с кем-то делиться?
Каждой горою и каждой рекой
Владею — кто мне возразит?
Хозяин здесь я, пусть сочтут скупердяем, —
И крохи не уступлю!

ЮН СОНДО

ИЗ ЦИКЛА «НОВЫЕ ПЕСНИ В ГОРАХ»

ПЯТЬ ДРУЗЕЙ

Мне друзья: бамбук зеленый,
Речка, камень и сосна.
А когда луна восходит,
Счастлив я тогда вдвойне.
И поверьте, мне не надо
Больше никаких друзей.

РЕЧКА

Цвет облаков прекрасен, говорят,
Но иногда и он бывает черен.
Чист голос ветра, люди говорят,
Но голос тот нередко замолкает,
И кажется, на свете лишь вода
Всегда прекрасна и всегда струится.

СОСНА

Если жарко — цветы зацветут,
Если холодно — лист опадает.

Отчего же, сосна, для тебя
Не страшны ни метели, ни иней?
Знаю: крепкие корни твои
В царство мертвых проникли глубоко...

КАМЕНЬ

Отчего цветы цветут,
А потом увянут,
Травы зелены сперва,
А потом желтеют?
В этом мире лишь одно
Неизменно — камень.

ЛУНА

Такая малость в небесах,
А освещает всю природу.
Скажите, где еще найти
Такой светильник в тьме кромешной?
На вас он смотрит и молчит,—
Вот образ истинного друга!

БАМБУК

Не схож ты с деревом ничуть,
И ты не схож с травою.
Ты совершенно пуст внутри
И очень тверд снаружи.
Я оттого тебя люблю,
Что круглый год ты зелен.

ВРЕМЕНА ГОДА РЫБАКА

ВЕСНА

1
Над рекой рассеялся туман,
Над горою засияло солнце.
Лодку выводи, рыбак, скорей!
Вот ночная отошла вода,
И уже идет вода дневная.
Ты плещи, весло мое, плещи!
Пусть селенье у реки в цветах,
Мне милей краса цветов нагорных!

2 О, какой сегодня жаркий день,
Из глубин речных всплывают рыбы.
Якорь выбирать пора, рыбак!
Чайки белые вдвоем, втроем
Мечутся тревожно над рекою.
Ты плещи, весло мое, плещи!
Удочка со мной. А взял ли я
На дорогу и вина в кувшине?

3 Ветерок с востока веет к нам,
И приятен плеск волны зеленой.
Парус подымать пора, рыбак!
И, на запад направляя путь,
Озером восточным я любуюсь.
Ты плещи, весло мое, плещи!
Вот я гору миновал одну,
А за ней другая показалась.

4 Чей-то голос, не кукушка ль там?
Что там зелено — неужто ивы?
Ты греби, греби туда, рыбак!
Исчезая и всплывая вновь,
Сквозь туман селенье показалось.
Ты плещи, весло мое, плещи!
В омуте прозрачном подо мной
Рыбы серебристые резвятся.

5 Солнце жарко льет полдневный луч,
И вода в реке как будто масло.
Ты греби, греби туда, рыбак!
Что на месте мне одном стоять,
Рыбу я ловить повсюду стану.
Ты плещи, весло мое, плещи!
Но «Чиста Цанланская вода»
Вспомнил — и совсем забыл про рыбу.

6 Угасает поздняя заря.
Лов закончен! Снова в путь обратный!
Парус опускай, рыбак, скорей!
А цветы и ивы на холмах
Новые за каждым поворотом.
Ты плещи, весло мое, плещи!
Здесь ли к трем правителям страны
Мне терзаться завистью прилично?

7 Как душисты травы и цветы!
Отвезу домой я орхидею.
Ты ладью останови, рыбак!
Лепестком ладья твоя плывет;
Чем ты нагрузил ее сегодня?
Ты плещи, весло мое, плещи!
Из дому я в ней увез туман,
А везу в ней лунный свет обратно.

8 Опьянев, я было лег на дно,
Но спускаться надо за пороги.
Лодку привяжи свою, рыбак!
Лепестками роз полна река —
Я в страну волшебную заехал.
Ты плещи, весло мое, плещи!
Как теперь далеко от меня
Прах багровый суетного мира!

9 Любоваться я хочу луной,
Что сияет сквозь навес над лодкой.
Якорь брось, рыбак, скорей на дно!
Неужели надо мною ночь?
Слышен явственно кукушкин голос.
Ты плещи, весло мое, плещи!
Мой восторг не ведает границ,
Не хочу я вспоминать о доме.

10 Но светает, больше ночи нет.
Быть и завтра ей такой короткой.
Вот сюда причаливай, рыбак!
Опершись на палку, подхожу,
Двери я ищу в своем жилище.
Ты плещи, весло мое, плещи!
Здесь решил я провести всю жизнь,
Как рыбак, в уединенье мирном.

СОСЛАН НА СЕВЕРНУЮ ЗАСТАВУ

Вздыхаю, читаю стихи нараспев,—
пропадает голос от слез.
В стремленьях, в мыслях великий разлад,
безмерно всего боюсь.

За кряжем западным солнце зашло.
Всюду вороны вразброс.
Над заставою северной — ветер и снег.
Кричит одинокий гусь.
О вас, государь, помыслив, грущу,
ибо вы — за тысячи ли.
Над землею родной высоки небеса —
чреваты карой они.
Ничего бы не видеть, не слышать мне,
скрыться от мира вдали,
В лес бы уйти, где журчат родники,
там бы окончить дни.

МУЗЫКА

Обращаю взоры к зеленым горам,
к комунгó обращаю слух.
Разве могут сейчас мирские дела
потревожить душу мою?
Не знает никто, величьем каким
преисполнен мой гордый дух.
Песню, что радости буйной полна,
в одиночестве ныне пою.

ЛИ МЁНХАН

* * *

С плачем держу вас за край рукава —
Погодите, не уходите!
За длинной плотиной, поросшей травой,
Солнце село, стемнело.
Вспомните слезы мои, в лампе огонь подправляя,
Коротая ночь на постоялом дворе.

* * *

Ушла Звезда Зари, ввысь жаворонок взмыл.
С мотыгой выхожу за калитку.
Холодна роса в зарослях густых,
Холщовые штаны вымокли до нитки.
Эх, был бы тучен год да ясен небосвод,
А мокрые штаны — эка важность!

СОН СИРЁЛЬ

* * *

Зеленые горы живут согласно природе.
Синие реки живут согласно природе.
И реки и горы живут согласно природе —
И я среди них живу согласно природе.
Я, среди гор, среди рек возросший согласно природе,
Буду тихо стареть согласно природе.

ПОННИМ-ТЭГУН (ХЁДЖОН)

* * *

Садится солнце, и вокруг стемнело,
И это значит: наступает ночь.
Но снова посветлели небеса —
И новый день опять ко мне приходит.
О время! Ты — как быстрая река!
И грустно сознавать, что я старею...

ИНПХЁН-ТЭГУН

* * *

Не смейтесь! Кривую сосну
Ветры сгибали, старили зимы.
Недолговечна цветов красота,
Ветры холодные неумолимы.
Не раз вам придется в лютую стужу
Завидовать мне, кривой сосне!

НАНВОН-ГУН

* * *

Когда родилась луна?
Кто сотворил вино?
С тех пор как умер Лю Лин,
И покинул землю Ли Бо,
Видимо, негде узнать об этом.
Приходится пить в одиночестве.

НАМ ГУМАН

* * *

Светло ли в восточном окне?
Жаворонки поют вовсю!
Как там волы? Пастушата
Не забыли их накормить?
За холмом ждут хозяина длинные борозды.
Однако поздно встал я пахать.

КУ ДЖИДЖОН

* * *

Орел, схвативший в когти мышь,
Не похваляйся тем, что сыт!
Пускай журавль приречный тощ —
Он не завидует тебе.
И я худым согласен быть,
Чтоб жить вдали от суеты.

ЮН ДУСО

* * *

Обломок яшмы землей зарос —
Лежит на дороге.
Все проходят, все видят —
Все говорят: земля и земля.
Но сколько бы вы ни твердили: земля, земля,—
Яшма останется яшмой.

ЧУ ЫЙСИК

* * *

Высоко небо, люди говорят,
Но во весь рост смотри не подымайся!
Земля прочна, все люди говорят,
Но я по ней с опаскою ступаю.
Высоко небо, и земля прочна...
Так говорят. Я ж осторожен буду.

КИМ ЮГИ

* * *

На Тайшань я поднялся, сижу и смотрю
На четыре стороны света.
Мне отсюда четыре моря видны,
Нет границ у Земли и Неба!
Понял я, как безбрежно широк душой
Должен быть мудрец просветленный.

СИН ДЖОНХА

* * *

Пусть люди высоко ценят чины,
А для меня они — прах и тлен.
Спешу, погоняя хромого осла,
В родные горы вернуться вновь.
Вдруг полил дождь... Омыты одежды мои.
Мирская пыль их больше не затемнит.

КИМ СУДЖАН

* * *

Ты облако лазурное лелеешь;
Мне белоснежное — милей всего.
Твоя отрада — знатность и богатство;
Мне по сердцу и бедность и покой.
И сколько б ни смеялись надо мною,
Я буду твердо на своем стоять.

* * *

Старые, больные чувства
Тешит запах хризантем;
А печали без названья
Тешит черный виноград;
Но когда виски седеют,
Утешает только песнь.

* * *

Вы, искатели чинов и должностей,
Размыслите, что ждет вас по дороге?
Так глупые дети, играя нагишом,
Думают: весь мир на солнечном припеке.
Но солнце на западе погаснет за горой,
Что вы делать станете тогда, честолюбцы?

* * *

Видят белое, скажут: черно!
Видят черное: слишком бело!
Будь хоть черным, хоть снежно-белым,
Справедливого слова не жди.
Ах, замкнуть бы уши, закрыть глаза,
Ничего не видеть, ничего не слышать!

* * *

Опали цветы, весна на исходе,
Вина больше нет, а ко мне пришло вдохновенье.
Бренный мир — лишь приют для приезжих.
От дорожных забот мы рано седеем.
А ведь сколько безумцев нам говорят:
Наслаждаться нельзя ни вином, ни весной.

* * *

Утром замолчал весенний дождь.
Я проснулся, встал и огляделся.
Почки приоткрытые цветов
Стали, соревнуясь, распускаться,
И, весенним ликованием полны,
Птицы всюду пляшут и поют.

* * *

На́ ухо злое слово шепнешь,
А Небо услышит.
Злое дело свершишь в темноте,
А демон увидит.
Небо, демон,— не все ли равно?
Мудрый на свете с оглядкой живет.

ЛИ ДЖОНБО

* * *

Ушел из мира Ли Бо,
Сиротеют горы и реки.
Лишь в пустыне синих небес
Одиноко висит светлый месяц.
Эй, луна! Ты слышишь, не стало Ли Бо,
Приходи же со мной пировать вдвоем.

* * *

Солнце клонится к западным горам,
Но взойдет над Восточным морем.
Осенью увядает трава,
Но весною зазеленеет.
Драгоценней всего — жизнь человека.
Что ж, уходит она и никогда не вернется?

* * *

Груш лепестки оборвал
С налету бешеный ветер.
Разлетятся и вновь прилетят,
Но на ветку им не вернуться.
Вот лепесток повис, на паутинке дрожит.
Чудится пауку, что подловил мотылька.

ЛИ ДЖОНДЖИН

* * *

В остролистах цикада твердит: бстро!
В горечавках цикада твердит: горько!
Съедобные горные травы разве остры?
Вино, водой разведенное, разве горько?
Я от тех и от этих схоронился в диких долинах —
Знать не знаю, что горько, что остро!

* * *

Голые ребятишки
С паутиновыми сачками
Бегают вдоль канавы.

«Стрекоза! Стрекоза!
Там — пропадешь!
Тут — к нам попадешь!»
Ох, и галдят голышки!
В этом мире, видать, таковы
Все делишки!

ЧО МЁННИ

* * *

На Сонджин опускается глубокая ночь.
На безбрежном море холодные волны встают.
Одинок мой светильник на постоялом дворе.
Далека моя родина — за тысячу ли.
Через горный хребет Мачхоллён нынче я перешел.
Стоит только припомнить — от страха сердце замрет.

* * *

Пролетел одинокий гусь.
Выпал иней — в который раз.
Как печальны путника думы!
Ночь осенняя — как глубока!
Лишь в минуты, когда постоялый двор
Озарен луной, я на родине снова...

КИМ ЧХОНТХЭК

* * *

Жизнь людей на сон похожа;
Что мне слава и почет?!
Мудрость, глупость, знатность, деньги...
Перед смертью все равны.
И на этом свете радость,
Я уверен, лишь в вине.

* * *

Красный клен так нежно красен;
Хризантемы запах душен;
Водка рисовая — чудо,
И вкусна сырая рыба.
Комунго скорей мне дайте;
Сам налью, сам петь я стану!

* * *

Пробудившись — снова пью,
Охмелев — ложусь я снова.
Потому не знаю я,
Что почет — а что бесчестье.
Трезвого не помня дня,
Пьяным жить я буду в мире.

* * *

Не беги, говоря: спешу!
Не ложись, говоря: я устал!
Береги размеренный шаг.
Дорожи каждым мгновеньем.
Если ты остановишься хоть на миг,
Берегись, вдруг не сможешь дальше идти.

* * *

Минуют дни — и месяца тонкий серп
Сияющим кругом станет.
Итак, разгораться и гаснуть, терять и найти —
Закон, заповеданный Небом.
Ничто не вернется, если сперва не уйдет,
Вся мудрость в одном: учиться ждать терпеливо.

* * *

Белым облаком, туманом темным
Окутаны ущелья.
Ветер осени багря́нит листья кленов
Цветов весенних ярче.
Теперь я понял: небо для меня
Старалось разукрасить эти горы.

КИМ ДЖИНТХЭ

* * *

Средь воронья узнай-ка,
Где там самец, где самка?
Узнай, прольется ль дождик
Из тучи проходящей!
Вот так и наши души
И все, что здесь творится!

СИН ХИМУН

* * *

Поле вспахал, выполол все сорняки,
В трубочке мелким дымлю табаком,
Мурлычу в усы,
Топочу, руками вприпляс развожу.
Детишки в лад кричат «чиоджа»!
Так мы веселимся, смеясь.

ХО СОККЮН

* * *

«Челнок на осенней реке,
Куда плывешь?
Груженный светлой, снежной луной,
Далекий ли, близкий ли держишь путь?»
«Правит мной наитье одно.
Далекий ли, близкий — мне все равно».

КИМ МИНСУН

* * *

Белые волосы растрепал ветерок.
Зеленый посох дягилевый в руке.
Раскраснелось лицо от вина,
Прилег в холодке, меж изумрудных теней.
Посетил во сне родные места, но виденье
Желтые иволги криком спугнули.

* * *

На южном склоне цветы посадил.
Всю жизнь глядел бы на их лепестки.
Но подморозило, выпал иней —
И поникли все до единого.
Вот беда! Пропали куда-то и мотыльки,
Порхавшие над цветами.

ПАК ЧИВОН

* * *

Кричат погонщики вдалеке.
  Облачная вышина.
Отвесны скалы, тропинки узки,
  Горная цепь зелена.
Зачем Пастуху каждый год нужна
  В переправе помощь сорок?
На берегу Небесной Реки
  Месяц, будто челнок.

* * *

Цапля ступает   между прибрежных ив.
Цапля стоит   там, где потока извив.
Зелень темна в глубинах гор,   небо еще темней.
Белые цапли во множестве здесь —   стоят у речных камней.
Мальчик забрался верхом на быка —   под копытами влага бурлит.
За потоком, высоко вознесена,   радуга в небе висит.

ЁНАМ ВСПОМИНАЕТ УСОПШЕГО СТАРШЕГО БРАТА

Старший брат с покойным отцом
  был схож чертами лица.
Всякий раз, глядя на брата,
  я вспоминал отца.
Ныне, вспомнив старшего брата,
  где увижу его?
В его халате брожу над ручьем,
  гляжусь в тенистые омутца.

ЛИ ОНДЖИН

В КНИЖНОЙ ЛАВКЕ В ПЕРЕУЛКЕ

Если ночь еда простоит —
  выбросить можно ее.
Одежду проносишь год —
  она превратится в тряпье.
То, что книги стареют,—
  тоже обычное дело.
С ханьских и танских времен
  много ль их уцелело?

2 Петух прическу носит,
высок его гребешок.
У коровы — отвисший подгрудок,
грузный, словно мешок.
Коль петух и корова — твои,
ты не сочтешь их за чудо,
Зато подивишься всегда
горбу чужого верблюда.

ЛИ ДОНМУ

ЁНАНСКАЯ КРЕПОСТЬ

Грозную крепость Син Гак воздвиг,
ожидая скорой войны.
Здесь Ли Вольчхон, разгромив врагов,
заслужил великий почет.
Ставшие перстью, останки врагов
в руинах погребены.
Надпись на камне, воздвигнутом здесь,
о победе потомкам речет.
...А нынче власти берут налог
за лотосы на пруду.
Крестьянин на рынке продать спешит
дикого журавля.
Должен бы крупный рис тут расти,
да рассады нет, на беду.
Только чумизу и просо родит
в голодную осень земля.

ЛЮ ДЫККОН

ДОГОВАРИВАЮСЬ С ДРУГОМ УВИДЕТЬСЯ ОСЕНЬЮ

Хижина есть у восточной вершины,
полынь да бурьян вокруг.
Ожидает она, что по древней тропе
однажды явится друг.
Листопадной порой тебе рыжий бык
завидится вдалеке:
Знай, это я, и никто другой,
еду на рыжем быке!

ПАК ЧЕГА

КАТАЮСЬ НА ЛОДКЕ В МОРСКОМ КЫМГАНСАНЕ

Довольно ли сил сей брег созерцать
у человечьих очес?
Ветер и дождь за тысячи лет
содеяли столько чудес!
Даже и в летописях — об айнах
речей вразумительных нет.
Чьи слова на тайну пути Сюй Ши
пролить бы сумели свет?
С обрыва на солнечный восход
я долго смотреть готов.
Досадно только — не вижу в волнах
резвящихся китов.
Вспоминаю древних великих мужей,
что пустились в море вдвоем.
Вот бы сейчас в челне из листвы
с ними плыть под дождем!

ЛИ СОГУ

БЕЛЫЙ ЖУРАВЛЬ, УПАВШИЙ В КОЛОДЕЦ

Совсем еще теплое тело твое
обратится скоро во прах.
В каких же будет твой дух витать
водах и облаках?
Беру комунго,— цветут цветы,
шелестит молодой бамбук.
Ныне безмерна моя печаль:
мною потерян друг.

НА НИВЕ ОСЕННИМ ДНЕМ

Поднимаю кусок целины у ограды,
нынче не в тягость труды.
Подножью горы Чжуннань подобна
здешняя местность на вид.
Опираясь на посох, у поля внимаю
журчанью тихой воды.

Иногда по дорожкам вдоль нивы брожу,
где цветущий рис духовит.
По вечерам слежу под дождем
огоньки рыбачьих судов.
Осенью крабов хожу собирать,
забрезжит рассвет едва.
Да, я вкусил в деревне родной
аромат осенних садов.
Всю жизнь хотел бы здесь разводить
шелковичные дерева.

ЧОН ЯГЁН

ОХВАЧЕННЫЙ ТРЕВОГОЙ

1 Растрескались губы, стало сухо во рту.
Горло осипло, совсем закоснел язык.
Не с кем поговорить мне нынче начистоту.
День, словно конь, к ночи бежит напрямик.

2 Выпил вина, взошел на северный склон.
Своду лазурному стоны шлю во хмелю.
Язык за зубами я навеки держать обречен,—
Считают, что беден, оттого и скорблю.

3 Волки и тигры пожирают овец и коз.
Даже кровь с губ не оближут в алчном пылу.
Величье волков и тигров — решенный вопрос.
Лисы и зайцы поют их доброте хвалу.

ВОДА И КАМЕНЬ

1 Моря взыскует душа родниковых вод.
Клыкастые скалы держат ее в плену.
Пласты земные пробуравит вода, прорвет —
И явится небу, покинув подземный грот.

2 Тих поначалу, под спудом поток не скор.
Здесь, на порогах, мчится во весь опор.
Ревет водопад — горы ему в ответ.
Вода и камень ведут беспобедный спор.

3 Чистой душой у истоков ручей блистал.
В дальней дороге чище кристалла не стал.

Песчаное русло, багрец осенней листвы —
На желтой глазури дробится багряный кристалл.

4 Листва завалила ущелье — ручью не прорвать.
Вода захлебнулась, урчит, повернула вспять.
Кто же, как встарь Хань Синь, откроет запруду,
Чтобы вода затопила осеннюю падь?

5 Сине-зеленый с утеса повис поток.
Влагу несет в сырой каменистый лог.
Корень тучи — гора в тысячу киль.
Никак не сыскать настоящий ручья исток!

СИДЖО НЕИЗВЕСТНЫХ АВТОРОВ

* * *

Переделать бы на метлы
Поскорее все мечи,
Чтобы вымести отсюда
И южан и северян,
А из метел плуги сделать
И всю землю распахать.

* * *

О ветер, дуй! Нещадно дуй!
И тучи нагоняй.
Ты, дождик, капать перестань
И в ливень превратись.
Тебе ж, дорога,— морем стать,
Чтоб милый не ушел.

* * *

Луну, что видела тебя,
Я повидать хочу.
Окно открыла на восток
И стала ждать ее.
Но слезы хлынули из глаз —
И в дымке та луна.

* * *

О сновиденье, злое сновиденье!
Ты отпустило друга моего,
Он навестил меня сегодня ночью,
А ты забыло разбудить меня.
Теперь, когда он явится, ты сразу
Буди меня и удержи его.

* * *

Не знаю, кто в окне прорвал бумагу,
И луч луны попал в кувшин с вином.
Вино бы это проглотить скорее!
Хочу с вином я выпить этот луч.
Воистину, как просветлело б сердце,
Когда бы можно было пить луну.

* * *

О ветер! Я молю тебя, не дуй
Сквозь лунный свет в мой двор, покрытый снегом.
Мне кажется, твой шум похож на звук
Шагов того, кто больше не приходит.
Хоть знаю я, что это только бред,
В беспамятстве его шаги я слышу.

* * *

Слово напишу я — и заплачу,
Напишу другое — и вздохну,
Словно не письмо пишу — рисую
И слезами разбавляю тушь.
Милая, прости мне мой рисунок,
С горем в сердце я тебе писал.

* * *

Вскарабкавшись на горную вершину,
Не смейся ты над маленьким холмом!
Гром может грянуть, разразится буря,—
Оступишься и в бездну полетишь.
Когда же мы стоим на ровном месте,
Не существует страшного для нас.

* * *

С тобой, чей голос был подобен грому,
Свиданье первое блестит зарницей,
А наши встречи были словно ливень,
Но все рассеялось, как в небе тучи.
Вздохнула я, и был мой вздох, как буря,
Горячий вздох на землю пал туманом.

* * *

Конем владел я, и вином, и златом —
И для чужих я словно братом был.
Издох мой конь, нет ни вина, ни злата —
И я бродяга даже для родни.
О, как превратен мир, как подлы люди,
И как о том теперь печалюсь я!

* * *

Чудесный сон издалека
Ко мне любимую привел;
Я от восторга задрожал;
Умчался сон, и нет ее.
Ужель ты скрылась оттого,
Что рано я проснуться смел?!

* * *

В окне мелькнула тень,
Я вышла друга встретить.
Нет, то не гость: в окне
Лишь облачко проплыло,
Когда б то было днем —
Смеялись бы соседи.

* * *

Встречаться с ним и после охладеть?
Или расстаться и забыть навеки?
Что лучше: чтобы не рождался он
Иль чтобы я его совсем не знала?
Чего хочу я более всего?
О, только смерти,— пусть и он страдает!

* * *

Что лучше — забыть после смерти
Иль жить и сгорать от любви?
Бессмертное тяжко забвенье!
Ужасно при жизни гореть!
Одно только слово промолви,
Чтоб знал я: мне жить или нет.

* * *

Пока луна, что встала над сосной,
Не спустится до камышей у речки,
На камне у воды сидеть я буду,
Держа в руках безмолвный каягым...
А дикий гусь, отставший от своих,
Летит куда-то и кричит в тревоге!

* * *

Дымка в ивах на обрывах —
Иволги пора.
Дождь на нивах сиротливых —
Время цапли седой.
Но чайка, потерявшая пару,
Вечно будет кружить над водой.

* * *

Позволь обратиться к тебе, луна!
С чарой вина отворяю окно.
Ты ясна, ты кругла,
Как в древние времена.
Прости, ведь беседы с тобою вести
После Ли Бо никому не дано!

* * *

Все как встарь — лунный свет на снегу,
Колокола глухой, одинокий удар.
В башне южной сижу, размышляя
О государях древних династий.
Сумерки над развалинами стены городской.
Сладить с тоской не могу.

* * *

Рядом живем — словно за много ли,
А ты еще едешь в чужие края.
Горы так высоки, реки так глубоки —
Только во сне можно их одолеть.
Будь воля моя — луною стала бы я,
Чтобы светить тебе и на краю земли!

* * *

Отсветы зимней луны в окне.
Голос ветра в чужой стороне.
Безмолвствую в одиночестве
Пред одинокой свечою.
Тревожат мысли о пустяках.
Нет, не уснуть сегодня.

ЧАНСИДЖО НЕИЗВЕСТНЫХ АВТОРОВ

* * *

Кузнечик, о кузнечик!
Ты милый мой кузнечик!
Скажи, зачем, кузнечик,
Когда луна заходит
И ночь уже бледнеет,
Свою заводишь песню
Протяжным голоском,
Как будто горько плачешь
И брошенную будишь.
Хотя ты мал и жалок,
Но в этой спальне женской,
Где сплю я одиноко,
Один ты только знаешь,
Что в сердце у меня.

* * *

Как за косу таскал монашку бонза!
Да и она его за чуб драла.
И оба оглушительно орали:
«Я прав!» — «Нет, я права!»— «Не ты!»— «Не ты!»
Толпа слепых меж тем на них глазела,
Шел спор о них среди глухонемых.

* * *

Туго я любовь перевязал
И взвалил ее себе на плечи.
А теперь бреду я чуть живой
Через кручи горные Тхэсана.
А друзья, не зная, что за груз
Я несу, кричат: «Бросай скорее!»
Нет, пускай измучусь я совсем,
Пусть умру под тяжестью недоброй,—
Я ее не брошу никогда.

* * *

Средь тварей всех и на земле и в небе,
Что страх внушает, что вселяет ужас?
Тигр белолобый, волк или гиена,
Удав, гадюка, скорпион, стоножка,
Лесная нежить, упыри и злыдни,
Мондаль и челядь властелина Ада,
Посланцы всех владык из Царства мертвых...
Ты, эту нечисть всю перевидавший,
Когда с любимой тщетно ищешь встречи,
В груди твоей пылает пламень жгучий,
И ты горишь уж не живой, а мертвый,
И вот ты с нею встретился, и что же?
Дрожишь, объят неодолимым страхом,
И руки, ноги у тебя чужие,
И перед ней не можешь слова молвить...
Воистину, она всего страшнее.

* * *

Как женщины между собой не схожи!
Напоминает сокола одна;
Другая ласточкой сидит на кровле;
Одна — журавль среди цветов и трав;
Другая — утка на волне лазурной;
Одна — орлица, что с небес летит;
Другая как сова на пне трухлявом.
И все ж у каждой есть любимый свой,
И каждая прекрасна для кого-то.

* * *

Я всех извел бы петухов и псов,—
Вредней их нет среди живущих тварей.
Вдруг ночью под окном крикун-петух
Неистово захлопает крылами
И, гордо шею вытянув свою,
Закукарекает и, подымая
Уснувшую в объятиях моих,
Меня с моей любовью разлучает.
А пес у бедной хижины моей
Залает вдруг и ну кусать подругу,
В полночный час идущую ко мне,
Свирепый пес ее обратно гонит.
Пусть только подойдут к моим дверям
Торговец птицею или собачник,
Я крепко вас свяжу, петух и пес,
Чтоб им отдать, отдать без сожаленья!

* * *

«Смотри скажу, смотри скажу!
Теперь скрывать не стану.
Сказала, за водой идешь —
И обманула мужа.
Сняла ведерко с головы,
К колодцу прислонила,
Потом подушечку свою
Приладила к ведерку,
К соседу-богачу пошла,
С ним обменялась взглядом
И, взявши за руку его,
О чем-то с ним шепталась.
И вы пошли за коноплю,
Что было там — смекаю:
Потоньше стебли полегли,
А толстые остались,
Качаясь, как под ветерком...
Все мужу расскажу я».
«Из молодых, да ранний ты!
И, видно, врать приучен.
А я — крестьянская жена,
Весь день трудилась в поле».

* * *

Все, что было в юную пору,
Помню ясно, как день вчерашний.
Прыгал, бегал, ставил подножки,
В мяч играл, по горам бродил,
Состязался в борьбе и шашках,
Запускал бумажных змеев,
Шатался по теремам зеленым,
Дрался и пил.
Хорошо, коли глупости сходят с рук,
Далеко ль до беды в передрягах таких?

* * *

«Когда за рекою на Лунной скале
Ночью сова закричит,
Это примета верная:
Скоро умрет наложница —
Дура, змея ехидная,
Молодая, да ранняя».
«Что это вы, госпожа,
Несусветное говорите?
Я-то знаю, тогда умрет
Первая жена — старая хрычовка.
Поделом! Не следит за хозяином,
Лишь завидует юной наложнице».

* * *

И сегодня стемнеет,
А стемнеет — к утру рассветет,
А рассветет — любимый уйдет,
А уйдет — и не воротится,
А не воротится — загорюю,
А загорюю,— поди, захвораю,
А захвораю — уж, видно, не встану.
А если загодя знаешь, что так и будет,
Не лучше ли спать пойти?

* * *

Стареющая красавица! Вон за рекой
Сохнет ива плакучая.
Ствол обглодан, прогнил насквозь,
Рухнет вот-вот.
А все — помолодеть бы, помолодеть бы,
Помолодеть бы лет до пятнадцати!
До десяти! Даже нет — до пяти!
Вот как помолодеть.

* * *

Вот незадача! Кисть из шерсти барсука,
Которого ловят варвары севера,
Я обмакивала с упоеньем
В самую лучшую тушь —
«Горы Шоуян», «Луна и слива»,
Да на окно положила.
Покатилась она, закрутилась,
И — шлеп! — на землю упала.
Может быть, и отыщу ее,
Коли из дому выйду,
Но зато любого теперь раскушу —
Лишь на кисть посмотрю да на почерк его.

* * *

В день восьмой луны четвертой
Подняться на открытую террасу,
Встретить в день рожденья Будды
Праздник Любованья фонарями.
Медленно садится солнце.
Все прекрасно видно.
Фонари развешаны повсюду:
Рыба и Дракон, Журавль и Феникс,
Вновь Журавль, Черепаха, Колокол,
Рядом с ним — фонарь Бессмертных.
Барабан, Арбуз, фонарь Чеснок.
А поодаль, на других подмостках,
Скрылись девочки в бутонах лотоса.
И на птице сказочной луань
Приготовилась Небесная ткачиха
Улететь в неведомые дали.

Там висят, качаясь, Лодки,
Фонари Дома и фонари Подмостки,
Узорчатые фонари, Маленькие фонари,
Фонари Кувшины и Стенные шкафчики,
Фонари Котлы и фонари Ограды.
Куклы притаились на другом помосте —
Лев и Варвар, оседлавший тигра.
В небесах — Семерка фонарей Ковша.
Из-за гор восточных появляется луна —
И мгновенно зажигаются огни,
Разноцветное сиянье льется отовсюду.
Там — луна сияет, здесь — сияют фонари.
Светятся согласно и земля и небо.
Словно всюду светит солнце.

* * *

Эй, красотка бритоголовая!
Послушай-ка речь мою!
Что ты видишь в сумерках храма,
День и ночь поклоняясь Будде?
А ну как помрешь за молитвой?
Подопрут тебе челюсть вальком,
Запихнут в большую корзину с крышкой
И сожгут — радости мало.
Как бы пепел холодный твой
Не превратился в нечисть,
Что бормочет в горах пустынных
При дожде обложном!
Брось ерундой заниматься,
Выходи за меня —
Заведем и детей и внуков,
Будем жить душа в душу,
Окружены почетом,
В счастии и довольстве.

КАСА НЕИЗВЕСТНЫХ АВТОРОВ

БЕЛАЯ ЧАЙКА

Белая чайка, останься!
Я не из тех, кто ловит птиц.
Государь удалил меня,

И вслед за тобой иду я.
Что ж, в путь! На белом коне
С поводьями золотыми —
Туда, где меня заждались
Пять ив в уборе весеннем.
Белые облака,
Синие родники,
Пурпур персиковых цветов
И зелень ив.
Десятки тысяч ущелий,
Тысячи вершин,
Играющие потоки.
Здесь обитель бессмертных,
Мир красоты!
На нефритовом гребне горы
Изумрудные копья бамбука
Рвутся ввысь, состязаясь
С зеленоиглыми соснами.
И на чистом белом песке
Только дикий розовый куст
Рдеет ярко.
Отворятся алые лепестки
И сами собой осыпаются.
Развернутся вешние листья,
И вот уже сорваны ветром,
Падают — сплошь, сплошь.
Летят, кружась и порхая.
Это ли не достойно кисти?
Белка вскарабкалась по скале.
Золотая черепаха
Карабкается по песку.
В таволге дрозд насвистывает.
Над пионом жужжит пчела.
Тонкие лапки, тугое брюшко,—
С ветерком весенним
Никак совладать не может,—
Завалится влево, вправо,
Словно танцует в воздухе.
Это ли не достойно кисти?
Иволга златокрылая
От ивы к иве порхает.
Белые бабочки над цветами,
Как хлопья снега, легки.
Крылышками трепеща,

Взмывают — вверх, вверх,
Все дальше, все выше —
До звезд, до ясной луны.
Летят, кружась и порхая.
Это ли не достойно кисти?

ВЬЕТНАМ

Вступительная статья и составление
М. Ткачева

Подстрочные переводы
М. Ткачева, И. Зиман, А. Карапетянца и Тань Ао-шуан.

ПОЭЗИЯ ДАЙ-ВЬЕТА[1]

Различны судьбы поэзии в разных землях, у разных народов. Но, пробудившись однажды к жизни, поэтическое слово не умирает. Меняются очертанья морей и рек, пески затопляют долины, рушатся крепости, и застывают в безмолвном сне под землей некогда шумные города, истлевают в прах скипетры законных владык и завоевателей. Но строки стихов — доверены ли они хрупкой глине, непрочной бумаге или высечены в камне, сохранены ли для потомков тщанием переписчиков и покоем книгохранилищ или пробуждены от векового сна пытливостью и трудом потомков,— строки стихов неизбежно становятся достоянием людей, протягивая к их сердцам незримые нити из прошлого. Они словно эхо звучат в твореньях поэтов других времен, в народных песнях, снова и снова пробуждая в людях тягу к добру, к созиданию и красоте.

Труден был путь поэзии на земле вьетов, он отмечен и взлетами творческого гения, и горестными утратами. Но на этой земле не могли не родиться стихи. Поэтические струны души пробуждались под обаяньем природы, сплавленной из буйства красок и акварельной мягкости оттенков и полутонов. Здесь ярится раскаленное солнце, а там фиолетово-серый полог долгих дождей обволакивает весь зримый мир до самого окоема. Тишину вдруг разрывает в клочья рев тайфунов. Дурманящее ароматами пышноцветье сменяет усталое увядание осени. Отлоги песчаные скосы у моря, круты одетые парчою лесов горные склоны, и плодородные равнины то ширятся в речных устьях, то, стиснутые горами и морем, тянутся с севера на юг узкой извилистой лентой. Деревья в лесных чащах упираются кронами в синеву неба, опутанные переплетениями лиан. Стелются по опушкам неисчислимые цветы и травы. И бродят в жилах древес, в корневищах и стеблях былия незримые соки, способные в искусных руках стать смертельной отравой или целительным зельем. Реки, каскадами падающие с гор, вырываясь

[1] Дай-вьет (Великий Вьет) — древнее название вьетнамского государства; вьетами назывались племена, исстари жившие на севере Вьетнама. После объединения раздробленных земель вьетов страна их именовалась Дай-ко-вьет, а затем, с XI в.,— Дай-вьет. Название Вьетнам существует с XIX в.

на равнины, смиреют и несут в океан свои воды, то окрашенные красноватым илом, то прозрачные,— исхитившие у неба серебристую голубизну. А у берегов озер и тихих излучин колышутся тростники и цветут лотосы. И все это движенье и противоборство стихий совершается в извечном ритме. Этому ритму подчинены повадки лесных чудищ, перелеты пернатых, таинственная жизнь водяных тварей и недолгий век радужнокрылых бабочек. Даже могучие драконы (а вьеты считали себя потомками Повелителя драконов) свои появленья, знаменовавшие близость великих событий, увязывали с чередованьем природных начал. Этому ритму подвластны труды земледельцев, дважды в год — если не возмущались стихии — снимавших с полей урожай риса.

Но не всегда рос на здешней земле рис, и не всегда тут были долины и пашни. Это человек своими руками оттеснил джунгли и замостил болота и прибрежные морские топи. Из века в век на равнинах и в предгорьях ширились рисовые поля, а вдоль накатывавшихся на них в паводок рек вырастали — стеною — плотины. Вьеты сами создали свою землю. Они не мыслили себя без этой земли, да и земля бы погибла без их забот и трудов: «Слышите, люди: не бросайте поля,// Что ни щепотка земли — то щепотка злата...»

Так пели они и шагали по полю за плугом, оставляя борозды, похожие на строки; и, подобно рифмам, стягивали эти строки четкие грани межей. А прямо по строкам — нога в ногу — следом за пахарем брели белые аисты...

Песни вьеты слагали издревле. И спокон веку были свои особые песни у землепашцев и рыбарей, у ткачей и лодочников. Их пели во время работы и в часы вечернего досуга, когда над раскидистыми кронами баньянов у общинных домов повисали яркие звезды, и высеченные из векового дерева люди, духи и звери, украшавшие эти дома, затаясь в полумраке, внимали напевам — то тягучим и плавным, то задорным и звонким. Песни звучали не только на деревенских или храмовых празднествах. Известно, к примеру, что так называемые «песни гребцов» исполнялись во время лодочных гонок на торжествах по случаю дня рождения вьетского государя Ле Дай Ханя (985 г.). Тот же Ле Дай Хань, принимая во дворце посла сунского императора, немало удивил чопорного китайского вельможу, когда, как докладывал посол, «самолично затянул песнь приглашения к винопитию; слова были непонятны...» (Стало быть, пел государь на языке вьетов.) В 1025 году основатель новой династии Ли (1009—1225) государь Ли Тхай То на дворцовом празднике раздавал награды певцам. Среди них была «лицедейка Дао», имя которой, как отмечал летописец, стало понятием нарицательным и означало впоследствии просто «певица». В 1060 году государь Ли Тхань Тонг перевел (!) на язык вьетов тямские песни [1], сочинив к ним аккомпанемент для барабанов. Преемник

---

[1] Имеются в виду песни тямов, населявших расположенное в нынешнем Центральном Вьетнаме индуистское государство Тямпу. Она упоминается в исторических источниках начиная со II в. как сильная рабовладельческая держава с мощным флотом, большими городами и т. п. После долгих войн с Дай-вьетом утратила свою независимость (конец XV в.). Искусство Тямпы оказало влияние на формирование культуры вьетов.

его, Ли Нян Тонг, царствовавший с 1072 по 1128 год, построил в столице «дом для песнопений и плясок», а по словам безымянного автора первой из дошедших до нас вьетских летописей («Краткой истории земли Вьет»), «песни и мелодии для музыкантов все были сложены им (государем.— *М. Т.*) самолично». И при династии Чан (1225—1400) песни звучали в пиршественных залах дворцов, в домах вельмож и чиновников.

По преданию, именно в эту эпоху в войсках вьетов, которые за недолгие три десятилетия трижды отразили вторгавшиеся из Поднебесной полчища монгольской династии Юань, родились «песни военного барабана». Тогда их, став двумя рядами у барабанов, пели солдаты. Но до наших дней песни эти дошли уже в виде диалога между юношами и девушками, а ритм — в разных местах по-своему — отбивают где барабаны, а где — и туго натянутый певцами канат, иногда пропущенный для резонанса сквозь пустой бочонок.

И пусть где-то к концу XV века, с утвержденьем засушенного, регламентированного до мелочей конфуцианского церемониала, песни вытесняются из придворного обихода,— народ, само собою, пел свои старые песни и слагал новые. Если же говорить о влиянии на поэзию письменную, то в песенном наследии важнее всего были, пожалуй, «ка зао» — стихи, читаемые нараспев, на свой особенный музыкальный лад, отточенные и совершенные по форме. Применяясь к новым временам, ка зао менялись сами, и мало их дошло в первозданном виде из далекого средневековья. Но уж если они касались деяний государей, державных и ратных дел, то пели о героях, сражавшихся за отчизну, о «справедливых» императорах, при которых даже куры не клевали отборных рисовых зерен, а быков было столько, что стали тесны пастбища. Хотя все чаще и чаще звучала в народных стихах горечь и боль обездоленных людей, а позднее, в XVIII веке, безвестные сочинители ка зао звали людей в повстанческое войско тэйшонов [1] и оплакивали казненного властями «доброго разбойника» Лиу. Ему, кстати, в другом уже жанре, была посвящена народная баллада. Но в большей гораздо мере ка зао вместе с пословицами (они состояли зачастую из нескольких строк и тоже строились по законам поэтической метрики) уделяли внимание трудам земледельца и связанным с ним обычаям и природным приметам. Одни пословицы и ка зао складывались как бы в обширный календарный свод, где значились сроки пахоты, посева и жатвы, предвестия доброй и худой погоды... Другие — составляли свод этический и нравственный, полный не только вековечных житейских правил, но и вбиравший в себя иногда осужденья и неприятие этих правил, исподволь готовившие перемены в обычаях и в быту. Этот последний свод не во всем совпадал с уложениями конфуцианской морали. Но совсем уж расходился с этой моралью еще один, третий свод народной поэзии, самый, пожалуй, богатый и популярный,— любовная лирика. Ка зао воспевали

[1] Т э й ш о н ы — участники мощного крестьянского восстания (1771—1802), вспыхнувшего в горах Тэй-шон и позднее охватившего всю страну.

любовь свободную, не знающую закостенелых и подчас смехотворных рамок,— любовь, дарящую людям счастье и красоту, и гневно обрушивались на все, что мешало соединенью влюбленных.

Были у вьетов и другие стихи и песни — язвительные и насмешливые, бичевавшие пороки и кривду, жадность и жестокость богатеев и метившие нередко в самые, как говорится, «верхи». Не случайно уже в восьмидесятые годы XVIII столетия чванливый временщик Хоанг Динь Бао приказал выставить на рыночной площади ножницы с крюками, чтобы тут же на месте отхватить язык всем, кто посмеет завести хулительные песни.

Этот пускай и неполный рассказ о народной поэзии поможет нам лучше представить себе, как складывался духовный мир стихотворцев Дай-вьета. Да, они были людьми книжными и с малых лет корпели над конфуцианским каноном, над историей древних и новых китайских династий; без этого невозможно было выдержать испытанья ни в провинции, ни в столице, дававшие ученую степень и право на чиновничью должность. Но историю своей земли и законы, по которым испокон веку жили на этой земле их соотечественники, будущие стихотворцы,— росли ли они под изразцовыми кровлями палат или под тростниковыми крышами,— сызмальства узнавали еще и из сказок и песен. И неписаная «история», равно как и не освященные авторитетами древних мудрецов житейские правила властно налагали свою печать на их характеры и судьбы. В одной из песен вьетов поется: «За сотни лет сотрутся письмена на камне, // «Письмена» же изустные и тогда будут жить...» Не отсюда ль идут строки стихов великого поэта Нгуен Чая (1380—1442): «Рушатся каменные стелы, // но истина нерушима...»

Здесь уместно вспомнить, что традиция всегда почти связывала сочинение песен со стихотворчеством. Великий поэт Нгуен Зу (1765—1820) писал в одном из своих стихов: «Деревенские песни нам помогают выучиться словам, // Чтоб описать, как растят тутовник и рами...» И сказано это было не для красного словца. Поэт всерьез старался постичь искусство народных певцов. Вместе с друзьями являлся он из своей деревни Тиен-диен в деревню Чыонг-лыу. Там по вечерам девушки, сидевшие за прялками, и приходившие в дом, где они пряли, юноши пели знаменитые «песни ткачей». Нгуен Зу пел вместе с ними и был всегда желанным партнером. Как-то раз девушки, боясь, что он не явится на следующий вечер, взяли у поэта в залог его платок. Говорят, он даже полюбил одну из прях. Потом, когда он уехал, девушка стала чахнуть от тоски, и он написал ей письмо в стихах...

Но вернемся к письменной поэзии Дай-вьета. Когда и как она начиналась? Древнейшие, дошедшие до нас стихи относятся к концу X века. В 987 году в Дай-вьет прибыл из Китая посол сунского императора, звали его Ли Цзюэ. До тогдашней столицы, города Хоа-лы (Цветочные врата), стоявшего в неприступных горах, надо было добираться на лодках. И государь Ле Дай Хань выслал навстречу посольству просвещенного и влиятельного при дворе

буддийского наставника До Тхуэна (924—990), дабы тот, под видом кормчего, постарался выведать тайные мысли посла. Плывя по реке, Ли Цзюэ произнес две строки стиха. И вдруг лодочник подхватил рифму.

Посол был в изумлении. Он подружился с До Тхуэном и подарил ему стихи, таившие, как оказалось, в себе глубокий политический смысл. А потом на отъезд Ли Цзюэ другой буддийский наставник и советник государя, Нго Тян Лыу (959—1011), сочинил стихи «Провожая посла Ли Цзюэ». Оговоримся, что вьеты писали тогда стихи по-китайски, на ханване. Но неужели это были первые опыты стихосложения? Вряд ли возможно было без должного опыта и традиции состязаться с китайцем в сочинении стихов на его родном языке или написать ему в дар изысканные вирши. И такая поэтическая традиция у вьетов, конечно, была. Углубляясь в источники, так сказать, против течения времени, мы узнаем, что начиная со второй половины VII века китайские поэты, бывая в земле вьетов или встречаясь с приезжавшими оттуда в Китай буддийскими наставниками, дарили вьетам стихи. Литератор и ученый Ле Куи Дон (1726—1784) приводит четыре таких стихотворения, сохранившихся в китайских анналах. Но в этих случаях не принято, чтобы стихи дарила только одна сторона. Должно быть, вьеты тоже дарили поэтам из Поднебесной стихи; просто в китайские книги они не вошли, китайцы вообще редко сохраняли произведения чужой словесности. Однако по крайней мере одно исключение было сделано: в танских анналах сохранилась написанная ритмической прозой ода «Белые тучи озаряют весеннее море» — сочинение выходца из земли вьетов Кхыонг Конг Фу, который учился в танской столице Чанъани, сдал в 780 году экзамен, дослужился при китайском дворе до высоких чинов, но был уволен за «излишнее прямодушие». А еще раньше также учившийся в Чанъани выходец из земли вьетов — Фунг Дай Чи удостоился за свои стихи похвалы танского императора Гаоцзу (правил с 618 по 626 г.). И речь здесь может идти о серьезной поэзии, об этом говорит хотя бы тот факт, что двое буддийских наставников из земли вьетов состязались в стихосложении с великим поэтом Ван Вэем (699—759). Итак, вьеты сочиняли стихи за триста лет до приезда в их страну почтенного Ли Цзюэ. Но можно попытаться отодвинуть истоки поэтической традиции еще дальше. Обратимся снова к «Краткой истории земли Вьет». Там под 184 годом приведено сообщение о том, что ханьский император (вьетские земли были тогда захвачены Китаем) узнал о поднятом вьетами мятеже и послал к ним нового наместника — Цзя Мэнь-цзяня. Он утихомирил бунтовщиков. И дальше в летописи говорится, что после замирения (цитируем): «Сотни семейств (то есть множество людей.— *М. Т.*) распевали такую песню: «Отец Цзя прибыл с опозданием, // Нас прежде довели до мятежа. // Теперь вокруг покой и чистота, // И снова бунтовать нам ни к чему».

Начнем с того, что вряд ли в земле вьетов «сотни семейств» могли распевать стихи, написанные по-китайски. Язык этот и много позднее знали только люди образованные, большинство же его не знало. Здесь, видимо, летописец попытался с помощью стихотворения как-то обрисовать то, что мы теперь

назвали бы «общественным мнением». Сами же стихи, несомненно, сочинил человек просвещенный. Заметьте, в них сказано «нас... довели до мятежа». «Нас»!.. Значит ли это, что автор был из тех, кто бунтовал? То есть не обязательно бунтовщик, а вообще тамошний уроженец?.. Через сто лет это четверостишие включил в свои «Полные исторические записи Дай-вьета» Нго Ши Лиен, для того времени довольно критически относившийся к источникам. Сложно сейчас настаивать на том, что стихи эти относятся именно ко II веку; однако для нас главное в том, что сама постановка вопроса позволяет по-новому взглянуть на истоки поэзии вьетов.

Трудности в изучении древнейшего периода в истории поэзии Дай-вьета во многом связаны с сохранностью памятников. Практически от той эпохи почти ничего не сохранилось. Да и произведения более позднего времени тоже дошли до нас далеко не полностью. Причин тому было немало. Здесь и влажный тропический климат, и частые пожары (в старину все почти постройки были деревянными), и случавшиеся беспорядки, во время которых документы и книги, выброшенные из хранилищ, по словам историка, «переполняли дороги». А ведь «тиражи» книг были тогда невелики. В Дай-вьете, правда, книгопечатанье (с резных досок) существовало издавна. В буддийской житийной книге «Записи дивных речений в Саду созерцания» (XIV в.) есть жизнеописание преподобного Тин Хаука (ум. в 1190 г.), где сказано, что предки его испокон века резали доски для печатанья книг. С XV столетия дело это было поставлено на более широкую и современную ногу. В середине века ученый и поэт Лыонг Ньы Хок дважды ездил с посольством в Китай и, выведав там секреты печатного дела, обучил ему своих односельчан. В родной его деревне Хонг-лиеу (по-новому: Лиеу-чанг) доныне стоит ден (поминальный храм) Ньы Хока, где чтут его память. Оттуда ремесло разошлось по соседним деревням. Но все же книг было мало. Многие вещи оставались в рукописях, а они теряются и гибнут быстрее, чем книги.

В свое время ученый и поэт Хоанг Дык Лыонг (XV в., экзаменовался в 1478 г.), составляя «Собрание превосходных образцов поэзии», сетовал: «Ах, отчего в стране, где творенья словесности и искусства создаются вот уж которое столетие, нет ни одного собрания лучших своих творений, и, обучаясь стихосложению, надо отыскивать образцы где-то вдали, среди сочинений эпохи Тан...» Хоанг Дык Лыонг утверждал, будто книги пропадают оттого, что люди их не так уж и ценят: всякий, мол, распознает вкус изысканных яств или красоту парчи; но не каждому дано почувствовать прелесть поэзии. К тому же, считал он, сочиненья поэтов теряются, а собранья стихов не составляются, поскольку мужам просвещенным недосуг заниматься ими из-за служебных занятий; иные же и вовсе ленятся. Через триста лет примерно такие же точно резоны приводил составитель «Всеобъемлющего собранья стихов земли Вьет» Ле Куи Дон, сокрушавшийся, что даже со времен Хоанг Дык Лыонга многое утрачено.

Но среди «превосходных образцов», собранных учеными мужами, нам не найти, конечно, таких по-своему примечательных строк: «Каждый клочок

бумаги — пусть даже с половиной иероглифа, каменные плиты с надписями, воздвигнутые в этой стране,— все, едва увидите, изничтожайте в прах». А они многое бы могли объяснить о гибели книг, потому что «эта страна» — Дай-вьет, сама же цитата взята из указа минского императора Чэнцзу, который в 1407 году двинул на Дай-вьет свои войска, заботясь якобы о восстановлении законности и порядка. Двенадцать лет спустя новым указом император повелел вывезти из Дай-вьета в Китай все ценные книги, хроники и документы. В перечне их рядом с летописями и трактатами по воинскому искусству — книги стихов и прозы... И это был отнюдь не случайный каприз! Без малого полтора столетия спустя китайский историк, вместе с войсками вошедший на территорию Дай-вьета, с похвальной откровенностью писал: «Когда пришли солдаты, они, за исключением буддийских и конфуцианских канонических сочинений, отнимали любую печатную книгу, даже разрозненные страницы, вплоть до книжек пословиц и побасенок, по которым дети учились грамоте,— все должно было быть сожжено...»

Однако литераторы и ученые Дай-вьета с огромным трудом, чуть ли не по строкам, собирали наследие своей поэзии. К началу XIX века существовало уже девять больших антологий. Примечательно, что пять из них составлены были в XV или в самом начале XVI века, а когда после долгой и тяжелой всенародной войны были изгнаны из страны полчища феодального Китая, Дай-вьет переживал огромный духовный подъем. Возрос, естественно, интерес к литературе — выразительнице национального духа и традиций, к своей истории, к наследию предков. Государь Ле Тхань Тонг (1442—1497) особым указом велел награждать людей, сохранивших редкие книги...

Итак, вначале поэзия Дай-вьета писалась на ханване. Мы здесь не будем касаться вопроса о том, существовала ли до того у вьетов своя письменность. Он достаточно сложен, и даже для предварительных выводов пока нет никаких точных данных. Отметим, что приятие вьетами китайской иероглифической письменности и китайского языка — как языка официального, делового и литературного — явилось, несомненно, важным шагом не только потому, что открывало перед ними новые возможности для творческого самовыражения (нас в данном случае интересует прежде всего художественная литература), но еще и потому, что предоставило в их распоряжение огромные духовные богатства китайской культуры. Очень многое и в поэтической метрике, и в образной системе, и в том, что сегодня именуется «интеллектуальным багажом» поэзии, вьеты заимствовали из Китая. Знанию китайской словесности и всех премудростей конфуцианского учения способствовала и система экзаменов, о которой уже шла речь выше. Но было бы наивно предполагать, будто вьеты не видели разницы между слепым подражанием и творческим заимствованием языка и реалий другой культуры. Вспомним хотя бы, как один из выдающихся реформаторов и просветителей Дай-вьета Хо Куи Ли (1396—?) сказал, разбирая доклад некоего вельможи, обожавшего цветистые цитаты и ссылки на китайских мудрецов: «Тех, кто, едва приобщась

к словесности, только и норовит упомянуть деянья времен Хань или Тан, верно прозвали «глухонемыми болтунами»; они лишь сами на себя навлекают насмешки». Сказано это было в 1402 году, через два года после того, как Хо Куи Ли сверг династию Чан, и за пять лет до китайского нашествия, оборвавшего его реформаторскую деятельность. Он был вместе с семьей и теми придворными, которые сохранили верность ему и его сыну, царствовавшему в те годы, увезен в клетке в Китай, где и умер в заточении. А ведь, как это ни парадоксально, именно Хо Куи Ли начал дело перевода китайских книг на язык вьетов и даже сам переводил канонические конфуцианские тексты. Он и стихи сочинял по-китайски, писал стихи на «номе»...

Если судить по сохранившимся надписям на стелах, иероглифическая вьетнамская письменность ном уже употреблялась где-то в конце династии Ли, хотя некоторые исследователи датируют ее появление гораздо более ранним временем. О первом же литературном памятнике на номе мы располагаем, так сказать, вполне официальными сведениями. «Полные исторические записи Дай-вьета» под восьмым месяцем года Воды и Коня (1282) помещают известие о выдающемся событии: были изгнаны — с помощью стихотворного заклятия на номе — крокодилы, заполонившие устье реки Ло (ныне Красной). Заклятие это по приказанию государя сочинил и бросил в реку глава Палаты правосудия Нгуен Тхюйен. «Крокодилы,— говорит летописец,— само собою, исчезли. Государь решил, что деяние это схоже с деянием Хань Юя, и потому велел (Нгуен Тхюйену.— *М. Т.*) сменить родовое имя и зваться Хан Тхюйеном...» (Во вьетнамском языке слово «хань» произносится с твердым окончанием.) «Именно с той поры,— заключает летописец,— в земле нашей при сочиненье стихов... многие стали пользоваться родным наречием». К сожалению, собранье стихов Хан Тхюйена до нас не дошло; название его значится в реестре книг, вывезенных в Китай в 1419 году. Пожалуй, здесь позволительно будет сделать предположение о том, что поэзия на номе могла существовать и до Хан Тхюйена. Для создания книги стихов нужно было все-таки опираться на какую-то традицию. Да и в том же самом летописном своде Ного Ши Лиена двадцать четыре года спустя мы находим сведения о Нгуен Ши Ко, ученом, литераторе и придворном, который был «искусен в шутках, любил слагать стихи на родном языке». И далее: «С той поры в земле нашей начали слагать стихи... на родном наречии». Что немаловажно, под этим же 1306 годом мы читаем о том, как вьетскую принцессу Хюйен Чан выдали за короля Тямпы, по каковому поводу «среди сочинителей — при дворе и в простых домах — многие, взяв за образец случай, когда ханьский император выдал дочь за гунна, сложили стихи на родном наречии, дабы излить насмешку». («Насмешку» — потому что брак этот, в общем, был мезальянсом.) Выходит, через два десятилетия после появления магических виршей Хан Тхюйена стихи на номе слагали уже сочинители самого разного ранга и толка?

Первой дошедшей до нас поэтической книгой на номе стало «Собранье стихов на родном языке» Нгуен Чая. Двести пятьдесят четыре стихотво-

рения — драгоценный свод, которому мы в основном обязаны нашими представлениями о вьетской поэзии да и о самом языке вьетов. Именно книга Нгуен Чая открывает нам по-настоящему поэзию вьетов, зазвучавшую на их собственном языке. Судьба Нгуен Чая, гениального поэта, ученого, государственного деятеля и военачальника, сподвижника Ле Лоя, который был вождем освободительной народной войны, изгнал из Дай-вьета китайских захватчиков и основал династию Ле (1428—1788), сложилась трагически. Он был по ложному навету обвинен в цареубийстве и казнен вместе с сыновьями, внуками и правнуками. А книги его и доски, с которых они печатались, были сожжены или уничтожены. Отдельные экземпляры их вроде бы сохранились лишь в тайных государственных архивах. Стихи Нгуен Чая были изданы через четыреста лет после его смерти. Но утаить наследие поэта от потомков не удалось. Следы влияния его поэзии находим мы в сочинениях государя Ле Тхань Тонга и членов созданного этим монархом «Собрания двадцати восьми светил словесности». Плод их совместного творчества — «Собрание стихов на родном языке, сложенных в годы «Великой добродетели» [1] — следующая после книги Нгуен Чая поэтическая вершина. Ле Тхань Тонг и его собратья по поэзии слагали стихи и на ханване (так же, кстати, как и сам Нгуен Чай и, по преданию, Хан Тхюйен, равно и Чан Тхай Тонг и другие). «Двуязычным» был и другой великий поэт — Нгуен Бинь Кхием (1491—1585).

Стихотворчество на родном языке делается достоянием все большего круга лиц. Поэзия утрачивает свой элитарный характер, у нее появляется новый читатель, вернее, и читатель и слушатель, потому что стихи теперь воспринимались на слух людьми, не обученными грамоте. Естественно, возникает и «обратная свя̀зь» — ширится влияние народной поэзии на поэзию письменную. Обогащается за счет фольклорных форм и сама поэтическая палитра. К заимствованным из китайской, главным образом танской, поэзии стихотворным размерам и формам (чаще всего восьмистишья и четверостишья с семисловной, то есть и семисложной строкой и конечными рифмами) со временем добавляется пришедший из ка зао «люк бат» — размер, построенный на чередовании шестисложной и восьмисложной строк с конечной и внутренней рифмами. Начатки люк бата можно найти в песенных стихах Ле Дык Мао (1462—1529). Но уже столетие спустя в стихотворении Фунг Кхак Хоана (1528—1613) «Песня о лесистых ущельях» мы видим люк бат окончательно оформившимся. Этим размером написаны и поэмы Дао Зюй Ты (1572—1634) «Песнь о возлежащем драконе» и «Песнь о заливе Ты-зунг», читавшиеся, вероятней всего, нараспев с музыкальным сопровождением. Люк бат связан со становлением и высочайшими достижениями крупного жанра в поэзии, им написан и бессмертный роман в стихах Нгуен Зу «Стенания истерзанной души» (часто именовавшийся по имени героини «Тхюи Кьеу» или «Повесть о Кьеу»). На люк бате

---

[1] «Великая добродетель» — один из девизов царствования Ле Тхань Тонга (1470—1497).

пишутся и лирические поэмы — «нгэмы». Входит в поэзию еще один размер «тхэт нгон люк бат», где чередуются две семисложные строки с шестью- и восьмисложной строками, также с конечной и внутренней рифмами. Этим размером написаны такие шедевры классики вьетов, как философско-лирическая поэма «Песнь о четырех временах года» Хоанг Ши Кхая (XVI — начало XVII в.), лирические поэмы Доан Тхи Дием (1705—1748) «Жалобы жены воина» и Нгуен Зиа Тхиеу (1741—1798) «Плач государевой наложницы», философская поэма Нгуен Зу «Все живое...». Разумеется, появление крупного жанра в поэзии связано не только с обогащением и развитием поэтической формы, но и, прежде всего, с переломными явлениями в социальной и духовной сферах, с кризисом старых и зарождением новых идей. Впрочем, об этом позднее.

А сейчас вернемся к XVII столетию, когда, вероятно, написаны были на номе первые безымянные повествовательные поэмы — «чюйены» («Рассказ о прекрасной Ван Цян», «Су — полномочный посол государя», «Дивная встреча в лесистых ущельях»), строившиеся еще большей частью «по-старому», на семисложной строке. Они сразу же стали необычайно популярны. Очевидно, в конце XVII века появилась безымянная поэма «Записи Небесного Юга» (более восьми тысяч строк люк бата) — своеобразная летопись в стихах, также широко распространившаяся среди читателей. Поэмы эти помимо новизны и увлекательности сюжетов несли в себе и определенный социальный заряд. Число их, а равно и количество копий — рукописных и печатных — множилось. И власти не замедлили всем этим заинтересоваться. В 1663 году князь Чинь Так (княжеский род Чинь практически узурпировал в то время власть государей Ле) повелел составить «Сорок семь статей об обучении словесности», где, кстати сказать, в стихотворной форме, указывалось на великую назидательную пользу, проистекающую от изучения китайского языка и словесности, а наипаче — от неукоснительного следования конфуцианским догмам. Все же остальное объявлялось никчемным и безнравственным. Остальное — это были книги на номе (речь главным образом шла о чюйенах), которых якобы развелось слишком уж много: «Дочитаешь одну книгу стихов, // вновь попадается песня (поэма). // Слова (их) развратны, с легкостью // лишают людей власти над собой; // Не следует их печатать и распространять // в ущерб добрым порядкам».

Одновременно князь Чинь Так, радея о высшей нравственности, повелел собрать «вредные книги» (на номе!) и сжечь. Однако книжные костры здесь, как, впрочем, и везде, оказались бессильны, и XVIII столетие поистине стало венцом восьмивекового пути поэзии Дай-вьета...

Но давайте вспомним об ее истоках. Принятый в некоторых изданиях принцип открывать публикацию поэтических памятников с начала XI века в общем-то имеет, как говорится, свои резоны. В 1010 году прославленный государь Ли Тхай То перенес столицу из укрывавшегося в горах городка Хоалы,— пусть там поставлены были дворцы под «серебряными изразцами» и златоколонные пагоды, он все же оставался небольшим городком, само место-

положение которого как бы свидетельствовало о постоянной угрозе вражеских нашествий. Новое, единое и сильное вьетское государство нуждалось в новой столице, которая лежала бы в центре его расширившейся территории. И такое место было найдено. Именно там, на равнине, в дельте Красной реки, находилась, как сказано в «Указе о переносе столицы», «скоба и задвижка от всех земель в четырех сторонах света». Здесь, если вспомнить историю, были уже в прошлом — далеком и не очень далеком — столицы других династий и царств. Но государю, само собою, это место было указано свыше: здесь он увидел взлетавшего в поднебесье золотого дракона,— счастливейшая примета, сулившая его державе процветанье и силу. Так был заложен Тханг-лаунг — «Град Взлетающего Дракона», престольный город Дай-вьета, опора его могущества, средоточие богатства и славы. Именно здесь был центр духовной жизни Дай-вьета, здесь творилась его поэзия. Да, конечно, стихи писались и в отдаленных пагодах, и в деревенском уединении ушедших от дел конфуцианских книжников, во дворцах окружных наместников и в дальних походах. Пусть не в столице, а в уезде Куинь-лэм собирал взысканный чинами и титулами принц Чан Куанг Чиеу (1287—1325) «Сообщество стихотворцев яшмового грота» — первое содружество поэтов в истории Дай-вьета. И так же не в столице, а на юге в Ха-тиене, собиралось, пожалуй, последнее поэтическое содружество, которое основал государев наместник Мак Тхиен Тить (XVIII в.). Но все же именно здесь, в Тханг-лаунге, стихи обретали свое полнозвучие, здесь определялись и соизмерялись значение их и ценность. Быть может, из всех великих поэтов один лишь Нгуен Зу был связан со столицей Нгуенов, городом Хюэ, но узы эти навряд ли были особенно прочными.

И тем не менее мы ошибемся, считая стихотворцев Дай-вьета горожанами в нашем сегодняшнем смысле этого слова. Вьеты — придворные ли или простолюдины, жившие в Тханг-лаунге и других городах — тысячью невидимых нитей соединены были с природой, ее движением, ее силой и красотой. Не случайно поэты Нгуен Ньы До, Данг Минь Бить или Тхай Тхуан (все они жили в XV в.), описывая столицу, выводят все те же детали «чистой» природы: сад, пруд и лягушек, кричащих после дождя, бамбук, цветы, луну; пишут о рыбной ловле... Лишь в XVIII веке у Ле Хыу Чака и других мастеров появится в стихах о Тханг-лаунге «городской» пейзаж.

В царстве природы не существовало границ, не было неравенства. «Все, что существует в природе, // суть — общее достояние...» Так писал Нгуен Бинь Кхием.

В царстве природы, в стремленье постичь и изобразить его, пожалуй, наиболее тесно соприкоснулись поэзии народная и письменная. Поэт, человек просвещенный, книжный, и неведомый творец народных стихов и песен, в сущности, одинаково подходили к изображению природы. Просто у них были разные «точки отсчета». Первое, что всегда приковывало к себе внимание человека, это, наверно, загадка вечного круговорота в природе, смены времен. У народной поэзии здесь своя система координат. Давайте прислушаемся: «В первом месяце ноги шагают за плугом, // Во втором, когда вы-

севают рис, множь усердье...» И так далее, до двенадцатого, последнего месяца, когда надо сажать бататы... Это — ка зао. А пословицы еще уточняют, что, если «...кричат журавли,— будет стужа». И что, если, скажем, осенью «летают стрекозы,— будет буря». А сколько есть тут примет, связанных с луной! Но, оказывается, и государь Ле Тхань Тонг, вроде бы завзятый книгочий да к тому же еще погруженный в дела правления, отлично, что явствует из его стихов, знает о том, как многоразлично светит луна в разные времена года. И государь Чан Нян Тонг (1258—1308) о приходе весны узнает не от придворных астрологов, а по бабочкам, закружившимся над цветами. Ведомо было поэтам, и какую пору весны означает «пух, облетающий с ивы» (принц Чан Куанг Кхай; 1241—1294), и что по весне в час пятой стражи кукует кукушка (Ле Тхань Тонг). А вот знаки наступившего лета: пение иволги (Хюйен Куанг), крик коростеля и округлившиеся бутоны софоры (Нгуен Чай), все та же иволга и цветенье гранатов (поэтесса Нго Ти Лан). Осень — важная пора для земледельца, и в народной поэзии с нею связано особенно много примет. Но и в «календаре» стихотворцев осенние знамения многочисленней прочих. Вот одно лишь начало осени: «Со старых тутовников листья опали, // коконы уж созрели; // Благоухает ранний рис в цвету, жиреют крабы». (Нгуен Чунг Нган; 1289—1370. Поэт и вельможа, он написал эти строки, вспоминая далекую родину, когда ездил послом в Китай.) «Цедреллы плоды еще зелены, но уже ароматны; // Лиловые крабы с желтым бруском в брюхе в бамбуковые заползают верши». (Ли Ты Тан; 1378—1457. Придворный и военачальник.) Кстати, «желтый брусок в брюхе» — это крабье сало. Стало быть, все та же примета. Ее мы найдем и у стихотворца XVIII века Нго Тхой Ыка, уточняющего, что крабы особенно жирны «в седьмом и восьмом месяцах»,— по лунному календарю это уже осень. Поэт определяет время даже по шуму потока: «Журчанье ручья у изголовья возвещает осень» (государь Чан Минь Тонг; 1300—1357). Календарь ему заменяют цветы: «Год на исходе, в горах численника нет; // Но распускаются хризантемы, значит — день двойной девятки». (Преподобный буддийский наставник Хюйен Куанг. «Двойная девятка» — девятый день девятого месяца.) А вот строки, что вышли из-под кисти придворного и дипломата Фам Шы Маня (XIV в.): «...Мелкий дождь заполонил город — // пора хлебных червей». Осень кончается, и «рыба, почуяв холод, скачет в студеном потоке». Так предугадал перемену времен высокоученый Тю Ван Ан (?—1370), непреклонный блюститель «истинного пути», провозглашенного Конфуцием. У поэзии письменной не только свой точный календарь, но и свои часы. Каждой из пяти страж посвятил по стиху государь Ле Тхань Тонг и у каждой подметил особенные, ей одной свойственные черты. Утро поэту возвещает голос иволги, а вечер — кружение ласточек (чиновник и придворный Тхай Тхуан). Вечером также кричат вороны (Мак Динь Ти) и опускаются на ночлег в поля цапли (государь Чан Нян Тонг).

Стихотворцы Дай-вьета умели ценить щедрость земли. Но они знали, что ее дары — плод нелегких крестьянских трудов. Не случайно Нгуен Чай

напоминал служилым людям: «За чиновничье жалованье твое будь благодарен землепашцу...» Главной заботой людей был урожай, и судьба его занимала поэта: «Смотрю, как синие тучи укрывают поля, // вижу — урожай будет добрый» (Буй Тонг Куан; XIV в.). Государь Ле Тхань Тонг слушает кукушку, «возвестницу сева». А один из его «двадцати восьми светил словесности», Тхай Туан, прислушивается к крикам пахарей, погоняющих буйволов в борозде, и глядит вслед испуганным их голосами белым аистам...

Нгуен Чай писал стихи о сахарном тростнике, банане и целебном корне хоанг тине. Ле Тхинь Тонг и его собратья — о банане, арбузе, батате, капусте. Нгуен Бинь Кхием — о кокосе... Но, конечно, поэтам был чужд «утилитарный» подход к природе. Нгуен Чай всю жизнь копил «серебро маи» (маи — разновидность сливы, расцветающей в самом начале весны) и «золото хризантем». Он считал их единственным богатством, которое достанется детям и внукам. Поэты, зная толк в сокровищах цветов, умели подметить и изобразить самые разные «ценности». В «Собранье стихов, сложенных в годы «Великой добродетели», есть семь стихотворений о лотосе (только что распустившемся; старом; колеблемом ветром...).

Поэт ощущал себя частью природы, нераздельной с целым. «Этот ветер,— писал о себе государь Чан Ань Тонг (1267—1320),— и эта луна, и этот человек — все вместе суть три дивные сущности жизни». Наверно, здесь надо отличать традиционные атрибуты отшельнического бытия, реминисценции книжные, пришедшие в стихи вьетов из поэзии Китая, от личного, прочувствованного и осмысленного восприятия природы. И то, чем, собственно, был уход от мира для поэта-буддиста и для поэта-конфуцианца. В первом случае — это естественное бегство из царства суеты и праха на лоно природы, где царят первозданный покой и гармония,— суть наилучшие условия для самосозерцания,— основы укоренившегося в Дай-вьете учения «тхиен» (с а н с к р. — «дхьяна», к и т а й с к.— «чэнь», я п о н с к.— «дзэн»). Все сущности и существа природы для буддийского отшельника были звеньями всеединой и вечной цепи перевоплощений и различных существований. В этом смысле поэт воспринимал и самого себя как неотъемлемую частицу природы. Именно о таком слиянии, таком единении и говорил Чан Ань Тонг. Состояния природы и предающегося на лоне ее самосозерцанию человека тождественны. «Душа, принесшая обет природе,— утверждает поэт,— как и она, чиста и свежа» (государь Чан Тхай Тонг). Для конфуцианца же отшельничество, уход от деятельной жизни — это прежде всего способ решения житейских противоречий. Долг предписывает «истинному мужу» служить государю и государству. Но когда государь несправедлив и в государстве вершатся неправедные дела, долг предписывает от такового служения отказаться. Конечно, не всегда перед человеком стояла дилемма: служба или отшельничество. Здесь было множество оттенков, и отшельник не обязательно должен был отгородиться напрочь от многоликой и переменчивой жизни. Очень часто отшельники — буддисты и конфуцианцы становились наставниками, учителями. Но в этом случае буддийский наставник учил отрешенью от бренностей мирского существо-

ванья во имя самосозерцания, самопостиженья и — через них — приобщенья к истинному пути. Конфуцианец же в первую очередь излагал своим ученикам все те же догматы общественной иерархии, служения «долгу», участия — в отведенной всеобщим регламентом мере — во всем, что касается дел государства. Конфуцианец на лоне природы учил тому же, чему обучали его коллеги в столичных школах...

Иные конфуцианцы уходили от дел до поры до времени. У них имелось одно очень удобное правило: как только правление станет клониться к справедливому толку — можно ему и послужить. Не все они бесповоротно, раз и навсегда, уходили от обольстительных соблазнов власти, как это сделал Тю Ван Ан, когда государь отверг его знаменитое прошение об отсечении голов семи временщикам. Он был честен, когда писал: «Плоть моя, как одинокое облако, // вечно привязана к горным вершинам; // Душа, словно старый колодец, // не ведает волнений». Кстати, этот же образ четыре с лишком столетия спустя мы найдем в стихах Нгуен Зу: «Сердце мое — словно старый колодец, в который глядится луна». (Перевод Арк. Штейнберга.)

Но были и «отшельники», такие, как Нгуен Бинь Кхием, не порывавшие окончательно связей с двором и следившие весьма даже пристально за течением государственных дел (хотя он также потребовал у государя головы временщиков,— на этот раз в количестве восемнадцати,— и, не получив их, вышел в отставку). В своей деревне он выстроил дом, который скорее лишь в силу традиций именовался «приютом» (кельей) — «Приютом Белых туч», навел мосты и воздвиг павильоны для удобства дальних прогулок. Он принимал посланцев обеих враждовавших династий — Маков, захвативших тогда столицу, и Ле, обосновавшихся на юге, в Тхань-хоа. Маки слали ему золото, драгоценности и шелка, и он, утверждая в стихах суетность богатства, не возвращал их назад. Случалось, он наведывался в столицу, а иногда и Маки навещали поэта в его «келье». Ученики же его служили при обоих дворах.

Гораздо скромнее жил в деревенском уединении, в Кон-шоне, Нгуен Чай, когда сперва попал в опалу, а затем и вышел в отставку. Впрочем, в отличие от Нгуен Бинь Кхиема, Нгуен Чай вовсе не склонен был уходить от дел после первого же несогласия с монархом. Он, изведавший горечь китайского плена, тяжкие превратности войны и хитросплетенья дворцовых интриг, всегда готов был бороться за выношенные и выстраданные им идеалы человечности и добра. Изгнанный, он, проглотив обиду, вновь возвращался к кормилу власти, ибо народ он уподоблял водной стихии, а государя и власть — ладье. Истинный служитель долга, он хотел быть кормчим, верным и неподкупным кормчим своего государя. Он был бескорыстен,—вспомним «золото хризантем». Ему, привыкшему держать в руках меч, невмоготу было из отдаленных тенистых беседок взирать на торжество несправедливости. Он вступил в поединок со злом и пал в нем... Нет, не отрешенья от жизни, а прежде всего отдохновенья искал Нгуен Чай на лоне природы. Не об этом ли его «Песнь о Кон-шоне»: «В Кон-шоне есть речка, журчанье ее меж камней // для меня — переливы струн; // В Кон-шоне есть скалы, отмытый дож-

дями зеленый мох // для меня — циновка с периной. // В Кон-шоне есть роща тунгов, кроны — зеленые балдахины, // под сенью их я сажусь отдохнуть...»

Поэты, созерцая природу, умели увидеть в малом большое, в частице — целое. Для них «пруд в половину мау[1] отражал целиком все небо», как писал Нгуен Хук (XV в.). Конечно, когда стихи о природе слагал венценосец, он умел привнести в них должные интонации. Так, государь Чан Нян Тонг, находясь в округе Тхиен-чыонг, откуда вышла династия Чан, заявлял: «Округ этот — первейший из двенадцати округов». Подобную иерархическую географию весьма уместно дополняло сравнение шпалер апельсиновых деревьев с рядами дворцовой гвардии. Ле Тхань Тонг, набрасывая традиционными красками деревенский пейзаж, добавляет к привычным деталям вереницу колесниц и звуки музыки. А в «Восхваленье деревни Тьэ» он же завершает описание природы и шумного торжища «государственными резонами»: мол, здешнее процветание объясняется тем, что с людей взимают меньше податей. (Кто, спрашивается, их столь разумно установил?) Если в описаниях природы, связанных с временем процветания и мира, царит успокоение и гармония, то в пору военной страды и социальных потрясений нарушается равновесие стихий... Начинается дисгармония космических начал, когда, по словам Нгуен Бинь Кхиема, «вселенная не умиротворена» (современный ему вселенский разлад он подтверждает учеными ссылками на подобные случаи при древних китайских династиях). Отсюда тянется прямая связь к космическим мотивам в поэме Хоанг Ши Кхая «Напевы о четырех временах года». Здесь автору космические и стихийные силы понадобились, напротив, для того, чтобы воспеть возвращение к власти законной династии Ле, а точнее — воцарение княжеского рода Чинь, взявшего всю власть в свои руки,— воспеть через якобы утвердившуюся в природе лучезарность, покой и изобилие. У Хоанг Ши Кхая тоже множество реминисценций из китайской словесности и истории. Все это должно было придать главной идее поэмы особую убедительность. Кто знает, не была ли чрезмерная восторженность поэта изъявлением признательности новым властителям, которые не только не стали карать Хоанг Ши Кхая за службу у узурпаторов Маков (вот она, верность конфуцианскому долгу! Правда, он после изгнания узурпаторов вышел в отставку), но окружили почетом и жаловали щедрую пенсию.

Как и в народной поэзии, стихотворцы очеловечивают явления природы Поэт слышит, как «дождь переносит журчанье ручья через ущелье», видит, как ветер «машет бамбуком над крыльцом» (Чан Минь Тонг)... Одушевляет поэт и самые различные предметы, сотворенные людскими руками. Дремлет весь день, взойдя на песчаный берег, одинокая лодка (Нгуен Чай). Отгоняет птиц нелюдимое пугало, которое и владельца бахчи не очень-то жалует... Пейзажная поэзия зачастую как бы строилась по законам живописи. Стихотворец умел передать контрасты цвета и игру света и тени и призрачность полутонов. Более того, в стихах иногда зримо ощущается перспектива, объемная организация пространства, средневековой живописи не всегда еще

[1] М а у — старинная мера площади, равная 3600 кв. м.

свойственная. И становится понятным встречавшееся тогда в одном лице сочетанье талантов поэта и живописца.

Возможно, разговор наш о поэзии Дай-вьета X—XVII веков покажется чересчур пространным. Но ведь она до сих пор практически была неизвестна русскому читателю; тогда как творения поэтов XVIII столетия, во всяком случае, главные и лучшие среди них, давно уже бытуют в русских переводах. XVIII столетие в истории Дай-вьета было временем крупнейших социальных потрясений. А вместе с устоями феодальной монархии заколебались общественные и этические идеалы, казавшиеся прежде незыблемыми. Конфуцианская регламентация и нормы рассудочной морали отступают перед властным требованием свободы человеческой личности, свободы человеческих чувств. Поэт осознает право человека на счастье, высокую непреходящую ценность любви, вступающей зачастую в конфликт с конфуцианской этикой и существующими порядками. И пусть стихотворец, не видя еще путей к истинному освобождению личности, решает жизненные противоречия с помощью условных приемов: воссоединение влюбленных в иных существованьях; пусть еще торжествует зло, но оно весьма недвусмысленно разоблачается и осуждается поэтом. Не случайно император Ты Дык (1848—1883), как говорят, прочитав в великой поэме Нгуен Зу «Стенания истерзанной души» строки, в которых вольнодумец и бунтарь Ты Хай отвергает власть монарха, воскликнул: «Будь Нгуен Зу еще жив, Мы повелели бы отсчитать ему двадцать ударов бамбуковой палкой!..»

Гневно осуждают стихотворцы Дай-вьета бесчеловечность законов, феодальные распри, несправедливость, лишающую человека права на счастье. Созвучны с твореньями Нгуен Зу и стихи Хо Суан Хыонг, которая, продолжая традиции «малого» жанра, воссоздает цельную картину общества, построенного на угнетении и бесправии. Меняется и сам тип поэта. Да, Нгуен Зу еще служит феодальному государству, но мог ли он вырваться из привычных норм и жизненных правил своего класса?! Для него служение монарху — это уже не высшая и единственная цель жизни. Не смог возвыситься до конца над традиционными представлениями и правилами и другой замечательный поэт — Фам Тхай. Но именно он, видя несправедливость окружавшей его жизни, которая явилась и причиной личной его трагедии, порвал с извечной «верностью» государю и «истинным» установлениям. Добровольно поставив себя вне традиционных жизненных рамок (и дело здесь было, конечно, не только в династических пристрастиях и антипатиях), он стал «свободным художником». Скитаясь по дорогам, поэт слагал стихи «на случай» и кормился кистью своей, предпочтя желтую рясу нищенствующего монаха пышному одеянию царедворца. И именно из этого XVIII столетия память народная сохранила уже не только имена стихотворцев, но и имена героев их книг, ставшие нарицательными и вошедшие в песни и на зао. Это прежде всего относится к поэме Нгуен Зу, персонажи которой стали героями многочисленных притч, стихов и драматических произведений...

М. Ткачев

НГО ТЯН ЛЫУ

ПРОВОЖАЯ ПОСЛА ЛИ ЦЗЮЭ

Погожего дня засиял ореол,
надул паруса ветерок.
Праведный к трону владыки вернется,
много проехав дорог.
Сотни теснин и стремнин одолеет,
бурного моря пучину.
К небу далекому
путь многодневный пролег.
Кубок прощальный наполнен,
Горек последний глоток;
Возле повозки
пытаюсь развеять кручину,
Славного гостя прошу не забыть
наших забот и тревог,
Тяготы наши
честно раскрыть властелину.

В ДРЕВЕ ИЗНАЧАЛЬНО ЗАЛОЖЕН ОГОНЬ

Древо огонь таит, изначально храня.
Множество раз рождается он изнутри.
Как утверждать, что в древе не скрыто огня?
Вспыхнет огонь, лишь древо о древо потри.

ВАН ХАНЬ

НАСТАВЛЕНИЕ УЧЕНИКАМ

С молнией сходна бренная плоть,
миг — и вот ее нет.
Луг травяной, расцветший весной,
осенью вновь раздет.
Взлет и паденье шлет нам судьба,
их бесстрашно прими.
Словно роса на метелках трав
каждый расцвет и отцвет.

ЛИ ТХАЙ ТОНГ

ПРОСЛАВЛЯЮ ВИНИТАРУЧИ, ПРОПОВЕДНИКА УЧЕНИЯ ТХИЕН

Южное царство вы посетили когда-то,
Вашею славой каждый наполнился дом,
Множество будд вы нашим душам открыли,
Множество душ в источнике слили одном.
Нас озаряет луна белоснежная Ланки,
Праджны премудрость пахнет вешним цветком.
Скоро ли встретимся? Скоро ли с вами вдвоем
О сокровенном беседу опять поведем?

ВИЕН ТИЕУ

В ДОБРОМ ЗДРАВИИ ВОЗВЕЩАЮ ВСЕМ

Плоть как стена, что готова пасть,
Рухнуть грудой камней.
В жизни — все понуждает страдать,
Все преходяще в ней.
В мире духовном — сущностей нет.
Стоит сие постичь,—
Узришь, как чередуется явь
С тьмами мнимых теней.

ЛИ ТХЫОНГ КИЕТ

ГОРЫ И РЕКИ ПОЛДНЕВНОЙ ДЕРЖАВЫ

Горы и реки Полдневной державы —
владенья властителя Юга.
В книге небесной рубеж обозначен,
царства любая округа,
Как осмелились вы, супостаты,
вторгнуться в наши пределы?
Вас ожидает разгром позорный,
придется незваным туго.

ЗИЕУ НЯН

ВЕЧНЫ РОЖДЕНЬЕ, СТАРОСТЬ, ХВОРИ И СМЕРТЬ

Вечны рожденье, старость,
хвори и смерть.
Страсти, обманы мирские
стремясь отряхнуть,
Сеть срываешь одну —
увязаешь в другой,
К Будде взываешь,
ищешь праведный путь,
Полон ошибок, сомнений,
блуждаешь впотьмах,
Видишь в учении Тхиен
сокровенную суть.
Не обращайся к Будде,
к учению Тхиен,
Но запечатай уста,
безмолвным пребудь.

МАН ЗИАК

ИЗВЕЩАЮ ВСЕХ О НЕДУГЕ

Весны проходят, сотни цветов опадают,
Сотни цветов распускаются с новой весной.
Мирские деянья перед глазами проходят,
След прожитого ложится густой сединой.
Не утверждай: весна отошла безвозвратно.
Веточка маи снова цветет предо мной.

КХОНГ ЛО

ГОВОРЮ ОБ УСТРЕМЛЕНИЯХ ДУШИ

Избрав, подобные змиям-драконам,
сулящие благо места,
Весь день утешаюсь в хижине горной,
отрада моя проста.
Порой с вершины скалы одинокой
протяжный крик издаю,
И леденеет от этого крика
великих небес пустота.

ДАЙ СА

КАМЕННЫЙ КОНЬ

Этот каменный конь — страшен лютый его оскал —
Пожирает листву, день и ночь без устали ржет.
По большому пути непрерывно тянется люд.
Лишь на этом коне человек один недвижим.

КУАНГ НГИЕМ

ИЗВЕЩАЮ ВСЕХ О НЕДУГЕ

Только сам нарушив покой,
молви: покоя нет.
Только нирвану сам обретя,
молви о ней в ответ.
К Небу стремится истинный муж
каждым порывом души.
Не обязательно должно ему
Будде идти вослед.

МИНЬ ЧИ

ИЩЕМ ОТЗВУКА

В соснах ветер немолчный, светел облик луны в воде.
Здесь отсутствие тени, да и вещи самой здесь нет.
Так и тело людское неотлично от тел других:
Мы в пустотных пустотах ищем отзвука в лад себе.

ЧАН ТХАЙ ТОНГ

ПРЕПОДОБНОМУ ДЫК ШОНУ В ОБИТЕЛЬ ТХАЙ-ФАУНГ

Ветр ударяет в дверь, а на двор
месяц сияние льет.
Сердце и мир подлунный равно
холодны, чисты, как лед.
Здесь отрада заветная есть,
скрытая ото всех:
С горным отшельником слиться душой,
бодрствуя ночь напролет.

ЧАН ТХАНЬ ТОНГ

В ДВОРЦОВОМ САДУ ВЕСЕННИМ ДНЕМ ВСПОМИНАЮ О ПРОШЛОМ

Тропы замшели, праздны врата,
пылен шелк травяной.
Пусто, почти безлюдно весь день,
сад объят тишиной.
Тысячи тысяч оттенков цветных
тщетно пестрят вокруг,
Но для кого так много цветов
нынче раскрылось весной?

ЛЕТНИЙ ПЕЙЗАЖ

Длинные тени лежат на цветном
дворцовом крыльце моем,
Лотосом дышит прохладный ветр,
в оконный веяя проем.
Дождь освежил деревья в саду;
листва — зеленый шатер.
Близок закат, я слышу цикад:
в лад стрекочут вдвоем.

ПОЕЗДКА В ОКРУГ ИЕН-БАНГ

Утром над островом тучи, гляжу,— плывут.
Лунною ночью у моря жду, стою.
Тысячи образов бурно спешат ко мне,
Вдруг оживают, слетая в тушь мою.

ЧАН КУАНГ КХАЙ

ВОЗВРАЩАЯСЬ СО СВИТОЙ ГОСУДАРЯ В СТОЛИЦУ

Враг полонен   у пристани Тьыонг-зыонг,
Орды разбиты   возле заставы Хам-ты.
В мирные дни   надобно быть начеку,
Чтоб отстоять   реки, поля и хребты.

ОЩУЩЕНИЯ В ВЕСЕННИЙ ДЕНЬ

1 Шелковой пряжей колышется дождь
над первоцветом весенним.
В доме своем сижу, затворясь,
занят писаньем и чтеньем.
Две трети жизни уже позади,
годы прошли — не заметил,
Прожил полвека — начал стареть,
склонен стал к размышленьям.
Сердце стремится к родным местам,
как перелетная птица,
Поздно в море тщеславья блуждать,
милостей ждать с нетерпеньем.
Но не закончен жизненный путь,
и не иссякла отвага,
Восточному ветру даю отпор,
сидя над стихотвореньем.

2 Бледнеет луна, на исходе ночь,
к западу тьма отступила,
Волну весенней прохлады несет
ветра восточного сила.
Кружится ивовый пух, оседая
на галерее высокой,
Дрему тревожит шаткий бамбук,
трутся стволы о перила,
Окрестный мир дождем орошен,
свежестью влажной наполнен.
Как изменилось мое лицо,—
бледно оно, уныло.
Опорожняю три чаши вина,
чтобы тоску развеять,
Стучу мечом, вспоминаю горы,
все, что когда-то было.

ЧАН НЯН ТОНГ

ВЕСЕННЕЕ УТРО

Восстал ото сна,   отворяю створки окна.
Вот уж не знал,   что вновь настала весна.
Два мотылька   порхают над цветником,—
Трепетных крыл   ярко-светла белизна.

ЛУНА

Окно вполовину освещено,
    на ложе — книги горой.
Росой осенней двор увлажнен,
    безлюден простор сырой.
Проснулся — в ночи царит тишина,
    не слышно звука вальков.
Вот-вот луна над цветами мок
    взошла глухою порой.

ВЕЧЕРОМ ГЛЯЖУ НА ТХИЕН-ЧЫОНГ

Селенья вдали — впереди, позади
    в дымке сквозят золотой.
То ли явью они предстоят,
    то ли обманной мечтой.
Буйволов стадо свирель пастуха
    в стойла загнала давно.
Белые цапли летят на поля,
    Снижаясь чета за четой.

ВЕСЕННИМ ДНЕМ ПОСЕЩАЮ БЛИСТАТЕЛЬНУЮ ГРОБНИЦУ

Тысячи врат   минует процессия эта,
Семь рангов чиновных   в одеждах различного цвета.
Седые мужи,   водители доблестных ратей,
Беседу ведут   о Великой поре Расцвета.

ФАМ НГУ ЛАО

ИЗЪЯВЛЕНИЕ ЧУВСТВ

Которую осень в родных горах
с копьем в руках кочевать?
Яростью барсов сразит тельца
неисчислимая рать.
Воин, не выполнив ратного долга,
может ли, не краснея,
Былям внимать о Воинственном хоу,
славным преданьям внимать?

ЧАН АНЬ ТОНГ

ВОЗВРАТИВШИСЬ МОРЕМ ПОСЛЕ ПОХОДА НА ТЯМПУ, ПРИЧАЛИВАЮ В ЗАЛИВЕ ФУК-ТХАНЬ

Мы возвратились. Парчовый канат
к смоковнице старой привязан.
Под утро роса цветы тяжелит,
поднятый парус промок.
Горную область, подножье дождей,
луной озаренные сосны,
Берег рыбачий, вершины волн,
ветер среди осок,
Стяги десятка тысяч полков
скрыло марево моря,
Пятую стражу бьет барабан,
будя небесный чертог.
В окнах каюты речная гладь,
в ее тепле отдыхаю,
Полог шатра меня не влечет,
сон мой и здесь глубок.

ХЮЙЕН КУАНГ

ХРИЗАНТЕМЫ

Забыл себя и все вокруг
уже забыл совсем,
Прохладно ложе, тишина,
недвижен я и нем.

На склоне года среди гор,
где нет календарей,
Настал Двойной Девятки день
в цветенье хризантем.

ПЛЫВУ В ЛОДКЕ

Уносит ветер лодку вдаль,
в бескрайние пустыни,
Рисует осень зелень вод,
хребет рисует синий.
Я слышу флейты рыбаков,
тростник звучит, поет,
Упала на́ воду луна,
мерцает, словно иней.

МАК ДИНЬ ТИ

ВЕЧЕРНИЙ ВИД

Лазурь пустоты подернута дымкой сквозною,
Весенняя синь отражается зыбкой волною,
Дикие гуси вслед облакам улетают,
Закат возвещая, вороны кричат за стеною,
Далекий залив рыбачьи костры озарили,
Песнь дровосеков слышится за рекою,
Путника ждут холода, непогода, безлюдье,
Вином разживусь, пир небольшой устрою.

ЧАН КУАНГ ЧИЕУ

ОДИНОКО В ЛОДКЕ ПЬЮ ВИНО

Осень удвоила глушь, тишину,
горы, дол полонила,
Нет посланий, дом далеко,
как небеса и светила.
Встречи бывали часты, редки,
как дождь, секущий ветрило,
В жизни бывает — прилив, отлив:
нахлынет волна — отступила.

Дружба свела хризантему с сосной,
увы, разошлись дороги,
Лютню, книги и кисть сочетать
преклонному возрасту мило.
Грудою каменной давят грудь
печали, дела, заботы,
Надобно выпить чашу вина,
чтобы тяготы смыло.

НГУЕН ЧУНГ НГАН

ДУШОЮ СТРЕМЯСЬ В РОДНЫЕ КРАЯ

Старой шелковицы листья опали,
гусениц нет ни одной.
Раннего риса цветы ароматны,
крабы жиреют зимой.
Верно толкуют: дома вольготней,
и нищета хороша,
Весело жить южнее Янцзы —
лучше вернуться домой.

НГУЕН ШЫОНГ

ПЛЫВУ ПО РЕКЕ

Берег изогнут. Стволы накренились, мелькая,
Быстрина глубока, цветы нависают у края.
Отставших гусей поглощает закатный огонь,
Близится парус — сквозит пелена дождевая

ЧАН МИНЬ ТОНГ

РЕКА БАТЬ-ДАНГ

На острия лазоревых гор
пряжей намотаны тучи.
Морские змеи глотают прилив,
вздымают снежные кручи,
Редким цветеньем покрыты холмы,
ливень прошел — прояснилось,

Небо дрожит, сосны поют,
холоден ветер летучий.
Реки раскрыли глаза широко,
горы испуганно смотрят;
Варвар подчас выигрывал бой,
нам улыбался случай.
Воды реки отражают закат,
отблеск багрового солнца,
Кажется мне: доныне течет
крови ручей горючий.

ТЮ ВАН АН

ВПЕЧАТЛЕНИЯ НА ГОРЕ ТИ-ЛИНЬ

Тысячью складок, сотнями ширм
вознесся хребет высокий,
Низкого солнца косые лучи
отражены в потоке,
Тропы среди бирюзовых лиан
глухи, безмолвны, безлюдны,
Никто не приедет; в туманной дали
напрасно кричат сороки.

ВЕСЕННЕЕ УТРО

Жилье одинокое, горная глушь,
дни преисполнены лени,
Ставни бамбуковые от ветров
надежней любых ограждений,
Влажны чашечки алых цветов,
росинки еще сверкают,
Пьяного неба лазоревый цвет
оправила зелень растений.
Тело мое полонила гора,
словно бездомную тучку,
Пустому колодцу подобна душа,—
не ощущает волнений.
Дров кипарисовых стынет жар,
чай остывает пахучий,
Первые птицы вторят ручью,
сон исчезает весенний.

ТЮ ДЫОНГ АНЬ

НАДПИСЬ НА КАРТИНЕ «ТАНСКИЙ ИМПЕРАТОР МИНЬХУАН КУПАЕТ КОНЯ»

Скакун, прозываемый «Яшмовый цвет»,
мерцает в ночи весенней,
Его искупали, вот он стоит
у лаковых алых ступеней.
Если бы так лелеять людей,
как лошадей лелеем,
Не испытал бы горя народ,
вовек не узнал лишений.

ЧЫОНГ ХАН ШИЕУ

ВОСПЕВАЮ ХРИЗАНТЕМЫ

В такую же пору год назад
было цветов немало.
Перед гостями смущался я,
ибо вина не хватало.
Превратностей времени не постичь,
случается так и этак!
Сегодня сколько угодно вина,
цветов же, увы, не стало.

ФАМ ШЫ МАНЬ

УЩЕЛЬЕ ТИ-ЛАНГ

Бьют барабаны сотен застав,
граница так широка!
Тысячи ли занимает рубеж,
червями снуют войска.
С фронта, с тыла крики слышны
буйволов дикой пущи.
Алеют знамена вдоль берегов,
горная вьется река.
Застава Ти-ланг увенчала обрыв
круче небесного свода,

Словно колодца зияющий зев,
теснина Лэу-лай глубока.
Навстречу ветру гоню коня,
осаживаю на вершине:
В сторону стольного града гляжу:
на запад плывут облака.

ПОДНЯВШИСЬ НА ГОРУ ТХАТЬ-МОН, ОСТАВЛЯЮ НАДПИСЬ

В родные горы служба меня ведет,
Лицо запрокинув, озираю небесный свод,
Солнце приветствую перед восточным утесом,
Над южным морем грифов слежу полет.
Гора Тыонг-дэу высотой в девять тысяч женей,
От вершины Иен-фу шаг до небесных высот,
Слои облаков гору Ты-тиеу застилают,
Святого Ан-ки обрадует мой приход.
Река Бать-данг несет говорливые волны,
Кажется: вижу правителя славного флот.
Вспомнился мне Чунг хынг, премудрый правитель,
Столь прозорливый, знающий все наперед.
Вдоль побережья тысячи лодок военных,
В горле ущелья тысяч знамен хоровод.
Длань опрокину — гора на спине черепахи,
В Небесной Реке смываю вражеский пот.
Помнят доныне морей четырех народы
Варваров Хо, их разгром в тот памятный год.

ЧАН НГУЕН ДАН

НАПИСАЛ В ШЕСТУЮ ЛУНУ ГОДА ВОДЫ И ТИГРА

Снова лето засушливым было,
осенью снова дожди,
Всходы иссохли, множатся беды,—
сколько невзгод впереди!
Тридцать тысяч премудрых свитков
разве подскажут выход?
Седоголовый, скорбя о народе,
блага, увы, не жди.

НАПИСАЛ, ВОЗВРАЩАЯСЬ НОЧЬЮ В ЛОДКЕ

Жизнь иных народов кипит,
словно котел лососины.
Столица севера, столица востока
уже превратились в руины.
Я возвращаюсь. Лодка плывет,
душу манят походы.
У рыбаков попрошу фонарь,
свиток прочту старинный.

БЕССОННИЦА

Палаты пусты. Часы водяные
отстали. Промозгло вокруг.
Далеко хризантемы родного сада,
сосны родные, луг.
Все время думаю о делах,
заботы тревожат, служба.
Выздоровленье едва ли не хуже,
чем пережитый недуг.

ЧАН ФУ

СМОТРЮ ВВЕРХ НА ПАГОДУ ЛИЕУ-НИЕН В ДОНГ-ШОНЕ

У древних деревьев в тени ветвей
на час привязал я лодку.
Монашеский домик пустынно-тих
вверху, в головах потока.
На будущий год в этот самый день,
кто скажет, будем ли живы.
Мне радость пока на гору взойти —
проведать старого друга.

НГУЕН ФИ КХАНЬ

НОЧНОЙ ДОЖДЬ НА ЖЕЛТОЙ РЕКЕ

На прибрежные травы осенние
сыплется дождь проливной;
Слышится ночью: капли тяжелые
бьют о навес за кормой.

Зыбкий огонь фонаря одинокого
вспыхнет едва — померк.
Десятилетье стремлюсь за высокой,
за необъятной мечтой.

РАДОСТЬ В РОДНОМ САДУ

Смутную пору дом пережил
в старом родном саду.
Чтение книг полюбилось весьма
мне на шестом году.
Птицы все те же, те же цветы,
та же в проулке трава.
Прохладный ветер, тающий сон,
пустое окно на виду.
Если науки ты превзошел,
ноги свободны, руки.
Если спокойствие ты обрел,
мигом забудешь беду.
К чему-то стремиться, куда-то спешить —
полно — не искушайте!
Отраду, как стародавний поэт,
в уединенье найду.

ЧАН ЛЭУ

МИНУЮ ЗАСТАВУ ХАМ-ТЫ

Лишь о боях заведут разговор,
горькой печали не скрою.
Ныне миную заставу Хам-ты,
древней иду тропою.
Флаги свисают с бамбуковых древк,
тени косые колебля,
Гонги звенят, барабаны гремят,
подобно морскому прибою.
Славный правитель вернул весну,
травы шумят, деревья.
Войско пришельцев познало позор,
омылось холодной волною.
Голову их полководец сложил,
где-то его могила.
Воды лазурны, зелены горы,
дали передо мною.

ЛЕ КАНЬ ТУАН

ПОЗАБЫВ О САМОМ СЕБЕ

Что толку мысли таить в глубине,—
скрытое людям видней.
Заботы житейские, праздность твоя
зависят ли от людей?
Приходит старость, слабеет плоть,
молодо сердце вовеки.
Для справедливых, высоких дел
пожертвуй жизнью своей.
Плыву стремнинами, по перекатам,
не устрашусь порогов,
На скалы карабкаюсь, продираюсь
среди лиан и ветвей.
Стороны света — все четыре —
для мужчины открыты,
Все горы пройти, все реки пройти
вот чудо земных путей!

НА РЕКЕ ГАНЬЧЖОУ ВСТРЕЧАЮ ДЕНЬ ПОМИНОК ПО МАТЕРИ

Живу на Севере, далеко
от материнской могилы.
Я не заметил, как дни пролетели,
и годовщина — опять!
В туманную осень, весной росистой
щемит сыновнее сердце;
Где овощей добыть на поминки,
зелени где достать?
Уехав за восемь тысяч ли,
в чужой проживаю деревне,
Сорокапятилетье прошло с тех пор,
как схоронили мать.
Ветер подует — струятся слезы,
еще больнее душе,
Душа бессильна справиться с мукой.
С собою как совладать?

НОВОГОДНИЙ ДЕНЬ

В этой гостинице, кажется, прожил немного.
Год пролетел... Снова весна и тревога.
Срок возвращенья скорее бы наступил.
Слива стареет возле родного порога.

НГУЕН ЧАЙ

ИЗ «СОБРАНЬЯ СТИХОВ НА РОДНОМ ЯЗЫКЕ»

* * *

Когда тебе власть во вред
И в святости счастья нет,
В безмолвии чтенье книг
Желаннее всех побед.
Морскую глубь не постичь,
Загадочны тьма и свет.
«Я глух»,— дурным и святым
Единственный твой ответ.

* * *

Пагода здесь не одна:
Другая в горах видна.
Бамбуком брода ищу,
И под ногами луна.
Былое! Тополь и вяз,
Над хризантемой сосна,
Дороже золота мне
Подобная тишина.

* * *

Стерты шагами камни давно,
Там, за бамбуком, цветов полно.
Крик обезьяний слышен в горах,
И светит солнце в окно.
Пагода наша в густой тени.
Озеро синью напоено;
Цапли на озере, журавли,
И с ними я заодно.

* * *

Едим бататы, пшено едим.
Под сенью сливы дух невредим.
Как воды в бурю, страсти в миру,
А я во мраке невозмутим.
Пиршество лилий, рябь на пруду,
Луна внимает стихам над ним.
Здесь обезьяны, здесь журавли,
И здесь не рады гостям другим.

* * *

Брожу под вечер. Ясен мой взор.
Птицам небесным знаком простор,
Ветру знакомы стволы дерев,
Тучам знакомы вершины гор;
Земля все та же, та же вода;
Луна все та же, как до сих пор.
Непостижима только душа
Вечным раздумьям наперекор.

* * *

Стихи читаю на сельский лад.
Не возвратятся воды назад.
Былое сокрылось, и нет его;
А по дороге сколько преград!
Бамбук для лунных лучей закрыт,
Теней не смоет и водопад!
Золото и серебро цветов —
Наследье наше среди утрат.

* * *

За славой гоняться не вижу причин.
Лишь тот, кто владеет собой,— властелин.
Для золота лотосов и хризантем
Не хватит сосудов, не хватит корзин.
Где персик со сливой, там путник стоит.
Моим апельсинам под стать мандарин.
Покинув глупцов, сторонюсь мудрецов.
Свободный в сужденьях, я счастлив один.

* * *

Удачливый враг побеждает врага,
Обманчивый случай — неверный слуга;
Кирпич драгоценному камню — не брат,
Длиннее ушей вырастают рога.
Опора надежная в жизни добро.
Не дорог талант, правота дорога.
Спасает ученого истинный путь.
Достойная жизнь бесконечно долга.

* * *

Куда ни посмотришь, повсюду вода.
Кормилу покорны речные суда.
Веслу веселее с луною вдвоем.
Сопутствует парусу в небе звезда.
Вода зеленей, чем кошачьи глаза,
И вся голова под луною седа.
Недаром сопутствуют мне журавли
И чайкам со мной по дороге всегда.

ИЗ ГЛАВЫ «СОВЕТУЮ САМОМУ СЕБЕ»

У каждого свой предел.
Побольше бы добрых дел!
Надежнее путь прямой.
Строптив глупец,— нет, не смел.
В неволе тигр занемог,
А пойманный дрозд запел.
Себя смиряй, человек,
И в жизни ты будешь цел.

---

* * *

Богатому дружба впрок,
А к бедному мир жесток.
Что делать, жизнь такова:
Кто беден, тот одинок.
Очаг погас, близких нет,
Не ступит брат на порог.
Не сбиться бы мне с пути
Среди забот и тревог.

* * *

Сосед богатого сыт.
Сосед грабителя бит,
Зато сосед мудреца
Прославлен и знаменит;
В тыкве вода кругла;
Сутью владеет вид.
Румяна красят лицо,
А черная тушь чернит.

ИЗ ГЛАВЫ «НАСТАВЛЕНИЯ СЫНУ»

Запомни ты мой завет,
И ты не узнаешь бед.
Добро легко расточить,
А в скупости смысла нет.
Изысканных яств не ешь,
Простой одеждой согрет.
Сказано в старину:
«Гору съел дармоед».

ЧЕТВЕРОСТИШЬЕ О ВЕСЕННИХ ЦВЕТАХ

Томителен летом полуденный зной,
Зимою губителен холод ночной;
Повеял восток долгожданным теплом,
Цветок не раскрыться не может весной.

ЧЕТВЕРОСТИШЬЕ О ЛЕТНЕМ ПЕЙЗАЖЕ

Поет коростель молчаливым кустам,
Претит вышиванье жемчужным перстам;
Приметы весенние нас тяготят.
Все это предшествует летним цветам.

СОБРАНЬЕ ПЕЙЗАЖЕЙ

2 Какая угроза бамбуку страшна?
Плакучая ива весною нежна.
А в тереме красном живет красота.
Чьим нежным перстам отвечает струна?

3 Жемчужным перстам отвечает струна.
Весною волнует меня тишина.
Былое в окрестностях распознаю,
Но только не прежняя нынче весна.

4 И с факелом ночью бродить мне темно.
Весенние слезы иссякли давно,
Как жаль мне, что в старости возле крыльца
Увидеть плакучих ветвей не дано!

СОСНА

Деревам опасны холода.
Лишь сосна незыблема всегда.
Подобает ей стропилом быть.
Лишь сосна достаточно тверда.

БАМБУК

1 Ива молодая расцвела.
Иве прямота твоя мила.
О тебе повсюду говорят.
Мужу совершенному хвала!

2 Совершенный муж, прославлен ты,
Но друзьям видней твои черты.
Лишь глупец тобою пренебрег.
Нет заслуги выше прямоты.

ЦВЕТЫ ПЕРСИКА

1 Персик по весне всегда в цвету,
И восток почуял красоту;
Сладостный похитив аромат,
Ветер нас волнует на лету.

2 На лету волнует аромат.
В этом день весенний виноват.
И в разведке стая синих птиц,
И весне творец небесный рад.

ЖЕЛТЫЙ КЛУБЕНЬ

Желтый клубень благо нам сулит,
Землю, порожден землей, целит.
В сумке врач лекарство затаил.
Клад в саду больному жизнь продлит.

БАНАН

Впрок банану солнечные дни,
Сладко пахнет он в ночной тени.
Лист как свиток. В нем письмо любви.
Ну-ка, ветер, свиток разверни!

ТРОСТНИК

Обласкан лучами весенними сад,
Где виден коричнево-красный халат.
Всеобщий любимец — тростник молодой.
Чем больше вкушаешь, тем больше услад.

СТАРЫЙ БАНЬЯН

Он в уединении растет.
Зеленеет он за годом год.
Нет, не балка, не стропило, нет!
Но под сень к нему спешит народ.

ЛОТОС

Взращенному грязью неведома грязь.
Ты в царстве цветов благороднейший князь.
Ты ветром возлюблен, луною любим,
Твою чистоту почитают, склонясь.

КОШКА

Полосатая, Западом порождена,
Не спросясь, Просветленному служит она;
Тигра прыгать учила, не лазать, о нет!

Эта хитрость наставницей утаена.
Кошка ближе собаки садится к огню.
Ей раздолье на кухне во все времена.
И, незваная, вхожа в запретный покой,
Наедается сразу, когда голодна.

ИЗ СТИХОВ, НАПИСАННЫХ НА ХАНВАНЕ

СЛУШАЯ ДОЖДЬ

Одинокая хижина — мой сиротливый ночлег;
Изголовье походное. Дождь мне заснуть не дает.
Неумолчною жалобой флейта тревожит меня;
Капли перекликаются, свой соблюдая черед.
Шорох в ставнях бамбуковых. Не за горами рассвет.
В чистых снах моих колокол, мера, гармония, счет.
Замирают созвучия, и прерывается лад;
Только слышится музыка мне всю ночь напролет.

ПРИСНИВШИЕСЯ ГОРЫ

Грот Великой Пустоты за бамбуком при луне;
Водопад, как в Зеркале, в леденистой белизне,
Озеро небесное! Я на желтом журавле.
Так в чертоги горние я вчера летал во сне.

ВЕСЕННЯЯ ПРИСТАНЬ

Берег — дым зеленый, пристань тоже зелена;
Дождь прошел весенний; в небеса стучит луна.
Мало кто гуляет по тропинкам там, в глуши;
На песке прибрежном лодка сонная видна.

УСТЬЕ БАТЬ-ДАНГ

С моря ветер северный, воздух нынче ледяной.
Вот переправляюсь я, плещет парус над волной.
Горы — как побоище крокодилов и китов.
Словно в копьях сломанных брег в уступах предо мной.
Реки Небом созданы, в мире много разных рек.

Здесь досталась доблестным слава дорогой ценой.
Мне былое вспомнилось, не могу я не вздохнуть,
Думами охваченный перед этой крутизной.

ГЛЯДЯ НА БОЕВЫЕ КОРАБЛИ

Был недавно сражен в море северном царственный кит,
И великую рать подготовить к боям надлежит;
Знамя тенью своей не боится задеть облака;
Барабаны гремят, и земля под ногами дрожит.
На доспехах роса, каждый латник на тигра похож,
А в строю корабли — словно дикие гуси на вид.
Хочет мира народ, и с народом согласен мудрец:
Кто покой возлюбил, тот покоем в стране дорожит.

НА РЕКЕ ЦАЙ-ШИ ДУМАЮ О ПРОШЛОМ

Сослан с неба на землю, по слухам, не каялся Ли.
Он верхом на ките восвояси вернулся с земли.
Но когда бы вода оказалась весенним вином,
И поныне, хмельного, в реке бы мы видеть могли.

ЛИ ТЫ ТАН

НАЧАЛО ОСЕНИ

Тянутся зыбкие тени софор
вдоль побеленной стены,
Свежие лотосы дышат прохладой,
гибки они, нежны.
Светлые краски осени ранней
ясному небу под стать.
Вижу слияние вод с горами,
с зеленью голубизны.
У крабов лиловых брюхо желтеет,
сами в ловушку идут.
В зелени сочная зреет цедрела,
всюду плоды видны.
В чаши вино наливай скорее,
время веселья пришло,
Не дожидайся, пока хризантемы
достигнут своей желтизны.

РАЗМЫШЛЕНИЯ

Куда торопятся эти люди,
　　　　спешат пустому вослед?
К чему шуметь, к чему суетиться
　　　　славы искать, побед?
Проскачут кони — ты, пыль вдыхая,
　　　　мечтаешь, глядя в окно.
Спишь, «покуда варится просо»,
　　　　восемь десятков лет.
Иной подобен спесивому крабу:
　　　　прямо никак не идет.
Иной змее подрисует ноги,
　　　　хотя в этом смысла нет.
Лучше верной идти стезею,
　　　　веленьям Неба внимать.
Разве с этим может сравниться
　　　　прибыль земная и вред?

ЛИ ТХИЕУ ДИНЬ

В ДРЕВНЕМ СТИЛЕ

Холодно стало.　　Зимние дни короче.
Короток день,　　значит, длиннее ночи.
Ночь призываю.　　День утомляет меня.
Ночью усну:　　любимого вижу воочью.

ПРИДВОРНЫЙ НАПЕВ

Свежие вновь распустились цветы
　　　　вслед облетевшим цветам.
Срок наступает — уходит любовь,
　　　　новая — по пятам.
Снова румяна, пудру беру,
　　　　силюсь лицо украсить.
Милого надобно мне удержать,
　　　　прежней любви не отдам.

НГУЕН ЧЫК

НАПИСАНО ПО СЛУЧАЮ

Я, захворав, получил разрешенье
　　　　не выезжать из столицы.

Когда теперь возвращусь в деревню?
Не скоро желанью свершиться!
В плаще травяном и плетеной шляпе
пойти бы по западным склонам,
Весеннюю пахоту в поле увидеть,
крестьян спокойные лица.

ВУ ЛАМ

ПЕРЕХОДЯ ОТМЕЛЬ ИЕН-ДИН

(Написано во время военной службы в Тхань-хоа)

Млечный Путь осеняет берег,
скопище пик заволок.
Горный туман меж бытием
и небытием пролег.
Мчится поток под сенью дерев,
подернута инеем синь,
Солнце промокло, волны блестят,
покрыл красноту холодок.
Военная музыка вдаль плывет,
в туманы, в укрытья скал,
Пестрые флаги вдоль берегов
треплет речной ветерок.
Прежде казалось: лучший удел —
это военная служба.
Не знаю, кого бы из нас теперь
этот почет привлек.

«СОБРАНИЕ ДВАДЦАТИ ВОСЬМИ СВЕТИЛ СЛОВЕСНОСТИ» ГОСУДАРЯ ЛЕ ТХАНЬ ТОНГА

ИЗ «СОБРАНЬЯ СТИХОВ НА РОДНОМ ЯЗЫКЕ, СЛОЖЕННЫХ В ГОДЫ «ВЕЛИКОЙ ДОБРОДЕТЕЛИ»

ВОСХВАЛЕНИЕ ВЕСЕННЕГО ПЕЙЗАЖА

Ширму — створку за створкой — раскрой:
в согласии все предстает.
Дивно налажен весенний мир,
ослепителен небосвод.
Ветер, тихий и все же смелый,
под одеждой овеял тело.

Бриллиантами блещет дождь,
едва на траву падет.
Ива зеленую бровь подвела —
назойливым иволгам нет числа.
Белую щечку напудрил май —
и с мотыльками полно хлопот.
Видишь множество колесниц,
слышишь пение вешних птиц.
Музыкой кажется все земное,
жизнь везде и повсюду цветет.

ПЕРВАЯ СТРАЖА

Лишь опустится первая тьма
и подымется Ковш на небосвод,
Прозвучит барабан — и тогда
город на ночь ворота запрет.
Над коньками крыш проследим
серебристый вечерний дым.
Птица, сумерничая, в листву
залетит, как в зеленый грот.
Колотушки услышим стук,
да и колокол грянет вдруг:
Он молитвы час возвестит,
и любой молиться начнет.
Будет полон Северный Дом,
будет полон и Южный Дом.
Громогласную Небу хвалу
запоет благодарный народ.

ПЯТАЯ СТРАЖА

Еле теплится ночной фитилек
и в глубоком мраке горит.
Пятой стражи барабаны звучат —
им внимает тишина и не спит.
Набок покосилась луна,
за горами еле-еле видна.
Землю увлажнила роса,
на траве и листьях блестит.
Ближний лес оглашает в этот миг
провозвестник сева — птичий крик.

А в деревне крестьянин встает
и на рисовое поле спешит.
Ворон-солнце на востоке взлетел.
Мрак, разлитый в небесах, поредел.
И захлопали вальки на реке,
и петух, всполошившись, кричит.

О САМОМ СЕБЕ

Тревожусь душою прежде всего
о благе моей страны.
Наместник Неба, я знаю: всем
решенья мои нужны.
Стража за стражей,— уж тьма кругом,—
я с книгою за столом.
Тишина, но сижу допоздна, —
дела Совета важны.
В тяжкие дни на людей взгляни:
как проявят себя они.
В смутные дни, в спокойные дни
корни вещей видны.
Зря владыку осудит иной:
леность, мол, правит страной. —
Десять тысяч великих дел
должны быть совершены.

ВОСХВАЛЕНИЕ ГАО-ЦЗУ ИЗ ДОМА ХАНЬ

Рассыпаны на левом бедре
семьдесят два родимых пятна.
Священный меч ему по руке:
три тхыока мечу длина.
Как древле стрелой был сражен Фазан,
так ныне убит Олень.
Макаку гнал до реки Уцзян —
и гнал до самого дна.
Того, кто был простым рыбаком,
ваном назвал своим.
Сделал «Княгинею с Черпаком»
ту, что была умна.
Четыре столетья пели хвалу
люди правленью Хань,
Затем что «Жившему в царстве Лу»
воздал Лю Бан сполна.

СКОРБЯ О ВЫСОКОУЧЕНОМ ЧАНГ НГУЕНЕ ИЗ РОДА ЛЫОНГ, УРОЖЕНЦЕ КАО-ЛЫОНГА

О несчастии оповестил
императорский вестовой:
Небожитель оставил нас,
воротился к себе домой.
Краше узорной парчи был тот,
кто вернулся в яшмовый грот.
Доброта с Просвещением чашу пьют
трижды за упокой.
Святой дух вновь отлетел
в свой высокогорный предел.
Дивное имя пребудет в веках
в благодарной памяти людской.
Сокрылся великий дар от нас;
свет, ярчайший из всех, угас.
Испытания предстоят,
плач стоит над страной.

ИЗЪЯВЛЕНИЕ СКОРБИ ОБ УРОЖДЕННОЙ ВУ, СЛОЖЕННОЕ НА БЕРЕГУ ЖЕЛТОЙ РЕКИ

Заросли тростника шелестят,
трава зелена-зелена.
Поневоле припомнишь здесь
стародавние времена.
О, как событий превратна связь,
если судьба за свое взялась.
О, как беззащитна любовь,
как бессильна она.
Нежная, где ты сейчас? Не там,
где парит лучезарный храм?
Или, как прежде, совсем одна
в бездне погребена?
Сдержанны проходящие тут,
и все же, вспомнив тебя, вздохнут —
Ведь не жалеть о тебе нельзя,
праведная жена.

ГОРА СВЯЩЕННОГО ЗНАКА

Здесь округ Нам и округ Ай
рекою разделены.
Как будто рисовал Ван Вэй,
цвета нанесены.
От белой соли белизной
блестит песок речной.
Туман синей пригожих дней,
а рощи зелены.
Дым деревенских очагов —
до самых облаков.
То бойкого базара шум,
то гул морской волны.
Кто лодку дочиста отмыл
и в ней, смеясь, поплыл?
Ужель единственный улов —
осенний круг луны?

КАНАЛ ЧЭМ

Воды свои несет канал
в местности Нгаук-шон.
И не широк он, а радует глаз
с тех пор, как был проведен.
Скосы его поросли кругом
мягким зеленым мхом.
Выгнуты отмели, как серпы,
пенный поток взвихрен.
Видишь лодки из дальних мест:
ловкие весла, проворный шест.
Вода спадет — и рыбак начнет
лодку тащить вперед.
Устанет тащить — и ляжет спать,
и безмятежен сон.
А глянет с утра: за весла пора,
вновь полноводен он.

ТАМАРИНД, РАСТУЩИЙ У ДВОРЦОВОЙ СТЕНЫ

Откуда, драгоценные семена,
сюда вы занесены?
Древние благородные чувства
вашим спутником быть должны.

Хранит изумрудная крона
дыхание небосклона.
В балдахине твоем, тамаринд,
блики солнца едва видны.
Щедро дождь и роса выпадают —
и вскорости пропадают.
Вечно ты радуешь взор тому,
чьи дни уже сочтены.
Не спросишь, сколько минуло лет,
и безразличен тебе ответ.
Только бы вновь и вновь увивать
листвой уступы стены.

КАПУСТА

Капуста есть у нас в дому
и за окном растет.
Благословенная земля,
хороший огород!
Ее одежды зелены,
иль темно-зелены.
То белый цвет, то желтый цвет
во лбу ее цветет.
Ей три зимы и три весны
морозы не страшны.
Не так уж падка до росы
и до небесных вод.
На вкус кисла или остра,—
как скажут повара.
Капусту в кадках замочи —
она вкусна весь год.

ШЛЯПА НОН

Дождь ли польет
или солнце нещадно палит,—
Шляпу надень,
и надежно тебя защитит.
Круг над тобой
можно с солнцем сравнить и с луной.
Балдахину подобно,
из ободков состоит.

Холод и зной
нас не мучают в шляпе такой.
Часто под ней —
ароматный и нежный нефрит.
Мал и велик —
от бродяг до могучих владык —
Носят ее;
всем на свете она угодит.

ЖАБА

В пестром и грубом шелку
и непременно важна,
В уединенных местах
всегда восседает она.
Лапкой взмахнет —
тигр послушно на зов приползет.
Цокнет она —
муравьям эта песня страшна.
Рада, что солнце блестит
и детенышей жабьих растит.
Дочь ее в Лунном дворце,
не почтит ли и младших Луна.
Сам государь
славил заступницу встарь.
В засуху дождь накликает она,
тем и поныне славна.

ПУГАЛО

Шляпа когда-то была хороша,
пояс был некогда нов.
Хозяин поставил его сюда
стеречь бахчу от воров.
Легкий ветер подует едва —
развеваются рукава.
А уж ежели дождик польет —
хлещет пот в сто ручьев.
Птиц распугало взмахом рук,
любит одинокий досуг.
Боязно подойти к нему
и хозяину самому.

Так арбузы оно хранит,
знает, что хороши на вид,—
А распробовать хоть один
нет у него зубов.

КОМАР

Достопочтенный комар, ответь,
под каким ты знаком рожден?
Украдкою в наши покои летишь,
тревожишь полночный сон.
Днем по нефритовым этажам
порхаешь ты тут и там.
В сумерках щеки красавиц язвишь,
бесстрашен и разъярен.
Любезничаешь с самóю Луной
в таинственный час ночной.
Мучаешь деву, объятую сном,
подлетая со всех сторон.
Твоя крылатая легкая стать
мешает тебя поймать.
Я беззащитен перед тобой,
искусан и изнурен.

МЕЛЬНИЦА

Искусен и величав Творец,
и все — из его руки.
Он мельницу ниспосылает нам
для размола муки.
Ровно из тридцати фитилей
он сплел оболочку ей.
Стержень установил внутри
и жернова крепки.
Громом гремит она иногда —
падает дождь тогда.
Это зерно, размельчено,
сыплется к нам в мешки.
Тысячу урожайных лет
не преломится сей хребет.
Крутятся, мелют, кормят народ
твердые жерняки.

СЛОН

Спереди голова, сзади хвост —
истинный исполин.
Много животных на свете есть,
а слон среди них один.
Четыре ножищи прут вперед —
означает: идет.
Глаза озираются наверху
выше иных вершин.
Колокольцев немолчный звон
там, где ступает он.
Надевает для важных особ
на спину балдахин.
Остановится — не скупись,
а сена не напастись.
Только с виду хобот сонлив,
но крепче лесных жердин.

ГОСУДАРЫНИ ЧЫНГ

Не пожелали они терпеть
всенародный позор.
Сестры — старшая с младшей — врага
подвигли на смертный спор.
Дрогнул в бою захватчик Су Дин,
безжалостный властелин.
Отдал вам огромный Линь-нам —
сто крепостей и гор.
Вы приснились — и сон о вас
нашу землю сызнова спас.
Сестры красно-зеленый наряд
надели с победных пор.
Пока есть суша, вода и твердь,
пока весь мир не объяла смерть,
Будут помнить в родном краю
двух отважных сестер.

ЛЕ ТХАНЬ ТОНГ

ИЗ СТИХОВ НА РОДНОМ ЯЗЫКЕ

ВОСХВАЛЕНИЕ ДЕРЕВНИ ТЬЭ

Ворон-солнце летит на закат —
туда, где вершины гор.
На землю Там-тьэ мы ступаем сейчас,
знаменитую с давних пор.
Бескрайняя водная гладь ясна,
спокойна голубизна.
Утесы громоздятся вверху,
«Круг Коричный» плывет в дозор.
Торги на берегу реки
нынче, как и всегда, бойки.
Разные лодки на берегу,
разные платья и разговор.
Вряд ли где-нибудь еще есть
такие виды и вещи, как здесь.
Меньше стали налог и аренда —
и процветание радует взор.

ИЗ СТИХОВ НА ХАНВАНЕ

ВОИН, ТОСКУЮЩИЙ ПО ДОМУ

(Шестнадцатый день второй луны двадцать пятого года правления Хонг-дык)

За руку северный ветер беру.
Кто мне еще под стать?
Бродят бездомные лунные тени,
небо — прозрачная гладь.
Слива осыпалась. Боль разлуки
множит пятая стража.
Можно к долгой осенней поре
сутки тоски приравнять.
Можно, упившись, родных позабыть,
но опьяненье не вечно!
Во сне увидишь дорогу домой,
проснешься — не отыскать!

Писем не получаю давно,
даже старых известий.
Видно, почтовых гусей во дворец
сам забывал отправлять.

ЛЮК-ВАН — ТЕСНИНА ЗЕЛЕНЫХ ТУЧ

(Семнадцатый день третьей луны двадцать пятого года правления Хонгдык)

В бездне глубокой теснины Люк-ван
лазоревых скал переливы.
В далекой вселенной — суетный прах,
пространства здесь молчаливы.
Потоки, скалы — в косых лучах,
радужны всюду цветы,
Тополь цветет, птицы поют,
шумны тенистые ивы.
Кровля нависла, светит фонарь,
холоден каменный сон,
Журчанье ручья омывает слух,
в сердце уснули порывы.
Душу мою не тревожит ничто,
не с кем ее просветлить.
Светилам праздности не одолеть,
в чайнике — мир счастливый.

ЛЫОНГ ТХЕ ВИНЬ

СЛЕДУЯ ЗА ГОСУДАРЕМ В ПОХОДЕ НА ЗАПАД, ВТОРЮ НАЧЕРТАННОМУ ВЫСОЧАЙШЕЙ РУКОЙ «ВОИНУ, ТОСКУЮЩЕМУ ПО ДОМУ»

Служебный долг и сердечные чувства
легко ль воедино спаять?
Гляжу с горы: одинокая тучка
тревожит небесную гладь.
Гонг прозвучал, считаю удары,
глухие, будто во сне.
В заезжем доме ночлег печален,
погода — осенней под стать.

Заслышу вдали лошадиное ржанье —
тоска потянется нитью.
Еще вчера отлетели гуси,
писем все не видать.
Задумал желанье: мальчик родится,
и впрямь повесили лук.
Летит от столицы ветер прохладный,
дом вспоминаю опять.

ДО НЮАН

СЛЕДУЯ ЗА ГОСУДАРЕМ В ПОХОДЕ НА ЗАПАД, ВТОРЮ НАЧЕРТАННОМУ ВЫСОЧАЙШЕЙ РУКОЙ «ВОИНУ, ТОСКУЮЩЕМУ ПО ДОМУ»

С другом дрожать под одним одеялом —
лучше с супругой спать.
Луна озаряет западный стан,
дремлет усталая рать.
Зеленые травы тоску смягчают,
боль постепенно проходит.
Высокие думы на небе осеннем
искрятся росе под стать.
Пропел рожок, барабаны рокочут,
глухо гудят. Затихли.
Мне бы письмо, хотя б иероглиф.
Нету вестей опять.
Переживать не стоит в походе,
горечь разлуки — пустое.
Много ли раз с государем рядом
тебе доведется бывать?

ДАМ ТХЭН ХЮИ

ВТОРЮ НАЧЕРТАННОМУ ВЫСОЧАЙШЕЙ РУКОЙ «ВОИНУ, ТОСКУЮЩЕМУ ПО ДОМУ»

Кто ступает рядом со мною?
Некому рядом шагать.
Лишь тень моя под холодной луною,
тишь повсюду да гладь.

Душа трепещет подобно стягу,
охвачена ветром студеным.
Когда протрезвишься, воля твердеет,
сердце железу под стать.
Тоска бесконечная — шелковый кокон,
долго тянется нитка.
За тысячи ли посланье отправил,
ответного нет опять.
Когда же наступит срок возвращенья? —
думаю все, гадаю.
Поход закончим, вернусь в столицу,
родных смогу повидать.

ТХЭН НЯН ЧУНГ

СОПРОВОЖДАЯ ГОСУДАРЯ В ПРОГУЛКЕ ПО УЩЕЛЬЮ ЛЮК-ВАН, ВТОРЮ НАПИСАННОМУ ВЫСОЧАЙШЕЙ РУКОЙ

По древней пещере брожу, опираясь
о каменные наплывы,
В крохотном чайнике небо таится,
вселенной простор прихотливый.
После дождя на гранитных уступах
гуще зеленый мох,
Ветер подул — в лесистом ущелье
слышатся струн переливы.
Сон отлетел — туманится зорька,
холодно ложе сна,
Все времена — в дыму воскурений,
судеб сплелись извивы.
Строки властителя молча читаю,
суетный мир исчез.
Горных цветов колеблются тени,
птицы вокруг молчаливы.

ТХАЙ ТХУАН

НАД РЕКОЙ МУОН

Берег пологий затопила лазурная гладь.
Рано крестьяне в поле выходят пахать.
Быков понукая, белых птиц распугали.
Ветер промчится, эхо далеко слыхать.

ПЛАЧ ЖЕНЫ ВОИНА

Двор порос густою травой,
свесила пряжу ива.
Когда из похода вернешься ты?
Жду тебя терпеливо.
Сквозь редкую штору светит луна,
сердце исходит печалью.
Слезы лью по ночам, когда
кричит коростель сиротливо.
На севере вижу в густых облаках
тень одинокого гуся,
У Южной реки увядает весна,
и я теперь не красива.
Последние ночи ты столько раз
мне являлся во сне.
Были счастливы мы с тобой.
Кончилось это диво.

ХОАНГ ДЫК ЛЫОНГ

В ПУТИ

Дорога длинна, вернее — она бесконечна.
Люди проходят, так было древле и ныне.
Ныне живущие не отдыхают в дороге,
Жившие древле — где они? Нет их в помине.

ДАНГ МИНЬ КХИЕМ

ПОЛКОВОДЕЦ ЧАН КУОК ТУАН

Он поклялся верность хранить,
презрев семейный раздор,
Расцвету Великому делом помог,
недругам дал отпор.
Запрятанный меч по ночам свистит
подобно вольному ветру.
Мятежному Северу он грозит
сталью своей до сих пор.

ЛЕ КАНЬ ТУАН

Ученый с оружьем в руках и лютней,
 чей звук поныне не смолк.
Создал три государственных плана,
 в политике ведал толк,
За тысячи ли судьбою заброшен,
 выстоял он в плену,
Любящий сын, примерный родитель,
 чтивший семейный долг.

ФУ ТХУК ХОАНЬ

В ДРЕВНЕМ СТИЛЕ

Лотоса листья зелены, словно зонты.
Словно ланиты, алые рдеют цветы.
Мне вспоминается кто-то, не встреченный мной.
Брожу у пруда над глубиной голубой.

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО СЕЛЬСКИМ МЕСТАМ

Дождь отшумел. Речная вода чиста.
Рощи безмолвны, в тумане хребты бирюзовы.
Мало прохожих у сломанного моста.
По временам слышны фазаньи зовы.

НГО ТИ ЛАН

ЛЕТНИЕ СТРОФЫ

Ветер шумит. Повсюду красно,
 пышно цветет гранат.
Красавица села в саду на качели,
 тихо они скрипят.
О пролетевшей весне грустя,
 желтая иволга плачет.
Щебечут две фиолетовых ласточки,
 тоже плачут, скорбят.
Шитье отложив, безмолвно сижу,
 тонкие брови хмурю,
Медленно тонкий тюль приподняв,
 в окно устремляю взгляд.

Зачем слуга разбудил меня,
поднял на окнах шторы?
Тщетно стремится душа в Ляоси
который уж год подряд.

ОСЕННИЕ СТРОФЫ

Ветер студеный гонит в просторах
тучек осенних гряду.
Дикий гусь возвещает туманы,
ранние в этом году.
Высохших лотосов — десять чжанов.
Яшмовый кладезь душист.
В третью стражу осыпались клены,
мерзнет река на ходу.
В сень бирюзовой моей галереи
ночью летят светлячки.
Ветру тонкая ткань не помеха,
зябнешь на холоду.
Звуки бамбуковой флейты смолкли,
но неподвижно стою.
Где отыщу я башню из яшмы,
фениксов тройку найду?

НЕИЗВЕСТНЫЙ ПОЭТ

СТИХИ ОБ АРОМАТНОЙ ТУФЛЕ

Повсюду кровли зеленых домов —
у рынка, возле моста.
Над кровлями стелется Млечный Путь,
синяя высь чиста.
Софоры темные, светлые ивы
встали за рядом ряд,
На вышитых бисером занавесках
тени ветвей скользят.
Живет красавица в доме Чыонг,
шестнадцать исполнилось ей.
Яшмовый лик, нежная стать,
стан — кипариса стройней,
Пудра, словно пыльца на цветке,
румяна — алая кровь,

Туча волос глянцевито-черна,
чуть зеленеет бровь.
Тонкая дева — слива в снегу,
чистая эта душа,
На галерею вышла она,
вешней прохладой дыша.
О галерею рукой оперлась,
полог чуть подняла,
Ступая легко в ароматных туфлях,
тихо во двор сошла.
И на цветок наступила вдруг,—
увядший, алел у ног, —
С лукавой улыбкой к ветке куста
она прикрепила цветок.
Ветер над цветником взлетел,
свежий, душистый, хмельной,
Пунцовая юбка, белое платье
заколыхались волной,
Светлая туфля мелькнула на миг
бликом во мгле ночной.
Верхом на фениксе нежная дева
светится под луной.
Юный всадник из рода Ли
странствует по весне.
Где, под какою тропой небесной
скачет он на коне?
Скачет, кронами лип осененный.
Вот показалась стена.
Спешился юноша возле ограды,
ведет в поводу скакуна.
Красавица всходит на галерею,
выглянула из окна.
Зеленые ставни, красные двери.
Где же теперь она?
Безлюдна, пустынна гора Лофу,
плывет облаков гряда.
Вот ущелье Тяньтай темнеет.
Куда же теперь? Куда?
Юный Ли подходит к реке,
мост на его пути.
Кому поведать свою печаль?
Сваху где бы найти?
Женщина, прозванная Хонг Хань,
в доме жила над рекой.

Пудру в лавке купила она,
затемно шла домой.
Она служила в семействе Чыонг,
это проведал Ли,
Открылся женщине, все рассказал,
доверил печали свои.
«Зовусь Куок Хоа из рода Ли,
богата наша семья,
К столичной знати принадлежу.
Решил постранствовать я.
Сегодня двадцать исполнилось мне,
к наукам питаю страсть.
Только вчера в селенье Пинкан
мне довелось попасть,
Здесь красавицу я повстречал,
ваших хозяев дочь.
Музыка в сердце моем звучит.
Очень прошу помочь».
Вынул посланье из рукава,
в синих цветах листок.
Вестница лист благосклонно взяла
и удалилась прочь.
Девушка, это письмо прочитав,
сердцем была смущена,
Радостных чувств сдержать не могла,
бледнела, краснела она.
На занавеске тени цветов.
Ласково дышит весна.
К пологу сладкие запахи льнут.
Поздняя ночь. Тишина.
Нежные пальцы тонкою кистью
наносят на лист письмена.
Снова Хонг Хань посланье берет,
снова идет с письмом.
Юноша Ли, озаренный луной,
в сад приходит тайком.
Радостно девушка встретила друга,
словно давно знаком.
Шепотом, чтобы никто не подслушал
беседу в саду ночном,
Душу друг другу они раскрыли,
договорились о том,
Что повстречаются в поздний час
они на мосту речном

В третью полночь третьей луны,
когда никого кругом.
Но независимы от людей
их дела и пути:
Юноша Ли в условленный час,
увы, не успел прийти.
Одна красавица на мосту,
глядит на речную гладь.
Что приключиться могло? Почему
милого не видать?
Грустно полная светит луна,
в синих просторах плывет,
Ее отраженье дрожит у моста
в блеске холодных вод.
Память в душе оживает вновь,
сердце гнетет печаль.
Девушка грустно стоит у перил,
слезы безмолвные льет.
Часы водяные капли роняют,
колокол взмыл во тьму.
«Кто помешать свиданью посмел,
горе, проклятье тому!
Туфлю оставлю я на мосту,
знак любви и тоски,
Может, сумеет он обо всем
другу сказать моему».
Когда прозвучала пятая стража,
отправился юноша в путь,
Когда достиг речного моста,
небо светлело чуть-чуть.
Запахом туфли вдруг дохнул
легкий порыв ветерка.
Ли оглянулся: нет никого.
И шевельнулась тоска.
На юг от Янцзы умирает весна,
крик коростеля тосклив.
В ущелье Уся голосят обезьяны,
грозят дождем облака.
Кровь просыхает, смолкают крики,
любви бесконечен срок.
Замертво юноша наземь пал,
к сердцу прижав башмачок.
Душа влюбленного путь нашла
к дому семейства Чыонг,

Тело осталось лежать на мосту,
юноша встать не мог.
Некий воин по имени Чан
случайно прошел мостом,
Понял: причина смерти — тоска,
от сильной любви притом.
Долго ходил, немало дворов
он обошел с башмачком,
Достиг наконец жилища Чыонг
и постучался в дом.
Девушка сразу лишилась чувств,
мигом утратила речь,
Скажет слово — начнет рыдать,
слез не желает беречь.
Плача, упала на тело Ли,
крепко его обняла:
«Не было встречи нам на земле,
в землю бы вместе лечь!
Только теперь испытала любовь —
слияние двух начал.
Горестно пробудиться от сна
рок мне предназначал.
Строф Цюй Юаня волшебный слог
телу души не вернет.
Договорилась о встрече Цинь-гун,
феникс еще поет.
Кто может милого оживить?
Мне уповать на кого?»
Воина благодарила она
за благородство его.
Девушке он улыбнулся в ответ
и, уходя, сказал:
«Сватом был я сегодня у вас,
честно свершил сватовство».
По распорядку шести церемоний
вскоре назначен обряд:
Среди багряных свадебных листьев
зелень — символ утрат,
Слышатся звуки свадебных струн,
феи за пологом ждут,
Месяц над кровлею дома плывет,
звезды ночные горят,
Шеи сплели мандаринские утки,
стебли сплелись цветов,

Зелень и красное — нежные чувства,
вешний прекрасен наряд.
Память вовек сохранит былое:
радость, весну, любовь.
Двух полюбивших сердец договор
годы не истребят.
Небу от века известен заране
мужа удел и жены.
Глазам и ушам вопреки природе
мы воли давать не должны.
Увы, немало примеров, подобных
истории Ли и Чыонг.
Все деянья на этом свете,
все судьбы предрешены.

ВУ ЗЮЭ

ВМЕСТЕ С ГОСУДАРЕМ УЕЗЖАЮ В БАО-ТЯУ

Флаги легкие, словно тучи,
солнечный красит заход.
Двор государев в лодке летящей
мчится по глади вод.
Воины в панцирях носорожьих
топчутся возле реки.
На тысячи ли раскинулись чащи,
разбойный скрывая сброд.
Сановники верные в шлемах рогатых
возле дорог полегли.
Три армии обрывают колосья,
пищи недостает.
Сей город Взлетающего Дракона
издревле оплот владык.
Может, на этом широком поле
битвы решится исход?

НГУЕН ФУ ТИЕН

ВОЗВРАЩАЮСЬ В РОДНОЙ САД

Слезу вытирая, бреду сквозь орешник.
Где мой родимый дом?
Где черепица, стропила, сваи?
Голо, мертво кругом.

Пруд пересох, ни воды, ни рыбы.
Мох покрывает камни.
Клумба пуста, хризантемы увяли,
все поросло быльем.
Узкий проулок зарос сорняками,
лошадь не повернется.
Поле для одного лишь годится —
на буйволе ездить верхом.
Здесь поселюсь, хозяйствовать стану,
снова жилье построю.
Буду со старцами при луне
в поле работать родном.

НГУЕН БИНЬ КХИЕМ

ИЗ «СОБРАНЬЯ СТИХОВ БЕЛОГО ОБЛАКА, НАПИСАННЫХ НА РОДНОМ ЯЗЫКЕ»

* * *

Мои пораженья, мои победы
мне безразличны равно.
Охотно отдам и заслуги и славу
за лень, за цветы, за вино.
В келье Белого Облака — отдых, безделье,
вдохновение, счастье, веселье.
Хочу лишь покоя; с тщетою мирскою
простился, расстался давно.
В саду весною цветов со мною —
желанных гостей — полно.
Луна — мой светильник, мой друг сокровенный —
со мною во всем заодно.
Вглядитесь лишь сами, своими глазами,
и тогда уже навсегда
Поймете, что красное — всюду кра́сно,
а черное — всюду черно.

* * *

Волосы поредели, и расшатались зубы,
и поступь моя неверна.
Передал дом сыновьям и невесткам,
нужна мне лишь тишина,
Шахматный столик в тени бамбука,
цветы и чаша вина. . .

С тростниковою удочкой выйду порою
к озеру под горою,
Возле костра провожу вечера,
и счастьем душа полна.
Соли морской за трапезой вволю,—
вкусна и свежа еда.
Девяносто весен уже миновало;
конечно, прожил немало,
Но и этой весной наслажусь, а за нею
вновь настанет весна.

* * *

Все, что захочешь, есть у природы,
только внимательнее гляди.
Ищи неустанно, и то, что желанно,
сам для себя найди.
Горы и воды, закаты, восходы
путник запомнит на годы.
Бамбук и ма́й будят мысли мои
и жар вдохновенья в груди.
Саду и полю отпущены вволю
и ясные дни, и дожди.
Мужи многоумные славы достигли
и большего ждут впереди.
А здесь душа вопрошает душу,
не помня о ложном стыде.
Бытия дуновение — ветер весенний
всюду, куда ни пойди.

* * *

Человеком и зависть и злость помыкают,
он им подчиняться готов.
А ведь мы здесь — из милости приживалы,
приютил нас чужой кров.
Солнца и лу́ны сменяются в срок,
снуют, будто ткацкий челнок.
Красота — не навечно, и жар сердечный
угасает с теченьем годов.
Чем пышней цветы в саду расцветут,
тем быстрей лепестки опадут.
Вода, наполняющая водоем,
не наполнит его до краев.

Незавершенность и завершенность —
судьбой предопределены.
Кто ж изменит небесные предначертанья,
хотя бы движение облаков?

* * *

С бамбуковой удочкой к речке пойду,
в огороде вскопаю гряду,
Не помня о прежнем, сердечно привержен
утехам простым и труду.
Я глуп, без сомненья, лишь уединенье
всего для меня драгоценней.
Те, что поумней, к многолюдью стремятся,
им хочется быть на виду.
Мне осенью пища — побеги бамбука,
зимой — молодые бобы.
В озере лотосовом купаюсь
весною, а летом — в пруду.
Спускаюсь я пóд вечер в сад тенистый,
чтоб выпить вина в саду.
Богатство и роскошь мне снятся не чаще,
чем раз или два в году.

* * *

Вода неспокойна — приливы, отливы,
то вздуется, то опадет река.
Лодки скользят по воде осенней,
ныряет луна в облака.
На лодочных водорезах — лики,
в их глазницах — лунные блики.
Кое-где паруса поднимают на лодках,—
стал порывистей свист ветерка.
Белым-бела голова рыбака,
будто прожил на свете века.
А вода зелена и прозрачна сейчас,
точно кошачий глаз.
Чайки и цапли вряд ли случайно,—
вернее, что с думой тайной,—
За мною следят и следуют всюду
то близко, то издалека.

* * *

В этой жизни истинная человечность,
как бесценный алмаз, редка.
Богатство ценится много выше,
чем мудрая речь старика.
Когда приходил с пустой мошною —
едва разговаривали со мною.
А явился с дарами — всплеснули руками,
радость родных велика.
Не зная, чем ублажить меня,
восторгается мною родня.
Я с почетом встречаем,— потчуют чаем
и вином, и беседа сладка.
Как ведется от века — на суть человека
люди глядят свысока.
Нет дела до сути,— сколь мудры ни будьте,
богатство дороже им наверняка.

ИЗ «СОБРАНЬЯ СТИХОВ ОБИТЕЛИ БЕЛОГО ОБЛАКА»

АЛЛЕГОРИИ ИЗ ХИЖИНЫ ЧУНГ-ТЭН — СРЕДИННАЯ ПРИСТАНЬ

1 Лачуга эта — не дворец
«Зеленый Океан».
Но этот небольшой надел
мне во владенье дан.
Проходят тучи без следа,
драконы дремлют в бездне.
Ныряет рыба в ручейке
ключ Персиковый прян.
Движенье — Кань, недвижность — Гэнь,
вот сущего законы.
Вино дает простор стиху,—
когда пишу, я пьян.
Я волю неба знать хочу
и таинство рождений,
Узрев зимой в цветенье слив
начало света — Ян.

2 За мясо принимать плоды,
хожденье — за езду.
Когда в душе царит покой,
неспешно сам иду.

Исток Единый ты постиг —
    и верный путь постигнешь.
Мудрец талант свой осмеет
    хоть в первом он ряду.
Чиновный муж эпохи Хань
    шел на покой со славой,
Мудрец в эпоху Тан досуг
    предпочитал труду.
Бамбук зеленый, синь воды,
    принадлежат всем людям.
Могу ли слыть я бедняком?
    Какую жизнь веду!

ПОУЧЕНИЕ СТАВЯЩИМ СИЛКИ

Пусть неприметны   рыбы, птицы и звери,
Судьбы живого   извечно в наших руках.
«Птица летящая   снизится, если захочет,
Лишь пожелает —   взлетает, парит в облаках.
Вправо летит,   когда захочется — вправо,
Крылом поведет —   влево влечет ее взмах.
Глупые твари   не следуют предначертанью
И оттого   беспомощно бьются в силках».
Ведомо людям: сами себе мы на горе
Губим животных,   невинных преследуем птах.
Птицу накормишь —   получишь сторицей за милость,
Сам уцелеешь,   если щадишь черепах.
Вот наставленье   всем, кто стремится к добыче,
Ставит силки,   ставит ловушки в лесах.

РАЗДУМЬЯ

На стольный град напали злодеи,
    лютый разбойный сброд.
Велик урон, государь опечален,
    тревогой объят народ.
Как ждет дождя сухая земля,
    люди с надеждой ждут,
Кто́ подымет карающий меч,
    рать устремит вперед.
На берегах четырех морей
    грядущего ждут властелина.

Почти погасли Девять Небес,—
снова светоч взойдет.
Люди разумные в давние дни
не наживали врагов.
Зачем причины для битвы искать,
губить человеческий род?

2 Повсюду копья, повсюду щиты,
злоба затмила свет.
Страх в убежища гонит людей,
бегут, спасаясь от бед.
Бегут, прижимая к сердцу детей,
доверясь лишь небесам,
Пытаются ближних своих спасти.
Увы! Спасения нет.
Придет ли родившийся в год свиньи,
дарует ли мир земле?
Пора отдохнуть боевым коням
впервые за много лет.
Истоки судьбы замыкают круг,
начало идет за концом,
Сущность Великая правит всем,
упадком сменяя расцвет.

КОКОСОВЫЙ ОРЕХ

В земле вбирает он дождь, росу,
влагу почвенных вод,
Под золотыми лучами солнца
цветок превращается в плод.
Сердце его — священный сосуд,
в нем прохладный напиток,
Наглухо этот сосуд закрыт,
пыль туда не войдет.
Все мы предпочитаем кокос
даже зеленым арбузам.
Вместе с кокосом лиловый тростник
сладок с похмелья, как мед.
Хороший орех — природный черпак,
несущий небесную влагу,
Этою влагой жажду свою
в зной утоляет народ.

ЯЙЦО

Круг — не круг, квадрат — не квадрат,
возможно, и не овал,
Однако землю и небеса
этот сосуд вобрал.
Снаружи белого слой двойной —
высший предел простоты,
Внутри желтизна и точка видна,
цвет этой точки ал.
Пока не возник Великий Предел
хаос еще царил,
Потом расширенье возникло, простор —
в слиянии Двух Начал.
Потом явилось пернатое диво,
и Золотой Петух
Сопровождая сияющий диск,
в небе крыла распластал.

ЗИАП ХАЙ

НАПИСАНО ПО СЛУЧАЮ ПОСЕЩЕНИЯ СИНЕЙ ГОРЫ

В повозке подъехал к Синей горе —
селенье в вечерней тени.
Стена крепостная высится, крыши,
домишки — куда ни взгляни.
В квартал ткачей завернул по дороге,
обычаи их узнал,
По запаху лотосов вышел к саду,
так сладко пахли они.
Сидят журавли на ветвях кипарисов
древних, как небо с землей,
Фениксы пляшут на горной вершине,
медленно тянутся дни.
Лежит у дороги замшелая ступа,
дрогнуло что-то в душе.
Высокий подвиг разгрома пришельцев
высокому небу сродни.

ФУНГ КХАК ХОАН

СКОРБЯ ПО СЛУЧАЮ СМУТЫ

Копья повсюду, раздор и страданья,
множится бед вереница,
Все это горестным служит уроком
для воина и очевидца.
Мрак непогоды, ветры и ливни
многие долгие годы.
Век сотрясаются горы и реки,—
звезды успели сместиться.
Рухнет иль уцелеет противник,
знать не дано мне покуда,
Знаю одно: от меня зависит —
выстоять или смириться.
Тучей охвачено красное солнце.
Кто же кого одолеет?
Душу теперь отвести бы в застолье.
Скоро ли мир воцарится?

НГУЕН ЗИА ТХИЕУ

ИЗ ПОЭМЫ «ПЛАЧ ГОСУДАРЕВОЙ НАЛОЖНИЦЫ»

РАЗМЫШЛЕНИЯ О СМЫСЛЕ ЖИЗНИ

Мыслью о себе томлюсь:
Тяжесть алых уз нужна ль?
Я лежу, и жжет печаль.
Ива студит жар любви.
Жизнь между людьми, как сон,
Вещим колесом скрыт путь,
Надо ль жизни нить тянуть,
Коль в грядущем муть и дрянь.
Скажешь ли «воспрянь!» душе,
Ведь не ждешь уже удач!
Жизнь, как жалоба и плач,
Где бессилен врач любой.
Плачут над судьбой в тоске.
Цвесть в морском песке кусту.
Страшно перейти черту,
Стар ли ты, в цвету ли ты.

Нету красоты теперь,
Гибну от потерь, утех,
Мука жизни травит всех,
Режет как посев серпом.
И корысть кругом, как грязь,
Праху поддалась краса.
В море гóря я — слеза,
Пена, что нельзя поймать.
Жизнь свою понять хочу
И в дыму ищу пути.
Морю нас легко нести
И нельзя спасти никак.
Небо с нами как дитя,
Гонит нас шутя на мель,
Иль на обжиг в печь, как мел,
Словно пар — удел людской.
В зале танцев — злой паук,
В музыкальном — стук цикад,
В цветнике шипы торчат.
Под золой закат-костер.
Слава застит взор вельмож,
Взор богатых — ложь, тщета.
Жизнь, как сон в Нанькэ — мечта.
Встанешь — и пуста рука.
Сад погиб, дика трава,
Гонг во тьме едва видать.
Славы и добра искать
Страшно, как плутать в морях.
Уж не шлют ни страх, ни гром
Небеса, добром бедны.
Кончен путь земной; бледны
Тени, что видны вокруг.
Древо, камень вдруг — не те,
Блекнет в маете блеск птиц.
Жизнь уходит из зениц.
Даже горы ниц падут.
Пристань. Люди ждут, молясь.
А в харчевне пляс ветров.
Прах и пыль во тьме лесов.
Краток век цветов и трав.
Смотрим, волю дав слезам,
Смену сцен и драм земных.
Нету в них концов иных —
Лишь холмов простых гряда.

И сложны всегда узлы.
Как уйти из мглы страстей!
И в зерцале все пустей.
Плоть! Как мудрость с ней свести?
Для чего цвести любви.
Душу не трави свою,
А спеши к небытию
С чувствами семью одна.
Так чужда луна ветрам!
Расцветет ли дам-цветок?
А покуда в том лишь прок —
Что монаший строг обет.

НГУЕН ХЫУ ТИНЬ

СКОРБЯ О СВОЕЙ СУДЬБЕ

Сед, ни славы, ни чинов.
Что за век! Кто я таков?
Горько мне: полно препон.
Не завел учеников.
Тем, кто возлюбил людей,
Безразлично, кто каков.
Доброта — удел небес,
Я же слишком бестолков.

СВЯЗКА ШУТИХ

Это дело ловких рук —
Пук шутих распался вдруг,
Чем поспешней, тем слышней.
Что осталось? Только звук.

ФАМ ТХАЙ

САМ О СЕБЕ

Про меня хотите знать?
Тридцать лет, Ли меня звать.
Детям надо б потолстеть,
Рукописи потончать.

Перекрасить мир не мог.
Петь хотел — пришлось молчать.
Хлеб насущный свой жую,
Сгину — некому скучать.

2 Пять-шесть лет кругом разбой,
Как предсказано судьбой.
Что я видал тридцать лет?
Как дерутся меж собой.
Что завел? Лишь том стихов
Да кувшин полупустой.
К Будде на небо пора,
Сыт мирскою суетой.

СТИХИ, ПОСЛАННЫЕ ВОЗЛЮБЛЕННОЙ ЧЫОНГ КУИНЬ НЬЫ

С тех пор, как тайно повидал
пленительный нефрит,
Неизъяснимую печаль
душа моя таит.
Как будто скорбную струну,
тревожит ветр сосну.
Луна плывет в моей ночи,
и солнце ввысь летит.
Любовь до смерти ль нам с тобой
дарована судьбой?
Не часто встреча двух людей
согласие сулит.
Вздохни о счастии вдвоем
и оглядись кругом.—
Неужто же мирская пыль
зерцало загрязнит?

ГОРА СЛОН

Творец на выдумки хитер
и в них не превзойден.
Воздвиг он гору на земле,
назвали гору: Слон.
Как будто пред владыкой — Слон
коленопреклонен.
Пред ним прозрачная вода,
и хобот свесил он.

Деревьев сень, как балдахин,—
с подножья до вершин.
А золотые облака —
седло для ездока.
И дождь и град в бока стучат,
но этот гнев смешон;
Из камня скроенный, стоит —
замшел и задублен.

ИЗ РОМАНА В СТИХАХ «ВНОВЬ ОБРЕТЕННЫЕ ГРЕБЕНЬ И ЗЕРЦАЛО»

Два давних и преданных друга Фам Конг и Чыонг Конг дают клятву соединить в будущем узами брака своих детей и обмениваются в подтвержденье обета дарами — зеркалом и гребнем.
В стране начались беспорядки и смута. В своих скитаньях Фам Ким (сын Фам Конга) встречает Чыонг Куинь Тхы (дочь Чыонг Конга). Они полюбили друг друга. Им помогают Хонг, служанка Куинь Тхы, и слуга Фам Кима, Иен. Но родители, по приказу наместника, намерены выдать Куинь Тхы за другого. Девушка, разлученная с любимым, решает покончить с собой.

КУИНЬ ТХЫ ПРОЩАЕТСЯ С ЖИЗНЬЮ

Куинь Тхы в страданье:
«Хрупкое созданье — внешность!
Клятвы здесь витают,
Но о них не знает милый.
Мыслила: топиться,
Но душа боится смерти,
Жажду я свиданья,
Чтоб ему признанье молвить.
Слышать его речи
И уйти до встречи новой».
И посланье шепчет,
На бумаге жемчуг — слезы.
«Лунный старец тянет нить,
Чтобы нас разъединить!
Страшно в мире красоте:
Углю с яшмою не быть.
Лист и птица злы ко мне
И мечтают погубить.
Ива тянется к любви,
Но не знает, как любить!

Худо быть тростинкой,
Затянулся дымкой месяц.
Все ко мне жестоки,
Розовые щеки блекнут.
Небу, как дитяти,
Вешней благодати жалко.
И один лишь ветер
Развевает пепел горя.
Ты ли образ Духа,
Лунная старуха, знала,
Что меня страданье
Ждет в существованье новом?
Пусть моя записка
Все, что сердцу близко, скажет».
Та, что им любима,
Ранила Фам Кима словом.
Начал он гаданье,
Написал названья духов.
Дурно на таблицах
Сказано о лицах близких.
При другом гаданье
Выпал знак страданья снова:
В Огненных палатах
Знак огня и злата выпал.
Он в тоске, в тревоге.
Вот он и в дороге скоро.
Путь окончив дальний,
Видит он печальный образ:
Девушку в расцвете.
Было время третьей стражи.
И тогда неслышно
Из-за шторы вышла фея.
Ивы скорбный облик —
Щеки, словно облак бледный.
К ней спешит любезный.
Тут бы и железный плакал!
Два цветка, чьи корни
Сжаты в тесной форме жизни.
Тихо молвит ива:
«Буду ли счастлива в карме?
Как войдем в общенье
В новом воплощенье, милый?
На руке прекрасной
Выведу я краской имя.

Милому на счастье
Эти два запястья дам я».
Ким в ответ на это
Два вернул браслета деве.
«Лучше не встречаться,
Если разлучаться надо.
Ведь тверда, как камень,
Что стоит веками, клятва».
Завершилась рано
С боем барабана встреча.
И ушла в покои
Под звучанье мо и дана.
Только засветлело,
С моста зазвенела сбруя.
Видит из-за шторы
Пышные уборы — гости.
Несколько парчовых
Надевает новых платьев.
Шпильку и камею
И еще на шею жемчуг.
Держит пред собою
Зеркало с резьбою тонкой.
Весь убор надела
И служанку дева кличет.
«Хонг,— она сказала,—
Ты судьбу связала с Иеном.
Соблюдай три долга
И блюди, как должно, мужа.
Вместе с ним едино
В Фаме господина чтите.
Я уйду и друга
С поворотом круга встречу».
Слушала служанка,
Госпожу ей жалко стало.
Ей страшна разлука,
Нож, как лист бамбука, блещет.
И она без слова
Жизнь отдать готова рядом.
Госпожа ей молвит:
«Твое сердце полнит верность.
Но велю иное:
Верною женою будешь.
Я ж гонима роком
К Девяти потокам вечным».

Вот отвар смертельный
Из пяти растений выпит.
И отходит дева
Из сего предела в дальний,
Где струятся воды,
Где беззвучно годы длятся,
Где в одном потоке
Жизни, смерти сроки слиты.

Когда Куинь Тхы умерла, Фам Ким постригся в монахи. После смерти Куинь Тхы рождается ее сводная сестра Тхюи Тяу (новое воплощение умершей). Тхюи Тяу, одаренная талантами к стихосложенью и музыке, переодевается вместе со своей служанкой Оань в мужские костюмы и отправляется странствовать.
Встретив в пагоде Фам Кима, она, под видом юноши, состязается с ним в сочиненье стихов и песен.

СОСТЯЗАНИЕ ФАМ КИМА И ТХЮИ ТЯУ В СОЧИНЕНИИ СТИХОВ И МУЗЫКИ

«Ты, Оань, смирила
Боль,— проговорила Тяу.—
Дай про расставанье
Мне сыграть на дане лунном.
   Затянул туман луну.
   Снег ложится
   На Корицу.
   Гуси тянут в вышину.
   И на холоду
   Замерли в саду
   Бабочка и птица.
   И поникли вдруг
   Маи и бамбук!
   Только песня длится.
   Нет луны и звезд
   И далек Сорочий мост.
Нгыу Ланг с Тик Ны —
Вы разделены Рекою!
Радуга нарядна,
Но к ней путь изрядно труден.
Облака, как вести,
Но везде на месте праздность.

Только струны дана
С радостью нежданно грянут:
Две струны в единстве
Парой мандаринских уток.
Как неясны узы!
Тяжелы обузы жизни!»
Ким из дома вышел
И вблизи услышал песню.
Слушал он в печали,
Звуки отвечали сердцу.
«Лишь Бо-я когда-то
Так сыграть для брата мог бы!
Фея в замке Лунном
Так звенит по струнам дана,
И на хоангкаме
Вьются мотыльками звуки.
Тот напев прекрасный
Вызывает странствий жажду!
Стон разлуки длинной
Пары журавлиной слышен.
Разлученных муки
Чуешь в каждом звуке скорбном».
Ким запел ответно,
И, как шелест ветра, песня
Тонких штор достигла.
Слушая, затихла дева.
   «Светит яркая луна.
   Пахнет, млея,
   Орхидея.
   И спокойна глубина.
   Иволга лепечет,
   Ласточка лепечет.
   Ветер парусом трепещет.
   В редких звездах вышина.
   И туманы поредели.
   Вышел путник со свирелью,
   Значит — скоро быть веселью.
   Скоро встреча суждена.
Да, не за горами
Праздник с фонарями — встреча.
После испытанья,
Будет рокотанье песен.
Свежи и прекрасны
Затканные красным ткани!

Пусть весна далеко,
Расцветет до срока осень.
Млечный Путь струится,
И Тык Ны стремится к брегу».
Песня в отдаленье
Отвечает пенью Тяу.
Как слова пристойны,
Как легки и стройны звуки,
И напев, присущий
Иволге поющей, сладок.

Привязавшись сердцем к вновь обретенному «другу», Фам Ким не выдерживает разлуки и отправляется на поиски. Он находит Тхюи Тяу и, обнаружив у нее на ладони слова «Девушка Куинь», понимает, что перед ним его возлюбленная, воскресшая в новом существованье. Воссоединяются снова и памятные дары — зеркало и гребень.

ХО СУАН ХЫОНГ

ИЗ КНИГИ «ВЕСЕННИЙ АРОМАТ»

СТИХИ В ДАР ХРАМУ БЕССЛАВНОГО ЧЖАН И-ДУНА

Блистает на храме табличка надменная.
Небрежный я кинула взгляд
И вижу, что в память о битом Наместнике
высокие стены стоят...
«Была бы мужчиной,— я с горечью думаю,—
могла б изменить я лихую судьбу мою,
Могла бы вершить я великие подвиги,
не зная досадных преград!»

ОДИН НА ДВОИХ

Нежится под одеялом жена,
зябко, тоскливо жене другой.
Муж-то у них один на двоих —
взвоешь, пожалуй, от жизни такой.
Жди-дожидайся, пока повезет:
то ли неделя, то ль месяц пройдет:
Может, он завтра тебя позовет,
может быть, вовсе не ляжет с тобой?

Хочет жену как служанку держать,
чтоб и награды не смела бы ждать.
«Палок отведаю, но пообедаю!»
Рис, на беду, к обеду плохой...
Если бы раньше мне знать о том,
замуж не вышла бы нипочем,
Лучше б с судьбою смириться мне,
да и прожить бы весь век одной.

ПЕРЕВАЛ БА-ЗОЙ

Спуски — подъемы, спуски — подъемы,
вот он — Тройной перевал.
Кто он, могучий, что гордые кручи
из мягкого камня ваял?
У алых ворот всякий найдет
узкий проход в таинственный грот.
Есть и примета: мхом приодета
в том месте поверхность скал.
В теплые весны стройные сосны
клонит-колышет ветер несносный;
Рассвет торопливый на листиках ивы
щедро росу расплескал.
Из добродетели лезут в свидетели
этих красот — благонравья радетели,
Не ведая лени, сбивая колени,
взбираются на перевал. . .

ДЕВУШКА, ЗАСНУВШАЯ В ПОЛДЕНЬ

Летний юго-восточный ветер
в полдень не даст прохлады.
Девушке, утомленной зноем,
здесь отдохнуть — отрада.
Спит она в жарких объятиях грез,
гребень бамбуковый в гуще волос.
Ниже цветущих холмиков спущен
розовый край наряда.
Там, на холмах, что глядят в небеса,
не испарилась еще роса,
И есть еще в Персиковой долине
потоку речному преграда...

Жрец добродетели рот раскрыл:
надо б уйти, но уйти нет сил.
Так он и топчется пред красотою,
не отрывая взгляда...

ЛОДОЧНИКУ, ЗАБЫВШЕМУ О ВОЛНЕ, ЧТО ВЫНЕСЛА ЕГО НА БЕРЕГ

Эй, лодочник! Знакомы мне
коварные твои повадки.
Ты погружал в реку весло,
страшась задержки да осадки.
Но, выйдя на берег привычно,
на воду смотришь безразлично.
Песок шуршит под челноком,—
что волноваться? Все в порядке!
Волне же, поднятой тобою,
еще надолго нет покою.
Ты встречи с нею избежал,
она ж — неслась к тебе украдкой.
Обнять хотела... Разве вправе
ты забывать о переправе?
Еще не раз придется плыть,
так не беги же без оглядки!..

ПЫШКА В ПОДСАХАРЕННОЙ ВОДЕ

Пышка я круглая, белая-белая,
сдобная, сладкая и пышнотелая.
Плаваю, плаваю — все не тону.
Стану тяжелой — и камнем ко дну!
Пекарь рукою своей беззаботной
сделает рыхлой меня или плотной.
Телом любого к себе приманю,
сердце-начинку я чистым храню!

ЖЕНЩИНЕ, ОПЛАКИВАЮЩЕЙ ЗНАТНОГО МУЖА

Тихо рыдает и причитает она,
в скорби бессонной трет покрасневшие веки.
Стоит ли плакать? Грусть, я скажу, не нужна.
«Зря убиваешься»,— скажут и горы и реки.

Глупых девчонок где б ни пришлось повстречать,
надо бы каждой горькую правду сказать:
Низкорожденная! Бойся вельможных палат,
вступишь супругой — станешь служанкой навеки.

УПРЕКАЮ ТИЕУ ХО ЗА ДЕРЗОСТЬ

Опомнись! Трезв ты наконец,
иль хмель твой не проходит?
Взбрело ж бродить средь бела дня,
где при луне лишь бродят!
Хочу, чтоб ты разумным был,
к Пещере Тигров не ходил.
Послушай старших: там нет-нет
да и тигрят находят.

ТИЕУ ХО ОТВЕЧАЕТ ТЕМИ ЖЕ РИФМАМИ

Да, да, я совершенно пьян!
Нет... Хмель уже проходит...
Но я и днем хочу бродить,
где только ночью бродят.
Когда бы я послушным был,
к Пещере Тигров не ходил,—
Никто б тогда не говорил,
что там тигрят находят.

ЧЕРПАЕМ ВОДУ

Зной, духота. Не дождешься дождя
в жаркую эту погоду.
«Где вы, подруги? Идемте к ручью
черпать холодную воду!»
Вот, треугольный черпак раскачав,
кину — и плещется он среди трав
В поле, где тихо струится вода,
выйдя из гор на свободу.
Чуть наклонюсь — и до дна достаю,
выну — подставлю ладонь под струю.
Влаги живительной хватит на всех,
лица и руки омыты.

Весело!.. Долго мы трудимся так?
выльем — и снова наполним черпак.
И не расстаться с водою никак.
Зной и усталость забыты.

УПАЛА

Потянулась, руки вверх простерла —
измеряю высоту небес.
Ноги развожу — хочу промерить,
широко ль раскинулась земля.

ИЗ КНИГИ «ГОРНЫЙ ХРУСТАЛЬ»

ЖАЛОБЫ

Вникаю в глубину житейских дел,
и сердце у меня — сплошная рана;
Мир чувств и мыслей в людях познаю,
и голова мутна, как от дурмана.
Пусть буду я рождаться вновь и вновь —
узнаю ль настоящую любовь?
За годы, что успела я прожить,
пила лишь чашу горького обмана.

ЧАНУ, ПРАВИТЕЛЮ ОБЛАСТИ ШОН-НАМ-ХА

Биенью сердца твоего,
мой друг, подолгу я внимала,
И твоему в ответ мое
в груди взволнованно стучало.
Среди цветов, тенистых ив
искали днем уединенья,
Чтобы вдвоем читать одно
любимое стихотворенье.
Мы лили в чашечки вино,
и нам одна луна сияла;
Во всем мы были заодно,
и как всего нам было мало!
Быть вечным счастью не дано,
а ты теперь за дальней далью,

И, одинокая, давно
 душа наполнилась печалью.
С тех пор как радость отцвела
 и горькая пора настала,
На ложе у меня тепла
 лишь половина одеяла...

* * *

Прошла, Суан, прошла твоя весна,
Все чаще остаешься ты одна.
И утром, в сад распахивая дверь,
Цветов все меньше видишь ты теперь.
А в комнате, где шпильки прижились,
Все нити чувств в клубок переплелись.
Тут ваза благовоний холодна. . .
Прошла, Суан, прошла твоя весна.
На изголовье одиноком ты
Кому поверишь тайные мечты?
Как золота недолговечен блеск,
Так отшумел весны короткий всплеск.
Да, были сотни тропок и дорог;
И на любую пасть твой жребий мог.
Узнала ты в прошедшие года,
Что сладость рядом с горечью всегда,
Что твердый у создателя закон:
И зной и холод сразу шлет нам он.
Был рядом друг, и вот уж нет его
На половине ложа твоего,
И жалобы услышит лишь стена. . .
Прошла, Суан, прошла твоя весна.

НГУЕН ЗУ

ВСЕ ЖИВОЕ

Пятнадцатый день седьмой луны. Осень плачет навзрыд.
Сухие кости продрогли насквозь; на западе тускло горит
 мучительный, полный тоски, холодный, сизый закат...
Вечерние ветры камыш серебрят,
 и мягко шуршит золотой листопад.
Неясные тени меж тополей стелются в эти часы.
Мерцают в кронах понурых груш тяжелые капли росы...

Недаром людские сердца печалью безмерной полны.
Владения солнца, увы, холодны,
но что же сказать о мире луны?
Под пологом ночи земля черна и темен беззвездный свод.
Угрюмый сумрак закутал холмы и волны озерных вод...
О, как все живое не пожалеть, примолкнувшее в тиши!
Как страшен удел одинокой души
на дальней чужбине, в пустынной глуши!
Скитается душа-сирота в краю полночных теней,
Где благовоньями не курят, не жгут светозарных огней.
Богач гордится собой, но что же выгадал он?
Какое различье меж тем, кто учен,
и тем, кто премудрости вовсе лишен?
В пятнадцатый день мы воздвигнем алтарь во славу Того,
кто спасет,
И окропим животворной водой, ниспосланной с горных высот.
Всемилостив Будда! К нему, кто тысячи тысяч простил,
Мольбу вознесем, чтоб от бед заслонил
и душу на запад без мук отпустил!
Хоть есть немало дерзостных душ, чья смелость не знает преград,
Мечтающих горы на плечи взвалить, забрать все реки подряд.
К чему же эта борьба за славу, за высшую власть?
Князьям суждено неминуемо пасть,—
никчемна их сила и жадная страсть!
Мгновенно разверзнутся хляби небес и рухнет на головы кров.
Вельможам не скрыться в людской толпе, и жребий владык суров.
Возмездье стократ тяжелей для тех, кто богатству служил.
Багряная кровь струится из жил,
в истлевших костях — нет жизненных сил.
Судьбою гонимые бобыли, изгнанники, упыри,
Безглавая нечисть, в дождливой ночи вопящая до зари,—
поймите: удача, беда — случайных событий игра.
Когда ж подойдет избавленья пора
к душе неприкаянной, чуждой добра?..
Иные блаженствуют в царстве мечты, за пологом орхидей.
Живут, как будто у феи Луны,— немало таких людей.
Но реки и горы порой взрывают мнимый покой,
И мечутся жалкие души с тоской
листвою сухой — листвою людской...
Вознесся к тучам высокий дворец, поют под мостами ручьи,
Но ваза разбита и сломан браслет, и эти хоромы — ничьи!
Здесь были веселье и блеск, чего же больше желать?
Покойный хозяин любил пировать,
но некому кости его подобрать.

Печально существовать без огней, без благовонных свечей.
В недоуменье густой родомирт, в недоуменье ручей.
Расслабились ноги давно, расслабились руки... А жаль!
Но с каждой ночью все горше печаль,
и прежняя сила вернется едва ль!
А эти, в шапках высоких и в шелке пышных одежд!..
Пылает на кисточках красная тушь — источник беды и надежд.
Вот-вот от книг мудрецов у них разорвется сума.
Ночами о Чжоу лопочет им тьма,
с рассветом по И они сходят с ума...
Чванливы они, и злобою к ним полны людские сердца.
Безвинно загубленных ими людей число растет без конца.
За тысячу им золотых не откупиться, поверь!
Давно заросла травою их дверь,
и прахом пошло богатство теперь.
Ни в прошлом, ни в будущем нет у них ни близких друзей,
ни родни.
Никто не подаст им чашки воды. Презренны и нищи они.
Уныло бродит душа,— былое счастье прошло,
Грехи придавили ее тяжело,
мешает спасенью свершенное зло.
А этот безумец, ведущий войну,— свирепому тигру под стать;
Не сердце живое в груди у него — одна войсковая печать!
Рождает он бури и гром, победой себя веселя;
Под пеплом и пылью бесплодна земля,
и трупы везде устилают поля.
Но вот неудача: пронзила стрела, шальная пуля нашла.
Растерзана плоть, проливается кровь, к душе подбирается мгла...
У края каких же морей, в какой придорожной пыли
За тысячи ли от родимой земли
безвестную горстку костей погребли?
И солнце сокрылось, и ветер кричит, и скорбно глядят небеса.
На мир опускается траурный мрак, смолкают живых голоса...
Родные сюда не придут сквозь джунгли, звериной тропой,
Одни лишь осенние тучи толпой
над павшим поплачут в печали скупой.
А есть и такие, кто деньги копил, чтоб всюду прослыть богачом,
Готов недоесть, недопить, недоспать, и жизнь ему — нипочем!
Но не осталось друзей, ни даже родных — никого...
Он денег хотел, он добился всего,
и только наследников нет у него.
Когда же покинул он солнечный свет, печаль и не глянула вслед.
Богатство — облако: вот оно здесь, и вот его словно и нет!

Текли к нему деньги рекой от многого множества дел,
Когда же покинул он здешний предел —
с собой даже донга взять не сумел!
Соседи смотрели на тело его, но плакать они не могли.
Бамбуковым лыком баньяновый гроб связали — поволокли.
Лишь ветры тоскуют в полях и жалобно плачут навзрыд...
Но кто ароматы ему воскурит,
кто чашей с водою его одарит?
Иные, к почестям устремясь, предавшись безумным мечтам,
За славой отправились в город большой, остались пожизненно там,
Но годы идут и идут... И где уж по дому взгрустнуть?
Но трудно одною ученостью путь
к богатству пробить и успехом блеснуть!
Как холодно на постоялом дворе, где смерть он встретил свою!
Зачем он покинул жену и детей в далеком, милом краю?
Зарыли его кое-как, в земле уложив ничком...
Кому был он дорог или знаком
в чаду городском, кипенье людском?
Здесь многие плачут у свежих могил, и только к нему не пришли.
Томится и страждет унылая тень вдали от родимой земли.
Скорбит на чужбине душа, тоскует и стонет она.
Хотя бы свеча загорелась одна!
Но нет... Лишь луна сквозь тучи видна.
А этот в далеких и бурных морях куда-то бесстрашно плывет.
И ветры, раздув облака-паруса, уносят скитальца вперед,
но буря потопит ладью — и резвый окончится бег,
И в чреве акулы такой человек
подобье могилы отыщет навек.
Бродячий торговец плетется едва сквозь холод, и ветер, и тьму.
Бамбук коромысла за столько лет плечо намозолил ему,
а небо висело над ним, то зноем, то ливнем глуша...
По горным дорогам, к ночлегу спеша,
поныне скитается эта душа.
Иной, по несчастью, в набор угодил — и вот, зачислен в войска,
Оставил дом, покинул семью,— нет выхода из полка.
Тоскует и мается он; вот-вот попадет под арест,—
И рис из бамбуковой трубки он ест
вдали от привычных, насиженных мест.
В лихую годину людей, словно сор, метет роковая метла.
Вся разница — пуля ударит в упор, настигнет случайно стрела...
Нечистая сила вопит, и горы встают на дыбы,
И к черному небу несутся мольбы,
и больно, что нет справедливой судьбы.

Где счастье девичье, что прахом пошло, как продали дом с
молотка,
И юность увяла и умерла для жизни луны и цветка?..
Под старость нет ни семьи, ни дома в сельской тиши.
Угрюмые джунгли — и те хороши
для этой загубленной, жалкой души!
Жила — и терпела мученья она; когда ж наконец умрет,
То кашу из листьев баньяна опять за гранью могилы найдет.
О женское сердце! За что тебя заточили в тюрьму?
О женское счастье! Зачем, почему
отравлено ты — не постигнуть уму!
А этот всю жизнь под мостом ночевал и спал на холодной земле,
Иссох от поста, подаянья просил, мечтал о еде и тепле.
Нам жгучая жалость о нем теперь неумолчно твердит:
Подачками жил он, забит и забыт,
и возле проезжей дороги зарыт.
А этот бедняк, ни за что ни про что попавший в застенок сырой!
В циновку труп завернули его дождливой полночной порой...
Никто не доставит семье последнюю скорбную весть,—
Одна лишь надежда печальная есть,
что в жизни другой обелят его честь!
А сколько беспомощных малых сирот! Как маются горько они!
В недоброе время, видать, родились,— остались на свете одни.
И некому их приласкать и вытереть слезы с лица.
«О-о!» Этот крик пронзает сердца...
«О-о!» Ни матери нет, ни отца!
А этот в горной реке утонул, монахами не отпет,
Тот с пальмы свалился, словно орех, и шею сломал и хребет,
а этот в колодец упал, когда оборвался канат,
А тот огнем на пожаре объят,
и вот — горит от макушки до пят...
А этим — от яда коварной змеи погибель была суждена,
А те угодили на волчьи клыки, на бивень могучий слона,
а этот детей не взрастил — и держит пред Буддой ответ.
Дурному отцу — прощения нет,
он должен брести по лестнице лет.
А этот, исхлестанный злобной судьбой, лазейке обманчивой рад,
На мост в преисподнюю смело шагнул — и нет ему ходу назад...
У всякого участь своя, несхожая с долей других,—
Но где же души бездомные их?
В каких они странах и в безднах каких?
Чей дух заблудился в дремучих кустах, на диком, чужом берегу?..
Кто в горных ущельях, над быстрым ручьем, ютится в камнях
и снегу?

Кто бродит по зарослям трав, кто бродит в джунглях ночных
По козьим тропинкам, на скалах крутых,
в стенах городских, вдоль улиц пустых?..
Кто в доме прижился незримо для нас иль в пагоде Будды, в углу?
Кто бродит по храму в полуночный час, кто скорчился там, на
полу?
Кто стонет, как ветер ночной, шагая сквозь бурелом,
Кто в темных полях, то ползком, то бегом,
без цели, без срока блуждает кругом.
При жизни терпели они без конца страданья, гнетущие плоть,
Мечтали наполнить впалый живот, и дрожь не могли побороть,
и спали на стылой земле, укрывшись туманом ночным,
И вот — проплывают, как облачный дым,
над здешней тропой, к воплощеньям иным.
Услышав крик петуха на заре, поспешно летят они прочь,
А лишь отпылает кровавый закат — встречают новую ночь,
несут они малых детей, бессильных ведут стариков...
Поймите! Жребий ваш тоже таков —
быть призрачным полчищем в смене веков!..
Молите же Будду, чтоб вас Он забрал в прекрасный, заоблачный
край,
Своим ореолом тьму разогнал, приблизил сияющий рай,
чтоб мир на земле наступил, пришел с четырех сторон.
Да смоет Он горе! Да вытравит Он
всю ложь и неволю, все распри племен!
Мы просим Его, кто свят, вездесущ, нас, бренных и грешных,
спасти,
Мы молим Его повернуть Колесо ко всем сторонам десяти.
О Тиеу Зиен! Защити! Дорогу найти помоги!
В безвыходной тьме, где не видно ни зги,
направь своим знаменем наши шаги!
Неустрашимый, великий, как мир, яви милосердье твое!
Вот палочек стук в монастырских стенах — прозренье и забытье...
И вот, все живое вокруг... Да кто же такие они,
Мужчины и женщины? Им поясни,
что скупо отмерены краткие дни.
Ведь жизнь быстротечна, как время, как сон, и все в ней —
слепая тщета,
И сказано нам: десять тысяч вещей — лишь майя, ничто, пустота.
Пусть Будду любой из людей несет в своем сердце сквозь тьму,
Сквозь муку, и горе, и страх, и тюрьму —
и станет нирвана наградой ему!
Творящий добро — слово Будды несет. Пускай это чаша с водой
Иль с рисовой кашей, которую ты принес угнетенным бедой.

Ведь говорят неспроста: бесценному слитку равна
Рубаха, что нищему в помощь дана.
Да будет ступенькою к небу она!
Вовеки блажен пришедший сюда, в себе побеждающий зло!
Любое даяние — благо, пускай оно бесконечно мало,
но станет огромным оно, коль примет его Божество.
Мы молим: пусть Будда разделит его
меж сирыми, не обойдя никого.
И мы не горюем, что все — лишь прах, что жизнь — улетающий сон.
Великий Будда заботлив и добр, могуч и всемилостив Он.
Мы славим на этой земле Того, кто вовеки таков,
Мы — племя бесчисленных учеников,
шагающих ввысь по ступеням веков.

ЛЕЖУ БОЛЬНОЙ

Все мы — жертвы летней жары,
жертвы прохладной весны.
Хворый, лежу у предгорья Хонг;
дни мои сочтены.
Старый, худой... Я утром росистым
жалок в зеркале чистом.
Сквозь бамбуковый полог в безлюдной ночи
стоны мои слышны.
Десять лет я болею, один как перст:
ни друга со мной ни жены.
Бальзамы, что сварены девять раз,
для исцеленья нужны...
О, если хотя бы над кровлей хибарки
выплыл, ясный и яркий,
Тьму разгоняющий светом своим,
диск приветной луны!

ГОРОД ВЗЛЕТАЮЩЕГО ДРАКОНА

Река Ло — течет, гора Тан — стоит,
хоть миновали года.
На город Взлетающего Дракона
гляжу,— голова седа.
На месте княжеской пышной твердыни
дорога проходит ныне;

Новые стены взамен былых
нашел я, вернувшись сюда.
Сверстники прежние стали теперь —
важные господа,
Девушки давних времен счастливых —
нянчат младенцев крикливых...
Ночью не сплю от щемящей боли,
бодрствую поневоле.
Светит луна, лишь флейта вдали
нежно вздохнет иногда.

В СУМЕРКАХ ЛЮБУЮСЬ РЕКОЙ ТХАНЬ-КЮЙЕТ

Мост миновал я — и вольный простор
открылся издалека;
Зубчатые, за уступом уступ,
синеют горы слегка,
Бредет дровосек под луной двурогой
с вязанкой древней дорогой.
В закатном огне, на приливной волне,
качается челн рыбака,
Едва видна в тумане река
и пух молодого леска,
Вдоль берегов, над кровлями хижин,
дымок почти неподвижен,
Но я напрасно ищу в отдаленье
мое родное селенье,—
Лишь дикие гуси пятнают, как точки,
облачные шелка.

* * *

В старый колодец глядится луна;
поверхность воды ровна.
Пока никто не опустит бадью —
пребудет ровной она.
А если опустят — влага колодца
только на миг всколыхнется...
Сердце мое — словно старый колодец,
в который глядится луна.

ОХОТА

Люди в шапках высоких, в пышных шелках
    любят блеск суеты,
А я оленят и ланей люблю;
    к чему мне чины и посты?
Без всякой корысти по лесу кочуя,
    немного забыться хочу я.
Зверька подстрелю и себе говорю:
    не так уж преступен ты!..
Мой пес примолк — за гребнем холма
    он скрылся, нырнул в кусты.
Чу! Самец кабарги... на лужайке спит он,
    и мускусом воздух пропитан.
У каждого в жизни своя отрада;
    чего же, в сущности, надо
Тем, в колесницах,— важным чинам,
    поднявшим цветные зонты?

СИЖУ И ПЬЮ ВИНО

Пьяный, щуря беспечно глаза,
    сижу один у окна.
Не сосчитать опавших цветов,
    мхом поросла стена.
Если мы пить хмельного не станем,
    чем бытие помянем?
Кто оросит наш могильный холм
    доброй чашей вина?
Быстро, как иволга золотая,
    мелькнет, улетая, весна,
Посеребрит нам поникшее темя
    неумолимое время;
Без ежедневной попойки хорошей
    мы не справимся с ношей,
Вздыбленной тучей нависнет жизнь,
    тяжко придавит она.

СТЕНАНИЯ ИСТЕРЗАННОЙ ДУШИ

(Фрагменты из поэмы)

Пока до конца не иссякнут наши земные года,
Талант и судьба везде и всегда
        дышат слепой обоюдной враждой.

Седую пучину морскую тутовник сменял молодой,
Но только горем, только бедой
бремя жизни на плечи легло.
На миг улыбалась удача, потом опять не везло.
Синее небо ревниво и зло
смотрит на свежесть розовых щек...

В праздничный день юный Вьонг со своими сестрами, старшей — Кьеу и младшей — Ван, гуляя, замечают забытую могилу некогда знаменитой певицы Дам Тиен. Вьонг рассказывает сестрам о ее несчастной судьбе; на глазах взволнованной Кьеу выступают слезы.

Смятеньем охвачена Кьеу: уйти ли? остаться ли ей?
Но звук бубенцов, звончей и звончей,
музыкой к ним долетел золотой.
Ученый-конфуцианец ехал тропой некрутой,—
К людям возле могилы простой
плыл, качаясь в седле, налегке.
Луна да ветер гуляли в его дорожном мешке,
А белый конь — будто в свежем снежке —
гордо играл под владыкой своим,
Да несколько мальчиков следом едва поспевали за ним.
Седок одеяньем сиял голубым
и зеленоватым — как небо с травой;
Стоявших у старой могилы с опущенной головой
Тотчас увидел,— и с речью живой,
с добрым приветом спешился он;
Пестро обутые ноги ступили на каменный склон,
А лес, будто всадником озарен,
вспыхнул алмазно каждым листком...
Вьонг устремился навстречу,— с ученым был он знаком,
А девушки, скрытые цветником,
сквозь частые стебли глядели на них.
Приехавший жил по соседству; блистаньем талантов своих
Род Кимов украсил,— завидный жених!
Вкруг имени Чонг рос почтительный шум:
Земля, мол, дала ему знанья, а небо — сверкающий ум!
Войдет — и пленяет свежестью дум,
при выходе — благородством пленит,
Лицом и одеждой прекрасен, к тому же богат, родовит!..
Но более скромен, чем знаменит.
С Вьонгом вместе учились они.
Ким Чонгу соседство их было дороже близкой родни;
Он знал, что рядом — только взгляни! —
в святилище Бронзового Воробья

Две девушки благоухают, себя от сторонних тая,
И для него, как чужие края,
были их расшитый шелками покой.
Бедняга давно уж томился тайной сердечной тоской!
Рад несказанно встрече такой,
брата красавиц приветствовал он.
Сестра, в которую всадник давно и страстно влюблен,
Внезапно пред ним возникла, как сон,
как розовый призрак в осенней листве...
Как две орхидеи весенних, как розы прелестные две,
Сестры стояли по пояс в траве,
рядом стояли, но видел одну
Юноша этот прекрасный, бывший у страсти в плену.
А та, что собой дивила страну,
кроткое сердце свое поняла,
Сердце, где страсть притаилась и лишь пробужденья ждала.
Но встреча продлиться никак не могла,
влюбленным уже расстаться пора,
Тоска пронзила обоих, мучительна и остра,
И кажется, красок закатных игра
прячет печаль уходящего дня.
Девушка смотрит вдогонку тому, кто, вскочив на коня,
Скрывается вновь, бубенцами звеня.
Над светлым ручьем опустив свою сень,
Прибрежная ива роняет вечернюю, длинную, тень.

Кьеу возвратилась в дом отца, но не покидают ее мысли о Ким Чонге. Юноша тоже погружен в думы о Кьеу.

Как полюбивший странен для нас!
Ликом туманен, душою глубок...
Кто же сумеет распутать шелковый сердца клубок?
Юноша Ким окунулся в мирок
мудрых, овеянных древностью книг,
Но Кьеу, прекрасную Кьеу не в силах забыть ни на миг,
Меру печали впервые постиг,
чашу томленья испил он до дна;
Дни — бесконечными стали, как ночи, лишенные сна.
Кажется, будто решетку окна,
где голубели на солнце шелка,
Навек от него заслонили циньские облака.
Пыль на дорогах клубится, легка,—
кажется бледною дымкой она,
Светильник уже догорает, ущербная меркнет луна,

Стонет душа, любимой полна,
сердце стремится к сердцу ее,
Образ ее — пред глазами... Киму не жить без нее!
Холодом медным объято жилье,
высохла разом на кисточках тушь,
Струны лютни обвисли... «Что за беззвучная глушь!
Музыка ветра, молчанье нарушь!
Занавес шелковый бережно тронь!
Вздуй в очаге моем темном скрытый под пеплом огонь!
Бубенчиками золотыми трезвонь,
к ней долети моей страстной мольбой!
Разве мы друг для друга не созданы доброй судьбой?
Как я жестоко наказан тобой,
всепобеждающая краса!..»
К вечеру пала на травы стылым покровом роса.
Юноша бедный стремится в леса,
быстро шагает прямо туда,
Где у могилы забытой дремлет в туманах вода,
Где милая сердцу стояла тогда,
в тот незабвенный, мучительный час.
Вечер, печаль навевая, плакал; запад погас;
Память влюбленного жаждет прикрас,
и устремляется путник назад,
К дому избранницы снова тянутся сердце и взгляд.
Но неприветлив темнеющий сад,
изгородь мрачная высока,
Никнут плакучие ивы,— нет между них ручейка —
Тропки для алого лепестка.
Вестнику счастья путь прегражден.
Иволга словно смеется, мир погружается в сон,
Заперты двери... Но тот, кто влюблен,
ночь напролет, не боясь темноты,
Станет скитаться поодаль, подогревая мечты,
А на ступеньки слетают цветы,
падают, будто бы с облаков...
Почва бела под ногами от мотыльков-лепестков.

Ким Чонг снял комнату неподалеку от дома Кьеу. Найдя в саду драгоценную шпильку, потерянную Кьеу, он вскоре встретил и девушку. Когда родители Кьеу уехали на праздник, она тайно приходит в дом Кима. Юноша клянется до свадьбы оберегать честь любимой. Кьеу очаровывает его своей игрой на лютне.

Девушка возвращается домой. В скором времени Ким Чонг уезжает на похороны дяди. Когда возвращаются родители Кьеу,

в дом их врываются стражники. По ложному доносу они арестовывают отца и брата девушки. Все имущество семьи разграблено. Кьеу решает продать себя, чтобы спасти семью. За нее сватается проходимец Ма Зиам Шинь. На деньги, уплаченные им, Кьеу выкупает отца и брата. Она уезжает с Ма Зиам Шинем, наказав младшей сестре своей Ван, стать женою Ким Чонга.

Но Ма Зиам Шинь продает Кьеу владелице зеленого терема, жестокой и жадной Ту Ба. В отличие от других обитательниц зеленого терема, Кьеу не смиряется со своей участью. Она пытается убить себя ударом ножа. Повеса Шо Кхань подбивает Кьеу бежать из зеленого терема, но все это было подстроено с ведома Ту Ба, и Кьеу снова попадает к ней в руки.

Гуд мотыльков и жужжание пчел,
пьющих без устали сладостный мед,
Смех, заунывно звучащий каждую ночь напролет...
Месяц за месяцем пьяно бредет...
Ветка, качаясь под птицей любой,
Все на земле забывает, согнута вихрем-судьбой.
Больше не плачет она над собой.
Лишь иногда, протрезвев поутру,
Думает падшая Кьеу на леденящем ветру:
«Кто пожалеет, когда я умру?
О, для чего я тонула в шелку,
Видела радость и ласку на мимолетном веку?
Видно, уже не подняться цветку.
Насмерть затоптан прохожими он.
Кожа моя загрубела. Смех мой, похожий на стон,
Мне заменяет отраду и сон,
а к оскверненному телу летят
Лишь мотыльки друг за другом — долгие ночи подряд.
Все одного и того же хотят,
пьют до отвала росу и нектар,—
Мне же самой и неведом страсти таинственный жар,
Только щемящий, холодный угар,
только на сердце печать пустоты.
Сколько мне раз улыбались ясной улыбкой цветы,
Нежно смотрела луна с высоты,
снежные горы глядели в окно?
На ухо шепчет природа пленнице только одно,
И отражает она все равно —
неизъяснимую, жгучую грусть!»
Кьеу забыться пыталась, думая горестно: «Пусть!..»

Пела, твердила стихи наизусть,
лютню забытую в руки брала,
Но прикоснуться весельем к сердцу она не могла.
Близкую душу уже не ждала.
Некому сердце свое подарить,
Не с кем о доме родимом дружески поговорить...
Нет, одиночества ей не избыть!
Жгучие думы роятся толпой,
Кружатся, не отступают, болью терзают слепой.
Воспоминанья привычной тропой
к отчему дому стремятся опять.
Как там отец престарелый и одряхлевшая мать?..
Им не дано о дочке узнать.
Скоро уже догорит их закат.
Смогут ли крепкой опорой стать им сестренка и брат?
Нет ли новых невзгод и утрат
в садике том, где софора цвела,
Где злополучную Кьеу злая судьба стерегла?

Безвольный сластолюбец Тхук Шинь, сын богатого купца, берет Кьеу в свой дом младшей женой. Но старшая жена его, Хоан Тхы, дочь знатного сановника, велит своим слугам поджечь жилище Кьеу и бросить в огонь труп неведомой утопленницы. Кьеу же силой уводят во дворец Хоан Тхы. Все окружающие и сам Тхук Шинь считают, что Кьеу погибла в огне. Хоан Тхы превращает Кьеу в свою рабыню, всячески глумится над нею. Тхук Шинь узнает об этом, но не смеет ей помочь... Кьеу бежит из дворца и укрывается в храме у монахини Жиак Зюйен. Однако «богомолка» Бак Ба лживыми посулами выманивает Кьеу из храма, и та в конце концов снова попадает в зеленый терем. Там в нее влюбляется отважный бунтарь Ты Хай. Собрав сильное войско и добившись богатства и славы, Ты Хай возвращается за Кьеу. Он велит схватить и покарать ее обидчиков. Император посылает наместника Хо Тон Хиена с войском — усмирить Ты Хая. Наместник предлагает Ты Хаю сдаться, суля ему высокие посты при дворе. Ты Хай гордо отказывается, однако, поддавшись на уговоры Кьеу все же принимает наконец почетные условия капитуляции. Но наместник обманывает его. Ты Хай попадает в ловушку и погибает. Его войско разгромлено. Тот празднует свою бесславную победу. Он заставляет Кьеу прислуживать воинам и играть на лютне. На другой день наместник отдает Кьеу как свою добычу одному из старшин. Не вынеся позора, Кьеу бросается в реку. Но ее спасает монахиня Жиак Зюйен и дает ей приют в храме.

Далее следует рассказ о Ким Чонге и той далекой поре, когда он расстался с любимой.

Вот, из отлучки вернувшись, Ким Чонг
бросился в сад Зимородков бегом.
Видит: все изменилось, все — словно в мире другом.
Буйные травы кустятся кругом,
больше никто не глядит из окна,
И кое-где обвалилась, ливнем размыта, стена...
Тень человека и та не видна,
еле заметны тропинки в саду.
Лишь зацветающий персик, так же как в прошлом году,
Светится весь у зари на виду.
Ласточки носятся прямо в дому,
Странной судьбой погруженном в холод, молчанье и тьму...
Страшно Ким Чонгу. Попался ему
туфли замшелый, затоптанный след.
Что это — вестник утраты или неведомых бед?
Но появился какой-то сосед,
и от него лишь Ким Чонг разузнал,
Что неповинный хозяин жертвой чиновников стал...
Он бы в ту пору и вовсе пропал,
если бы старшая дочь не спасла.
Кьеу, прелестная Кьеу, тело свое продала!
Скрыла ее непроглядная мгла,
доля ее никому не видна.
Вся же семья остальная полностью разорена.
Ван и Вьонг с утра дотемна,
волею непостижимых судеб,
Перебиваются тяжко. Рок — беспощадно свиреп!
Ким пошатнулся, от слез он ослеп,
выспросил: где же ютится семья?
Долго искал и добрался он наконец до жилья...
Бедствуют там дорогие друзья,—
видно, ушли на работы вдвоем.
Сломанные камышины чуть закрывают проем,
Весь покосился глиняный дом!
Крохотный дворик, заросший травой,
Свалена старая рухлядь — и ни души в нем живой.
Путник с поникшей стоит головой:
Все это явь, хоть глазам ты не верь!..

Ким Чонг, выполняя волю своей любимой, женится на ее сестре Ван, а затем долгие годы посвящает розыскам Кьеу. Наконец наступил час их встречи.

Шелковый полог опущен в ночи,
персик щек разрумянила кровь...
Кьеу и Ким повстречались. Это встречается вновь
С давней любовью былая любовь.
Кьеу шепнула: «Горю, как в огне!»
Только не должен, любимый, ты прикасаться ко мне.
Знаю, ты предан Кьеу вполне,
только ведь я не могу никуда
Спрятаться от бесчестья, спрятаться от стыда.
Ведь о былом не забыть никогда!
Мерзость прилипла к лицу моему,—
Как же теперь от позора освободиться ему?
Как человеку, хоть одному,
ставши твоею,— в глаза посмотрю?
Как я приду к тебе с лаской, пусть я от страсти горю?
Стоит ли, милый, глядеть на зарю,
если окутана дымом она?
Пьют ли прокисшие вина, муть подымая со дна?
Разве увядшая роза нужна
чистому сердцу и верной любви?
Свежей розой любуясь, ты беспечально живи!
Нежную Ван ты женою зови,
а про меня позабудь... Позабудь!
Стану стыдом я терзаться, да и тебе как-нибудь
Может прокрасться сомнение в грудь,
можешь ко мне вражду ощутить.
Разве теперь мы сумеем страстно друг друга любить?
Разве о будущем можно забыть?
Выполнить надо свой долг перед ним.
Давние воспоминанья мы навсегда сохраним,
Мною ты будешь вовеки любим...
Нет, не затаптывай в землю меня,
Вянущий цвет мой лаская, счастье свое хороня!
Много в сестре молодого огня...»
Молвил Ким Чонг: «Наша клятва жива.
Рыба с водой неразлучна, с розовой почвой — трава.
Тут бесполезны пустые слова,—
сердце решает, родная моя!
В долгой разлуке тоскуя, жгучую муку тая,
Исколесил я чужие края
в думах о доле жестокой твоей.
Капелька страсти осталась,— смело доверимся ей!
Что нам до прошлого, что до людей!
На три рожденья и смерти с тобой

Связаны мы обоюдной, нерасторжимой судьбой.
Мы неподвластны невзгоде любой!
Вешняя ива еще молода.
Ты словно зеркало это — так же чиста и горда,
Пыли нет на тебе и следа;
В поисках радости, скрывшейся с глаз,
Верности я не утратил, клятва тверда, как алмаз.
Выше ценю тебя в тысячи раз.
Радость, как солнце, выходит из тьмы,
Словно весна наступает после суровой зимы.
Общего ложа не требуем мы.
Словно гроза, миновала беда,
Цитра и гусли связали наши сердца навсегда.
Нет! Не уйду от тебя никуда!»
Глянув на небо, что блещет вдали,
Кьеу в слезах поклонилась низко, до самой земли.
Молвила: «Да! Уберечь мы смогли
близость высокую родственных душ
Лишь потому, что прекрасен ты — добродетельный муж!
Если я снова воскресну к тому ж,
если увядший бутон расцветет,—
Может, счастье взаправду нас, повстречавшихся, ждет.
Речь твоя прямо от сердца идет...
Если друг друга мы поняли так,
Значит, станет духовным нерасторжимый наш брак.
Солнце восходит, кончается мрак!..
Честью и радостью жизни моей
Этой нынешней ночи, лучшей из тысяч ночей,
Я благодарна — как ливню ручей!
Да не кончаются добрые дни!..»
Свечи затеплив, друг дружку за руки взяли они.
Звездные затрепетали огни,
вспыхнуло чистое чувство в крови,
Радость в рубиновых чашах пела величье любви.

ЯПОНИЯ

Вступительная статья
В. Сановича

ОЧЕРК ЯПОНСКОЙ КЛАССИЧЕСКОЙ ЛИРИКИ

Последовательное непрерывное развитие изначальных основ — важнейшая черта японской поэзии. Прославленные своей лаконичностью лирические пятистишия (танка) и трехстишия (хокку) — лишь заоблачные листья и ветки тысячелетнего дерева, корни которого в очень древней земле. Море отделяло японские острова от континента, но оно и соединяло их с остальным миром. В течение сотен лет с начала нашей эры Япония была открытой страной. Волны миграций накатывались на нее, оставляя вечные, подчас незримые, складки на плотном песке среди морских трав, скал, искривленных ветром сосен...

С начала VI века Япония все теснее соприкасается с континентальной культурой. На острова попадают все новые переселенцы из Кореи и Китая. В страну приходит буддизм, одна из трех мировых религий, идеи китайской государственности, иероглифическая письменность, книги. В середине VII века здесь образуется сословная монархия с государственной собственностью на землю, надельной системой землепользования, прокладываются дороги с подставами, вводится территориальное деление.

Конец VII — начало VIII века — время подведения первых итогов; молодое японское государство стремится осмыслить то новое, что входило в жизнь страны. Осмыслить — означало и утвердить исконные основы, свое самостояние перед лицом мощной континентальной культуры. Способ был подсказан ею же. Слово, запись. Создаются первые книги Японии: исторические хроники, географические описания, изборник стихов. В «Записях деяний древности» («Кодзики», 712 г.) в стройном порядке повествуется об истории страны, утверждается божественное происхождение права государей Ямато (тогдашнее название страны) на власть. В «Описаниях земель» («Фудоки», VIII в.) подробно рассказывается о природе, обычаях жителей разных областей страны. В этих книгах записано множество местных ми-

фов, сказаний, древних эпических и лирических песен. Первые японские книги писались по-китайски. Однако имена богов, легендарных воителей, царей, географические названия и песни, чтобы воспроизвести их в их подлинном звучании, были переданы фонетически, иероглифами независимо от их смысла или же — иероглифами, которые следовало читать как целое слово. Среди моря тысячелетних китайских письмен лежали живые острова японской речи.

Древняя поэзия вырастала из повседневной жизни, празднеств, битв, похоронного обряда насельников страны Тучных колосьев: охотников, рыболовов, земледельцев. Все пространство их жизни было обожествлено. Богами были сами горы, дороги в горах, деревья, злаки, реки, озера. (Лишь впоследствии духовная сущность феноменов природы как бы отделилась от них, принимая то страшные, то прекрасные зооморфные и антропоморфные образы.)

«Слово» и «деянье» по-японски обозначались одним и тем же словом («кото»). Мир, согласно японскому мифу, был создан по слову богов. Время в японской поэзии отсчитывается с разделения неба и земли. Первой страной земли стала Япония, и управляли ею потомки богини Солнца Аматэрасу — «Сияющей в Небесах», и других небесных и земных богов. Основа верований древних японцев — культ предков и сил природы, центральный миф — солнечный. Главным в их жизни были земледелие, выращиванье риса. Рождение песни тесно связано с земледельческим обрядом, различными календарными празднествами, брачными играми. Мощная жизнерадостность, благоговейное отношение к природе — подательнице урожая, плодов земли и моря — наполняли японскую песню. Ритм и мелодия словно диктовали смысл, ибо смысл был задан темой обряда, ходом годовых времен.

Эти свойства народного мелоса унаследовала первая антология японской поэзии «Манъёсю» — «Собрание мириад листьев». (Японцы издавна отождествляли слово с листьями растений.) В «Записях деяний древности», целью которых было выстраивание исторической истины, народные песни вложены в уста божественных предков. Рассказ об их деяниях — универсальный язык описания прошлого, и их песни — тоже ипостась истины («макото»). Миростроительный, мистериальный отсвет лежит и на поэзии «Манъёсю». Этим и объясняется первозданная мощь, еще живущая в ее песнях, разнообразие тематики, напряженность чувства.

«Манъёсю» — наиболее яркое воплощение культуры эпохи Нара. Так называлось это время в истории Японии — по имени ее первой постоянной столицы. Она была построена по китайскому плану, по образцу китайской столицы Чанъани, с помощью китайских мастеров, но и архитектура, и композиция города отличались своими, японскими чертами — свободой и непринужденностью расположения жилых и храмовых ансамблей.

Создавалось «Манъёсю, видимо, на протяжение нескольких десятилетий VIII века. Точное время ее завершения неизвестно. Рукописи в средние века жили особой жизнью. Их могли изменять, вносить в них добавления... Неиз-

вестно и имя ее составителя, хотя наиболее часто называют имя замечательного поэта Отомо Якамоти (718—783). Во всяком случае, для литераторов конца IX — начала X века изборник — как вполне определенная, помеченная временем целостность — несомненно существовал.

В «Манъёсю» двадцать книг-свитков. Одни составлены по хронологическому принципу (видимо, согласно указу государя); они сродни хронике, только здесь каждое событие отмечено песней. В других — песни разных земель страны; здесь название местности — словно зачин песни, а то и тема ее. Третьи — содержат песни четырех времен года. Некоторые свитки содержат фрагменты из недошедших до нас собраний стихов знаменитых поэтов. В «Манъёсю» в сложном единстве сосуществуют более четырехсот лет развития поэзии; по мнению ученых, большей частью здесь представлены песни V—VIII веков. Хотя многое связывает ее с глубокой древностью, антология принадлежит, повторим, литературе средневековой, любящей каталоги тем, жанров, поэтических форм. Уже устанавливается канон. Составители выделили три вида песен: разные песни, песни любви и плачи. Указаны основные поэтические формы в зависимости от количества стихов: нагаута («длинная песня») с неопределенным количеством пяти- и семисложных стихов, сэдока (песни гребцов) — шестистишия, построенные по схеме 5.7.7.5.7.7. И, наконец, танка («короткая песня») — пятистишия, где чередуются стихи в 5.7.5.7.7 слогов (в «Манъёсю» этот заданный на века размер еще не всегда строго выдерживается, но ведь записанные песни вначале пелись, мелодия могла укорачивать и удлинять стих). Танка — очень древняя поэтическая форма. Пять стихов — быть может, в них древняя магия нечета, возможности которого угаданы чутьем народного гения (наблюдение В. Марковой).

Танка даны в антологии как отдельные стихотворения или как каэси-ута — как своего рода «посылка», эмоциональный эпилог длинной песни. Длинная песня может быть лирической, может быть сюжетной балладой. Но даже и баллады тяготеют к развернутому описанию чувств героев, их поступки — скорее лирические жесты. Перед нами — изборник лирики, и это определило все последующее развитие японской классической поэзии.

Антология — собрание песен всей тогдашней Японии. Мы не всегда можем провести строгую стилистическую грань между фольклорной и литературной поэзией. Сам факт включения в антологию народных песен наряду с бесспорными произведениями индивидуального творчества подсказывает, что авторство понималось в те времена иначе, чем теперь. Существовал мощный стиль эпохи со множеством переходов и оттенков.

Наиболее древними в антологии считаются песни любви. Они возникли во время земледельческих праздников и связанных с ними народных игрищ. Они пелись полухориями (мужчин и женщин); иногда происходила своего рода перекличка песнями, связанными с обрядами сватовства и свадьбы. Даже в патриархальные времена в Японии оставались в силе некоторые обычаи матриархата (вспомним, что главным божеством страны была солнечная дева). К таким пережиткам относился брак «цумадои», когда муж и жена жили

отдельно и муж навещал жену в доме ее родителей. Во время некоторых празднеств, согласно древнему обычаю, брачные союзы считались недействительными. Песни на эти темы придают японской любовной поэзии особый характер. Долгие времена женщина была так же свободна в изъявлении чувств, как и мужчина.

У японской песни обостренный слух и зоркий взгляд. Поэт слышит шорох платья жены, которую нужно покинуть, уходя в дальний путь, видит, как меж крыльев гусей, летящих под облаками, скользнул на землю белый иней. Песня любит точный жест: прижатый к глазам рукав любимой в минуту расставания, она просит густые рощи хаги склониться до земли, «чтобы во всех концах земли звучали оленя крики, что зовет жену».

Для нее характерно напряженное чувство, требующее немедленного разрешения. Доброта, любовь ко всему живому, к родной природе, мощная ясность — вот лик народной поэзии. Она еще не знает трагических коллизий. В плачах по умершим — скорее глубокая печаль разлуки, чем неисходная скорбь.

Весь земной мир, ход разнообразного труда, ритуал, запреты, заклинания становятся материалом поэзии.

Сравнения, метафоры бесконечны; в «Манъёсю» (а она огромна, в ней 4496 песен) длинные ряды тем: «поют о небе», «поют о горах», о росе, о травах, о птицах, о колодце; «сравнивают с деревом», с богами, с кораблем... Так складывался тот мощный стиль эпохи, о котором уже говорилось,— им и обусловлено появление поэтической индивидуальности.

Народный поэт привязан к своему селению, к родным местам, он стремится вернуться к ним, как бы далеко он не был — даже ценою смерти, как рыбак Ура́сима в знаменитой балладе. Нужно, чтобы творец песни отделился хоть немного от родной почвы, увидел страну, как некогда боги-созидатели сверху и вдаль, как сумел это сделать первый великий поэт Японии Какиномо́то Хитомаро́ (вторая половина VII — начало VIII в.).

Хитомаро, несомненно, унаследовал неведомые нам традиции племенного певца. Он мастер торжественных стихотворений, прославляющих красоту природы, окружающей дворец государя. Его плачи — чудо композиции; сравнения, метафоры, постоянные эпитеты всегда уместны, естественны. Он плоть от плоти нарождающегося государства. Ему доступны и величественная красота, даже грандиозность эпического поэта; вместе с тем он изображает движения сердца, тонко чувствуя возможности танка.

Биография Хитомаро почти неизвестна. Но его индивидуальность пронизывает всю его поэзию. Его горести, отзвуки служебной неудачи, любовь к жене, раздумья о жизни запечатлены в стихах ясными, сильными красками.

Во многом иным был его младший современник Яма́бэ Акахито, проникновенный поэт родной природы. Его знаменитые танки уже предвосхищают иную поэтику, поэтику классической танка IX—X веков.

Органический ход национальной поэзии утверждался плодотворнейшим влиянием китайской поэзии[1], философии, учившей высокой нравственности истинного мужа; буддийской проповедью о непрочности всего земного, утончавшей благородное чувство печали Ото́мо Та́бито (665—731) и Яманоэ О́кура (659—733). Поэзия Окура удивительно конкретна, биографична. Судьба его, вельможи, удаленного из столицы, складывалась нелегко. Его поддерживала дружба Отомо Табито, любовь к детям. Окура — великий гуманист, в его стихах звучат страдания простых людей. Нагаута Ямоноэ Окура почти лишены условных черт традиционного поэтического стиля.

Естественность и простота Отомо Табито сродни народной лирике, полны конкретного чувства, рожденного обстоятельствами его жизни опального сановника.

Окура, Табито и окружавшие их поэты были связаны со столицей, но подолгу жили в далеких углах страны. Они были послами культуры, первыми интеллигентами средневековой Японии.

Род Отомо, к которому принадлежал Табито, дал немало одаренных поэтов. Наиболее выдающимся из них был Отомо Якамо́ти (718—783). В «Манъёсю» очень много его стихов: от порывистой юношеской лирики до грустных раздумий зрелого мужа.

Любовная лирика Якамоти полна непосредственности, но это и произведения тончайшего мастера. Танка Якамоти богаты ритмическими переходами, полнозвучной эвфонией. Мы видим, как растет, утончается его чувство к невесте, а потом к жене: от нетерпеливой страсти к ровной любви. Мягкая улыбка освещает его дружеские послания. Он ревнитель родовой чести, своего чистого имени. Идеал его поэзии — масурао, отважный благородный муж. Последние четыре книги «Манъёсю» — лирический дневник Якамоти. Он уже осознал себя национальным поэтом, собирал народные песни, выбирал лучшие. Он словно бы предчувствовал свою роль завершителя целой поэтической эпохи. Его песня о падающем снеге в день Нового года завершает изборник. Ему было тогда сорок два года. Он прожил после этого еще двадцать четыре года, но, по-видимому, более поздние стихи его до нас не дошли.

Наступала новая эпоха. В конце VIII века столицей Японии стал Хэйан (ныне Киото). В литературе около сотни лет владычествовала поэзия на китайском языке. Однако влияние «Манъёсю» не умирало. Создатели этой антологии четко противопоставляли национальную поэзию китайской. Хранителем ее духа стала танка.

Танка — открытая форма. Заложенные в ней возможности мгновенного отклика подчас делали ее в записи непонятной без пояснений. В «Манъёсю»

[1] Тема «луны», например, в японской поэзии возникла под влиянием китайской и стала, преображенная танкой, одной из основных в классической лирике.

много таких пояснений о том, когда и почему сложена песня; нередко они превращались в целый рассказ. Так появились ута-моногатари — лирические повести (или рассказы о возникновении стихотворения).

В конце IX века была создана знаменитая повесть «Исэ моногатари» — волшебный мост из эпохи Якамоти в эпоху Хэйан. Ее герой бежит от несчастной любви из столицы в восточные земли. Пройдет немного времени, и отъезд из столицы даже в ближнее селение станет для придворного тягостным путешествием. Блистательный хэйанский двор — средоточие культуры, источник милостей, единственная возможность жить полною жизнью. Даже вдали от Хэйана знатный хэйанец оставался человеком столицы. Культурный кодекс эпохи заложен в «Исэ моногатари». Ее лирический герой, возможно, сам автор — Аривара Нарихира, поэт, прославленный на века красотой и изумительным талантом. Многие его стихи — еще в русле «Манъёсю», но есть в книге несколько стихотворений, заворожнвших японскую поэзию. Считается, что главная черта «Исэ моногатари» — изящная, очень эстетизированная эротика, но герой книги не совершает ни одного дурного поступка с точки зрения современной ему морали. Этика масурао становится этикой отоко — благородного придворного. Реальный Аривара Нарихира испытал немало ударов судьбы, он видел, как рушится благополучие близких ему людей, как неумолимые законы дворцовой камарильи отнимают у него возлюбленную...

Если танка в «Манъёсю» словно бы равны сами себе, то стихи Нарихира отмечены вопросительной интонацией, сомнением, беспокойством, его ощущение красоты пронизано смутной тревогой — черты новой эпохи.

Современница Нарихира поэтесса Оно-но Комати не менее прославлена. Ее имя стало синонимом красоты. В ее стихах пронзительная печаль.

Поэты IX века подготовили новый расцвет японской поэзии, воплощением которого стала антология «Кокинсю» (905). Она была создана по указу государя Комитетом поэтов, во главе которого стоял поэт и ученый Ки-но Цура́юки, одна из крупнейших фигур в истории японской культуры.

«Кокинсю» («Кокин вакасю») — «Изборник старых и новых песен Ямато» — состоит, как и «Манъёсю», из двадцати свитков. Его предваряет слово Цураюки о смысле японской поэзии, ее истории, о значении «Кокинсю»: «Песни Ямато! Вы вырастаете из одного семени — сердца и разрастаетесь в мириады лепестков речи — в мириады слов. Люди, что живут в этом мире, опутаны густой зарослью мирских дел; и все, что лежит у них на сердце,— все это высказывают они в связи с тем, что они слышат и что они видят. И вот когда слышится голос соловья, поющего среди цветов свои песни, когда слышится голос лягушки, живущей в воде, кажется: что ж из всего живого, из всего живущего не поет своей собственной песни?.. Без всяких усилий движет она небом и землею; пленяет даже богов и демонов, незримых нашему глазу; утончает союз мужчин и женщин; смягчает сердце суровых воинов... Такова песня» (перевод А. Глускиной). Цураюки рассказывает о поэтах «Манъёсю», точно характеризует поэтов плеяды Нарихира и Комати. Песня должна быть

не только выражением истинного чувства, для ее создания следует постичь самую сокровенную суть песни, внутренний облик и сердце всего сущего, овладеть стилем. Тогда только откликом на песню будет «аварэ». Речь тут идет не о мастерстве в обычном смысле слова, а о том, что определяет все развитие последующей поэзии,— о естественности мастерства, живой уместности, единственности высказывания. Изначальное значение «аварэ» — «вздох». Вздох восхищения, радости; затем вздох при внезапно открывшейся красоте. Красоте, которая мимолетна, как недолгий расцвет вишневых деревьев, как краткая жизнь росинки, недолгий багрец осенних кленов... Это вздох с оттенком печали, невысказанной грусти. В стихах должен быть только намек, предполагающий ответное чувство. «Аварэ», «моно-но аварэ» (сокровенная прелесть видимого и слышимого мира») — ведущий принцип японского искусства X—XI веков. Правда, во вступлении Цураюки к «Кокинсю» речь идет об истине («макото»), но это уже истина сердца, воплощенный в слове вздох из глубины сердца, то есть «аварэ».

Произошло сознательное самоограничение поэзии: и в темах, и в формах (только танка; нагаута и сэдока — считанное количество, как дань памяти «Манъёсю»). Разительно сузился мир природы в «Кокинсю». Исчезли сотни и сотни растений, названий мест, явлений природы. Сезонные слова «Манъёсю»: весенняя дымка, горы, соловей, цветы татибана, сливы, снег, иней, роса — стали языком поэзии, настолько углубилось их значение, столько прихотливых оттенков чувств вкладывалось в них.

Первые шесть свитков «Кокинсю» посвящены временам года. Весне и осени — по два свитка, как переходным временам. Каждый свиток — словно музыкальная сюита со своей прихотливо развивающейся темой.

«Кокинсю» многозначительно открывается стихотворением Аривара-но Мотоката: «На исходе года // Весна настала внезапно. // И не знаю ныне, // Сказать ли о годе: прошлый, // Сказать ли о годе: этот?» Зыбкость, двойственность чувства в ясной форме раздумья. Чуть печальная улыбка столичного жителя. Это не земледелец, который радуется весне, началу сельских работ. Нет: что́-то случится? Сложное чувство в то же время раскрывает новую тайну, радость наслаждения этим преходящим миром... Куда делась энергичная пульсация синтаксиса «Манъёсю», диалоги внутри короткой песни, ясность определительной конструкции? Внешнее спокойствие, за которым тревога. Пять свитков «Кокинсю» посвящены песням любви. Приглушенная тонкость чувств на грани чистой куртуазности. Зато сколько оттенков, какая благородная сдержанность!

Поэзия «Кокинсю» — поэзия едва уловимых переходов, глубоко разработанных психологических нюансов.

Канон словно говорит: ты волен как угодно решать тему, но средств у тебя для этого немного. Ки-но Цураюки, Ми́бу-но Тадаминэ, Отико́ти-но Мицунэ́ — тончайшие мастера. Они виртуозно разрабатывали богатейшую японскую омонимику. Передавать ее в переводе очень трудно. Эвфония так совершенна, что стихи звучат, как музыка.

Танка была не только высоким искусством, она была частью быта. Японцы любили поэтические состязания — утаавасэ. Некоторые утаавасэ были выдающимися событиями в поэзии, стихи из них вошли в «Кокинсю». Но некоторые особенности танка, ставшей универсальным способом высказывания, любовным мадригалом, шуткой, просто запиской приводили к девальвации ее когда-то счастливо найденных приемов. Однако истинные поэты умели вдохнуть жизнь в привычные слова. Свойство пятистишия подобно магниту притягивать к себе рассказ и соединяться с ним оказало огромное влияние на становление японской повествовательной прозы. Большую роль в ее создании сыграли женщины. Лирический дневник Идзуми Сикибу (начало XI века) полон прекрасных стихов. Ее старший современник Сонэ Ёситада создал уникальное произведение — дневник из одних стихов: по танка на каждый день. У этих поэтов поэзия набирает новую высоту. Страстная любовная поэзия Идзуми Сикибу заставляет вспомнить «Манъёсю»: «Я легла, позабыв, // Что спутаны пряди // Черных моих волос. // О, любимый! Он прежде // Их безмолвно расправил».

В конце XI — начале XII века сословную монархию Хэйана начинают сотрясать бурные события. К власти приходит воинский род Тайра. Гибнет столичная культура. Усиливаются буддийские настроения печали, она обретает трагический оттенок. Идеальный пейзаж стихов «Кокинсю» становится конкретнее. Он не обязательно печален, ибо в нем, одухотворенном классической поэзией времен Цураюки и Тадаминэ — одно прибежище от смуты внешнего мира. Минамото Цунэнобу пишет: «Минул расцвет // Вишен старинной столицы... // Но вешние облака — // В них навеки запечатлен // Облик цветов!»

В Японии рождается великий поэт порубежной эпохи. Его зовут Сато Норикиё (1118—1190 гг.). Но известен он под монашеским именем Сайгё — Идущий к Западу. На Западе, согласно буддийской мифологии, находилась Дзёдо — Чистая Земля, буддийский рай. Военный дворянин родом, человек хэйанской культуры, в 1140 году совсем молодым человеком он оставляет службу при императорском дворе, покидает семью и постригается в монахи.

В монахи тогда постригались многие и продолжали участвовать в политической жизни страны, в междоусобицах. Уходили от мира в поисках покоя. Сайгё искал подлинной независимости духа. Он скитался по дорогам, как китайские даосы, как великий поэт Ду Фу. Он обошел многие отдаленные земли, жил в разных монастырях и скончался во время одного из скитаний так, как хотел: «О, пусть я умру // Под сенью вишневых цветов! // Покину наш мир // Весенней порой «кисара́ги» // При свете полной луны». (В пятнадцатый день второй луны («кисараги») умер Будда Гаутама...) 1140 год — знаменателен в истории японской поэзии. Родился новый тип поэта — скитальца. Стихи молодого Сайгё отмечены свежестью, острым чувством прелести мира. Его песни любви — страстные признания, взволнованные монологи. Стихи зрелого Сайгё печальны. Лунный свет заполняет их. Устав от горестных размышлений, он жадно вглядывается в обыденное, прозревая в нем

самоценную красоту: «Путник еле бредет // Сквозь заросли... Там густеют // Травы летних полей! // Стебли ему на затылок // Сбили плетеную шляпу». Он все приемлет в этом мире: «У самой дороги // Чистый бежит ручей // Тенистая ива. // Я думал: всего на миг, // И вот — стою долго-долго...» Никто до Сайгё так не изображал чувство полной растворенности в потоке бытия. Это не природы праздный соглядатай, это человек, несущий в сердце глубокую скорбь, и оттого радующийся всему живому. Поэзия Сайгё необыкновенно отзывчива. Редчайший случай для той эпохи: он пишет стихи, где по-своему резко и определенно осуждает убийства на войне. Думается, это были стихи не буддийского монаха, но поэта, выражающего народное неприятие кровавых междоусобиц той поры. Стихи Сайгё удивительны просты. Но это сложная простота. Он унаследовал все богатство предшествующей поэзии, но он никому не подражал. Многие его танка — настоящее чудо эвфонии. Японская классическая поэзия, в отличие от народной песни, не знала рифмы, но некоторые его стихи насквозь прошиты струнами звуковых повторов.

В общении с Сайгё его друг поэт Фудзивара Тосинари создавал свое учение о «югэн» в поэзии. Югэн — темная, таинственная красота. Считается, что очень точным выражением югэн была танка самого Тосинари: «В сумраке вечера // Осенний вихрь над полями // Пронзает душу... // Перепелиная жалоба! // Селенье Глубокие Травы». Весь пейзаж стихотворения настраивает на ощущение пугающей и безысходной таинственности бытия. Но у югэн много оттенков. Итогом восприятия югэн должно быть высшее, гармоническое равновесие с миром.

Стихи пленительной и трогательной Сикиси-найсинно, сына Тосинари — Фудзивара Садаиэ,— вместе со стихами Сайгё — вершина классической танка. Все эти поэты очень разные, но их отличает стремление к осязаемости образов, глубина подтекста. Фудзивара Садаиэ был великим филологом, замечательным теоретиком поэзии. Его знаменитое высказывание: «Слова должны быть старые, а сердце пусть будет новым»,— дает многое для понимания поэзии той эпохи. Стихи Садаиэ отмечены изысканной красотой: «Как я когда-то ласкал // Черные волосы любимой! // Каждую, каждую прядь // На одиноком ложе моей // В памяти перебираю». Стихотворение построено так, что мотив памяти делает его бесконечным.

Садаиэ — главный составитель последней великой антологии танка «Синкокинсю» («Новой Кокинсю»). Многие стихи ее построены на принципе «хонкадори»: в стихотворении цитируется строка из стихотворения другого поэта, современника или предшественника. У японской поэзии — огромная память, ощущение своей непрерывности. Цитируя строку, поэт словно бы подключался к сердечным токам собрата.

В конце XII века в Японии утвердилась власть военного сословия. Столицей страны стал город Камакура.

Наиболее крупным поэтом этой эпохи стал Минамото Санэтомо, сын сёгуна Ёритомо, первого военного правителя страны. Он и сам стал двенадца-

ти лет сёгуном и был убит двадцати семи лет отроду в 1219 году; Санэтомо ученик Садаиэ, испытал его влияние, но в то же время он увлекся поэзией «Манъёсю», рукопись которой подарил ему Садаиэ. Его стихотворение «Мрак» — квинтэссенция стиля древней поэзии, но по настроению она современна поэту. «В глубокой тьме, // Черной, как ягоды тута, // Скрыты грядой // Восьмиярусных облаков, // Кричат перелетные гуси». В поэзии Санэтомо противоречивый мир говорил голосом скорби и сострадания. Краски Санэтомо мощны, неспокойны, на них отсвет пламени буддийского ада.

Во многих танка поздней классической эпохи устойчивая цезура резко делила стихотворение на два полустишия: в три и два стиха. С течением времени развился обычай складывать стихотворение вдвоем. Затем к этим двустишиям и трехстишиям стали присоединять все новые. Так родилась рэнга. Классическая рэнга — словно совместное выяснение истины. Ее прелесть — в неожиданном сцеплении поэтических ходов, в двуплановости каждой строфы. Каждая таит в себе возможности переосмысления, повторяясь в двух разных танка.

В XV веке — японская поэзия достигает новых вершин в драмах для театра Но. Быть может, синтез эстетики «Синкокинсю» и мощного стиля «Манъёсю», характерный для стихов Минамото Санэтомо, чем-то сродни драмам Но [1].

В XVI веке рэнга стала «шутейной», подчас пародийной. Шутейную рэнга (хайкай-рэнга) полюбили в кругах третьего сословия. В поэзию врывалась новая действительность, язык улицы, обыденные темы. Смех, шутка, пародия разрушали старую поэтику. Вот стихотворение Ямадзаки Сокан (1465—1553). «Если б ручку приделать // К этой полной луне, // Славный вышел бы веер!» (перевод Веры Марковой). Начальная строфа рэнги — первое трехстишие — хокку зажило самостоятельной жизнью. Хокку было поначалу низким жанром. «Поэзия жанра хайкай... на первых порах еще оставалась на невысоком уровне,— пишет Маркова,— ценилось, «что почудней». Зато в нее вошли приметы простого быта, городского и даже сельского. Сиюминутный экспромт-шутка сохранял непосредственность и свежесть, пока не растворялся в подражаниях и вариациях. Лирический герой стихов жанра хайкай — горожанин, балагур и остряк».

В XVII веке после опустошительных феодальных междоусобиц наступил мир. Сёгун Токугава Иэясу объединил страну. Начали процветать торговля, ремесленные цехи. Города Осака, Киото, Эдо (Токио) живут бурною жизнью. Торговец, богатый ремесленник — был официально бесправен перед самураем, но фактически власть денег была очень сильна. Третье сословие жаждало развлечений, оно хотело своего искусства. И искусство достигает в это время большого подъема. Развивается гравюра «укиёэ», возникают театр марионеток «дзёрури» и театр Кабуки. Горожане зачитываются «повестями о бренном мире» знаменитого Ихара Сайкаку (1642—1693).

---

[1] См. японский раздел тома «Классическая драма Востока».

Постепенно хокку, научившись веселой легкости, обогатившись новыми темами, становится все серьезней. Высоким искусством хокку стало в творчестве Камидзима Оницура и Мацуо Басё. В творчестве Басё японская поэзия впервые после «Манъёсю» сделалась поэзией всей страны.

Басё (1644—1694) родился в семье небогатого самурая в призамковом городе Уэно в провинции Ига. Еще юношей он усердно изучал китайскую и отечественную литературу. Он много учился всю жизнь, знал философию и медицину. В 1672 году Басё стал бродячим монахом. «Такое монашество,— пишет Маркова,— зачастую показное, служило вольной грамотой, освобождая от феодальных повинностей». Он увлекся поэзией, не слишком глубокой, Данрин — модной в то время школы. Изучение великой китайской поэзии VIII—XII веков приводит его к мысли о высоком назначении поэта. Он упорно ищет свой стиль. Этот поиск можно понимать и буквально. Старая дорожная шляпа, стоптанные сандалии — темы его стихов, сложенных в долгих скитаниях по дорогам и тропам Японии. Путевые дневники Басё — дневники сердца. Он проходит по местам, прославленным классической поэзией танка, но это не прогулки эстета, ибо он ищет там то же, что искали они: красоту истины, истинную красоту, но с «новым сердцем» (вспомните высказывание Садаиэ); обыденное и высокое, простое и изысканное — для него нераздельны — «фуга-но макото» (наиболее полное воплощение «макото» в японской поэзии).

Стиль, созданный Басё,— это соединение лучших достижений «шутейной» и серьезной хокку, он многое черпал из классических танка. Поэт-скиталец Сайгё был для него учителем в поэзии и жизни. Мудрость Конфуция, высокая человечность Ду Фу, парадоксальная мысль Чжуанцзы находили отклик в его стихах. Достоинство поэта, всеотзывчивость свободного духа — в его знаменитом высказывании: «Учись у сосны быть сосной». В основе поэтики Басё лежит принцип «саби», что примерно означает «печаль одиночества»; перевести это слово коротко на другой язык трудно. Басё был дзэн-буддистом. Учение «дзэн» оказало очень большое влияние на японское искусство того времени. Согласно этому учению, истина может быть постигнута в результате некоего толчка извне, когда вдруг мир видится во всей его обнаженности, и какая-нибудь отдельная деталь этого мира косвенно, «метафорически» рождает момент постижения. Японская классическая поэзия в ее постоянном стремлении освободиться от всего лишнего, от прямого описания, с ее эстетикой намека,— была готова к такому восприятию мира. Поэт в гуще жизни, но он одинок — это чувство «саби».

Стиль «сёфу», в основе которого лежал принцип саби, создал поэтическую школу, в которой родились замечательные поэты Кикаку, Рансэцу и другие. Но сам Басё шел все дальше. Он провозглашает принцип «каруми» — легкость. Легкость была обманчива. Она оборачивалась высокой простотой. В стихах нового стиля — юмор, доброта, мудрость. Поэзия создается из простых вещей и вмещает в себе целый человеческий мир. Приводить примеры

здесь, наверно, излишне. Цитировать стихи Басё можно бесконечно. Да они и сделались уже частью нашей поэзии в переводах Веры Марковой.

Новой высоты поэзия хокку достигает в творчестве Ёса Бусона (1716—1783). Быть может, лучше понять его творчество поможет взгляд на эпоху, в которую он жил, хотя внимательный читатель уже заметил, что события внешнего мира отражаются в японской лирике, как правило, опосредованно, косвенно.

Токугавские правители, провозгласив официальной государственной доктриной неоконфуцианство, приспособили его для своих целей. Страна была опутана сетью жестких установлений, безусловное повиновение властям стало основой ее жизни. Социальные контрасты в это время разительны... Дух золота, торгашества фантастическим образом искажает мир... Вспыхивают восстания крестьян и городской бедноты... Бусон явно не принимал этого времени. Отсюда его поиск чистой красоты, подчас ослепительно яркой. Бусон был замечательным художником. Он и прославился вначале как художник. Как поэт он во многом тяготел к китайской классической лирике. Он любит ясную линию, четкое сопоставление контрастных мазков кисти. Поэт, во многом противоположный Басё, он всю жизнь благоговел перед ним.

Оппозицией режиму было и творчество мастеров танка XVIII века. Они обратились к истокам песни — времен «Кодзики» и «Манъёсю». Они заново прочли эти памятники, создали замечательные труды по филологии. Исследование и комментарий «Манъёсю», выполненные Камо Мабути, не потеряли своего значения по сию пору. Своеобразное возрождение классической танка в творчестве Рёкана, Татибана Акэми, Таясу Мунэтакэ — живое явление своего времени... Влияние поэзии хокку на них несомненно.

Стихи Кобаяси Исса (1763—1827), последнего великого поэта средневековой Японии, возвращают высокое, изумительное искусство поэзии тем, кто ее когда-то создал,— крестьянам.

Япония стояла на пороге нового времени.

В. САНОВИЧ

ПЕСНИ ВОСТОЧНЫХ ПРОВИНЦИЙ

ИЗ ПЕСЕН ПРОВИНЦИИ МУСА́СИ

3375 Как в Мусаси-стороне
Из ущелья горного фазан
Улетает прочь —
Так и ты ушел, и с ночи той
Не встречаюсь больше я с тобой!

3376 Если любишь ты меня,
Помашу тебе я рукавом,
Но в стране Мусаси на лугах
Укэра́ от глаз скрывают цвет —
Так и ты скрывай свою любовь!

3379 О возлюбленном моем
Я не знаю, как сказать.
Ах, в стране Мусаси на лугах
Нежным цветом расцветает укэра.
Никогда не вянет тот цветок!

ИЗ ПЕСЕН ПРОВИНЦИИ СИНАНУ́

3400 Вот из здешних мест, из Синану́,
Из реки из Тикума́, взгляни,
Камешек простой,
Но ступишь ты ногой,
Для меня он станет яшмой дорогой!

РАЗНЫЕ ПЕСНИ ИЗ НЕИЗВЕСТНЫХ ВОСТОЧНЫХ ПРОВИНЦИЙ

3449 Ах, одежды белотканой рукава
В изголовье положу-ка я себе,
Вижу, едут из Кура́га рыбаки,
Возвращаются к себе домой,—
Не вставайте, волны, на пути!

3451 Как на поле здесь, в Санацура́,
У холма я сею нынче просо,
Вижу, лошадь милого пришла,—
Просо ест она... Ну что ж!
Все равно не буду ее гнать!

3459 Целый день толку я белый рис,
Грубы стали руки у меня,
Хорошо бы, если в эту ночь
Молодой хозяин мой пришел,
Тронул их и пожалел меня!

3460 Что за человек
Стучится в эту дверь
В час, когда послала мужа я
Первый рис нести богам, когда молюсь,—
Что за человек стучится в эту дверь?

3557 Ох, и причиняет боль
Мне жена чужая эти дни.
Как уплывшую ладью,
Позабыть ее я не могу,
И сильнее все о ней тоска!

3561 О, как жду тебя, любимый мой!
Жду, как ждут желанного дождя
В засуху, когда, вся в трещинах, земля
Сохнет вспаханной
Пред домом у ворот!

3562 Как жемчужная трава,
Что растет на диком берегу,
Клонится к земле,
Так, склонясь, наверно, спишь одна,
Не дождавшись друга своего...

ПЛАЧ

3577 Любимую свою подругу
Допытывал я, где она была?
И, словно листья ямасу́гэ,
Мы спали, отвернувшись друг от друга,
И как теперь раскаиваюсь я!

ИЗ ПЕСЕН ПОГРАНИЧНЫХ СТРАЖЕЙ

3389 Те ворота, где стоит жена,
У горы Цуку́ба
Скроют облака.
Но пока еще мне виден милый дом,
Буду я махать ей рукавом!..

3390 Где горы Цуку́ба виден пик,
Только ли орла там слышен крик?
Это плачу я!..
Так вечно мне рыдать,
Коли нам друг друга не видать!

ПЕСНИ-ПЕРЕКЛИЧКИ

‹Из сборника Какиномото Хитомаро›

3481 Постепенно
Платьев шум затих,
И, ни слова не сказав жене,
Я ушел, покинув милый дом,
И теперь страдаю без нее!

3569 Когда в стражи я из дома уходил,
Было рано, лишь забрезжила заря,
У ворот моя жена стояла,
Все не знала, как теперь ей быть,
Все боялась мои руки отпустить...

[ЗАПИСИ ПЕСЕН, СДЕЛАННЫЕ ВЕРБОВЩИКАМИ ПОГРАНИЧНЫХ СТРАЖЕЙ ДЛЯ ВОЕННОГО ВЕДОМСТВА]

<ПЕСНЯ МОНОНОБЭ ФУРУМАРО>

4327 Если б было время у меня,
Чтоб жену нарисовать свою
И с собою взять ее портрет,
Я, в далекий отправляясь путь,
Вспоминая, все смотрел бы на него...

<ПЕСНЯ МОНОНОБЭ МАСИМА>

4375 Когда увидел на дороге
Я сосны, что стояли в ряд,
Я вспомнил:
Так же в ряд стояли
Родные, провожавшие меня...

<ПЕСНЯ КИСОКИБЭ ИСОСИМА>

4385 На пути моем
Громко раздается шум волны,
Позади же — дети милые, жена...
Их оставил я в родном селе
И в дорогу дальнюю ушел...

<ПЕСНЯ ОТОМОБЭ МАЁСА>

4392 О, каких, скажите мне, богов
Неба и земли
Я должен здесь молить,
Чтоб с любимой матерью моей
Смог бы я поговорить опять!

ПЕСНИ ЗАПАДНЫХ ПРОВИНЦИЙ

<ПЕСНЯ ЮНОШИ>

2822 Прозрачная волна у белых берегов,
Раскинутых, как белоснежный шарф,
Порой бурлит, но к берегам не подойдет,
Так — ты ко мне.
И полон я тоски...

<ПЕСНЯ ДЕВУШКИ>

2823 О нет, наоборот:
Увы, не я, а ты,
Подобно той волне у белых берегов,
Раскинутых, как белоснежный шарф,—
Ты никогда не подойдешь ко мне...

<ПЕСНЯ ДЕВУШКИ>

2824 Когда бы знала, что любимый мой
Придет ко мне,
Везде в саду моем,
Покрытом только жалкою травой,
Рассыпала бы жемчуг дорогой!

<ПЕСНЯ ЮНОШИ>

2825 Зачем мне дом, где жемчуг дорогой
Рассыпан всюду,
Что мне жемчуга?
Пусть то лачуга, вся поросшая травой,
Лишь были б вместе мы, любимая моя!

1935 Подобно соловью, что раньше всех поет
В тени ветвей,
Когда придет весна,—
Ты раньше всех мне о любви сказал,
И лишь тебя отныне буду ждать!

2391 Вечернею порой лишь миг один,
Короткий, как жемчужин встречный звон,
Я видел здесь ее,—
И нынче утром вдруг
Мне показалось, будто я люблю...

2442 Пусть велика земля, но даже и она
Имеет свой предел,
Но в мире есть одно,
Чему конца не будет никогда,
И это бесконечное — любовь!

2475 Ах, на кровле дома моего
Зацвела «не забывай»-трава.
Все смотрю:
А где трава «забудь-любовь»?
Жаль, еще не выросла она...

2498 Пусть у бранного меча остры
Лезвия — и с этой стороны и с той,
Наступлю на них ногами я.
Коли я умру, пускай умру,
Если это нужно для тебя.

2688 С нетерпеньем друга ожидаю,
В дом одной мне нынче не войти,
Пусть роса давно уже покрыла
Белотканые
Льняные рукава...

2756 Ведь ты — лишь человек
С непрочною судьбою,
Как лунная трава цукигуса́.
О, что ты можешь знать, мне говоря:
«Мы после встретимся с тобою...»

2765 Чем так жить,
Тоскуя о тебе,
Лучше было бы мне просто умереть,
Оттого что думы, полные тревог,
Словно скошенные травы на полях...

2769 Милый мой,
Моя любовь к тебе,
Словно эта летняя трава,—
Сколько ты ни косишь и ни рвешь,
Вырастает снова на полях!

2801 Возле моря,
На скалистом берегу,
Утро каждое я вижу стаю птиц,
Утро каждое смотреть бы на тебя,
Но тебя не видно, милый мой...

2981 В священном храме,
Где вершат обряды,
Сверкает зеркало кристальной чистоты,—
Так в памяти моей сверкаешь ты,
И в каждом встречном я ищу тебя...

3044 Пока в саду своем ждала,
Что ты придешь ко мне, любимый,
На пряди черные
Распущенных волос
Упал холодный белый иней.

3872 У ворот моих
На деревьях вяза вызрели плоды...
Сотни птиц слетелись к дому моему,
Тысячи слетелись разных птиц,
А тебя, любимый, нет и нет...

Поют о цветах

1859 Вершины распростертых гор
Как будто белым полотном покрыты,
Иль, может быть,
Цветы расцветшей сливы
Их белизной заставили сверкать?

Поют об оленях

2142 Чтобы во всех концах земли звучали
Оленя крики,
Что зовет жену,
Склонитесь до земли,
Густые рощи хаги!

СЭДОКА

<Из сборника Какиномото Хитомаро>

1288 — В гавани для кораблей
Все верхушки камышей
Кто сегодня поломал?
— Чтоб смотреть, как милый мой
Машет, машет рукавом,
Камыши сломала я!

1290 Там, на дне, глубоко под водой,
Жемчуг—водоросли в глубине,
Там растет «не говори»-трава...
С милою моей вдвоем
Мы пришли сюда тайком от всех,
Никому не говори, трава!

2352 Дева молодая пляскою своей
Зазывает счастье в новый дом,
На браслетах жемчуга звенят...
Друга милого, что блещет красотой,
Словно белый жемчуг дорогой,
Пригласи войти с собою в дом.

2362 Из страны Ямасиро
Юный парень из села Кудзэ́
Мне сказал, что хочет взять меня.
Поважнее много он, чем я,
А сказал, что хочет взять меня,
Юный парень из села Кудзэ.

ИЗ СТАРИННЫХ СОБРАНИЙ ПЕСЕН

2364 Через щели занавеси той,
Где повешен жемчуг дорогой,
Постарайся проскользнуть ко мне.
Если спросит мать,
Вскормившая меня,
«Это ветер»,— я отвечу ей.

2365 Из-за молодой чужой жены,
Что я встретил по дороге в храм,
Где указывают день работ,
Много я ночей лежу без сна,
И в смятенье думы тайные мои,
Словно порванная яшмовая нить...

ПЕСНИ СЕВЕРНЫХ ПРОВИНЦИЙ

ИЗ ПЕСЕН ПРОВИНЦИИ НОТО

3878 В Кумаки́ на илистое дно
Из Сира́ги дорогой топор
Уронил и плачу я,
Васи́!

Ах, не надо
Горько, горько так рыдать,
Погляжу я,
Не всплывет ли он опять?
Васи́!

Вот что об этой песне передают и рассказывают. Был один глупый юноша. Он уронил на дно моря топор, но не знал, что железо не всплывает, поэтому и сложил он такую песню и, громко распевая, говорят, утешал себя.

3879 В винодельне в Кумаки
Раб, которого ругают все,
Васи́!
Я тебя позвал бы с собой,
Я тебя увел бы с собой,
Раб, которого ругают все,
Васи!

ПЕСНИ ПРОВИНЦИИ ЭТТЮ

3881 Пусть в Óно-стороне
Через рощу путь — заросший путь,
Пусть все зарастет,
Но когда тебе туда идти,
Будут широки тогда пути!

3882 В Сибута́ни,
Где гора Футагами́,
У орла родился сын, говорят.
Чтобы выйти для тебя могла
Сасиба́ из перьев орла,
У орла родился сын, говорят.

ПЕСНИ-ЛЕГЕНДЫ

ПЕСНЯ, ВОСПЕВАЮЩАЯ УРА́СИМА ИЗ МИДЗУНОЭ

1740 В час, когда туман затмит
Солнца лик весною,
Только выйду я на берег
В бухте Суминоэ,
Посмотрю, как челн рыбачий
По волнам плывет,
Древнее сказание

В памяти встает.
В старину в Мидзуноэ
Раз Урасима-рыбак,
Ловлей рыбы увлечен
Кацуо и тай,
Семь ночей не возвращался
На село домой,
Переплыв границу моря
На челне своем.
Дочь морского божества
Водяных долин
Неожиданно он вдруг
Встретил на пути.
Все поведали друг другу
И судьбу свою
Клятвой навсегда скрепили,
В вечную страну уйдя...
Во дворец владыки дна,
Водяных долин,
В ослепительный чертог,
В глубину глубин
Парой юною вошли,
За руки держась,
И остались жить, забыв
Горе, старость, смерть.
И могли бы вечно жить
В светлой стороне,
Но из мира суеты
Странен человек!
Раз, беседуя с любимой,
Так промолвил он:
«Ненадолго бы вернуться
Мне в мой дом родной!
Матери, отцу поведать
О своей судьбе,
А назавтра я пришел бы
Вновь к тебе сюда».
Слыша эту речь его,
Молвила в ответ она:
«Только в вечную страну
Ты вернись ко мне!
Если хочешь, как теперь,
Вечно жить со мной,
Этот ларчик мой возьми,

Но не открывай!»
Так внушала рыбаку,
Поглядела вслед...
И вот прибыл в край родной
Юноша-рыбак.
Он взглянул на дом, а дома —
Смотрит, — нет как нет,
Поглядел он на селенье —
И селенья нет.
И так странно показалось
Все это ему, —
Ведь всего назад три года
Он покинул дом!
Нет ни кровли, ни ограды,
Нету ничего, —
Не открыть ли этот ларчик,
Может, в нем секрет?
Может, все еще вернется,
Дом увидит он?
И свой ларчик драгоценный
Приоткрыл слегка.
Струйкой облачко тотчас же
Вышло из него
И поплыло белой дымкой
В вечную страну.
Он бежал и звал обратно,
Рукавом махал...
Повалился, застонал он,
Корчась на земле!
И внезапно стала гаснуть
Юная душа,
И легли морщины вдруг
На его чело,
Черный волос вдруг покрыла
Сразу седина,
Все движенья постепенно
Стали замирать...
Наконец, и эту жизнь
Смерть взяла себе!
Так погиб Урасима
Из Мидзуноэ.
И лишь место,
Где родился,
Видно вдалеке...

Каэси-ута

1746 В бессмертном мире он
Мог жить за веком век,
Но вот по воле сердца своего
Он сам пошел на лезвие меча,—
Как безрассуден этот человек!

ПЕСНЯ, ВОСПЕВАЮЩАЯ ЮНУЮ ДЕВУ ИЗ МАМА́ В КАЦУСИКА

1807 Там, где много певчих птиц,
В той восточной стороне,
В древние года
Это все произошло,
И до сей еще поры
Сказ об этом все идет...
Там, в Кацу́сика-стране,
Дева Тэкона жила
В платье скромном и простом
Из дешевого холста,
С голубым воротником.
Дома пряла и ткала
Все как есть она сама!
Даже волосы ее
Не знавали гребешка,
Даже обуви не знала,
А ходила босиком,—
Несмотря на это все,
Избалованных детей,
Что укутаны в парчу,
Не сравнить, бывало, с ней!
Словно полная луна,
Был прекрасен юный лик,
И, бывало, как цветок,
Он улыбкой расцветал...
И тотчас,— как стрекоза
На огонь стремглав летит,
Как плывущая ладья
К мирной гавани спешит,—
Очарованные ею,
Люди все стремились к ней!
Говорят, и так недолго,
Ах, и так недолго нам

В этом мире жить!
Для чего ж она себя
Вздумала сгубить?
В этой бухте, как всегда,
С шумом плещется волна,
Здесь нашла покой она
И на дне лежит...
Ах, в далекие года
Это все произошло,
А как будто бы вчера
Ради сумрачного дна
Нас покинула она!

Каэси-ута

1808 И когда, в страну эту восточную придя,
Взглянешь, как у берега катится волна,
Сразу загрустишь
О деве молодой,
Что сюда ходила часто за водой.

ПЕСНИ, СВЯЗАННЫЕ С ПРЕДАНИЯМИ

В старину жила одна девушка. Звали ее Сакурако — «Дитя Вишни», или «Вишенка». И жили в ту пору двое отважных юношей. Оба они хотели взять ее в жены. И затеяли они спор не на жизнь, а на смерть и вызвали друг друга на смертный бой.

Девушка опечалилась и решила: «Ни в старину, ни теперь, никогда еще не слыхали и не видали, чтобы одна девушка была невестой в двух домах. Но трудно смирить сердца этих отважных юношей. А стоит мне умереть — и вражда их, наверно, исчезнет навеки».

Подумала она так и вскоре ушла в лес и там повесилась.

А двое отважных юношей, не в силах сдержать своего горя, лили кровавые слезы. И каждый из них сложил тогда песню и излил в ней все, что было у него на сердце.

Вот эти две песни:

3786 Облетели
Лепестки у вишни,
И мечтал напрасно я, что буду
Украшать себя ее цветами,
Лишь пора весенняя наступит...

3787 Всякий раз, как расцветут цветы
Вишни розовой, что носит
Имя милой,
Вечно буду вспоминать о ней
И любить сильнее с каждым годом...

3808 Я пошел на поле в Суминóэ
Песни петь и хоровод водить
И залюбовался там своей женою,
Что сияла зеркалом
Среди жен других.

Вот что передают и рассказывают об этом. В старину жил один бедняк-простолюдин. Однажды мужчины и женщины его селения собрались на поле петь песни и водить хороводы. Среди собравшихся была и его жена. Она была очень хороша и выделялась своей красотой. Он еще сильнее полюбил ее и сложил эту песню, восхваляя ее красоту.

КАКИНОМОТО ХИТОМАРÓ

* * *

87 Ах, сколько ни гляжу, не наглядеться мне!
Прекрасны воды рек, что в Ёсину струятся,
Конца не зная...
Так же без конца
К ним буду приходить и любоваться.

* * *

78 На полях, обращенных к востоку,
Мне видно, как блики сверкают
Восходящего солнца,
А назад оглянулся —
Удаляется месяц за горы...

ПЕСНИ КАКИНОМОТО ХИТОМАРО, СЛОЖЕННЫЕ, КОГДА ОН, УЕЗЖАЯ В СТОЛИЦУ, ПОКИДАЛ СТРАНУ ИВАМИ И РАССТАВАЛСЯ С ЖЕНОЙ

131 Там, в Ива́ми, где прибой
Бьет у берегов Цуну́,
Люди, поглядев кругом,
Скажут, что залива нет,
Люди, поглядев кругом,
Скажут — отмели там нет.
Все равно прекрасно там,
Даже пусть залива нет,
Все равно прекрасно там,
Пусть и отмели там нет!
У скалистых берегов,
В Нигита́дзу, на камнях,
Возле моря, где порой
Ловят чудище-кита,
Водоросли взморья там,
Жемчуг-водоросли там,
Зеленея, поднялись.
И лишь утро настает,
Словно легких крыльев взмах,
Набегает ветерок.
И лишь вечер настает,
Словно легких крыльев взмах,
Приливают волны вмиг.
Как жемчужная трава
Клонится у берегов
В эту сторону и ту,
Гнется и к земле прильнет
С набегающей волной,
Так спала, прильнув ко мне,
Милая моя жена.
Но ее покинул я.
И, по утренней росе
Идя горною тропой,
У извилин каждый раз
Все оглядывался я,
Много раз, несчетно раз
Оборачивался я.
И все дальше оставлял

За собой родимый дом.
И все выше предо мной
Были горы на пути.
Словно летняя трава
В жарких солнечных лучах,
От разлуки, от тоски
Вянет милая жена.
На ворота бы взглянуть,
Верно, там стоит она!
Наклонитесь же к земле
Горы, скрывшие ее!

Каэси-ута

132 Там, в Ива́ми,
Возле гор Такацуну́,
Меж деревьями густыми вдалеке,
Видела ли милая моя,
Как махал я ей, прощаясь, рукавом?

133 По дороге, где иду
На склонах гор,
Тихо-тихо шелестит бамбук...
Но в разлуке с милою женой
Тяжело на сердце у меня...

Каэси-ута

136 У вороного моего коня
Так бег ретив, что сразу миновали
Места, где милая моя живет.
Как в небе облака,
Они далеки стали.

137 Ах, опадающие листья клена среди осенних гор,
Хотя б на миг единый
Не опадайте, заслоняя все от глаз,
Чтоб мог увидеть я
Еще раз дом любимой!

ИЗ ПЛАЧА О ПРИНЦЕ ТАКЭТИ

[*Описание битвы во время знаменитого мятежа Дзинсин-но ран*]

199 ...Призывающий в поход
Барабана громкий бой
Был таков,
Как будто гром
Разразился на земле,
Зазвучали звуки флейт,
Так, как будто зарычал
Тигр, увидевший врага,
Так, что ужас обуял
Всех людей, кто слышал их.
Флаги, поднятые вверх,
Вниз склонились до земли.
Все скрывается зимой,
А когда придет весна,
В каждом поле жгут траву,
Поднеся к траве огонь,
Словно пламя по земле
Низко стелется в полях
От порывов ветра,— так
Флаги все склонились вниз,
Шум от луков, что в руках
Воины держали там,
Страшен был,
Казалось всем,
Будто в зимний лес, где снег
Падал хлопьями,
Проник
Страшный вихрь —
И сразу, вмиг,
Завертелось все кругом,
И летящих всюду стрел
Было множество.
Они,
Как огромный снегопад,
Падали,
Смешалось все,
Но, смириться не желая,
Враг стоял против врага.
«Коли инею-росе
Исчезать — пускай умру!»

И летящей стаей птиц
Бросились отряды в бой.
И в тот миг из Ватара́и,
Где святой великий храм,
Вихрь священный — гнев богов —
Налетел и закружил
В небе облака,
И не виден больше стал
Людям яркий солнца глаз,—
Тьма великая сошла
И покрыла все кругом...

ПЛАЧИ КАКИНОМОТО ХИТОМАРО, СЛОЖЕННЫЕ В ПЕЧАЛИ И СЛЕЗАХ ПОСЛЕ КОНЧИНЫ ЖЕНЫ

207 Гуси по небу летят
На пути в Кару́ —
То возлюбленной село,
Край родной ее.
Как мечтал я,
Как желал
На нее взглянуть!
Только знал:
Идти нельзя,
Много глаз людских.
Часто приходить нельзя!
Люди будут знать!
Лучше встретиться потом,
В майский день.
В майский день
Зеленый плющ
Ложем будет нам!
Думал я,
В надежде был,
Как большому кораблю,
Доверял я ей!
Ото всех таил любовь,
Будто в бездне
Среди скал
Жемчуг дорогой...
Но как меркнет в небесах
Солнце на закате дня,
Как скрывается луна
Между облаков,—

Будто водоросль морей,
Надломилась вдруг она,
Будто клена
Алый лист,
Отцвела навек!
С веткой яшмовой гонец
Мне принес об этом весть...
Словно ясеневый лук,
Прогудев, спустил стрелу...
Что я мог ему сказать?
Что я сделать мог?
Голосам людей внимать
Был не в силах я,
А любовь моя росла...
Чем утешиться я мог?
Я пошел тогда в Кару
На базар, в ее село,
Где любимая моя
Мне встречалась
В ранний час...
Там стоял и слушал я,
Но и го́лоса ее,
Что звучал, как пенье птиц,
Возле кленов Унэби́,
Той горы, что звал народ
Девой чудной красоты
В перевязях жемчугов,
Возле склонов Унэби,
Даже голоса ее
Не услышал я!
Был мой путь копьем из яшмы,
Это значит — путь прямой,
Что копье.
Таков был путь
Предо мной, где шел народ,
Но не мог я там найти,
Ни одной не мог я встретить
Хоть похожей на нее!..
И, в отчаянье,
Любя,
Только имя призывал
Дорогой моей жены,
Лишь махал ей рукавом,
Звал напрасно я!..

Каэси-ута́

208 Средь гор осенних — клен такой прекрасный,
Густа листва ветвей — дороги не найти!..
Где ты блуждаешь там?
Ищу тебя напрасно:
Мне неизвестны горные пути...

209 Опали листья алые у клена,
И с веткой яшмовой передо мной гонец,
Взглянул я на него —
И снова вспомнил
Те дни, когда я был еще с тобой!

Каэси-ута «К плачу из неизвестной книги»

216 Когда, придя домой,
На спальню я взглянул,—
На ложе яшмовом
Жены моей подушка
В другую сторону повернута была...

ПЛАЧ КАКИНОМОТО ХИТОМАРО О ГИБЕЛИ ПРИДВОРНОЙ КРАСАВИЦЫ

217 Словно средь осенних гор
Алый клен,
Сверкала так
Красотой она!
Как бамбуковый побег,
Так стройна она была.
Кто бы и подумать мог,
Что случится это с ней?
Долгой будет жизнь ее,
Прочной будет, что канат,—
Всем казалось нам.
Говорят,
Что лишь роса
Утром рано упадет,
А под вечер — нет ее.
Говорят,
Что лишь туман
Встанет вечером в полях,

А под утро — нет его...
И когда услышал я
Роковую весть,
Словно ясеневый лук,
Прогудев, спустил стрелу,
Даже я, что мало знал,
Я, что мельком лишь видал
Красоту ее,—
Как скорбеть я стал о ней!
Ну, а как же он теперь —
Муж влюбленный,
Молодой,
Как весенняя трава,
Что в ее объятьях спал,
Что всегда был рядом с ней,
Как при воине всегда
Бранный меч?
Как печали полон он,
Как ночами он скорбит
Одиноко в тишине,
Думая о ней!
Неутешен, верно, он,
Вечно в думах об одной,
Что безвременно ушла,
Что растаяла росой
Поутру,
Что исчезла, как туман,
В сумеречный час...

Каэси-ута

218 Когда увидел я теченье той реки,
Что унесла навек от нас тебя,
Прекрасное дитя,
Такой еще тоски
Не знала никогда моя душа!

219 В те дни, когда еще была ты с нами,
Дитя из Оцу, и встречались мы,
Я мимо проходил,
Почти не замечая,
И как теперь об этом я скорблю!

ПЛАЧ КАКИНОМОТО ХИТОМАРО, СЛОЖЕННЫЙ ИМ ПРИ ВИДЕ ПОГИБШЕГО СТРАННИКА НА КАМЕНИСТОМ ПОБЕРЕЖЬЕ ОСТРОВА САМИНЭ́ В ПРОВИНЦИИ САНУКИ́

220 Замечательна страна,
Что зовется Сануки,
Где склоняются к воде
Водоросли-жемчуга,
Оттого ли, что страна
Блещет дивной красотой,—
Сколько ни любуйся ей,
Не устанет жадный взор.
Оттого ль, что боги ей
Дали жизнь на земле,—
Люди свято чтут ее.
Вместе с небом и землей,
Вместе с солнцем и луной
Будет процветать она,
Лик являя божества.
Там, из гавани Нака́,
Что известна с давних пор,
Я отчалил в дальний путь,
И когда по морю плыл
Я, качаясь на ладье,
Ветер,
Что в прилива час набегает,—
Налетел,
Нагоняя облака.
И когда взглянул я вдаль,—
Встала за волной волна
Бесконечной чередой...
Я на берег посмотрел —
С диким ревом волны там
В белой пене поднялись.
Море мне внушало страх,
И на весла я налег,
Ударяя по волнам.
С этой стороны и той
Много было островов,
Но известен среди них
Славный остров Саминэ!
На скалистых берегах
Я раскинул свой шалаш,
Оглянулся я вокруг

И увидел:
Ты лежишь,
Распластавшись на земле,
Сделав ложем камни скал
Вместо мягких рукавов,
Изго́ловьем для себя
Выбрав эти берега,
Где так грозен шум волны...
Если б знал я,
Где твой дом,
Я пошел бы и сказал,
Если знала бы жена,
Верно бы, пришла она
И утешила тебя!
Но, не зная, где тот путь,
Что отмечен был давно
Яшмовым копьем,
Вся в печали и слезах,
Верно, ждет еще тебя
И тоскует о тебе
Милая твоя жена!

Каэси-ута

221 Если б с ним была его жена,
Может, набрала бы трав ему она,
И тогда не голодал бы он в пути,
Иль, быть может, среди гор Сами́
Не собрать уже ухаги на полях?

222 О ты, что вместо изголовья,
Где шелк ложился рукавов,
Своей подушкой
Сделал берег дикий,
Куда морская катится волна!

ПЕСНЯ КАКИНОМОТО ХИТОМАРО, СЛОЖЕННАЯ В ПРОВИНЦИИ ИВАМИ В ПЕЧАЛИ О САМОМ СЕБЕ, КОГДА ПРИБЛИЖАЛСЯ ЧАС ЕГО КОНЧИНЫ

223 Возможно ль, что меня, кому средь гор Камо́
Подножье скал заменит изголовье,
Все время ждет с надеждой и любовью,
Не зная ни о чем,
Любимая моя?..

ДВЕ ПЕСНИ КАКИНОМОТО ХИТОМАРО, СЛОЖЕННЫЕ В ПУТИ, КОГДА ОН ПЛЫЛ В СТРАНУ ЦУКУСИ

803 В прославленной стране,
В Инами,
На взморье поднялась огромная волна,
И встала в тысячу рядов она,
От взора спрятав острова Ямато!

804 Когда взгляну я
На пролив меж островами,
Где плыли наши корабли не раз
К владеньям отдаленным государя,
Я вспоминаю век богов!

---

802 На миг один короткий, как рога
Оленей молодых, что бродят в поле летом,
На самый краткий миг —
Могу ли позабыть
О чувствах нежных милой девы?

1068 Вздымается волна из белых облаков,
Как в дальнем море, средь небесной вышины,
И вижу я:
Скрывается, плывя,
В лесу полночных звезд ладья луны.

ЯМАБЭ АКАХИТО

ОДА ЯМАБЭ АКАХИТО, ВОСПЕВАЮЩАЯ ГОРУ ФУ́ДЗИ

817 ...Лишь только небо и земля
Разверзлись,— в тот же миг,
Как отраженье божества,
Величественна, велика,
В стране Суру́га поднялась
Высокая вершина Фудзи!
И вот, когда я поднял взор
К далеким небесам,
Она, сверкая белизной,
Предстала в вышине.
И солнца полудённый луч

Вдруг потерял свой блеск,
И ночью яркий свет луны
Сиять нам перестал.
И только плыли облака
В великой тишине,
И, забывая счет времен,
Снег падал с вышины.
Из уст в уста пойдет рассказ
О красоте твоей,
Из уст в уста, из века в век,
Высокая вершина Фудзи!

Каэси-ута

318 Когда из бухты Та́го на простор
Я выйду и взгляну перед собой,—
Сверкая белизной,
Предстанет в вышине
Вершина Фудзи в ослепительном снегу!

ПЕСНЯ, СЛОЖЕННАЯ ЯМАБЭ АКАХИТО ПРИ ПОСЕЩЕНИИ ДОЛИНЫ КА́СУГА

372 О весенний яркий день!
В Касуга — долине гор,
Гор Мика́са, что взнесли
Гордую корону ввысь,
Как над троном у царей!
По утрам среди вершин
Там клубятся облака,
Птицы каодори там
Распевают без конца.
И, как эти облака,
Мечется моя душа,
И, как птицы те, поет
Одинокая любовь.
В час дневной —
За днями дни,
В час ночной —
За ночью ночь,
Встану я или ложусь —
Все томит меня тоска
Из-за той, что никогда
Не встречается со мной!

Каэси-ута

373 Как корона над троном,
Эти горы Микаса,
И как птицы там плачут,
Смолкнут, вновь зарыдают,—
Так любовь моя ныне не знает покоя...

919 В этой бухте Вака́,
Лишь нахлынет прилив,
Вмиг скрывается отмель,
И тогда в камыши
Журавли улетают, крича...

ПЕСНЯ, СЛОЖЕННАЯ ЯМАБЭ АКАХИТО

923 Дивный Ёсину-дворец,
Где правление вершит
Мирно правящий страной
Наш великий государь,
За зеленою стеной
Громоздящейся листвы
Он укрыт от глаз людских;
Посреди кристальных рек,
Что струятся без конца,
Подымается он ввысь,
И весной кругом цветут
Вишен пышные цветы,
А лишь осень настает,
Расстилается туман.
Словно горы в вышине,
Много выше, чем они,
Будет славы блеск расти.
Словно воды этих рек,
Что струятся без конца,
Сто почтеннейших вельмож,
Слуги славные твои,
Будут вечно вновь и вновь
Приходить к тебе сюда!

Каэси-ута

924 В этом Ёсину дивном,
Здесь, в горах Киса́ма,

На верхушках высоких зеленых деревьев,
Что за шум подымают
Своим щебетом птицы?

925 Когда ночь наступает,
Ночь, как черные ягоды тута,
Там на отмели чистой,
Где деревья хисаги,—
Часто плачут тидори...

———

941 Вот и бухта Ака́си!
Отхлынул прилив на дороге,
Завтра, завтра
Наполнится радостью сердце:
Я все ближе и ближе к родимому дому!

ПЕСНЯ, СЛОЖЕННАЯ ЯМАБЭ АКАХИТО, КОГДА ОН ПРОЕЗЖАЛ ОСТРОВ КАРА́НИ

942 Птицы а́дзи шумной стаей
Пролетают надо мною,
И глаза не видят милой,
Рукава из мягкой ткани
Ты не стелешь в изголовье.
На ладье, что смастерил я
Из коры деревьев вишни,
Весла закрепив,
Поплыл я.
Вот селение Нуси́ма,
Что в Ава́дзи,
Миновал я,
И меж островов Карани,
Миновав Инамидзу́ма,
Посмотрел когда,
Где дом мой —
Среди дальних гор лазурных,
Я не смог его увидеть!
В тысячи слоев сгрудились
Белых облаков громады,
И за каждой, каждой бухтой,
Что оставил за собою,
И за каждым, каждым мысом,

Где скрывался я порою,
Через всех путей изгибы,—
О, куда б ни приплывал я,
Все тоска со мной о доме...
Слишком долги дни скитаний!

Каэси-ута

943 На острове этом Карани,
Где срезают жемчужные травы морские,
Если был бы бакланом,
Что ищет добычу,
Я не думал бы столько, наверно, о доме!

944 Когда к островам
Довелось мне причалить,
Как завидовал я
Кораблям из Куману,
Плывущим в Ямато!

945 Только ветра подули,
Боясь, чтобы волны не встали,
Под защиту
Узкой маленькой бухты Цута
Мы решили укрыться...

1001 Вот достойные рыцари
На охоту светлейшую вышли,
И придворные дамы
Волочат подолы пурпурной одежды...
О, кристальная отмель!

1424 Я в весеннее поле пошел за цветами,
Мне хотелось собрать там фиалок душистых,
И поля
Показались так дороги сердцу,
Что всю ночь там провел средь цветов до рассвета!

1426 Я не могу найти цветов расцветшей сливы,
Что другу показать хотела я,
Здесь выпал снег,—
И я узнать не в силах;
Где сливы цвет, где снега белизна?

ЯМАНОЭ ОКУРА

ДИАЛОГ БЕДНЯКОВ

892 Когда ночами
Льют дожди
И воет ветер,
Когда ночами
Дождь
И мокрый снег,—
Как беспросветно
Беднякам на свете,
Как зябну я
В лачуге у себя!
Чтобы согреться,
Мутное сакэ
Тяну в себя,
Жую
Комочки соли,
Посапываю,
Кашляю до боли,
Сморкаюсь и хриплю...
Как зябну я!
Но как я горд зато
В минуты эти,
Поглаживаю бороденку:
«Эх!
Нет, не найдется
Никого на свете
Мне равного —
Отличен я от всех!»
Я горд, но я озяб,
Холщовым одеялом
Стараюсь я
Укрыться с головой.
Все полотняные
Лохмотья надеваю,
Тряпье наваливаю
На себя горой,—
Но сколько
Я себя ни согреваю,—
Как этими ночами
Зябну я!

Но думаю:
«А кто бедней меня,
Того отец и мать
Не спят в тоске голодной
И мерзнут в эту ночь
Еще сильней...
Сейчас он слышит плач
Жены, детей:
О пище молят,—
И в минуты эти
Ему, должно быть, тяжелей, чем мне.
Скажи, как ты живешь еще на свете?»

ОТВЕТ

Земли и неба
Широки просторы,
А для меня
Всегда они тесны,
Всем солнце и луна
Сияют без разбора,
И только мне
Их света не видать.
Скажи мне,
Все ли в мире так несчастны,
Иль я один
Страдаю понапрасну?
Сравню себя с людьми —
Таков же, как и все:
Люблю свой труд простой,
Копаюсь в поле,
Но платья теплого
Нет у меня к зиме,
Одежда рваная
Морской траве подобна,
Лохмотьями
Она свисает с плеч,
Лишь клочьями
Я тело прикрываю,
В кривой лачуге
Негде даже лечь,
На голый пол
Стелю одну солому.

У изголовья моего
Отец и мать,
Жена и дети
Возле ног ютятся,
И все в слезах
От горя и нужды.
Не видно больше
Дыма в очаге,
В котле давно
Повисла паутина,
Мы позабыли думать о еде,
И каждый день —
Один и тот же голод...
Нам тяжело,
И вечно стонем мы,
Как птицы нуэдори,
Громким стоном...
Недаром говорят:
Где тонко — рвется,
Где коротко —
Еще надрежут край!
И вот я слышу
Голос за стеной,—
То староста
Явился за оброком...
Я слышу, он кричит,
Зовет меня...
Так мучимся,
Презренные людьми.
Не безнадежна ли,
Скажи ты сам,
Дорога жизни
В горьком мире этом?

Каэси-ута

893 Грустна моя дорога на земле,
В слезах и горе я бреду по свету,
Что делать?
Улететь я не могу,
Не птица я, увы, и крыльев нету.

ПОЭМА СОЖАЛЕНИЯ О БЫСТРОТЕЧНОСТИ ЖИЗНИ <ЯМАНОЭ ОКУРА>

«То, что легко овладевает нами и что трудно преодолеть нам,— это «восемь великих страданий». А то, что трудно достигаемо для нас и легко истощается,— это «радости многих лет». Об этом печалились люди в древности, и ныне мы также печалимся об этом. Оттого я и сложил эту песню, чтобы разогнать «печаль о седеющих волосах». А в песне этой говорится:

804 Как непрочен этот мир,
В нем надежды людям нет!
Так же, как плывут
Годы, месяцы и дни
Друг за другом вслед,
Все меняется кругом,
Принимая разный вид.
Множество вещей
Заполняют эту жизнь
И теснятся на бегу,
Чтобы вновь спешить вперед.
С женщин мы начнем.
Женщине привычно что?
Жемчуг дорогой
Из чужих краев надеть,
Любоваться им,
Белотканым рукавом
Другу помахать в ответ
Или алый шлейф —
Платья красного подол,—
Идя, волочить
И с подругою своей,
Взявшись за руки,
Играть,—
Вот он радостный расцвет
Жизни сил!
Но тот расцвет
Удержать нельзя.
Все пройдет:
На прядь волос
Черных раковин черней
Скоро иней упадет,
И на свежесть
Алых щек

Быстро ляжет
Сеть морщин.
А теперь — мужчин возьмем.
Рыцарям привычно что?
Славный бранный меч
Крепко привязать к бедру,
Крепко в руки взять
Стрелы счастья,
Оседлать
Своего коня
И, красуясь так в седле,
Забавляясь, разъезжать.
Мир, в котором мы живем,
Разве прочен он?
Там, где сладко девы спят,
Рыцари, сойдя с коней,
Двери распахнут,
И приблизятся,
И рук яшмовых рукой
Чуть коснутся — и тотчас,
Обнимая юных дев,
Руки вмиг переплетут
И в объятьях
До зари
Будут вместе спать.
Но глянь!
Нет этих ночей:
Вот уж с посохом в руках,
Сгорбившись,
Они бредут,
И теперь — они
Презираемы людьми,
И теперь — они
Ненавидимы людьми.
В мире здесь конец таков:
Яшмою сверкающей
Юной жизни
Жаль тебе,—
Но бессилен ты.

Каэси-ута

805 Ах, неприступным, вечным, как скала,
Хотелось бы мне в жизни этой быть!

Но тщетно все:
Жизнь эта такова,
Что бег ее нельзя остановить!

ПЕСНЯ ЯМАНОЭ ОКУРА НА ПРОЩАЛЬНОМ ПИРУ В ЧЕСТЬ ТА́БИТО

876 Когда бы в облаках я мог парить,
Как в небе этом реющие птицы,
О, если б крылья мне,
Чтоб друга проводить
К далеким берегам моей столицы!..

[ПЕСНЯ ЯМАНОЭ ОКУРА, ПОСЛАННАЯ ИМ ОТОМО ТАБИТО]

882 Коль милости тебе теперь и слава,
Ты и меня пригреешь как-нибудь.
Когда придет весна,
В столицу нашу На́ра
Позвать меня к себе не позабудь.

ПЕСНЯ, СЛОЖЕННАЯ О ТОМ, КАК В СТАРОСТИ ОДОЛЕВАЮТ БОЛЕЗНИ, А ГОДЫ ПРОХОДЯТ В СТРАДАНИЯХ И ДУМАХ О ДЕТЯХ

897 Этой жизни краткий срок,
Что лишь яшмою блеснет,
Как хотелось бы прожить
Тихо и спокойно мне,
Как хотелось бы прожить
Мне без горя и беды.
Но в непрочном мире здесь
Горько и печально все,
А особенно тяжка
Наша доля, если вдруг,
Как в народе говорят,—
В рану, что и так болит,
Жгучую насыплют соль;
Или на тяжелый вьюк
Бедной лошади опять
И опять добавят груз.
Так в слабеющем моем теле
В старости еще
Вдруг добавился недуг.

Дни в страданьях я влачу
И вздыхаю по ночам.
Годы долгие подряд
Лишь в болезнях проводя,
Неустанно плачу я,
Проклиная жребий свой.
Думаю лишь об одном:
Как бы умереть скорей,
Но не знаю, как смогу
Я покинуть этот мир.
Разве брошу я детей,
Что вокруг меня шумят,
Словно мухи в майский день?
Стоит поглядеть на них —
И горит огнем душа.
В горьких думах и тоске
Только в голос плачу я!

Каэси-ута

898 Ныне сердцу моему
Не утешиться ничем!
Словно птица, что кричит,
Укрываясь в облаках,
Только в голос плачу я!

899 Без надежды день за днем
Только в муках я живу
И хочу покинуть мир.
Но напрасны думы те:
Дети преграждают путь.

900 Много платьев у ребенка богача,
Их вовек ему не износить,
У богатых в сундуках
Добро гниет,
Пропадает драгоценный шелк!

901 А у бедного — простого платья нет,
Даже нечего ему порой надеть.
Так живем,
И лишь горюешь ты,
Ничего не в силах изменить!

902 Словно пена на воде,
Жизнь мгновенна и хрупка,
И живу я, лишь молясь:
О, когда б она была
Длинной, крепкой, что канат!

903 Жемчуг иль простая ткань —
Тело бренное мое
Ничего не стоит здесь...
А ведь как мечтаю я
Тысячу бы лет прожить!

ПЕСНЯ [ЯМАНОЭ ОКУРА] О ЛЮБВИ К СЫНУ ФУРУХИ

904 Семь родов сокровищ есть
Драгоценных на земле,
Но зачем богатства мне,
Раз у нас родился сын —
Фурухи, подобный сам
Драгоценным жемчугам!
По утрам, в рассвета час,
В час, когда еще видна
Предрассветная звезда,
В мягкой ткани покрывал
На постели у себя
То сидел он, то вставал,
И, бывало, вместе с ним
Забавлялся я всегда.
А лишь вечер приходил
И вдали, на небесах,
Звезды появлялись вновь,
За руки меня он брал,
Говорил: «Идемте спать,
Папа, мама не должны
Сына покидать!
В серединку лягу к вам!» —
Он ласкался, говоря,—
И, казалось, расцветали
Травы счастья для меня!
Думал я тогда, любуясь:
«Время минет, подрастешь,
Ждет ли радость, ждут ли беды,
Встретим их с тобой!»

Как большому кораблю,
Доверяли мы ему,
Но подул тогда нежданно
Ветер злой со стороны,
Заболел малютка наш,—
Как нам быть, не знали мы.
Перевязь из белой ткани
Мы надели на себя,
И, кристальной чистоты
Зеркало в руке держа,
Мы богов небес молили,
К небу взоры обратив,
Мы богам земли молились,
Низко головы склонив.
«Будет жив или не будет,—
Все зависит от богов»,—
Думал я и всей душою
Им молиться был готов.
И в отчаянье и горе
Заклинал богов, молил,
Но напрасно было,— вскоре
Потеряли мы тебя...
Постепенно становился
Все прозрачнее твой лик,
С каждым утром, с каждым утром
Все слабее был язык.
И блеснувшая, как яшма,
Жизнь прервалась навсегда...
И вскочил я, как безумный,
Закричал от горя я!
То катался по земле я,
То смотрел на небеса,
То в отчаянье и горе
Ударял я в грудь себя.
Ведь дитя, что я лелеял,
Упорхнуло,— не вернуть!
Вот он, этой жизни бренной
Горький и тяжелый путь!

Каэси-ута

905 Оттого, что очень еще молод,
Он не будет знать, куда идти,
Принесу тебе богатые дары,

Из подземных царств гонец суровый,—
На спину возьми его и отнеси!

906 Поднося дары,
Молить тебя я буду,
Ты не обмани мое дитя,
Поведи прямым путем малютку,
Покажи, где путь на небеса!

ПЕСНЯ, СЛОЖЕННАЯ ЯМАНОЭ ОКУРА, КОГДА ОН БЫЛ ТЯЖЕЛО БОЛЕН

978 Отважным мужем ведь родился я.
Ужель конец короткого пути
Без славы,
Что могла из уст в уста,
Из года в год, из века в век идти?

ОТОМО ТА́БИТО

ТРИНАДЦАТЬ ПЕСЕН, ПРОСЛАВЛЯЮЩИХ ВИНО, СЛОЖЕННЫХ ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРОМ, ЦАРЕДВОРЦЕМ ОТОМО ТАБИТО

* * *

338 О пустых вещах
Бесполезно размышлять,
Лучше чарку взять
Хоть неважного вина
И без дум допить до дна!

* * *

339 В древние года,
Дав название вину
«Хидзири», или «Мудрец»,
Семь великих мудрецов
Понимали прелесть слов!

* * *

340 В древние года
Семь великих мудрецов,
Даже и они,
Все мечтали об одном —
Услаждать себя вином!

* * *

341 Чем пытаться рассуждать
С важным видом мудреца,
Лучше в много раз,
Отхлебнув глоток вина,
Уронить слезу спьяна!

* * *

342 Если ты не будешь знать,
Что же делать, что сказать,
Из всего, что в мире есть,
Ценной будет вещь одна —
Чарка крепкого вина!

* * *

343 Чем никчемно так, как я,
Человеком в мире жить,
Чашей для вина
Я хотел бы лучше стать,
Чтоб вино в себя впитать!

* * *

344 До чего противны мне
Те, что корчат мудрецов
И вина совсем не пьют,
Хорошо на них взгляни —
Обезьянам впрямь сродни!

* * *

345 О, пускай мне говорят
О сокровищах святых, не имеющих цены,
С чаркою одной,
Где запенилось вино,
Не сравнится ни одно!

* * *

346 О, пускай мне говорят
О нефрите, что блестит, озаряя тьму ночей,
Но когда мне от вина
Сердце радость озарит,
Не сравнится с ней нефрит!

* * *

847 Если в мире суеты
На дороге всех утех
Ты веселья не найдешь,
Радость ждет тебя одна:
Уронить слезу спьяна!

* * *

848 Лишь бы на земле
Было счастье суждено,
А в иных мирах
Птицей или мошкой стать,
Право, все равно!

* * *

849 Всем живущим на земле
Суждено покинуть мир.
Если ждет такой конец,
Миг, что длится жизнь моя,
Веселиться жажду я!

* * *

850 Суемудрых не терплю,
Пользы нет от них ничуть,
Лучше с пьяницей побудь,—
Он, хотя бы во хмелю,
Может искренне всплакнуть!

---

831 О, расцвет сил моих!
Вряд ли вновь он вернется!
Неужели и мельком
На столицу На́ра
Мне не придется взглянуть?

* * *

832 Жизнь моя!
Как я хочу, чтобы длилась ты вечно!
Чтобы мог любоваться я
Малою речкой Киса́,
Той, что видел в далекие годы...

[ПЛАЧИ О ЖЕНЕ]

* * *

439 Вот и время пришло
Мне домой возвращаться,
Но в далекой столице
Чей мне будет рукав
Изголовьем душистым?

[ПЕСНИ, СЛОЖЕННЫЕ НА ПУТИ В СТОЛИЦУ]

451 Мой дом опустевший, где нету любимой!
Как ныне мне тяжко, —
Куда тяжелее,
Чем в пути,
Где трава мне была изголовьем!

452 В том саду, что вдвоем
Мы сажали когда-то
С любимою вместе,
Поднялись так высоко,
Разветвились деревья!

[ПЕСНЯ, ПОСЛАННАЯ ДРУГУ САМИ МАНДЗЭЙ]

575 Как журавль в тростниках
В бухте той Кусака́э
Бродит в поисках пищи,
Так и я... Как мне трудно!
Как мне трудно без друга!

ДВЕ ПЕСНИ ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРА ДАДЗАЙФУ, ЦАРЕДВОРЦА ОТОМО [ТАБИТО]

806 Эх, коня бы сейчас,
Что подобен дракону,
Чтоб умчаться
В столицу прекрасную Нара,
Среди зелени дивной!

807 Наяву нам, увы, не встречаться с тобою,
Но хотя бы во сне,
По ночам этим черным,
Что черны, словно ягоды черпые тута,
Ты всегда бы являлся ко мне в сновиденьях.

ПЕСНЯ, СЛОЖЕННАЯ ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРОМ ДАДЗАЙФУ, ЦАРЕДВОРЦЕМ ОТОМО ТАБИТО, В МЫСЛЯХ О ДАЛЕКОМ ДВОРЦЕ ЁСИНУ

960 Даже скалы
Средь быстрых потоков в Хая́то
Красотой не сравнятся
С водопадами Ёсину,
Где играют форели.

ПЕСНЯ ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРА ДАДЗАЙФУ, ЦАРЕДВОРЦА ОТОМО ТАБИТО, В КОТОРОЙ ОН, ГЛЯДЯ НА СНЕГ, В ЗИМНИЙ ДЕНЬ ТОСКУЕТ О СТОЛИЦЕ

1639 Когда снег, словно пена, покрывает всю землю
И так медленно кружит,
Тихо падая с неба,
О столице, о Нара,
Преисполнен я думой!

1640 Не сливы ли белой цветы
У холма моего расцветали
И кругом все теперь в белоснежном цвету?
Или это оставшийся снег
Показался мне нынче цветами?

ОТОМО ЯКАМО́ТИ

ПЕСНИ, СЛОЖЕННЫЕ В БЕЗУТЕШНОЙ ПЕЧАЛИ

470 О, только так на свете и бывает,
Такие уж обычаи земли!
А я и ты
Надеялись и ждали,
Как будто впереди у нас века!

472 Хоть знаю я давно,
Что в этом бренном мире
Нас ждет всегда жестокая судьба,
Но все же сердце, преисполненное боли,
Тебя не в силах позабыть!

ПЕСНЯ, СЛОЖЕННАЯ ОТОМО ЯКАМОТИ У ВОРОТ ВОЗЛЮБЛЕННОЙ

700 Ужель, придя к любимому порогу,
Тебя не увидав,
Покинуть вновь твой дом,
Пройдя с мученьем и трудом
Такую дальнюю дорогу!

ИЗ «ПЕСЕН, ПОСЛАННЫХ НЕИЗВЕСТНОЙ ВОЗЛЮБЛЕННОЙ»

720 На тысячи мелких кусков
Сердце мое раскололось,—
Так сильно
Тебя люблю я.
Ужель ты не знаешь об этом?

ИЗ «ПЕСЕН, ПОСЛАННЫХ СТАРШЕЙ ДОЧЕРИ ОТОМО САКАНОЭ»

741 О, эти встречи
Только в снах с тобою,—
Как это сердцу тяжело...
Проснешься — ищешь, думаешь — ты рядом.
И видишь — нет тебя со мной...

*

742 Даже пояс,
Которым один раз меня обвязала
Дорогая моя,
Я три раза могу обвязать.
Вот что стало со мною!

*

743 О, несчастная моя любовь!
Даже если семь тяжелых скал,
Что под силу только тысяче людей,
Целиком взвалил бы на себя —
Мне не вызвать жалости богов!

*

744 Как только наступает вечер,
Я открываю дверь в свой дом
И жду любимую,
Что в снах мне говорила:
«К тебе я на свидание приду!»

*

746 В бренном этом мире, где я прожил долго,
Я еще не видел красоты такой...
Слов не нахожу,—
Такой занятный
Маленький мешочек, вышитый тобой.

*

748 Пускай умру я от любви к тебе.
Живу или умру — одни и те же муки.
Так для чего же из-за глаз людских,
Из-за людской молвы
Я мучаю себя?

*

751 После встречи с тобою
И дня не минуло,
А как я тоскую,
Все больше и больше,
Теряя рассудок...

*

752 Когда я тоскую так сильно
И вижу твой облик
Лишь в думах,—
Как быть мне, что делать, не знаю,—
Здесь глаз осуждающих много!..

ИЗ «ПЯТИ ПЕСЕН, ПОСЛАННЫХ ИЗ СТОЛИЦЫ КУНИ СТАРШЕЙ ДОЧЕРИ САКАНОЭ»

771 И даже в лжи
Всегда есть доля правды!
И, верно, ты, любимая моя,
На самом деле не любя меня,
Быть может, все-таки немного любишь?

ПЕСНЯ ОТОМО ЯКАМОТИ, СЛОЖЕННАЯ ПРИ ВЗГЛЯДЕ НА МОЛОДОЙ МЕСЯЦ

994 Когда, подняв свой взор к высоким небесам,
Я вижу этот месяц молодой,
Встает передо мной изогнутая бровь
Той, с кем один лишь раз
Мне встретиться пришлось!

ИЗ «РАЗНЫХ ПЕСЕН ВЕСНЫ»

ПЕСНЯ ОТОМО ЯКАМОТИ О СОЛОВЬЕ

1441 Туман кругом,
И белый снег идет...
И все-таки в саду у дома
Средь снега выпавшего
Соловей поет!

ИЗ «РАЗНЫХ ПЕСЕН ЛЕТА»

ПЕСНЯ, СЛОЖЕННАЯ ОТОМО ЯКАМОТИ, КОГДА В ДОЖДЛИВЫЙ ДЕНЬ ОН СЛУШАЛ ПЕНИЕ КУКУШКИ

1491 Не потому ли, что цветы унохана
Опасть должны, полна такой тоскою
Кукушка здесь?
Ах, даже в дождь она
Все время плачет и летает надо мною!

ИЗ «ЧЕТЫРЕХ ПЕСЕН ОБ ОСЕНИ»

1566 С небес извечных, ни на миг не прекращаясь,
Дождь все идет...
Скрываясь в облаках
И громко плача, гуси улетают
С полей, где ранний рис растет.

1567 Колосья риса на осеннем поле,
Где, в облаках скрываясь, с криком гусь летит,
Густеют и растут,
Так и с моей любовью:
Растет,— и сердце все сильней грустит.

ИЗ «СЕМИ ПЕСЕН, СЛОЖЕННЫХ НА ПОЭТИЧЕСКОМ ТУРНИРЕ В ДОМЕ ПРАВОГО МИНИСТРА ТАТИБАНА (МОРОЭ)»

1574 Как гуси дикие, что вольной чередою
Несутся с криком выше облаков,
Ты далека была.
Чтоб встретиться с тобою,
О, как скитался я, пока к тебе пришел!

ТРИ ПЕСНИ ОТОМО ЯКАМОТИ ОБ ОСЕНИ

1597 Осенний хаги, что цветет в осеннем поле,
В осеннем ветре клонит лепестки.
И на ветвях его
Осенние росинки
Ложатся на поникшие цветы...

1598 На лепестках осенних хаги в поле,
Куда выходит по утрам олень,
На лепестках
Сверкает яшмой дорогою
С небес упавшая прозрачная роса...

1599 Не оттого ль, что, проходя полями,
Олень кустарник грудью раздвигал,
Осыпались цветы осенних хаги,
А может, оттого,
Что срок их миновал?

ДВЕ ПЕСНИ ОТОМО ЯКАМОТИ ОБ ОЛЕНЕ

1602 Тоской глубокой о жене томим,
Среди осенних гор кричит олень,
И отраженный эхом крик его гремит...
И я средь этих гор —
Совсем один!

1603 Всегда перед зарей — прислушаться лишь надо —
Предутренней порой,
Едва забрезжит день,
Здесь, сотрясая гор простертые громады,
В тоске рыдает осенью олень!

ИЗ «РАЗНЫХ ПЕСЕН ЗИМЫ»

ПЕСНЯ ОТОМО ЯКАМОТИ О СЛИВЕ В СНЕГУ

1649 Соперничая с белизною снега,
Упавшего с небесной высоты,
У дома моего
На ветках сливы зимней
Цветут сегодня белые цветы!

[ИЗ ЛИРИЧЕСКОГО ДНЕВНИКА]

(Тринадцатый год [Тэмпё], третий день четвертой луны)

3911 Лишь поселился я
Средь распростертых гор,
Кукушка стала прятаться в деревьях:
То вдруг вспорхнет, то скроется опять
И каждый день кукует возле дома!

3913 Кукушка,
Если средь ветвей цветущих оти
Ты поселишься, прилетев сюда,
Цветы их опадут, и всем казаться будет,
Что падают на землю жемчуга...

[Восемнадцатый год Тэмпё], ночь седьмого дня восьмой луны

ИЗ «ПЕСЕН, СЛОЖЕННЫХ НА ПОЭТИЧЕСКОМ ТУРНИРЕ В РЕЗИДЕНЦИИ ГУБЕРНАТОРА ПРОВИНЦИИ ОТОМО ЯКАМОТИ»

3943 Пошел мой друг в осенние поля
Взглянуть, как высоки колосья риса,
И вот вернулся,
Принеся с собой
Охапки оминаэси душистых.

3947 Сегодня на рассвете раннем
Осенний ветер холодом дохнул,
И близится пора,
Когда наш странник дальний —
Гусь дикий — с криком улетит.

<Девятнадцатый год [Тэмпё], весна, двадцать первый день второй луны>

Внезапно поражен тяжелой болезнью и чуть не вступил на путь, ведущий в нездешний мир. Поэтому словами песни выразил печаль своего сердца.

3962 Наш великий государь
Приказал уехать мне.
И, приказу покорясь,
Как отважный смелый муж,
Полный бодрости и сил,
Много распростертых гор
И застав я перешел.
Наконец, пришел в село,
Дальнее, как свод небес.
И, совсем не отдохнув
И дыханье ни на миг
Не переводя в труде,
Столько месяцев и лет
Жил в селенье этом я!
Но в непрочном мире здесь
Бренен жалкий человек.
Надломился вскоре я,
Заболел и слег в постель,
И проходит день за днем —
Все сильнее мой недуг.
О божественная мать,
Мать, вскормившая меня!
Как большой корабль в пути
Беспокойно на волнах
Все качается, плывя,
Так в сердечной глубине
У тебя теперь живет
Беспокойная тоска.
Ожиданием томясь,
Верно, думаешь всегда:
«О, когда ж вернется он?»
И болеешь всей душой.
И, красавица моя,—
Божество — моя жена,
Верно, как начнет светать,
Все стоишь ты у ворот,
Прислонившись,
И зовешь,
Отгибая рукава...

А как вечер настает,
Оправляешь нам постель
И, вздыхая, распустив
Пряди длинные волос
Ягод тутовых черней,
Вопрошаешь ты с тоской:
«О, когда ж вернется он?»
Дочь родная, милый сын,
Дети малые мои,
Верно, дома по углам
Горько плачут и шумят.
Как далек теперь к ним путь —
Путь, отмеченный давно
Яшмовым копьем.
Не могу послать гонца,
Не могу я дать им знать,
Как тоскую и люблю.
От тоски по ним давно
Сердце сожжено дотла.
И хотя до боли жаль
Эту жизнь на земле,
Что лишь жемчугом блеснет,
Но не знаю, как мне быть,
Выхода не видно мне...
О, ужели даже я,
Грозный, словно шторм морской,
Я, отважный, стойкий муж,
Обречен теперь лежать
Распластавшимся,
Без сил
И лишь молча горевать?

Каэси-ута

3963 Этот бренный жалкий мир!
Как в нем мало дней и лет суждено нам жить.
«Лишь цветы мои весной опадут,
За ними вслед мне придется умереть...» —
Думаю с тоской...

3964 Далеки пределы этих гор и рек.
И мою любимую жену
Неужели я не встречу никогда
И всегда лишь буду тосковать
Здесь один, в разлуке вечной с ней?

<Двадцать шестой день девятой луны>

ПЕСНЯ, СЛОЖЕННАЯ, КОГДА, ТОСКУЯ О ПРОПАВШЕМ СОКОЛЕ, УВИДЕЛ СОН И ИСПОЛНИЛСЯ РАДОСТИ

4011 И далек же этот край
Государя моего!
Далека, как свод небес,
Глушь, в которой я живу,
Что зовут страной Кóси,
Где идет чудесный снег.
Высоки здесь склоны гор,
Плавны здесь теченья рек,
Широки кругом поля,
И густа трава на них.
В лета солнечный разгар,
Когда юная форель
Мчится в светлых струях рек,
Собирается народ,
Чтоб бакланов покормить —
Птицу здешних островов.
Разжигают вмиг костры
На шестах меж чистых струй
И, промокшие в реке,
По теченью вверх плывут.
А лишь осень настает,
С белым инеем-росой
Прилетает много птиц
На пустынные поля,
И охотиться зовут
Рыцари своих друзей.
И хоть соколов у нас
Много есть,
Лишь у него,
У Окýра моего,
С пышным и большим хвостом,
Словно оперенье стрел,
Прикреплен был бубенец
Из литого серебра.
На охоте поутру
Догонял он сотни птиц,
На охоте ввечеру
Тысячи ловил он птиц,
Каждый раз, как догонял,
Не давал им улететь.

Выпустишь его из рук,
Тотчас он летит назад.
Он один на свете был,
И, пожалуй, не найти
Сокола другого мне,
Равного во всем ему.
Так я думал и, в душе
Соколом своим гордясь,
Проводил беспечно дни.
В это время мой слуга —
Отвратительный старик,
Вовсе потерявший ум,—
Мне и слова не сказав,
В день, когда на землю лил
Дождь и все заволокло,
Под предлогом, что идет
На охоту,
Он ушел
Вместе с соколом моим.
И, вернувшись, рассказал,
Кашляя,
Что сокол мой,
Глядя вдаль,
Где перед ним
Расстилалися поля
Мисимá,
И пролетев
Над горой Футагамú,
Скрылся в белых облаках
И совсем исчез из глаз...
Приманить его сюда
Нету способов теперь.
Оттого что я не знал,
Что сказать ему в ответ,
А в душе моей тогда
Лишь огонь один пылал,
Тосковал я и вздыхал.
Думал я:
А может быть,
Снова встретимся мы с ним?
И средь распростертых гор
Тут и там расставил я
Сети для поимки птиц,
И расставил стражей я.

В храмы славные богов,
Сокрушающих миры,
Вместе с тканями принес
Зеркало сверкавшее.
Поднеся, богов молил
И все время ждал его.
И тогда, придя во сне,
Дева мне передала:
«Слушай,
Сокол дивный твой,
О котором ты грустишь,
Улетел на берега
В Мацуда́э.
Пролетел
Бухту он Химино́э,
Там, где ловят
Мелких рыб,
Облетел кругом не раз
Остров Таконосима́
И к заливу Фуру́э,
Где в зеленых тростниках
Утки стаями живут,
Прилетал позавчера.
Там вчера он снова был.
Если близкий будет срок,—
С этих пор
Пройдет два дня,
Если дальний будет срок,—
Может быть, пройдет семь дней.
Но вернется он к тебе.
Не тоскуй же сильно так,
Всей душою, глубоко».
Так сказала дева мне.

Из «Каэси-ута»

4012 Ах, много уже дней
В руках мы не держали
И сокола с хвостом, как оперенье стрел,
И не охотились мы в поле Масима́ну,
А месяцы все шли...

ПЕСНЯ, СЛОЖЕННАЯ, КОГДА ГОТОВИЛ САКЭ

4031 Ведь эту жизнь, что я молю продлить
И что жрецы священным гимном очищают,
Твердя слова молитв,
Я для кого спасаю?
О, только для тебя!

ЗАСТОЛЬНАЯ ПЕСНЯ, ИСПОЛНЕННАЯ НА ПРОЩАЛЬНОМ ПИРУ В ЧЕСТЬ ТАНАБЭ САКИМАРО В РЕЗИДЕНЦИИ СУДЬИ КУМЭ ХИРОНАВА

4054 Кукушка,
Нынче ночью, я прошу,
Над нами пролети и спой нам песню.
Луну заменят нам зажженные огни,
И я смогу тебя увидеть.

ИЗ «ТРЕХ ПЕСЕН ГУБЕРНАТОРА ПРОВИНЦИИ ЭТТЮ ОТОМО ЯКАМОТИ»

(Отправлены с гонцом в столицу в четвертый день)

4082 Пусть жалок раб в селении глухом,
Далеком от тебя, как своды неба эти,
Но если женщина небес грустит о нем,—
Я вижу в этом знак,
Что стоит жить на свете.

(Вечер первого дня шестой луны)

С шестого дня пятой луны первого года Тэмпё-кампо началась засуха, рисовые и пшеничные поля крестьян увядали и сохли. Настал первый день шестой луны, и вдруг показалась дождевая туча. Поэтому и была сложена эта песня.

4122 В этой внуками небес
Управляемой стране,
В Поднебесной, на путях
Четырех сторон земли,
До предела, что достичь
Мог копытом конь,
До границ, куда дойти
Корабли могли,
С незапамятных времен

И до сей поры
Из бесчисленных даров
Лучший дар был в честь богов
То, что добыто трудом,—
Урожая славный плод.
Но не льет на землю дождь
Вот уж много, много дней.
Рисовые все поля,
Что засажены давно,
И пшеничные поля,
Что засеяны давно,
С каждым утром,
С каждым днем
Вянут, сохнут без дождя.
И когда глядишь на них,
Сердце бедное болит.
И, как малое дитя,
Плача, просит молока,
Так небесной влаги ждем,
Не спуская глаз с небес.
О, средь распростертых гор
Из лощины вдалеке
Показавшаяся нам
Туча белая, спеши.
Поднимись, покинь дворец
Властелина вод морских,
Затяни небесный свод,
Ниспошли на землю дождь!

Каэси-ута

4123 Показавшаяся там
Туча белая, плыви,
Затяни небесный свод
И пролейся здесь дождем,
Чтоб утешить нам сердца!

(Четвертый день той же луны)

ПЕСНЯ О ДОЖДЕ

4124 На землю хлынул дождь,
О чем мы все мечтали,
И раз случилось так, что минула беда,
Нести богам мольбу уже не надо —
И так обильным будет этот год.

(Седьмой день седьмой луны)

ПЕСНЯ О ТАНАБАТА

4125 Со времен богини солнца —
Аматэрасу́,
Разделенные рекой
Ясунокава́,
Друг ко другу обратясь
И махая рукавом,
На далеких берегах
Горько плачут две звезды.
О, какой полна тоской
Этой краткой жизни нить!
Перевозчик не дает
Переплыть им на ладье.
Если б можно было мост
Перекинуть над рекой!
Перейдя его скорей,
Взялись за руки б они,
Обнялись бы горячо,
Рассказали б до конца
Думы тайные свои
И утешили бы вмиг
Горем полные сердца.
Но напрасны те мечты.
Только осенью одной
Им встречаться суждено.
А до осени должны
Жить на разных берегах
В одиночестве, в тоске...
Даже я, живущий сам
В мире бренном и пустом,
Их жалею всей душой
И скорблю об их судьбе.
Так, сменяясь, шли года,
И в день встречи каждый год,
Глядя на простор небес,
Буду вновь я говорить
О несчастной их любви,
И пускай из века в век
Сказ идет из уст в уста...

4126 Если б только протянули мост
Через ту Небесную Реку,
О, тогда
Они бы встретиться могли,
Даже если б осень не пришла.

4127 О, эта ночь, когда, тоскуя друг о друге
Дни долгие, на разных берегах
Реки Ясукава
Встречаются супруги —
Звезду зовущая звезда.

ДВЕ ПЕСНИ, СЛОЖЕННЫЕ НОЧЬЮ, КОГДА СЛУШАЛ ПЕНИЕ ТИДО́РИ

4146 Когда средь ночи
Я очнулся вдруг от сна,
На отмели речной
Так плакали тидори,
Что сердце сжалось у меня.

4147 Тидори у реки, что постоянно плачут
Ночной порой!
Недаром, вижу я,
И раньше, в древности, бывали люди,
Что восторгались вами по ночам...

[*Из песен, сложенных в мечтах о рыцарской славе*]

4165 Пусть рыцари свои прославят имена,
Хочу, чтобы в грядущие столетья
Те люди, до кого дойдет о нас молва,
Ее передавали вечно —
Из века в век, из уст в уста!

[*Из песен, воспевающих кукушку и цветы фудзи*]

4193 Ведь даже от легчайших взмахов крыльев
Кукушки, распевающей средь лета,
Цветы осыпались,—
Как видно, час расцвета уже прошел для вас,
Цветы лиловых фудзи!

⟨[Седьмой год Тэмпё-сёхо], девятнадцатый день второй луны⟩

ПЕСНЯ, СЛОЖЕННАЯ ОТ ЛИЦА ВОИНА, УХОДЯЩЕГО В ПОГРАНИЧНЫЕ СТРАЖИ, ПЕРЕДАЮЩАЯ ЕГО ЧУВСТВА И РАССКАЗЫВАЮЩАЯ О ЕГО ДУМАХ

4398 Императора приказу
С трепетом внимаю я,
Расстаюсь с женой своей,
Тяжела разлука мне.
Но отважный дух бойца
Я спешу поднять в себе,
Снаряжаюсь в дальний путь,
За ворота выхожу.
И родная мать моя
Гладит ласково меня,
И, как вешняя трава,
Юная моя жена
Держит за руки меня.
Чтоб спокоен был мой путь,—
Приношу мольбу богам.
«Счастлив будь в своем пути,
Возвращайся поскорей»,—
Говорят жена и мать
И, одежды рукавом
Слезы смахивая с глаз,
Причитают надо мной,
Мне напутствия твердят.
Как взлетает стая птиц,—
Трогаюсь в дорогу я.
Но все мешкаю в пути,
Все оглядываюсь я.
И все дальше ухожу,
Расстаюсь с родной землей,
Высоко взбираюсь я,
Через горы перейдя,
Прибываю в Нанивá,
Где в зеленых тростниках
Осыпаются цветы...
Ввечеру, когда прилив,
Выплываю на ладье,
Поутру, в затишья час,
Ветра жду, спеша ладью
Повернуть в обратный путь,
А пока передо мной

Дымкой вешнею туман
Закрывает острова,
Крики дальних журавлей
Так печально здесь звучат,
И когда их слышу я,
Вспоминаю дом родной,
Что далеко от меня,
И горюю я о нем
Так, что стрелы за спиной
Стонут жалобно со мной!

Каэси-ута

4399 Когда ночами, полные печали,
Звучат у моря крики журавлей
И дымкою туман
Плывет в морские дали,—
Тоскую я о родине моей!

4400 Когда о доме я тоскую
И ночи провожу без сна в пути,
Из-за весенней дымки
Мне не видно
Зеленых тростников, где плачут журавли!

⟨[*Третий год Тэмпё-ходзи*], *весна*, *первый день первой луны*⟩

ЗАСТОЛЬНАЯ ПЕСНЯ НА ПИРУ, УСТРОЕННОМ В УПРАВЛЕНИИ ПРОВИНЦИИ ИНАБА ДЛЯ НАЧАЛЬНИКОВ УЕЗДОВ И ЧИНОВНИКОВ

4516 Снег белый, падающий с неба
Весною раннею,
Сегодня, в Новый год,
О, падай, падай же сильнее,
Приход твой счастье нам несет!

Н У К А Д А

ПЕСНЯ, КОТОРОЙ ПРИНЦЕССА НУКАДА ОТВЕТИЛА, КОГДА ГОСУДАРЬ ПОВЕЛЕЛ МИНИСТРУ ДВОРА ФУДЗИВАРА [КАМАТАРИ] УСТРОИТЬ СПОР О ТОМ, ЧТО ЛУЧШЕ — ПРЕЛЕСТЬ МНОЖЕСТВА ЦВЕТОВ В ВЕСЕННИХ ГОРАХ ИЛИ КРАСКИ ТЫСЯЧИ ЛИСТЬЕВ СРЕДИ ОСЕННИХ ГОР

16 Все засыпает зимою.
А когда весна наступает,
Птицы, что раньше молчали,
Начинают петь свои песни.

Цветы, что невидимы были,
Цвести начинают повсюду,
Но их сорвать невозможно,
Так в горах разросся кустарник.
А сорвешь — нельзя любоваться,
Такие высокие травы.
А вот осенью — все иное:
Взглянешь на купы деревьев,
Алые клены увидишь,
Листья сорвешь, любуясь.
А весной зеленые листья,
Пожалев, оставишь на ветке.
Вот она — осени прелесть!
Мне милей осенние горы!

ПЕСНЯ, СЛОЖЕННАЯ ПРИНЦЕССОЙ НУКАДА ВО ВРЕМЯ ЕЕ ОТЪЕЗДА В ПРОВИНЦИЮ ОМИ

17 Сладкое вино святое,
Что богам подносят люди...
Горы Ми́ва!
Не сводя очей с вершины,
Буду я идти, любуясь,
До тех пор, пока дороги,
Громоздя извилин груды,
Видеть вас еще позволят,
До тех пор, пока не скроют
От очей вас горы Нара
В дивной зелени деревьев.
О, как часто,
О, как часто
Я оглядываться буду,
Чтобы вами любоваться!
И ужель в минуты эти,
Не имея вовсе сердца,
Облака вас прятать могут
От очей моих навеки?

Каэси-ута

18 Горы Мива,
Неужели скроетесь теперь навеки?
О, когда бы в небе этом
Облака имели сердце,
Разве скрыли б вас от взора?

ПЕСНЯ, СЛОЖЕННАЯ ПРИНЦЕССОЙ НУКАДА, КОГДА ГОСУДАРЬ [ТЭНДЗИ] ОХОТИЛСЯ НА ПОЛЯХ КАМО

20 Иду полями нежных мураса́ки,
Скрывающих пурпурный цвет в корнях,
Иду запретными полями,
И, может, стражи замечали,
Как ты мне машешь рукавом?

ПЕСНЯ ПРИНЦЕССЫ НУКАДА, СЛОЖЕННАЯ В ТОСКЕ ПО ГОСУДАРЮ ТЭНДЗИ

488 Когда я друга моего ждала,
Полна любви,
В минуты эти
У входа в дом мой дрогнула слегка бамбуковая штора,—
Дует ветер...

ОТОМО САКАНОЭ

ПЕСНИ ОТОМО САКАНОЭ, ПОСЛАННЫЕ ФУДЗИВАРА МАРО

527 Скажешь мне: «Приду»,—
А, бывало, не придешь,
Скажешь: «Не приду»,—
Что придешь, уже не жду,
Ведь сказал ты: «Не приду».

528 У переправы на реке Сахо,
Где слышен постоянно крик тидори,
Там, где речная отмель широка,
Дощатый мостик перекину для тебя,—
Все думаю, что ты придешь, любимый!

ПЕСНЯ УПРЕКОВ, СЛОЖЕННАЯ ОТОМО САКАНОЭ

619 Словно корни камыша,
Что уходят глубоко
В землю в бухте Нанива́,
Озаренной блеском волн,
Глубока твоя любовь,—
Говорил ты мне тогда.

Оттого, что клялся мне
Верным быть в своей любви
Ты на долгие года,—
Сердце чистое свое,
Словно чистый блеск зеркал,
Отдала тебе навек.
И был гранью этот день
Для моей любви к тебе...
Как жемчужная трава
Клонится у берегов
С набегающей волной
В эту сторону и ту,—
В эту сторону и ту
Сердцем не металась я,—
Как большому кораблю,
Я доверилась тебе...
Сокрушающие мир
Боги ль разделили нас?
Или смертный человек
Нас с тобою разлучил?
Но тебя, что навещал
Каждой ночью,—
Нет теперь...
И гонца, что приходил
С веткой яшмовой,—
Все нет...
И от этого в душе
Нестерпима нынче боль!
Ягод тутовых черней —
Черной ночью напролет,
С ярко рдеющей зарей —
До конца весь долгий день —
Все горюю о тебе,
Но напрасна скорбь моя!
Все тоскую о тебе,
Но не знаю, как мне быть?
И недаром говорят
Все,
Что женщина слаба,
Словно малое дитя,
Только в голос плачу я
И брожу, блуждая, здесь.
Не дождаться, верно, мне
Твоего гонца...

Каэси-ута

620 Когда б ты с самого начала
Не уверял,
Что это — навсегда,
То разве тосковала б я
Так безутешно, как тоскую ныне?!

ИЗ «СЕМИ ПЕСЕН ГОСПОЖИ ОТОМО САКАНОЭ»

687 О, любящее мое сердце,
Что думает: «Прекрасен ты!» —
Оно, как воды быстрые реки:
Пускай плотины не дают бежать потокам,
Те все равно сметут помехи на пути!

688 Заметно для других, подобно облакам,
Что горы голубые рассекают,
Прошу тебя:
Ты, улыбаясь мне,
Не делай так, чтоб люди догадались!

689 Ни горы, ни моря
Не разделяют нас,
Но почему мы редко стали
И видеться
И говорить с тобой?..

ДВЕ ПЕСНИ ОТОМО САКАНОЭ, ПОСЛАННЫЕ ИЗ ПОМЕСТЬЯ ТАКЭ́ДА СТАРШЕЙ ДОЧЕРИ

760 Как плачущий журавль
Среди равнин Такэда,
Раскинувшихся далеко вокруг,
И день и ночь тоскует о подруге,—
Так я тоскую о тебе!

761 Полна тоски,
Опоры не имея,
Как птица средь теченья
Быстрых рек,
О ты, дитя мое, как я тебя жалею!

ПЕСНЯ ОТОМО САКАНОЭ О МОЛОДОМ МЕСЯЦЕ

993 Месяц миновал —
И зачесалась бровь,
Тонкая, как месяц молодой:
Верно, встреча будет мне с тобой,
О котором долго тосковала!

ПЕСНЯ ОТОМО САКАНОЭ, СЛОЖЕННАЯ НА ПОЭТИЧЕСКОМ ТУРНИРЕ СРЕДИ СВОИХ РОДСТВЕННИКОВ

995 Беспечно веселясь,
Давайте пить вино!
Ведь даже травам и деревьям
Весною суждено цвести,
А осенью — опасть на землю!

ПЕСНЯ ОТОМО САКАНОЭ ОБ ИВЕ

1432 Любимый мой,
Наверно, будет любоваться
Зеленой ивой на пути в Сахо...
Хотя бы веточку он мне сорвал в дороге!
О, если б на нее могла и я взглянуть!

ПЕСНЯ О ПОЗДНИХ ХАГИ ГОСПОЖИ ОТОМО САКАНОЭ

1548 Цветок прекрасный нежных хаги
Приносит нам печаль, коль поздно расцветет,
Но с сердцем медленным,
Где чувство запоздало,
Могу ли я его сравнить?

ПЕСНЯ [ОТОМО САКАНОЭ], ПОСЛАННАЯ В ПРОВИНЦИЮ ЭТТЮ

3929 Ах, тебя, что в путь ушел далекий,
Вижу в сновиденьях
Каждый раз,
Оттого что словно заросли густые
Одинокая моя любовь.

ТАКЭТИ КУРОХИТО

ПЕСНИ СТРАНСТВОВАНИЯ

271 В Сакура́ на поля
Журавли надо мной пролетают, крича...
Верно, в бухте Аютигата́
С берегов теперь схлынул прилив:
Журавли надо мной пролетают, крича...

272 Мой челн!
Пристанем
К гавани Хира́!
Не удаляйся больше в море:
Уже спустилась ночь, и всюду темнота!

279 Моей любимой
Я показывал Ина́ну...
Когда же я ей показать смогу
И горы На́суги, и берега Цуну́
С зеленою сосновой рощей?

КАСА КАНАМУРА

ПЕСНЯ КАСА КАНАМУРА, СЛОЖЕННАЯ ИМ, КОГДА ОН ОТПЛЫВАЛ НА КОРАБЛЕ ИЗ ГАВАНИ ЦУНУ́ГА

366 От Цунуга-берегов
Я отплыл
В страну Коси́.
На огромном корабле,
Много весел закрепив,
Вышли на простор морской.
И когда, спеша вперед,
По морю мы стали плыть,
В бухте дальней Таю́
Показался легкий дым...
То рыбачки над костром
Выжигали соль вдали.
Но в пути скитаюсь я,
Где подушкой на земле
Служит страннику трава,
И печально мне смотреть
Одному на этот дым...

Перевязь из жемчугов,
Что сверкали на руках
У владыки вод морских,
На себя теперь надев,
Полон я тоски и дум
О далеких островах,
О Ямато-стороне́.

Каэси-ута

867 Когда взглянул я,
Находясь в пути,
На бухту Таюи в Коси, на море,—
Чудесной красотой сверкало все вокруг,
И сердцу дорога была страна Яма́то!

ПЕСНЯ, СЛОЖЕННАЯ У ГОРЫ ИКАГО

1532 О, даже тот, кто в дальний путь идет,
Где травы служат изголовьем,
Когда цветов коснется, уходя,
Как будет он благоухать тогда
Раскрывшимися лепестками хаги!

ИЗ «ПЛАЧЕЙ» СЕДЬМОГО СВИТКА

1411 Кого среди людей назвать счастливым?
Того, кто милой слышит голос
И в пору ту,
Как черный волос
Уже становится седым!

СТАРИННЫЕ ПЕСНИ, В КОТОРЫХ ПОСЛАНЦЫ, ОТПРАВЛЕННЫЕ В СИРАГИ, И ИХ ЖЕНЫ И ВОЗЛЮБЛЕННЫЕ, ПЕЧАЛЯСЬ В РАЗЛУКЕ, ШЛЮТ ВЕСТИ И ОТВЕТЫ, ВЫРАЖАЯ СВОИ ДУМЫ И ЧУВСТВА ЗА ВРЕМЯ МОРСКОГО ПУТИ И ПОСЕЩЕНИЯ РАЗНЫХ МЕСТ

3578 Как прибрежные птицы у бухты Мукó,
Прикрывая крылом, охраняют птенца,
Так берёг ты меня,
И в разлуке с тобой,
Верно, мне суждено умереть от тоски...

3579 Если б только могла дорогая моя
Быть со мною в пути
На большом корабле,
Так хотелось бы плыть и лелеять ее,
Словно птица птенца, прикрывая крылом.

3580 Когда причалишь ты
У дальних берегов
И встанет пред тобой густой туман,
Знай — это горький вздох, дошедший до тебя,
Чтоб рассказать о горести моей!

ПЕСНИ-ПОСЛАНИЯ, КОТОРЫМИ ОБМЕНИВАЛИСЬ В РАЗЛУКЕ НАКАТОМИ ЯКАМОРИ, НАХОДЯЩИЙСЯ В ИЗГНАНИИ, И ЕГО ВОЗЛЮБЛЕННАЯ САНО ОТОГАМИ

ИЗ ПЕСЕН-ПОСЛАНИЙ САНО ОТОГАМИ

3724 Пусть с небес сошел бы вдруг огонь
И разрушил бы навек и сжег дотла
Все далекие и трудные пути,
По которым нужно
Странствовать тебе!

3725 Когда будешь уходить,
Любимый мой,
Помаши мне белотканым рукавом!
Не спуская глаз я буду вдаль смотреть,
Думая с любовью о тебе!

ИЗ ПЕСЕН-ПОСЛАНИЙ НАКАТОМИ ЯКАМОРИ, СЛОЖЕННЫХ В ПУТИ

3727 Я еще не стал
Ни прахом, ни землей,
А из-за меня
Ты уже в волненье и тоске.
Вот она — печаль возлюбленной моей!

ПЕСНИ НАКАТОМИ ЯКАМОРИ [СЛОЖЕННЫЕ В ИЗГНАНИИ]

3731 Весь я в думах и заботах о тебе,
О, когда бы встретиться с тобой
Хоть на краткий миг,—
Ведь без твоих очей
Вряд ли я смогу на свете жить!

3734 Горы дальние,
Заставы миновал,
Прежде чем явился я сюда...
О, тоска, когда не можешь больше
Встретиться с любимой никогда!..

3740 О, если только нет совсем богов
На небе и земле,
О, только лишь тогда
Мне будет суждено судьбою умереть,
Не встретившись с тобой, любимая моя!

ИЗ ПЕСЕН-ПОСЛАНИЙ САНО ОТОГАМИ

3745 Если будем живы мы с тобой,
Значит, встречи нам не миновать!
Ах, из-за меня
Не горюй так сильно, милый мой,—
Лишь бы только довелось дожить!

3747 Не спуская взора с зелени сосны,
Что растет у дома моего,
Буду ждать тебя,—
Скорей ко мне вернись,
О, пока не умерла я от тоски!

ИЗ ПЕСЕН-ПОСЛАНИЙ НАКАТОМИ ЯКАМОРИ

3754 О, когда бы только мог
Без помех кукушкой пролетать
Над заставой, выстроенной здесь,
Верно, без конца бы я тогда
Прилетал к возлюбленной моей!

3755 С милою моей,
Что сердцу дорога,
Разлучен навеки я сейчас,
Реки, горы разделяют нас,
И покоя не найти душе!..

3776 И сегодня, если б только я
Вдруг в столице очутиться мог,
Я мечтал бы вновь увидеться с тобой
И, наверно, стоя у ворот западной конюшни,
Ожидал тебя!

ИЗ ПЕСЕН-ПОСЛАНИЙ САНО ОТОГАМИ

3777 Ни вчера, ни нынче — никогда
Не встречаюсь я теперь с тобой,
И как быть, что делать мне,
Не знаю я...
И лишь в голос громко плачу здесь!

3778 Платья белотканого рукав,
Платья, что дала тебе с собой,
В руки ты возьми,
Молись, любимый мой,
До тех пор, пока не встретимся опять!

ИЗ ПЕСЕН-ПОСЛАНИЙ НАКАТОМИ ЯКАМОРИ

3781 Когда в пути я думы думаю свои,
Грустя, что милая отныне далека,
Кукушка!
Песен понапрасну ты не пой,
Еще сильней от них моя тоска!

3784 У этой птицы,
Вижу, сердца нет!
Кукушка,
В час, когда тоски я полон,
Как можешь ты еще здесь звонко петь?

3243 В этой бухте Нагато́ —
Длинные ворота,
Длинные, как волокно
Пряжи конопляной,
Той, что девушки кладут
В деревянный чан...
Как затишье поутру,
Набегает там прилив,
Как затишье ввечеру,
Приливают волны там.
И как бурный тот прилив
Набегает все сильней,
И как волны те встают,
Вырастая и шумя,
Так же милую мою
Все сильнее я люблю!
И отсюда видно мне,
Как на дальнем берегу
Каменистом, где всегда
Море плещется в Аго́,
Девушки-рыбачки те
Собирают корни трав
Возле берегов
И как машут мне они
Белотканым рукавом.
И сверкают шарфы их,
Шеи нежные обняв,
И слегка-слегка звенит
Жемчуг на запястьях рук.
Верно, так же как и я,
Каждая из них грустит...

Каэси-ута

3244 Словно в море у Аго
Эти волны, что бегут
К каменистым берегам,
У любви моей к тебе
Нету срока и конца!

3245 Если бы небесный мост
Был еще длинней,
А высокая гора
Выше поднялась,
Я бы мог тогда пойти
И достать живой воды,
Что хранит на небесах
Божество луны,
И принес бы в дар тебе,
Чтобы юность возвратить.

Каэси-ута

3246 Не под силу видеть нам,
Как стареешь день за днем
Ты, которого мы чтим,
Словно солнце и луну,
Что сияют в небесах!

ПЕСНИ-ПЕРЕКЛИЧКИ

(ПЕСНИ ЛЮБВИ)

Пусть в Ямато,
Пусть в стране
Распростертых островов,
Много разных есть людей,
Что живут в ней с давних пор,
Но, как волнами цветы
Ниспадают до земли
С веток фудзи,
Так к тебе
Мысли тянутся мои.
И, как вешняя трава,
Ты, о ком я полон дум!
По очам твоим грустя,
Верно, не смыкая глаз,
Провести придется мне
Нескончаемую ночь...

Каэси-ута

3249 Если б только думал я,
Что в Ямато, что в стране
Распростертых островов,
Есть еще одна, как ты,—
Разве горевал бы я?

ИЗ НЕИЗВЕСТНОЙ КНИГИ

3281 Жду тебя, любимый мой.
Не приходишь ты,
Гуси дикие кричат,
Холодно от криков их.
Ягод тутовых черней,
Ночь спустилась к нам,
Ночь спустилась, и когда
Буря началась,
Вышла я и стала ждать,
И на мой рукав
Выпал иней и застыл,
Превратившись в лед.
Снег упал и льдом замерз,
Неужели и теперь
Не придешь ко мне?
Значит, встретимся потом,
В майский день
Зеленый плющ
Ложем будет нам!
Как большому кораблю,
Доверяю я тебе,
Но покуда наяву
Я не встретилась с тобой,
Хоть во сне явись ко мне,—
Ночью у небес молю...

Из «Каэси-ута»

3282 Зимний ветер дует
В рукава одежды...
Мне холодной ночью
Не уснуть сегодня
Без тебя, любимый...

ПЛАЧИ

(ПЛАЧ О ПОГИБШЕМ СТРАННИКЕ)

3336 Возле моря, где слышны
Крики жалобные птиц,
За высокими горами,
Что скрывают край родной,
На зеленом изголовье
Из морских прибрежных трав,
Словно бабочка, летя
Прямо на огонь,
Здесь, на дальнем берегу,
Возле моря, где порой
Ловят чудище-кита,
Он лежит без чувств, без дум,
Спящий человек.
Может, есть отец, и мать,
И любимое дитя,
И прелестная жена,
Словно вешняя трава,
Может быть, он им хотел
Передать любви слова,
Что на сердце у него?
Если спросишь: «Где твой дом?» —
Дома он не назовет.
Если спросишь: «Как зовут?» —
Имени не скажет он.
Словно малое дитя
Плачущее, он в ответ
Не промолвит ничего.
Как ни думай, ни тоскуй,
Но печальная судьба —
Здесь, на этом свете жить!

Из «Каэси-ута»

3337 И отец, и мать,
И жена, и дети там,
Верно, ждут, когда придет,
Неотступно глядя вдаль...
Вот она, печаль людей!

ОНО ТАКАМУРА

* * *

Все, все бело! Глаза не различат,
Как тут смешался с цветом сливы снег...
Где снег? Где цвет?
И только аромат
Укажет людям: слива или нет?

СОДЗЁ ХЭНДЗЁ

Сложил стихи под сенью дерев храма Облачный Лес

Удрученный миром
К подножью старинных дерев
Всем сердцем стремится.
Увы, безнадежная сень —
Скоро листы опадут!

АРИВАРА НАРИХИРА

В начале третьей луны, после того как втайне свиделся он с одной дамой, а дождь все время накрапывал уныло, сложил стихи и послал их ей:

Ни бодрствую, ни сплю,—
И так проходит ночь...
Настанет же рассвет —
Весенний долгий дождь
И думы о тебе.

Поэт был знаком, хотя и не предавался этому всем сердцем, с одной дамой, жившей в западном флигеле дворца государыни Годзё. Вдруг десятого числа первой луны она скрылась в другое место. Хоть и узнал он, где она теперь находится, но поговорить с ней никак не мог. И вот, на следующий год, порою той же луны, когда в полном цвету были сливы, в ночь, когда была так красива луна, он, мечтая о прошлой любви, пришел к тому западному флигелю и лежал там на запущенной галерее до самого заката луны; и сложил:

Луна... Иль нет ее?
Весна... Иль это все не та же,
Не прежняя весна?
Лишь я один
Все тот же, что и раньше, но...

---

* * *

Все дальше милая страна,
Что я оставил...
Чем дальше, тем желаннее она,
И с завистью смотрю, как белая волпа
Бежит назад, к оставленному краю...

* * *

Как будто аромат душистой сливы
Мне сохранили эти рукава,
Лишь аромат...
Но не вернется та,
Кого люблю, о ком тоскую...

Когда я сопровождал принца Корэтакá на охоту, мы остановились возле потока, прозванного «Небесная Река». После того, как выпил я вина, принц повелел мне: «Сложи стихотворение о том, как охота привела нас к «Небесной Реке», и передай чарку». И вот я сложил:

Охотника долгий путь!
Сегодня к звезде Ткачихе
Я попрошусь на ночлег.
В скитаньях моих неприметно
Пришел я к «Небесной Реке».

Сочинено во дворце Нáгиса-ин

О, если б на свете
Вовек не бывало вас,
Цветущие вишни!
Наверно, тогда бы весною
Утишилось сердце мое.

ОНО-НО КОМАТИ

Гляжу на вишенный цвет в пору длинных дождей

Распустился впустую,
Минул вишенный цвет,—
О, век мой недолгий!
Век не смежая, гляжу
Взглядом, долгим, как дождь.

* * *

Оборваны корни
Плавучей, плакучей травы...
Так и я бесприютна!
С легкой душой поплыву по теченью,
Лишь только услышу: плыви!

* * *

Это всё сердце мое,
Что отплыть я решилась
В такой непрочной ладье:
Всякий день ее заливают
Невольные горькие волны.

* * *

Погоди, о кукушка,
Летунья в сумрак заочный,
Передашь известье:
Что я в этом дольнем мире
Жить отчаялась доле.

Думала, что́ они мне,
Эти белые облака
Над вершинами гор?!
А они меж нами
Все выше, выше встают...

* * *

Думала-все о нем
И нечаянной дремой забылась.
И тогда увидала его.
О, постичь бы, что это сон,—
Разве бы я проснулась?!

* * *

От студеного ветра
Краснеют и осыпаются...
Тихо, словно тайком,
Слой за слоем ложатся на сердце
Листья горестных слов.

* * *

Печальна жизнь. Удел печальный дан
Нам, смертным всем. Иной не знаем доли.
И что останется?
Лишь голубой туман,
Что от огня над пеплом встанет в поле.

* * *

Он на глазах легко меняет цвет
И изменяется внезапно.
Цветок неверный он,
Изменчивый цветок,
Что называют — сердце человека.

* * *

Пусть скоро позабудешь ты меня,
Но людям ты не говори ни слова...
Пусть будет прошлое
Казаться легким сном.
На этом свете все недолговечно!

* * *

С тех самых пор, как в легком сновиденье
Я, мой любимый, видела тебя,
То, что непрочным сном
Зовут на свете люди,
Надеждой прочной стало для меня!

ФУНЪЯ ЯСУХИДЭ

* * *

Он дыханьем своим
Губит осенние травы,
Ветки деревьев крушит.
Буйствуя, имя «бури»
Горный вихрь заслужил.

ОТОМО КУРОНУСИ

* * *

Дождик вешний
Каплет... А может быть, слезы?
Осыпаются вишни...
Кто в целом мире ныне
Не оплачет разлуку с цветами?

КИ-НО МОТИЮКИ

Посадили вишню, но когда лепестки ее должны были вот-вот раскрыться, тот, кто посадил ее, умер

Цветов самих
Мимолетнее оказался
Человеческий век.
В недоуменье гляжу:
Вначале скорбеть мне о ком?

ФУДЗИВАРА ТОСИЮКИ

* * *

Хотя бы в час ночной, когда волна
О берег плещется в заливе Суминоэ,
Приди ко мне во сне:
Ведь на тропинках сна
Никто следить не будет за тобою...

ÓНО САДÁКИ

* * *

Когда в столице, может быть, случайно
Тебя вдруг спросят, как я здесь живу,
Ты передай:
Как выси гор туманны,
Туманно так же в сердце у меня.

КИ-НО ТОСИСАДА

* * *

Хоть знаю я: простились мы сегодня,
А завтра я опять приду к тебе,—
Но все-таки...
Как будто ночь спустилась,
На рукаве дрожат росинки слез...

ИСЭ

* * *

Бывает, в дни, когда одна грущу,
На рукавах моих атласных,
От слез промокших,—
Даже лик луны,
Внезапно отразившись, тоже плачет...

* * *

Ужель всю жизнь не встречу я тебя?
Хотя б на миг один была надежда...
Лишь на короткий миг,—
Как в бухте Нанива
Коленца коротки у тростников прибрежных!

СОСЭЙ-ХОСИ

* * *

Существовали ль в древние года
По тысяче веков живущие иль нет —
Не знаем мы.
Но пусть тогда с тебя
Начнется жизнь во много тысяч лет!

* * *

«Сейчас приду»,— мне прошептала ты,
Но так словами и осталось это.
Ты не пришла...
Весь долгий путь луны
Я проследил до самого рассвета!

Сложил стихи, глядя, как сыплется снег на деревья

Должно быть, весною
Он принял их за цветы...
Поет соловей
На ветке, унизанной часто
Хлопьями белого снега!

* * *

Лишь молвой о тебе до поры
Держится мимолетная жизнь —
Росинка на хризантеме...
Ночью бессонный лежу,
Днем — безнадежный — исчезну.

ОЭ ТИСАТО

* * *

Криком я кричу,
И тяжко мне от слез,
Но когда ты спросишь, то отвечу я,
Что рукав атласный мой слегка намок
От случайного весеннего дождя!..

СУГАВАРА МИТИДЗАНЭ

Во время путешествия государя Судзаку-ин сказал перед горой «Жертвенный дар» возле города Нара:

Не успели, трогаясь в путь,
Мы даже «нуса» принести,
Гора «Жертвенный дар».
Пусть кленов твоих парча
Порадует сердце бога!

Перед тем, как отправиться в изгнание, сказал, глядя на сливу, растущую возле дома:

Пролей аромат,
Лишь ветер с востока повеет,
Слива в саду!
Пускай твой хозяин далёко,
Не забывай весны!

КИ-НО ТОМОНОРИ

* * *

Как пояса концы — налево и направо
Расходятся сперва, чтоб вместе их связать,—
Так мы с тобой:
Расстанемся — но, право,
Лишь для того, чтоб встретиться опять!

* * *

Ах, сколько б ни смотрел на вишни лепестки
В горах, покрытых дымкою тумана,—
Не утомится взор!
И ты, как те цветы...
И любоваться я тобою не устану!

* * *

Как тает иней, павший на цветы
Расцветших хризантем невдалеке от дома,
Где я живу,—
Так, жизнь, растаешь ты,
Исполненная нежною любовью!

КИЁВА́РА ФУКАЯ́БУ

* * *

Стоит зима, а с облачного неба
На землю падают прекрасные цветы...
Чтó там, за тучами?
Не наступила ль снова
Весна, идущая на смену холодам?

АРИВА́РА МОТОКА́ТА

Весна началась в старом году, сложил в этот день стихи

На исходе года
Весна внезапно настала,
И теперь не знаю,
Сказать ли о годе: прошлый,
Сказать ли о годе: этот?

ФУДЗИВА́РА КОТОНА́О

* * *

Весна ль тороплива,—
Медлит ли сливовый цвет,
Я бы тотчас расслышал
По первому тихому клику,
Но ещё не поет соловей!

МИНАМОТО МАСАДЗУМИ

* * *

Ручьи растопил
Ветер в горных долинах.
В разрывы льда
Выливаются светлые волны,—
Первые цветы весны.

КИ́-НО ЦУРА́ЮКИ

Сложил стихи в день, когда началась весна

Рукава замочив,
Я черпал приго́ршнями воду
Промерзлого ныне ключа...
Этот первый весенний ветер,
Верно, растопит лед...

Увидев, что вишневые деревья, посаженные у дома одного человека, впервые расцвели

В нынешнем году
Впервые весну узнали
Вишен цветы...
О, когда б они научились
Не опадать вовеки!

* * *

Запах цветов
Пропитал глубоко
Одежду мою...
Под сенью вишен
Мановеньями ветра.

* * *

Сердце мое
Унеслось от меня и скиталось
По вешним горам,
Долгий-долгий день
Оно прожило сегодня.

* * *

Туман весенний, для чего ты скрыл
Цветы вишневые, что ныне облетают
На склонах гор?
Не только блеск нам мил —
И увяданья миг достоин восхищенья!

* * *

Да, сном, и только сном, должны его назвать!
И в этом мне пришлось сегодня убедиться:
Мир — только сон...
А я-то думал — явь,
Я думал — это жизнь, а это снится...

* * *

Подует ветер — и встает волна.
Стихает ветер — и волна спадает.
Они, должно быть,
Старые друзья,
Коль так легко друг друга понимают!

* * *

Узоры пестрые на ряби волн
От тени, брошенной зеленой ивой,
Чьи ветви тонкие
Сплелись красиво,—
Как будто выткали их на воде!

* * *

Волна у берега одета белой пеной,
Снег седины на волосах моих.
Из нас двоих —
Кто кажется белее?
Ответ мне дай, страж островов морских!

* * *

Как сквозь туман, вишневые цветы
На горных склонах раннею весною
Белеют вдалеке,—
Так промелькнула ты,
Но сердце все полно тобою!

* * *

Стоит зима — и вдруг, совсем нежданно,
Между деревьями увидел я цветы,—
Так показалось мне...
А это — хлопья снега,
Сверкая белизной, летели с высоты!

* * *

Весной, когда зеленой ивы нити
Все сплетены в узоре меж собой,
Цветы соседние раскроют вдруг бутоны
И, нити разорвав у ивы молодой,
Покажутся среди листвы зеленой...

* * *

Не звезда ли сегодня со звездой расстается?
Над Небесной Рекой встал туман, и повсюду
Все туманом закрылось...
Чей призыв раздается?
Чайка в голос рыдает!

ОТИКОТИ МИЦУНЭ

* * *

Как видно, ветер дует неумело!
Сверкая белизною, облака
Не уплывают вдаль...
Ах, это горная вода, мчась с крутизны,
Сверкает белой пеной!

* * *

Когда на старой ветке хаги
Осеннею порой
Цветы раскрылись вновь,
Я понял — прежнюю любовь
Еще не позабыло сердце!

* * *

Не думаю, что очень долги ночи
Осеннею порой, —
Давно идет молва,
Что ночь и осенью покажется короче,
Когда любимая твоя — с тобой!

* * *

Осенними полями я бродил,
Стал влажен от росы
Шелк белых рукавов,
И ныне рукава промокшие мои
Благоухают запахом цветов!

* * *

Вы, утки,
Что живете здесь, в пруду,
Порою зимнею,
Не говорите людям,
Что я сюда к любимой прихожу!

* * *

Снег все идет... И вот уже никто
Не ходит больше этою тропою,
Мне не найти на ней твоих следов...
И чувствам прежним
Трудно не угаснуть...

* * *

Ах, лунной ночью их увидеть невозможно!
У нежных слив и лунного луча
Цвета одни.
И лишь по аромату
Узнаешь, где цветы, и сможешь их сорвать!

Слушая голоса пролетных гусей, задумался о друге, что бредет теперь по горным кручам в стране Коси

Ведь с началом весны
Возвращаются гуси на север!
Если догонят его
Там, меж белыми облаками,
Пусть обо мне поведают.

МИБУ ТАДАМИНЭ

* * *

Даже древо луны,
Вечнозеленый коричник,
Золотом заалел
По-осеннему: не оттого ли
Луна сильней засияла?

* * *

Лишь ветер дохнет,
Покинет белое облачко
Вершину горы.
Ужель до того равнодушно,
Любимая, сердце твое.

* * *

Будто ветер осенний
Тронул струны цитры чуть-чуть...
Только слабый отзвук,
Но уже взволновано сердце
Воспоминаньем любви.

* * *

Небеса затемнив,
Белый снег под своей пеленою
Тает в глубине.
Так сердце мое неприметно
Исходит тоской по тебе.

ФУДЗИВАРА ОКИКАДЗЭ

* * *

Кого избрать в друзья на этом свете?
Быть может, верную сосну в Такасаго?
Но это ведь не друг
Моих времен далеких —
Таких друзей, увы, давно уж нет...

МИНАМОТО МУНЭЮКИ

* * *

Нет печали сильней,
Чем зимою в горном селенье,
Лишь помыслю, как далеки
От влаги земной — травы,
Я — от взора людского.

* * *

И даже хвоя у простой сосны,
Что ни в какую пору от начала
Своих иголок цвета не меняла,—
С приходом нынешней весны
Как будто зеленее стала!

САКАНОЭ КОРЭНОРИ

* * *

Ах, даже отраженная в воде
Расцветшая недавно хризантема
Сегодня стала вянуть на глазах...
Возможно ль, что на дне, под голубой волною,
Ложится тоже иней иногда?

* * *

Будто бы луна внезапно озарила
Небо, разливая белый свет,—
Так сверкает
В Ёсино повсюду
Выпавший на землю белый снег!

СОНЭ ЁСИТАДА

ИЗ [ВРЕМЕН ГОДА]

ИЗ ПЕСЕН ВЕСНЫ

* * *

Выглянули едва
Из корней тростника прозябших
Рогатые стебельки...
В этот миг на брегах Мисима́э
Ночь дохнула начальной весной.

* * *

В глухих теснинах реки
«Гремящего водопада»,
Верно, истаяли льды...
Верно, в полночь задует
Первый весенний ветер.

* * *

С какою негой лучится
Нынешним утром
Солнце на кручах гор.
С обледенелых каменных стрех —
Сияющая капель.

* * *

С вершин оснеженных
Весенний ветер слетел,
И ветру вослед
Утром в нагорных ручьях
Вздулись талые воды.

* * *

Сам, по воле своей,
Ветер весенний к себе
Зазвал погостить...
Куда же он делся теперь,
Тающий лед?

* * *

Еще не растаяли
Заледенелые водопады
На горе Кагу́ма,
А уж в отрогах Ёсино
Сгинул последний снег.

* * *

Утки будто застыли
На узком заливе моря.
К изнанке тонкого льда
Медленно поднимаются
Придонные сор и грязь.

ИЗ ПЕСЕН ЛЕТА

Священное омовенье...
Но ветерок пробежал
Над рекою Камо́.
Рядом с любимой войду
В прохладную воду.

ИЗ ПЕСЕН ОСЕНИ

С тех самых сумерек,
Когда рассталась со мною
Моя любимая,
Я почуял, как холодны ночи,
Как печальна осень.

[*Сокол*]

В гнездо заглянул:
Два лета усердно
Пестовал я его...
Как по осени ло́снятся живо
Крылья и хвост!

* * *

Теперь холода
Все сильнее с каждою ночью...
Гнется под ветром
Молодого бамбука
Печальный голос.

* * *

Копится пыль,
Скоро горою станет
Мой ночной покой.
Ночь за ночью здесь нет
Той, с которою вместе спал.

* * *

Ни единого уголка!
Всё в яркой, свежей
Осенней луне!
Что же станется ныне
С тенью горы Огура́?

* * *

О ветер осенний,
Осторожнее дуй, не порви...
В жилище моем прореху
Притаил от взгляда чужого
Паук своей паутинкой.

СЕКУ-СЕНИН

Глядя на сосну, пораженную молнией

Тысячелетняя
Дымом уходит сосна...
В мареве этого мира
О в какой же безвестный мир
Молния ударит в меня?!

ИДЗУМИ СИКИБУ

* * *

Что с дымкою вешней,
Разве она не придет?!
С плеском пугливым
В теснину тенистую
Прядает талый ручей.

* * *

Я сравнивала так часто
С благоуханьем твоих одежд
Запах сливовой ветки,
Что научилась предсказывать
Время ее цветенья.

* * *

Я легла, позабыв,
Что спутаны пряди
Черных моих волос.
О, любимый! Он прежде
Их безмолвно расправил.

* * *

Я увидела под деревьями
Охапки красной листвы...
Тщетное подношение.
Верно молвят: в десятой луне
Мир покидают боги.

* * *

Сама белизна —
Росою облитые
Белые хризантемы!
Гляжу и понять не могу:
Может быть, первый иней?

* * *

Из мрака я вновь
На дорогу мрака вступаю
В блужданьях по миру.
Просияй же мне издалёка,
Луна над горною кручей.

Придя на поклонение в горный храм, слышу, как кто-то истово, благостным голосом читает сутру

Думы сжигали меня...
Из «Горящего дома»
Я наконец ушла.
И вот я слышу в тиши
Голос Благого Закона.

В сумерках года печалюсь о своей старости

Стала считать и вижу:
Остатней доли зимы
И той у меня не осталось.
О том, что состарилась я,
Печали нет и в помине.

ЭНКЭЙ-ХОСИ

* * *

Покинутый приют — весь в зарослях плюща.
Тоскливо здесь. Хозяин все забросил.
Нет никого...
И только каждый год
Печальная сюда приходит осень...

АКАДЗОМЭ ЭМОН

Когда потеряла того, кто был мне опорой в жизни, я прибыла в Хацусэ́ и остановилась там на ночлег, люди связали охапку травы и дали мне со словами: «Вот изголовье для вас». В ответ я сложила стихи:

Когда он жил на земле,
В самом далеком странствии
Странницей я не была.
Одна я... Роса окропила
Траву — изголовье мое.

САГАМИ

* * *

Жизнь хоть сейчас
В промен я отдать могу!
Лишь бы сегодня
Не ждать безнадежно тебя,
Как минувшею ночью.

* * *

В сумраке рассвета
Нескончаемы, неудержимы
Роса и слезы...
Одинокая жалоба ветра —
Все, что от ночи осталось.

НОИН-ХОСИ

* * *

Когда покидал я столицу,
Дорожным товарищем моим
Была весенняя дымка.
Но ветер осени свищет теперь
Над заставою Сиракава́.

ФУДЗИВАРА ИЭЦУНЭ

* * *

В селенье, среди гор, дорог как не бывало,
Знакомых тропок будто вовсе нет, —
Не видно ничего...
С листвою кленов алой
Упал на землю ярко-белый снег.

СЮНДО НАМИКИ

* * *

Реки горные разбились о плотины,
Что внизу на водах блещущих воздвиглись
Ветром злым.
Поток остановили
Груды облетевших алых листьев!

ТА́ЙРА КАНЭМО́РИ

* * *

Тонет в глубоких снегах
Горное наше селенье.
Заметена тропа.
Тот, кто пришел бы сегодня,
Тронул бы сердце мое.

СУТОКУ-ИН

* * *

К старым корням цветы,
К родимым гнездовьям птицы
Держат возвратный путь.
Но куда же весна уходит? —
Никто еще не изведал.

НЕИЗВЕСТНЫЕ ПОЭТЫ IX—XII вв.

* * *

Где ж началась она,
Первая весенняя дымка?
Ведь здесь, в Миёсино,
На склоны Ёсинояма
Сыплется, сыплется снег...

* * *

На исходе снега
Весна внезапно настала.
Теперь, наверно,
Растают заледенелые
Соловьиные слезы.

* * *

На ветку сливы
Слетел соловей и, сердцем
Весну привечая,
Распевает, но все еще
Сыплется, сыплется снег...

* * *

Не мог он сдержать
Тревожного нетерпенья,
Тот, кто ветку сломал.
Он подумал: это цветы,—
Снег накануне капели...

* * *

Листья клена
Наглухо замели, облетая,
Мое жилище,
А сверчок стрекочет без устали:
Все хочет кого-то дождаться...

* * *

Ткет река Тацута́
Полотна алой парчи
Порою десятой луны...
Тонкие нити дождя
Вдоль, потом поперек.

* * *

Кажется, только вчера
Сажали ростки молодые...
Как все изменилось вокруг.
Шуршат, шелестят колосья.
Осенний ветер подул.

* * *

Пока не блеснет роса
На молодых ростках конопли,
Я не покину тебя.
Пускай увидят родные твои,
Как ухожу на заре.

* * *

Нет, даже ты не могла
Сердце мое утешить,
О вершина Обасутэ́,
Озаренная полной луною
В далеком Сарасина́.

* * *

Я, полон грусти, расстаюсь с тобой,
Слезинки светлые дрожат на рукаве,
Как яшма белая!..
Я их возьму с собой,
Пусть это будет память о тебе.

* * *

Ах, только удержать бы мне его —
Того, кто от меня решил уйти!..
О вишни лепестки,
Рассыпьтесь по земле,
Преградой будьте на его пути!

* * *

Не слышал я, что в мире столько зла.
Не знал, что в нем так радостного мало.
Но вот...
Упавшая из глаз моих слеза
Вдруг сразу мне об этом рассказала!

* * *

Ах, только так на свете и бывает!
И полон я напрасною тоской
О той, которую мне больше не увидеть,
Как этот ветерок,
Что скрыт от наших глаз...

* * *

На миг один, пока зарницы блеск
Успел бы озарить колосья в поле
В осенний день,—
На самый краткий миг
Я позабыть тебя не волен!

* * *

У кленов алых листья облетели,
Но мы жалеть об этом не должны...
Зачем жалеть?
Через просветы в ветках
Увидим нынче яркий блеск луны!

* * *

Я от тебя давно не получаю вести
И тщетно вдаль смотрю.
Растет моя тоска...
А в небесах далеких еле-еле
Плывут и исчезают облака...

* * *

Что человеческое сердце в этом мире?
Как «лунною травой» окрашенная ткань
Легко меняет цвет,—
В нем постоянства мало:
Сегодня — любит, завтра — нет!..

* * *

Опережая ветер, прозвучали
И стихли крики пролетающих гусей,
Что скрылись в облаках,—
А мне привета нет,
Которого я от любимой ждал...

* * *

Когда увидишь — лунный свет пробьется
Сквозь гущу сада, где царила мгла
Ветвей и листьев,
Вдруг сожмется сердце,
И скажешь: «Осень! Вот она пришла».

* * *

Как странник, я одет, готов к пути,
А путь в волнах безбрежных исчезает...
Когда вернусь?
Не знаю ничего,—
Как белые те облака не знают...

* * *

Ах, именно в конце печальном года,
Когда все чаще выпадает снег,
Я понял, что не знает увяданья
И не меняется
Цвет сосен вековых.

* * *

Напрасно к зеленым росткам
Тянет голову жеребенок
Через высокий плетень.
Так и моей любви
Никогда до тебя не достигнуть.

* * *

В глубинах сердец
Подземные воды бегут
Кипящим ключом.
Молчанье любви без слов
Сильней, чем слова любви.

ИЗ СБОРНИКА ПЕСЕН «РЁДЗИН ХИСЁ» — «ТАЙНИК ПЕСЕН»

ПЕСНИ-ВАСАН

* * *

Будда здесь неизменно,
С нами всегда,
Но незрим в царстве яви
Прекрасный лик.
Лишь когда все тихо,
На ранней заре,
В смутных грезах порою
Покажется нам.

* * *

В тишине предрассветной
Очнешься от сна,
Вдруг нахлынут думы,
Слез не сдержать.
О, когда же, покинув
Земную юдоль,
Вниду в мир запредельный
«Чистой земли»?

ИЗ ДРУГИХ ПЕСЕН

Хоть сто дней, сто ночей
Буду спать один,
Но жена только на ночь,
Зачем мне она?
Не желаю такой!
В поздний час до полуночи
С ней хорошо,
Но едва на рассвете
Петух пропоет,
Одолеет печаль
На постели пустой.

* * *

Улестил меня клятвой обманщик,
А сам ко мне не пришел.
Пусть в демона обратится

С тремя рогами во лбу,
Чтоб все от него убежали прочь!
Пускай превратится в птицу
На поле, залитом водой,
Чтоб студили его, леденили
Иней, метель, град.
Чтоб ноги отмерзли у него!
Чтоб стал на пруду
Плавучей травой!
Чтоб качался туда, качался сюда,
Качался, шатался на каждом шагу.

* * *

На мою красавицу погляжу.
«О, если бы стать мне стеблем плюща!» —
Пожелаю в душе.
С маковки и до самых пят
Я ее обовью.
Хоть режьте, хоть рубите меня,
Никогда вам больше не разделить
Наши две судьбы.

* * *

Славно — славно! Чудо как хорошо!
Кто пляшет так хорошо.
Это жрица-микó, дубовый листок,
Ступица у колеса.
«Ятикумá» и карлик-плясун,
Кукла в руках скомороха.
Это в саду посреди цветов
Птичка и мотылек.

* * *

Пляши, пляши, улитка!
Если ты не захочешь плясать,
Берегись, под копыта брошу тебя,
Жеребенку дам тебя растоптать,
Теленку дам растоптать, расколоть.
Если красиво станешь плясать,
Пущу погулять в цветочном саду.

ФУДЗИВАРА ТОСИНАРИ

* * *

Мое сердце,
Что мне поделать с тобой...
И кукушка о том же...
Вдоль лунного света стекает
Голос в прозорах туч.

* * *

Яркий, свежий
Простирается голос ее!
О кукушка,
Ты само сиянье луны
В пору первой рассады риса!

* * *

В сумраке вечера
Осенний вихрь над полями
Пронзает душу...
Перепелиная жалоба!
Селенье Глубокие Травы...

* * *

Столько горестей знал,
А все живу и живу на свете.
Верно, хранит меня
Вечнозеленая сосна в Сумиёси,
Покровитель песен Ямáто.

САЙГЁ

ВЕСНА

Сложил в первое утро весны

Зубцы дальних гор
Подернулись легкой дымкой...
Весть подают:
Вот он, настал наконец
Первый весенний рассвет.

* * *

Замкнутый между скал,
Начал подтаивать лед
В это весеннее утро.
Вода, пробиваясь сквозь мох,
Ощупью ищет дорогу.

Песня весны

Вижу я, растопились
На высоких вершинах гор
Груды зимнего снега.
По реке «Голубой водопад»
Побежали белые волны.

Дымка на морском побережье

На морском берегу,
Где солеварни курятся,
Потемнела даль,
Будто схватился в борьбе
Дым с весенним туманом.

Вспоминаю минувшее во время сбора молодых трав

Туман на поле,
Где молодые травы сбирают,
До чего он печален!
Словно прячется юность моя
Там, вдали, за его завесой.

Соловьи под дождем

Соловьи на ветвях
Плачут, не просыхая,
Под весенним дождем.
Капли в чаще бамбука...
Может быть, слезы?

Соловьи в сельском уединении

Голоса соловьев
Сквозь туманную дымку
Сочатся со всех сторон.
Не часто прохожего встретишь
Весною в горном селенье.

Когда б улетели прочь,
Покинув старые гнезда,
Долины моей соловьи,
Тогда бы я сам вместо них
Слезы выплакал в песне.

* * *

Оставили соловьи
Меня одного в долине,
Чтоб старые гнезда стеречь,
А сами, не умолкая,
Поют на соседних холмах.

Фазан

Первых побегов
Свежей весенней травы
Ждет не дождется...
На омертвелом лугу
Фазан жалобно стонет.

* * *

Весенний туман.
Куда, в какие края
Фазан улетел?
Поле, где он гнездился,
Выжгли огнем дотла.

* * *

На уступе холма
Скрылся фазан в тумане.
Слышу, перепорхнул.
Крыльями вдруг захлопал
Где-то высоко, высоко...

Слива возле горной хижины

Скоро ли кто-то придет
Ароматом ее насладиться?
Слива возле плетня
Ждет в деревушке горной,
Пока не осыплется до конца.

Цветущая слива возле старой кровли

Невольно душе мила
Обветшалая эта застреха.
Рядом слива цветет.
Я понял сердце того,
Кто раньше жил в этом доме.

* * *

Приди же скорей
В мой приют одинокий!
Сливы в полном цвету.
Ради такого случая
Даже чужой навестил бы...

Летят дикие гуси

Словно приписка
В самом конце посланья —
Несколько знаков...
Отбились в пути от своих
Перелетные гуси.

Ивы под дождем

Зыблются все быстрей,
Чтоб ветер их просушил,
Спутаны, переплелись,
Вымокли под весенним дождем
Нити зеленой ивы.

Прибрежные ивы

Окрасилось дно реки
Глубоким зеленым цветом.
Словно бежит волна,
Когда трепещут под ветром
Ивы на берегу.

Жду, когда зацветут вишни

В горах Ёсино
На ветках вишневых деревьев
Россыпь снежка.
Нерадостный выдался год!
Боюсь, цветы запоздают.

* * *

Шел я в небесную даль,
Куда, я и сам не знаю,
И увидал наконец:
Меня обмануло облако...
Прикинулось вишней в цвету.

* * *

В горах Ёсино
Долго, долго блуждал я
За облаком вслед.
Цветы весенние вишен
Я видел — в сердце моем.

Из многих моих стихотворений о вишневых цветах

Дорогу переменю,
Что прошлой весной пометил
В глубинах гор Ёсино!
С неведомой мне стороны
Взгляну на цветущие вишни.

* * *

Горы Ёсино!
Там видел я ветки вишен
В облаках цветов,
И с этого дня разлучилось
Со мною сердце мое.

* * *

Куда унеслось ты,
Сердце мое? Погоди!
Горные вишни
Осыплются,— ты опять
Вернешься в свое жилище.

* * *

Увлечено цветами,
Как сердце мое могло
Остаться со мною?
Разве не думал я,
Что все земное отринул?

* * *

Ах, если бы в нашем мире
Не пряталась в тучи луна,
Не облетали вишни!
Тогда б я спокойно жил,
Без этой вечной тревоги...

* * *

Гляжу на цветы.
Нет, они не причастны,
Я их не виню!
Но глубоко в сердце моем
Таится тревожная боль.

* * *

О, пусть я умру
Под сенью вишневых цветов!
Покину наш мир
Весенней порой «кисараги»
При свете полной луны.

Когда я любовался цветами на заре, пели соловьи

Верно, вишен цветы
Окраску свою подарили
Голосам соловьев.
Как нежно они звучат
На весеннем рассвете!

Увидев старую вишню, бедную цветами

С особым волненьем смотрю...
На старом вишневом дереве
Печальны даже цветы!
Скажи, сколько новых весен
Тебе осталось встречать?

Когда слагали стихи на тему картины на ширмах, я написал о тех людях, что лишь издали смотрят, как сановники Весеннего дворца толпятся вокруг цветущих вишен

Под сенью ветвей
Толпа придворных любуется...
Вишня в цвету!
Другие смотрят лишь издали.
Им жалко ее аромата.

Из многих моих песен на тему: «Облетевшие вишни»

Слишком долго глядел!
К вишневым цветам незаметно
Я прилепился душой.
Облетели... Осталась одна
Печаль неизбежной разлуки.

Горные розы

В горькой обиде
На того, кто их посадил
Над стремниной потока,
Сломленные волной,
Падают горные розы.

Лягушки

В зацветшей воде,
Мутной, подернутой ряской,
Где луна не гостит,—
«Там поселиться хочу!» —
Вот что кричит лягушка.

Стихи, сочиненные в канун первого дня третьей луны

Весна уходит...
Не может удержать ее
Вечерний сумрак.
Не оттого ли он сейчас
Прекрасней утренней зари?

ЛЕТО

* * *

К старым корням
Вернулся весенний цвет.
Го́ры Ёсино
Проводили его и ушли
В страну, где лето царит.

Цветы унохана́ в ночную пору

Пускай нет в небе луны!
Обманчивей лунного света
Цветы унохана.
Чудится, будто ночью
Кто-то белит холсты.

Стихи о кукушке

Слышу, кукушка
С самой глубокой вершины
Держит дорогу.
Голос к подножию гор
Падает с высоты.

*

«Кукушки мы не слыхали,
А близок уже рассвет!» —
На всех написано лицах...
И вдруг — будто ждали его! —
Раздался крик петуха.

*

Еще не слышна ты,
Но ждать я буду вот здесь
Тебя, кукушка!
На поле Ямада-но хара
Роща криптомерий.

*

Кукушка, мой друг!
Когда после смерти пойду

По горной тропе,
Пусть голос твой, как сейчас,
О том же мне говорит.

*

Твой голос, кукушка,
Так много сказавший мне
В ночную пору,—
Смогу ли когда-нибудь
Его позабыть я?

Дожди пятой луны

Мелкий бамбук заглушил
Рисовые поля деревушки.
Протоптанная тропа
Снова стала болотом
В этот месяц долгих дождей.

*

Дожди все льются...
Ростки на рисовых полях,
Что будет с вами?
Водой нахлынувшей размыта,
Обрушилась земля плотин.

Источник возле горной хижины

Лишь веянья ветерка
Под сенью ветвей отцветших
Я жду не дождусь теперь,
Снова в горном источнике
Воды зачерпну пригоршню...

Болотный пастушок в глубине гор

Должно быть, лесоруб
Пришел просить ночлега,
В дверь хижины стучит?
Нет, это в сумерках кричал
Болотный пастушок.

Стихотворение на тему: «Путник идет в густой траве»

Путник еле бредет
Сквозь заросли... Так густеют
Травы летних полей!
Стебли ему на затылок
Сбили плетеную шляпу.

Смотрю на луну в источнике

Пригоршню воды зачерпнул.
Вижу в горном источнике
Сияющий круг луны,
Но тщетно тянутся руки
К неуловимому зеркалу.

*

У самой дороги
Чистый бежит ручей.
Тенистая ива.
Я думал, всего на миг,—
И вот — стою долго-долго...

*

Всю траву на поле,
Скрученную летним зноем,
Затенила туча.
Вдруг прохладой набежал
На вечернем небе ливень.

*

Летней порою
Луну пятнадцатой ночи
Здесь не увидишь.
Гонят гнуса дымом костра
От хижины, вросшей в землю.

Ждут осени в глубине гор

В горном селенье,
Там, где густеет плющ
На задворках хижин,
Листья гнутся изнанкой вверх...
Осени ждать недолго!

Сочинил во дворце Кита-Сиракава, когда там слагали стихи на темы: «Ветер в соснах уже шумит по-осеннему», «В голосе воды чувствуется осень»

Шум сосновых вершин...
Не только в голосе ветра
Осень уже поселилась,
Но даже в плеске воды,
Бегущей по камням речным.

ОСЕНЬ

*

Никого не минует,
Даже тех, кто в обычные дни,
Ко всему равнодушны,—
В каждом сердце родит печаль
Первый осенний ветер.

*

О, до чего же густо
С бессчетных листьев травы
Там посыпались росы!
Осенний ветер летит
Над равниной Миягино!

*

Дует холодный вихрь.
Все на свете печалью
Он равно напоит.
Всюду глядит угрюмо
Осеннего вечера сумрак.

*

Сейчас даже я,
Отринувший чувства земные,
Изведал печаль.
Бекас взлетел над болотом...
Темный осенний вечер.

*

Кто скажет, отчего?
Но по неведомой причине
Осеннею порой
Невольно каждый затомится
Какой-то странною печалью.

*

В памяти перебираю
Все оттенки осенней листвы,
Все перемены цвета...
Не затихает холодный дождь
В деревне у подножия гор.

*

На рисовом поле
У самой сторожки в горах
Стоны оленя.
Он сторожа дрему прогнал,
А тот его гонит трещоткой.

Луна

На небе осени
Она наконец явилась
В вечернем сумраке,
Но еле-еле мерцает,
Луна — по имени только.

*

Равнина небес.
Луна полноты достигла.
Тропу облаков,
Единственную из всех,
Избрал для странствия ветер.

*

Зашла и она,
Луна, что здесь обитала,
На лоне воды.
Ужель в глубине пруда
Тоже таятся горы?

Ожидаю в одиночестве ночь полнолуния

Нет в небе луны,
Нигде до ее восхода
Не брезжит свет,
Но самые сумерки радостны!
Осенняя ночь в горах.

Пятнадцатая ночь восьмой луны

Как сильно желал я
Дождаться! Продлить мой век
До этой осенней ночи.
На время — ради луны —
Мне стала жизнь дорога.

Глубокой ночью слушаю сверчка

«Сейчас я один царю!»
Как будто владеет небом
На закате луны,
Ни на миг не смолкает
В ночной тишине сверчок.

*

Сверчок чуть слышен.
Становятся все холодней
Осенние ночи.
Чудится, голос его
Уходит все дальше, дальше...

Цикады в лунную ночь

Росы не пролив,
Ветку цветущую хаги
Тихонько сорву,
Вместе с лунным сияньем,
С пеньем цикады.

Олень лунной ночью

Родится в душе
Ни с чем не сравнимое чувство...

Осенняя ночь.
На скале, озаренной луной,
Стонущий крик оленя.

Лунной ночью думаю о давней старине

Глубокую старину,
То, что давно минуло,
Стану я вспоминать,
Даже если луну этой ночи
Затуманят вдруг облака.

*

На ранней заре,
Лишь ветер с вершиною разлучил
Гряду облаков,
Через гору переметнулись
Крики первых прилетных гусей.

*

Дикий гусь в вышине,
На крыльях своих несущий
Белые облака,
Слетает на поле у самых ворот,
Где друг зовет одинокий.

В сумерках вечера слышу голоса диких гусей

Словно строки письма
Начертаны черной тушью
На вороновом крыле...
Гуси, перекликаясь, летят
Во мраке вечернего неба.

Туман над горной деревней

Густые туманы встают,
Все глубже ее хоронят...
Забвенна и без того!
Как сердцу здесь проясниться?
Деревня в глубинах гор!

*

С самого вечера
Перед бамбуковой дверью
Туманы стелются.
Но вот поредели... Так, значит,
Уже занимается утро?

Олень и цветы хаги

Клонятся книзу
Старые ветви хаги в цвету,
Ветру послушны...
Гонятся один за другим
Дальние крики оленя.

Хризантемы

Осенью поздней
Ни один не сравнится цветок
С белою хризантемой.
Ты ей место свое уступи,
Сторонись ее, утренний иней!

На осенней дороге

«Когда ж наконец
Ты окрасишь кленовые листья
В багряный цвет?» —
Спросить я хочу у неба,
Затуманенного дождем.

*

Все осыпались листья
На багряных ветках плюща,
Что обвивает сосны.
Видно, там, на соседних горах,
Бушует осенняя буря.

Последний день осени

Осень уже прошла,—
Знает по всем приметам
Лесоруб в горах.

Мне б его беспечное сердце
В этот вечер угрюмый!

*

К чему сожаленья мои?
Даже вечерний колокол
Уже по-иному гудит.
Вижу, прихвачены стужей,
Росинки рассыпались инеем.

ЗИМА

Луну ожидала
Так долго вершина горы!
Рассеялись тучи!
Есть сердце и у тебя,
Первая зимняя морось!

*

В дальнем селенье
На склоне горы Огура́
Осыпались клены.
Сквозь оголенные ветви
Я гляжу на луну.

Листья осыпаются на рассвете

«Как будто дождь?» —
Прислушался я, пробужденный
На ранней заре.
Но нет, это листья летят...
Не вынесли натиска бури.

Горная хижина в зимнюю пору

Нет больше тропы.
Засыпали горную хижину
Опавшие листья.
Раньше срока пришло ко мне
Зимнее заточенье.

Листья облетают над водопадом

Спутники вихря,
Верно, с горной вершины
Сыплются листья?
Окрашены в пестрый узор
Водопада белые нити.

Сочинил в храме Сориндзи стихи на тему: «Полевые травы во время зимних холодов»

Я видел летний луг.
Там всеми красками пестрели
Бессчетные цветы.
Теперь у них, убитых стужей,
Один-единый цвет.

*

Инеем занесена
Трава на увядшем лугу.
Какая печаль!
Где сыщет теперь отраду
Странника сердце?

Песня зимы

Возле гавани На́нива
Прибрежные камыши
Убелены инеем.
Как холоден ветер с залива,
Когда забрезжит рассвет!

*

О весна в стране Цу,
На побережье Нанива,
Ужель ты приснилась мне?
В листьях сухих камыша
Шумит, пролетая, ветер.

*

Когда б еще нашелся человек,
Кому уединение не в тягость,
Кто любит тишину!
Поставим рядом хижины свои
Зимою в деревушке горной.

Дорожный ночлег в студеную ночь

Дремота странника...
Мое изголовье — трава —
Застлано инеем.
С каким нетерпеньем я жду,
Тебя, предрассветный месяц!

Луна над зимними лугами

Лунный прекрасен свет,
Когда сверкает россыпь росы
На вишневых цветах,
Но печальная эта луна
Над зимним увядшим лугом...

Зимняя луна озаряет сад

Глубокой зимой
Как слепительно ярко
Блещет лунный свет!
В саду, где нет водоема,
Он стелется, словно лед.

Соколиная охота в снежную пору

Густо падает снег...
В темноте не увидишь,
Где затаился фазан.
Только крыльев внезапный вспорх
Да ястреба колокольчик.

Когда уже все было занесено снегом, я послал эти стихи одному другу. Осенью он сулил навестить меня, но не сдержал слова

Теперь она без следа
Погребена под снегом!
А ждал я, мой друг придет,
Когда устилала тропинки
Кленовых листьев парча.

Послал как новогодний дар одному знакомому человеку

Быть может, невольно сам
Меня, молчальника, старый друг
С тоской вспоминая иногда,
Но, пока в нерешимости медлил,
Окончился старый год.

ПЕСНИ ЛЮБВИ

* * *

Далёко от всех,
В ущелье меж горных скал,
Один, совсем один,
Незрим для взоров людских,
Предамся тоскующей думе.

* * *

На летнем лугу,
Раздвигая густые травы,
Блуждает олень,
И беззвучно, безмолвно
Сыплются капли росы.

* * *

Пришлось разлучиться нам,
Но образ ее нигде, никогда
Я позабыть не смогу.
Она оставила мне луну
Стражем воспоминаний.

* * *

Предрассветный месяц
Растревожил память о разлуке.
Я не мог решиться!
Так уходит, покоряясь ветру,
Облако на утренней заре.

* * *

Она не пришла,
А уж в голосе ветра
Слышится ночь.
Как грустно вторят ему
Крики пролетных гусей!

* * *

Не обещалась она,
Но думал я, вдруг придет.
Так долго я ждал.
О, если б всю ночь не смеркалось
От белого света до белого света!

* * *

«Несчастный!» — шепнешь ли ты?
Когда бы могло состраданье
Проснуться в сердце твоем!
Незнатен я, но различий
Не знает тоска любви.

* * *

Я знаю себя.
Что ты виною всему,
Не думаю я.
Лицо выражает укор,
Но влажен рукав от слез.

* * *

Меня покидаешь...
Напрасно сетовать мне,
Ведь было же время,
Когда ты не знала меня,
Когда я тебя не знал.

РАЗНЫЕ ПЕСНИ

Когда я посетил Митиноку, то увидел высокий могильный холм посреди поля. Спросил я, кто покоится здесь. Мне ответствовали: «Это могила некоего тюдзё».— «Но какого именно тюдзё?» — «Санэката-асон»,— поведали мне. Стояла зима, смутно белела занесенная инеем трава сусуки, и я помыслил с печалью:

Нетленное имя!
Вот все, что ты на земле
Сберег и оставил.
Сухие стебли травы —
Единственный памятный дар.

* * *

Песня разлуки, сложенная по случаю отъезда одного из моих друзей в край Митиноку:

Если вдаль ты уедешь,
Я буду глядеть с тоской,
Даже луну ожидая,
Туда, в сторону Áдзума,
На вечернее темное небо.

* * *

Сочинено мною, когда на горе Коя слагали стихи на тему: «Голос воды глубокой ночью»

Заблудились звуки.
Лишь буря шумела в окне,
Но умолк ее голос.
О том, что сгущается ночь,
Поведал ропот воды.

Стихи, сложенные мною, когда я посетил край Адзума

*

Разве подумать я мог,
Что вновь через эти горы
Пойду на старости лет?
Вершины жизни моей —
Сая-но Накаяма.

* * *

Порою заметишь вдруг:
Пыль затемнила зеркало,
Сиявшее чистотой.
Вот он, открылся глазам —
Образ нашего мира!

* * *

Непрочен наш мир.
И я из той же породы
Вишневых цветов.
Все на ветру облетают,
Скрыться... Бежать... Но куда?

* * *

Меркнет мой свет.
Заполонила думы
Старость моя.
А там, вдалеке, луна
Уже идет на закат.

* * *

Возле заглохшего поля
На одиноком дереве
Слышен в сумерках голос:
Голубь друзей зовет.
Мрачный, зловещий вечер.

Когда я шел в край Адзума, чтобы предаться делам подвижничества, я сложил стихи при виде горы Фудзи

Стелется пó ветру
Дым над вершиной Фудзи,
В небо уносится
И пропадает бесследно,
Словно кажет мне путь.

* * *

Не помечая тропы,
Все глубже и глубже в горы
Буду я уходить.
Но есть ли на свете место,
Где горьких вестей не услышу?

* * *

Когда бы в горном селе
Друг у меня нашелся,
Презревший суетный мир!
Поговорить бы о прошлом,
Столь бедственно прожитом!

СИКИСИ-НАЙСИННО

*

О, быстротечность!
На изголовье случайном
В дреме забывшись,
Смутной тенью блуждаю
По тропе сновидений.

*

Напрасно гляжу вокруг.
Куда устремиться душою?
Нет такой стороны.
Весну провожая, темнеет
Вечернее небо.

Песня весны

Дверь хижины в горах
Осенена ветвями сосен,
Не знающих весны.
Прерывистою цепью капель
Сочится талый снег.

*

Любуюсь тобою,
И пусть этот день весны
В прошлое канет,—
Слива у самой кровли,
Не забывай меня!

*

Мое мимолетное
Минувшее озирая взглядом,
Считаю в памяти:
Сколько весен я провела,
Печалуясь о вишневых цветах!

*

Осыпались вишни.
Напрасно бродит мой взгляд.
Кругом все поблекло.
Весенний дождь без конца
В опустевшем небе.

Сочинено во временной обители для жриц накануне праздника Мальвы

Разве могу я забыть,
Как мальву для изголовья
Сбирала я на лугу?
Как мимолетную дрему
Прогнал росистый рассвет?

*

Возле окна моего,
Играя в листьях бамбука,
Ветер зашелестел.
Становится все короче
Дремота летних ночей.

*

Обратно не придет
Минувшее, но в сновиденье
Вдруг ожило опять.
У изголовья моего
Благоухает померанец.

*

Павлонии палый лист
Так затруднил дорогу,—
Не протоптать тропы.
Пропал остаток надежды,
Что друг мой придет ко мне.

*

Пустынный сад...
Давно заглушил тростник
Следы людей.
На дне осенней росы
Звенят голоса цикад.

*

Холодом веет ветер.
Редеет деревьев листва,
И от ночи к ночи
Ширится, заливая сад,
Сияние осенней луны.

*

Печалится взор.
О, если б найти приют,
Где осени нет!
Везде — на лугах, на горах
Луна поселилась.

*

Пока я глядела,
Вдруг наступила зима,
Берег залива,
Где дикие утки гнездятся,
Подернулся тонким ледком.

*

Снег падает день за днем.
Печи угольщиков курятся
Все сильней и сильней.
Даже дым,— до чего он печален
В деревне Большое Поле!

Потаенная любовь

Жемчужная нить —
Жизнь моя, ты исчезнешь,
Так исчезни скорей!
Боюсь, если ты продлишься,
Молчать недостанет сил.

КОКА-МОНЪИН БЭТТО

* * *

Из-за одной лишь ночи мимолетной,
Короче срезанного стебля тростника,
В заливе Нанива,
Ужель теперь я буду
Всю жизнь тоской томиться по тебе?!

ФУДЗИВАРА ИЭТАКА

* * *

Завтра, едва рассветет,
Снова идти мне придется
Через вершины гор.
Месяц уходит по небу
В белые облака.

* * *

В нынешнем году
Весну впервые узнали
Цветы померанца.
Отчего же я обоняю
Старинный милый запах?

* * *

Опавший пурпур клена на земле,
Осенний вечер среди гор глубокий,
Дождь моросящий...
Вымокший под ним,
То не олень ли плачет одинокий?

МИНАМОТО МИТИТОМО

* * *

У сливовых цветов все тот же аромат,
Как будто их коснулся твой рукав,—
Совсем как та весна...
У месяца б узнать:
Быть может, прежняя весна вернулась вновь?

* * *

Покрытый зимним инеем рукав
Стелю я в изголовье, грусти полный,
И в эту ночь, когда уснуть я не могу.
Ах, даже свет луны
Мне кажется холодным...

ФУДЗИВАРА ХИДЭЁСИ

* * *

В ночь эту светлую с сияющей луной,
Как видно, на берег прилив нахлынул:
В заливе Нанива
Сквозь листья тростников
Бегут, сверкая белым светом, волны...

ФУДЗИВАРА САДАИЭ

* * *

Аромат расцветающей сливы
Льют влажные от слез рукава,
И, сквозь кровлю сочась,
Лунный свет так горит на них,
Словно спорит с благоуханьем.

* * *

Небо снежило.
Изнемогли в дороге
Дикие гуси.
И вот улетают... На крылья
Сыплется дождь весенний.

*

Как-то само собой
Сердце мое потянулось
К зубцам дальних гор...
Впервые в этом году
Светит трехдневный месяц.

*

Гора Хацусэ́!
Луна, к закату склоняясь,
Брезжит едва-едва.
Сквозь дымку смутно сочатся
Звуки колокола вдали...

*

Я видел, они расцвели,
Ветки вишневых деревьев,
Но в сумраке еле сквозят,—
Благоуханная дымка
На вечереющем небе.

*

Где он, ветер
Цвета вишневых лепестков?
Скрылся бесследно.
А скажут: «Земля как в снегу.
Есть еще чем любоваться!»

*

Тайные мысли мои
Кому я оставлю в наследство,
Чьим открою глазам?
Сердце мое переполнил
Этот весенний рассвет.

*

Яшмовое копье —
Дорога теперь безлюдна.
Долго я жду вестей,
Так же долго, как льются
Дожди пятой луны.

*

В сумерках вечера
Кого, улетевшего облаком,
Ветер привеял?
Что разбудил он в памяти
Ароматом цветов померанца?

*

Вновь засияло
В разрывах туч грозовых
Вечернее солнце.
На эту сторону гор
Белые цапли летят.

*

В горном селении
Цикад неумолчный хор
Звучит по-осеннему.
Облетают среди тумана
Листья с самых нижних ветвей.

*

Где прежние ваши цветы,
Ветви окрестных деревьев
Под студеным дождем?
Но, ветер осенней поры,
Меняешься ты сильнее!

*

Циновка так холодна!
В одинокую ночь ожиданья
Ветер осени леденит.
Луной прикрылась, как рукавом,
Девушка с берега Удзи.

*

Мне так хотелось забыть,
Что осень уже наступила...
Но этот лунный свет!
Но, на печаль мою, где-то
Стучат и стучат вальки!

*

Остановить коня,
Рукава отряхнуть бы...
Приюта нигде не найдешь.
На всей равнине Сано
Снежный ветреный вечер.

*

Сказала: «Уже рассвет!»
Покинув меня, исчезла.
Не отыщешь следа.
Считанные мгновенья
Гостит на заре белый снег.

*

Еще усилил тоску
Этот уныло-тягучий
Вихря вечернего шум.
Зачем обычай придуман
В сумерках встречи ждать?

*

Какой осенний вид
У твоей поблекшей любви!
Печаль меня убьет.
Так в роще сметает вихрь
Каплю белой росы.

*

Идет от другого домой,
И, чтобы скрасить дорогу,
Наверно, глядит на тебя.
Луна ожиданья ночного,
Как ты на рассвете бледна!

*

Помнишь ли ты меня?
Может, привычный ко мне рукав
Заледенел от слез?
Я всю ночь заснуть не могу.
Иней припорошил циновку...

*

Когда на заре разлучались
Белотканые наши рукава,
Упали багряные капли.
Пронзающий душу цвет
Печального осеннего ветра.

*

Как я когда-то ласкал
Черные волосы любимой!
Каждую, каждую прядь
На одиноком ложе моем
В памяти перебираю.

Эти стихи сложены мною, когда после долгого отсутствия я, по приглашению некоего придворного, посетил празднество высочайшего любования вишнями в саду ведомства императорской гвардии.

Сколько весен под сенью ветвей
Я тоже на вас любовался,
Вишни в дворцовом саду!
Верно, вам грустно глядеть,
Как я постарел в разлуке.

*

Отблеск на рукавах,
Морской водой напоенных...
Поневоле всю ночь
Не могут с луной разлучиться
Солевары залива Сума́.

*

В кои веки, бывало,
Друзья посетят меня...
Дальнее воспоминанье!
В саду моем с давних пор
Людские следы исчезли.

ДЗЮНТОКУ-ИН

Стихотворение это содержалось в высочайшем письме, посланном во дворец Девяти Подвижнических Деяний, когда в седьмую луну третьего года эры Сёкю государь соизволил отбыть на остров Са́до.

Что, если я доживу!
Что, если снова вернуться
Мне суждено под конец!
Все равно, до чего мрачна
Земная эта столица.

*

Какая печаль
Ее одежды припомнить!
Мы оба, я и она,
Устало бредем в этом мире,
Где свидеться нам не дано.

*

Не догорит до конца,—
Жизнь томительно длится.
Еще мы в мире одном,
Но все упованья напрасны.
Разъединен наш союз.

*

Что меня ждет?
Сердце я утешаю
Завтрашним днем.
Так вчерашний прошел,
Так и нынешний минет.

*

Вековечный чертог!
Пусть под ветхой кровлею
Спрятался он,
Но еще осталось,
Не исчезло минувшее.

НЮДО-САКИ-НО ДАЙДЗЁДАЙДЗИН

* * *

Нет, то не снег цветы в садах роняют,
Когда от ветра в лепестках земля,—
То седина!
Не лепестки слетают,
С земли уходят не цветы, а я...

КОДАЙ-ГОТАЮ КЭНСЭЙДЗЁ

* * *

На скошенной соломе тростниковой
Забылся я в пути недолгим сном...
Как хорошо!
Луна над яшмовой рекою,
А небо — в свете утренней зари.

МИНАМОТО САНЭТОМО

Воспеваю первый день первой луны нового года

Ранним утром гляжу:
Горы затмились туманом,
Это сходит весна
С необъятной равнины
Вечно сущего неба.

Песня о сердце в глубине сердца

Где боги живут?
Где обитают будды?
Ищите их
Только в глубинах сердца
Любого из смертных людей.

Песня о «срединном пути» согласно Махаяне

Этот мир земной —
Отраженное в зеркале
Марево теней.
Есть, но не скажешь, что есть.
Нет, но не скажешь, что нет.

Смотрю, как набегают валы на скалистый берег

Огромного моря валы
С грохотом катят камни,
Набегом берег тесня.
Расколются, раздробятся,
Рассыплются, падают пеной...

Стихи о том, как солнце спускается к вершинам гор

Словно в багряную краску
Окунули тысячу раз,
Так густо окрашено небо,
Когда к зубцам дальних гор
Нисходит вечернее солнце.

Увидев, что на кухонной доске распластан дикий гусь, утративший свое подобие

Какая печальная мысль!
Взгляните, во что превратился
Даже он, этот дикий гусь,
Летевший посреди облаков,
На самом краю небосвода.

Возле дороги с безудержным плачем искал свою мать малый ребенок. Случившиеся там люди поведали мне, что оба его родителя покинули наш свет

Бедняжку так жаль!
Сама на глаза навернулась
Непрошеная слеза.
Напрасно зовет ребенок
Свою умершую мать.

В думах о том, как люди, впавшие в нищету, умудряются жить на свете

Так создан наш мир.
Ты есть, и достаток есть
Какой ни на есть.
А нет ничего, значит, нет,
Свой век протянешь — ни с чем.

Во время наводнения, приключившегося в седьмую луну первого года Кэнрэки, горестные сетования земледельцев переполнили небеса. И тогда, представ в одиночестве перед Буддой моего домашнего алтаря, я вознес краткую мольбу:

В такие времена
Страдания и жалобы народа
Превыше всех забот.
Божественных драконов осьмерица,
Останови губительный потоп!

О чувстве сострадания

Пускай бессловесны звери,
Бессмысленны, что из того?
В душе просыпается жалость,
Лишь вспомню, что и они —
Родители детям своим.

Я даже не слышал о долговременной болезни одного человека, как вдруг сообщили мне, что он скончался на рассвете, и тогда я сказал:

Нежданная весть,
Но стоит ли удивляться?
И все же, все же...
Какой мимолетный сон —
Наша земная жизнь!

Смотрю, как ветер треплет горные розы

О мое сердце,
Что делать нам остается?
Горные розы
Уже, увядая, поблекли,
И подымается буря.

Мрак

В глубокой тьме,
Черной, как ягоды тута,
Скрыты грядой
Восьмиярусных облаков,
Кричат перелетные гуси.

Размышляя о своей греховности

Только искры одни
Переполнили бездну неба...
Пламенеющий ад —
Нет для грешных другой дороги.
Как это вымолвить страшно!

Стихи, сочиненные мною, когда я увидел на берегу множество огней

Неужели всегда
На это глядеть так грустно?
Там, где у моря стоят
Тростниковые шалаши рыбаков,
Разгорелись огни солеварен.

* * *

Лишь я один
Ее называю любимой!
К ней волны бегут.
Венчает чело горы
Снег, летящий с небес.

СЁТЭЦУ

*

Вот застлана дымкой,
Вот заблистает вновь.
Ветрено в небе.
Над весенней метелью
Бродит сиянье луны.

*

Голоса цикад,
Что вдали зазвенели,
Миновало в пути
И меж тихих ветвей
Дремлет в сумраке лето.

*

Горный поток!
Волны ударят в камень,
Выбьют огонь.
Искрами разлетаясь,
Сыплются светляки.

*

В темную ночь
С чем свое сердце
Солью в одно?
Мерцает в тучах
Осенняя молния.

*

Гнет и ломает,
Вихрем гудит в полях,
Ливнем промчится...
И только вы над ветром,
Облака! Листья деревьев!

*

Прислушайтесь к ветру!
Листья с горных вершин
Кружатся в поднебесье,
Взлетают и падают, падают...
Голоса! Голоса! Голоса!

*

В плывущем облаке
Тонкий трехдневный месяц
Спеленат в коконе.
Есть ли что безотрадней
Осени в дальних горах?

*

Светлеют вершины,
Но в самых низинах гор,
На дне тумана,
Как, сердце, тебе проясниться?
Деревеньки вразброд.

*

Целую ночь напролет
Он голоса приносит.
Здесь ушло в облака
Столько людских поколений!
Дождь над старой деревней.

*

Есть у меня приют,
Нет у меня приюта,—
Я не тревожусь ничуть.
Вот он, глядите, мой вечер:
Весенняя паутинка!

*

Эти лучи леденят
Даже морозный иней.
Слышен скрипучий треск
Всюду, где свет твой бродит,
Поздней ночи луна.

*

Совсем постарел я...
В холодную снежную ночь
Суждено умереть мне.
Положите меня под огнем,
Глубоко схороненным в пепле.

ТРИ ПОЭТА В МИНАСЭ

1 Вершина в снегу,
Но дымкой овеяны склоны.
Вечер померк.

Соги

2 Льются талые воды вдали.
Пахнет сливовым цветом селенье.

Сёхаку

3 Там, где, дрожа на ветру,
Теснятся прибрежные ивы,
Где так заметна весна...

Сотё

4 Чуть слышные всплески багра —
Лодка плывет на рассвете.

Соги

5 Что там? Проблеск луны?
Еще осталась в туманах,
Темных, как ночь.

Сёхаку

6 Иней осыпал луга.
Осень уже на исходе.

Сотё

7 Стонут цикады,
Но, бесчувственна к их мольбе,
Трава засыхает.

Соги

8 Я к воротам друга пришел.
Как обнажилась тропа!

Сёхаку

9 В горных глубинах,
Чудится, неразлучно с бурей
Затерянное селенье.

Сотё

10 Для пришельца, чужого здесь,
Как все мрачно и как пустынно!

Соги

11 Но ты не сетуй,
Одинокий, забвенный людьми!
Словно это внове...

Сёхаку

12 Или не ведаешь ты,
Что вечного нет на земле?

Сотё

13 Росинка упасть боится
На цветок. Печалится он,
Что век ее так недолог!

Соги

14 Все, что осталось от солнца,—
Задымленное сиянье.

Сёхаку

15 Словно бы вечер пришел? —
Весенним туманом обмануты,
Птицы спешат домой.

Сотё

16 Иду сквозь теснины гор.
Здесь небо путь не укажет.

Соги

17 Рассеялись тучи,
А дождь все падает на рукава
Дорожной одежды.

Сёхаку

18 Изголовье — охапка травы.
Кажется даже луна убогой.

Сотё

19 Напрасно столько ночей
До рассвета глаз не смыкал я...
А осени скоро конец!

Соги

20 Сновидения гонит прочь
Ветер, треплющий ветви хаги.

Сёхаку

21 Очнусь, но где же они,
Друзья из родного селенья?
Все исчезли, как сон.

Сотё

22 Предо мной одинокая старость.
На кого могу опереться?

Соги

23 Пускай безыскусный стих
Не всегда красотою блещет,
В нем опору ищи!

Сёхаку

24 И оно тоже спутник твой,
Это вечернее небо.

Соги

БАСЁ

ТРЕХСТИШИЯ (ХОККУ)

Отцу, потерявшему сына

Поник головой до земли,—
Словно весь мир опрокинут вверх дном,—
Придавленный снегом бамбук.

Покидая родину

Облачная гряда
Легла меж друзьями... Простились
Перелетные гуси навек.

* * *

«Осень уже пришла!» —
Шепнул мне на ухо ветер,
Подкравшись к подушке моей.

* * *

Майских дождей пора.
Будто море светится огоньками —
Фонари ночных сторожей.

* * *

Иней его укрыл,
Стелет постель ему ветер...
Брошенное дитя.

* * *

В небе такая луна,
Словно дерево спилено под корень:
Белеется свежий срез.

* * *

Желтый лист плывет.
У какого берега, цикада,
Вдруг проснешься ты?

* * *

Как разлилась река!
Цапля бредет на коротких ножках
По колено в воде.

* * *

Тихая лунная ночь...
Слышно, как в глубине каштана
Ядрышко гложет червяк.

* * *

На голой ветке
Ворон сидит одиноко.
Осенний вечер.

* * *

Во тьме безлунной ночи
Лисица стелется по земле,
Крадется к спелой дыне.

* * *

Кишат в морской траве
Прозрачные мальки... Поймаешь —
Растают без следа.

Весной собирают чайный лист

Все листья сорвали сборщицы...
Откуда им знать, что для чайных кустов
Они — словно ветер осени!

Печалюсь, глядя на луну; печалюсь, думая о своей судьбе; печалюсь о том, что я такой неумелый! Но никто не спросит меня: отчего ты печален? И мне, одинокому, становится еще грустнее

Печалью свой дух просвети!
Пой тихую песню за чашкой похлебки,
О ты, «печальник луны»!

В хижине, крытой тростником

Как стонет от ветра банан,
Как падают капли в кадку,
Я слышу всю ночь напролет.

* * *

Ива склонилась и спит.
И кажется мне, соловей на ветке —
Это ее душа.

* * *

Топ-топ — лошадка моя.
Вижу себя на картине —
В просторе летних лугов.

В хижине, отстроенной после пожара

Слушаю, как градины стучат.
Лишь один я здесь не изменился,
Словно этот старый дуб.

* * *

Далекий зов кукушки
Напрасно прозвучал. Ведь в наши дни
Перевелись поэты.

В доме Кавано Сёха стояли в надтреснутой вазе стебли цветущей дыни, рядом лежала цитра без струн, капли воды сочились и, падая на цитру, заставляли ее звучать

Стебли цветущей дыни.
Падают, падают капли со звоном...
Или это — «цветы забвенья»?

Недолгий отдых в гостеприимном доме

Здесь я в море брошу наконец
Бурями истрепанную шляпу,
Рваные сандалии мои.

* * *

Послышится вдруг «шорх-шорх».
В душе тоска шевельнется...
Бамбук в морозную ночь.

На чужбине

Тоненький язычок огня,—
Застыло масло в светильнике.
Проснешься... Какая грусть!

* * *

Ворон-скиталец, взгляни!
Где гнездо твое старое?
Всюду сливы в цвету.

* * *

Бабочки полет
Будит тихую поляну
В солнечном свету.

* * *

Встречный житель гор
Рта не разомкнул. До подбородка
Достает ему трава.

* * *

На луну загляделись.
Наконец-то мы можем вздохнуть! —
Мимолетная тучка.

* * *

Как свищет ветер осенний!
Тогда лишь поймете мои стихи,
Когда заночуете в поле.

* * *

И осенью хочется жить
Этой бабочке: пьет торопливо
С хризантемы росу.

* * *

Цветы увяли.
Сыплются, падают семена,
Как будто слезы...

* * *

Порывистый листобой
Спрятался в рощу бамбука
И понемногу утих.

* * *

Внимательно вглядись!
Цветы «пастушьей сумки»
Увидишь под плетнем.

* * *

О, проснись, проснись!
Стань товарищем моим,
Спящий мотылек!

Памяти друга

На землю летят,
Возвращаются к старым корням...
Разлука цветов!

* * *

Старый пруд.
Прыгнула в воду лягушка.
Всплеск в тишине.

Другу, уехавшему в западные провинции

Запад, Восток —
Всюду одна и та же беда,
Ветер равнó холодит.

Хожу кругом пруда

Праздник осенней луны.
Кругом пруда, и опять кругом,
Ночь напролет кругом!

Кувшин для хранения зерна

Вот все, чем богат я!
Легкая, словно жизнь моя,
Тыква-горлянка.

* * *

Этой поросшей травою
Хижине верен остался лишь ты,
Разносчик зимней сурепки.

* * *

Первый снег под утро.
Он едва-едва пригнул
Листики нарцисса.

* * *

Вода так холодна!
Уснуть не может чайка,
Качаясь на волне.

* * *

С треском лопнул кувшин;
Ночью вода в нем замерзла,
Я пробудился вдруг.

* * *

Луна или утренний снег...
Любуясь прекрасным, я жил, как хотел.
Вот так и кончаю год.

* * *

Морская капуста легче...
А носит торговец-старик на плече
Корзины тяжелых устриц.

* * *

Облака вишневых цветов!
Звон колокольный доплыл... Из Уэ́но,
Или Аса́куса?

* * *

В чашечке цветка
Дремлет шмель. Не тронь его,
Воробей-дружок!

* * *

Аиста гнездо на ветру.
А под ним — за пределами бури —
Вишен спокойный цвет.

* * *

Долгий день напролет
Поет — и не напоется
Жаворонок весной.

* * *

Над простором полей —
Ничем к земле не привязан —
Жаворонок звенит.

* * *

Майские льют дожди.
Что это? — лопнул на бочке обод? —
Звук неясный ночной...

Осиротевшему другу

Даже белый цветок на плетне
Возле дома, где не стало хозяйки,
Холодом обдал меня.

* * *

Нынче выпал ясный день.
Но откуда брызжут капли?
В небе о́блака клочок.

* * *

Ветку, что ли, обломил
Ветер, пробегая в соснах?
Как прохладен плеск воды!

* * *

Чистый родник!
Вверх побежал по моей ноге
Маленький краб.

* * *

Рядом с цветущим вьюнком
Отдыхает в жару молотильщик.
Как он печален, наш мир!

* * *

Вот здесь в опьяненье
Уснуть бы, на этих речных камнях,
Поросших гвоздикой...

В похвалу поэту Рика

Будто в руки взял
Молнию, когда во мраке
Ты зажег свечу.

* * *

Как быстро летит луна!
На неподвижных ветках
Повисли капли дождя.

* * *

На ночь, хоть на ночь одну,
О кусты цветущие хаги,
Приютите бродячего пса!

* * *

Важно ступает
Цапля по свежему жниву.
Осень в деревне.

* * *

Бросил на миг
Обмолачивать рис крестьянин,
Глядит на луну.

* * *

Снова встают с земли,
Тускнея во мгле, хризантемы,
Прибитые сильным дождем.

* * *

Молись о счастливых днях!
На зимнее дерево сливы
Будь сердцем своим похож.

На родине

Хлюпают носами...
Милый сердцу деревенский звук!
Зацветают сливы.

* * *

В чарку с вином,
Ласточки, не уроните
Глины комок.

* * *

В гостях у вишневых цветов
Я пробыл ни много ни мало —
Двадцать счастливых дней!

* * *

Под сенью вишневых цветов
Я, словно старинной драмы герой,
Ночью прилег уснуть.

Ловля светлячков над рекой Сэта

Еще мелькают в глазах
Горные вишни... И чертят огнем
Вдоль них светлячки над рекой.

* * *

Здесь когда-то замок стоял...
Пусть мне первый расскажет о нем
Бьющий в старом колодце родник.

Осенним вечером

Кажется, что сейчас
Колокол тоже в ответ загудит...
Так цикады звенят.

* * *

Как летом густеет трава!
И только у однолиста
Один-единственный лист.

В похвалу новому дому

Дом на славу удался!
На задворках воробьи
Просо радостно клюют.

* * *

О нет, готовых
Я для тебя сравнений не найду,
Трехдневный месяц!

* * *

Неподвижно висит
Темная туча в полнеба...
Видно, молнию ждет.

* * *

О, сколько их на полях!
Но каждый цветет по-своему,—
В этом высший подвиг цветка!

* * *

Жизнь свою обвил
Вкруг висячего моста
Этот дикий плющ.

На горе «Покинутой старухи»

Мне приснилась давняя быль:
Плачет брошенная в горах старуха,
И только месяц ей друг.

Другу

Посети меня
В одиночестве моем!
Павлонии лист упал...

Поэт Рика скорбит о своей жене

Одеяло для одного.
И ледяная, черная
Зимняя ночь... О, печаль!

В день очищения от грехов

Дунул свежий ветерок,
С плеском выскочила рыба...
Омовение в реке.

* * *

Зимние дни в одиночестве.
Снова спиной прислонюсь
К столбу посредине хижины.

Отец тоскует о своем ребенке

Всё падают и шипят.
Вот-вот огонь в глубине золы
Погаснет от этих слез.

* * *

Срезан для крыши камыш.
На позабытые стебли
Сыплется мелкий снежок.

Ранней весною

Вдруг вижу,— от самых плеч
Моего бумажного платья
Паутинки, зыблясь, растут.

* * *

Весна уходит.
Плачут птицы. Глаза у рыб
Полны слезами.

* * *

Вот он — мой знак путеводный!
Посреди высоких трав луговых
Человек с охапкою сена.

* * *

Сад и гора вдали
Дрогнули, движутся, входят
В летний раскрытый дом.

Крестьянская страда

Полоть... Жать...
Только и радости летом —
Кукушки крик.

* * *

Погонщик! Веди коня
Вон туда, через поле!
Там кукушка поет.

Возле «Камня смерти»

Ядом дышит скала.
Кругом трава покраснела.
Даже роса в огне.

Ветер на старой заставе Сиракава

Западный ветер? Восточный?
Нет, раньше послушаю, как шумит
Ветер над рисовым полем.

По пути на север слушаю песни крестьян

Вот исток, вот начало
Всего поэтического искусства!
Песня посадки риса.

* * *

Майские дожди
Водопад похоронили —
Залили водой.

* * *

Островки... Островки...
На сотни осколков дробится
Море летнего дня.

На старом поле битвы

Летние травы
Там, где исчезли герои,
Как сновиденье.

* * *

Какое блаженство!
Прохладное поле зеленого риса...
Воды журчанье...

* * *

Тишина кругом.
Проникает в сердце скал
Легкий звон цикад.

* * *

Там, где родится поток,
Низко склонилась ива:
Ищет ледник в земле.

* * *

«Ворота прилива».
Омывает цаплю по самую грудь
Прохладное море.

* * *

Пестик из дерева.
Был ли он сливой когда-то?
Был ли камелией?

* * *

Бушует морской простор!
Далеко, до острова Садо,
Стелется Млечный Путь.

В гостинице

Со мной под одною кровлей
Две девушки... Ветки хаги в цвету
И одинокий месяц.

* * *

Как пахнет зреющий рис!
Я шел через поле, и вдруг —
Направо залив Арисо́.

Перед могильным холмом рано умершего поэта Иссё

Содрогнись, о холм!
Осенний ветер в поле —
Мой одинокий стон.

* * *

Красное-красное солнце
В пустынной дали... Но леденит
Безжалостный ветер осенний.

* * *

Сыплются ягоды с веток...
Шумно вспорхнула стая скворцов.
Утренний ветер.

В осенних полях

Намокший, идет под дождем,
Но песни достоин и этот путник.
Не только хаги в цвету.

Шлем Санэмори

О, беспощадный рок!
Под этим славным шлемом
Теперь сверчок звенит.

Расстаюсь в пути со своим учеником

Отныне иду один.
На шляпе надпись: «Нас двое»...
Я смою ее росой.

* * *

Белее белых скал
На склонах Каменной горы
Осенний этот вихрь!

Расставаясь с другом

Прощальные стихи
На веере хотел я написать,—
В руке сломался он.

В бухте Цуруга, где некогда затонул колокол

Где ты, луна, теперь?
Как затонувший колокол,
Скрылась на дне морском.

* * *

Бабочкой никогда
Он уж не станет... Напрасно дрожит
Червяк на осеннем ветру.

На берегу залива Футами, где жил Сайгё

Может, некогда служил
Тушечницей этот камень?
Ямка в нем полна росы.

* * *

Холодный дождь без конца.
Так смотрит продрогшая обезьяна,
Будто просит соломенный плащ.

* * *

До чего же долго
Льется дождь! На голом поле
Жниво почернело.

* * *

Зимняя ночь в саду.
Ниткой тонкой — и месяц в небе,
И цикады чуть слышный звон.

В горной деревне

Монахини рассказ
О прежней службе при дворе...
Кругом глубокий снег.

Играю с детьми в горах

Дети, кто скорей?
Мы догоним шарики
Ледяной крупы.

* * *

Снежный заяц — как живой!
Но одно осталось, дети:
Смастерим ему усы.

* * *

Скажи мне, для чего,
О ворон, в шумный город
Отсюда ты летишь?

* * *

Проталина в снегу,
А в ней — светло-лиловый
Спаржи стебелек.

* * *

Весенние льют дожди.
Как тянется вверх чернобыльник
На этой заглохшей тропе!

* * *

Камелии лепестки...
Может быть, соловей уронил
Шапочку из цветов?

* * *

Листья плюща...
Отчего-то их дымный пурпур
О былом говорит.

* * *

Все кружится стрекоза...
Никак зацепиться не может
За стебли гибкой травы.

* * *

Ты не думай с презреньем:
«Какие мелкие семена!»
Это ведь красный перец.

* * *

Сначала покинул траву...
Потом деревья покинул...
Жаворонка полет.

* * *

Колокол смолк вдалеке,
Но ароматом вечерних цветов
Отзвук его плывет.

* * *

Чуть дрожат паутинки.
Тонкие нити травы сайко
В полумраке трепещут.

* * *

Минула весенняя ночь.
Белый рассвет обернулся
Морем вишен в цвету.

* * *

Жаворонок поет.
Звонким ударом в чаще
Вторит ему фазан.

* * *

Роняя лепестки,
Вдруг пролил горсточку воды
Камелии цветок.

* * *

Вот причуда знатока!
На цветок без аромата
Опустился мотылек.

* * *

В столице, уже примелькавшейся,
Воскресла прежняя прелесть столицы,
Когда кукушку услышал я.

* * *

Майский дождь бесконечный.
Мальвы куда-то тянутся,
Ищут дорогу солнца.

* * *

Холодный горный источник.
Горсть воды не успел зачерпнуть,
Как зубы уже заломило.

* * *

Падает с листком...
Нет, смотри! На полдороге
Светлячок вспорхнул.

* * *

Как ярко горят светлячки,
Отдыхая на ветках деревьев!
Дорожный ночлег цветов!

* * *

И кто бы мог сказать,
Что жить им так недолго?
Немолчный звон цикад.

* * *

В старом моем домишке
Москиты почти не кусаются.
Вот все угощенье для друга!

Один мудрый монах сказал: «Учение секты Дзэн, неверно понятое, наносит душам большие увечья». Я согласился с ним

Стократ благородней тот,
Кто не скажет при блеске молнии:
«Вот она — наша жизнь!»

В монастыре

Пьет свой утренний чай
Настоятель в спокойствии важном.
Хризантемы в саду.

* * *

Белый волос упал.
Под моим изголовьем
Не смолкает сверчок.

* * *

Больной опустился гусь
На поле холодной ночью.
Сон одинокий в пути.

* * *

Прозрачна осенняя ночь.
Далеко, до Семизвездия,
Разносится стук вальков.

* * *

«Сперва обезьяны халат!» —
Просит прачек выбить вальком
Продрогнувший поводырь.

* * *

Даже дикого кабана
Закружи́т, унесет с собою
Этот зимний вихрь полевой!

* * *

Уж осени конец,
Но верит в будущие дни
Зеленый мандарин.

К портрету друга

Повернись ко мне!
Я тоскую тоже
Осенью глухой.

В дорожной гостинице

Переносный очаг.
Так, сердце странствий, и для тебя
Нет покоя нигде.

* * *

Холод пробрал в пути.
У птичьего пугала, что ли,
В долг попросить рукава?

* * *

Сушеная эта макрель
И нищий монах изможденный
На холоде в зимний день.

* * *

Стебли морской капусты.
Песок заскрипел на зубах...
И вспомнил я, что старею.

* * *

Откуда вдруг такая лень?
Едва меня сегодня добудились...
Шумит весенний дождь.

* * *

Откуда кукушки крик?
Сквозь чащу густого бамбука
Сочится лунная ночь.

* * *

Печального, меня
Сильнее грустью напои,
Кукушки дальний зов!

* * *

В ладоши звонко хлопнул я.
А там, где эхо прозвучало,
Бледнеет летняя луна.

В ночь полнолуния

Друг мне в подарок прислал
Рису, а я его пригласил
В гости к самой луне.

* * *

Легкий речной ветерок.
Чай хорош! И вино хорошо!
И лунная ночь хороша!

* * *

Глубокою стариной
Повеяло... Сад возле храма
Засыпан палым листом.

Луна шестнадцатой ночи

Так легко-легко
Выплыла — и в облаке
Задумалась луна.

* * *

Отоприте дверь!
Лунный свет впустите
В храм Укимидó!

* * *

Кричат перепела.
Должно быть, вечереет.
Глаз ястреба померк.

* * *

Белый грибок в лесу.
Какой-то лист незнакомый
К шляпке его прилип.

* * *

Какая грусть!
В маленькой клетке подвешен
Пленный сверчок.

* * *

Верно, эта цикада
Пеньем вся изошла? —
Одна скорлупка осталась.

* * *

Опала листва.
Весь мир одноцветен.
Лишь ветер гудит.

* * *

Посадили деревья в саду.
Тихо, тихо, чтоб их ободрить,
Шепчет осенний дождь.

Хозяин и гость

Друг на друга нарцисс
И белая ширма бросают
Отблески белизны.

Собрались ночью, чтоб любоваться снегом

Скоро ли свежий снег?
У всех ожиданье на лицах...
Вдруг зимней молнии блеск!

* * *

Скалы среди криптомерий!
Как заострил их зубцы
Зимний холодный ветер!

* * *

Сокол рванулся ввысь.
Но крепко охотник держит его,—
Сечет ледяная крупа.

Вернувшись в Эдо после долгого отсутствия

...Но, на худой конец, хоть вы
Еще под снегом уцелели,
Сухие стебли камыша.

* * *

Соленые морские окуни
Висят, ощеривая зубы,—
Как в этой рыбной лавке холодно!

* * *

Есть особая прелесть
В этих бурей измятых,
Сломанных хризантемах.

* * *

Уродливый ворон —
И он прекрасен на первом снегу
В зимнее утро!

Зимняя буря в пути

Словно копоть сметает,
Криптомерий вершины треплет
Налетевшая буря.

Под Новый год

Рыбам и птицам
Не завидую больше... Забуду
Все горести года.

* * *

Влюбленные коты
Умолкли. Смотрит в спальню
Туманная луна.

* * *

Всюду поют соловьи.
Там — за бамбуковой рощей,
Тут — перед ивой речной.

В горах Кисо

Покорна зову сердца
Земля Кисо. Пронзили старый снег
Весенние побеги.

* * *

С ветки на ветку
Тихо сбегают капли...
Дождик весенний.

* * *

Через изгородь
Сколько раз перепорхнули
Крылья бабочки!

Посадка риса

Не успеет отнять руки,
Как уже ветерок весенний
Поселился в зеленом ростке.

* * *

Все волнения, всю печаль
Твоего смятенного сердца
Гибкой иве отдай.

* * *

Как завидна их судьба!
К северу от суетного мира
Вишни зацвели в горах.

* * *

Плотно закрыла рот
Раковина морская.
Невыносимый зной!

Переезжаю в новую хижину

Листья бананов
Луна развесила на столбах
В хижине новой.

* * *

В лунном сиянье
Движется к самым воротам
Гребень прилива.

* * *

Слово скажу —
Леденеют губы.
Осенний вихрь!

* * *

Ладят зимний очаг.
Как постарел знакомый печник!
Побелели пряди волос.

* * *

Год за годом все то же:
Обезьяна толпу потешает
В маске обезьяны.

* * *

Дождь набегает за дождем,
И сердце больше не тревожат
Ростки на рисовых полях.

* * *

Кукушка вдаль летит,
А голос долго стелется
За нею по воде.

Памяти поэта Тодзюна

Погостила и ушла
Светлая луна... Остался
Стол о четырех углах.

* * *

Первый грибок!
Еще, осенние росы,
Он вас не считал.

* * *

Примостился мальчик
На седле, а лошадь ждет.
Собирают редьку.

* * *

Еще живым
За ночь в один комок
Смерзся трепанг.

* * *

Утка прижалась к земле.
Платьем из крыльев прикрыла
Голые ноги свои...

* * *

Едкая редька...
И суровый, мужской
Разговор с самураем.

Перед Новым годом

Обметают копоть.
Для себя на этот раз
Плотник полку ладит.

* * *

О, весенний дождь!
С кровли ручейки бегут
Вдоль осиных гнезд.

* * *

Под раскрытым зонтом
Пробираюсь сквозь ветви.
Ивы в первом пуху.

* * *

С неба своих вершин
Одни лишь речные ивы
Еще проливают дождь.

* * *

Зеленая ива роняет
В мутную тину концы ветвей.
Час вечерний отлива.

* * *

Хотел бы создать я стихи,
С лицом моим старым несхожие,
О, первая вишня в цвету!

Пришел я любоваться вишнями Уэно. Люди отгородились занавесями, поют веселые песни. А я поодаль, в густой тени сосны, сижу один

Передо мною стоят
Четыре простые чашки.
Смотрю на цветы один.

* * *

Пригорок у самой дороги.
На смену погасшей радуге —
Азалии в свете заката.

* * *

По озеру волны бегут.
Одни о жаре сожалеют
Закатные облака.

* * *

Голос пролетной кукушки,
Отдыхая в тени листвы,
Слушают сборщицы чая.

Прощаясь с друзьями

Уходит земля из-под ног.
За легкий колос хватаюсь...
Разлуки миг наступил.

* * *

Голос летнего соловья!..
В роще молодого бамбука
Он о старости плачет своей.

* * *

Весь мой век в пути!
Словно вскапывая маленькое поле,
Взад-вперед брожу.

Ученикам

Не слишком мне подражайте!
Взгляните, что толку в сходстве таком? —
Две половинки дыни.

* * *

Какою свежестью веет
От этой дыни в каплях росы,
С налипшей влажной землею!

* * *

Жаркого лета разгар!
Как облака клубятся
На Грозовой горе!

* * *

Образ самой прохлады
Кистью рисует бамбук
В рощах селенья Са́га.

* * *

«Прозрачный водопад»...
Упала в светлую волну
Сосновая игла.

Актер танцует в саду

Сквозь прорези в маске
Глаза актера смотрят туда,
Где лотос благоухает.

* * *

Что за славный холодок!
Пятками уперся в стену
И дремлю в разгаре дня.

Глядя, как пляшет актер, вспоминаю картину, на которой нарисован танцующий скелет

Молнии блеск!
Как будто вдруг на его лице
Колыхнулся ковыль.

* * *

Луна над горой.
Туман у подножья.
Дымятся поля.

* * *

Повисло на солнце
Облако... Вкось по нему —
Перелетные птицы.

* * *

Не поспела гречиха,
Но потчуют полем в цветах
Гостя в горной деревне.

* * *

Чем же там люди кормятся?
Домик прижался к земле
Под осенними ивами.

* * *

Конец осенним дням.
Уже разводит руки
Каштана скорлупа.

* * *

Аромат хризантем...
В капищах древней Нары
Темные статуи будд.

* * *

Осеннюю мглу
Разбила и гонит прочь
Беседа друзей.

* * *

О, этот долгий путь!
Сгущается сумрак осенний,
И — ни души кругом.

* * *

Отчего я так сильно
Этой осенью старость почуял?
Облака и птицы.

В доме поэтессы Сономэ

Нет! Не увидишь здесь
Ни единой пылинки
На белизне хризантем.

* * *

Осени поздней пора.
Я в одиночестве думаю:
«А как живет мой сосед?»

На одре болезни

В пути я занемог.
И все бежит, кружит мой сон
По выжженным полям.

СТИХИ ИЗ ПУТЕВОГО ДНЕВНИКА «КОСТИ, БЕЛЕЮЩИЕ В ПОЛЕ»

Отправляясь в путь

Может быть, кости мои
Выбелит ветер... Он в сердце
Холодом мне дохнул.

* * *

Туман и осенний дождь.
Но пусть невидима Фудзи,
Как радует сердце она!

* * *

Грустите вы, слушая крик обезьян!
А знаете ли, как плачет ребенок,
Покинутый на осеннем ветру?

* * *

Я заснул на коне.
Сквозь дремоту вижу далекий месяц.
Где-то ранний дымок.

* * *

Безлунная ночь. Темнота.
С криптомерией тысячелетней
Схватился в обнимку вихрь.

В долине, где жил Сайгё

Девушки моют батат в ручье.
Будь это Сайгё вместо меня,
Песню сложили б ему в ответ.

* * *

Листья плюща трепещут.
В маленькой роще бамбука
Ропщет первая буря.

Прядка волос покойной матери

Если в руки ее возьму,
Растает,— так слезы мои горячи!—
Осенний иней волос.

В саду старого монастыря

Ты стоишь нерушимо, сосна!
А сколько монахов отжило здесь,
Сколько вьюнков отцвело...

Ночлег в горном храме

О, дай мне еще послушать,
Как грустно валёк стучит в темноте,
Жена настоятеля храма!

Источник, воспетый Сайгё

Роняет росинки — ток-ток —
Источник, как в прежние годы...
Смыть бы мирскую грязь!

На могиле императора Годайго

На забытом могильном холме
«Печаль-трава» разрослась... О чем
Печалишься ты, трава?

* * *

Ты так же печален,
Как сердце погибшего здесь Ёситóмо,
О ветер осенний!

* * *

Мертвы на осеннем ветру
Поля и рощи. Исчезла
И ты, застава Фувá!

* * *

Нет, нет, я не погиб в пути!
Конец ночлегам на большой дороге
Под небом осени глухой.

* * *

На утренней бледной заре
Мальки — не длиннее вершка —
Белеют на берегу.

Возле развалин старого храма

Даже «печаль-трава»
Здесь увяла. Зайти в харчевню?
Лепешку, что ли, купить?

* * *

Подушка из травы.
И мокнет пес какой-то под дождем...
Ночные голоса.

* * *

Эй, послушай, купец!
Хочешь, продам тебе шляпу,
Эту шляпу в снегу?

* * *

Даже на лошадь всадника
Засмотришься — так дорога пустынна,
А утро такое снежное!

* * *

Сумрак над морем.
Лишь крики диких уток вдали
Смутно белеют.

* * *

Вот и старый кончается год,
А на мне дорожная шляпа
И сандалии на ногах.

* * *

Весеннее утро.
Над каждым холмом безымянным
Прозрачная дымка.

* * *

В храме молюсь всю ночь.
Стук башмаков... Это мимо
Идет ледяной монах.

Хозяину сливового сада

О, как эти сливы белы!
Но где же твои журавли, чародей?
Их, верно, украли вчера?

Посещаю отшельника

Стоит величаво,
Не замечая вишневых цветов,
Дуб одинокий.

* * *

Пусть намокло платье мое,
О цветущие персики Фусими,
Сыпьте, сыпьте капли дождя!

* * *

По горной тропинке иду.
Вдруг стало мне отчего-то легко.
Фиалки в густой траве.

* * *

Смутно клубятся во тьме
Лиственниц ветви, туманней
Вишен в полном цвету.

* * *

Такой у воробышка вид,
Будто и он любуется
Полем сурепки в цвету.

* * *

Ну же, идем! Мы с тобой
Будем колосья есть по пути,
Спать на зеленой траве.

Узнаю о смерти друга

О, где ты, сливовый цвет?
Гляжу на цветы сурепки —
И слезы бегут, бегут.

Покидая гостеприимный дом

Из сердцевины пиона
Медленно выползает пчела...
О, с какой неохотой!

* * *

Молодой конек
Щиплет весело колосья.
Отдых на пути.

СТИХИ ИЗ ПУТЕВОГО ДНЕВНИКА «ПИСЬМА СТРАНСТВУЮЩЕГО ПОЭТА»

В одиннадцатый день десятого месяца отправляюсь в далекий путь

Странник! — Это слово
Станет именем моим.
Долгий дождь осенний...

* * *

До столицы — там, вдали —
Остается половина неба...
Снеговые облака.

* * *

Солнце зимнего дня.
Тень моя леденеет
У коня на спине.

* * *

Сколько выпало снега!
А ведь где-то люди идут
Через горы Хакóнэ.

* * *

Все морщинки на нем разглажу!
Я в гости иду — любоваться на снег —
В этом старом платье бумажном.

* * *

А ну, скорее, друзья!
Пойдем по первому снегу бродить,
Пока не свалимся с ног.

В саду богача

Только сливы аромат
Приманил меня к застрехе
Этой новой кладовой.

Перед Новым годом

Пришел на ночлег, гляжу —
Зачем-то народ суетится...
Обметают копоть в домах.

* * *

Ей только девять дней,
Но знают и поля и горы:
Весна опять пришла.

* * *

Клочья трав прошлогодних...
Короткие, не длиннее вершка,
Первые паутинки.

Там, где когда-то высилась статуя Будды

Паутинки в вышине.
Снова образ Будды вижу
На подножии пустом.

В саду покойного поэта Сэнгина

Сколько воспоминаний
Вы разбудили в душе моей,
О вишни старого сада!

Посещаю храмы Исэ

Где, на каком они дереве,
Эти цветы — не знаю,
Но ароматом повеяло...

С грустью думаю о простодушной вере Дзога, раздавшего всю свою одежду нищим

И я бы остался нагим...
Да снова пришлось бы одеться —
Дует холодный вихрь.

Встретившись с местным ученым

...Но прежде всего спрошу:
Как зовут на здешнем наречье
Этот тростник молодой?

Встречаю двух поэтов, отца и сына

От единого корня растут
И старая и молодая слива.
Обе льют аромат.

Посещаю бедную хижину

Во дворе посажен батат.
Заглушили его, разрослись у ворот
Молодые побеги травы.

В святилище Исэ

Деревце сливы в цвету
Позади обители юных жриц.
Сколько прелести в нем!

* * *

В путь! Покажу я тебе,
Как в далеком Ёсино вишни цветут,
Старая шляпа моя.

* * *

Едва-едва я добрел,
Измученный, до ночлега...
И вдруг — глициний цветы!

* * *

Парящих жаворонков выше
Я в небе отдохнуть присел,—
На самом гребне перевала.

* * *

С шелестом облетели
Горных роз лепестки...
Дальний шум водопада.

* * *

Охочусь на вишни в цвету.
В день прохожу я — славный ходок! —
Пять ри, а порой — и шесть.

* * *

Погасли лучи на цветах.
Из сумрака темною тенью встал
Мой завтрашний день — кипарис.

Ручей возле хижины, где обитал Сайгё

Словно вешний дождь
Бежит под навесом ветвей...
Тихо шепчет родник.

* * *

Вновь оживает в сердце
Тоска о матери, об отце.
Крик одинокий фазана!

* * *

Ушедшую весну
В далекой гавани Вака
Я наконец догнал.

Посещаю город На́ра

В день рождения Будды
Он родился на свет,
Маленький олененок.

Когда епископ Гандзин, основатель храма Сёдайдзи, плыл в Японию, он больше семидесяти дней провел в пути, и глаза его выел соленый морской ветер. Увидев статую его, я сказал:

Молодые листья...
Если б мог я капли отереть
С глаз твоих незрячих!

Расстаюсь в Нара со старым другом

Как ветки оленьего рога
Расходятся из единого комля,
Так с тобою мы расстаемся.

Посещаю дом друга в О́сака

В саду, где раскрылись ирисы,
Беседовать с старым другом своим,—
Какая награда путнику!

Я не увидел осеннего полнолуния на берегу Сума́

Светит луна, но не та.
Словно я не застал хозяина...
Лето на берегу Сума.

* * *

Увидел я раньше всего
В лучах рассвета лицо рыбака,
А после — цветущий мак.

* * *

Рыбаки пугают ворон.
Под нацеленным острием стрелы
Кукушки тревожный крик.

* * *

Там, куда улетает
Крик предрассветный кукушки,
Что там? — далекий остров.

Флейта Санэмори

Храм Сумадэ́ра.
Слышу, флейта играет сама собой
В темной гуще деревьев.

От бухты Сума до бухты Акаси можно добраться пешком, так близко они друг от друга. Поэтому я сказал:

Улитка, улитка!
Покажи нам рожки,
Где Сума, где Акаси!

Провожу ночь на корабле в бухте Акаси

В ловушке осьминог.
Он видит сон — такой короткий! —
Под летнею луной.

РАНРАН

* * *

Осенний дождь во мгле!
Нет, не ко мне, к соседу
Зонт прошелестел.

САМПУ

* * *

Майские дожди!
Заплыла лягушка
В дом через порог.

КЁРАЙ

* * *

Как же это, друзья?
Человек глядит на вишни в цвету,
А на поясе длинный меч!

ИССЁ

* * *

Видели всё на свете
Мои глаза — и вернулись
К вам, белые хризантемы.

РАНСЭЦУ

* * *

Осенняя луна
Сосну рисует тушью
На синих небесах.

* * *

Первый день в году.
Воробьи ведут на солнце
Длинный разговор.

* * *

Цветок... И еще цветок...
Так распускается слива,
Так пробивается тепло.

* * *

Набежавшая волна
Моет уходящую...
Как прохладно на реке!

КИКАКУ

* * *

Яркий лунный свет!
На циновку тень свою
Бросила сосна.

* * *

Мошек легкий рой
Вверх летит — плавучий мост
Для моей мечты.

* * *

Нищий на пути!
Летом вся его одежда —
Небо и земля.

* * *

Ко мне на заре в сновиденье
Пришла моя мать... Не гони ее
Криком своим, кукушка!

* * *

Качается, качается
На листе банана
Лягушонок маленький.

* * *

Устали стрекозы
Носиться в безумной пляске...
Ущербный месяц.

* * *

Туманится диск луны...
Два круга мерцают в тени ветвей:
Филин в мутных очках.

* * *

Как рыбки красивы твои!
Но если бы только, старый рыбак,
Ты мог их попробовать сам.

* * *

Какая долгая жалоба!
О том, что кошка поймала сверчка,
Подруга его печалится.

* * *

Холодная зима.
В пустынном поле пу́гала —
Насесты для ворон.

* * *

Заплатила дань
Земному и затихла,
Как море в летний день.

* * *

Свет зари вечерней!
На затихшей улице
Бабочки порхают.

* * *

Давайте сад поливать,
Пока насквозь не промокнут
Цикады и воробьи.

* * *

Спрячься, как в гнездышке,
Здесь, у меня под зонтом,
Мокрая ласточка!

В годовщину смерти Басё

Прошло уж десять лет,
А кажется, вчера его не стало...
Плакучей ивы тень!

* * *

Утренняя звезда!
Нет среди вишен покоя
Облачку на горе.

* * *

Уплыли далеко ввысь
От криптомерий нагорных
Осенние небеса.

О Н И Ц У Р А

* * *

Некуда воду из ванны
Выплеснуть мне теперь...
Всюду поют цикады!

* * *

Скелеты свои
Люди в шелка завернули.
Глядят на цветы.

* * *

Паутина на ветке!
Вновь пахнуло жарой на меня
В этой летней роще.

Д З Ё С О

* * *

На зубец горы
С шумом стая опустилась
Перелетных птиц.

* * *

И поля и горы —
Снег тихонько все украл...
Сразу стало пусто!

* * *

Снега холодней,
Серебрит мои седины
Зимняя луна.

* * *

С неба льется лунный свет!
Спряталась в тени кумирни
Ослепленная сова.

БОНТЁ

* * *

Молодая павлония!
Три листка облетят —
Донага разденется.

* * *

Месяц на небе,
Один ты на свете товарищ
Бушующей буре.

* * *

Плывет гряда облаков...
Как бережно светлую луну
Она несет на себе!

* * *

Гуси пролетные!
И вы обратились в сумрак
Весеннего вечера.

* * *

Прохладой дышу в пути.
Нет ни изнанки, ни верха
У летней одежды моей.

КАКЭЙ

Изваяние Будды

Молнии беглый свет!
Будды лицо озарилось
В темной дали полей.

* * *

Кружит осенний вихрь.
Как дрожит, как трепещет
Каждый листок на плюще!

СИКО

* * *

О кленовые листья!
Крылья вы обжигаете
Пролетающим птицам.

* * *

Как я завидую тебе!
Ты высшей красоты достигнешь
И упадешь, кленовый лист!

ТИЁ

* * *

За ночь вьюнок обвился
Вкруг бадьи моего колодца...
У соседа воды возьму!

* * *

Удочка в руке.
Чуть коснулась лески
Летняя луна.

* * *

Над волной ручья
Ловит, ловит стрекоза
Собственную тень.

На смерть маленького сына

О мой ловец стрекоз!
Куда в неведомой стране
Ты нынче забежал?

* * *

Полнолуния ночь!
Даже птицы не заперли
Двери в гнездах своих.

* * *

Роса на цветах шафрана!
Прольется на землю она
И станет простой водою...

Сочиняя стихи

Пока повторяла я:
«О кукушка, кукушка!» —
Рассвет уже наступил.

* * *

О светлая луна!
Я шла и шла к тебе,
А ты все далеко.

* * *

Только их крики слышны...
Белые цапли невидимы
Утром на свежем снегу.

* * *

Спящий мотылек!
Что увидел он во сне?
Крыльями взмахнул.

* * *

Я и забыла,
Что накрашены губы мои...
Чистый источник!

* * *

Сливы весенний цвет
Дарит свой аромат человеку,
Тому, кто ветку сломал.

РЁТА

* * *

Осенняя луна.
О, если б вновь родиться
Сосною на горе!

БУСОН

* * *

Печальный аромат!
Цветущей сливы ветка
В морщинистой руке.

* * *

Луна сквозь дымку...
Лягушки пруд замутили.
Где вода? Где небо?

* * *

К западу лунный свет
Движется. Тени цветов
Идут на восток.

В далекой деревушке

Звонко лает пес
На захожего торговца.
Персики в цвету!

* * *

Вот из ящика вышли...
Разве ваши лица могла я забыть?
Пара праздничных кукол.

* * *

Грузный колокол.
А на самом его краю
Дремлет бабочка.

* * *

Летняя ночь коротка!
Засверкали на гусенице
Капли рассветной росы.

* * *

Цветы сурепки вокруг.
На западе гаснет солнце.
Луна на востоке встает.

* * *

Набежавшие волны
Моют голени синей цапли.
Ветерок вечерний.

* * *

Я поднялся на холм,
Полон грусти,— и что же:
Там шиповник в цвету!

* * *

Лишь вершину Фудзи
Под собой не погребли
Молодые листья.

* * *

Каменщик стучит,
Огненные искры
По ручью плывут.

* * *

Два или три лепестка
Друг на друга упали...
Облетает пион.

* * *

Коротка ты, летняя ночь!
Проплывают меж тростников
Пены легкие пузырьки.

* * *

Уходят сразиться друг с другом
Двое монахов-разбойников,
В летней траве исчезая...

* * *

«Форель в подарок вам!» —
Стучит глухою ночью
В ворота рыболов.

Статуя князя преисподней

Так ярко алеет рот
У князя Эмма́, как будто
Он выплюнуть хочет пион.

* * *

Прохладой веет ночь!
По тени собственной ступаю
На отмели речной.

* * *

Прохладный ветерок.
Колокола покинув,
Плывет вечерний звон.

* * *

Старый колодец в селе.
Рыба метнулась за мошкой...
Темный всплеск в глубине.

* * *

Ливень грозовой!
За траву чуть держится
Стайка воробьев.

* * *

Возле самой дороги
Расцвели под ночным дождем
Брошенные кувшинки.

* * *

Ладанка льет аромат.
Сколько неявного очарованья
В девушке глухонемой.

* * *

Луна так ярко светит!
Столкнулся вдруг со мной
Слепец — и засмеялся...

* * *

Разбойничий атаман
И тот, наверно, песню сложил
В такую ночь о луне!

* * *

Лампу зажгли в потемках...
Вдруг потеряли свой цвет
Желтые хризантемы.

* * *

Любитель цветов!
Ты стал неприметно
Рабом хризантем.

* * *

Выпала роса,
И на всех колючках терна
Капельки висят.

* * *

С запада ветер летит,
Кружит, гонит к востоку
Ворох опавшей листвы.

* * *

Едва в долину сошел.
На брови осенним холодом
Вершина горы легла.

* * *

Любовь старика.
Только он думал: «Забуду»,—
Осенний дождь.

* * *

«Буря началась!» —
Грабитель на дороге
Предостерег меня.

* * *

На две деревушки
Одна лавчонка ростовщика.
Зимняя роща.

* * *

Осенний ветер
Мелкие камни бросает
В колокол храма.

* * *

Горный ручей
Бежал все тише, все тише...
Ледок на дне.

* * *

Холод до сердца проник:
На гребень жены покойной
В спальне я наступил.

* * *

Скрежет пилы —
О, бедность, бедность! —
В полночь зимой.

* * *

На старом пруду
Две уточки... Зорко глядит
Хорек в камышах.

* * *

Ударил я топором
И замер... Каким ароматом
Повеяло в зимнем лесу!

На одре болезни

Марево белых цветов...
Только так — приходит теперь
Каждый рассвет ко мне.

ГЁДАЙ

* * *

Лист летит на лист,
Все осыпались, и дождь
Хлещет по дождю.

КИТО

* * *

Ливень грозовой!
Замертво упавший,
Оживает конь.

ИССА

* * *

Воробышек-дружок!
Прочь с дороги! Прочь с дороги!
Видишь, конь идет.

* * *

Так кричит фазан,
Будто это он открыл
Первую звезду.

* * *

Стаял зимний снег.
Озарились радостью
Даже лица звезд.

* * *

Чужих меж нами нет!
Мы все друг другу братья
Под вишнями в цвету.

* * *

Смотри-ка, соловей
Поет все ту же песню
И пред лицом господ!

* * *

Как вишни расцвели!
Они с коня согнали
И князя-гордеца.

* * *

Пролетный дикий гусь!
Скажи мне, странствия свои
С каких ты начал лет?

* * *

Вновь прилети весной!
Дом родной не забудь,
Ласточка, в дальнем пути!

* * *

Нынче — как вчера...
Над убогой хижиной
Стелется туман.

* * *

О цикада, не плачь!
Нет любви без разлуки
Даже для звезд в небесах.

* * *

Стаяли снега, —
И полна вдруг вся деревня
Шумной детворой!

* * *

Укрывшись под мостом,
Спит зимней снежной ночью
Бездомное дитя.

* * *

Ах, не топчи траву!
Там светлячки сияли
Вчера ночной порой.

* * *

Вот выплыла луна,
И самый мелкий кустик
На праздник приглашен.

* * *

Верно, в прежней жизни
Ты сестрой моей была,
Грустная кукушка...

* * *

Дерево — на сруб...
А птицы беззаботно
Гнездышко там вьют!

* * *

Я прилег в тени.
За меня толчет мой рис
Горный ручеек.

* * *

По дороге не ссорьтесь,
Помогайте друг другу, как братья,
Перелетные птицы!

На смерть маленького сына

Наша жизнь — росинка.
Пусть лишь капелька росы
Наша жизнь — и все же...

* * *

О, если б осенний вихрь
Столько опавших листьев принес,
Чтобы согреть очаг!

* * *

Красная луна!
Кто владеет ею, дети,
Дайте мне ответ!

* * *

Тихо, тихо ползи,
Улитка, по склону Фудзи
Вверх, до самых высот!

* * *

В зарослях сорной травы,
Смотрите, какие прекрасные
Бабочки родились!

* * *

Я наказал ребенка,
Но привязал его к дереву там,
Где дует прохладный ветер.

Большой Будда в Камакура

Будда в вышине!
Вылетела ласточка
Из его ноздри.

* * *

Не знаю, что за люди здесь,
Но птичьи пугала в полях —
Кривые, все до одного!

Наблюдаю бой между лягушками

Эй, не уступай,
Тощая лягушка!
Исса за тебя.

* * *

Печальный мир!
Даже когда расцветают вишни...
Даже тогда...

* * *

Так я и знал наперед,
Что они красивы, эти грибы,
Убивающие людей!

В Сотогахама

Знайте, отныне
Вы — дикие гуси Японии...
Спите спокойно!

* * *

Вишен цветы
Будто с небес упали —
Так хороши!

* * *

О да, я знаю, это по мне
Колокол вечерний звонит,
Но в тишине прохладной дышу.

* * *

Ой, не бейте муху!
Руки у нее дрожат...
Ноги у нее дрожат...

* * *

Олень лениво стряхнул
Бабочку со своей спины
И задремал опять.

* * *

Не гоните прочь
Овода, — он прилетел
Навестить цветы.

* * *

Муравьиная тропа!
Ты откуда к нам идешь?
Из-за облачной гряды?

* * *

Всем сердцем я чту,
Отдыхая в полдневный жар,
Людей на полях.

* * *

О, до чего мне стыдно
Слушать, лежа в тени,
Песню посадки риса!

ПЯТИСТИШИЯ

КАМО МАБУТИ

* * *

Только одно
И не под силу молве
Словом украсить —
Краше стократно на вид
Вишни в горах Ёсино.

*

В пору цветенья
Вишни сродни облакам —
Не потому ли
Стала просторной душа,
Словно весеннее небо...

*

Вечерняя хижина
Пропитана благоуханьем
Цветов померанца.
В два голоса перекликаясь,
Пролетают кукушки.

Долгие дожди

Дождь без конца.
Опавшие листья бамбука
Укрыли от глаз
Замшелую горную тропку —
Никто ко мне в гости не ходит.

*

Радость какая!
Запел долгожданный сверчок.
Ах, если б вечно
Длилась прозрачная ночь,
Не заходила луна...

ТАЯСУ МУНЭТАКЭ

Осенняя буря

Свирепая буря
С деревьев срывает листву —
Сегодня впервые
Я вспомнил с тоской запоздалой
О красках осеннего сада.

Сложил как-то вечером, когда за чаркой сакэ любовался садом во время снегопада

Им бы сейчас,
Попивая сакэ, любоваться
Дивной картиной,—
Нет, бродит зачем-то народ,
Топчет на улицах снег!

Под шорох сосен в саду вспоминаю, как в прошлом месяце, одинокий странник, забрел я в Сусаки и там отдыхал на берегу бухты

Только заслышу
Сосен разбуженных шум —
Вспомню Сусаки...
Там я, тоску позабыв,
Странствовал месяц назад...

Влюбленный светлячок

Не плачет навзрыд,
Но, пламени молча отдавшись,
Горит светлячок,—
Наверное, так же, как я,
Любовным недугом объят...

*

Великую милость
Приявший в рожденье своем
От неба с землею,—
По жизни пройдет человек
Покорен веленьям небес.

*

Незамутненной
Гладью без признака волн
Эта протока
Приворожила, должно быть,
Неискушенное сердце...

ОДЗАВА РОАН

Луна над деревней

В лунное небо
Дружно летят завыванья
Псов деревенских.
Мирно уснули люди
В тени у подножья Удзи.

*

Хотя в этот вечер
Я в гости не жду никого,

Но дрогнуло сердце,
Когда всколыхнулась под ветром
Бамбуковая занавеска.

К картине в стиле «горы и воды»

В далеком краю,
Где в чистые воды глядятся
Высокие горы,
Исчезнет, я знаю, бесследно
Вся скверна, осевшая в сердце.

Предрассветный дождь над хижиной в горах

Над горной вершиной
Тяжелые тучи клубятся.
Оконце прикрою —
И жду в одиночестве утра,
Унылому ливню внимая.

*

Все тяготы мира
На деле несут человеку
Великое благо, —
Но как бы узнал я об этом,
Когда бы на свете не пожил?

Вол

Вол на пахоте
Плуг безрадостно влачит,
Свой нелегкий плуг...
Ну, а мы с тобой, скажи,
Разве в плуг не впряжены?

Непостоянство

Станет с годами
Галька речная утесом,
Не прерывая
Вечную цепь превращений
В нашем изменчивом мире...

*

Голосом сердца
Служат простые слова
Песен Ямато, —
Что, кроме них, передаст
Дум сокровенную суть?

По нынешним временам в «ута» обязательно строго отбирают слова, а многие вещи из тех, что мы видим и слышим повседневно, и вовсе в стихах не встречаются

В прежние года
Не стеснялись этих слов
В песнях и стихах:
Редька, баклажан, имбирь,
Вяленая дыня, лук.

РЁКАН

Сложено на горе Кука́ми

Вот и навестил
Свой приют былой...
Домик обветшал,
Палисадник и плетень
Сплошь усыпаны листвой.

* * *

Приятно порой,
На солнце весеннем пригревшись,
Собраться в кружок
И мирно под старою ивой
С друзьями вести беседу...

* * *

О ветры с гор!
Не дуйте нынче ночью,—
Тревожным сном
В пути забылся странник
На жестком изголовье.

* * *

Как незаметно
День этот долгий прошел!
Вешняя дымка...
Я с детворой деревенской
В мяч не могу наиграться.

* * *

Высóко в горах,
За кручами снежных вершин
Нашел я приют,—
Зимою не видно следов,
Ведущих к лачуге моей...

Проснулся, увидев во сне брата Ёсиюки

Поведай, откуда
Пришел ты сегодня ко мне
Тропой сновидений,
Хотя на тропинке в горах
Сугробами путь прегражден?..

На склоне лет смотрюсь в зеркало

Раньше, бывало,
Видел я снег поутру
Только зимою,
Да, верно, время пришло —
Снег у меня в волосах...

К написанному мною самим портрету дзэнского монаха Ситай

Хочешь проведать,
Что называлось душой
Этого старца? —
Ветер ответит тебе,
Мчащий в просторах небес.

* * *

Как сердце щемит!
Сегодня на горной лужайке
В сгустившейся мгле
Ведут свою песню лягушки
Почти что у самого дома...

* * *

Вот и затишье.
Из дому я выхожу
Полюбоваться —
Как засияла вдали
Зелень омытых вершин.

* * *

Как хорошо,
Загодя дров нарубив,
Ночь напролет
Праздно лежать у костра
С чаркой простого сакэ!

* * *

Непостоянство —
Нашего мира удел.
Не потому ли
Грустью исполнены песни
Бренного рода людского?

* * *

Хотел обогреть
Озябшие ноги жаровней,
Но только прилег —
И словно мороз этой ночи
Внутри, по желудку разлился.

Завещание

После себя
Что я оставлю на свете?
Цветы — весной,
Летом — кукушки напевы,
Осенью — красные клены...

КАГАВА КАГЭКИ

* * *

Должно быть, друзья
Боятся, что снег не растаял,
Зайти не спешат,
А слива у хижины горной
Белеет не снегом — цветами.

Перелетные гуси поздней ночью

Ночью весенней
В тусклом сиянье луны
Я просыпаюсь,—
Как тяжело на душе!
Крик перелетных гусей...

Летняя луна

Летняя ночь.
Густо листвою укрыты
Горные склоны —
Даже сиянье луны
Меркнет под сенью дерев.

Светлячки над ряской

Будто под ветром
Зыбью подернулся лик
Ряски болотной —
Носится рой светлячков
Над бочагами в горах.

Дождь на горной дороге

Да это ведь дождь
Начался там, вдалеке!
А я-то думал,
Просто туман спустился
С гребня горы Судзука́...

В одиночестве смотрю на луну

Мне показалось,
Будто один я на свете
Луной любуюсь...
Но кто этим дивным сияньем
Пренебрежет без причины?

Ясная луна над горами

Все сосны в горах
Уже обрели очертанья,
И ветви видны
До самой последней иголки,—
Луна осенней ночи...

Зимняя луна

Чудится, словно
С неба на землю летят
Лунные блестки,—
Ночью ложится снег
Путнику на рукава.

Гляжу на курильницу для благовоний в виде кошки, напомнившую мне о поэте Сайгё

В струях душистых
К самому небу несутся
Чаянья наши,
Чтобы исчезнуть бесследно...
Дым над вершиною Фудзи.

Старец Басё

Пусть я не постиг
Сокровенной глубины
Старого пруда,
Но и нынче различаю
Всплеск в тишине...

Горная вишня

Лунным сияньем
Залита вишня в горах.
Вижу, под ветром
Дрожь по деревьям прошла,—
Значит, цветы опадут?!

ОКУМА КОТОМИТИ

Сверчок в лунном свете

Дремоту прогнав,
На небо ночное гляжу —
Взошла ли луна?
У самой подушки моей
О чем-то сверчок верещит.

Муравей

«Вот он, смотрите!» —
Мне ребятишки кричат,
Да только где там!
Не углядеть старику
Этой букашки в траве.

Старик

Старец столетний,
От молодых услыхав
Про то, что в мире
Снова стряслось что-нибудь,
Только смеется в ответ.

Ворота

Вот и сегодня
До дому еле дополз,—
Скоро уж, видно,
Выйду из этих ворот,
Чтобы назад не прийти.

Картина

В мире у меня
Ничего нет своего —
Только, может быть,
Эти горы и моря,
Что в картину перенес...

В думах о будущей жизни

Мне не нужны
Ни чины, ни высокие званья.
Здесь, на земле,
Я б возродиться хотел
Тем же, кем был до сих пор.

Прибираю садик возле дома бедняка

Много лет я жил
В этом доме бедняком...
Никаких хлопот,—
Садик, прибранный уже,
Подметаю вновь.

ТАТИБАНА АКЭМИ

В горах

Песнь дровосека.
Птичий нестройный щебет.
Ручья журчанье.
Росой омытые травы.
Сосны до самого неба...

Из цикла «Радости одиночества»

*

Право, приятно,
Когда приготовишь, бывает,
Тушь да бумагу,—
И будто бы сами собой
Под кистью ложатся слова.

*

Как хорошо,
Когда, отдыхая душою,
О преходящем
Поразмышляешь лениво
В клубах табачного дыма.

*

Очень приятно,
Когда у торговца возьмешь
Рыбы получше,
И ноздри щекочет слегка
Жареного аромат.

*

Право, приятно,
Когда развернешь наугад
Древнюю книгу
И в сочетаниях слов
Душу родную найдешь.

*

Право, приятно,
Когда просидишь целый день
Дома за книгой,
Вдруг у ворот услыхать
Близких друзей голоса.

В шутку

Слышу за окном
Завыванья демонов —
Ночью нынешней
Им от счастья слезы лить,
Слушая мои стихи.

ПРИМЕЧАНИЯ

ИНДИЯ

ПОЭЗИЯ НА САНСКРИТЕ И ПРАКРИТАХ

Калидаса.— Современные филологи считают Калидасу автором трех пьес: «Вновь узнанная Шакунтала», «Мужеством добытая Урваши», «Малявика и Агнимитра», и трех поэм: «Род Рагху», «Рождение Кумары», «Облако-вестник». К юношескому периоду творчества Калидасы с некоторыми сомнениями относят также поэму «Времена года». Произведения поэта переводились на многие языки мира. На русском языке наибольшую популярность получили переводы трех драм, сделанные К. Бальмонтом, и перевод «Облака-вестника», принадлежащий перу П. Риттера (см.: Калидаса. Избранное. М., 1956). П. Риттер перевел «Облако-вестник» также на украинский язык («Хмара-вістун». Харьков, 1928). Драмы Калидасы и поэму «Облако-вестник» вновь перевел на русский язык С. Липкин (см.: Калидаса. Избранное. Драмы и поэмы. М., 1974). В этой же книге в переводах С. Липкина опубликованы фрагменты из поэм «Род Рагху» (гл. I, II, III) и «Рождение Кумары» (гл. VIII, IX, X).

«Рождение Кумары» («Кумара-самбхава») (стр. 25).— Одно из высших достижений в творчестве Калидасы и во всей классической санскритской поэзии. Среди прочих произведений поэта «Рождение Кумары» наиболее часто цитируется в старинных индийских трактатах по поэтике как образец поэтического мастерства (чаще всего цитаты брались из гл. I, III и V). Авторам трактатов была известна поэма лишь в восемь глав, завершающаяся браком Шивы и Парвати. Однако в некоторых рукописях поэма «Рождение Кумары» состоит из семнадцати глав и заканчивается действительным появлением на свет Кумары, бога войны. Есть веские основания полагать, что какой-то другой поэт дописал главы с IX по XVII, желая привести содержание поэмы в соответствие с ее заглавием (подобные случаи «дописывания» известны в истории индийской литературы). Впрочем, санскритское заглавие «Кумара-самбхава» можно перевести не только как «Рождение Кумары», но и как «Зарождение Кумары» или даже — «Любовь, приведшая к рождению Кумары». Главы I, II, III и V этой поэмы впервые переведены на русский язык В. Микушевичем для настоящего издания. В основу перевода положен критический текст поэмы, опубликованный Литературной Академией Республики Индии (Нью-Дели, 1962). Использованы также старинные индийские комментарии, прежде всего — наиболее авторитетный комментарий Маллинатхи (предположительно — XIV в.).

ГЛАВА I. РОЖДЕНИЕ УМЫ

1. В переводе передано преобладание гласного «а» в строках оригинала, подчеркивающее величие Хима́лаи (Гималаев) (см. «Воспоминания» Р. Тагора: Собр. соч., т. 12. М., 1965, с. 84).

2. Мифический царь При́тху однажды решил добыть из земли различные блага для своих подданных. Земля, приняв облик коровы, убежала от царя, но потом согласилась быть выдоенной, если найдется достойный теленок. Притху дал земле в качестве теленка первочеловека Ману и выдоил из нее молоко, которое затем было превращено в различные ценности. По примеру Притху землю-корову доили потом многие другие мифические персонажи.

Сравнение в санскритской поэзии требует полной симметрии сравниваемых элементов. Здесь сравнение имеет такую структуру: доитель = Притху = Меру; теленок = Ману = Хималая; получатели благ = другие люди = другие горы. Таким образом подчеркнуто главенствующее положение Хималаи среди гор: он уступает лишь горе Меру, центру Вселенной.

6. По индийским поверьям, в головах слонов образуются жемчужины, и львы рассыпают их, раздирая слонам когтями головы.

12. Темнота сравнивается с совой, укрывающейся в пещере от света.

13. *Белые опахала* — атрибут царской власти в Индии.

16. *Семь Мудрецов* — индийское название созвездия Большой Медведицы. Поскольку это созвездие выше траектории солнца, лотосы, не собранные Семью Мудрецами с вершин гор, освещаются солнцем снизу.

18. *Духом рожденную отчую дочерь*...— Мена считается рожденной «из духа» дочерью «отцов» (богов-прародителей человечества). От них она унаследовала мудрость и мистические силы, передавшиеся потом ее дочери Уме.

20. Речь идет о первом сыне Мены и Хималаи по имени Ма́йнака (так действительно называется одна из вершин в Гималаях). Его женой стала одна из *нагини* (см. «Словарь»). *Ненавистник Вритры* — бог Индра, некогда убивший демона Вритру. В древности все горы имели крылья и свободно летали, мешая богам и отшельникам. По их просьбе Индра отсек горам крылья и расставил их по местам. Но Майнака укрылся у своего друга Океана, в пределах которого Индра был бессилен, и остался крылатым.

21. Прежняя жена Шивы, Сати, оскорбленная небрежением отца к ее супругу, сожгла себя на костре (по другой версии, умертвила себя йогой). Ума была новым воплощением Сати.

23. *Пение раковин, ливень цветочный*...— Обычные проявления радости богов, в данном случае предвидевших уничтожение демона Тараки сыном Умы. *Подвижные* — боги, люди, животные и т. д. *Недвижные* — деревья и прочие растения, камни и т. д.

24. По индийским поверьям, мифическая гора Виду́ра от звуков грома раскалывается и являет блеск скрытых в ней сапфиров.

26. «*Парвати*» — значит: «Горная», «Дочь гор». «*У ма!*» — «О, не (делай этого)!» — якобы сказала ей мать, когда Парвати решила предаться аскезе (см. ниже, гл. V, строфы 3—4). Это «народная этимология» имени *Ума*.

27. *Потомством богатый*...— Кроме Майнаки и Умы, детьми Хималаи считаются реки. Структура сравнения здесь такова: Хималая = весна; его глаза = пчелы (глаза весны); Парвати = цветы манго; другие дети = другие цветы.

29. *Детской игрой наслаждаясь как будто*.— На самом деле Парвати была с младенчества умудрена опытом прошлых рождений (см. след. строфу).

33. Структура сравнения: ступни Умы = лотосы; их сияние = пыльца лотосов. Но ступни Умы превосходят лотосы тем, что движутся.

34. В ор. речь идет о птице под названием «царский гусь» — символе величественности. Парвати заимствовала у этой птицы свою походку, а та как бы в обмен переняла в своем клекоте звон браслетов на ногах Парвати.

38—39. Речь идет о канонических атрибутах женской красоты. См. также III, 54.

42. Цвет ладоней Парвати напоминал цвет вечернего неба после заката. Но вместо одного месяца на этом «небе» было десять «месяцев»-ногтей.

44. Лицо Парвати обладало достоинствами и лотоса (аромат, живость и т. д.) и луны (неувядаемая свежесть, нежное свечение и т. д.), превосходя, таким образом, прелесть обоих.

53. *Бог богов* — Шива.

54. См. прим. к I, 21. *Владыка Вселенной* — Шива.

55. Считается, что у оленей в пупках содержится мускус. Шива предавался аскезе, не обращая внимания на окружавшие запахи и звуки.

58. *...сочетатель восьми проявлений...*— Шива проявляется в восьми «формах»: в виде пяти «элементов» (земля, вода, огонь, воздух, эфир), а также в виде солнца, луны и жреца (см. пролог «Шакунталы»).

59. *Царь* — то есть царь гор Хималая. *Царевна* — то есть Парвати.

61. *Цветы приносила, священные травы и воду...*— То есть все необходимое для совершения ритуальных обрядов.

ГЛАВА II. ЛИЦЕЗРЕНИЕ БРАХМЫ

3. *Повелитель Речи* — Брахма, супруг Сарасвати, богини речи и поэзии.

Строфы 4—15 — гимн Брахме. Боги следуют восходящему к ведам принципу генотеизма: провозглашать высшим того бога, которому в данный момент совершается поклонение,— и восхваляют Брахму как Верховное Божество, как Основу Бытия.

4. *Триединый* — то есть заключающий в себе самом троицу-тримурти (Брахма-Вишну-Шива) и содержащий «три начала» бытия (три «гуны» — «качества» в терминах философии санкхья): «саттва» — «раджас» — «тамас» («ясность» — «энергия» — «буйство»).

8. *День Брахмы* — период бытия мира, один из бесконечного числа временных циклов. *Ночь Брахмы* — период небытия мира в промежутке между двумя периодами бытия.

11. Поскольку Брахма — это весь мир, он обладает одновременно всеми возможными качествами. Ср. стихи Кабира на с. 157.

12. *Речи, которые вечны в таинстве трех ударений...*— Ведические тексты, в которых, в отличие от санскрита, различались три вида ударений. Согласно упанишадам, веды — вечны, и Брахма лишь заново вспоминает их при каждом сотворении мира. В упрощенной трактовке пуран Брахма — творец вед.

13. Изложены представления философской системы санкхья, интерпретированные с точки зрения философии веданты. *Пуруша* и *Пракрити* — два начала мира, «инертный дух-основа» и «действующая материальная сила».

14. *Отцы.*— См. прим. к 1, 18.

20. *Ваджра* («гром») — оружие Индры.

21. *Петля* — оружие бога Варуны, нечто вроде лассо или аркана.

24. Обычно на *Адитьев* смотреть невозможно из-за их яркого блеска.

25. *Ветры* — то есть боги ветров.

29. *Тысячеокий* — Индра. Индра своею тысячью глаз дал знак говорить Брихáспати. *Наставник* — Брихáспати, бог мудрости и красноречия, часто называемый «Наставником богов».

30. *Речью Владеющий* (Вача́спати) — одно из имен Брихаспати. *Брахма на лотосе внемлет...*— Брахма восседает на троне-лотосе.

34. Луна из страха перед *Таракой* перестала убывать и все время светит всеми пятнадцатью частями, лишь одну, шестнадцатую, оставив на голове у Шивы. Считается, что луна состоит из шестнадцати частей, которые периодически то высвечиваются, то затемняются.

36. То есть в садах Тараки одновременно присутствуют все времена года — каждый со своими цветами.

37. *Повелитель потоков* — океан.

39. *Древо желаний* — волшебное дерево, растущее в саду Индры.

43. Солнце выезжало на небо в колеснице, запряженной конями.

48. *Недуг тройной* — согласно традиционной индийской медицине, недуг, поражающий три «стихии» тела и не поддающийся лечению.

51. *Освобождение* — мокша (см. вступ. статью, с. 22).

60. В акте сотворения мира Брахма испускает семя в воду,— одно из проявлений Шивы.

64. *Желанная* — Рати, супруга Камадевы.

ГЛАВА III. СОЖЖЕНИЕ МАДАНЫ

8. *На травяной изнывая постели!* — Ложе из трав — традиционный способ облегчения мук человека, страдающего от неудовлетворенной страсти.

11. *Разрушитель* — одно из имен Индры.

13. *Кришна.*— Здесь бог Вишну назван именем одной из своих аватар.

14. *...кто быком знаменован.*— Шива, который ездит на быке. *Боги, лишенные жертвы законной.*— См. выше, II, 46.

17. *Невозмутимый* — одно из имен Шивы.

22. *Воля верховная, как плетеница.*— Поручение, данное Индрой Камадеве, сравнивается с гирляндой цветов, которую бог или святой обычно дарят тем, кто им поклоняется. *Лишь для вселенских слонов...*— Индра — владыка слонов, охраняющих стороны света.

Строфы 24—40 — описание весны в горах.

25. *Солнце направилось в царство Куберы...*— То есть на север. Из-за неожиданного наступления весны солнце повернуло на север в неурочное время. Структура сравнения здесь такова: солнце = горячий, то есть страстный и неверный любовник; южная сторона = брошенная возлюбленная; северная сторона = торжествующая соперница; ароматные южные ветры, дующие обычно после солнцеворота = печальные вздохи брошенной возлюбленной. (Стороны света обычно персонифицируются в виде молодых женщин.)

30. Игра слов: «тилак» («тилака») — и название пятнышка, украшения на лбу женщины, и имя цветка.

46. *Около синего горла.*— См. «Нилакантха» в «Словаре».

50. *За девятью вековыми дверями...*— Имеются в виду девять отверстий на теле человека.

59. *Тысячеглавый* — змей Шеша, держащий землю. Энергия, высвобожденная Шивой из себя при расслаблении йогического напряжения, была столь велика, что Шеша едва смог удержать землю.

ГЛАВА IV. ПЛАЧ РАТИ (В ПЕРЕВОДЕ ОПУЩЕНА)

Рати рыдает по убитому супругу и хочет, согласно обычаю, сжечь себя на костре. Но голос с небес останавливает ее, обещая, что Мадана возродится, когда Шива женится на Парвати.

10. Аскеты надевают пояса, сплетенные в три нитки из особой травы.

17. Под влиянием аскезы Парвати природа вокруг нее преобразилась.

20. Здесь изображена так называемая «аскеза пяти огней», предписываемая, например, «Законами Ману» (VI, 23).

22. *Небесною влагой...* — Имеется в виду прежде всего роса.

23. *Огнем опаленная неугасимым* — то есть солнцем. В строфах 23—24 муссонный дождь проливается на иссушенную аскезой Парвати.

30. *Первая áшрама* — первая стадия в жизни брахмана, в течение которой он должен учиться и вести аскетический образ жизни.

35. Смысл вопроса: «Не гневаешься ли ты на ланей, поедающих добытые тобою с трудом священные травы?» Контроль над гневом — непременное свойство аскета.

37. *Не столько небесной рекой цветоносной...* — Речь идет о Ганге, текущей с Гималаев и улыбающейся рассыпанными по ней цветами.

38. Здесь речь идет о трех целях человеческой жизни: дхарме (добродетели), артхе (богатстве), каме (любви).

44. Структура сравнения здесь такова: юная Парвати = ранняя ночь; ее украшения = звезды и луна; старость = конец ночи, заря; красная кора, приличествующая старости = солнечный свет.

50. Брахмачáрин, ведя праведную жизнь, накопил религиозные заслуги и предлагает поделиться ими с Умой, чтоб помочь ей обрести желаемое.

54. Вопль *хум* — оружие Шивы.

55. *...от сандала седая...* — Парвати сандаловой мазью покрывала лоб, чтобы остудить его, но сандал тут же высыхал и прахом оседал на волосах.

58. *Луной Венчанный* — Шива. Рисовать любимого — традиционное утешение для влюбленных.

67. *Наряд, на котором рисуются гуси...* — На одежде невесты рисовали пары гусей. *Со шкурой слоновою кровоточащей...* — Шива носил на себе шкуру убитого им демона-слона Гаджáсура.

74. *Дваждырожденный* — здесь: брахман.

77. Имя «Шива» может быть переведено как *Благой*.

81. *Прародитель* — Брахма.

Хала.— Из «Семисот стихотворений» («Саттасаи») (стр. 54).— «Семьсот стихотворений» Халы на пракрите махараштри — самое раннее из известных нам собраний лирической поэзии на индоарийских языках. Предание приписывает «Саттасаи» царю Хале, правившему на Декане в I—II веках, однако, по мнению ученых, эти стихи создавались от III до VII века. Существует легенда, что богиня поэзии Сарасвати посетила однажды военный лагерь царя Халы и вдохновила всех бывших в нем — от военачальников до прислуги — сочинить по одному стихотворению, которые и составили затем знаменитую антологию. Подобно древнетамильской лирике, строфы из собрания Халы нередко представляют собой монологи, вложенные в уста неких условных персонажей (молодой девушки, влюбленного юноши и т. д.). Позднейшие индийские комментаторы истолковывали все стихотворения Халы как монологи, причем имеющие исключительно эротический смысл, прямой или иносказательный, однако многие из подобных истолкований кажутся весьма искусственными или, по крайней мере, необязательными. Стоит упомянуть, что это собрание пользуется большой популярностью у джайнов, которые считают и самого Халу последователем джайнизма. Стихотворения из собрания Халы на европейские языки переводились сравнительно мало. В русском переводе публикуются впервые. В ос-

нову перевода положено наиболее авторитетное издание А. Вебера (Лейпциг, 1881). Нумерация строф принадлежит переводчику.

⟨5⟩ *Лакшми*, богиню счастья и богатства, боги добыли во время пахтанья молочного океана.

⟨10⟩ Лотос (или вообще цветок) и пчела — традиционное иносказание для женщины и ее возлюбленного.

⟨12⟩ Вдову, по обычаю, сжигают на погребальном костре мужа.

⟨24⟩ Согласно поверью, о ком думаешь перед смертью, того суждено любить и в следующем рождении.

⟨26⟩ Язвительные слова женщины неверному возлюбленному: «Если другие столь же достойны, как я, то ты прав в своих изменах».

⟨28⟩ В традиционных индийских семьях, в которых женатые сыновья жили вместе с родителями, днем соблюдалась сегрегация полов; молодые оставались наедине лишь по ночам.

⟨29⟩ Мужья уезжали по делам в сухое время года, середина которого приходилась на весну. Весною тоска разлуки достигала наивысшего напряжения. По мнению комментатора, данное стихотворение — это слова женщины, отговаривающей своего мужа от долгого путешествия.

⟨30⟩ К сезону дождей путешествующие возвращались домой. Поэтому гром возбудил у женщины надежду на близкую встречу с мужем.

⟨35⟩ Посредница иносказательно приглашает любовника к женщине.

⟨36⟩ Женщина, муж которой в отъезде,— гостю, оставшемуся на ночлег.

⟨37⟩ Посредница — герою. См. прим. к ⟨10⟩.

⟨39⟩ См. ниже, прим. к с. 90.

⟨40⟩ Жена — мужу о прежнем месте утех.

⟨47⟩ Слова девушки, обращенные к тете.

⟨48⟩ Комментаторы предлагают два объяснения: 1) женщина иносказательно договаривается с возлюбленным о месте встречи; 2) стареющая женщина утешает себя сравнением с природой.

⟨49⟩ В ор. речь идет о дереве под названием «ашока», что буквально значит: «беспечальное». Его красноватые листья обычно сравниваются с ладонями женщины (ср. «Рождение Кумары», I, 42).

⟨51⟩ Сорванные лотосы напомнили слону лицо его слонихи, и он так долго стоял, задумавшись, что лотосы увяли. По мнению комментатора, это слова женщины, ставящей слона в пример своему неверному возлюбленному.

Амару.— Из «Ста стихотворений» («Амару-Шатака») (стр. 60).— «Сто стихотворений Амару» — едва ли не самое знаменитое и чтимое собрание любовной лирики на санскрите. Однако имя «Амару» (или «Амарука», есть и другие варианты), как и многие другие имена в индийской литературе, не обладает никакой исторической определенностью. Есть основания полагать, что «Сто стихотворений Амару» — не сборник произведений одного поэта, а своего рода антология любовной лирики разных авторов. Возможно, эта антология сложилась вокруг некоего первоначального ядра, действительно принадлежавшего одному поэту по имени Амару. Но с течением времени это имя стало как бы символом определенного рода любовной лирики на санскрите, так же как имя Хала — символом определенного (иного) рода любовной лирики на пракрите. Индийская традиция чтит Амару не многим меньше, чем Калидасу. В трактатах по поэтике стихи Амару очень часто цитируются и анализируются как высшие образцы любовной лирики. Известна также анонимная сентенция: «Одна строфа поэта Амаруки стоит сотни больших произведений». Характерное свойство большинства стихотворений Амару — изображение некой единовременной, часто даже мгновенной ситуации, насыщенной эмоциональным напряжением и при этом нередко заключающей в себе своего рода внутренний парадокс. Не случайно вступи-

тельная строфа изображает тот момент, когда бог любви Камадева нацеливает свою стрелу в Шиву и в душе бога-аскета возникает любовь к стоящей перед ним Уме. Эмоциональное напряжение этой ситуации (подобное напряжению тетивы лука) уже в следующий момент разрешается взрывом божественного гнева: Шива испепеляет Камадеву. Несомненно, эта строфа служит как бы ключом к восприятию всех остальных. «Сто стихотворений Амару» целиком или выборочно не раз переводились на основные западноевропейские языки, но в русском переводе публикуются впервые. В основу перевода положена так называемая «западная» версия, считающаяся наиболее ранней и в XIII веке прокомментированная Арджунавармадевой. Использовано третье бомбейское издание этой версии (1954). Нумерация — по названному изданию.

Первые три строфы — традиционное вступительное благословение.

1. *Мать* — Ума.

2. В этом стихотворении использован другой эпизод из мифов о Шиве. Три сына асура Тараки, убитого Кумарой, вымолили у Брахмы тысячелетнюю власть над тремя мирами: земным, воздушным и небесным. Они построили три города, которые по истечении тысячелетнего срока должны были слиться в один тройной город (Трипура — «Троеград») и погибнуть от огненной стрелы Шивы. Разрушение Трипуры — божественная жестокость и божественное благодеяние. Здесь огонь, охватывающий женщин Трипуры, сравнивается с любовником, преодолевающим гнев возлюбленной.

10. *Стыдясь, что пока еще жизни полна...*— Вариация весьма распространенного мотива в индийской поэзии: жена считает, что истинно любящая должна умереть в разлуке с мужем, и даже от одного предчувствия разлуки; поэтому ей стыдно, что она еще жива, хотя разлука уже наступает.

34. Идеальная красавица слегка склоняется под тяжестью грудей и ходит медленно, обремененная бедрами. В антологии «Субхашита-ратнакоша» (см. ниже) стихотворение приписано поэту по имени Дхармакирти, которого некоторые исследователи отождествляют со знаменитым буддистским философом VII в.

69. В названной антологии это стихотворение приписано поэтессе по имени Бхавакадеви, о которой более ничего не известно.

71. Индийские комментаторы считают это стихотворение «подброшенным» в собрание Амару. Действительно, оно гораздо проще по своему строению, чем все прочие строфы.

Бхартрихари. — Из «Трехсот стихотворений» (стр. 67).— Подобно Амару, имя Бхартрихари окружено легендами, достоверность которых в лучшем случае сомнительна. В истории индийской литературы известен Бхартрихари, автор «Трехсот стихотворений», а также Бхартрихари, автор трактатов по философии грамматики, и среди исследователей ведутся споры о том, один ли это и тот же Бхартрихари или два разных человека с одинаковым именем. Датировка жизни Бхартрихари-поэта колеблется от IV—V до VII века. Как и в случае с Амару, есть веские причины полагать, что «Триста стихотворений Бхартрихари» — своеобразная антология, хотя, возможно, и выросшая из сборника произведений одного автора. Трехчастное деление сборника на «Сто стихотворений о мирской мудрости», «Сто стихотворений о любви» и «Сто стихотворений об отрешенности» связано с индийскими представлениями о четырех сферах и целях человеческой деятельности: «артхе» — практической выгоде, «дхарме» — общественном и религиозном долге (эти две сферы объединены в первой «Сотне стихотворений»), «каме» — сфере чувственных наслаждений и «мокше» — освобождении от пут бытия (ср. подобное трехчастное деление «Тирукурала»)... В XVII веке миссионер-кальвинист Абрахам Рогер перевел на

голландский «Сто стихотворений о мирской мудрости» и «Сто стихотворений об отрешенности». Это был первый перевод с санскрита на европейский язык. С тех пор стихотворения Бхартрихари переводились в Европе неоднократно. В русском переводе столь значительное число стихотворений Бхартрихари публикуется впервые. В основу перевода положена одна из южноиндийских версий «Трехсот стихотворений Бхартрихари» с комментарием Рамачандры Будхендры (время жизни неизвестно), изданная Д.-Д. Косамби (Бомбей, 1957).

Составитель приносит благодарность И. Д. Серебрякову за помощь в работе над этим и следующими разделами подборки.

«Корми лесных газелей побегами бамбука...» (стр. 69).— В этом стихотворении выражена характерная для Бхартрихари мысль о двух равно достойных человека образах жизни: отрешенности от мира и полнокровном его приятии. *...бледными, как щеки... шакских дев...*— Шаки — племена (очевидно, иранского происхождения), пришедшие в Индию к началу нашей эры и постепенно ассимилировавшиеся.

Из «Описаний времен года» (стр. 71).— В Индии шесть времен года: весна, лето (жаркий сезон), сезон муссонных дождей, ранняя осень, осень (или начало холодов) и холодный сезон (который лишь условно можно назвать зимой). *Чайтра* — месяц, соответствующий марту — апрелю.

Стр. 73. *Над головой хмурые тучи нависли.*— Традиционная для индийской поэзии тема: страдания странника, разлученного с возлюбленной. К началу муссонных дождей путешествующие обычно возвращаются по домам.

«Из антологий разных веков» (стр. 78).— Приводимые здесь стихотворения взяты в основном из антологии «Субхашита-ратнакоша» («Сокровищница прекрасных речений»), изданной впервые Д.-Д. Косамби и В.-В. Гокхале в «Гарвардской восточной серии» (т. 42. Кембридж, Масс., 1957). Д. Инголлс опубликовал полный английский перевод «Субхашита-ратна-коша» («Гарвардская восточная серия», т. 44. Кембридж, Масс., 1965). Д.-Д. Косамби установил, что эта антология была составлена в первой половине XII века неким Видьякарой, ученым-монахом буддистского монастыря Джагаддала в Восточной Бенгалии (на территории нынешней Бангладеш). Несколько стихотворений в этой подборке взято из других, более поздних, санскритских антологий. Распределение по тематическим рубрикам принадлежит составителю, однако выдержано в духе индийских традиций. Значительная часть «антологических» стихотворений анонимна; во многих случаях указаны имена авторов, о которых более ничего не известно; нередко разные антологии расходятся в атрибуции одного и того же стихотворения. Наконец, если автором данного стихотворения назван, например, Бхавабхути, то у нас, разумеется, все же нет полной гарантии, что стихотворение принадлежит знаменитому драматургу VIII века, а не какому-либо другому поэту с тем же или другим именем. Перевод публикуется впервые.

Стр. 79. *Чанакья* — еще одно имя-символ в индийской литературе; легендарный министр царя Чандрагупты Маурья, современника Александра Македонского. Ему приписывается трактат о науке государственного управления — «Артха-шастра», а также многочисленные стихотворные афоризмы.

Равигупта — автор-буддист неизвестного времени.

Стр. 80. *Джаганнатха* — автор XVII в.

Стр. 81. *Я обвалял их в мокром тмине...*— По мнению Д. Инголлса, это монолог шута-обжоры из какой-то не дошедшей до нас санскритской пьесы.

Стр. 82. *Дандин* — писатель и теоретик литературы (ок. VII в.).

Йогешвара (как и *Абхинанда* и *Шатананда*) — вероятно, придворный поэт раджей из бенгальской династии Палов, предположительно относимый к IX в.

Стр. 84. *Раджашекхара* — плодовитый автор IX—X вв.

Нараяналаччхи.— Слово представляет собой пракритскую форму санскритского «Нараяна-Лакшми», то есть «Вишну и Лакшми». Об авторе с таким именем ничего не известно. Может быть, это вообще не имя автора, а название какого-то произведения о любви Вишну и Лакшми.

Стр. 85. *Билхана* — поэт XI в.

Стр. 86. *Вишакхадатта* — драматург (см.: Вишакхадатта. Мудраракшаса, или Перстень Ракшасы. Перевод с санскрита В. Г. Эрмана. М.— Л., 1959).

Стр. 88. *Мурари* — поэт, относимый к IX—X вв.

Стр. 89. *Бхавабхути* — знаменитый драматург VIII в. (см. том БВЛ «Классическая драма Востока»).

Дхармакирти — поэт, отождествляемый исследователями со знаменитым буддистским философом VII в. (см. прим. к стихотворению Амару, 34).

Стр. 90. *Соннока*.— Об этом поэте известно лишь то, что он был поклонником бога Вишну.

Видья — поэтесса, жившая, по-видимому, в Южной Индии между VII и IX вв.

«О добрая жена соседа!..» (стр. 90).— Женщина, якобы намереваясь набрать воды из реки, идет на свидание с любовником. Согласно поэтическому канону, любовники во время объятий оставляют на груди возлюбленных царапины. Хала (39) «Рождение Кумары», III, 29.

Джаядева.— «Гита-говинда» (стр. 91).— Вишнуиты Северной Индии сохранили о Джаядеве много легенд, но достоверным можно считать лишь то, что Джаядева творил в конце XII века в Бенгалии, в годы правления раджи Лакшманасены, и был, видимо, придворным поэтом этого раджи. «Гита-говинда» («Воспетый пастух» или «Песнь о пастухе») — одно из наиболее изощренных и наиболее загадочных произведений санскритской поэзии. В этой поэме повествуется о любви Кришны и пастушки Радхи. Уже в «Махабхарате» Кришна выступает как божественный персонаж, аватара (воплощение) бога Вишну. Но в эпосе Кришна — прежде всего политик и воин. В последующей литературе, особенно в «Бхагавата-пуране», получает развитие образ Кришны-ребенка и Кришны-юноши, возлюбленного пастушек Браджа. В «Бхагавата-пуране» пастушки — это символы человеческих душ, стремящихся к Кришне-Абсолюту. Джаядева чуть ли не первый выделил одну из пастушек, Радху, и сделал ее главной возлюбленной Кришны. И для Джаядевы, несомненно, Кришна — бог, а Радха — сопричастная ему душа. Однако любовь Радхи и Кришны в «Гита-говинде» не просто стремление души к божеству, но сложный комплекс их отношений, слагающийся из взаимных влечений, отвращений и конфликтов. Кришна и Радха у Джаядевы выступают как бы «на равных», и, очевидно, оба наделены божественной природой, будучи воплощениями божественных супругов, Вишну и Лакшми (см. прим. к первой строфе). Нам, впрочем, неизвестно, какую именно теологическую концепцию имел в виду поэт. Первые европейские переводчики «Гита-говинды» считали, что Кришна символизирует в поэме мятущуюся человеческую душу, а Радха — высшее божество, но такая интерпретация, подсказанная европейскими параллелями, не имеет никакой опоры в индийской традиции. В Индии «Гита-говинда» пользовалась огромной популярностью. Первый перевод ее на английский язык (У. Джоунза, конец XVIII в.) вызвал восторженный отклик Гете, который высказывал желание перевести поэму на немецкий. Впоследствии «Гита-говинда» не раз переводилась на

основные европейские языки. В русском переводе публикуется впервые. «Гита-говинда» состоит из двенадцати частей, посвященных различным эпизодам во взаимоотношениях Радхи и Кришны. Здесь приводится целиком перевод первой части поэмы. Научного, критического издания текста «Гита-говинды» не существует, поэтому в основу перевода положено несколько индийских изданий с санскритскими комментариями.

1. Вступительное благословение. Имеется в виду эпизод, описанный в «Брахмавайварта-пуране», где Радха провозглашена воплощением Лакшми. Однажды Нанда пас скот в лесу, и при нем был младенец Кришна, который решил лишний раз напомнить приемному отцу о своей божественной природе. Он нагнал на небо тучи, устроил грозу, распугал скот, а сам для пущего правдоподобия заплакал и прижался к Нанде. Тот был в отчаянии — и вдруг увидел Радху, неизвестно откуда появившуюся. В этот миг Нанда вспомнил, что Кришна — это Вишну, а Радха — Лакшми, и вручил ей бога-младенца. Упоминание «тайных» (любовных?) игр Радхи и Кришны, только что бывшего боязливым ребенком, можно, с одной стороны, понимать в связи с условностью и легкой изменяемостью любых форм Кришны-Вишну, а с другой стороны — как предвосхищение последующих сцен поэмы. Индийские комментаторы отмечают, что в этой первой строфе должным образом дано указание на содержание всего произведения.

4. Джаядева называет здесь, кроме себя, поэтов, очевидно, его современников. Похвалы им двусмысленны и содержат скрытые издевки.

Песня 1. Гимн десяти аватарам.

В индусской мифологии постепенно сложились представления о различных аватарах (воплощениях) бога Вишну. Число их варьируется от текста к тексту, но наибольшее распространение получил список из десяти аватар, которому в целом следует и Джаядева в этом гимне, уделяя каждой по строфе. *Рыба.*— Во время потопа Вишну в облике рыбы спасает Веду и возвращает ее Брахме. *Черепаха.*— Джаядева здесь следует варианту мифа, согласно которому Вишну в облике черепахи служит опорой мироздания. *Вепрь.*— Демон Хираньякша спрятал землю на дне океана. Вишну в облике вепря поднял землю, поддев ее на клыки. *Человеко-лев.*— В этом облике Вишну убил демона Хираньякашипу, неуязвимого для богов, людей и зверей. *Карлик.*— В этом облике Вишну отнял власть над тремя мирами у царя Бали, который согласился отдать карлику столько пространства, сколько он покроет тремя шагами. *Парашурама* («Рама с секирой»).— В этом воплощении Вишну истребил кшатриев, притеснявших высшую варну — брахманов. ***Рама*** (герой «Рамаяны»). Вишну в этом своем воплощении победил десятиголового демона Равану. Обычно восьмой аватарой выступает Кришна, но здесь Джаядева говорит о его брате *Балараме* (Баладеве), видимо, потому, что в «Гита-говинде» сам Кришна выступает не как аватара, то есть частичное проявление божества, а как полное воплощение, целиком тождественное Вишну. Баларама был вооружен плугом и одет в синие одежды. Однажды он позвал к себе воды Ямуны, но река отказалась выполнить его просьбу. Тогда Баларама плугом прорыл новое русло, по которому испуганной реке пришлось притечь к нему. *Будда* — основатель буддизма, среди прочего отрицавший жертвоприношения, предписанные ведами, и призывавший к состраданию всем живым существам. Позднее включен в индусский пантеон в качестве аватары Вишну. *Ка́лки* — воин с мечом на белом коне. В этом облике Вишну должен появиться в конце мирового цикла, чтобы поразить зло.

5. Резюмирует предшествующий гимн, называя в том же порядке все аватары Вишну.

Песня 2. Гимн Вишну-Кришне.

...солнцем украшен. .— Первоначально Вишну был солнечным божеством. *Лебедь верховный в жизни духовной...*— В ор.— непереводимая игра

слов, смысл которой в том, что Вишну столь же вечно и неизменно пребывает в человеческом духе («манас»), как благородный гусь — в священном озере Манаса в Гималаях. *Сразил ты змея...*— Имеется в виду змей Калия, убитый Кришной (см. соответствующую иллюстрацию). *Держал ты гору, явив опору...*— Имеется в виду миф о том, как боги пахтали океан, оперев мутовку, гору Мандару, на панцирь черепахи, аватары Вишну. *Лунному взору явил чакору...*— В ор.: «[Ты] — чакора для лица-луны Лакшми», то есть Вишну глядит влюбленно в лицо своей супруги Лакшми (ср. ниже стихотворение Видьяпати. 3). *Прекрасней тучи...*— Кришна (как и сам Вишну) темно-синего цвета, который обычно сравнивается с цветом грозовой тучи.

Песня 3. *Пышной весною, чье золото блещет, не уступая жезлу властелина.*— Имеется в виду золотой жезл (символ власти) бога любви Камадевы.

10. *Прельщенного мнимою прелестью многих...*— Как объясняют индийские комментаторы, влечение Кришны к многочисленным пастушкам — это заблуждение, истинна лишь любовь между Кришной и Радхой.

Песня 4. *В желтом...*— Кришна одет в желтые одежды.

Пастушки изображены здесь неискушенными в искусстве любви: они навязывают Кришне свои ласки, вместо того чтобы хитрой игрой заставить его добиваться их ласк. По мнению комментаторов, это говорит о неистинности любви пастушек к Кришне.

12. *Порожденье сандаловых гор...*— Речь идет о южном ветре, дующем с горы Малайя (то есть с Западных Гатов), поросшей сандалом. Змеи, живущие среди корней сандаловых деревьев, якобы жгут этот ветер своими укусами, и, чтобы унять жжение, он устремляется на север, к гималайским снегам.

С. Серебряный

ТАМИЛЬСКАЯ ПОЭЗИЯ

Классическая тамильская поэзия известна у нас только «Тирукуралом», который дважды издавался на русском языке — в прозаическом и стихотворном переводе. Между тем эта поэзия, особенно лирическая, одна из ярчайших страниц мировой литературы. Наибольший расцвет ее приходится на период так называемого «сангама», литературной академии (III—IV вв.). Тогда жили и творили многие сотни поэтов. Некоторые из них оставили после себя достаточно большое по объему наследство, многие представлены лишь одним, двумя, тремя стихотворениями, а кое-кто навсегда укрылся под псевдонимом. Наряду с самодовлеющей ценностью классической тамильской поэзии она имеет и большую ценность как исторический документ: в ней не только развернуты широкие картины жизни в древней Южной Индии, но и содержатся чрезвычайно любопытные подробности быта и обычаев, которые притягивают к себе пристальное внимание исследователей. Однако период сангама отнюдь не исчерпывает всего богатства тамильской поэзии. И более поздние века принесли с собой такие поэтические сокровища, как «Тирукурал», венец дидактической поэзии, творчество поэтов-шиваитов (бхактов) и многое, многое другое, продолжающее волновать читателей глубиной философской мысли, свежестью поэтического чувства и восторгать своей великолепной огранкой. Переводчик приносит глубокую признательность индийскому писателю П. Сомасундараму за его помощь в расшифровании текстов.

Восемь антологий, которые остались от эпохи сангама,— целое море стихов. Объем подборки позволяет включить лишь самую небольшую часть этого поэтического богатства.

Любопытной чертой древних антологий является указание на место — тиней. Тинеев — пять: куринджи — край цветов куринджи, горный край;

палей — пустыня, пустынный край; муллей — жасминовый край, лесной край; нейдаль — край белых лилий, приморский край; марудам — равнинный край, поля.

Каждому из тинеев соответствуют определенные цветы, растения, птицы, животные. Любовь, согласно тинеям, разделяется на пять состояний: куринджи — союз влюбленных; палей — их разлука; муллей — терпение; нейдаль — тоска; марудам — обида.

Из антологии «Курундохей» (стр. 98).— Антология объединяет четыреста стихотворений от четырех до восьми строк, написанных двумястами пятью поэтами. Составил ее Пурикко по велению древнего властителя Уппури Кудикижара. Размер — ахаваль.

Аувейар — прославленная поэтесса (под этим именем известно еще несколько поэтесс позднейшего времени). Принадлежала к касте паранаров (певцов и музыкантов). Приближенная властителя Адиямана Недумана Анджи.

Паранар — поэт из касты паранаров. Друг знаменитого поэта Капилара. В своих стихах воспел царя Сенгут-тавана из династии Чера и многих других правителей той эпохи.

Стр. 98. *Ним* — маргоза, большое величественное дерево.

Капилар — поэт. По касте — брахман. Друг древнего правителя Парпвеля. Ему принадлежит один из пяти разделов антологии «Калитохей». Он также автор поэмы «Песнь куринджи» из антологии «Паттупатту» («Десять поэм»).

Сембула Пейанирар — псевдоним, образованный из строки стихотворения, букв.: «Тот, кто написал о слиянии дождя и земли».

Аниляду Мундриляр — псевдоним, образованный из строки стихотворения, букв.: «Тот, кто написал о дворе, где играют белки».

Недувеннилавинар — псевдоним, образованный из строки стихотворения, букв.: «Тот, кто написал о продолговатой луне».

Аммунавар — поэт, родом, вероятно, из Кералы, где имя Амму встречается и по настоящее время. Пользовался поддержкой царей из династий Чера и Пандья.

Велливидийар (букв.: «Та, что живет на Серебряной улице»)— поэтесса. Своим именем, возможно, обязана улице в Мадуре. Писала преимущественно о боли разлуки с мужем. О ней упоминает Аувейар. Одно из стихотворений, составляющих венок в честь Тируваллювара, легендарного автора «Тирукурала», подписано ее именем.

Вадам Ваннакан Дамодаран — по наследственному ремеслу ювелир, проверявший пробу золота и золотых монет.

Кижар из Алаттура — поэт из касты велаляров (земледельцев), родом из Алаттура (царство Чола).

Перунгадунго — царь из династии Чера, возможно, старший сын Черамана Сельвы Кадунго.

Нанмуллей из Аллура — поэтесса родом из Аллура, места, которое находилось, по-видимому, в царстве Пандья.

Стр. 103. *Тай* — месяц тамильского календаря (январь — февраль). Считается благоприятным для свадеб.

Оданъяни — очевидно, выходец с севера.

Из антологии «Аханануру» (стр. 103).— Антология «Аханануру» (также «Ахам», «Недундохей», «Сборник длинных стихотворений») содержит четыреста стихотворений от тринадцати до тридцати одной строки, принадлежащих ста сорока пяти поэтам. Размер — ахаваль. Составил анто-

логию Уруддира Санман, сын Уппури Кудикижара из Мадуры, по повелению царя из династии Пандья — Уккира Перуважуди.

Стр. 103. *Пидаву* — рандия (Randia Malabaruca).

Каннанар, сын Кижара из Каттура — поэт из касты велаляров.

Стр. 104. *Тирейан* — правитель, столица которого находилась в городе Паватири. *Павлин проплясал свой истомой проникнутый танец.*— Танец павлинов считается предвестником наступления сезона дождей.

Наккиранар (Наккирар) — известный поэт родом из Мадуры, автор двадцати семи стихотворений в антологиях «Наттриней», «Ахам» и «Пурам» и двух поэм из «Паттупатту» (см. ниже).

Из антологии «Пурананнуру...» (стр. 106).— Антология насчитывает около четырехсот стихотворений разной длины, написанных ста шестьюдесятью поэтами (несколько стихов утеряно, кое-какие дошли до нас в неполном виде). Метр — ахаваль. Составитель неизвестен. В антологии упоминается множество царей из династии Чера, Чола, Пандья и властителей того времени.

Кижар из Ковура — поэт, друг многих древних владык.

Стр. 106. *Все девять знаков.*— Перечислены девять недобрых предзнаменований.

Стр. 107. *Валаван* (букв.: «Царь плодородной страны») — имя царей из династии Чола.

Каньян Пунгундран (букв.: «Певец с цветочной горы») — тамильский поэт, астролог.

Аваней Кажейдин Йанейар (букв.: «Хозяин слона, жующего сахарный тростник») — поэт.

Стр. 107. *Ори* (Вальвильори, Аттанори) — властитель того времени, правил на холме Колли, Малабарское побережье.

Тайам Каннанар из Ерукаттура — поэт родом из Ерукаттура (Танджурский округ). В его стихах много ценных исторических сведений.

Стр. 108. *Велли* (букв.: «Серебряная») — Венера. *Державы, где шести своим занятьям // Спокойно предаются анданары...*— Анданары — брахманы. Шесть их занятий: изучать веды и учить других, совершать обряды и управлять обрядами, совершаемыми другими людьми, давать и принимать приношения.

Из антологии «Калитохей» (стр. 109).— Антология (последняя из вышеупомянутых восьми) содержит сто пятьдесят стихотворений, написанных пятью поэтами в пяти тинеях. Размер — кали. Составитель и автор вступительного обращения к богу, а также одного из разделов — *Нallандуванар.* Остальные четверо — Перунгадунго, Капилар, Наллуруддиранан и Марудан Илянаханар.

Стр. 109. *Браслеты спадают, смотри, у жены твоей вдруг...*— Спадание браслетов из-за худобы — традиционный образ, описывающий жену, которая исхудала в разлуке с мужем.

Стр. 110. *Чу! Ящерка мне выражает свое одобренье...*— Цоканье ящерицы считается доброй приметой.

Стр. 111. *Айя* — господин.

Немийан (букв.: «Обладатель боевого диска») — одно из имен бога Вишну, который изображается темно-смуглого, до синевы, цвета.

Из антологии «Десять песней» (стр. 112).— Наппуттанар, сын золотых дел мастера, из Каверипатти-

н а м а.— «Ж а с м и н о в а я п е с н ь» (стр. 112).— В антологии «Десять песней» («Паттупатту») собраны десять поэм. «Жасминовая песнь» — одна из них.

Стр. 112. *...Тирумаль всеблагий // Восстал для измеренья трех миров...* — Тирумаль — тамильское имя бога Вишну. По преданию, бог Вишну превратился в карлика, чтобы сокрушить власть демона (дайтья) Бали, угрожавшего богам. Он попросил у Бали столько пространства, сколько сможет захватить в три шага. Получив согласие, он в два шага измерил землю и небо и лишь по просьбе Бали оставил ему подземный мир. *Вина* — индийский музыкальный инструмент.

Стр. 114. *Времемер* — древние водяные часы. Небольшой сосуд с дырочкой помещался в больший сосуд, и время исчислялось по количеству воды, которая наливалась в меньший сосуд. Древнетамильский час — нажихай — составлял двадцать четыре минуты. *Яваны* — греки или римляне. *Млеччи* — немые чужеземцы, служившие телохранителями.

Стр. 115. *Кайя* — карликовое дерево (Memecylon tinctorium). *Дождь золотой* — дерево «индийский золотой дождь» (кондрей). *Кандаль* (кодаль) — белая малабарская лилия. *Тондри* — красная малабарская лилия.

«Т и р у к у р а л» (стр. 115) — величайший памятник древнетамильской дидактической литературы. Традиция приписывает его создание Тируваллювару (святому Валлювару), скорее всего неприкасаемому из касты валлюванов, служителей культа. Поэтический перевод — в книге: «Тирукурал». Избранные афоризмы». М., «Художественная литература», 1974. *Любовь.* — Здесь имеется в виду любовь к своим ближним, ко всему сущему. *Тварь бескостная* — по толкованию комментаторов — червь.

П о э т ы - ш и в а и т ы (бхакты).— Шиваитские гимны поэтов-бхактов — Самбандара, Аппара (Тирунавуккарасу Свами), Маникка Васахара и других отличаются высокими поэтическими достоинствами. Учитывая, что они слишком велики для того, чтобы быть представленными полностью, а также принимая во внимание тамильские традиции, позволяющие исполнять отдельные, наиболее известные, строфы,— шиваитские гимны представлены в отрывках.

Т и р у н ъ я н а С а м б а н д а р — жил в VII веке. По преданию, супруга бога Шивы напоила его в трехлетнем возрасте молоком божественной мудрости. Отсюда его имя: «Человек, причастившийся божественной мудрости». Вел жизнь паломника, посещал шиваитские храмы Южной Индии и своими гимнами завоевал шиваизму много приверженцев. Известно, что один из его современников сражался в битве, которая произошла в 642 году.

«П о л у м е с я ц е м у к р а ш е н...» (стр. 125).— Это стихотворение, по легенде, написано Самбандаром трех лет от роду на берегу пруда. Посвящено оно богу Шиве, волосы которого увенчаны полумесяцем. Шива обитает на площадке для сожжения покойников, поэтому он «белым пеплом обметен». Восседает бог на быке Нанди. *Его сияньем // сам Создатель посрамлен.* — Однажды боги Брахма (Создатель) и Вишну увидели огромный огненный столб. Брахма стал лебедем и тщетно попытался достичь вершины этого огненного столба. Не удалось и Вишну (по-тамильски Каннан), ставшему вепрем, докопаться до его основания. В конце концов Брахма и Вишну вынуждены были признать свое поражение, и только тогда Шива явил им свой истинный лик. *Брахмапур* (Шийали) — город в Танджурском округе. *Арур* (Тируваллур) — город в Танджурском округе.

Т и р у н а в у к к а р а с у С в а м и (букв.: «Повелитель языка») прозванный его другом Самбандаром «Аппар» («Отец»). Происходит из

касты велаляров. В раннем возрасте остался сиротой и был воспитан своей старшей сестрою. Как и его друг Самбандар, скитался по Южной Индии и слагал свои гимны.

Стр. 125. *Оттрийур* (Тирувоттрийур) — город, находившийся прежде недалеко от Мадраса, теперь его окраина.

Стр. 126. *Мыс Кумари* (Коморин) — южная оконечность Индостанского полуострова, место паломничества.

Сундарамурти Свами — поэт начала IX века, брахман по касте. Родился в Южноаркотском округе. Одна его жена, по преданию, была танцовщицей, другая — из касты велаляров.

Стр. 126. *Майя* — призрачная сила, якобы управляющая миром. Здесь поэт говорит о призрачности, иллюзорности земного бытия.

Стр. 127. *Кетарам* — место в Гималайских горах. *Каннан* — Вишну. *Четырехликий* — Брахма.

Маникка Васахар (IX—X вв.) — главный советник царей из династии Пандья. Находясь в Перундурее, подпал под влияние проповедника-брахмана и начал слагать свой «Тирувасахам» («Божественное песнопение»). Был прозван Маникка Васахаром («Изрекающим драгоценные (рубиновые) слова»). Покинул свой высокий пост и стал заниматься только поэзией.

Стр. 127. Золотистый *порошок* из корней *куркумы* употребляется для ритуального омовения статуи божества.

«Натянут лук, трепещет тетива...» (стр. 127).— Стихотворение основано на южноиндийском варианте известного мифа (см. прим. Амару, 2): три асура (противника богов) за их подвижничество были награждены Шивой тремя крепостями — золотой, серебряной и железной. Эти крепости переносились по воздуху и, опускаясь на землю, губили множество людей. В своей надменности асуры стали оспаривать власть самого Шивы. Тогда Шива сел на колесницу, колесами которой были солнце и луна, а сиденьем земля. Его колесничим был Брахма, четыре веды — конями, гора Меру — его луком, змей Ади Шеша — тетивой и Вишну — стрелой. Видя его приготовления, асуры подумали, что Шиве не справиться с ними, но он одной своей улыбкой испепелил три их крепости. *У́нди*.— Некоторые комментаторы предполагают, что это мяч для игры, но такое толкование представляется сомнительным.

Стр. 128. *Тиллей* (Чидамбарам) — место в Южноаркотском округе, где находится один из наиболее почитаемых шиваитских храмов.

Аувейар — поэтесса IX века, автор нескольких дидактических сборников.

Стр. 128. *Ганеша* — бог мудрости, покровитель всех начинаний.

А. Ибрагимов

ПОЭЗИЯ НА НОВОИНДИЙСКИХ ЯЗЫКАХ

ИЗ «ЧАРЬЯ-ГИТИ»

«Чарья-гити» можно перевести как «Песни (истинного) пути». В них нашли отражение идеи и ритуалы тантрического буддизма. Среди исследователей существуют различные точки зрения на проблемы истолкования «чарья-гити», но во всяком случае ясно, что эти тексты описывают и предписывают определенного рода мистический опыт, используя язык символов, иносказаний и парадоксов (в этом смысле их можно сравнить с «коанами» дзэн-буддизма). Философской основой буддистского тантризма была «шунья-

вада» (букв.: «учение о пустоте»), считавшая истинный опыт, истинную суть мира неописуемыми, «пустыми». Согласно «шуньяваде», различие между сансарой (бытием) и нирваной (высшей целью буддиста, выходом за пределы бытия) — условно, так как поистине это одно и то же, и трудность состоит лишь в осознании истины. Тантризм предлагал определенные психо-физиологические методы постижения этой истины, обретения высшего знания («Великого счастья»). По-видимому, «чарья-гити» — «жанровое» обозначение особого рода текстов (как, скажем, псалмы или коаны). Крупнейшее рукописное собрание таких текстов было обнаружено в начале XX века бенгальским филологом Х. Шастри. Единичные «чарья-гити» известны и по другим письменным источникам. В устной передаче они бытуют среди буддистов Непала, Тибета, Монголии и Бурятии. Рукопись Х. Шастри содержала пятьдесят «песен» с санскритским комментарием. Авторство «песен» приписывается так называемым «сиддхам», то есть легендарным буддистским подвижникам, датировка(и даже историчность) которых весьма неопределенна. По лингвистическим соображениям «чарья-гити» из рукописи Х. Шастри обычно датируют XI—XII веками, хотя некоторые из них могут иметь и более раннее происхождение. Эти пятьдесят «чарья-гити» входят (в тибетском переводе) в тибетский буддистский канон. Существует монгольский перевод (сделанный с тибетского) в составе монгольского буддистского канона. Есть несколько полных научных переводов на английский язык и один частичный на французский. Перевод В. Микушевича — первый опыт поэтического переложения «чарья-гити» на европейский язык. В основу перевода положено издание: P. Kvaerne. Songs of the Mystic Path. A Study of the Caryagiti. Bergen, 1972. Нумерация «песен» — по этому изданию (соответствующая нумерация в рукописи Х. Шастри).

1. Автором этой «песни» назван Луи-па, первый в традиционном списке «сиддхов». *Пять ветвей* — пять «скандх», то есть пять чувств вместе с соответствующими аспектами воспринимаемого мира. Стихотворение в целом противопоставляет ложный путь обычной йоги истинному пути тантрической медитации: йог устраивается под деревом, но лучшее дерево — собственное тело; йог садится на подстилку из священной травы, но лучшее сиденье — собственное дыхание и т. д. (ср. ниже стихи Лал-дэд и Кабира).

17. Текст анонимен. *Лучший слон*—человеческий дух.

19. *Канха* (пракритская форма имени «Кришна») — один из «сиддхов». *...смысл, до рожденья врожденный.*— В ор. слово «сахаджа», один из ключевых терминов тантризма. Буквально переводится как «сорожденное»; может быть истолковано как «истинная суть мира, раскрывающаяся человеку в непосредственном восприятии».

21. Автором этой «песни» назван Бхусуку.

22. Автором этой «песни» назван Сараха. *В этом мире подлунном и в мире небесном...*— То есть в мире людей и в мире богов (по индийским представлениям, боги тоже смертны). *Жизнь к рожденью ведет или к жизни рожденье?* (В ор.: «Рожденье ли причина кармы, или карма причина рожденья?»)— То есть: «Что причина, а что следствие в бесконечной цепи рождений и смертей?»

31. Описание мистического опыта.

Серебрится луна, приподняв покрывало.— Ср. у Ф. М. Достоевского в романе «Идиот» рассказ князя Мышкина о человеке, который, стоя на эшафоте, подумал, что после смерти он сольется с золотым сиянием купола церкви.

40 и 45. Автором этих «песен» также назван Канха. *Победитель* — Будда.

Шейх Фарид.— В священной книге стихов «Ади-грантх» содержится более ста строф, приписываемых некоему (Шейху) Фариду. Историки

пенджабской литературы обычно отождествляют автора этих строф со знаменитым суфийским проповедником по имени Шейх Фарид Шакаргандж, жившим в конце XII — начале XIII века. В таком случае стихи Шейха Фарида оказываются древнейшими памятниками пенджабской литературы. Авторитетные европейские исследователи, однако, полагают, что данные стихи принадлежат поэту, современнику гуру Нанака (конец XV — начало XVI в.). Интересно отметить, что некоторые из строф Шейха Фарида, входящих в «Ади-грантх», в других рукописных традициях приписываются Кабиру. Переводы публикуются по изданию: «Дневные звезды. Восточный альманах». Вып. второй. М., 1974, с. 11—28.

Стр. 132. *Мост Сират* — по кораническим представлениям, мост толщиной в человеческий волос, ведущий в рай. Праведники проходят по нему, а грешники срываются в геенну огненную. Буквальный перевод последней строки: «Фарид! Слышны звуки ада! Не промотай жизнь впустую!» *Фарид! Любимый далеко...*— Имеется в виду бог.

Стр. 135. *Наубат* (арабск.) — род барабана, в который били через определенные промежутки времени (от этого слова — русское «набат»).

Стр. 136. *Ты ближнего не осуждай...*— Эта и последующая строфа заключают собрание стихов Шейха Фарида в «Ади-грантхе». Это единственные строки Шейха Фарида, в которых прямо провозглашается равенство всех людей перед богом.

Лал-дэд (Лалла)[1] — одно из первых (и по времени, и по значению) имен в литературе на языке кашмири. Достоверных исторических сведений о Лал-дэд не имеется. Согласно преданию, она жила в XIV веке и была странствующей подвижницей, поклонницей бога Шивы. Легенды сообщают о встречах Лал-дэд с современными ей мусульманскими святыми-проповедниками. Стихотворения, приписываемые Лал-дэд, сохранялись почти исключительно в устной передаче. Вероятно, как и в других случаях, претерпели со временем некоторые изменения и собрали вокруг себя сходные по форме и смыслу произведения других авторов других веков. Стихотворения Лал-дэд проникнуты идеями своеобразного шиваитского бхакти с элементами йоги и тантризма (возможно также влияние суфийских идей). Лал-дэд часто обращается к личному божеству, которого называет Шивой (ср., однако, стихотворение 19), но Шива здесь не столько конкретный мифологический персонаж, сколько символическое имя всеобъемлющего Абсолюта (ср. имя Рамы у Кабира). Высшее стремление Лал-дэд, как и в большинстве других индийских религиозных системах,— освободиться от бытия, соединиться с Абсолютом. Существуют научные переводы стихотворений Лал-дэд на английский язык и поэтические на немецкий. На русский язык Лал-дэд переведена впервые. В основу перевода положено издание, подготовленное Дж. Грирсоном и Л. Барнеттом (Лондон, 1920). Нумерация принадлежит составителю, который выражает благодарность Б. Захарьину за большую помощь в работе над стихами Лал-дэд.

⟨5⟩. *Пусть Раху-демона глотать начнет луна...*— Нарочито парадоксальная фраза, цель которой — описать невыразимый мистический опыт (ср. «чарья-гити», некоторые стихи Кабира и т. д.).

⟨9⟩. *Ты — сандал, вода, цветы.*— Перечислены предметы, обычно приносимые богам при поклонении.

⟨11⟩. Последняя строка ор. в буквальном переводе звучит так: «Заживо умереть — вот что есть (истинное) знание». Имеется в виду высшая рели-

[1] Дэд на языке кашмири значит: «бабушка». Лал-дэд — Бабушка Лал. Лалла — санскритская форма того же имени.

гиозная цель — полная отрешенность от бытия, достигаемая уже при жизни (ср. ⟨17⟩).

⟨19⟩. *Джина* («Победитель») — или основатель джайнизма, или Будда. *Тот, кто в лотосе рожден* — Брахма, который, согласно мифам, появился из лотоса, выросшего из пупа Вишну.

⟨21⟩ *...ни вода, ни куренья, ни куш, ни кунжут...*— См. прим. к ⟨9⟩.

⟨22⟩. Обращение к аскету, изнуряющему себя подвижничеством: «Бог — в каждом твоем движении».

⟨23⟩. *Кто покинул дома, кто — лесное жилье...*— Согласно традиционным индусским представлениям, человек на определенной стадии своей жизни должен удалиться от мира в лес, а затем покинуть и лес, чтоб стать бродячим аскетом.

⟨29⟩. Согласно преданию, Лал-дэд ходила голой и в экстазе плясала. Танец бхакта — аналог космического танца Шивы.

Видьяпати.— Творчество приходится в основном на первую половину XV века. Он был придворным поэтом и советником при раджах Митхилы, индусского княжества в Северной Индии. Наследие Видьяпати включает несколько произведений на санскрите и апабхранша, но наибольшую популярность получили его стихотворения-песни на майтхили, новоиндийском языке Митхилы. В самой Митхиле песни Видьяпати сохранялись преимущественно устной, фольклорной традицией (в XX в. были найдены лишь единичные митхильские рукописи), но, попав в соседнюю Бенгалию, они поразили воображение бенгальских кришнаитов, последователей Чайтаньи (начало XVI в.), вошли в канон их священных песнопений и даже во многом повлияли на бенгальскую кришнаитскую лирику последующих веков. Поэзия Видьяпати оказала влияние и на раннее творчество Р. Тагора.

В Митхиле и в Бенгалии Видьяпати приписывается множество песен, зачастую весьма разнородных, и практически невозможно установить, какие именно тексты принадлежат поэту XV века. Мы можем судить лишь об общем характере его творчества на майтхили. По своему первоначальному смыслу песни Видьяпати продолжали традиции санскритской и пракритской любовной лирики (Халы, Амару и т. д.), хотя (очевидно, вслед за Джаядевой) героями своих стихотворений Видьяпати иногда (отнюдь не всегда) делал Радху и Кришну. Исследователи полагают, что воспевание Радхи и Кришны в стихах Видьяпати было иносказательным восхвалением раджи-покровителя и его супруги. Бенгальские кришнаиты, однако, восприняли эти стихи (подобно «Гита-говинде» Джаядевы) как аллегорическое описание взаимоотношений человеческой души (Радхи) и бога (Кришны). В некоторых случаях песни Видьяпати подвергались в Бенгалии переделкам в соответствии с таким пониманием. Несомненно, что многие песни, приписываемые ему в Бенгалии, были созданы местными кришнаитами (на особом языке, смеси бенгали и майтхили) и не имеют никакого отношения к митхильскому поэту XV века.

Из европейских языков Видьяпати больше всего переводили на английский. Русские поэтические переводы только начинают появляться. В основу данного перевода положены различные индийские издания (полного критического издания песен Видьяпати еще не существует). Нумерация переводов принадлежит составителю. Бо́льшая часть песен взята из митхильских рукописей. Некоторые известны и в Митхиле, и в Бенгалии (1, 2, 6 и, что особенно удивительно, 13). Два последних стихотворения (19, 20) известны только в Бенгалии. Песни Видьяпати, как правило,— речи традиционных персонажей, обращенные друг к другу: героиня обращается к подружке-посреднице (4, 5, 6, 7, 8, 12), подружка-посредница — к героине (2, 3) или к герою (Кришне) (9, 10, 11). Иногда все стихотворение — как бы речь «от

автора» (1, 13, 17). Особые случаи — два женских монолога (14, 15) и молитва Кришне, взятая из бенгальских источников (6).

⟨1⟩. Традиционное описание девушки, выходящей из воды после купания

⟨3⟩. *Темной одеждой окутано тело...* — Ср. стихотворение Халы (9). ...*Лучистую амриту выпьет, ликуя, чакора.* — Структура сравнения такова: лицо женщины = луна, изливающая амриту; взгляд мужчины = чакора, пьющий амриту лица = луны. (Ср. строфу 7 песни 2 в «Гита-говинде» Джаядевы.)

⟨4⟩. Ср. самопоношение Шивы в поэме Калидасы «Рождение Кумары», V, 65—73. Из двух митхильских рукописей, в которых засвидетельствовано это стихотворение, одна содержит лишь пять первых двустиший, а другая добавляет благочестивую концовку.

⟨13⟩. *Бог победил богомольцев.*— Имеется в виду бог любви Камадева.

⟨14⟩. *Поэт говорит: «В этом двойственном мире, как в море...»*— Ср. темы «двойственности» и «смерти заживо» в стихах Лал-дэд.

⟨16⟩. *В море греховном затерян я...*— Ср. стихотворение Сурдаса, 4. *Не нанимаются вечером к новым хозяевам слуги.*— Ср. евангельскую притчу о хозяине виноградника и работниках (Матф. 20, 1—16).

Чондидаш.— Среди предшественников Р. Тагора, писавших на бенгальском языке, крупнейшим поэтом часто называют Чондидаша. Этому имени приписываются более тысячи стихотворений, дошедших до нас преимущественно в рукописях бенгальских кришнаитов, последователей Чайтаньи. В начале XX века была найдена рукопись поэмы (условно названной издателем «Шри-Кришнокиртон» — «Восхваление Шри Кришны») о любви Кришны и Радхи, автор которой также называет себя Чондидашем. Поэму датируют XV или XVI веком. Это один из древнейших памятников бенгальской литературы. Исследователи пришли к выводу, что существовало несколько поэтов, подписывавших стихи именем Чондидаша, причем по крайней мере один или два из них жили и творили до распространения кришнаитской религии Чайтаньи, то есть в XV или в самом начале XVI века. Прочие Чондидаши жили в XVII веке и, может быть, даже позже, но в сознании традиционного бенгальского читателя все они слились в один собирательный образ, вокруг которого, как обычно, возникло множество легенд. Западноевропейский читатель знаком со «стихами Чондидаша» по различным переводам. Поэтический перевод на русский язык предпринят впервые. Использовано критическое издание стихотворений, приписываемых Чондидашу, которое подготовил Биманбихари Моджумдар («Чондидашер подаболи». Калькутта, 1960). Нумерация переводов принадлежит составителю. Стихотворение 1 взято из поэмы «Шри-Кришно-киртон»; остальные, по мнению Б. Моджумдара, созданы до Чайтаньи, то есть относятся к древнейшим слоям наследия Чондидаша.

⟨2⟩. Радха смотрит на темные предметы (грозовое облако, черные волосы, темно-синие шеи павлинов), так как они напоминают ей цвет Кришны.

⟨4⟩. *Место отрадное, место прохладное...*— В жаркой Индии благо связано с прохладой.

⟨6⟩. В ор. первая строка построена на созвучии слов «любовь» (пирити) и «смерть» (мирити).

Кабир.— Стихотворения, приписываемые Кабиру, дошли до нас в составе священных канонов различных религиозных сект и течений Северной Индии, а также в устной традиции. Эти стихотворения являют большое разнообразие как в плане языковом (представлены различные диалекты Северной Индии), так и в плане содержания. О самом Кабире у нас нет никаких

достоверных свидетельств. По-видимому, он жил в XV веке (скорей всего во второй его половине) и проповедовал учение, в котором слились элементы индусского бхакти и мусульманского суфизма, а также некоторые буддистские идеи (прослеживается, например, преемственность между Кабиром и «чарья-гити»). Бога Кабир называет разными именами, чаще всего именем «Рама», но Рама для Кабира не герой эпоса, а неопределимый, неописуемый Абсолют.

В начале XX века Р. Тагор (в содружестве с Э. Андерхилл) издал «Сто стихотворений Кабира». В книгу вошли некоторые из стихов Кабира, бытовавших в устной традиции и собранных бенгальским филологом К. Шеном. Р. Тагор отобрал стихи, созвучные его собственному мировосприятию, и переложил их на английский язык, пользуясь прозаическими бенгальскими переводами К. Шена. Книга сыграла немалую роль в «открытии Кабира» как в Европе, так и в самой Индии и стала заметным явлением в современной индийской литературе.

Подобным же образом нашему читателю впервые представил Кабира С. Липкин (Кабир. Лирика. Перевод с хинди С. Липкина. М., 1965). Следует иметь в виду, что С. Липкин во многих случаях сознательно убирал или изменял религиозно-философскую терминологию Кабира. В предисловии к названной книге он писал: «Тождественность Рамы и понятий добра, правды, любви настолько очевидна в произведениях Кабира, что в русском переводе, там, где того требует эмоциональное напряжение стиха, собственное имя бога иногда заменяется этими понятиями». Точно так же индийское слово «майя» («иллюзия», «иллюзорность бытия») С. Липкин обычно заменяет русским словом «корысть».

Стр. 154. *Попугай ученым стал нежданно...*— Имеется в виду брахман, поучающий людей затверженными формулами. Эта и несколько следующих строф написаны в жанре иносказания, известного в санскритской поэзии.

Стр. 156. *Ничем я не владею...*— Ср. стихотворения Лал-дэд ⟨9⟩ и Тукарама (с. 171).

Кабир поселился в том чудном краю...— Здесь и в следующих строфах речь идет о невыразимом мистическом опыте.

В лесу, куда не залетит и птица...— Реальному лесу, в котором пребывают индусские аскеты, противопоставлен «лес» мистического опыта. Ср. выше «чарья-гити», 1, и стихотворение Лал-дэд ⟨23⟩.

Когда Кабир «скончался»...— Речь идет о так называемой «смерти заживо», то есть о полной отрешенности от бытия уже при жизни (ср. стихотворения Лал-дэд).

Стр. 157. *Моя душа так тяжело больна...*— Последние три стихотворения в подборке переведены из сборника Р. Тагора (31, 36, 94).

Сурдас.— Жил, по-видимому, в конце XV — начале XVI века и был последователем Валлабхачарьи, основателя одной из крупнейших кришнаитских сект в Северной Индии. Главное произведение Сурдаса — «Сурсагар» («Океан ⟨поэзии⟩ Сурдаса»), представляющее собой обширное собрание гимнов (на языке брадж), посвященных главным образом Кришне. Современные индийские литературоведы называют Сурдаса «солнцем поэзии хинди» (слово «сур» значит: «солнце»; см. вступ. статью с. 27), однако европейским читателям его творчество известно мало. Русские поэтические переводы публикуются впервые. Использовано издание «Сто жемчужин из Океана поэзии», подготовленное Прабхудаялем Миталем («Сур-сагар ке сау ратна». Матхура, 1962). Нумерация принадлежит составителю, который выражает большую благодарность Н. М. Сазановой за помощь в работе над подстрочными переводами стихотворений Сурдаса.

⟨1⟩. *...даруешь ты зонтик...*— Имеется в виду зонт как символ царской власти.

⟨6⟩. *«Это молния в лотос попала, сверкая!»* — Здесь: лотос — лицо или рот Кришны, молния — блеск его улыбки, блеск зубов.

⟨8⟩. Проказы младенца Кришны, символизирующие божественную игру («лилу» — см. вступ. статью, с. 21) — одна из излюбленных тем Сурдаса.

⟨9⟩. *Увенчан павлиньими перьями...*— Юноша Кришна обычно изображается в головном уборе из павлиньих перьев. *Идет, опоясанный желтым...*— Ср. прим. к «Гита-говинде», песня 4.

⟨10⟩. Любовь пастушек Браджа к Кришне символизирует здесь, как и в «Бхагавата-пуране», стремление человеческих душ к богу (см. прим. к «Гита-говинде», с. 819).

⟨12⟩. *Играет пастушка...*— Здесь речь идет о Радхе. *Воды в молоке не заметно, в печенье не видно шафрана.*— Эти сравнения призваны подчеркнуть нераздельное единство Кришны и Радхи.

М и р а - б а и [1] — лицо историческое (XVI в.), но, как и во многих других случаях, вокруг ее имени возникло множество легенд, из которых трудно вычленить подлинные факты. Согласно преданию, Мира-баи была раджпутской принцессой, рано выданной замуж и вскоре овдовевшей. В индусском обществе вдова не имела права вторично выйти замуж, она должна была или сжечь себя на погребальном костре мужа, или прозябать отверженной всю остальную жизнь. Мира-баи порвала с семьей и обществом, стала бродячей подвижницей, поклонницей Кришны. До нас дошло немалое число гимнов Кришне (на нескольких родственных диалектах Северной Индии), приписываемых Мира-баи. Их научное изучение еще только начинается. Существует некоторое количество переводов из Мира-баи на западноевропейские языки. Русские поэтические переводы выполнены для настоящего тома. Использовано издание гимнов Мира-баи, подготовленное Шамбхусинхом Манохаром («Мира-падавали». Джайпур, 1969). Составитель выражает благодарность Е. Суровой и Б. Захарьину за помощь, оказанную в работе над подстрочными переводами стихотворений Мира-баи.

Стр. 161. *...перья павлиньи то и дело меняют цвета.*— См. прим. к стихотворению Сурдаса, 9. *Randomдержец* (Гиридхара) — одно из имен Кришны. Однажды бог Индра решил наказать односельчан Кришны и обрушил на них страшный ливень, но Кришна поднял на кончике пальца огромную гору и, будто зонтиком, прикрыл ею всю округу.

Стр. 163. *Князь чашу яда в подарок прислал...*— Согласно преданию, князь, родственник Мира-баи, желая избавиться от нее, прислал ей чашу с ядом. Но Мира-баи, призвав на помощь Кришну, выпила яд и осталась невредима.

Т у л с и д а с.— Годы жизни Тулсидаса приходятся на вторую половину XVI и начало XVII века. Крупнейшее и наиболее знаменитое его произведение «Священное озеро деяний Рамы» («Рама — чарита-манаса»), которое часто называют просто «Рамаяной» Тулсидаса, было создано, по-видимому, в семидесятых годах XVI века. Поэт по-своему обработал легенду о Раме, основываясь как на санскритской «Рамаяне» Вальмики (см. том БВЛ «Махабхарата. Рамаяна»), так и на других литературных и религиозно-философских

---

[1] Слово б а и значит «сестра», оно часто прибавляется к именам известных женщин. Ср., например, героиню сипайского восстания Лакшми-баи. Ср. также сочетание «Лал-дэд» — «Бабушка Лал».

источниках. «Рамаяна» Тулсидаса — текст, священный для многих индусов Северной Индии. Тулсидас стремился объединить различные течения индуизма во всеобъемлющую религиозную систему, в центре которой — Рама-Абсолют. Для нового перевода выбран эпизод первой встречи Рамы и Ситы, отсутствующий в «Рамаяне» Вальмики. События, предшествующие данному эпизоду, вкратце таковы. Царь Митхилы Джанака объявляет, что руку его дочери Ситы получит тот, кто сможет согнуть огромный лук Шивы. В столицу Митхилы приходят Рама и Лакшмана со своим наставником муни Вишвамитрой. «Рамаяна» Тулсидаса написана на языке авадхи. Для перевода использовано издание с комментарием на современном хинди: «Шри-Рама-чаритаманаса». Горакхпур, 1965. В примечаниях, следующих ниже, использованы некоторые комментарии академика А. П. Баранникова к его переводу «Рамаяны» (М.—Л., 1948).

Стр. 163. *Вышли цветы собирать...*— Цветы нужны были для религиозных ритуалов (см. ниже). *Древо богов* — древо желания, см. выше. *Пели кукушки, чакоры, и чатаки, и попугаи...*— Названы птицы, ассоциируемые индийцами с любовными переживаниями; таким образом читатель настраивается на восприятие последующего.

Стр. 164. *...и торчат волоски на взволнованном теле...*— Традиционное для индийской поэзии описание сильных эмоций. *Темный и светлый красавец...*— Рама смуглый. Лакшмана светлокожий. *Смысл этой древней любви для всех оставался неведом.*— Рама — воплощение Вишну, Сита — воплощение супруги Вишну, Лакшми; поэтому любовь Рамы и Ситы предшествует их рождению. *Речь премудрого Нарады вспомнила Сита тотчас...*— Нарада некогда предсказал Сите ее брак с Рамой.

Стр. 165. *Лунного лика ее сразу чакорами стали...*— См. прим. к «Гитаговинде» (с. 821) и к Видьяпати ⟨3⟩. *...смущеньем охваченный Ними.*— См. «Словарь». Комментаторы поясняют: Ними, предок Ситы, был смущен тем, что на девушку смотрит незнакомый мужчина. *Тело дрожит от предчувствий...*— Дрожь в теле считается в Индии счастливой приметой.

Стр. 166. *И, увидев того, кем украшен весь Солнечный род...*— Царские династии в индийской мифологии делились на два рода: солнечный и лунный. Рама принадлежал к солнечному роду. *Вспомнила клятву отца...*— То есть клятву царя Джанаки отдать дочь за того, кто согнет лук Шивы.

Стр. 168. *...четыре плода мы добудем...*— То есть преуспеем в четырех сферах человеческой деятельности (см. прим. на с. 817).

Стр. 169. *Рождена океаном луна, как и яд, ее брат...*— И луну и яд халахала боги добыли во время пахтанья молочного океана. *...лотосу стала врагиней...*— Лотосы дневного цветения закрываются с наступлением темноты, как будто их закрывает луна. *Счастливы будут узнать, что лук переломлен тобою...*— Рама, сгибая лук Шивы, сломал его.

С. Серебряный

Тукарам.— Каждое лето, в самом начале сезона дождей, тысячи паломников со всех уголков Махараштры, распевая «абханги»[1] (гимны) поэтов-бхактов, направляются в Пандхарпур, священный город на реке Бхиме. Здесь находится храм *Витхобы*, удивительного божества, встречающего своих адептов в необычайной позе — стоя, облокотив обе руки на бедра. Происхождение Витхобы загадочно. Чаще всего его отождествляют с Вишну-Кришной или рассматривают как пастушеское божество местного происхождения, а этимология слова Витхоба (или Виттхал) уводит к дравидийскому языку каннада. Поклонение Витхобе — специфика Махараштры и маратхов,

---

[1] Абханг буквально значит «непрерывный». В этой поэтической форме может быть до ста строк.

последователей секты варкари. Мировоззрение варкари мало чем отличается от мировоззрения других индусских сект вишнуитского толка.

Один из крупнейших поэтов-бхактов Махараштры — Тукарам. Жил он, очевидно, в первой половине XVII века, но никаких достоверных сведений о нем нет. Согласно преданию, Тукарам был шудрой, сыном мелкого торговца. Во время страшного голода умерли родители Тукарама и одна из его жен, а сам он разорился. В результате духовного потрясения Тукарам стал бхактом Витхобы и остальную часть жизни посвятил восхвалению его в стихах.

Произведения Тукарама переводились на западноевропейские языки. Русские переводы (в основу которых положены различные индийские издания) публикуются впервые.

Стр. 170. *Святые* — варкари (см. выше). Можно предположить, что этот абханг был пропет во время одного из паломничеств. *Бог этот наш...*— То есть Витхоба. *Рухнул мой храм...*— Согласно легенде, Тукарам на последние сбережения, вопреки воле своей жены и не обращая внимания на голодных детей, выстроил храм Витхобы. *...Стихи мне писать запретили. // И сочиненья свои утопил я...*— Согласно легенде, брахман Рамешвар Бхатт убедил власти запретить Тукараму сочинять стихи, так как, будучи шудрой, Тукарам якобы осквернял тем самым индусские святыни. Повинуясь приказу, Тукарам утопил все свои рукописи в реке. *Сел перед храмом, как заимодавец...*— В Индии существовала такая форма требования кредитором долга у должника, при которой кредитор садился у дома должника и не уходил, пока тот не отдавал долг. Подобным же образом Тукарам сел перед храмом, уповая на милосердие бога.

Стр. 171. *Пандуранга* — видимо, одно из имен Витхобы

«Как Тебе, Господи, служат, не знаю...» (стр. 171).— В этом абханге перечисляются все аксессуары индусского богослужения.

Стр. 172. *Рамешвар Бхатт.*— См. выше. Через некоторое время Рамешвар Бхатт раскаялся в содеянном и извинился перед Тукарамом. *В пламени жгучем благая прохлада.*— После наговора на Тукарама тело Рамешвара Бхатта покрылось волдырями. Ему казалось, что огонь сжигает его тело. Ответ Тукарама, простившего его, принес облегчение, и язвы зажили.

«Все понимаю, во всем разобрался...» (стр. 173).— Этот и следующий абханг принадлежат к циклу стихотворений, написанных Тукарамом в период временного разочарования в избранном пути. Согласно индийским представлениям, бхакту должно явиться видение почитаемого им божества, но, несмотря на все старания и молитвы, Витхоба не являлся Тукараму. Поэт впал в отчаяние, гнев ослепил его, и он начал богохульствовать. Но это было лишь временное помрачение, подобно тому как ночная тьма предшествует восходу солнца. Вскоре Тукарам удостоился лицезрения Витхобы. *Имя твое оказалось бессильным...*— Бхакты считают, что имя бога обладает неограниченной силой и может подчинять своему влиянию даже само божество.

«Факелы, зонтики, кони...» (стр. 173).— Этот и следующий абханг принадлежат к большому циклу абхангов о том, как Тукарам ответил на приглашение Шиваджи приехать к его двору. Шиваджи (1627—1680) — основатель маратхской державы, вождь маратхов в борьбе против империи Великих Моголов. Согласно легенде, Шиваджи, наслышанный о добродетелях Тукарама, захотел его увидеть и послал ему письмо-приглашение в сопровождении слуг и богатых даров. Тукарам отказался все это принять. Он отказался и от визита к Шиваджи, заявив, что это лишь отвлечет его от служения богу. Восхищенный Шиваджи сам отправился к нему.

И. Глушкова

Р а м п р о ш а д жил в XVIII веке, в Бенгалии, когда в ней уже начала утверждаться власть англичан. Однако достоверных сведений о поэте почти нет. Он был бхактом (поклонником) богини Кали. Традиция приписывает ему множество стихотворений-песен, посвященных этой богине. Песни Рампрошада пользуются в Бенгалии большой популярностью, но сколько-нибудь критического их издания не существует. В основу первых переводов из Рампрошада на русский язык положено популярное индийское издание, а также прозаические английские переводы Э. Томпсона (E. J. T h o m p s o n. Bengali Religious Lyrics. Sakta. Calcutta, 1923). Нумерация переводов принадлежит составителю. Подстрочные переводы — В. Коровина.

4. *На груди у Шивы танец нагой жены...*— Богиня Кали часто изображается танцующей на распростертом теле Шивы.

5. *Ты же врагами шестью ей пожертвуй...*— Имеются в виду шесть «пороков»: страсть, гнев, алчность, невежество, гордыня, зависть. С этим стихотворением Рампрошада ср. стихи Лал-дэд и Кабира.

М и р Т а к и М и р (ок. 1722—1810 гг.) — выдающийся поэт урду XVIII века. Поэтические переводы его стихотворений на европейский язык публикуются впервые. Использовано издание: D. J. M a t t h e w s, C. S h a c k l e. An Anthology of Classical Urdu Love Lyrics. Delhi — Oxford, 1972.

Стр. 176. *Столица сердца моего дотла разорена.*— Имеется в виду Дели, столица империи Великих Моголов. Поэт был свидетелем страшных разорений Дели иноземными завоевателями в XVIII в. На языке урду слова «Дели» (Дилли) и «сердце» (диль) созвучны. *Вслед за ночною темнотой идет седой рассвет.*— Жизнь сравнивается с ночью, смерть — с рассветом.

С. С е р е б р я н ы й

М и р з а Г а л и б (Мирза Асадулла Хан Галиб;[1] 1797—1869) признан крупнейшим поэтом из всех когда-либо писавших на языке урду. Переводы и комментарии публикуются по книге: М и р з а Г а л и б. Лирика. М., 1969.

Стр. 181. *Саз* — струнный музыкальный инструмент, распространенный на Востоке. *Кто лучшим из рода людского терпеть униженья велит?* — Имеется в виду легенда о сотворении человека. Согласно Корану, бог, создав человека из глины, призвал всех небожителей и приказал им поклониться человеку. Один из них — Сатана — отказался склониться перед «горсткой праха», за что и был изгнан из рая. Поэт говорит: кто же может унижать человека, если даже небожитель был наказан, когда отказался признать величие человека? *И чей это голос небесный...*— В этом бейте говорится о так называемом радении дервишей, когда под звуки струнных инструментов они поют религиозные гимны и пляшут. Цель подобных радений — довести себя до экстаза пением и пляской, достичь состояния отрешенности и хотя бы на некоторое время «слиться с богом». *Чанг* — музыкальный инструмент, напоминающий лютню. *Рубаб* — трехструнный щипковый музыкальный инструмент. *Как должно понять созерцанье?..* — Смысл бейта таков: зримое — вездесущий бог, зрящий — человек, который является частью самого бога (частица «мировой души»), и зрение — здесь само восприятие, ощущение бога — составляют единую суть. Созерцание же требует разделения неразделимого, так как при созерцании должен быть и «зрящий», то есть зритель, и предмет созерцания. *Али* — четвертый халиф (преемник Мухаммеда), двоюродный брат и зять пророка. Али — наиболее почитаемый халиф у шиитов (приверженцев шиизма — одного из течений в исламе).

Стр. 182. *...чьи ноги окрашены хной.*— В Индии перед свадьбой и на праздники девушки и молодые женщины разрисовывают хной ладони и ступ-

---

[1] Г а л и б — поэтическое имя («тахаллус»). Поэт пользовался также тахаллусом «Асад».

ни ног. *Ни шелковинки, чтоб сплести себе зуннар священный, нет. // Изодран ворот, а примет любви самозабвенной нет.*— Зуннар — священный шнур индусов, надеваемый через плечо, необходимая принадлежность верующего. Одно из толкований двустишия таково. В порыве отчаяния влюбленный порвал на себе одежды, не оставив даже зуннара или нескольких нитей, которые смогли бы заменить его, то есть в своей любви он отступился от предписаний религии, но возлюбленную не тронуло даже это.

Стр. 185. *Ни вести — для слуха, ни взору — красы. Уши и очи // Отринули ревность, забыли вражду и присмирели.*— Раньше глаза завидовали ушам, если уши наслаждались, услышав о встрече; если глаза смотрели на красавицу, уши страдали от ревности. Теперь они друзья, так как теперь о ней нет вестей и красота не ласкает взор. *Опьянение радостью любви уступило треволненью место. // Неурядицы мешают мне в пылких муках черпать наслажденье.*— Треволнение — здесь: заботы, горести времени. Поэт говорит, что горести его времени вытеснили страдания любви, в которых раньше он находил упоенье.

Стр. 186. *Как нищий, разве станет сад выпрашивать вино? // Зачем же тыкву посадил садовник, а не цвет?* — Обычно нищие просят подаяние с сосудом, сделанным из сушеной тыквы. То есть садовник сеет тыкву якобы для того, чтобы сад смог просить вино.

Стр. 188. *...круженья совершать обряд.*— Во время паломничества мусульманина в Мекку один из обязательных ритуалов — обойти семь раз вокруг Каабы. У поэта дом возлюбленной ассоциируется с местом паломничества.

Л. Васильева

Бахадур Шах Зафар. — Бахадур Шах II (1775—1862), последний император в династии Великих Моголов, писал стихи на урду, пользуясь поэтическим именем Зафар. Он вступил на престол в 1837 году, в возрасте шестидесяти двух лет. В 1857 году восставшие сипаи, заняв Дели, провозгласили престарелого императора своим вождем. Подавив восстание сипаев, англичане упразднили империю Великих Моголов, а самого Бахадур Шаха сослали в Бирму, где он и умер. Поэтические переводы стихотворений Зафара на русский язык публикуются впервые. Использовано издание: D. J. Matthews, C. Schacle. An Anthology of Classical Urdu Love Lyrics. Delhi — Oxford, 1972.

СЛОВАРЬ

I. Мифологические персонажи и географические названия. (См. также примечания к индийскому разделу тома БВЛ «Классическая драма Востока».)

Адитьи — группа богов (числом двенадцать), представляющая солнце в двенадцать месяцев года.

Айравата — слон, на котором ездит Индра.

Амрита — напиток бессмертия, добытый богами во время пахтанья мирового океана. Считается, что луна наполнена амритой.

Ананга («Бестелесный»)— одно из имен бога любви Камадевы.

Апсары — небесные девы, служащие богу Индре.

Асуры — существа, которые в классической индийской мифологии выступают как противники богов.

Ашвамукхи (букв.: «лошадиноликие») — мифические существа, обычно отождествляемые с киннарами (см.)

Баларама — брат Кришны.

Башоли — богиня, культ которой распространен в Бенгалии. Очевидно, местный вариант богини Кали (Умы).

Бестелесный. — См. Ананга.

Брадж — название области в Северной Индии, где провел свое детство и юность Кришна.

Брахма — один из главных богов индусского пантеона; в триаде Брахма — Вишну — Шива ему отведена роль творца мира.

Бхава («Бытие», «Сущее») — одно из имен Шивы.

Бхавани — одно из имен Умы, супруги Шивы.

Бхагаван («Божественный», «Святой») — имя, которым могут быть названы различные индусские боги.

Ваджра («Гром») — оружие Индры.

Вайдехи (то есть царевна из страны Видеха) — одно из имен Ситы.

Варуна — один из главных богов ведического пантеона, впоследствии — бог вод.

Васудева — одно из имен Кришны.

Васуки — дочь змей.

Видьядхары — антропоморфные существа, которые, согласно индийским мифологическим представлениям, живут в Гималаях.

Виндхья — горная цепь к югу от долины Ганга.

Вишвамитра — мудрец, наставник Рамы и Лакшманы.

Вишну — один из главных богов индусского пантеона; в триаде Брахма — Вишну — Шива ему принадлежит роль хранителя мира.

Вриндаван — лес на берегу р. Ямуны, у города Гокула, где Кришна водил хороводы с пастушками.

Вритра — демон, убитый Индрой.

Ганеша — сын Шивы и Умы, бог с человеческим телом и головой слона.

Ганы — слуги Шивы.

Гаруда — мифическая птица, на которой ездит Вишну.

Гаури («Светлая») — одно из имен Умы, супруги Шивы.

Гириджа («Горою рожденная») — также одно из имен Умы.

Гириша («Владыка гор») — одно из имен Шивы.

Говинда («Пастух») — одно из имен Кришны.

Гокул — деревня (ныне город) на берегу р. Ямуны, где, согласно преданиям, провел свое детство и юность Кришна.

Гопала («Пастух») — одно из имен Кришны и Вишну.

Дакша — божественный мудрец, отец первой жены Шивы, Сати.

Дамодара — одно из имен Кришны.

Джамна. — См. Ямуна.

Джанака — царь страны Видеха (Митхилы), отец Ситы.

Джанаки (то есть дочь царя Джанаки) — одно из имен Ситы.

Индра — один из главных богов индусского пантеона.

Кали («Черная») — одна из ипостасей Умы, супруги Шивы.

Кама, Камадева — бог любви.

Кандарпа — одно из имен бога любви.

Капалин («Украшенный черепами») — одно из имен Шивы.

Кешава («Благоволосый») — одно из имен Кришны и Вишну.

Киннары — мифические существа, полулошади, полулюди; славятся пением.

Кришна («Черный», «Темный») — воплощение бога Вишну.

Кубера — бог богатства.
Кумара («Юноша») — бог войны, сын Шивы и Умы.

Лакшмана — младший брат Рамы.
Лакшми — супруга Вишну, богиня счастья и богатства.

Мадана («Пьянящий», «Сводящий с ума») — одно из имен Камадевы.
Мадхава — одно из имен Кришны.
Мадху — демон, убитый Кришной.
Мадхусудана («Мадху-убийца») — одно из имен Кришны и Вишну.
Малайя — по традиционным индийским представлениям, гора на юге Индии (Западные Гаты); отличается обилием растущих на ней сандаловых деревьев, поэтому ветер, дующий с юга, напоен ароматом.
Манматха («Душу смущающий») — одно из имен Камадевы.
Маноджа («В душе рожденный») — одно из имен Камадевы.
Махеша («Великий Владыка») — одно из имен Шивы.
Мена — супруга Хималайя, мать Умы.
Меру — мифическая гора, центр вселенной.

Наги (ед. ч. нага) — полубожественные существа со змеиными туловищами и человеческими лицами.
Нагини — ж. р. от «нага».
Нанда — приемный отец Кришны.
Нандин — слуга Шивы.
Нарада — божественный мудрец, обычно выступающий посредником между богами и людьми.
Нараяна — одно из имен Вишну.
Нилакантха («Синешеий», «Синегорлый») — одно из имен Шивы. Горло Шивы посинело после того, как он выпил по просьбе богов яд, возникший при пахтанье мирового океана.
Ними — основатель династии царей Митхилы, то есть предок Ситы. В силу заклятья он лишился тела и был помещен богами в глаза всех живых существ, чем и объясняется мигание век.

Падмавати — одно из имен Лакшми.
Пандавы — пять братьев-царей, герои эпоса «Махабхарата».
Парвати («Горная», «Дочь горы») — одно из имен Умы, дочери царя гор Хималайя.
Пинакин («Лучник») — одно из имен Шивы.
Пуари — одно из имен Шивы.

Рагху — царь солнечной династии, предок Рамы.
Рагхубир («Герой рода Рагху»), Рагхунаяка («Предводитель рода Рагху»), Рагхупати («Владыка рода Рагху»), Рагхурая («Царь рода Рагху») — имена Рамы.
Радха — пастушка, возлюбленная Кришны (см. прим. на с. 819).
Радхика — уменьшительная форма от имени Радха.
Рама — воплощение Вишну, праведный царь, герой «Рамаяны».
Рамачандра.— См. Рама.
Рати («Страсть») — супруга бога любви Камадевы.
Раху — асур, периодически заглатывающий луну и солнце (чем объясняются их затмения).
Рудра («Вопящий», «Орущий») —одно из имен Шивы.
Рудры — частичные воплощения Шивы.

Сиддхи — полубожественные существа в индийской мифологии (не путать с «сиддхами», легендарными буддистскими святыми-подвижниками, которым приписывается авторство «чарья-гити»).
Сита — дочь царя Джанаки, супруга Рамы.
Сканда — одно из имен бога войны Кумары.
Смара («Память») — одно из имен бога любви Камадевы.

Тарака — асур, получивший от Брахмы власть над тремя мирами и впоследствии убитый Кумарой, богом войны.

Ума — дочь царя гор Хималайя, супруга Шивы.
Уччхайшравас — конь Индры.
Ушанас — мифический мудрец, наставник в добродетели.
Халахала — яд, возникший, когда боги и асуры пахтали мировой океан.
Хара — одно из имен Шивы.
Хималайя («Обитель снегов») — царь гор, персонифицированный образ горного комплекса Гималаев.

Чакра («Колесо») — оружие Вишну.

Шакти («Сила») — одно из имен Умы, супруги Шивы. В более широком смысле — энергия, присущая каждому божеству.
Шамбху — одно из имен Шивы.
Шеша — тысячеголовый змей, опора мира; символ вечности.
Шива — один из главных богов индусского пантеона; в триаде Брахма — Вишну — Шива — разрушитель мира. Но для некоторых течений индуизма Шива — высший бог, олицетворение и созидающих и разрушающих сил.
Шри — одно из имен Лакшми, богини счастья; это же слово прибавляется к именам богов, почитаемых людей и текстов и в таком случае может быть переведено как «Благословенный» (например, Шри Кришна, Шри Бхагавата-пурана и т. д.).

Яма — бог смерти.
Ямуна (Джамна) — река, приток р. Ганги; на ее берегах прошли детство и юность Кришны. Воды Ямуны считаются священными. Особенно свято место слияния Ямуны и Ганги.
Яшода — приемная мать Кришны, вырастившая его с колыбели.

II. Социально-культурные термины.

Брахман. — См. варны.
Брахмачарин — молодой брахман, который, согласно обычаям, учится и ведет целомудренный образ жизни.
Бхакт — поклонник, приверженец (того или иного бога).
Бхакти (букв.: «сопричастность») — приверженность, любовь (к тому или иному божеству).

Варны — основные социальные группы, из которых, по представлениям индийцев, состояло общество: брахманы (жрецы), кшатрии (правители и воины), вайшьи (земледельцы, торговцы и др.), шудры (низшие слои, обслуживавшие прочих).
Веды — древнейшие священные тексты индусов. Существует четыре собрания ведических гимнов: «Ригведа», «Самаведа», «Яджурведа» и «Атхарваведа». К ним примыкают обширные мифологические и комментаторские тек-

сты. Весь комплекс ведической литературы индусы называют просто Веда (в ед. ч.; это слово букв. значит: «знание», ср. русское «ведать», «ведение»).

Вита — шут.

Гуру — религиозный наставник, учитель.

Кшатрий.— См. варны.

Мантра — священная формула, произносимая в ритуальных целях.

Муни — мудрец, религиозный подвижник.

Садху — аскет.

Саньяси — бродячий аскет, подвижник.

Тилак — украшение на лбу в виде цветной точки или штриха (чаще у женщин, но бывает и у мужчин).

Чандалы — одна из каст неприкасаемых.

Шастры — авторитетные сочинения на различные темы.

Шудра.— См. варны.

III. Растительный мир.

Ашока (букв.: «беспечальное») — дерево с красноватыми листьями и красными цветами. Согласно поверью, дерево ашока цветет только после того, как его ударит ногой красивая женщина.

Бакула — дерево с ароматными цветами.

Бетель — растение из семейства перечных. В Индии широко распространен обычай жевать листья бетеля, оказывающие легкое наркотическое воздействие.

Бильва — дерево из семейства цитрусовых.

Гунджа — вьющееся растение, на котором созревают красные ягоды.

Кадамба — дерево, расцветающее в начале сезона дождей; при первых каплях дождя дерево кадамба как бы ощетинивается бутонами, и это обычно сравнивается с поднятием волосков на человеческом теле.

Кетака — панданус, растение, цветущее душистыми цветами в период дождей.

Кутаджа — род жасмина, цветет белыми пахучими цветами.

Куш, куша — священная трава, используемая индусами в различных религиозных ритуалах.

Лодхра — дерево, цветущее красными цветами.

Маканда — дерево, цветущее красными цветами.

Мандара — коралловое дерево; по индийским представлениям, растет в небесном царстве Индры.

Намеру — порода дерева, растущая в Гималаях.

Ним — дерево с горькими плодами.

Сандал — дерево со светлой пахучей древесиной, которая используется как приношение богам и для изготовления различных благовоний, мазей и др.

Тагара — растение с крупными белыми цветами.
Тамала — дерево с темной корой, растущее по берегам рек.

Шириша — род акации; одна из стрел бога любви Камадевы — цветок шириши.

IV. Птицы.

Кокиль, кокила — индийская кукушка, ее нежный голос ассоциируется с любовным томлением.

Чакора (ж. р. чакори) — индийская куропатка; считается, что эта птица влюблена в луну и питается только лунными лучами, источающими амриту.
Чакравака или *чаква* — песчанка; считается, что самец и самка чакраваки очень любят друг друга, но вынуждены расставаться с наступлением темноты до утра и всю ночь жалобно зовут друг друга.
Чатака — разновидность кукушки.

С. Серебряный

КИТАЙ

Цао Чжи (192—232) — знаменитый поэт эпохи Троецарствия (220—280). Сын прославленного полководца Цао Цао и брат императора Вэнь-ди. Прожил жизнь, полную тягот и невзгод, неосуществленными остались его мечты о подвигах и славе. Его поэзия воплощает образ «идеального мужа», «совершенного человека». Переводы взяты из книги: Цао Чжи. Семь печалей. М., 1973.
Стр. 204. *...навеки // распростилось с корнем.*— Поэт говорит о смерти своего отца Цао Цао, который умер в 220 г. *...рядом с корнем // Душу успокою.*— То есть умру и в загробном мире встречусь с отцом.
Стр. 205. *Пять священных гор.*— Тайшань — на востоке, Хуашань — на западе, Хошань — на юге, Хэншань — на севере, Суншань — в центральной части Древнего Китая. *Чанцзян* — река Янцзы. *Сян* — река в нынешней провинции Хунань (см. также прим. к с. 237, 351).
Стр. 206. *Дин И* — близкий друг Цао Чжи, казненный в 220 г. *Благородный Янь.*— Известен как яньлинский Цзи-цзы (561—515 гг. до н. э.). Был наследником престола царства У, но отказался от власти и получил владение в Яньлине (современный уезд Уцзинь в провинции Цзянсу). В 544 г. до н. э., объезжая владения Лу, Ци, Чжэн, Вэй и Цзинь, навестил владение Сюй, правителю которого понравился меч Цзи-цзы, но он не решился попросить столь драгоценный подарок. Цзи-цзы понял желание правителя, но как посол не мог отдать свое оружие. Он решил подарить этот меч на обратном пути, однако, когда он вновь оказался в Сюй, правитель уже умер, и Цзи-цзы, верный данному себе слову, повесил меч на дерево, что росло над могилой правителя.
Ван Цань (177—217) — известный поэт, друг Цао Чжи. *Одинокая утка.*— Поэт имеет в виду Ван Цаня. *И Си-хэ исчезает, // Колесницу на запад гоня.*— В древнекитайских мифах рассказывается, что Си-хэ — мать братьев-солнц,— а их будто бы было десять,— каждый день провозила по небу на ко-

лестнице одно из солнц. *Отчего же, поведай, // Сто печалей теснятся в груди.*— Поэт говорит о стихах Ван Цаня, проникнутых настроением глубокой грусти.

Стр. 207. *Пэнлай* — мифический остров бессмертных.

Стр. 208. *Мудрейший из мудрых* — Конфуций (551—479 гг. до н. э.).

Лю Чжэнь (? — 217) — вместе с Цао Чжи был представителем цзяньаньской поэзии, входил в число «Семи цзяньаньских мужей». Переводы из Лю Чжэня, как и переводы из Жуань Цзи, Цзи Кана, Чжан Хуа, Цзо Сы, выполнены по изданию: «Хань, Вэй, Лючао ши сюань». Пекин, 1958.

Жуань Цзи (210—263) — крупнейший поэт-мыслитель, один из «Семи мудрецов из бамбуковой рощи», которые выработали особый тип поведения, выразившийся в пренебрежении условностями, царившими в обществе, отказе от карьеры, уединении и т. д. Поэзия Жуань Цзи насыщена философской проблематикой в духе древнего даосизма.

8. *Чжоу-чжоу* — мифическая птица-увалень с тяжелой головой. Чтобы не опрокинуться, зажимает клювом хвост. *Цюн-цюн* — мифическое животное, у которого передние ноги длинные, оленьи, а задние — короткие, заячьи, поэтому ему трудно есть. *...стать подобьем звенящего камня.*— Звенящий камень — образное наименование древнего музыкального инструмента, который представлял собой каменную пластину, подвешенную к перекладине. *Желтый Лебедь* — сказочная птица, олицетворявшая мудрых людей.

17. *Девять земель* — Китай, который, по преданию, был разделен мифическим правителем Юем на девять областей.

32. *...Цзин-гун из Ци // всходил на гору Ню // И лил поток // неудержимых слез.*— По преданию, правитель древнего царства Ци, Цзин-гун (VI в. до н. э.), поднявшись на гору, зарыдал и сказал: «Неужто и я уйду из жизни, как уносятся эти воды?!» *Мудрейший Кун // на берегу реки // Скорбел, что смерть // быстрей полета птиц.*— Мудрейший Кун — Конфуций. В древнем трактате «Луньюй» («Беседы и суждения»), который содержит записи его бесед, говорится: «Стоя на берегу реки, учитель сказал: «Все течет так, как эти воды, не останавливаясь ни на мгновенье». *Тайхуа* — другое название горы Хуашань (см. прим. к с. 205). *Отшельник Чи* — легендарный бессмертный древности Чисун-цзы, почитавшийся как повелитель дождя. *Отец-рыбак* — герой одноименного произведения поэта Цюй Юаня (340—278 гг. до н. э.).

Цзи Кан (223—263) — поэт-философ, один из «Семи мудрецов из бамбуковой рощи».

Стр. 210. *Сюцай* — в III в.— человек ученого круга.

Чжан Хуа (232—300) — поэт и государственный деятель начала правления династии Цзинь.

Тао Юань-мин (365—427).— См. вступ. статью, с. 194. Переводы Л. Эйдлина публикуются по книге: Тао Юань-мин. Стихотворения. М., 1972. Прим. переводчика.

Стр. 212. *В пятнадцать Сюаня // Конфуций «стремился к книге».*— В книге «Беседы и суждения» о Конфуции сказано, что он «в пятнадцать стремился к ученью». *Чжубу* — канцелярский чин, нечто вроде управляющего делопроизводством. *Что уже я невольно // о роскошной забыл булавке...*— То есть о булавке, которой закалывалась чиновничья шапка.

Стр. 213. *Теплотою и влагой // три весенние срока славны.*— То есть три весенних месяца — начало, середина и конец весны. *Чувства, чувства такие // в «добрый месяц» меня тревожат.*— «Добрый месяц» — десятый по лунному календарю, первый месяц зимы.

Чайсанский Лю — по-видимому, Лю Чэн-чжи, который был начальником уезда Чайсан, а потом, покинув службу, стал, вместе с Чжоу Сюй-чжи и Тао Юань-мином, одним из «трех сюньянских отшельников» на горе Лушань.

«Отвечаю цаньцзюню Пану» (стр. 213).— *Цаньцзюнь* —

военный советник. *Вэйский цзюнь.*— Вэйский полководец Ван Хун, правитель Цзянчжоу. 1. *Я утром с зарей // огород поливаю.*— Здесь символ уединения; в древности Чэнь Чжун-цзы, человек из Ци, славе и почестям предпочел работу на чужом огороде.

5. *Дафань* — великий правитель, титул вана Иду, в 424 г. взошедшего на сунский престол под именем Вэнь-ди.

«Возвратился к садам и полям» (стр. 215).— Стихи написаны, по-видимому, в 406 году, вскоре после окончательного разрыва поэта с чиновничьей карьерой.

Стр. 217. *Опустились на землю, // и уже меж собой мы братья.*— То есть опустились впервые на землю из материнского лона.

Стр. 218. *На Южную гору: // в ней старое есть жилище.*— Имеются в виду могилы предков в горе, то жилище, которое ждет и самого поэта.

Стр. 219. *Хочу, государь мой, // чтоб с грязью мирской ты плыл!* — Строка из произведения Цюй Юаня «Отец-рыбак». *Лишь закатится солнце, // пусть немедля свечу берет* — для того, чтобы продолжать пить, как продолжал, взяв свечу, свою прогулку древний поэт с наступлением темноты.

«Подражание древнему» (стр. 220).— Тао Юань-мин, как и другие поэты, современники его и предшественники, подражал древним стихам, авторы которых неизвестны. У Тао Юань-мина его «подражание» выразилось в переосмыслении темы недолговечности человеческого существования и в высказывании собственного взгляда на жизненные ценности. «Подражания» Тао были написаны, по-видимому, в трагическое для поэта время гибели династии Цзинь, в начале двадцатых годов V столетия, и в стихах мы можем найти отзвук современных поэту событий.

Стр. 220. *Луань* — вещая птица. *Отыскать себе друга // я приду в столицу Линьцзы.*— Линьцзы — столица страны Ци (в нынешнем Шаньдуне). Там, в *Цзися*, то есть под воротами Цзи, в древности, задолго до Тао Юань-мина, собирались ученые для беседы.

Стр. 221. *И у зимнего платья // не осталось теперь надежды...*— Поэт наделяет будущее платье способностью надеяться на свое появление из нитей шелкопряда.

Стр. 222. *«Шаньхайцзин»* — древнейшая книга волшебных историй, связанных с географическими описаниями. *Я пробегаю «Историю Чжоу-вана»* — древнюю книгу о чжоуском Му-ване, правившем в XI—X вв. до н. э. Книга эта о путешествии чжоуского государя к мифической Сиванму — Хозяйке Запада — была обнаружена в записях на бамбуковых дощечках в конце III в. в древнем кургане.

Стр. 223. *Жизнь на воле без службы // не равняю с бедою чэньской...*— То есть с постигшими Конфуция и его учеников лишениями в Чэнь. Разгневанный Цзы-лу спросил учителя, может ли оказаться в унизительной для него бедности человек совершенный, и Конфуций разъяснил, что может, но человек совершенный тверд в бедности, а человек маленький распускает себя. *Ученый Чжун-вэй // любил свой нищенский дом... И в мире затем // никто не общался с ним, // А только один // Лю Гун навещал его...*— В книге Хуанфу Ми «Гао ши чжуань» об отшельниках высокой добродетели даны следующие сведения: «Чжун-вэй, уроженец Пинлина, был широкообразован, искусен в словесности, особенно любил в поэзии ши и фу. Жил бедно, уединенно. Бурьян в его дворе был так высок, что скрывал человека. Современникам он не был известен. И только Лю Гун (Лю Мэн-гун) знался с ним».

Стр. 225. *В годы Тайюань правленья дома Цзинь...*— Имеются в виду годы под названием Великого Начала (376—396), во время правления цзиньского Сяо У-ди. *Улин* — местность в нынешней Хунани.

Стр. 226. *...от жестокостей циньской поры...*— Цинь — династия и государство (246—207 гг. до н. э.).

Хань — династия и государство 206 г. до н. э.— 220 г. н. э.). *Вэй* — династия и государство (220—264). *Цзинь* — династия и государство (265—420). *А после и вовсе не было таких, кто «спрашивал бы о броде».*— Ученик Конфуция Цзы-лу по поручению учителя спросил о броде двух отшельников, трудившихся в поле. *Вот что было при Ине...*— То есть при жестоком Цинь Ши-хуане, объединившем разрозненные уделы в одно Циньское государство (III в. до н. э.).

Стр. 227. *Ци с друзьями седыми // на Шаншане в горе укрылись...*— Цили Цзи и трое его друзей, «четверо седых», во время правления Цинь Ши-хуана ушли от мира на гору Шаншань (недалеко от Лояна, одна из древних столиц Китая, в нынешней Хэнани).

Се Лин-юнь (385—433) — знаменитый пейзажный лирик, зачинатель жанра «стихов о горах и водах». Перевод выполнен по изданию: «Се Кан-лэ ши чжу». Пекин, 1958.

Стр. 227. *Болянская башня* — знаменитая башня, построенная ханьским императором У-ди (правил 141—88 гг. до н. э.). *Коричный дворец* — постройка времен династии Хань в местах, куда был сослан Се Лин-юнь (на территории нынешней Чжэцзян).

Стр. 228. *Обезьяны кричат...*— Крик обезьян — символ тоски в китайской поэзии... *Вижу горного старца следы.*— Горный старец — отшельник.

«Из народных песен юэфу».— Здесь даны песни времени южных династий (IV—V вв.). Перевод А. Адалис печатается по книге: «Антология китайской поэзии», т. I. М., 1957. Переводы Б. Вахтина — по книге: «Юэфу. Из средневековой китайской лирики». М., 1969.

«Путь челноку преграждает волна за волной...» (стр. 230).— Песня женщин-рыбачек, которые всю жизнь проводили в лодках. *Что не играть с гуанлиньским приливом?* — Гуанлинь — город в нынешней провинции Цзянсу.

Бао Чжао (414?—466) — мастер лирических стихов. Переводы А. Адалис печатаются по книге: «Антология китайской поэзии». Новые переводы выполнены по изданию: «Бао Сянь-цзюнь ши цзи чжу». Шанхай, 1958.

Стр. 232. *Запах тмина в ларях, где шелка!..*— Намек на то, что у Цзиньлан есть возлюбленный, так как душистый тмин — традиционный подарок влюбленного. *Говорят, была она когда-то // Древним императором Шуди...*— Правитель государства Шу (IV в. до н. э.), по преданию, добровольно уступил престол усмирителю потопов в Шу — Бе-лину, а сам стал отшельником. После смерти Шу-ди (Ван-ди) душа его превратилась в кукушку, и с тех пор, заслышав голос кукушки, люди всегда грустят.

Шэнь Юэ (441—513) — известный поэт, теоретик поэзии, историограф. Перевод выполнен по изданию: «Цюань Хань, Сань-го Цзинь Нань бэй чао ши», сост. Дин Фу-бао. Пекин, 1959.

«Прощаюсь с аньчэнским Фанем» (стр. 233).— Стихи посвящены Фань Сю, другу Шэнь Юэ, служившему в городе Аньчэн. *Найду ль во сне // дорогу к другу?* — Намек на историю из книги «Хань Фэй-цзы» (III в. до н. э.), в которой рассказано о том, как некто Чжан Мин во сне отправился к своему другу, но не нашел дорогу.

«Оплакиваю Се Тяо» (стр. 233).— *Се Тяо* — см. ниже.

Стр. 234. *Кто смеет сказать, что свойствам, // которым иней не страшен, // Грозит внезапная гибель от человеческих дел?* — «Иней не страшен» — то есть не страшен холод и, шире, природные силы вообще. Однако Се Тяо не удалось избежать зла от людей — оклеветанный, он умер в тюрьме. *Яшмовый диск бесценный...* — Имеется в виду ритуальный диск — символ Неба, с квадратным отверстием посредине, символизирующим Землю. В древности — регалия владетельных правителей. *...стал земляным бугорком!* — То есть умер.

Ф а н ь Ю н ь (451—503) — государственный деятель и полководец. Перевод выполнен по изданию: «Хань Вэй Лючао ши сюань». Пекин, 1958.

С е Т я о (464—499) — принадлежал, по словам академика В. М. Алексеева, к «блестящей плеяде поэтов Се (Се Лин-юнь, Се Хой-лян, Се Тяо)». Се Тяо высоко ценили танские поэты, строки его стихов нередко признавались образцовыми. За отказ присоединиться к мятежу поэт был оклеветан и умер в тюрьме в возрасте тридцати шести лет. Перевод выполнен по упомянутому выше изданию.

Стр. 234. *Чанъань* — столица страны в эпоху Тан.

«В п о д р а ж а н и е с т и х а м «Ч т о - т о н а д у ш е» ч ж у б у В а н а» (стр. 235).— *«Что-то на душе»* — одна из традиционных мелодий народных песен юэфу. *Чжубу.*— См. прим. к с. 212. *Ван* — поэт Ван Жун, друг Се Тяо. *Жду счастливого срока...*— Счастливый срок — время любовного свидания или свадьбы, указанное гаданием.

С ю й Л и н (507—583) — составитель знаменитой поэтической антологии «Новые напевы Нефритовой башни» («Юйтай синь юн»). Перевод выполнен по изданию: «Цюань Хань Сань-го Цзинь Нань бэй-чао ши».

Стр. 235. *Цзи* — город в нынешней провинции Хэбэй (район современного Пекина), некогда столица древнего царства *Янь. А в округе Дай...*— То есть на северной границе, у Великой стены.

Стр. 236. *Словно осень в Ху // стынет ханьский месяц.*— Поэт хочет сказать, что месяц в небе — тот же, что и на родине воинов, но он холоден, как и осень в стране северных варваров, то есть в стране хуских варваров. *Глина всю Ханьгу // залепила густо.*— Ханьгу — ключевая застава на северо-западной границе. Готовясь к обороне, ее, видимо, укрепили — обмазали глиной. *Доблестный министр — // тот, с усами тигра...*— Известный полководец Чжан Фэй (III в.); в описаниях его внешности традиционно присутствовали «ласточкин подбородок и тигровые усы». *...трех пятерок луна.*— То есть луна в пятнадцатый день лунного месяца, в полнолуние. *Цзинчжоу* — район к востоку от заставы Ханьгу. *Искристый Звездный Стяг* — название созвездия. *Шулэ* — государство на территории нынешнего Синьцзяна. *Цилянь* — гора в Шулэ.

Ю й С и н ь (513—581) — последний крупный поэт периода Северных и Южных династий (IV—VI вв.). Оказал значительное влияние на поэтов эпохи Тан. Перевод выполнен по изданию: «Цюань Хань Сань-го Цзинь Нань бэй-чао ши». Перевод Л. Эйдлина дается по книге: «Китайская классическая поэзия в переводах Л. Эйдлина». М., 1975.

Стр. 236. *Шаншу* — высокий чиновничий титул. *Янгуань* — застава (в нынешней Ганьсу), через которую лежал путь в земли западных кочевников. *Ляошуй* (или Ишуй) — река на северо-востоке Китая, протекавшая через царство Янь; на ее берегу герой Цзин Кэ прощался с Данем, наследником престола Янь, отправляясь в государство Цинь, чтобы убить ее правителя Ина, будущего Цинь Ши-хуана. Покушение не удалось, и Цзин Кэ был убит. *Шел на погибель // Цзин Кэ отсюда.*— То есть из царства Янь. *Ныне, Су У, // на мосту речном...*— Ли Лин (II—I вв. до н. э.), полководец, посланный ханьским У-ди против сюнну, потерпел поражение и сдался кочевникам. Он пробыл в плену двадцать лет и умер. Примерно в это же время У-ди отправил послом к сюнну сановника Су У; те пытались уговорить его остаться у них на службе. Су У отказался и был отправлен в далекую ссылку. При следующем ханьском государе с сюнну было заключено перемирие, и Су У смог вернуться на родину. Ли Лин, прощаясь с ним, написал стихи, в которых были строки о расставании на мосту.

Стр. 237. *Сяншуйский бамбук*, то есть бамбук с берегов Сяншуй (Сян), стал крапчатым от слез жен мифического государя Шуня, оплакивавших его кончину. По преданию, *жена Ци Ляна*, сановника древнего царства Ци, так

горько оплакивала гибель мужа, что от ее рыданий рухнули стены царства. *В раздумье, как сделаться князем // десятка тысяч дворов.*— То есть стать могучим, влиятельным сановником. *Хоть нынче я рассуждаю, // как бабочкой стать во сне, // Но все же я не Чжуан-цзы — // уж в этом уверен я.*— Даосский мыслитель Чжуан-цзы (369—290 гг. до н. э.), как рассказывается в одноименном памятнике, однажды во сне увидел себя бабочкой. Проснувшись, он не мог понять, приснилось ли ему, Чжуан-цзы, что он стал бабочкой, или это бабочке снится, что она стала Чжуан-цзы. *«Что б ни было, радуйся жизни // и ведай свою судьбу».*— Цитата из канонического комментария к древней «Книге перемен». Таков идеальный образ мыслей совершенномудрого человека.

Витязи.— Некогда странствующие воины, сражавшиеся против несправедливостей. Юй Синь описывает богатых молодых повес, и слово «витязь» употреблено, видимо, с оттенком иронии.

Ван Бо (649—676) — один из «четырех выдающихся» поэтов начала эпохи Тан. В его стихах уже угадывается будущий расцвет танской поэзии. Переводы из Ван Бо, как и другие новые переводы поэтов времени Тан, кроме специально оговоренных, выполнены по изданию: «Цюань Тан ши». Пекин, 1960.

Стр. 237. *Ду* — один из друзей поэта. *Шучуань* — местность в районе города Чунцина, на территории нынешней Сычуани, где некогда находилось древнее государство Шу. *Под охраною башен и стен // все три области циньских.*— Башни и стены окружали город Чанъань. Три циньских области — центральные области, некогда объединенные под властью империи Цинь (III в. до н. э.). *Пять переправ* — переправы через реку Миньцзян в провинции Сычуань.

«Павильон тэнского правителя» (стр. 238).— Павильон в Хунчжоу (современный Наньчан), построенный в середине VII в. на берегу Янцзы Ли Юань-ином, который носил титул Тэн-гун, как и сановник первого государя династии Ранняя Хань Лю Бана (Гао-цзу; правил в 206—195 гг. до н. э.) Ся Хоу-ин, бывший правителем в Тэн. *Река* — Янцзы. *Нет звона яшмовых подвесок — // нет песен, плясок нет.*— То есть в павильоне не пируют, потому и не слышно звона яшмовых подвесок — особых поясных украшений, которые звенели во время танцев.

Чэнь Цзы-ан (661—702) — поэт, с которого началось новаторство танской поэзии. Был крупным государственным деятелем, явил собой пример гармонии жизни и творчества. Переводы академика В. М. Алексеева публикуются в нашем томе по архиву ученого.

«Потрясен встречей» (стр. 238).— Знаменитый цикл из тридцати восьми стихотворений.

1. *Великий Предел*—начало всего сущего, источник инь и ян. *Три начала* — небо, земля, человек. *Высшая тонкость* — свойство благородного мужа применяться к обстоятельствам, не унижаясь, не теряя чистоты и гуманности. *Ценность Трех и Пяти // кто доказать сумеет?* — В китайской числовой символике цифра «три» здесь означает истинный путь неба, земли и людей; «пять» — человеколюбие (жэнь), верность долгу (и), следование обрядам (ли), мудрость (чжи), доверие (синь).

5. *Гордятся люди рынка // ловкостью и смекалкой.*— Люди рынка — то есть горожане. Здесь поэт имеет в виду тех, кто вовлечен в мирскую суету. *Им бы Трактат постигнуть // об истине сокровенной...*— «Трактат о сокровенной истине» — не дошедшее до нас даосское сочинение. Сокровенная истина — нефрит, один из символов дао. *Им бытие узреть бы // в яшмовом чайнике Дао.*— По даосским представлениям, сознание человека может свести весь окружающий мир до размеров столь малых, что он поместится в чайнике Дао.

Юйчжоуская башня — постройка в городе Юйчжоу, который некогда находился на месте нынешнего Пекина.

Хэ Чжи-чжан (659—744) — крупный поэт начала эпохи Тан.

«При возвращении домой» (стр. 240).— Перевод печатается по книге: «Китайская классическая поэзия в переводах Л. Эйдлина».

Хань-шань (VIII в.) — знаменитый поэт-монах, последователь чань-буддизма.

Мэн Хао-жань (689—740) — крупнейший поэт эпохи Тан. В его стихах — отрешенность от суеты, радость слияния с природой, добрый и ясный взгляд на мир. Ранее публиковавшиеся переводы даются по книге: «Китайская классическая поэзия в переводах Л. Эйдлина». Прим. переводчика.

Стр. 242. *Цинь* — старинный музыкальный инструмент, предшественник цитры. *Осенний праздник*, праздник «двойной девятки» — девятый день девятого месяца по лунному календарю.

Стр. 243. *Лумэнь* — гора на юго-востоке Сянъяна (в нынешней провинции Хубэй), где жил уединенно поэт *Пан Гун*, или Пан Дэ-гун,— обитавший некогда в Лумэне отшельник времен Поздней Хань (25—220). *Как тот человек он, // что пил из единственной тыквы, // Но, праведник мудрый, // всегда был спокоен и весел!* — Мудрым праведником назвал Конфуций своего ученика Янь-юаня, у которого была одна-единственная корзина для еды и одна-единственная тыква-горлянка для питья, и жил он в нищем переулке, но никогда не изменял своей веселости. *Учитель там, // где занят созерцаньем...*— Созерцанье.— Здесь имеется в виду буддизм секты чань. *Лотос* — символ чистоты, он растет в тине, но не испачкан ею.

Стр. 244. *Три горных края Ба* (на с. 272 — *Саньба*) — местность на востоке нынешней Сычуани.

Стр. 246. «*Дети-малютки // домой Тао Цяня ждут*».— В прозопоэтическом произведении Тао Цяня (Тао Юань-мина) говорится, что у входа в дом его встречают малые дети. *Улин* — район Чанъани.

Ли Ци (первая половина VIII в.).

Стр. 247. *Жизнь — поплавок* — то есть плывущая в пустоте иллюзорности; *почва души* — то есть сознание.

Цуй Хао (ум. в 754 г.).

Стр. 247. *Башня Желтого Аиста* (Хуанхэлоу) — башня на западной окраине г. Учана на берегу Янцзы. Согласно старинной легенде, там жил некий Син, который держал винную лавку. Каждый день к нему приходил старик и пил вино, но не расплачивался, ибо не имел денег. Так продолжалось полгода. Однажды старик взял мандариновую корку и нарисовал на стене аиста. Аист танцевал на стене и веселил гостей. Благодаря этому в лавку набивалось много народу, и хозяин разбогател. Прошло десять лет, однажды вновь появился старик, заиграл на флейте, и аист сошел со стены. Старик сел на аиста и улетел в небо. А благодарный Син построил в память о нем башню Желтого Аиста. *Ханьян* — местность на Янцзы напротив Учана. *Островок Попугая* — остров на Янцзы к юго-западу от Учана.

Ван Вэй (701—761) — великий поэт, живописец, каллиграф. В юности мечтал о славе, чиновничьей карьере, воинских подвигах,— все это нашло отражение в его ранних стихах. После подавления мятежа Ань Лу-шаня обвиненный в связях с мятежниками поэт подвергся опале. В зрелые годы он обращается к буддизму, все большее место в его поэзии занимает природа, воплощение вечности и гармонии.

Стр. 248. *Ланьтянь* — горная местность на территории нынешней провинции Шэньси. *Папороть рвать, // богатство презрев и чины.*— По преданию, папоротью (папоротником, травой вэй) питались братья Бо-и и Шу-ци, сыновья государя страны Гучжу (XI в. до н. э.) после того, как отказались служить узурпатору У-вану, основателю династии Чжоу, и ушли на гору

Шоуян. *Пэй Ди* — известный поэт, друг Ван Вэя и Ду Фу. *Горы Чжуннань*, где жил Ван Вэй, находятся на территории нынешней провинции Шэньси.

Стр. 249. *Как мудрецы, // что у тиглей плавильных стоят, // Выше лесов, // средь гор он жить восхотел.*— Алхимики-даосы, пытавшиеся добыть снадобье бессмертия, обычно выбирали для своих опытов укромные места высоко в горах. *Ли И* — друг Ван Вэя. *Вечно без шпилек...*— В Китае головной убор — чиновничью шляпу — прикрепляли к волосам особой шпилькой. Поэтому выражение «без шпилек» следует понимать как «без шляпы чиновника», что означало отказ от чиновничьей карьеры. *Вино из Ичэна* — то есть вино из района г. Ичэна (в нынешней провинции Хубэй), одного из центров виноделия в Китае. *И возвращусь // в Лоянскую келью мою.*— Со времен известного отшельника, жившего за несколько веков до Ван Вэя в лоянском Белом храме, Лоянской кельей стали называть жилище отшельника.

Стр. 250. *Цзу Третий* — друг поэта; третий — значит: третий мужчина в роду.

Стр. 251. *Министр Чжан* — поэт и крупный сановник Чжан Цзю-лин (673—740). Имел высшее ученое звание цзиньши, занимал важные государственные посты и в первые годы службы Ван Вэя в столице оказывал ему покровительство. Был сослан в *Цзинчжоу* (нынешняя Хубэй), где и умер. *С грустью гляжу // туда, где Цзинмэньский хребет.*— То есть в сторону Цзинчжоу, где находятся горы Цзинмэнь. На берегу *реки Ванчуань* (в нынешней Шэньси) находился дом Ван Вэя, где он провел последние годы жизни. *Сюцай* — в эпоху Тан низшая ученая степень; присваивалась выдержавшим государственные экзамены в уездном городе. *Бражник Цзе-юй, // «Чуский безумец», воскрес...*— Ван Вэй в шутку сравнивает Пэй Ди с неким Лу Туном, по прозванию Цзе-юй. Лу Тун, не хотевший служить чускому государю Чжан-вану, прикинулся сумасшедшим и стал жить отшельником. Его и нарекли «Чуским безумцем». *Пятеро Ив // распевам внимают хмельным.*— Со времен поэта Тао Юань-мина, посадившего у дома пять ив и создавшего свое «Жизнеописание под сенью пяти ив», пять ив стали синонимом жилища отшельника. *Вестник зари — // барабана мерзлого стук.*— Имеются в виду удары барабана, которыми с семи часов вечера и до пяти часов утра отмечались двухчасовые отрезки, так называемые ночные стражи. *Дом Юань-аня,— // как обнаружу его, // Если хозяин // за дверью замкнутой лег?* — Ван Вэй вспоминает историю нищего отшельника Юань Аня, жившего при Поздней Хань (25—220) в Лояне. Однажды после сильного ночного снегопада все городские нищие разгребли сугробы у своих обиталищ и отправились за подаянием. Только перед домом Лю Аня снег не был расчищен. Когда разгребли снег и вошли в дом, то увидели, что Лю Ань уже почти замерз. На вопрос, почему он не попытался выйти на улицу, нищий ответил: «В большой снегопад всем голодно — не подобает в такой день докучать людям просьбами о подаянии».

Стр. 252. *Гора Суншань.*— См. прим. к с. 205. *К белым стремлю облакам // одинокий шаг.*— То есть возвращаюсь домой. Белые облака у Ван Вэя — символ жилища отшельника. *Дверца из веток* — то есть калитка.

Стр. 253. *Белый храм* — то же, что Лоянская келья (см. прим. к с. 249). *В стольный не езжу град, // К Зеленым вратам.*— Поэт говорит, что не ездит в столицу танского Китая город Чанъань, где были Зеленые ворота,— то есть не собирается возвращаться на службу. *Словно второй Улин-цзы, // отшельник второй, // Движу скрипучий журавль, // поливаю сады.*— Ван Вэй сравнивает себя с Чэнь Чжун-цзы, братом министра древнего государства Ци. Чэнь Чжун-цзы, не согласный с политикой брата, покинул Ци и переселился в Чу, в местность Юйлин (Улин). Государь Чу, прослышав о его добродетелях, пригласил Чжун-цзы к себе на службу, но тот отказался и продолжал зарабатывать себе пропитание, поливая чужие сады. *Цишуй* — река на территории нынешней провинции Хэнань.

Стр. 254. *Храм Ганьхуасы* — буддийский храм в горах Ланьтянь в нынешней Шэньси. *Тигровый ручей...*— Горный поток, неподалеку от которого поселился в свое время один из патриархов китайского буддизма Хуэй-юань (V в.). Всякий раз, как Хуэй-юань или кто-нибудь из его гостей переходили через этот поток, раздавалось рычание тигра, отсюда и название. Здесь — символ обиталища отшельника. *Гочжоу* — область, находившаяся на территории нынешней Сычуани. *Полировщик зеркал* — древний даос, зарабатывал на жизнь полировкой зеркал, а также лечил людей чудодейственными пилюлями; здесь — отшельник. *Поливальщик садов.*— См. прим. к с. 253. *Не обессудьте,— // семья Жуаней бедна.*— Семья Жуаней — поэт Жуань Цзи (см. с. 841) и его брат Жуань Сянь, которые жили в бедности и уединении. В этом стихотворении Ван Вэй, по традиции, уподобляет себя знаменитым отшельникам древности. *Цю Вэй* — поэт, друг Ван Вэя. *Цзяндун.*— Так назывались области к востоку от реки Янцзы, в районе нынешней провинции Цзянсу. *Ветки ивы...*— Сломанные ветви ивы дарились другу при расставании; весной в цвету они особенно прекрасны — это углубляет печаль разлуки.

Стр. 255. *Озеро Тай* — Тайху, одно из крупных озер в Восточном Китае. *Зная мудрость Ми Хэна, // продвинуть его не сумел...*— Ми Хэн — государственный деятель времен Поздней Хань, которого рекомендовал на службу поэт Кун Жун. Ван Вэй сожалеет, что не смог сделать того же для Цю Вэя. *Вэйчэн* — город неподалеку от Чанъани. *Синфэн* — город в той же местности. *Не каюсь, что рано // Шан Пин детей женил...*— Шан Пин жил во времена Поздней Хань. Стал отшельником лишь после того, как его дети выросли и женились. *Жаль,—Тао столь поздно // должность покинул свою.*— Тао— Тао Юань-мин — ушел со службы в возрасте около сорока лет.

Стр. 257. *Взойди на Шаншань // от мирской тщеты вдалеке...*— Со времен династии Цинь, когда «четверо седоголовых мудрецов», не желая служить жестокому императору Цинь Ши-хуану, ушли на гору Шаншань, выражение «взойти на Шаншань» значит: «скрыться от мира», «стать отшельником».

Из стихов «Наложница Бань» (стр. 259).— Имеется в виду наложница ханьского императора Чэн-ди (32 — 7 гг. до н. э.), оставленная им ради новой фаворитки Чжао Фэй-янь. Обвиненная в попытках вернуть расположение императора с помощью магии, сумела остроумными ответами доказать свою невиновность (см. том «Поэзия и проза Древнего Востока», с. 353).

Стр. 259. *Цуй Син-цзун* — друг и родственник Ван Вэя.

«В девятый день девятой луны вспоминаю о братьях, оставшихся к востоку от горы Хуашань» (стр. 260).— См. прим. к с. 242. Братья поэта жили в местности Пу, что к востоку от горы Хуашань (см. прим. к с. 205). *Чудится: братья в горах // ломают кизил...*— В праздник осени было принято подниматься в горы, ломать там кизиловые ветки и втыкать их в волосы; это, по поверью, избавляло от болезней, порчи и наваждения. *...белка́ми глядит на чужих // из мира тщеты.*—Одними белками, то есть закатив зрачки, смотрел на тех, кто был ему неприятен, поэт-отшельник Жуань Цзи.

Стр. 261. *Аньси* — административный центр на дальней западной окраине танского Китая (в нынешней провинции Синьцзян). *Пройдя Янгуань...*— См. прим. к с. 236. *Дни холодной пищи* (или праздник холодной пищи) — начинались на сто пятый день после зимнего солнцеворота. Три дня запрещалось разводить огонь, а питались холодной кашицей с сахаром. Видимо, своеобразный китайский пост накануне дня поминовения усопших. *Река Сышуй* — один из притоков Хуанхэ. *Гуанъучэн* — город, находившийся на территории нынешней провинции Хэнань. *Из Вэньяна вернулся...*— Вэньян — название уезда и города на территории нынешней провинции Шань-дун.

Врата Пустоты — одно из названий буддийского учения, которое проповедовало идею спасения людей от страданий земной жизни.

Стр. 263. *Бренчит на серебряном чжэне...*— Чжэн — музыкальный инструмент, напоминающий настольные гусли.

Ли Бо (701—762) — великий поэт, с удивительной полнотой выразивший в своем творчестве дух китайского народа. Жизнь его стала легендой, его называли «бессмертным, низвергнутым с небес». Независимый и гордый, он не захотел стать придворным поэтом и провел жизнь в скитаниях. Уже при жизни поэта его стихи были необычайно популярны, их читали и во дворцах, и в деревенских харчевнях. Переводы А. Гитовича печатаются по книге: Ли Бо. Избранная лирика. М., 1959; переводы А. А. Ахматовой — по книге: «Китайская классическая поэзия (эпоха Тан)». М., 1956.

Стр. 264. *Яньчжи* — гора в нынешней Ганьсу. *Яшма-Застава* — Юйгуань — там же; через эту заставу вел путь на запад. *Шаньюй.*— Так назывались вожди сюнну.

Стр. 265. *Боди* — город на берегу реки Янцзы, в нынешней Сычуани.

«Храм на вершине горы» (стр. 265).— Стихи были написаны Ли Бо на стене горного храма в нынешней провинции Хубэй.

Стр. 266. *«Сломанные ивы»* — название популярной в эпоху Тан мелодии. См. также прим. к с. 254.

Лофутань — ручей, названный по имени красавицы Ло Фу. В ханьской песне юэфу «Туты на меже» рассказывается, что за Ло Фу пытался ухаживать приезжий знатный вельможа, но был решительно отвергнут женщиной, оставшейся верной мужу (см. том «Поэзия и проза Древнего Востока», с. 307).

Стр. 267. *Гора Дайтянь* находится на территории нынешней Сычуани.

Великая терраса — терраса на горе Гусу для торжественных приемов правителями царства У после победы над царством Юэ.

Стр. 268. *Белый заяц.*— По древней легенде, *Чан-э*, жена легендарного стрелка из лука Хоу-и, похитила у мужа снадобье бессмертия, вкусив которого улетела на луну, где живет белый заяц, толкущий в ступе снадобье бессмертия.

Стр. 269. *Ущелья* — три знаменитых своей живописностью ущелья в верхнем течении реки Янцзы. *Сосна* — символ вечности в китайской поэзии. *Чжэн Янь* — друг поэта. *Тао — начальник уезда...*— То есть поэт Тао Юаньмин, занимавший до своего ухода со службы пост начальника уезда Пэнцзэ.

«По ту сторону границы» (стр. 269).— Цикл стихов, посвященных походам танских полководцев Гэ Шу-лина и Ань Лушаня против тибетских и тюркских племен в 713—741 гг. и в 742—755 гг.

1. *Будет мертв // лоуланьский князь.*— То есть кочевники будут разбиты. В эпоху Хань князь страны Лоулань был убит за то, что помогал кочевникам в их борьбе против Китая.

3. *«Небесные гордецы»* — кочевники. *Павильон* — так называемый Павильон единорога-цилиня, где по повелению ханьского императора Сюань-ди (правил 74—49 гг. до н. э.) были изображены одиннадцать прославленных полководцев и сановников. *Хо Великолепный* — известный полководец, но в Павильоне висел не его портрет, а портрет его брата, полководца Хо Гуана.

4. *«Тигровые знаки»* — особые бронзовые или бамбуковые пластинки с гравированными изображениями тигров. Знаки разделялись на две части и служили как бы паролем и отзывом.

5. *Крылатый генерал* — полководец Ли Гуан, победитель племен сюнну (II в. до н. э.). Не сумев однажды захватить в плен их вождя, Ли Гуан покончил жизнь самоубийством.

«Ветка ивы» (стр. 271).— См. прим. к с. 254. *Лунтин* — военная ставка предводителя племен сюнну.

«Чанганьские мотивы» (стр. 272).— Ли Бо использовал мотивы народных песен юэфу (см. с. 230). *Чангань* — название деревни. *Делить... и пепел и прах...*— То есть все трудности и тяготы жизни. *Да буду я вечно хранить завет // обнимающего устой...*— То есть завет верности и в смерти. В древности некто Бэй Шэн назначил свидание своей возлюбленной у моста. Женщина все не приходила, а вода в реке внезапно стала прибывать. Бэй Шэн, верный данному слову, не ушел и погиб, обхватив руками устой моста. *И да не допустит меня судьба // На башне стоять одной!* — В древности женщина в ожидании мужа, уехавшего в дальние края, взошла на башню. Не дождавшись его возвращения, она окаменела. *Ущелье Цюйтан* — в верхнем течении реки Янцзы, где весной бывает особенно стремительное течение, плыть против которого невозможно. *Чаньфэнса* (или Чанфэнша) — в современной Аньхоэй, на берегу реки Янцзы.

Стр. 274. *Луян* (Луян-гун) — герой древности. По преданию, когда он воевал с царством Хань, битва еще продолжалась, а солнце стало заходить, он взмахнул копьем, и солнце вернулось обратно на сто ли. *Юймынь.*— См. Юйгуань. *У и Юэ.*— Имеются в виду земли древних царств на юго-востоке страны.

Стр. 275. *«На юге» некогда Ван Цань всходил»...*— В одном из стихотворений Ван Цань (см. выше), спасавшийся от мятежа, писал: «На юге поднимаюсь на Балинскую гору, оборачиваюсь, смотрю на Чанъань». *«Иволга»* — прощальная песня.

Гао Ши (702—765) — знаменитый поэт, прославившийся изображением военных походов, тягот солдатской жизни, судьбы крестьянских семей, оставшихся без кормильцев.

Стр. 276. *Яньская песня* — то есть песня древнего царства Янь на севере Китая. В яньских песнях воспевались воины, ушедшие в далекий поход и не вернувшиеся на родину. *Ханьский дом* — Китай. *Юйгуань.*— См. прим. к с. 264. *Цзеши* — горы у заставы Юйгуань. *Письмо с пером* — срочное военное донесение.

Стр. 277. *Яшмовым палочкам долго рыдать...*— Подразумеваются слезы оставшихся на родине солдатских жен. *...удары в котлы грохочут.*— Имеется в виду особая медная посуда, служившая для варки пищи и в качестве сигнального колокола. *Песчаное поле* — поле брани. *А мы до сих пор еще помним Ли, // славного полководца.*— Ли (Ли Гуан).— См. прим. к с. 269.

«Провожаю Дуна Старшего» (стр. 277).— Перевод печатается по книге: «Китайская классическая поэзия в переводах Л. Эйдлина».

Лю Чан-цин (709—780).

Стр. 277. *Цзичжоу* — нынешний Цзиань (провинция Цзянси).

Ду Фу (712—770) — великий поэт, близкий друг Ли Бо и Гао Ши. С именем Ду Фу связана обличительная линия в китайской поэзии. Искренне и глубоко поэт сострадал тяжелой крестьянской доле — его стихи проникнуты высокой гражданственностью, стремлением к самопожертвованию. Ду Фу оказал огромное влияние на китайскую поэзию. Переводы А. Гитовича печатаются по изданию: Ду Фу. Стихотворения. М.— Л., 1962.

Стр. 279. *Сяньянский мост* — мост через реку Вэйшуй, около Чанъани. *Сторожил он // На Севере реку...*— Имеется в виду река Хуанхэ. *А зачем // императору надо...*— Поэт подразумевает государя Сюань-цзуна (правил в 712—756 гг.).

Стр. 280. *Кукунор* — озеро в Северо-западном Китае. *Дулин* — местность в современной Шэньси, в окрестности Чанъани. Здесь некоторое время жил Ду Фу. Семья его находилась тогда в Фэнсяне (Шэньси). *...человек в пеньковом платье...*— То есть простолюдин, не состоящий на государственной службе. *Чтоб с Цзи и Се // равнять тебя тайком...*— Цзи (Хоу-цзи) и Се — два из двадцати двух помощников легендарного правителя Шуня (III тыс.

до н. э.). *Сюй-ю и Чао-фу // не так страдали...*— По преданию, легендарный император Яо хотел уступить Поднебесную Сюй-ю, но тот не захотел слышать об этом и стал на берегу реки Иншуй промывать уши. В это время его друг Чао-фу вел на водопой теленка. Узнав, почему Сюй-ю моет уши, Чао-фу упрекнул его в стремлении добиться популярности, в отказе от жизни отшельника и не позволил теленку пить воду, которую, по его мнению, «испачкал» Сюй-ю.

Стр. 281. *Лишань* — гора к востоку от Чанъани, где находился летний дворец государя. *Яочи* — букв.: «Нефритовый пруд». Согласно китайской мифологии, так называлось озеро во владениях богини, Хозяйки Запада — Сиванму, в горах Куньлунь. Здесь подразумевается теплый источник на горе Лишань. *...в халатах // с длинными кистями...*— Такие халаты носили высшие чиновники. *...золотые блюда // Увезены // из алого дворца.*— Императорские дворцы в Чанъани были выкрашены в ярко-красный цвет. Ходили слухи, что семья Ян Гуй-фэй, фаворитки императора, обкрадывает дворец. *...три небесных феи...* — Имеются в виду Ян Гуй-фэй и ее две сестры. *Суп из верблюжьего копыта* — изысканное китайское кушанье. *Цин и Вэй* — реки к северу от Чанъани, по дороге в Фэнсян.

Стр. 282. *Кунтун* — гора в провинции Ганьсу. *Небесный Столб.*— По китайской мифологии, медный столб поддерживал небеса и находился у горы Бучжоу, в западной части хребта Куньлунь. *Плавучий мост.*— Хэянский мост через реку Хуанхэ, у города Хэян. *...я был свободен от налогов...*— Ду Фу принадлежал к сословию чиновников и поэтому был освобожден от налогов и военной службы. *Фучжоу* — город к северу от Чанъани. В ноябре 755 г., когда поднял восстание Ань Лу-шань, мятежники двинулись на запад, угрожая столице. Желая обезопасить семью, Ду Фу отвез ее из Чанъани на север, в окрестности Фучжоу, в деревню Цянцунь. В это время Чанъань захватили мятежники, Сюань-цзун со своим двором бежал, а в Линъу в 756 г. взошел на престол его наследник — Су-цзун. Ду Фу пытался пробраться в Линъу, но его задержали, и он был вынужден вернуться в Чанъань, откуда ему удалось выбраться только в апреле 757 г. *В жизни нашей // редки были встречи, // Мы как Шан и Шэнь // в кругу созвездий.*— Две звезды: Шэнь — в западной части неба и Шан — в восточной — никогда не бывают видны одновременно. По древней легенде, это дети мифического правителя Гао-сина, которые постоянно враждовали. В наказание Верховный владыка поселил их в разные созвездия.

«Вижу во сне Ли Бо» (стр. 284).— Стихотворение написано, вероятно, в Циньчжоу, где поэт жил некоторое время после увольнения в отставку. От Ли Бо, с которым он расстался в 745 г., Ду Фу давно не имел известий. Он слышал, что Ли Бо за службу в ставке мятежного принца Линя был сослан в Елан, находившийся в глухих дебрях Юго-западного Китая, но не знал, жив ли тот или умер, не знал также, видимо, о том, что Ли Бо попал под амнистию. *Цзяннань* (букв.: «К югу от реки Янцзы») — видимо, в Гуйцзи, на территории современной провинции Чжэцзян. *Драконы.*— По древним поверьям, дракон повелевал водной стихией.

«В единении с природой» (стр. 284).— Стихотворение написано в «крытой травой хижине», как поэт называл домик, в котором жил на берегу протоки Хуаньхуаси, в окрестностях Чэнду, в провинции Сычуань.

Стр. 286. *Великая река.*— Речь идет о реке Янцзы, вниз по которой из Чэнду передвигался на джонке Ду Фу с семьей. *Ныне ж мое положение...*— Положение поэта в это время (осенью 759 г.) было чрезвычайно тяжелым: с государственной службы он ушел, не выдержав царившей среди чиновничества атмосферы взяточничества, низкопоклонства, взаимной вражды и подозрительности, здоровье его непрерывно ухудшалось. *Цаньянское ущелье* — находится на берегу Янцзы.

Стр. 287. *Персиковый источник.*— См. с. 225 наст. тома. *Чжунъюань* — Срединная равнина, где находилась танская столица Чанъань.

Гу Куан (727—815).

Дай Шу-лунь (732—789).

Стр. 288. *Река Юань* находится в нынешней провинции Цзянси.

Вэй Ин-у (736—825 ?).— Перевод публикуется по книге: «Антология китайской поэзии», т. 2. М., 1957.

Мэн Цзяо (751—814) — поэт яркой индивидуальности. Жизнь прожил в глубокой бедности, о чем неоднократно с горечью писал в стихах. Тяготел к сложной, необычной образности. Друг Чжан Цзи.

Стр. 289. *Уточки юань-ян* — мандаринские утки-неразлучницы, поэтический символ супружеской пары.

Чжан Цзи (768—830) — поэт, много писавший о социальной несправедливости, о тяжелой женской доле.

«Свирепые тигры» (стр. 290).— В этих стихах поэт намекает на беззакония, которые чинили представители знатных родов. *Улинские молодцы* (см. прим. к с. 246) — аристократическая молодежь.

Хань Юй (768—824) — прославленный поэт и прозаик. Его ритмическая проза, созданная под лозунгом «возврата к древности», почитается образцовой. Поэзия Хань Юя сложна, насыщена традиционной образностью. Друг Чжан Цзи и Мэн Цзяо.

Стр. 292. *Пятнадцатый день восьмой луны* — Праздник середины осени и почитания луны, а на юге Китая, в Кантоне, еще и Праздник фонарей. Это день самой яркой луны в году. *Чжан Гун-цао* — друг поэта Чжан Шу, переживший вместе с Хань Юем опалу и ссылку на юг. *...нет Реки среди небес.*— То есть не видно Млечного Пути, который по-китайски именуется Небесной Рекой (см. также с. 309). *Дунтин* — самое большое озеро Китая.

Стр. 293. *Ямынь* — чиновничья управа, канцелярия. *Новый государь у нас теперь...*— В 805 г. на престол вступил император Сянь-цзун. *Не везло мне — только удалось // к варварам забраться в Цзинь.*— Поэт говорит, что амнистия в связи с воцарением нового императора не коснулась его,— изменилось лишь место ссылки. *Судебный исполнитель* — должность, которую занимал Чжан Гун-цао. Здесь он поет о себе. *Тяжко подыматься в высоту // по Небесному пути.*— То есть достичь успеха в чиновничьей карьере столь же трудно, как взобраться на небо.

Стр. 294. *Гора Хэнъюэ*, или Хэншань — южная из пяти священных гор.— См. прим. к с. 205. *Сун* — то есть Суншань, центральная из них. *Дух инь* — здесь: символ осени. *Цзыгай*, *Тяньчжу*, *Шилинь*, *Чжуюн* — горы, окружающие Хенъюэ. *...спешу во дворец чудесный.*— То есть в храм на горе Юйсы.

«Песнь о каменных барабанах» (стр. 295).— Считается, что каменные барабаны были созданы при династии Чжоу в правление *Сюань-вана* или его предшественника Чэн-вана (IX—VIII вв. до н. э.): на десяти барабанах выгравировали стихотворные надписи. Современные историки относят создание барабанов к IV в. до н. э. *Почтенный Чжан* — Чжан Цзи. *Шао-лин* — второе имя Ду Фу. *Ссыльный Отшельник* — Ли Бо. Под *недостойным* поэт имеет в виду себя. *Небесное копье* — название одного из созвездий; здесь, видимо, образно: копье государя.

Стр. 296. *Лишу*, *кэдоувэнь* — древние формы письма, надписи же на барабанах сделаны особым стилем, создание которого приписывают историографу Сюань-вана Ши Чжоу. *Крокодил... Феникс ввысь воспарил с луанем...*— Видимо, развернутая метафора красоты и энергичности этих надписей. *Оды малые*, *Оды большие* — разделы «Шицзина». *Взял он звезды и взял планеты...*— То есть триста песен «Шицзина», по преданию, отобранных *Конфуцием*; надписи на барабанах уподобляются *Си* и *Э* (солнцу и луне, см. выше).

Стр. 297. Годы *Юаньхэ* — 806—820. *Юфу* — местность, где в VII в. были найдены барабаны. *...головастиков ямы...*— Надписи на барабанах по форме напоминают головастиков. *Гао-дин* — треножник правителя Гао, был найден в 710 г. и внесен в главный храм. *Высшая школа* — конфуцианская академия. *Лебединый Двор* — одна из конфуцианских школ.

Стр. 298. *Си-чжи* — Ван Си-чжи (321—379) — знаменитый каллиграф.

Лю Цзун-юань (773—819) — крупный поэт и прозаик, друг и соратник Хань Юя по движению за «возврат к древности» в прозе. Стихи его — и лирические и гражданские — проникнуты симпатией к человеку, любовью к своей стране.

Стр. 298. *Линлин* в Юнчжоу (нынешняя провинция Хунань) — место ссылки поэта (на юге страны); *Циньюань* в Хэдуне (нынешняя Шаньси) — его родина (на севере). *Хуанци* — также в Хэдуне.

Стр. 299. *В руках сжимаю праздно книгу // из пальмовых листьев.*— Книга из пальмовых листьев — так обычно называли буддийские сочинения, некогда записанные в Индии на пальмовых листьях. *Словам оставленным, надеюсь, // нас просветить дано...*— Оставленные слова, по-видимому, учения древних мудрецов, в первую очередь Будды. *Со мною радость просветленья...*— Просветление — одно из основных понятий буддизма, в том числе чань-буддизма. Просветление приходит после того, как человек подчиняет все свои помыслы достижению определенной цели, отрешившись от иных устремлений.

Стр. 300. *Я долго был связан // с людьми, носящими шпильки...*— См. прим. к с. 249. *Порой я похож // на гостя гор и лесов.*— То есть на отшельника.

Бо Цзюй-и (772—846) — великий поэт, сумевший сочетать в своем творчестве лучшие достижения предшествующей поэзии. Бо Цзюй-и был крупным государственным сановником, он не раз рисковал карьерой, обличая жестокость и несправедливость чиновников. Был вождем целого направления в поэзии, направления, представители которого за главное почитали в стихах высокую верность жизненной правде, конкретность образов, обличительную направленность. Большая часть переводов публикуется по книге: Бо Цзюй-и. Лирика. М., 1965. Прим. переводчика.

Стр. 302. *Лушань, Чайсан, Лили* — места в нынешней провинции Цзянси, где родился и жил Тао Юань-мин. *О «спокойный и чистый» // нас покинувший Тао Цзин-цзе...*— Посмертное имя Тао Юань-мина — Цзин-цзе — «спокойный и чистый». *Жизнь твоя охватила // гибель Цзинь и восшествие Сун.*— Правление династии Восточная Цзинь — 317—420 гг., династии Сун — 420—479 гг. *Глубоко в своем сердце // ты хранил благородную мысль...*— Бо Цзюй-и, по-видимому, считает, что Тао Юань-мин не захотел служить узурпатору Лю Юю, основателю династии Сун. «Благородная мысль» Тао была шире: он не хотел служить и «своей» династии Цзинь. *Но всегда поминал ты // сыновей государя Гучжу, // Что, одежду очистив, // стали жить на горе Шоуян.*— В XI в. до н. э., во времена династии Инь, *Бо-и* — старший сын государя страны Гучжу — не захотел служить узурпировавшему престол основателю Чжоуской династии У-вану и вместе с братом своим *Шу-ци* ушел на гору Шоуян. Там питались они одною травою вэй и умерли от голода. Очистить одежду — то же, что отряхнуть прах, то есть уединиться, уйти от суетного мира. *Но когда я читаю // «Жизнь под сенью пяти твоих ив»...*— См. прим. к с. 251.

Стр. 303. *Я уже не увидел // под оградой твоих хризантем, // Но еще задержался // в деревнях расстилавшийся дым.*— Намек на стихи Тао Юань-мина (см. стихи «За вином»).

«После того, как впервые расстался с Юанем Девятым...» (стр. 303).— *Юань Девятый* — поэт Юань Чжэнь (см. ниже),

девятый в роду Юань. Стихи написаны после первой ссылки Юань Чжэня в 810 г. Перевод публикуется впервые.

Стр. 304. *Лишь восемь созвучий...*— То есть шестнадцать строк, рифмующихся через строку.

Стр. 305. *Циньская столица* — то есть Чанъань. *Красные ворота* — богатый и знатный дом. *Вэньсян* — местность в нынешней Хэнани.

«Вечная печаль» (стр. 306).— В поэме описана любовь танского государя Сюань-цзуна к красавице Ян Гуй-фэй и трагический конец этой любви во время мятежа Ань Лу-шаня. «*Покорявшую страны*».— То есть такую небывалую красавицу, как госпожа Ли, одна из жен ханьского императора У-ди, о которой ее брат Ли Янь-нянь сказал в стихах императору: «Раз взглянет — и сокрушит город, взглянет второй раз — и покорит страну».

Стр. 308. *Загремел барабана юйянского гром...*— Юйян — одна из областей, захваченных мятежным полководцем Ань Лу-шанем. «*Из радуги яркий наряд, из сверкающих перьев убор*» — название песни и танца. *Шевелятся драконы расшитых знамен...*— То есть императорские знамена.

Стр. 309. *Возвращался Дракон-государь.*— Дракон — символ императорской власти, одно из метафорических наименований государя. *Мавэй* — местность, где была убита Ян Гуй-фэй (на территории нынешней провинции Шэньси). *Фужун* — разновидность лотоса. *Тайи* — озеро. «*Грушевый сад*» — школа актерского мастерства, созданная при Сюань-цзуне. *Перечный дом* — женская половина дворца.

Стр. 310. *...звери двойных черепиц* — черепиц в виде причудливых зверей. *Желтые ключи* — ключи, бьющие под землей, могила. *Тай-чжэнь* — одно из имен Ян Гуй-фэй. *Сяо-юй* — дочь Фуча, государя страны У (V в. до н. э.). *Шуан-чэн* — служанка Сиванму (см. прим. к с. 222).

Стр. 313. *Шэнь* — река в нынешней провинции Шэньси.

«Ночь холодной пищи» (стр. 314).— См. прим. к с. 261.

Стр. 314. *Цзянчжоу* — город в современной Цзянси, куда в 815 г. был назначен Бо Цзюй-и.

Стр. 316. *Сюнь — начальник.*— Так поэт называет своего друга, поэта Пэй Ду, сравнивая его с Сюнь Юем, жившим в конце II — в начале III в. и бывшим в одном чине с Пэй Ду. *Бо Лэ-тянь* — Бо Цзюй-и. Лэ-тянь, что значит в переводе «Радующийся небу», то есть «Радующийся жизни»,— второе имя Бо Цзюй-и.

Лю Юй-си (772—842) — крупный танский поэт, писал как классические стихи, так и подражания народным песням юэфу.

Стр. 320. *Ткачиха и Пастух* — герои древней легенды, которая рассказывает о том, что на восточном берегу Небесной Реки жила Ткачиха, дочь Небесного царя, которая ткала небесную одежду из облачной парчи. Небесный царь пожалел ее одиночество и выдал замуж за Пастуха, жившего на западном берегу Реки. После замужества она перестала ткать небесные одежды. Небесный царь разгневался, приказал ей вернуться на восточный берег и разрешил лишь раз в году, ночью в седьмой день седьмой луны, встречаться с Пастухом.

Шитоу — букв.: «Каменный город». Некогда укрепленный пункт, защищавший Нанкин у впадения реки Циньхуай в Янцзы. Впоследствии укрепления были разрушены, и название Шитоу нередко употреблялось как синоним Нанкина. *...на восток от реки Хуай* — то есть от реки Циньхуай. *Улица Черных Одежд* — улица в Нанкине. Названа в память двух аристократических родов — Дао и Янь,— живших при династии Цзинь (265—420) и носивших черные одежды. *Знатные Ван и Се* — представители родов Дао и Янь.

Стр. 321. *...из красного вышла дворца.*— Красный дворец — обычно жилище придворных дам.

«Храм первого государя страны Шу» (стр. 321).— Имеется в виду храм *Лю Бэя*, основателя царства Шу (221—263); находится в уезде Фэнцзе (Сычуань). *Было царство одно, // стало три, как три ножки дина.*— Поэт вспоминает период Троецарствия, наступивший после падения династии Хань, когда существовали три царства — Шу, Вэй и У,— их он и сравнивает с тремя ножками ритуального треножника — дина. *Полководец бы мог // стать началом династии новой, // Только сыну его // не хватило царственной мощи.*— Традиция признает Лю Бэя законным преемником Ханьской династии, но при его сыне, Лю Чане (правил в 223—263 гг.), основанное Лю Бэем царство Шу было завоевано войсками государства Вэй.

«В горах Сисай думаю о былом» (стр. 321).— В этих стихах поэт вспоминает следующий исторический эпизод. Когда полководец государства Цзинь, *Ван Цзюнь* (206—285), плыл на кораблях к *Цзиньлину*, столице государства, подле гор Сисай (в нынешней провинции Хэбэй) через реку с берега на берег были переброшены цепи, чтобы преградить путь кораблям. Однако Цзиньлин пал. *...когда все четыре моря // вернулись к единому дому...*— Земля среди четырех морей — образное название Китая. Здесь поэт говорит, что Китай вновь объединен под властью династии Тан.

«Песни о ветке бамбука» (стр. 322).— Написаны в подражание одному из видов песен юэфу. Поэт написал одиннадцать песен, девять из которых образовали цикл с предисловием. В переводе дана вторая песня цикла и первая из приложения. *Шуская Река* — то есть Янцзы, которая течет по территории древнего царства Шу.

Юань Чжэнь (779—831) — ближайший сподвижник Бо Цзюй-и. Достиг высоких придворных чинов — стал первым сановником двора, но в своих стихах описывал страдания народа, порицал угнетателей. Автор знаменитой прозаической «Повести об Ин-ин».

Стр. 323. *Сыма* — помощник правителя области с весьма малым в танское время кругом обязанностей.

Ли Хэ (790—816) — один из потомков танского императорского рода Ли. Жизнь поэта сложилась неудачно — он не смог сдать государственные экзамены на степень цзиньши. Поэзия его печальна и мечтательна.

«Южный парк» (стр. 323).— Имеется в виду парк на родине поэта. *Щеки юэских дам* — то есть красавиц. Жительницы древнего царства Юэ отличались легендарной красотой.

Стр. 324. *Парк Чангу.*— См. выше. *Чуские строфы* — сборник древних стихов, куда, кроме стихов Цюй Юаня — первого китайского поэта, включались стихи Сун Юя и других поэтов. *Старый заяц и грустная жаба // тоскуют на бледном небе.*— Старый заяц.— См. прим. к с. 268. Грустная жаба.— В древних мифах рассказывается, что Чан-э превратилась на луне в жабу, которая вечно плачет. *Яшмовое колесо* — то есть луна. *Желтый прах и прозрачная влага // молчат под Тремя горами.*— Три горы, плавающие в море, будто бы обитель бессмертных, где бессильны мирская тщета (желтая пыль) и вода Девяти источников — то есть смерть. *Девять Равных областей* — Китай. *Чжуфу за счастьем ходил в столицу // и горем кончил скитанья.*— Имеется в виду известный ученый древности Чжуфу Янь (ум. в 127 г. до н. э.), отправившийся в столицу и казненный там. *В Синфэне // трактирщик бранил Ма Чжоу...*— Ма Чжоу (601—648) — известный ученый, которого на пути в столицу, тогда еще никому не известного, выбранил трактирщик. В столице он преуспел, достиг высоких чинов.

Стр. 325. *А он на гладкой бумаге тушью // две строчки искусно вывел // И, смело став пред лицом Дракона, // увидел царскую милость.*— Речь идет о Ма-Чжоу, который, придя в столицу, представил доклад императору. Лик дракона — метафорическое обозначение императора.

Цзя Дао (779—843).

Л и Ш э н ь (?—846) — видный представитель группы единомышленников Бо Цзюй-и. Перевод печатается по изданию: «Китайская классическая поэзия в переводах Л. Эйдлина».

Стр. 325. *Где Моря Четыре,— // земли невозделанной нет...*— То есть в Китае.

Д у Му (803—853) — последний по времени крупный поэт эпохи Тан. Во многих его стихах тоска по былому могуществу страны, они насыщены аллегориями, уже не так конкретны, как стихи его великих предшественников, но отмечены печатью истинного мастерства.

Стр. 325. *Спать не могу — // мысли о Сяо и Сяне.*— Мечтая о возвращении домой, поэт думает о реках Сяо и Сян, у места слияния которых, в современной провинции Хунань, находилась его родина. *В устье Реки...*— То есть в устье Янцзы.

«В д а р о т ц у - р ы б а к у» (стр. 326).— См. прим. к стихам Жуань Цзи, 32.

Стр. 326. *Циньхуай* — река (см. прим. к с. 320). *Слышу, на том берегу горланят // «Цветы на заднем дворе»...*—То есть песню на этот мотив. Со времен чэньского правителя Хоу-чжу (правил в 582—588 гг.), праздного гуляки, будто бы написавшего песню под названием «Яшмовые деревья, цветы на заднем дворе», она служит синонимом легкомыслия и разврата.

«Д у м а ю о п р е ж н е м п у т е ш е с т в и и» (стр. 326).— Известно три стиха Ду Му под таким названием. *На храме к западу от Реки...*— Имеется в виду храм в Сюньчжоу, к западу от реки Янцзы.

Стр. 327. *Винные флаги* — своеобразные флаги-вывески, которые на высоких шестах водружались над крышами винных лавок. *Четыреста восемьдесят вокруг // храмов Южных династий.*— Время правления Южных династий (IV—VI вв.) — время мощного распространения буддизма, строительства буддийских храмов. *Как много пагод и старых дворцов...*— То есть построек эпохи Южных династий. *Второй месяц года* — по лунному календарю, середина весны. *Небесная Лестница* — название созвездия. *Дворец Хуацин*, где государь Сюань-цзун жил с Ян Гуй-фэй, расположен в Шэньси. *Промчался в красной пыли гонец, // и радостна Ян Гуй-фэй. // И как догадаться, что это везут // всего лишь плоды личжи?* — Плоды личжи — любимое лакомство Ян Гуй-фэй. Эти плоды, растущие только на юге, можно есть лишь свежими, и чтобы быстрее доставить их в столицу, по приказу императора день и ночь скакали специальные гонцы.

Стр. 328. *Танцовщица чуская так легка, // хоть ставь ее на ладонь.*— Знаменитая фаворитка ханьского императора Чэн-ди — Чжао, «Летящая ласточка» (I в. до н. э.).— См. прим. к с. 259. *Синие дома* — увеселительные заведения.

Сад Цзиньгу (стр. 328).— Сад в Лояне, принадлежавший знаменитому богачу, сановнику Ши Чуну (249—300). *Со стебля падает лепесток, // как девушка из окна.*— Люй-чжу («Зеленая жемчужина»), наложница Ши Чуна выбросилась из окна, когда Ши Чун был обвинен в предательстве, в отместку за то, что не отдал Люй-чжу полководцу Сунь Тоу, влюбившемуся в нее.

Л и Ш а н - и н ь (813—858) — вероятно, единственный танский поэт, писавший о любви в классическом жанре ши. В его поэзии отразилась трудная судьба мелкого чиновника, мечты о счастье, тоска о любимой. Переводы А. Ахматовой печатаются по книге: «Китайская классическая поэзия (Эпоха Тан)». М., 1956.

«Л э ю ю а н ь» (стр. 329).— Парк на возвышенности возле города Чанъань, откуда открывается прекрасный вид на окрестности. *Гуюань* — то же, что Лэюань.

Стр. 329. *Ван-ди после смерти все чувства свои // В лесную кукушку вселил.*— См. прим. к с. 232.

Стр. 330. *А в южных морях под взором луны // Текут жемчуга по щеке.*— По поверью, слезы жителей южных морей в лунном свете превращаются в жемчужины. *На синих полях под лучом дневным // В прозрачном яшма дымке.*— Синие поля — горы в нынешней Шэньси, где добывалась превосходная яшма.

«П и ш у о д у м а х» (стр. 330).— Поэт мечтал возвратиться в Чанъань. *Верхний лес* — местность к западу от Чанъани. *Как поперек потока судьбы // пороги Туна и Цзяна.*— Тун — горный поток, Цзян — река Янцзы; через них пролегал путь в столицу, о которой мечтал поэт. *Юйлэй* — горы в Сычуани, где жил поэт.

Стр. 330. *Лишь когда шелкопряд умрет, // нити дум прекратятся. // Лишь когда фитиль догорит, // слезы свечи иссякнут.*— Традиционное поэтическое сравнение тоски с шелковыми нитями и догорающей свечой.

Стр. 331. *Волшебная жаба.*— Ее изображением украшалась курильница для благовоний (см. прим. к с. 324). *...яшмовый тигр поднимет ведро...*— Изображением тигра украшали колодезный ворот. *Цзя Гуна дочь не сводила глаз // с того, кто отцу служил.*—Дочь некоего Цзя Гуна подглядывала из-за занавески за помощником отца, который приходил к ним в гости. Потом они поженились. *За песни подушку свою Ми-фэй // оставила Цао Чжи.*— Цао Чжи — поэт (см. его стихи в наст. томе). Ми-фэй — по преданию, дочь мифического государя, утопившаяся в реке Ло и ставшая феей этой реки. Ей посвящена ода поэта Сун Юя (IV в. до н. э.) «Бессмертная фея» и произведение Цао Чжи «Фея реки Ло», где описана внезапно вспыхнувшая между ним и феей любовь. *Но сердце, вещее, как носорог...*— По старым поверьям, носорог, вернее, рог носорога, обладал чудесными свойствами — отвращал злых духов. *К себе по очереди вино // подтягивал острым крючком; // Над красным воском жарких свечей // угадывал сходство слов.*— Поэт перечисляет застольные игры. *...качусь, как в степи трава...*— То есть как перекати-поле.

Стр. 332. *Благовонное сердце* — то есть сердце женщины.

За ширмой из Матери Облаков...— То есть за слюдяной ширмой. Слюду китайцы называли «юньму», что букв. значит: «мать облаков».

В э й Ч ж у а н (836—910).— Перевод выполнен по изданию: «Цюань Тан ши».

«Ц з и н л и н с к и й п е й з а ж» (стр. 332).— *Цзинлин* — Нанкин. *Шесть династий* — V—VI вв. *Тайгэн* — место, где находились императорские дворцы.

«Н о ч н ы е м ы с л и в Ч ж а н т а е» (стр. 332).— *Чжантай* —башня, построенная в Чанъани в III в. до н. э. Во времена Вэй Чжуана так называлась улица и квартал Чанъани. *Многострунный сэ* — музыкальный инструмент, напоминающий гусли.

Стр. 333. *И в родные края // теперь не дойти письму, // Ведь осенний гусь // опять вернулся на юг.*— Дикий гусь — символ вести, письма.

Л и Ю й (937—978) — последний император династии Южная Тан. Был лишен трона и сослан на север, где до конца жизни тосковал по родным местам. Писал стихи жанра цы — стихи с неравной длиной строки, создававшиеся на определенные мелодии, был одним из первых поэтов этого жанра. Перевод выполнен по изданию: «Тан ши саньбай шоу», Сянган, [б. г.].

«В о л н ы о м ы в а ю т п е с о к» (стр. 333).— Стихи написаны в ссылке. *Жил на небе — живу на земле...*— То есть был императором, носил титул Сын Неба, а теперь — простой смертный.

О у я н С ю (1007—1072) — великий поэт эпохи Сун (X—XIII вв.). Был крупным государственным деятелем, историком, философом. Современники называли его «вторым Хань Юем» — ибо он продолжил «возврат к древности», начатый знаменитым предшественником. Как поэт, Оуян Сю удостаи-

вался сравнения с самим Ли Бо. Перевод выполнен по изданию: «Оуян Сю ши сюань». Пекин, 1957.

Стр. 334. *Лунмэнь* — горы в современной провинции Хэнань.

В а н А н ь - ш и (1021—1086) — крупнейший поэт и государственный деятель. Был первым министром империи и предводителем сторонников реформ в государственной системе Сун. Переводы выполнены по изданию: «Сун ши сюань чжу». Пекин, 1958.

«Н а ч а л ь н ы й д е н ь» (стр. 338).— То есть первый день года. *На месте старого на дверях // новогодний висит амулет.*— По обычаю, в Новый год по обеим сторонам ворот вешались дощечки-амулеты, которые в течение года должны были охранить дом от напастей, злых духов и т. д.

«П е с н ь о М и н - ф э й» (стр. 338).—*Мин-фэй* — придворное имя наложницы ханьского императора Юань-ди (правил в 48—33 гг. до н. э.) Ван Чжао-цзюнь, о которой существует предание, послужившее темой многих произведений. Юань-ди выбирал себе наложниц по портретам, которые рисовал с наложниц придворный художник. Женщины, добиваясь расположения императора, наперебой подкупали художника, чтобы он изобразил их возможно более привлекательными. Ван Чжао-цзюнь, гордая своей красотой, не унизилась до подкупа, и художник нарисовал ее уродливой. В то время вождь сюнну требовал у императора руки одной из его наложниц, и император по портрету выбрал самую уродливую — Чжао-цзюнь. Когда же перед отъездом Мин-фэй пришла поклониться своему повелителю, тот был ослеплен ее красотой, впал в отчаянье, но не смог нарушить данного слова. Художника казнили, а Мин-фэй уехала к вождю сюнну. О Ван Чжао-цзюнь написано знаменитое четверостишие Ли Бо.

Стр. 339. *Постигший красный и синий цвет...*— Так называли художников. *Войлочный город* — стойбище кочевников-сюнну. *А-цяо* — императрица Чэнь, супруга ханьского У-ди. Отличалась неуемной ревностью, за что император отселил ее во *дворец Длинных Ворот* (Чанмэньгун). Живя там в одиночестве, она обратилась к знаменитому поэту Сыма Сян-жу (179—117 гг. до н. э.), который в своей поэме с такой силой описал тоску покинутой императрицы, что У-ди, прочитав эту поэму, вернул Чэнь А-цяо свое расположение.

Стр. 340. *Мэйхуа* — дикая слива, расцветающая ранней весной, когда листья на ней еще не распустились.

С у Ш и (Су Дун-по) (1037—1101) — великий поэт. Служил при дворе, но выступил против реформ Ван Ань-ши и был удален в провинцию. Впоследствии получил чин правителя области, но, оклеветанный, предстал перед судом. Лишь по воле случая избежав смертной казни, поэт проводит годы не у дел. Только перед самой кончиной он вновь получает высокие чины. Поэзия Су Ши — одна из вершин китайской культуры. Преклоняясь перед Тао Юань-мином и великими танскими поэтами, Сун Дун-по сумел сказать свое слово почти во всех поэтических жанрах,— он писал ши, цы и прозопоэтические сочинения фу. Переводы публикуются по книге: С у Д у н - п о. Стихи, мелодии, поэмы. М., 1975. Новые переводы выполнены по изданию: «Дун-по цзи» — в серии «Сыбу бэйяо». Шанхай, 1936.

«В д е в я т н а д ц а т ы й д е н ь о д и н н а д ц а т о й л у н ы г о д а с и н ь ч о у р а с п р о щ а л с я с Ц з ы - ю у з а п а д н ы х в о р о т Ч ж э н ь ч ж о у» (стр. 340).— *Год синьчоу* — 1061 год. *Цзы-ю* — Су Цзы-ю, младший брат поэта. *Чжэньчжоу* — город неподалеку от родных мест Су Ши по дороге в столицу Кайфын, куда направлялся поэт.

Стр. 341. *Так уговорились в детстве мы...*— Братья Су договорились в детстве вспоминать друг о друге каждую дождливую ночь.

«Н о ч у ю н а г о р е Д е в я т и С в я т ы х» (стр. 341).— Су Ши в

примечании объясняет: «Девять святых — секта, руководимая Цзо Юаньфаном, Сюй Юем и Ван Се. Гора эта находится в Хэнчжоу».

Стр. 342. *Ханьские светила* — ученые эпохи Хань (III в. до н. э.— III в. н. э.), которые восстановили, отредактировали и прокомментировали древние конфуцианские книги, сожженные по приказу Цинь Ши-хуана.

«Вздыхаю, думая о плодах личжи» (стр. 343).— См. прим. к с. 327.

«Тени» (стр. 344).— Поэт под тенями подразумевает продажных дворцовых чиновников. *Яшмовый храм* — здесь, по-видимому, императорский дворец.

Стр. 344. *Гуаньинь* — бодхисаттва Авалокитешвара, одно из главных божеств китайского буддийского пантеона, богиня милосердия и чадоподательница. Обычно изображалась в белом одеянии. *Тяньчжу* — название горы, а также древнекитайское название Индии. *Белый Бог* — то есть бодхисаттва Гуаньинь.

Стр. 345. *Даньэр* — селение на острове Хайнань, где жил поэт.

Стр. 346. *Год дин чоу* — 1097 г. *Я и этот подросток — мой сын.*— Имеется в виду Су Го — третий сын поэта.

Стр. 347. *Старец с Восточного склона* — перевод литературного псевдонима Су Ши — Су Дун-по. *Ду Кан* — бог, покровитель виноторговцев. Ему и И Ди традиция приписывает изобретение вина.

«В начале осени посылаю Цзы-ю» (стр. 347).—*Цзы-ю.*— См. прим. к с. 340. *Теченье рек // подобно теченью лет.*— См. прим. к стихам Жуань Цзи, 32. *События древние // мы изучали вдвоем...*— Поэт вспоминает, как они с братом изучали классические книги, готовясь к государственным экзаменам.

Стр. 348. *В Снежном Жилище // по ночам только ветер и дождь...*— Снежным жилищем поэт называл свой дом в местечке Дунпо, стены которого он разрисовал падающими хлопьями снега.

Хуан Тин-цзянь (1045—1105) — виднейший практик и теоретик цзянсийской поэтической школы. Главное достоинство поэта он усматривал в умении творчески использовать опыт предшествующих мастеров слова. Перевод выполнен по изданию: «Сун ши сюань чжу». Пекин, 1958.

Стр. 350. *Беседка Юэян* — знаменитая постройка в горах Юэян на берегу озера Дунтинху. *Гора Цзюньшань* — находится посреди озера на острове. *Живым пробрался через Цюйтан...*— См. прим. к с. 272. *Цзяннань.*— См. прим. к с. 284.

Стр. 351. *Закручены волосы феи Сян-э // в двенадцать тугих узлов.*— Сян-э — фея реки Сян (см. вариант легенды в прим. к с. 237). По преданию, Э-хуан, жена Шуня, мифического правителя, после его смерти вместе с наложницей Нюй-ин утопилась в реке Сян и стала феей этой реки. Дух ее будто бы обитает на горе Цзюнь-шань, похожей по форме на двенадцать пучков волос. *Горы из серебра* — то есть волны.

Беседка Куайгэ — в провинции Цзянси, где служил поэт. *Чэн* — река Восточная Чэн. *Оплакал друга славный Бо-я // и красные струны порвал.*— Музыкант, порвавший струны на своем цине после смерти друга, которого он считал единственным достойным ценителем своего искусства. *Темнели от счастья глаза Жуань Цзи, // отведавшего вина.*— Жуань Цзи (III в.) — поэт (см. выше).

Мне нужно всего три котла зерна...— Ученик Конфуция Цзы-гун, чтобы прокормить мать, служил за три котла зерна.

Чжу Дунь-жу (ок. 1080 г.— ок. 1175 г.).— Его стихи высоко ценились современниками за тонкость и изящество. Перевод выполнен по изданию: «Сун ши сюань чжу».

Ли Цин-чжао (1084—1155?) — знаменитая поэтесса, прославилась стихами, в которых звучат мотивы разлуки и тоски. Печатается по книге: Ли Цин-чжао. Строфы из граненой яшмы. М., 1974.

Стр. 353. *И День поминовенья недалек...*— См. прим. к с. 261.

Стр. 356. *Удался Юаньсяо тих и светел...*— Юаньсяо — пятнадцатый день первого месяца, последний день Праздника весны. *А в мыслях — процветающий Чжунчжоу...*— Поэтесса думает о столице сунского Китая Кайфыне, расположенном в центральном районе страны — Чжунчжоу. В это время столица была захвачена кочевниками — чжурчжэнями.

Ян Вань-ли (1127—1206) — известный сунский поэт, которого относят к цзянсийской поэтической школе. Испытывал сильное влияние народных песен юэфу. Образцом в поэзии считал великого Ду Фу. Перевод выполнен по изданию: «Сун ши сюань чжу».

Стр. 357. *Храм Чистого Любвеобилия* — знаменитый буддийский храм около Шанхая. *Линь Цзы-фань* — друг поэта. *Сиху* — озеро в Ханчжоу.

Лу Ю (1125—1210) — великий поэт, один из самых замечательных поэтов эпохи Сун. Современник упадка династии, свидетель вторжения иноземцев, поэт тяжело переживал трагедию родины. Служебная карьера его не сложилась. В многочисленных патриотических стихах Лу Ю звучит боль за судьбу страны, яростное обличение виновников военных неудач. В тонких лирических стихах поэт сумел выразить тончайшие оттенки человеческой души, его поэзия, классическая и ясная, проникнута высокой гражданственностью. Переводы выполнены по изданию: «Лу Фан-вэн цюань цзи», «Сыбу бэйяо». Шанхай, 1936.

Стр. 358. *Давно на равнине // смута и стук мечей.*— Поэт говорит о том, что и земли на равнинах к северу от реки Янцзы уже почти полвека, как захвачены иноземцами. *Прекрасна в окне // луна над горами Эмэй...*— Горы Эмэй в провинции Сычуань славятся живописными видами.

Синь Ци-цзи (1140—1207) — крупнейший поэт, писавший в жанре цы. В его стихах часто звучат печальные мотивы, отражавшие бедственное положение страны. Сам поэт был мужественным патриотом, принимал участие в войне против чужестранцев. Печатается по книге: Синь Ци-цзи. Стихи. М., 1961.

Гао Кэ-гун (ок. 1280 г.) — поэт эпохи Юань (1280—1367) — времени правления Монгольской династии. Среди юаньских поэтов не было фигур выдающихся, могущих стать вровень со своими великими предшественниками. В XIII веке поэзия уступает ведущее место, которое она издавна занимала в китайской литературе, драме. Однако поэзия сумела сохранить высокие гуманистические традиции, выработанные веками, по-прежнему лучшие произведения проникнуты болью за судьбы родины, исполнены участия к тяжелой доле крестьян, по-прежнему тонка и благородна пейзажная лирика. Переводы выполнены по изданию: «Сун Юань Мин ши пинчжу дубэнь». Шанхай, 1937. Составление разделов поэзии эпох Юань и Мин выполнено Е. Серебряковым.

Чжао Мэн-фу (1254—1322).—«Могила полководца Юэ Фэя» (стр. 368).—Юэ Фэй—национальный герой Китая, знаменитый полководец, не знавший поражений в битвах с чжурчжэнями, которые напали на страну в эпоху Сун (XII в.). Боролся против сторонников мирных соглашений с захватчиками, за что в 1141 г. был умерщвлен в тюрьме по доносу царедворца Цинь Хуэя.

Цзе Си-сы (1274—1344).

Хуан Цзинь (1277—1357).

Ван Мянь (1287?—1359?).

Хуан Чжэнь-чэн (1288?—1362?).

Кэ Цзю-сы (1290?—1343?).

Ни Цзань (1301?—1374?).

Са Ду-цы (1308—?).

Гао Ци (1336—1374) — крупнейший поэт эпохи Мин. Династия *Мин* (1367—1644) установилась в Китае на гребне мощного народного восстания Красных войск, свергнувшего монгольское владычество. Многие поэты, относимые к минской эпохе, жили на рубеже двух династий, на их жизнь и творчество сильно повлияла обстановка, смуты, борьба между различными группировками восставших. Отсюда темы тоски и разочарования, многочисленные свидетельства народных бедствий, разрухи. Огромное воздействие на минскую поэзию оказали великие поэты эпохи Тан. Как считает академик В. М. Алексеев, поэты этого времени «продолжали славные традиции» и «выдвинули, в свою очередь, целый ряд славных имен». Переводы (кроме Гао Ци) выполнены по изданию: «Мин ши бецай». Шанхай, 1958. Жизнь Гао, пришедшаяся на время смуты,— крах империи Юань, восстание Красных войск, воцарение новой династии,— была трудной и недолгой. После короткого периода службы в столице новой империи Нанкине поэт вернулся на родину, в провинцию Цзянсу, и был вскоре казнен по обвинению в заговоре против императора. Поэтическое наследие Гао Ци обширно и многообразно. Перевод выполнен по изданию: «Гао Цин-цю ши цзи», «Сыбу бэйяо». Шанхай, 1936.

«Слушаю шум дождя: думаю о цветах в родном саду» (стр. 373).— Стихи написаны в Нанкине, где поэт очень тосковал по дому.

«Ночью сплю на западном крыльце храма Небесных Просторов» (стр. 374).— Храм в Нанкине, где жил Гао Ци, когда служил в Комиссии по составлению «Истории династии Юань».

Стр. 375. *Восточный дом.*— Так поэт называл свой дом в деревне Высоких Деревьев, к востоку от Сучжоу. *Уси* — город на берегу Большого канала, по которому Гао Ци плыл в Нанкин.

Стр. 376. *В «карете лаковой» езжу весной...*— Коляска, выкрашенная черным лаком, была символом праздного времяпрепровождения. *Мост Фэнцяо* — Кленовый мост через Большой канал. Сам мост и монастырь рядом на берегу описаны в стихах Чжан Цзи и Лу Ю.

Гун Син-чжи (ок. 1350 г.).

Шао Сян-чжэнь (1309—1401).

Лань Жэнь (ок. 1354 г.).

Ху Чэн-лун (ум. ок. 1367 г.).

Линь Хун (ок. 1387 г.).

Лю Цю (1392—1443).

Юй Цянь (1394—1457).

Цянь Бин-дэн (ок. 1400 г.).

Сюй Чжэнь-цин (1479—1511).

Ян Шэнь (1488—1589).

Ци Цзи-гуан (1528—1587).

Ван Чжи-дэн (1535—1612).

Ли Сянь-фан (ок. 1561 г.).

Тан Сянь-цзу (1550—1617).

Чжан Ган-сунь (1619—?).

Чэнь Цзы-лун (1608—1647).

И. Смирнов, Б. Рифтин

КОРЕЯ

«Песня об иволгах» (стр. 403).— По преданию, у Юри-вана (см. вступ. статью, с. 387) было две жены: одна — уроженка Когурё, другая — из страны Хань. Они постоянно ссорились. В конце концов вторая жена вынуждена была покинуть дом. Юри-ван отправился в погоню, но она не захотела вернуться. Тогда Юри-ван сел под деревом отдохнуть и, увидев иволг, сложил эту песню.

«Взываем к черепахе» (стр. 403) — песня, бытовавшая в Карак, племенном союзе на юге Корейского полуострова (I—VI вв.). Сохранилась в записи на ханмуне. В сочинении Ирёна эта песня связывается с актом создания «государства Карак» и установлением ритуала встречи правителя: подданные должны были рыть землю на вершине Квиджибон («Горы черепахи»), брать ее в горсти и, исполняя танец, петь песню.

«Генералу Юй Чжун-вэню» (стр. 403).— Когда трехсоттысячное войско из государства Суй (Китай) под началом Юй Чжун-вэня, вторгшееся в Когурё в 612 году, подошло.к Пхеньяну уже изрядно измотанное, выдающийся полководец Ыльчи Мундок направил суйскому военачальнику это стихотворное послание (на ханмуне) и начал победоносное наступление. *Уменье по звездам читать... Уменье войска по земле вести...*— В древности в Китае и Корее полководцы, обращаясь обычно к помощи астрологов и геомантов, строили стратегические планы в зависимости от положения светил на небе, а тактические действия — от рельефа поверхности земли.

Астролог Юн (ок. 579—632) — астролог в Силла, создавший хянга, чтобы сгинула комета — небесное знамение, грозящее вторжением с Японских островов.

Стр. 404. *Город, над коим гандхарвы вечно кружат.*— То есть места божественной красоты; здесь: горы Кымгансан («Алмазные»), куда отправлялись хвараны. Гандхарвы (индийск.) — небесные музыканты, услаждающие богов. *...японское войско войной пошло.*— Имеются в виду японские войска, которые не раз использовали Пэкче в борьбе против Силла. *Хваран* — особый, весьма влиятельный социальный институт в эпоху Объединенного Силла, ведавший воспитанием юношества. Хвараны-наставники, объединявшие вокруг себя десятки (иногда до двухсот — трехсот) учеников, были призваны следить за физическим и нравственным воспитанием ученика, воинской подготовкой, образованием, в том числе усвоением «основ того, как управлять государством»; отстаивать интересы ученика в случае несправедливости, допущенной кем-либо из власть имущих по отношению к ученику, и т. д. Хваран-наставник мог претендовать на преданность ученика только при условии соблюдения определенных нравственных норм, которые определялись «кодексом хваранов». В противном случае ученик мог покинуть наставника. Из хваранов вышли многие полководцы и государственные деятели. Хвараны выполняли и шаманские функции; ведали государственным ритуалом; были хранителями и творцами местной поэтической традиции. *...звезда, подметающая путь* — комета, появление которой считалось дурным знамением.

Тыго (конец VII в.) — хваран в Силла, ученик Чукчи, о тоске по которому он сложил хянга.

Чукчи — знаменитый хваран, много сделавший для объединения племенных союзов южнокорейских племен хань в сильное государство. *В переулке, где разрослась полынь?* — Образ убогого захолустья вдали от столицы; здесь поэт дождался вести — назначения на должность. Этот образ встречается и в китайской поэзии.

Синчхун (VIII в.) — просвещенный государственный муж при Хесон-ване (737—741). Однажды правитель под туей, росшей в дворцовом

саду, пообещал Синчхуну всегда помнить о нем. Но вскоре Хесон-ван забыл ввести его имя в список для награды, и тот, обидевшись, сочинил эту хянга (две последние строки песни утеряны), как сообщается в сочинении Ирёна. Следовательно, поводом к ее созданию было нарушение нравственных норм государем, а целью — стремление восстановить порядок в мире. «Песня о туе» — своего рода зеркальная параллель «Песне о хваране Кипха» (см. ниже).

Вольмён (VIII в.).— В юности был хвараном, впоследствии стал монахом и принадлежал к секте «Чистая земля», почитавшей будду Амитабу. Его хянга «Молитва о покойной сестре» была включена в состав погребального ритуала. Сохранились две его хянга. Вторая — «Разбрасываю цветы» входила в состав государственного ритуала, исполнялась во время моления о предотвращении государственного бедствия.

Стр. 405. *Мир Амитабы* — «Чистая земля Амитабы», мыслился в простонародном буддизме как рай где-то на западе. Амитаба — одно из прозваний Будды — «Будда Просветленный». *...путь до конца пройду!* — Здесь: «...проживу остаток жизни, верно служа будде Амитабе».

Чхундам (ок. 742—765 гг.) — силлаский монах, написавший хянга о *хваране Кипха*. Сведений о Кипха не сохранилось; видимо, хваран-наставник, в «свите»-школе которого состоял в юности Чхундам. Хянга, как и «Песня о хваране Чукчи», отражает идеальный вариант отношений между учеником-хвараном и его наставником. *Река Иро.*— Местонахождение неизвестно.

«Песня Чхоёна» (стр. 405).— Входит в состав сюжетного повествования о Чхоёне, помещенного в сочинении Ирёна под 879 годом. *Чхоён* — должностное лицо в Силла и, видимо, шаман; с помощью песни он победил духа болезни, завладевшего его женой. Дух болезни поклялся впредь не посещать те дома, где на воротах будут изображения Чхоёна.

Кюнё.— См. вступ. статью, с. 388.

Перерождения прежние.— Живые существа проходят через цепь рождений, возрождаясь то в одном, то в другом облике в зависимости от поступков, совершенных в предыдущих перерождениях. Достижение просветления, состояния нирваны означало выход из цепи перерождений. Состояние просветления было достигнуто Буддой в итоге длительного самосовершенствования и подвигов самоотречения, совершенных им в прежних рождениях, до своего явления миру в человеческом виде как Гаутама из рода Сакья. *Все будды.*— Достигший просветления становился буддой; будд было бесчисленное множество, и последним из них был Будда Гаутама.

Колесо Закона.— Согласно буддийским представлениям, процесс бытия подобен безначальному вращению колеса — Колеса Закона, Колеса Дхармы, Колеса Бытия. Цель буддиста — выйти из круговорота бытия, которое есть страдание, и достичь состояния нирваны. В данном случае поворот Колеса Закона — шаг на пути к просветлению, к освобождению от бытия-страдания.

Чхве Чхивон.— См. вступ. статью, с. 390[1].

«Накануне возвращения в Хэдон...» (стр. 407).— Пожалуй, одно из самых радостных по настрою стихотворений Чхве Чхивона. Угадывая за черной точкой летящей птицы «заставы родины», измученный долгими странствиями поэт преображается: тоска, что старит, наконец покидает его, и на лице появляется улыбка. *Хэдон* («Страна, что к востоку от моря») — старинное китайское название Кореи.

---

[1] При написании примечаний к произведениям Чхве Чхивона в основу были положены пояснения к подстрочникам Л. Ждановой.

«И в а у с к и т а «В о р о т а у м о р я» (стр. 407).— В стихотворении речь идет о разлуке с красавицей на окраине Гуанлина (город, находившийся на территории современной китайской провинции Цзянсу) и неожиданной встрече с ней на берегу моря. Поэт не решается отломить ветку у ивы, стоящей у жилища буддийских монахов, в знак прощания, помятуя о «великой печальнице» Гуаньинь. Согласно буддийской легенде, эта бодхисаттва на лотосе переплывает море. В иконографии рядом с ней обычно изображается ваза с веткой ивы. Вода, разбрызгиваемая веткой ивы, будто бы обладала очищающим действием. *...вдали от всех я, // никто мне не рад.*— Покинувший из-за нападок и интриг двор поэт долгое время был правителем одного из отдаленных округов Кореи.

Стр. 408. *Чанъань* запустела во время восстания Хуан Чао в 881 г. *Беседка Лимгён на реке Хвансан* находится на юге Кореи. *Шаньян* — уезд в нынешней Хэнани (Китай). На его территории в древности находилось царство *Чу*. *Жаочжоу* — название округа в провинции Цзянси (Китай).

Стр. 409. *Храм «Вершина в облаках»* — символизирует восхождение в мир обитания буддийских монахов. *Как на ладони... в груди моей заключены.*— Здесь поэт описывает восприятие и переживание открывшегося человеку мира как всей вселенной, способность и зрением и сердцем объять весь мир. *Заря и дымка* — синоним понятия «горы и воды» в дальневосточной символике. Возвращение из мира «зари и дымки» означает уход из чистого мира природы в «пыльную клетку», то есть мир людей, с его страданиями. *Каясан* — горы в провинции Кёнсандо, где на закате жизни поэт укрылся во время междоусобиц, которые привели к смене династий.

Стр. 410. *Вошел в горы.*— То есть оставил службу и поселился в уединенном месте в горах.

Ли — мера длины, равная в Корее 393 м.

П а к И н н я н (псевдоним — Сохва; ?—1096) — один из самых блистательных литераторов после Чхве Чхивона. Сборник стихов его и поэта Ким Гына, написанных на ханмуне, был даже издан в Китае.

Стр. 410. *Монастырь Гуйшаньсы* — буддийский монастырь в Сычжоу (в провинции Анхоэй, Китай), который посетил поэт как посланник корёского двора.

К и м Х в а н в о н (1045—1117) — известен больше под прозванием «Отшельник с Восточной горы» (Тонсан-коса), был мастером пятисловных стихов «гуши».

Стр. 411. *Красные врата.*— Перед домом дворянина (янбана), прославившегося своими добродетелями с точки зрения конфуцианства, ставились арки красного цвета. *Остров Пэндао* — то же, что Пэнлай (см. прим. к с. 423, а также поэму Бо Цзюй-и «Вечная печаль», с. 310—311: «...гора, где бессмертных приют».). *Лочэн* — другое название города Лояна (см. прим. к с. 227). *Нефритовый царь* — в китайской мифологии верховный небесный владыка. *Ао* — мифическая гигантская морская черепаха. По преданию, на ней стоят три священных горы-острова. *Драконья упряжка.*— Согласно китайскому преданию, солнце совершает свой каждодневный путь в колеснице, запряженной шестью драконами. *...на облако пыли земной.*— Подразумевается людской мир, мир суеты.

Ч о н Д ж и с а н.— См. вступ. статью, с. 391.

«Р е к а Т э д о н г а н» (стр. 411) — лучшее стихотворение поэта о разлуке; известно также под названием «Отправляя в Нампхо человека». *Нампхо* — гавань в устье Тэдонган, где стоит и Пхеньян, откуда поэт провожал своего друга или покровителя.

Стр. 412. *Павильон Чанвонджон* был построен по велению корёского государя Мун-вана в 1056 г. с целью увековечить процветание династии; расположен в уезде Кэпхун (провинция Кёнгидо).

Западная столица — старинное название Пхеньяна. *«Грушевый сад».*— См. прим. к с. 309.

Юн Они (Кымган-коса; ?—1149) — последователь Пак Инняна. Согласно преданию, записанному в «Истории Корё» («Корё са», середина XV в.), Юн Они вместе с подвижником Квансыном изучал буддийский канон. Квансын построил небольшой скит, в котором они пообещали друг другу молиться за того, кто умрет раньше. Узнав о смерти Квансына, Юн Они отправился к скиту и написал на стене это стихотворение на ханмуне, в первых четырех строках которого он говорит о друге, а в остальных — о раздумьях о своей жизни (поскольку он еще «в дороге») в связи со смертью друга. Затем он остался в скиту и умер. Стихотворение послужило прототипом для сиджо Ли Джонбо (см. с. 463).

«Долина журавлей в горах Чирисан» (стр. 413).— Произведение Ли Инно (см. вступ. статью, с. 391) написано по мотивам «Персикового источника» Тао Юань-мина и является программным для «Литературы бамбуковых рощ». *Турюсан* — старое название гор Чирисан, южных отрогов хребта Собэк на юге Кореи. *Гуйцзи* — название горы и области в провинции Цзянсу и Чжэцзян (Китай). *Журавлиная долина* (Чхонхактон) — сказочная долина небожителей, будто бы расположенная в горах Чирисан. *Три священные вершины* — три горы-острова в китайской мифологии: Пэнлай (или Пэндао), Фанчжан и Инчжоу; на них будто бы жили бессмертные. *Затерялись... древние знаки.*— Сохранилось предание, будто на стене монастыря Сангеса в горах Чирисан вырезал иероглифы сам Чхве Чхивон. *Источник Блаженных.*— Здесь: «Персиковый источник», утопическая страна благоденствия.

Лим Чхун (см. вступ. статью, с. 391) — поэт-отшельник того же направления, что и Ли Инно.

Стр. 413. *Пустынный храм* — перевод китайского названия буддийской кумирни, первый иероглиф которого («сяо») совпадает с фамильным знаком императора Сяо Яна (храмовое имя — У-ди; правил в 502—542 гг.), основателя династии Лян и известного покровителя буддизма. *Врата пустоты* — состояние нирваны, которого достигают постигшие учение Будды.

Ким Гыкки (Нобон; конец XII — начало XIII в.) — поэт-лирик, близкий по духу к обществу «Семеро мудрых из Страны к востоку от моря» (см. вступ. статью, с. 391).

Стр. 414. *Ыльмильдэ* — название террасы и построенного на ней впервые еще в III в. павильона на одной из вершин Моранбон в Пхеньяне. *Кого журавли вознесли в небеса...*— Поэт подразумевает мифического основателя государства Древний Чосон — Тангуна, сына небожителя и медведицы, превратившейся в красивую женщину.

Ли Гюбо.— См. вступ. статью, с. 391—392.

Стр. 415. *...беснуются наши враги!* — Имеется в виду вторжение киданей в 1216 г., которые хотели обосноваться в землях Корё, будучи потеснены монгольскими войсками. *Мо-цзы* (479—400 гг. до н. э.) — китайский мыслитель и политический деятель, выступивший против многих постулатов Конфуция. *...не закопчен дымоход?* — То есть нет тепла в нетопленном дымоходе, пролагавшемся под полом в корейском доме для обогрева. *Четыре моря* — моря, которые будто бы окружали Китай.

Стр. 416. *Ли Бо* принадлежит стихотворение «Поднося вино», которое вызвало множество подражаний и у корейских поэтов, в частности, у Ли Гюбо и Чон Чхоля. *Рассветная роса* — в поэзии Дальнего Востока символизирует быстротечность человеческой жизни, образ связан с буддизмом. *Лю Бо-лунь* (настоящее имя — Лю Лин; III—IV вв.) — китайский поэт, один из «Семи мудрецов из бамбуковой рощи», посвятивший много стихов вину.

Стр. 417. *Тонмён-ван* — основатель государства Когурё на севере Корейского полуострова в 37 г. до н. э. Посвященная ему поэма Ли Гюбо написана в 1193 г. *«Удивительные истории»* — один из жанров средневековой дальневосточной словесности. *Лю Вэнь* — мать Лю Бана (храмовое имя — Гао-цзу; 206—194 гг. до н. э.). *И славного сына // в должный срок родила.*— Имеется в виду Лю Бан; его рождению, согласно преданиям, предшествовали небесные знамения. *Красный Государь* (Чиди) — божество Юга, огня, потомком которого считался Лю Бан. *Ши-цзу* (или Гуан-у-ди) — храмовое имя Лю Сю, основателя династии Восточная (Поздняя) Хань, возродившего династию Ранняя Хань в 25 г. н. э.; при нем столица из Чанъани была перенесена в Лоян. *Чифу* — заклинательная дщица у даосов, на которой были нанесены кабалистические начертания, вроде повелений разным духам. Лю Сю до того, как занял престол, в местечке Гуаньчжун будто бы обнаружил чудесную дщицу, которая предвещала ему трон. *Желтые повязки.*— Имеется в виду восстание, которое привело в 184—189 гг. династию Хань к падению и разделению страны на три государства.

Ким Гу (Чипхо; 1211—1278) — дипломат и автор пейзажных стихов на ханмуне. Стихотворение «Опадает грушевый цвет» послужило корейскому поэту Ли Джонбо основой для написания сиджо на ту же тему.

У Тхак (Ёктон; 1263—1343) — корёский ученый, познакомивший корейцев с трудами сунских конфуцианцев; ему приписываются первые сиджо, в которых речь идет о быстротечности человеческой жизни.

Ли Джехён (Икчэ, Ёгон; 1287—1367) — писатель, оставивший сборник произведений «пхэсоль», известен также как зачинатель стихов на ханмуне в жанре «малых юэфу». В этом жанре написаны его стихи «Сверчок» и «Любовь отшельника».

«На тему одной песни Корё» (стр. 419).— Это стихотворение на ханмуне было написано Ли Джехёном на мотив одной из «песен Корё». *Рыжие воробьи.*— Так называли сборщиков налогов, которые обирали крестьян до нитки.

Ли Сэк (Могын; 1328—1396) — сын Ли Гока; занимал высокие посты при корёском дворе. После воцарения новой династии в 1392 году стал отшельником. По легенде, он будто бы утопился в реке в знак бесконечной преданности прежней династии.

«Долину всю снегами замело...» (стр. 420).— В этом сиджо отражены тревога и беспокойство старой корёской аристократии, не сумевшей противостоять приходу новой династии Ли. *Цветы сливы* — здесь: символ совершенного человека (по конфуцианским понятиям).

Ким Гуён (Чхогякчэ; 1338—1384) — поэт, ведший одно время жизнь скитальца, но потом ставший именитым сановником.

Стр. 420. *Учан* — главный город провинции Хубэй (Китай), бывший в средние века крупным торговым центром. *Башня Желтого Журавля.*— См. прим. к с. 247 (Башня Желтого Аиста). *Дабешань* — в переводе «Гора великой разлуки.

Чон Со (Гваджон) — крупный чиновник, служивший при государе Инджоне (1123—1146) и пользовавшийся его расположением. Был удален из столицы по восшествии на престол нового государя Ыйджона (1147—1170). Ыйджон мотивировал ссылку давлением на него приближенных и обещал в скором времени вернуть Чон Со, однако свое обещание выполнять не торопился. Прождав долгое время напрасно, Чон Со излил свои чувства в песне.

Стр. 420. *Рассветная звезда* — Венера.

Син — мать государственного мужа, ученого и поэта Чон Монджу, жившая в середине XIV века; подобно матери Мэн-цзы, отдала все свои душевные силы воспитанию сына. Сохранилось это ее единственное сиджо.

Ч о н М о н д ж у.— См. вступ. статью, с. 394. Когда Ли Сонге, основатель династии Ли, шел к захвату трона, Чон Монджу возглавил оппозиционную группировку конфуцианских ученых. Ли Сонге пытался склонить Чон Монджу на свою сторону, тот остался непреклонным. Тогда Чон Монджу и сочинил сиджо о непоколебимой верности старой династии. Вскоре сторонники Ли Сонге ночью убили поэта в столичном городе Сондо (ныне Кэсон).

Л и Д ж о н о (1341—1371) — крупный сановник, вынужденный из-за придворных интриг вести затворнический образ жизни. В его сиджо обыгрываются два китайских поэтических образа: «бесстрастные облака», не имеющие отношения к миру суеты (ср. у Тао Юань-мина: «облака бесстрастно покидают ущелья...»), и «облака, застилающие солнце» — дурные чиновники, окружающие государя (ср. у Ли Бо: «плывущие облака могут затмить солнце...»). В данном случае — намек на ситуацию при государе Конмин-ване (1352—1374), приблизившем к себе буддийского монаха Синдона.

Ч о н Д о д ж о н (см. вступ. статью, с. 393) — политический деятель и ученый, ставший сподвижником Ли Сонге в борьбе против последнего государя Корё.

Стр. 421. *Сонин* [гё] («Мост небожителей») — название моста в Кэсоне. *Чахадон* — селение в окрестности Кэсона. *Как расцвело и как погибло царство.*— Подразумевается государство Корё (начало X в.— 1392 г.).

«П е с н ь о н о в о й с т о л и ц е» (стр. 422).— Приписывается Чон Доджону. В ней воспевается новая столица Хансон (ныне Сеул), перенесенная из Сондо (Кэсона) с воцарением династии Ли в 1392 году. *Янджу* — название Сеула с 904 по 1067 год. *Ах, тарондари!* — Припев, состоящий из звукоподражания. *Ханган* — река, на которой стоит Сеул. *Самгаксан* («Трехрогая гора») — гора, у подножия которой расположена столица.

К и л ь Д ж э (Яын, Кымо-санин; 1353—1419) — крупный ученый, адепт сунского конфуцианства, поэт, поменявший службу в столице на уединенную жизнь на лоне природы.

Стр. 422. *К развалинам древней столицы...*— Речь идет о Сондо, пришедшей в запустение в связи с переносом столицы в Хансон. *Оджыбо!* — Междометие при восклицании. *Времена процветанья в пору туманной луны...*— В переносном смысле: правление совершенномудрого государя.

В о н Ч х о н с о к (Унгок; конец XIV — начало XV в.) — поэт, который после того, как группировка Ли Сонге захватила власть, ушел со службы, поселился в горах Чхиаксан и жил крестьянским трудом.

Стр. 422. *Кто сказал, что бамбук...*— Согласно традиции, идущей от «Бесед и суждений» («Луньюй) Конфуция, «только сосна и туя не вянут, когда год холоден». Сосна и туя — словно верные подданные, сохраняющие неизменность своим убеждениям в любой ситуации. Автор, приверженец династии Корё, не видит преданных государю людей: все «сосны и туи» повывелись, остается уповать на бамбук. Возможно, Вон Чхонсок имеет в виду себя.

М э н С а с о н.— См. вступ. статью, с. 395.

К и м Д ж о н с о (см. вступ. статью, с. 394) — крупный государственный деятель, прозванный «Большим Тигром» за освобождение северо-восточных окраин Кореи от чжурчжэньских племен. Это стихотворение он будто бы сочинил, когда поднялся на гору Пэктусан на границе Кореи и Китая. В 1453 году, став первым министром, он всячески поддерживал законного малолетнего государя Танджона, за что его убили сторонники принца Суян-тэгуна (будущего государя Седжо).

П а к П х э н н ё н (Чхвигымхон; ок. 1417—1456 гг.) — поэт, каллиграф и ученый; один из «шести казненных сановников», поддерживавших Танджона в борьбе за престол. В сиджо он пишет о своей преданности государю и высмеивает тех, кто, надев на себя маску сподвижников Танджона, на деле выступал на стороне принца Суян-тэгуна.

С о н С а м м у н (Мэджукхон; 1418—1456) — поэт и ученый, сделавший много для создания корейского звукового алфавита, один из «шести казненных сановников». В сиджо он говорит о своей верности Танджону.

Стр. 423. *Пэнлай.*— Здесь имеются в виду горы Кымгансан на востоке страны.

Ю Ы н б у (Пённян; ?—1456) — поэт, один из «шести казненных сановников». В сиджо скорбит о гибели многих талантливых людей своего времени, с которыми расправился Суян-тэгун.

В о н Х о (Мухан; ?—1456) — поэт, сановник; оставив службу, сделался отшельником. Сиджо написано на смерть Танджона, убитого узурпатором Седжо.

С о Г о д ж о н.— См. вступ. статью, с. 399.

К и м Д ж о н д ж и к (Чомпхильджэ; 1431—1492) — видный ученый и поэт, писавший на ханмуне.

Стр. 424. *Хван Чхан* — отважный юноша-хваран из Силла, который на поле боя с войсками Пэкче исполнил танец с мечом, повергнув наземь пэкческого командующего. *Ча* — мера длины, равная 30,3 см.

Стр. 425. *Ван Цзи* — юноша из древнекитайского царства Лу, павший во время битвы в 484 г. до н. э. с войсками царства Ци; он ворвался на коне на поле боя и ввел в смятение противника.

К и м С и с ы п (см. вступ. статью, с. 401).— Был не только выдающимся прозаиком, зачинателем жанра новеллы в Корее, но и талантливым поэтом. «Эпилог» помещен в конце новеллы «На пиру во дворце дракона» — в сборнике Ким Сисыпа «Новые рассказы, услышанные на горе Золотой Черепахи»; см. русский перевод: М., 1972.

Стр. 426. *Бинчжоуский меч.*— Этот меч будто бы принадлежал китайскому военачальнику Ли Гуан-би (VIII в.). При защите селения Бинчжоу (ныне Чжэндин) от тюркских кочевников он с быстротой молнии поражал их своим мечом, действуя им как «бинчжоускими ножницами», считающимися особенно острыми. *...пасть драконью раскрыл, // Добыл жемчужину...*— По корейскому преданию, связанному с буддийской легендой, в Алмазных горах у водопада Девяти Драконов (Курёнъён) живет царь драконов, у которого в пасти волшебная жемчужина, добытая им в брюхе огромной рыбы и исполняющая любое желание своего владельца. *Дятел-ттактагури.*— Корейское название, сопровождающее русское, по-видимому, происходит от звукоподражания.

Н а м И.— См. вступ. статью, с. 401.

Стр. 427. *Юэ и хо* — здесь: южные и северные соседи Кореи — японцы и чжурчжэни, совершавшие на нее набеги. В этом сиджо прославленного полководца, казненного в двадцать восемь лет по навету завистников, отражены его думы о судьбах родины.

«О т п р а в л я я с ь в п о х о д н а с е в е р» (стр. 427). Стихотворение посвящено походу против северных кочевых племен, предпринятому в 1460 году корейским двором. *Туманган* (Тумыньцзян) — большая река, по которой проходит граница между Кореей, Китаем и СССР.

В о л ь с а н - т э г у н (титул; настоящее имя Ли Джон; 1454—1488) — старший брат государя Сонджона, проводивший жизнь среди рек и гор.

Л и Х ё н б о (Нонам; 1467—1555) — сановник, отказавшийся от высоких постов при дворе; представитель пейзажной поэзии «рек и озер». Ему приписывается перевод с ханмуна и поэтическая обработка поэмы «Песня рыбака», созданной неизвестным автором начала XIV века. Эта же поэма вдохновила затем Юн Сондо.

П а к Ы н (Ынчхвихон; 1479—1504) — талантливейший литератор своего времени, ученый; за прямые высказывания против находившейся в фаворе группировки был оклеветан и убит в ссылке.

Стр. 428. *Монастырь Поннёнса* («Храм счастливого благоденствия») — старинный буддийский монастырь (эпоха Силла) в Кэсоне (ныне не сохранился).

Со Гёндок (Покчэ, Хвадам; 1489—1546) — видный философ, предтеча течения «Сирхак»; поэт, писавший на ханмуне.

Ан Джон (Чукчхан; 1494—?) — поэт и художник.

Ли Хван (Тхвеге; 1501—1570) — крупнейший философ-конфуцианец, незаурядный поэт. Цикл сиджо «Двенадцать напевов Тосана» написан в селении Тосан близ Андона (провинция Северная Кёнсандо), где он основал первую в Корее частную народную школу. Одна половина стихов цикла посвящена раздумьям о природе вещей и естественном законе («Ли») в духе учения Чжу Си, другая — размышлениям о воспитании.

«Горы каждой весною цветут...» (стр. 429).— В этом сиджо развивается мысль Чжу Си о законе естественности, предопределенном Небом и присущем природе и человеку. Понятие естественности восходит к даосскому учению о «недеянии».

«Я на время верный путь оставил...» (стр. 430).— Здесь выражена решимость поэта следовать учению Чжу Си.

«Пусть гром разрушит скал гряду...» (стр. 430).— Здесь воплощена центральная идея всего цикла: хотя очевидна бесполезность борьбы придворных группировок, но ничего не предпринимается для ее устранения.

Хон Сом (Инджэ; 1504—1585) — крупный сановник, литератор.

Хван Джини (см. вступ. статью, с. 397) — поэтесса, вошедшая в историю корейской поэзии под именем «Бессмертной».

«О синий мой ручей в горах зеленых!..» (стр. 431).— С этим сиджо связано следующее предание. Один отпрыск царствующего дома, по прозванию Пёкке, «Синий ручей», хвастался тем, что ему не страшны женские чары. Тогда Хван Джини, известная под литературным именем Мёнволь («Ясная луна»), решила искусить его. Через друзей она посоветовала ему поехать в Кэсон полюбоваться лунным пейзажем. Сама же отправилась вослед. И когда он стоял, зачарованный луной, на террасе Манвольдэ, вдруг до него донеслись слова и мелодия сиджо. Вскоре перед ним предстала Хван Джини. Неожиданное появление красавицы тронуло его сердце. Сиджо построено на игре имен «Синий ручей» и «Ясная луна».

Стр. 431. *Пагён* — красивейший водопад близ Кэсона. *Киль* — мера длины, равная среднему росту человека. *Небесная Река* — Млечный Путь. *Лушань* — гора в провинции Цзянси (Китай), в окрестностях которой низвергается необыкновенной красоты водопад. *Жернов Небесный* (Чхонмасан) — название горы возле Кэсона.

Ли Тхэк (1509—1573).

Ли Хянгым (Кесэн, Мэчхан; 1513—1550) — известная поэтесса, оставившая около семидесяти стихотворений на ханмуне.

Ян Саон (Поннэ; 1517—1584) — поэт, каллиграф, славившийся огромной эрудицией и добрыми делами (как уездный правитель).

Ли Хубэк (Чхоннён-коса; 1520—1578).

Квон Хомун (Сонам; 1532—1587) — поэт, всю жизнь проживший в горах.

Стр. 433. *Каягым* — корейский двенадцатиструнный щипковый инструмент. *Комунго* — популярный корейский шестиструнный инструмент, считающийся «королем ста музыкальных инструментов».

Сон Хон (Уге; 1535—1598) — поэт и ученый-конфуцианец, не имевший чинов и живший в селении Уге (к северу от Сеула). Официальное признание получил посмертно. В 1682 году были изданы его избранные труды.

Ли И.— См. вступ. статью, с. 396.

«Девять излучин Косана» (стр. 434) — цикл из десяти сиджо (включая пролог), написанный Ли И в 1577 году. В нем воспеты достопримечательности в окрестностях извилистой речки близ Хэджу на западном побережье Кореи. *Уи* — название горы в провинции Фуцзянь (Китай), родине знаменитого мыслителя *Чжу Си* (1130—1200), который создал стихи «Девять излучин Уи». *Кванак* («Венценосный пик») — место первой излучины. *Чодэ* («Площадка для ужения рыбы») — место шестой излучины. *Пхунам* («Кленовый утес») — место седьмой излучины.

Ли Окпон (?—1592) — дочь правителя уезда, ставшая знаменитой поэтессой, слагавшей стихи на ханмуне.

«Две красавицы» (стр. 435).— См. прим. к с. 237, 351. *Император-супруг* (Шунь) умер у горы *Цанъушань*, а похоронен будто бы в храме *Цзюимяо*, недалеко от реки *Сяншуй*.

Чон Чхоль.— См. вступ. статью, с. 396. Ряд сиджо и поэм-каса великого поэта были впервые переведены Анной Ахматовой (см. сб.: «Корейская классическая поэзия». М., ГИХЛ, 1956; изд. 2-е, 1958). «Сонган каса», первый в Корее авторский сборник стихов на корейском языке, полностью вышел в переводе А. Л. Жовтиса под названием «Одинокий журавль» (М., «Художественная литература», 1975).

«Два каменных будды...» (стр. 436).— В период господства буддизма в Корее (VI—XIX вв.) во многих местах были поставлены каменные изваяния Будды и буддийских святых.

«Ох, рубят, безжалостно рубят...» (стр. 436).— Здесь поэт под «высокими соснами», пригодными на стропила, подразумевает опору государства («тронный покой») — способных чиновников, подвергшихся гонениям в 1545 году.

«Журавль всегда парил под облаками...» (стр. 436).— *Журавль* — священная птица, на которой возносятся на небо небожители; символ уединения и долголетия. В образе одинокого журавля поэт изображает себя, а под земным миром подразумевает мир, из которого был изгнан, то есть жизнь корейского двора, раздираемого междоусобной борьбой феодальных группировок.

Стр. 437. *И молча мне на небо указал.*— Речь идет о даосском отшельнике, цель жизни которого достигнуть на земле бессмертия и вознестись на небо.

«Любуюсь яшмовым старинным кубком...» (стр. 437).— Поэт, возвратившись в столицу в разгар борьбы различных придворных группировок, вспоминает, как десять лет назад, в 1567 году, государь преподнес ему кубок с вином во время избрания в члены придворной академии Октан («Яшмовый зал»).

Стр. 438. *Приятель Ко.*— Имеется в виду Ко Гёнмён (Чебон; 1533—1592), корейский ученый и поэт, друживший с Чон Чхолем. *Южный холм* (Намсан) — название горы недалеко от Кёнджу. *Журавль уже куда-то улетел...*— Эта строка навеяна стихотворением Ли Бо «Поднимаюсь на террасу Фениксов в Цзиньлине». Чон Чхоль с грустью покидает место ссылки — Чханпхён, будучи вызван ко двору.

«Тоскую о милом» (стр. 438).— Поэма-каса написана Чон Чхолем в 1585—1588 годах, во время ссылки на юг Кореи в Чханпхён. Чтение ее, по словам корейского живописца XVIII века Ким Сансука, «способно было вызвать слезы». В корейском тексте поэмы используется слово «ним», означающее «государь», «господин» (с которым разлучен опальный поэт). Но, памятуя о том, что традиционная конфуцианская сдержанность в те времена не позволяла в поэзии открыто выражать интимные чувства, поэт мог вкладывать в данное слово иной смысл — «любимый». Художественный перевод в этом случае подчеркивает обращение к милому от имени женщины. *На свет я*

родилась лишь потому, // Что мне предназначалось быть с тобою.— По представлениям средневековых корейцев, выбор супругов предопределен волей Неба с момента их рождения. (По мнению ряда комментаторов, истинный смысл этих строк — вера поэта в свое высокое призвание быть рядом с государем, и теперешняя разлука — преходяща). *Лунный дворец* — в китайской мифологии Просторный студеный дворец на луне, обитель феи Чан-э; здесь: мир грез.

Стр. 439. *...три года миновало.*— В старой Корее траур по родителям соблюдался в течение трех лет. С ним Чон Чхоль сравнивает свою тоску о разлуке с государем во время ссылки. *С прощальным криком гуси улетели.*— Здесь разумеются последние гонцы, переносчики вестей в китайской, корейской и японской поэзии. *Поднявшись на последний ярус башни... взошла луна.*— Ср. близкие строки в стихотворении Ли Бо «Тоска у Яшмовых ступеней». *Полярная звезда стоит на небе...*— Постоянное положение этой звезды на небосводе создало традицию обозначать ею государев трон. *Башня Феникса* — дворец, построенный вблизи Нанкина при династии Хань; свое название получил от установленных на его крыше резных изображений Фениксов; здесь упоминается как дворец государя, местопребывание любимого. Башня Феникса стала олицетворением тоски в разлуке. *Река Сяосян* — то есть река Сян и ее приток Сяо, сливающиеся в провинции Хунань (Китай) и через озеро Дунтинху впадающие в реку Янцзы (см. прим. к с. 325). Традиционный символ разлуки влюбленных. С красотой этой местности поэт сравнивает Чханпхён, где жил в опале. *Нефритовый дворец* — в китайской и корейской мифологии небесные чертоги Верховного владыки с двенадцатью башнями и пятью оградами; здесь: королевские покои.

Стр. 440. *Бянь Цяо* (V в. до н. э.) — знаменитый китайский лекарь из царства Юэ. *...умереть // И вновь родиться бабочкою пестрой...*— По буддийским понятиям, все живые существа подвергаются перерождениям. Поэт желает претворить свою мечту хотя бы в одном из предстоящих перерождений.

Стр. 441. *Хамсан* — гора в *Хамхыне* на северо-востоке Кореи.

Хан Хо (Сокпон; 1543—1605) — знаменитый каллиграф, поэт.

Чо Хон (Чунбон; 1544—1592) — ученый и поэт, возглавивший в начале Имджинской войны (1592—1598 гг.) отряд народного ополчения, который преградил своими телами путь японским войскам в провинции Чолладо.

Ли Сунсин.— См. вступ. статью, с. 397.

Стр. 441. *Остров Хансан*[до] — остров в Корейском проливе, где располагались основные силы корейского флота, которым искусно командовал Ли Сунсин во время Имджинской войны. Звук камышовой дудки доносится с японских судов.

Ли Воник (Ори; 1547—1634) — крупный государственный деятель, руководивший освобождением Пхеньяна от японских полчищ.

Лим Дже.— См. вступ. статью, с. 401.

«Там, где густая трава зелена...» (стр. 442).— Это сиджо Лим Дже написал на смерть поэтессы Хван Джини.

Стр. 442. *Пхэган* — старинное название реки Тэдонган на севере Кореи.

Стр. 443. *Юэская курочка.*— Образ заимствован из «Чжуанцзы», где говорится, что красивой маленькой «юэской курице» не высидеть гусиного яйца.

«Павильон Минджон на перевале Чамнён» (стр. 443).— Дословно: «Павильон Скорби на перевале Шелкопряда». В стихотворении аллегорически выражается тревога и сожаление по поводу беспечности корейского двора, раздираемого распрями, когда стране угрожает опасность. *Восточное море* — Японское море. *Огромный кит.*— Подразумевается Япония, устремившая свои интересы к Корее в конце XVI в. *Закатные ворота* — заставы на северо-западе Кореи. *Дикий кабан.*— Имеются

в виду воинственные племена чжурчжэней, совершавшие набеги на северо-запад страны. *Хань-фэн* («Холодный ветер») — кличка знаменитого знатока лошадей (Китай), умевшего определять их свойства по зубам. *...травой препоясан тот...* — То есть отшельник; так именует себя поэт. *...в день пробегает // тысячу ли.* — Сравнение с мифическим скакуном, пробегающим в день тысячу верст.

Т о к к ё (XVI в.) — поэтесса, писавшая стихи на ханмуне.

Ч о Д ж о н с о н (Чонгок; 1553—1627) — политический деятель; поэт. В этом сиджо (ошибочно приписанном Чон Ону в книге «Корейская классическая поэзия». М., 1958) он мечтает отдохнуть вдали от государственных дел.

Л и Х а н б о к (Пэкса и др.; 1556—1618) — сановник и поэт, к концу жизни сосланный на север Кореи за то, что выступил против действий правителя Кванхэ-гуна, несовместимых с конфуцианской моралью.

Стр. 444. *Чхоллён* — перевал через хребет Мачхоллён на северо-востоке Кореи. *Пэгак* — гора возле Сеула. *Чоннам* — гора в провинции Южная Кёнсандо. *Нефритовая башня* — здесь: дворец государя в столице.

Л ю М о н ъ и н.— См. вступ. статью, с. 401.

«В д о в а» (стр. 444).— В этом стихотворении, являющемся одним из последних, поэт сожалеет о том, что вовремя не разобрался в происходящем. После того как оппозиционная группировка феодалов свергла в 1623 году «злодея» Кванхэ-гуна и возвела на престол его племянника Инджо, обрушилась волна репрессий на сторонников Кванхэ-гуна. Лю Монъину, занимавшему высокие посты при прежнем правителе, удалось скрыться в горах. Но вскоре его находят и, несмотря на его заверения верно служить новому государю, казнят. Сохранилось несколько сборников поэтических и прозаических («пхэсоль») произведений Лю Монъина.

Л и Д а л ь (Сонгок, Тонни; 1561—1618) — знаменитый поэт, придавший стихам на ханмуне еще большее изящество и эвфемистичность.

Стр. 444. *Ли Еджан* — именитый сановник, друг поэта. *Тунговый цвет* — масличные деревья из семейства дриандр. *Хэсу* — род пальмы, полой изнутри.

«Н а с ю ж е т о д н о й к а р т и н ы» (стр. 445).— Стихотворение написано, по-видимому, под впечатлением картины, созданной Сон Сечханом.

П а к И н н о.— См. вступ. статью, с. 397.

«В о т р а н н я я х у р м а н а б л ю д е...» (стр. 445).— Сиджо написано Пак Инно в 1601 году в связи с кончиной отца. Он посетил дом своего друга поэта Ли Доккхёна, где получил в подарок красную хурму.

«Т у д а, г д е ф е н и к с ы с т а е й с л е т е л и с ь...» (стр. 445).— Сиджо написано примерно в 1611 году, когда поэт, оставив службу, уезжает к себе на родину, в Ёнчхон. И только Ли Доккхён продолжал хлопотать о его возвращении ко двору, но безуспешно.

Стр. 446. Цикл из двух сиджо об *утесе* посвящен герою Имджинской войны, военачальнику Чану. *Хамнюдэ* («Слияние потоков»).— Название не идентифицировано.

Стр. 447. *Хребет Кёкчиллён* («Отделенный от мира»).— Название не идентифицировано. *Гора Куинсан* («Девять наполнений»).— Название горы символизирует заслуги человека, которые растут благодаря его непрестанному труду. *Гора Куинбон* — другое название Куинсан.

К и м С а н ъ ё н (Сонвон; 1561—1637) — сановник, поэт, павший геройски во время второго маньчжурского нашествия.

Х о Н а н с о р х о н.— См. вступ. статью, с. 397. Сестра выдающегося корейского прозаика Хо Гюна; получила признание как самая талантливая из корейских поэтесс. Рано ушла из жизни. Посмертно был издан сборник ее

стихов на корейском языке и на ханмуне (к сожалению, большинство произведений она сожгла перед безвременной кончиной).

Стр. 448. *...блуждают вокруг огни.*— То есть светлячки; согласно китайским и корейским поверьям, это души усопших бродят в ночи. *Бумажные деньги, чистое вино.*— Сжигание жертвенных бумажных денег, возлияние вина на могилу делалось с целью облегчить участь духа умершего, помочь ему. (Бумажные деньги сжег также Вольмён перед тем, как пропеть хянга «Молитва о покойной сестре».) «*Хуантайцы*».— Песня о печальной участи тыквы, росшей возле Желтой башни. В «Истории династии Тан» говорится о создании этой песни следующее: вдовствующая императрица Тянь-хоу (684—704), стараясь подольше удержаться на троне, казнила старшего сына и наследником престола назначила младшего — Чжан Хуая, который и сочинил эту песню, чтобы вызвать у матери чувство сожаления. Но Тянь-хоу приказала отправить Чжан Хуая в ссылку, где он и умер.

«Собираю лотосы» (стр. 448).— Это стихотворение на ханмуне построено на игре слов: иероглифы, означающие «лотос» и «связь», звучат одинаково (ён).

Стр. 449. *От орд разбойных...*— То есть от набегов чжурчжэней.

«Тоска на женской половине дома» (стр. 449).— Поэма-каса, приписываемая Хо Нансорхон, ранний образец «женских каса». *Волопас* и *Ткачиха* — персонажи популярной на Дальнем Востоке легенды, а также названия звезд в созвездии Водолея и Лиры. Небесная фея Ткачиха без согласия Небесного владыки вышла замуж за Волопаса. Небесный владыка в наказание разлучил супругов, расселив их по разным сторонам Серебряной Реки (Млечного Пути) и разрешив им встречаться только раз в году, в седьмую ночь седьмой луны, на мосту, который создают сороки, ухватив друг дружку клювом за хвост (более поздний вариант легенды, ср. прим. к с. 320).

Син Хым (Санчхон; 1566—1628) — ученый-конфуцианец, представитель поэзии «рек и озер». Многие сиджо были написаны им в 1613—1623 годах в селении близ Чхунчхона, куда он бежал от тирании Кванхэ-гуна.

Стр. 450. *Плетеная дверь* — признак убогого жилища. *Ван* — титул правителя государства.

Сори (XVII в.) — поэтесса. Сохранившееся сиджо строится на игре слов: «Сори» — ее имя и «сори» — по-корейски «сосна».

Квон Пхиль.— См. вступ. статью, с. 401.

Стр. 451. *Ённам* («К югу от хребта») — название двух современных провинций Северной и Южной Кёнсандо в Южной Корее. Поэт пишет о сражениях с японскими захватчиками в конце Имджинской войны. *Кванбук* («К северу от заставы») — название современных провинций Северной и Южной Хамгёндо на севере Кореи. Не успела кончиться Имджинская война, а рубежам Кореи угрожали воинственные чжурчжэни.

Хо Гюн.— См. вступ. статью, с. 397.

Стр. 452. *Им Мусук* — современник Хо Гюна; его провалили на экзаменах на чин за бунтарские мысли, содержавшиеся в его сочинении.

Ким Санхон.— См. вступ. статью, с. 401. После того как в 1637 году корейский двор капитулировал перед цинскими (маньчжурскими) войсками, цинское правительство потребовало от Кореи выполнения «вассальных обязанностей» и в качестве гарантии присылки в Шэньян (город на северо-востоке Китая, в то время столица) главных противников капитуляции, в том числе и Ким Санхона, который занимал пост первого министра. Поэт посвящает первое стихотворение (сиджо) разлуке с родиной, а второе (на ханмуне) — раздумьям в шэньянской тюрьме, где он провел около трех лет, но дух его так и не был сломлен.

Стр. 452. *Су У.*— См. прим. к с. 236. *Чжун-сюань* (псевдоним; настоящее

имя — Ван Цань).— См. прим. к с. 206 Долгие годы жил вдали от родины, о чувствах разлуки с которой писал в своих стихах «Взошел на башню» и др.

Хон Собон (Хакког; 1572—1645) — государственный деятель, поэт. Здесь он пишет о безграничной преданности государю, с которым разлучился в годы маньчжурского нашествия.

Стр. 453. *Амноккан* (Ялуцзян) — река на границе с Китаем.

Ким Гванук (Чуксо; 1580—1656) — поэт, ушедший в конце жизни от почестей и богатства к природе и под влиянием произведения Тао Юань-мина «Домой, к себе» написавший цикл сиджо под названием «Мелодии, оставшиеся от Селения каштанов».

Юн Сондо.— См. вступ. статью, с. 396.

«Пять друзей» (стр. 454).— Эти сиджо входят в цикл из восемнадцати сиджо «Новые песни в горах», написанный Юн Сондо в 1642 году, во время ссылки в селении Кымсвэдон на острове Погильдо, у южного побережья Кореи. Цикл написан под впечатлением стихов Тао Юань-мина «Домой, к себе». Порядок этого цикла сиджо в оригинале иной: «Речка», «Камень», «Сосна», «Бамбук», «Луна».

«Времена года рыбака» (стр. 455).— Шестидесятипятилетний поэт, отказавшись от постов, предложенных государем, нашел приют в селении Пуёндон на Погильдо, где и пишет свое выдающееся произведение. В цикле по десять сиджо на каждый сезон года. Юн Сондо сочинил его по мотивам поэмы неизвестного автора «Песня рыбака», (конец эпохи Корё).

Стр. 456. *«Чиста Цанланская вода...»*— Строка из песни, цитируемой Цюй Юанем в произведении «Отец-рыбак» (см.: «Антология китайской поэзии», т. I, с. 196). Воды реки Цанлан символизируют покой в этом мире. Юн Сондо сравнивает свою судьбу с судьбой Цюй Юаня. *Три правителя страны* — три сановника, стоявшие во главе Государственного совета (Ыйджонбу).

Стр. 457. *Я в страну волшебную заехал.*— Подразумевается утопическая страна у Персикового источника (по мотивам произведения Тао Юань-мина). *Прах багровый...*— По даосским представлениям, мир с его треволнениями, который покидает отшельник.

Ли Мёнхан (Пэкчу; 1595—1645) — поэт, сановник, ученый-конфуцианец.

Сон Сирёль (Уам; 1607—1689) — поэт, философ, последователь Ли И (см. с. 396), возглавлял одну из правящих придворных группировок. В его сиджо выражена идея «естественной» неизбежности межпартийной борьбы в придворных кругах.

Понним-тэгун (Хёджон; 1619—1659) — титул наследника престола, ставшего государем в 1650 году.

Инпхён-тэгун (настоящее имя Ли Ё; 1622—1658) — брат Хёджона, не раз возглавлявший посольства в Китай; поэт и художник. Одно из трех сохранившихся сиджо публикуется здесь.

Нанвон-гун (титул; Чхверактан; ?—1699) — поэт, родственник государя. Сохранилось лишь семь его сиджо.

Нам Гуман (Якчхон; 1629—1711) — талантливый литератор и каллиграф; занимал ряд высоких постов при дворе; несколько лет, находясь в опале, жил в деревне.

Ку Джиджон (XVII в.).

Юн Дусо (Конджэ; 1668—?) — художник, поэт. Приводимое здесь сиджо является вариацией на тему о яшме (ср. у Хон Сома, с. 430).

Чу Ыйсик (Намгок; конец XVII — начало XVIII в.) — поэт даосского настроя. В своем сиджо предупреждает об опасности, таящейся для каждого честного человека в период феодальных междоусобиц.

Ким Юги (конец XVII — первая половина XVIII в.) — поэт и музыкант; сохранилось несколько сиджо.

Син Джонха (Соам; 1681—1715) — из-за придворных интриг оставил службу; сохранился его сборник.

Ким Суджан (Ногаджэ; 1690 — ок. 1770 гг.) — составитель антологии «Хэдон каё» («Песни Страны к востоку от моря», 1763).

Стр. 461. *Лазурное облако* — путь почестей; *белоснежное* — жизнь вне мира суеты.

Ли Джонбо (Самджу; 1693—1766) — сановник, много сделавший для прекращения раздоров в правящем кругу; талантливый поэт.

«Солнце клонится к западным горам...» (стр. 463) — Ср. со стихотворением на ханмуне Юн Они (см. с. 413).

«Груш лепестки оборвал...» (стр. 463) — Ср. со стихотворением на ханмуне Ким Гу (см. с. 418).

Ли Джонджин (Пэкхведжэ; XVIII в.) — поэт и певец.

«Голые ребятишки...» (стр. 463) — одна из форм чансиджо. «Голые ребятишки» — традиционный образ людей, безрассудно занятых карьерными помыслами. Дети играют на солнышке и не думают о том, что будет, когда оно сядет и станет холодно и страшно. В данном случае образ разработан: ловля стрекозы голым несмышленышем — образ «сдвоенной бессмыслицы». Судьба стрекозы в руках младенца, но сам-то он глуп и незащищен. Автор никогда не служил из принципиальных соображений. Эти стихи — своего рода программа поэта.

Чо Мённи (Ноган; 1697—1756) — сановник, литератор.

Стр. 464. *Сонджин* — бухта на восточном побережье Кореи. *Мачхоллён.* — См. прим. к с. 444.

Ким Чхонтхэк. — См. вступ. статью, с. 398.

Ким Джинтхэ (середина XVIII в.) — поэт, последователь Ким Суджана.

Син Химун (XVIII в.). — Сохранилось два его сиджо в антологии «Кагок воллю» («Родник песенной поэзии», 1876).

Стр. 466. *Чиоджа* — восклицания, сопровождающие танцевальную мелодию.

Хо Соккюн (конец XVIII в.).

Ким Минсун (вторая половина XVIII — начало XIX в.).

Пак Чивон. — См. вступ. статью, с. 401.

Стр. 467. *Ёнам* — литературное имя Пак Чивона.

Ли Онджин (Сонмоккван; 1740—1766) — поэт, близкий к Пак Чивону.

Ли Донму. — См. вступ. статью, с. 401.

Стр. 468. *Ёнанская крепость* — ныне уезд Ёнбэк в провинции Южная Хванхэдо. *Син Гак* — военачальник XVI в. Незадолго до Имджинской войны получил послание от Чо Хона, хорошо осведомленного о захватнических планах Японии. В нем говорилось: «Похоже, что скоро будет война. Поэтому покрепче воздвигайте крепость»,— и Син Гак выполнил это указание. *Ли Вольчхон* (псевдоним; настоящее имя — Ли Джонам; 1541—1600) — герой Имджинской войны, отстоявший Ёнан от японских полчищ, за что и получил титул Вольчхон-гуна («Князя Лунной реки»). *...налог // за лотосы на пруду.* — Поборы властей после войны настолько возросли, что крестьян заставляли даже выращивать цветы лотоса на пруду, чтобы собирать и с них налог. *...продать спешит // дикого журавля.* — В окрестностях Ёнана водилось много журавлей, и крестьяне, чтобы как-то прокормиться, вылавливали этих птиц на продажу.

Лю Дыккон. — См. вступ. статью, с. 401.

Пак Чега. — См. вступ. статью, с. 401.

Стр. 469. *Морской Кымгансан* («Алмазные горы») — красивейший горный массив на восточном побережье Корейского полуострова, подразделяется

на Внутренний и Морской Кымгансан. *Сюй Ши* (III в. до н. э.) — маг, которому китайский император Цинь Ши-хуан приказал отправиться на корабле вместе с несколькими стами юношей и девушек к священному горе-острову Пэнлай на поиски травы бессмертия. Они уехали и исчезли бесследно. *Вспоминаю древних великих мужей, // что пустились в море вдвоем.*— В «Исторических записях о Трех государствах» приводится предание о том, как двое из Силла — Тэсе и Кучхиль — задумали отправиться в дальние края, но средств у них не было. Они соорудили из древесных листьев лодку, спустили ее на пруд возле монастыря Намсанса, сели в нее и поплыли в южные моря. Здесь речь идет о страстном желании отправиться в дальние края.

Ли Согу.— См. вступ. статью, с. 401.

Стр. 469. *Гора Чжуннань* — гора в провинции Шэньси (Китай), где при династии Тан жило много удалившихся от мира ученых.

Чон Ягён.— См. вступ. статью, с. 401.

Стр. 471. *Хань Синь* (ум. 196 г. до н. э.) — знаменитый военачальник, сподвижник ханьского государя Гао-цзу (см. прим. к с. 238). Накануне сражения с чускими войсками он приказал ночью соорудить запруду из мешков с песком на реке Вэйшуй. Наутро он заманил чуские войска с противоположного берега на свой и приказал открыть запруду. Хлынувшая вода не дала возможности войскам противника переправиться обратно. Воины Хань Синя разгромили чускую армию. *Киль.*— См. прим. к с. 431.

«Сиджо неизвестных авторов» (стр. 471).— *Чтобы вымести отсюда // и южан и северян.*— Имеются в виду северные и южные племена, нападавшие на Корею.

«Как за косу таскал монашку бонза!..» (стр. 475).— В этом сиджо (в корейском это — чансиджо) неизвестный автор осуждает свары среди придворных группировок.

Стр. 476. *Тхэсан.*— Здесь, видимо, идет речь о знаменитой в дальневосточной поэзии горе Тайшань. *Мондаль* — блуждающая душа умершего (умершей) неженатым (незамужней).

Стр. 479. *Горы Шоуян* — горы в Китае, где скрывались сыновья правителя царства Гучжу — Бо-и и Шу-ци (XII в. до н. э.), отказавшиеся служить У-вану.

«*В день восьмой луны четвертой...*» (стр. 479).— Здесь описание архаического обряда зажигания огней во время захода солнца и восхода луны, исполнявшегося в полнолуние первого лунного месяца и впоследствии также приуроченного к восьмому дню четвертой луны — дню рождения Будды. ...*девочки в бутонах лотоса* — элемент театрального действа «Танец журавлей», имеющего ритуальный характер: бутоны раскрываются, девочки выходят оттуда и прогоняют белого и черного журавлей, клюющих стебли лотосов. Журавли здесь символизируют смерть, цветок лотоса — жизнь.

Белая чайка (стр. 480) — поэма-каса неизвестного автора XVII—XVIII веков. *Пять ив* — образ, восходящий к автобиографическому сочинению Тао Юань-мина «Жизнеописание господина под сенью пяти ив». Связан с представлением о жизни поэта вне мирной суеты.

Л. Концевич, М. Никитина

ВЬЕТНАМ

При составлении раздела вьетнамской поэзии были использованы следующие выходившие во Вьетнаме издания: «Антология поэзии и прозы Вьетнама», т. II (X—XVII вв.). Ханой, «Ван хоа», 1962; а также новое, исправлен-

ное и дополненное издание этого тома «Антологии»: Ханой, «Ван хаук», 1976; «Антология поэзии и прозы Вьетнама», т. III (VIII — середина XIX в.). «Ван хоа», 1963; «Собранье стихов и прозы империи Вьет», т. I, II, III, сост. Буи Хюи Бить. «Ван хоа», 1957—1958; Ле Куи Дон. Краткие записи познанного и прочитанного. Ханой, «Шы хаук», 1962; Нгуен Чай. Собранье стихов на родном языке. Ханой, «Ван Шы Диа», 1956; Нгуен Чай. Стихи на ханване. «Ван хоа», 1962; Нгуен Чай. Полное собрание сочинений. Ханой, «Кхоа хаук са хой», 1969; «Собранье стихов на родном языке, сложенных в годы «Великой добродетели». «Ван хоа», 1962; Ле Чаунг Кхань, Ле Ань Ча. Нгуен Бинь Кхием — поэт и мыслитель. «Ван хоа», 1957; «Хо Суан Хыонг — революционная поэтесса». Ханой, «Бон фыонг», 1950; Фам Тхай. Вновь обретенные гребень и зерцало. «Ван хоа», 1960; Нгуен Зу. Стихи на ханване. «Ван хоа», 1959; Нгуен Зу. Повесть о Кьеу. Ханой, «Дай хаук ва чунг хаук тюйен нгьеп», 1972; Дао Зюй Ань. Словарь «Повести о Кьеу». Ханой, «Кхоа хаук са хой», 1974. Использованы также выходившие в СССР русские переводы: Нгуен Зу. Все живое (составление, подстрочный перевод и вступ. статья Н. Никулина, перевод стихов Арк. Штейнберга; примечания Н. Никулина и Б. Рифтина). «Художественная литература», 1965; Хо Суан Хыонг. Стихи (составление, подстрочный перевод, вступ. статья и комментарии Н. Никулина, перевод стихов Г. Ярославцева). М., «Наука», 1968; «Вьетнамская поэзия X—XIV веков» (составление, перевод и послесловие Л. Эйдлина; «Иностранная литература», 1976, № 9). Составитель приносит глубокую благодарность председателю Ассоциации литературы и искусства Вьетнама профессору Данг Тхай Маю; директору ханойского Института литературы, поэту Хоанг Чунг Тхонг; вьетнамским поэтам и писателям Суан Зиеу, Нгуен Туану и Те Лан Виену; а также советским ученым Л. З. Эйдлину, Д. В. Деопику и Б. Л. Рифтину за помощь в работе, ценные советы и консультации.

Нго Тян Лыу.— См. вступ. статью, с. 489, носил титул Пресветлого заступника (страны) Вьет.

«Провожая посла Ли Цзюэ» (стр. 501).— См. вступ. статью, с. 488—489. *Погожего дня засиял ореол...*— Вероятно, имеется в виду ореол, сияющий вокруг чела Будды; здесь также примета ясной погоды. *Тяготы наши честно раскрыл властелину.*— Дай-вьет в то время находился в вассальной зависимости от Китая.

Ван Хань («Несметно умноженная добродетель»; ум. в 1018 г.) — прозвание одного из буддийских патриархов в Дай-вьете. Выходец из семьи Нгуен, издавна приверженной буддизму. Еще в детстве принял постриг, играл видную роль при дворе. «Наставление ученикам» (стр. 502) написано, по преданию, перед кончиной.

Ли Тхай Тонг (1000—1054) — государь династии Ли.

«Прославляю Винитаручи, проповедника учения тхиен» (стр. 502).— Стихотворение посвящено буддийскому проповеднику Винитаручи (родом из Индии), прибывшему в Дай-вьет в 580 г. *Южное царство* — здесь: Дай-вьет. *Луна белоснежная Ланки...*— Вероятно, имеется в виду гора Ланка в стране Будды (остров Цейлон) либо «Ланкаватара сутра» (поученья, произнесенные Буддой на горе Ланка), игравшая важную роль в учении Тхиен. *Праджна* — знание, мудрость, очищенные от мирских помыслов.

Виен Тиеу («Полное озарение», 998—1090) — прозвание Май Чыка, одного из буддийских патриархов. Его трактаты по буддийской философии снискали известность в Китае. Стихи, неизменно завершавшие его проповеди, характерны тонким пониманием природы. Данное стихотворение, по преданию, создано перед кончиной.

Л и Т х ы о н г К и е т (1019—1105) — выдающийся полководец и государственный деятель.

«Г о р ы и р е к и П о л д н е в н о й д е р ж а в ы» (стр. 503).— Стихотворение, видимо, написано перед сражением с войсками сунского императора на реке Ньы-нгуйет (1076 г.). Ли Тхыонг Киет якобы приказал одному из приближенных спрятаться в храме неподалеку и вслух прочесть там стихи — словно бы от имени двух древних вьетских воителей, которым был посвящен храм.

З и е у Н я н (1072—1143).— Зиеу Нян («Просветленная духом») — прозванье монахини Нгаук Киеу, происходившей из знатного рода и принявшей постриг по смерти мужа.

«В е ч н ы р о ж д е н ь е, с т а р о с т ь, х в о р и и с м е р т ь» (стр. 503).— Речь идет о «четырех страданьях» (б у д д.), свойственных человеку в его мирском существованье. *...запечатай уста, безмолвным пребудь.*— Ученне тхиен главным путем постижения истины считало самосозерцанье, сосредоточенность мысли, а не поученья наставника.

М а н З и а к («Конечное постижение», 1051—1096 г.) — посмертное прозванье Ли Чыонга, сына важного сановника. Настоятель дворцовой пагоды при короле Ли Нян Тонге.

К х о н г Л о («Бестелесный путь», ум. в 1119 г.) — прозванье знаменитого проповедника буддизма, выходца из рыбацкой семьи Зыонг.

Стр. 504. *...подобные змиям-драконам, сулящие благо места.*— По древним учениям геомантов, ландшафт, очертаньями напоминавший змея или дракона, считался благодатным, счастливым местом.

Д а й С а («Великое всепрощение», 1119—1180) — прозванье одного из патриархов буддизма Дай-вьета.

К у а н г Н г и е м («Безграничная строгость», 1121—1190) — прозванье одного из патриархов буддизма.

М и н ь Ч и («Просветленная мудрость», ум. в 1196 г.).

Ч а н Т х а й Т о н г (1218—1277) — первый государь династии Чан; выдающийся буддийский мыслитель и поэт.

Ч а н Т х а н ь Т о н г (1240—1290) — государь династии Чан (см. вступ. статью, с. 487).

Стр. 505. *Округ Иен-банг*, находился на территории современной провинции Куанг-нинь (Сев. Вьетнам).

Ч а н К у а н г К х а й.— См. вступ. статью, с. 496, знаменитый военачальник.

«В о з в р а щ а я с ь с о с в и т о й г о с у д а р я в с т о л и ц у» (стр. 506).— Стихи написаны после того, как войска вьетов отразили второе нашествие армии юаньского Китая (1285 г.). *Тьыонг-зыонг* — пристань и переправа на Красной реке, где Чан Куанг Кхай разгромил юаньские войска. *Хам-ты* — укрепление и пристань на Красной реке.

Ч а н Н я н Т о н г.— См. вступ. статью, с. 496.

«В е ч е р о м г л я ж у н а Т х и е н - ч ы о н г» (стр. 507).— Речь идет об округе Тхиен-чыонг (в современной Ха-нам-нинь, Северный Вьетнам), оттуда были родом предки чанских государей.

«В е с е н н и м д н е м п о с е щ а ю Б л и с т а т е л ь н у ю г р о б н и ц у» (стр. 507).— Речь идет о посещении Чан Нян Тонгом гробницы его деда Чан Тхай Тонга, отразившего первое нашествие юаньской армии (1258 г.). *Великая пора Расцвета* (точнее, «Великое процветание») — девиз царствования Чан Тхай Тонга.

Ф а м Н г у Л а о (1255—1320) — выдающийся полководец и государственный деятель.

«И з ъ я в л е н и е ч у в с т в» (стр. 508).— Стихи написаны после отражения третьего и последнего вторжения в Дай-вьет юаньских войск

(1288 г.). *Воинственный хоу* — посмертное звание знаменитого китайского полководца Чжугэ Ляна (181—234), прославившегося своей мудростью и воинскими хитростями, одного из героев романа Ло Гуань-чжуна «Троецарствие».

Чан Ань Тонг (1275—1320) — государь династии Чан. Данное стихотворение (стр. 508) написано после похода Чан Ань Тонга на *Тямпу* (1312 г.), когда он разгромил армию тямского короля, взял его в плен и возвел на престол своего ставленника. Залив *Фук-тхань* находится в современной Ха-нам-нинь.

Хюйен Куанг (1254—1334).— Хюйен Куанг («Сокровенный блеск»), прозванье Ли Дао Тая, одного из патриархов вьетнамского буддизма.

«Хризантемы» (стр. 508).— У вьетов так же, как у китайцев и других народов Дальнего Востока, вошло в обычай любоваться распускающимися хризантемами.

Стр. 509. *Настал Двойной Девятки день...*— См. прим. к с. 242; срок цветенья хризантем.

Мак Динь Ти (?—1346).— Поэт, государственный деятель. Стихи его высоко ценились не только в Дай-вьете, но и в Китае.

Чан Куанг Чиеу.— См. вступ. статью, с. 495.

Нгуен Чунг Нган.— См. вступ. статью, с. 496. Данное стихотворение (стр. 510) написано, когда автор ездил послом в Китай.

Нгуен Шыонг (XIV в.) — вместе с Чанг Куанг Чису основал содружество поэтов Яшмового грота.

Чан Минь Тонг.— См. вступ. статью, с. 496.

Стр. 510. *Бать-данг* («Белая лиана») — река, впадающая в море, в современной Куанг-нинь. В устье ее вьеты трижды (в 938, 981 и 1288 гг.) разгромили вторгавшиеся из Китая флот и сухопутные силы.

Стр. 511. *Варвар подчас выигрывал бой...*— Северными варварами — «хо» — называли вьеты вторгавшихся к ним с севера китайцев; слово это происходит от китайского «ху», которым сами китайцы обозначали кочевников, нападавших на них с севера и северо-запада.

Тю Ван Ан.— См. вступ. статью, с. 496.

«Впечатления на горе Ти-линь» (стр. 511).— Речь идет о горе Ти-линь («Волшебной»), находящейся в современной пров. Хайхынг (Северный Вьетнам).

Тю Дыонг Ань (XIV в.) — государственный деятель и поэт. В данном стихотворении речь идет, вероятно, о картине китайского художника Хань Ганя (VIII в.), изображавшей императора Мин-хуана (правил с 712 по 765 г.), купающего любимого скакуна по кличке «Яшмовый цвет».

Чыонг Хан Шису (?—1354).

Фам Шы Мань (XIV в.) — государственный деятель, дипломат и поэт. В стихах: «Ущелье Ти-ланг» (стр. 512) — описана местность, где проходила граница Дай-вьета с Китаем (в современной Као-ланг, Северный Вьетнам).

Стр. 513. *Гора Тхать-мон* («Каменные врата») — находится в современной провинции Хай-хынг. Ее огибает река Бать-данг; автор родился неподалеку от этой горы. *Тыонг-дэу* («Слоновья голова») — гора поблизости от современного Хайфона. *Иен-фу* («Кроткий родитель») — гора в современной провинции Хай-хынг. *Ты-тиеу* («Багряная туча») — гора в современной провинции Куанг-нинь. *Ан Ки* — вьетнамская транскрипция китайского имени Ан Ци (Ан Ци-шэна), знаменитого даоса, прозванного «Тысячелетним старцем», торговавшего на берегу моря целебными снадобьями. В III в. до н. э. с ним встречался циньский Ши-хуан, путешествовавший по Восточному Китаю. В Дай-вьете бытовало предание о том, что Ан Ци-шэн пришел из Китая в здешние горы и отсюда вознесся на небеса. *Кажется: вижу // правителя*

славного флот.— Имеется в виду властитель Нго — вьетский полководец и государь Нго Кюйен (899—944), разгромивший на реке Бать-данг китайский флот и войска (938 г.). Его правление открыло эпоху независимости вьетского государства. *Чунг хынг* («Многократное процветание») — девиз царствования Чан Нян Тонга (1285—1293). *Длань опрокину — гора на спине черепахи...*— Намек на китайский миф о войне между богом огня Гун-гуном и богом воды Чжу-жуном. Не сумев убить врага, Гун-гун в отчаянии стал биться головой о гору Бучжоушань, служившую опорой небосводу, и расколол ее. Часть неба разрушилась. Добрая богиня Нюй-ва починила небосвод и, убив огромную черепаху, из лап ее сделала четыре подпорки для неба. Здесь — образ всесокрушающей мощи. *В Небесной Реке омываю вражеский пот.*— Речь идет о стихотворении великого китайского поэта Ду Фу, где сказано, что мечта справедливого воителя совлечь с небес Серебряную (Небесную) Реку, омыть в ней доспехи и более никогда ими не пользоваться (то есть утвердить вечный мир).

Чан Нгуен Дан (1320—1390) — принц Чанской династии, государственный деятель, ученый и поэт. Дед великого поэта Нгуен Чая.

Стр. 513. Знаки воды и тигра в «небесном» и «земном» циклах лунного календаря приходятся здесь на 1342 г.

«Написал, возвращаясь ночью в лодке» (стр. 514).— Стихи написаны, очевидно, во время пребывания автора в деревне, на принадлежавших ему землях. *Столица севера, столица востока уже превратились в руины.*— Речь идет, вероятно, о местности Дамин (в современной китайской провинции Хэбэй), где часто бывал сунский император Чжэнь-цзун (правил с 997 по 1022 г.); она называлась «Северная столица» и была в начале XI в. опустошена полчищами киданей. А также — о захвате и разрушении войсками чжурчжэней в 1127 г. сунской столицы, называвшейся «Восточной столицей» (современный Кайфын). Здесь: намек на мятеж в столице Дай-вьета и феодальные распри (1369 г.).

Чан Фу (1322—1395).— В данном стихотворении речь, очевидно, идет о горе *Донг-шон* (в современной провинции Хай-хынг), славившейся своими пейзажами и храмами.

Нгуен Фи Кхань (1336—1408) — талантливый государственный деятель, ученый-конфуцианец и поэт, сподвижник реформатора Хо Куи Ли (см. вступ. статью, с. 491—492), вместе с которым был захвачен в плен китайцами, в клетке увезен в Китай, где и умер. Отец великого поэта Нгуен Чая.

Стр. 514. *Желтая река* — река Хоанг-зианг в современной Ха-намнинь.

Чан Лэу (XIV—XV вв.) — государственный деятель при Хо Куи Ли, поэт.

«Миную заставу Хам-ты» (стр. 515).— См. прим. к стихотворению Чан Куанг Кхая «Возвращаясь со свитой государя в столицу». *Славный правитель вернул весну...*— Имеется в виду Чан Нян Тонг, при котором была разгромлена юаньская армия и воцарился мир, ассоциирующийся у поэта с благодатной весной. *Голову их полководец сложил...*— Речь идет о юаньском военачальнике Соду, погибшем в битве при Хам-ты.

Ле Кань Туан (XIV—XV вв.) — государственный деятель, ученый-конфуцианец и поэт. Пытался организовать оппозицию режиму китайской оккупации (1407—1428 гг.), был схвачен и увезен в Китай, где и умер в заточении. Эти стихи написаны в изгнании.

Стр. 516. *Ганьчжоу* — река в современной китайской провинции Цзянси.

Нгуен Чай (1380—1442).— См. вступ. статью, с. 492—493.

Стр. 517. *Былое! Тополь и вяз...*— По не вполне достоверному толкованию вьетнамского комментатора, китайские слова «тополь» и «вяз» составляют якобы название деревни, откуда вел свой род основатель Ханьской династии Лю Бан; со временем сочетание их стало символом прародины, отчизны. *Над*

хризантемой сосна...— Хризантема и сосна — символ уединения, отшельничества; образ восходит к стихам Тао Юань-мина.

Стр. 518. *Под сенью сливы дух невредим...*— В ор.: «Близ персиковой стены, в ивовой улочке покой и истома». Здесь: заимствованный, видимо, из китайской словесности символ средоточия ученых и чиновных мужей. *Здесь обезьяны, здесь журавли...*— Обезьяны и журавли — обычные спутники отшельника.

Где персик со сливой, там путник стоит...— См. прим. к предыдущему стихотворению. Остановившийся путник, возможно, аллегорический образ человека, сдавшего конкурсные экзамены и присоединившегося к сонму ученых. *Моим апельсинам под стать мандарин.*— В ор.: «Апельсины и мандарины — мои подданные...»

«У каждого свой предел» (стр. 519).— В ор. первая строка стихотворения: «Чтоб быть человеком, придерживайся долга (прямизны) и постоянства (неизменности)...» Речь идет об основных положениях конфуцианской этики.

Стр. 520. *Сосед богатого сыт, // сосед грабителя бит...*— Перефразированная вьетская пословица: «(У живущих) близ богатого дома зубы болят от сладкого риса, (у живущих) близ вора спина ноет от побоев». *В тыкве вода кругла...*— Перефразированная вьетская пословица: «В тыкве-горлянке и вода кругла». *Какая угроза бамбуку страшна? // Плакучая ива весною нежна.*— Здесь: твердость (прямизна) бамбука и мягкость (податливость) ветвей ивы — символы мужского и женского начал.

«Сосна» (стр. 521).— *Подобает ей стропилом быть...*— Игра слов: стропила и балки (то есть опора здания) — аллегорический образ, означавший главных людей — опору государства; заимствован из китайской поэзии.

«Бамбук» (стр. 521).— *Лишь глупец тобою пренебрег...*— Намек на стихи китайского поэта Су Ши, где сказано, что человек может обойтись в еде и без мяса, но, не высадив у дома бамбук, он прослывет простаком.

«Цветы персика» (стр. 521).— *И восток почуял красоту...*— Речь идет о восточном ветре, знаке начала весны. *И в разведке стая синих птиц...*— Имеются в виду три синие птицы, в китайской мифологии — вестницы Хозяйки Запада Сиванму. Возможно, в стихотворении содержится намек на росшее в царстве Сиванму дерево бессмертия и более поздние предания о персике бессмертия Ванму. *Творец небесный* — букв.: «Великий гончар» (гончарный круг); восходящий, по-видимому, к индийской мифологии образ творца всего сущего, создавшего из глины весь мир и живые существа. Во времена Нгуен Чая образ этот, вероятно, утратил первоначальное значение.

«Желтый клубень» (стр. 522).— В стихах речь идет о хоанг тинь (букв.: желтое семя), многолетнем луковичном растении, из корней которого готовили лекарства. Считалось, что хоанг тинь зародился в земных недрах еще во времена изначального оплодотворения природы.

«Кошка» (стр. 522).— *Западом порождена...*— Вероятно, намек на пришедшую из Индии (страны Западного неба) легенду о Небесном коте с нефритовыми глазами, убивавшем мышей-оборотней. *Не спросясь, Просветленному служит она...*— Речь идет о том, что кошка без разрешения настоятеля пагоды забирается на алтарь Будды «Просветленного». *Тигра прыгать учила, не лазать, о нет!*— По преданию, кошка обучила тигра всем охотничьим ухваткам, утаив, однако, главную — умение лазить на деревья.

Стр. 523. *Грот Великой пустоты.*— Имеется в виду ущелье Тхань-хы (Чистая, может быть, Великая пустота) близ деревни Кон-шон, где жил Нгуен Чай (в современной провинции Хай-хынг).

Стр. 524. *Был недавно сражен // в море северном царственный кит.*— Намек на разгром и изгнание из Дай-вьета китайских войск (1428 г.). *Сослан с неба на землю, // по слухам, не каялся Ли.*— Согласно легенде, Ли Бо был

небожителем, сосланным в земной мир. *И поныне, хмельного, // в реке бы мы видеть могли.*— По преданию, Ли Бо, напившись в лодке допьяна, увидел в воде отражение луны и, пытаясь выловить ее, упал в реку Цайши и утонул.

Л и Т ы Т а н (1378—1457) — государственный деятель, военачальник и поэт, сподвижник вождя антикитайской войны 1418—1428 годов Ле Лоя. Был близок к Нгуен Чаю.

Стр. 525. *Спишь, покуда варится просо, восемь десятков лет.*— Намек на китайское предание, изложенное в новелле Шэнь Цзи-цзи (VIII в.) «Волшебное изголовье»: даос Люй, повстречав в харчевне некоего Лу, дал ему изголовье; уснув на нем, Лу видел во сне, как он прожил восемьдесят лет в довольстве и счастье, окруженный семьей, а проснувшись, увидел, что, пока он спал, в котелке у хозяина харчевни не успело даже свариться просо.

Л и Т х и е у Д и н ь (XV в.).

Н г у е н Ч ы к (1417—1474).

В у Л а м (XV в.).

«С о б р а н и е д в а д ц а т и в о с ь м и с в е т и л с л о в е с н о с т и» г о с у д а р я Л е Т х а н ь Т о н г а.

И з «С о б р а н ь я с т и х о в н а р о д н о м я з ы к е, с л о ж е н н ы х в г о д ы «В е л и к о й д о б р о д е т е л и».— Осенью 1495 года, двадцать шестого года девиза «Великая добродетель» государь, вдохновленный кротостью стихий и щедростью урожая, сочинил девять стихотворений на ханване, положенных на музыкальный лад и названных «Девять песен Яшмового сада». В предисловии к ним он объявлял себя Главным предводителем Собрания светил словесности, Ле Тхань Тонг созвал для участия в Собрании еще двадцать семь поэтов, и оно стало именоваться Собранием двадцати восьми светил словесности; заместителями Ле Тхань Тонга были Тхэн Нян Чунг (1418—1499) и До Нюан (1446—?), среди членов Собрания — Дам Тхэн Хюи (1462—1527), Лыонг Тхе Винь (1411—?), Тхай Тхуан (1440—?), и др. Все они занимали видные государственные должности. Члены Собрания слагали стихи на темы и рифмы, предложенные государем, на языке вьетов и на ханване, причем значительная часть их представляла собой панегирики в его честь. Главное место в поэтическом наследии Ле Тхань Тонга и его школы занимает «Собрание стихов на родном языке, сложенных в годы «Великой добродетели». Оно включает в себя 328 стихотворений, составляющих пять разделов: «О явлениях земных и небесных», «О человеческих существах», «О красотах земных», «О вещах и сущностях», «Вирши, восхваляющие праздность». Публикуемые ниже переводы взяты из первых четырех разделов. Наряду с традиционными конфуцианскими темами в книге звучат патриотические мотивы; так, например, утверждается равенство государств и государей Юга (то есть Дай-вьета) и Севера (Китая), многие стихи посвящены прославленным вьетским полководцам и ученым; воспеваются картины родной природы, образы которой ощущаются и в описаниях китайских пейзажей. Целый ряд стихов написан на «низкие», «простонародные» темы, прежде почти не включавшиеся в поэтический обиход.

«Восхваление весеннего пейзажа», «Первая стража», «О самом себе» написаны Ле Тхань Тонгом.

Стр. 527. *Колотушки услышим стук...*— Речь идет об ударном музыкальном инструменте «мо» из цельного куска выдолбленной древесины, формой нередко напоминавшего рыбу; им пользовались в пагодах во время молитв и т. д.

Стр. 528. *Ворон-солнце на востоке взлетел...*— Ворон — метафорический образ солнца; вьетнамские комментаторы связывают его с преданием о трехлапом золотом солнечном вороне.

«В о с х в а л е н и е Г а о - ц з у и з д о м а Х а н ь» (стр. 528).— В стихотворении речь идет о Лю Бане (посмертное имя — Гао-цзу, см. прим.

к с. 238). *Рассыпаны на левом бедре семьдесят два родимых пятна.*— По преданию, у Гао-цзу на левом бедре было семьдесят два родимых пятна, что якобы роднило его с далеким его предком, мифическим Красным государем. *Тхыок* — мера длины, равна 40 см. *Меткой стрелою сражен Фазан, // оборотый пал Олень.*— Прорицатель сказал Гао-цзу, что династия Цинь подобна оленю, которого загонит и одолеет основатель следующей династии. На Фазаньей горе циньский государь якобы подстрелил диковинного фазана, превратившегося в камень. Гора эта символизировала величие династии Цинь. *Макаку гнал до реки Уцзян...*— Соперника Гао-цзу, по имени Сян Юй, называли макакой в шляпе мудреца; здесь: намек на то, что Сян Юй, потерпев поражение, закололся кинжалом на берегу Уцзян. *Того, кто был простым рыбаком, ваном назначил своим...*— Речь идет о Хань Сине (см. прим. к с. 471), который в молодости был рыбаком. Однако Гао-цзу не сам избрал его своим приближенным, а возвысил по совету вельможи Сяо Хэ. Ван— князь. *Сделал «Княгинею с черпаком» ту, что была умна.*— Лю Бан, когда еще жил в бедности, привел как-то гостей в дом своей невестки. Та начала скрести черпаком по дну котла, намекая, что ей нечем их угощать; но потом Лю Бан обнаружил, что котел полон похлебки. Взойдя на престол, он пожаловал племяннику (сыну этой женщины) титул князя Похлебки. *Четыре столетия пели хвалу люди правлению Хань.*— Династии Хань и Поздняя Хань правили в общей сложности более четырехсот лет. *«Жившему в царстве Лу» воздал Лю Бан сполна.*— Лю Бан, будучи в земле Лу (некогда царство Лу), на родине Конфуция, совершил жертвоприношение в храме Конфуция, чем конфуцианцы и объясняли долговечность его царствования.

«Скорбя о высокоученом чанг нгуене из рода Лыонг, уроженце Као-лыонга» (стр. 529).— Стихи оплакивают смерть Лыонг Тхе Виня, одного из любимых приближенных Ле Тхань Тонга, который на столичных экзаменах был удостоен высшего ученого звания чанг нгуена (1463 г.). В отличие от большинства придворных, он исповедовал буддизм, о котором написал ряд книг; известны его трактаты по математике и др. По преданию, он, как и сам Ле Тхань Тонг, был небожителем и послан на землю в помощь государю. Лыонг Тхе Винь родился в общине Као-лыонг (в современной Ха-нам-нинь).

«Изъявление скорби об урожденной Ву, сложенное на берегу Желтой реки» (стр. 529).— Стихотворение написано Ле Тхань Тонгом. По преданию, женщина из рода Ву вышла замуж за Чыонг Шиня (см. выше). Когда он ушел на войну, Ву, чтоб утешить сына, спрашивавшего об отце, выдавала за Чыонг Шиня свою тень. Когда тот вернулся, сын рассказал ему об «отце», навещавшем их с матерью каждый вечер. Муж обвинил Ву в неверности, и она утопилась в Желтой реке.

«Гора Священного знака» (стр. 530).— Речь идет о горе Тхэн-фу (в современной провинции Тхань-хоа), знаменитой своими пейзажами; автор сравнивает их с пейзажами Ван Вэя.

«Канал Чэм» (стр. 530). — *Чэм* — важный канал в уезде *Нгаук-шон* (в современной Тхань-хоа), прорытый при династии Чан.

«Тамаринд, растущий у дворцовой стены» (стр. 530).— Дерево это действительно росло у ворот Доан-мон, ведших в запретный государев град; описано известным ученым и поэтом Ву Каном (1475—?).

Стр. 531. *Шляпа Нон* — широкая коническая шляпа из пальмовых листьев; традиционный головной убор.

Стр. 532. *Часто под ней ароматный и нежный нефрит.*— То есть красивое женское лицо.

«Жаба» (стр. 532).— *Лапкой взмахнет — тигр послушно на зов приползет.*— По преданию, жаба состязалась с тигром, кто скорее перепрыгнет через дорогу. Она прицепилась к тигриному хвосту и выиграла состязание.

Дочь ее в Лунном дворце // не почтит ли и младших Луна? — Намек на легенду о Лунной фее Ханг Нга (китайск. Чан-э), см. прим. к с. 268. *В засуху дождь накликает она, // тем и поныне славна.*— По древней вьетнамской легенде, во время великой засухи жаба по просьбе людей и животных поднялась на небеса и учинила такой шум, что Повелитель Неба обещал впредь по первому ее крику посылать на землю дождь.

«Комар» (стр. 533).— Стихи эти созвучны новелле Ле Тхань Тонга «Послание комара» (русский перевод в сб.: «Повелитель демонов ночи». М., ГИХЛ, 1969).

«Государыни Чынг» (стр. 534).— Сестры Чынг Ча и Чынг Ни— национальные героини, поднявшие в 40 г. н. э. восстание против китайского владычества. Они освободили большую часть вьетских земель и провозгласили себя государынями; но после жестокой войны (42—44 гг. н. э.) были разбиты превосходящими силами китайцев и покончили с собой. Считались небесными заступницами Дай-вьета; согласно преданию, по просьбе государя Ли Ань Тонга (1138—1175) ниспослали дождь, спасший страну от засухи. *Линь-нам* — букв.: «К югу от горных хребтов», одно из древних названий земель на территории Северного Вьетнама.

Ле Тхань Тонг.— См. выше.

«Восхваление деревни Тьэ» (стр. 535).— В деревне Тьэ, или Там-тьэ (в современной провинции Нге-тинь, Центральный Вьетнам), автор останавливался во время похода на Тямпу (1470 г.). Там, на скрещении водного и сухопутного путей на юг, часто устраивались ярмарки. «*Круг коричный*» — метафорический образ луны, где, по преданию, росло красное коричное дерево.

«Воин, тоскующий по дому» (стр. 535).— *Двадцать пятый год правления Хонг дык* — здесь: 1495 г.; Хонг дык («Великая добродетель») — девиз царствования Ле Тхань Тонга.

«Ущелье Зеленых туч — Люк-ван» (стр. 536).— *Люк-ван* находится в современной Тхань-хоа. *...в чайнике — мир счастливый.*— Образ, заимствованный из даосских преданий. Некий маг в китайском царстве Лу превращал чайник в подобие мира, с землей, небесами и светилами, и вешал его у себя в опочивальне. Здесь: образ иного мира, обители бессмертных.

Стр. 537. *Задумал желание: мальчик родится, // и впрямь повесили лук...*— В Древнем Китае был обычай вешать у входа в дом боевой лук, если в семье рождался сын.

Данг Минь Кхием (XV — XVI вв.) — государственный деятель и дипломат, автор «Собрания хвалебных виршей о былых деяниях и мужах земли Вьет» — первой поэтической книги о славном прошлом Дай-вьета.

«Полководец Чан Куок Туан» (стр. 539).— Выдающийся полководец (1226—1300), сыгравший важную роль в отражении монгольского нашествия. Считался небесным заступником страны. В первых строках стихотворения — намек на то, что Чан Куок Туан, вопреки предсмертной воле своего отца, одного из братьев Чан Тхай Тонга (см. выше), с которым тот враждовал долгие годы, стал служить государю.

«Ле Кань Туан» (стр. 540).— См. выше.

Нго Ти Лан (XV — XVI вв.). — Согласно «Пространным записям рассказов об удивительном» Нгуен Зы (см.: М., 1974), жена поэта Фу Тхук Хоаня (XV — XVI вв). преподавала при дворе словесность женам Ле Тхань Тонга. Ряд исследователей считает биографические данные о ней и авторство приписываемых ей «Напевов четырех времен года» спорными.

Стр. 541. *Тщетно стремится душа в Ляоси...*— Ляоси — местность в Северо-восточном Китае. Здесь: намек на известное китайское стихотворение танской эпохи; героиня его прогоняет иволгу, своим пением мешающую ей

унестись во сне в Ляоси, где воюет ее муж. *Чжан* — старая китайская мера длины, около 3 м. *Яшмовый кладезь душист.*— Вероятно, намек на написанное ритмической прозой «Фу о лотосе в яшмовом колодце» Мак Динь Ти (см. выше), где автор, из-за уродливой внешности не получивший звания на столичных экзаменах, сравнивает духовные свои достоинства с лотосом, цветущим в яшмовом колодце. Государь Чан Ань Тонг (см. выше), прочитав фу, приблизил Мак Динь Ти ко двору. *Где отыщу я башню из яшмы, // фениксов тройку найду?* — Башня из яшмы, по китайским преданиям, место, где обитали небожители и феи. На фениксах, согласно легенде, в ханьские времена летал некий даос.

«Стихи об ароматной туфле» (стр. 541).— Составители некоторых антологий относят поэму к эпохе династии Чан; однако она, вероятно, написана позднее, возможно, в XV — XVI вв. Это первое из дошедших до нас произведений любовной лирики; оно проникнуто в общем-то несвойственным средневековой вьетнамской этике стремлением к свободе человеческих чувств. Оригинал написан на ханване.

Стр. 542. *Гора Лофу* в китайских преданиях — обитель небожителей и фей. *Тяньтай* — гора, славившаяся красотой ущелий и гротов (в современной китайской провинции Чжэцзян); здесь, по преданию, встречались в ханьские времена земные люди с небожительницами.

Стр. 543. *Пинкан* — квартал веселых домов в Чанъани.

Стр. 544. *На юг от Янцзы умирает весна...*— Имеются в виду цветущие и изобильные земли, якобы лежавшие к югу от Янцзы; здесь: символ места, где царят веселье и радость. *В ущелье Уся голосят обезьяны, // грозят дождем облака.*— По преданию, в ущелье Уся один из государей древнекитайского царства Чу предавался любви с феей-повелительницей горы; дождь и облака — метафорический образ любовной страсти.

Стр. 545. *Договорилась о встрече Цинь-гун, феникс еще поет.*— Согласно старинной китайской легенде, принцесса Цинь-гун полюбила флейтиста, чья музыка была прекрасна, как пение феникса. Она вышла за него замуж, выучилась его искусству, и они оба вознеслись на небеса. *Шеи сплели мандаринские утки...*— В старой китайской и вьетнамской поэзии мандаринские утки — символ верных супругов и влюбленных.

Ву Зюэ (1468—1522) — военачальник. Стихотворение написано в 1518 году, когда автор вместе с государем Ле Тиеу Тонгом и его свитой бежал от мятежников в *Бао-тяу* (ныне — северо-западная окраина Ханоя).

Нгуен Бинь Кхием. — См. вступ. статью, с. 498.

Стр. 550. *Хижина Чунг-тэн* — название дома, построенного Нгуен Бинь Кхиемом у себя в деревне. Намек на «Зеленый океан» — название дома для отдохновения, построенного одним из танских вельмож. *Движенье — Кань, недвижность — Гэнь...*— В старых китайских трактатах «кань» и «гэнь» — названия гадательных триграмм, формой напоминавших воду (волны) и гору; символы движения и неподвижности.

«Поучение ставящим силки» (стр. 551).— По преданию, один из древнекитайских государей, увидев, что птицеловы расставили свои силки со всех сторон, убрал сети, стоявшие с трех сторон, оставив лишь одну сеть, чтобы не извели всех птиц. *Птицу накормишь — // получишь сторицей за милость...*— В одной из китайских дотанских новелл пересказана история о некоем Ян Бао, который в детстве подобрал раненного совой желтого воробья. Мальчик выходил птицу, и она прожила у него более года. Однажды воробей исчез, а ночью Ян Бао явился отрок в желтой одежде, назвался посланцем богини-матери, которого Ян Бао спас, и дал ему четыре кольца из нефрита. Сам Ян Бао и потомки его жили в чести и славе. *Сам уцелеешь, если щадишь черепах.*— В древности в Китае некий военачальник увидел на берегу реки рыбаков, поймавших белую черепаху, он выкупил ее и отпустил на волю.

Позднее, когда враги разбили его войско, он бросился в реку и стал тонуть; тут появилась белая черепаха, вынесла его на другой берег и спасла от погони.

Стр. 552. *Девять Небес* — символическое обозначение столицы в китайской литературе. *...родившийся в год свиньи...*—Намек на основателя династии Сун, китайского полководца Чжао Куан-иня, родившегося в год свиньи; здесь — символ воцарения достойного и справедливого государя.

Стр. 553. *Великий предел.* — См. прим. к с. 238. *Два начала* — инь и ян, см. там же.

Зиап Хай (1516—1590) — государственный деятель, ученый и поэт.

«Написано по случаю посещения Синей горы» (стр. 553).— Речь идет о знаменитой местности Лам-шон («Синяя гора»; в современной провинции Тхань-хоа), откуда был родом Ле Лой (1381—1433), вождь народной войны, завершившейся изгнанием из страны китайцев (1428 г.), основатель династии Ле.

Фунг Кхак Хоан (1528—1613) — выдающийся ученый и поэт, государственный деятель и дипломат, ученик Нгуен Бинь Кхиема.

«Скорбя по случаю смуты» (стр. 554).— Стихи, вероятно, относятся к тому времени, когда государь Ле Тхе Тонг разгромил узурпаторов Маков и вернулся в столицу (1592 г.); но на севере родичи Маков снова подняли мятеж.

Нгуен Зиа Тхиеу (1741—1798) — выходец из знатного рода; рано начал блестящую военную и придворную карьеру; занимался науками (географией, астрономией и др.), исследовал словесность, а также буддизм и даосизм; отказавшись сотрудничать с повстанцами-тэйшонами, вождь которых взошел на престол под именем Куанг Чунга, последние годы жизни Нгуен Зиа Тхиеу прожил отшельником.

«Плач государевой наложницы» (стр. 554) — одна из четырех сохранившихся его книг, в ней заметны стремление к психологической обрисовке героини и утверждение непреходящей ценности человеческих чувств. *Тяжесть алых уз нужна ль?* — Алые (красные) узы — метафорический образ любовных уз; заимствован из китайской поэзии. *Ива студит жар любви...*— В ор. имеется в виду предание об Авалокитешваре (во вьетнамском буддийском пантеоне стало женским божеством Куан-ам), который оживил покойника, обрызгав его водой с ветки ивы (см. прим. к с. 407). *Цвесть в морском песке кусту.*— В ор. речь идет о море, затопившем белые посадки тутовника; в старой словесности — образ извечных жизненных перемен.

Стр. 555. *В море горя я — слеза...*— Имеется в виду «море страданий», в буддийской философии — символ бренного, земного мира, где жизнь человеческая подобна пузырькам пены и ряске, влекомым течением мимо Пристани заблуждений. *Иль на обжиг в печь, как мел...*— Имеется в виду печь, в которой якобы обжигались сотворенные творцом из глины живые существа, прежде чем попасть в мир; символ перевоплощений живых существ. *Словно пар удел людской...*— В ор. речь идет о том, что судьба людей переменчива, как облака, принимающие форму собак; образ заимствован, очевидно, из стихов Ду Фу. *Жизнь, как сон в Нанькэ — мечта...*— Намек на новеллу китайского писателя Ли Гун-цзо (IX в.) «Правитель Нанькэ», герой которой оказался во сне в муравьиной державе, устроенной по образу и подобию людских царств. *Сад погиб, дика трава...*— Сливовый и персиковый сад (двор) — метафорический образ средоточия ученых и чиновных мужей; здесь речь идет о запустении некогда оживленного места собраний.

Стр. 556. *Так чужда луна ветрам!* — Сочетание прохладного ветра с ясной луной символизировало воссоединение влюбленных; здесь же речь идет о разлуке. *Расцветет ли дам-цветок?* — Дам (вьетнамск. транскрип-

ция) — легендарный цветок, распускающийся один раз в три тысячи лет, когда на свет рождается Будда.

Нгуен Хыу Тинь (ум. в 1787 г.) — видный государственный деятель; примкнул к восстанию тэйшонов, затем перешел на сторону «законной» династии Ле и был казнен тэйшонами.

Фам Тхай (1777—1813) — выходец из семьи видного военачальника и придворного, воевавшего против тэйшонских повстанцев; идя по стопам отца, участвовал вместе со своим другом Чыонг Данг Тху в заговоре с целью реставрации свергнутой тэйшонами династии Ле. Заговор был раскрыт. Чыонг Данг Тху умер. Фам Тхай и сестра Чыонг Данг Тху, по имени Чыонг Куи Ньы, полюбили друг друга; но девушку выдали замуж за другого, и она отравилась. Разочарованный в жизни поэт стал скитальцем, кормясь стихами, написанными на случай, пристрастился к вину. События личной жизни Фам Тхая легли в основу сюжета его романа в стихах «Вновь обретенные гребень и зерцало» (стр. 558), где он, как и в лирике, проявил себя великолепным мастером поэтической формы.

Стр. 557. *Перекрасить мир не мог.*— Вероятно, речь идет об участии автора в неудавшемся заговоре с целью реставрации Ле. *Как дерутся меж собой...*— В ор. говорится о том, что за прожитые автором тридцать лет сменились «с ужасающей быстротой» пять или шесть государей. *К Будде на небо пора...*— В ор. автор молит Будду прервать цепь его земных существований (карму) и взять на небо.

Из романа в стихах «Вновь обретенные гребень и зерцало». Стр. 558. *Лунный старец тянет нить...*— В ор. говорится о том, что Лунный старец так и не сплел воедино нити жизней влюбленных. Вьеты верили в то, что на луне живут два духа — Старец и Старица, сплетающие нити жизней супругов. *Углю с яшмою не быть...*— Матафорический образ несовпадения судеб влюбленных. *Лист и птица злы ко мне...*— Здесь объединены в переводе две строки оригинала: «Листья, ревнуя к красивым бровям, топят их (отражения) в синей воде; // Птицы, завидуя алым губам, не приносят (героине) добрых вестей...» Листья (ивы) в старой поэзии всегда сравнивались с женскими бровями; птицы являлись вестниками. В этих строках противопоставляется природа (жизнь) судьбе героини, то есть подчеркивается ее обреченность.

Стр. 558—559. *Ива тянется к любви... Худо быть тростинкой...*— Ива и тростинка — символы женской слабости и беззащитности.

Стр. 559. *Небу, как дитяти...*— В старой поэзии бытовало сравнение Небесного творца со своенравным младенцем, вершащим все по своему капризу. *Написал названья духов.*— В ор. сказано, что Фам Ким начертал имена небесных покровителей Хау Тхо (Духа земли) Данг Тхана (Духа древес, может быть, змей), то есть воззвал к их помощи. *Дурно на таблицах // Сказано о лицах близких.*— В ор. речь идет о «шести близких» (отец, мать, брат, сестра, ребенок).

Стр. 560. *Под звучанье мо и дана...*— Мо. — См. прим. к с. 527; дан — здесь: струнный музыкальный инструмент. *Соблюдай три долга...*— В ор. Куинь Тхы призывает Хонг блюсти четыре добродетели (трудолюбие, достоинство, скромность, нравственность) и три долга (перед родителями, мужем и детьми)— основные нормы конфуцианской этики. *Я уйду и друга // С поворотом круга встречу.*— Здесь: обращение к образу творца вселенной — Великого гончара (см. прим. к с. 521); повороты гончарного круга символизируют перемены жизненных судеб.

Стр. 561. *Лунный дан* — двухструнный щипковый музыкальный инструмент; его круглый корпус сходен с лунным диском. *И далек Сорочий мост.*— См. прим. к с. 449. *Тик Ны* — по-вьетнамски Небесная Ткачиха, *Нгыу Ланг* — Пастух.

Стр. 562. *Лишь Бо-я когда-то // Так сыграть для брата мог бы!* — Речь идет о сановнике древнекитайского царства Цзинь, который славился игрой на цитре. Однажды, путешествуя по реке, он остановился на ночь у берега и заиграл. Его услышал простой дровосек, по имени Чжун Цзы-ци. Оказалось, что он выдающийся знаток игры на цитре. Бо-я (Юй Бо-я) восхитился его тонким пониманием музыки, и они побратались. Через год Чжун Цзы-ци умер. Бо-я пришел на его могилу, сыграл для него и спел, затем порвал струны и разбил цитру. *И на хоангкаме // Вьются мотыльками звуки...* — Хоангкам (вьетнамск. «желтый корень») — сантелларпя, травянистое растение, из корней которого готовят лекарства; побеги хоангкама невысоки, и речь здесь идет о том, что звуки музыки стелются над самой землей. В ор. есть также упоминание и о том, что звуки возносятся ввысь, к кронам деревьев, то есть музыка заполняет пространство. *Да, не за горами // Праздник с фонарями...* — Имеется в виду Праздник любования цветами и фонарями, устраивавшийся столичной знатью; здесь: символ радостной встречи.

М. Ткачев

Хо Суан Хыонг — поэтесса, чье имя означает «Весенний аромат»; родилась, вероятно, во второй половине XVIII века и дожила, по всей видимости, до сороковых годов XIX века. Достоверных сведений о ее жизни мало; однако они дают возможность предположить, что Хо Суан Хыонг была хорошо знакома с жизнью различных социальных слоев и разных областей Вьетнама. Многие ее стихи описывают нелегкую долю женщины в феодальном обществе. Творчеству ее присущи социальные мотивы, обретающие нередко острое социальное звучание. Необычны ее пейзажные зарисовки. Сюда, как и в другие стихи, вторгается чувственная плоть. Человек, его тело, как бы сливается с природой. В двухплановых стихотворениях наряду с пейзажем возникает гротескный образ человеческого тела. Поэзия ее изобилует «простонародными» словами и комическими образами, восходящими, возможно, к народному театру.

«Стихи в дар храму бесславного Чжан И-дуна» (стр. 563).— Речь идет о Чжан И-дуне, китайском военачальнике, носившем титул наместника. В конце XVIII века принимал участие во вторжении во Вьетнам для подавления тэйшонов; однако войска незадачливых карателей потерпели поражение, а Чжан И-дун погиб. Впоследствии вьетнамские правители, желая устранить препятствия на пути нормализации отношений с китайским двором и задобрить его, построили храм в память о битом военачальнике. Чжан И-дун для Хо Суан Хыонг — символ незаслуженно возвеличенного ничтожества.

«Один на двоих» (стр. 563).— *...зябко, тоскливо жене другой.*— В старом Вьетнаме мужчина, кроме старшей жены, обладавшей значительными правами, мог иметь и вторую жену, вступавшую в семью после официального бракосочетания и с разрешения старшей.

Стр. 564. *«Палок отведаю, но пообедаю!»* — Вьетнамская пословица, означает: добиваться цели любыми средствами.

«Перевал Ба-зой» (стр. 564).— *Ба-зой* («Тройной перевал») находится на стыке провинций Тхань-хоа и Ха-нам-нинь. *Благонравья радетели...*— конфуцианские ученые, «добродетельные мужи».

«Девушка, заснувшая в полдень» (стр. 564).— *В Персиковой долине...*— См. с. 225—227.

«Упрекаю Тиеу Хо за дерзость» (стр. 566).— *Тиеу Хо* — один из друзей поэтессы. Устная традиция отождествляла его с писателем Фам Динь Хо (1768—1839). Некоторые исследователи возражали против этого, считая, что игривый тон посланий якобы не соответствует добродетельному нраву Фам Динь Хо.

«Чану, правителю Шон-нам-ха» (стр. 567).— Правитель Чан — близкий друг Хо Суан Хыонг, был, как и она, уроженцем округа Хоан (в современной провинции Нге-тинь).

Нгуен Зу (1765—1820) — величайший из вьетнамских поэтов, родился в чиновной семье с давними литературными традициями. Рано преуспев в науках, начал карьеру военачальника при последних государях Ле, когда феодальное государство переживало тяжелый кризис, а многочисленные крестьянские волнения вылились в мощное восстание тэйшонов. Нгуен Зу, участвовавший сначала в сопротивлении повстанцам и разбитый ими, попытался тайно покинуть двор и бежать к князю Нгуен Аню (будущему основателю династии Нгуен), обосновавшемуся на юге, но был схвачен и брошен в темницу. Выйдя из тюрьмы, жил как частное лицо; затем, после воцарения Нгуенов, по настойчивому их приглашению снова пошел на службу, ездил послом в Китай, был назначен вице-министром церемониала. Он не стремился к карьере, часто пытался уйти в отставку под предлогом нездоровья; умер в тогдашней столице Хюэ.

«Все живое» (стр. 568).— Поэма выдержана в жанре буддийских ритуальных сочинений, напоминающих «видения» в средневековых европейских литературах. Повествуя о душах умерших, ждущих, согласно учению о карме, очередного перевоплощения, Нгуен Зу раскрывает бесчисленные драмы эпохи; рисует представителей различных сословий, осуждая движущие власть имущими алчность, себялюбие и жестокость. Произведение это, написанное по-вьетнамски, создано, очевидно, в последнее десятилетие жизни поэта. *Пятнадцатый день седьмой луны...*— Согласно буддийскому учению, в этот день Будда прощает бесприютные души умерших.

Стр. 569. *Горы на плечи взвалить, забрать все реки подряд.*—Здесь имеется в виду захват власти в государстве.

Стр. 570. *Ночами о Чжоу лопочет им тьма, // с рассветом по И они сходят с ума...*— Чжоу, И — имена знаменитых государственных деятелей в Древнем Китае.

Стр. 571. *Донг* — основная денежная единица во Вьетнаме.

Стр. 572. *Для жизни луны и цветка?..*— То есть для жизни, растраченной в беспутстве.

Стр. 573. *Тиеу Зиен* — буддийское божество, ведавшее раздачей золота бесприютным душам.

«Лежу больной» (стр. 574).— Это стихотворение, как и все публикуемые здесь лирические стихи Нгуен Зу, написаны на ханване.

«Стенания истерзанной души» (стр. 576).— Поэма, известная также под названием «Повесть о Кьеу», написанная по-вьетнамски, создана, вероятно, в первом десятилетии XIX века. Сюжет ее заимствован из романа китайского писателя XVI — XVII веков, носившего псевдоним Циньсинь Цайжэнь, «Повествование о Цзине, Юнь и Цяо», который, однако, забыт, и о нем даже в Китае вспоминают теперь лишь в связи с поэмой Нгуен Зу. Поэт воспринял и продолжил древнюю традицию вьетнамской пейзажной лирики, как бы сводя воедино поэзию несломленной, хотя безмерно униженной и исстрадавшейся человеческой души и поэзию идеальной природы, изображенной, по традиции, несколько отвлеченно. Любовь Кьеу и Ким Чонга — этот прекрасный мир, разрушается грубым вторжением жизни. Трагическая судьба Кьеу, в образе которой душевная чистота соседствует с телесной опороченностью, стала как бы художественным открытием для вьетнамской литературы тех лет. Хотя первопричиной несчастий героини Нгуен Зу представляется судьба в буддийском ее истолковании (карма), но на страницах поэмы немало верных социальных наблюдений, разоблачающих стяжательство, алчность и несправедливость. Не случайно защитником Кьеу автор делает вождя повстанцев Ты Хая, противостоящего всему укладу тогдашней жизни.

Стр. 578. *Циньские облака.*— Намек на традиционное поэтическое выражение «циньские облака и чжаоский дождь»; встреча облаков и дождя метафорически обозначала соитие; Цинь и Чжао — древнекитайские княжества. Здесь упоминание о циньских облаках означает разлуку с любимой.

Стр. 579. *Алый лепесток* (красный листок).— В столице танского Китая Чанъани ежегодно молодые люди, выдержавшие экзамен, писали на красной бумаге свои имена и отправлялись с этими «верительными карточками» в квартал Пинкан, где жили певицы и гетеры, заводить знакомства. Впоследствии красный листок стал символом стихотворного любовного послания.

Стр. 580. *Гуд мотыльков и жужжание пчел...*— Пчелы и мотыльки — метафорическое обозначение молодых повес, посетителей зеленых теремов. *Кожа моя загрубела.*— По тогдашним понятиям, загрубевшая кожа на лице — признак бесстыдства.

Стр. 582. *...бросился в сад Зимородков бегом...*— То есть в сад перед домом, где жила некогда Кьеу.

Стр. 584. *Цитра и гусли связали наши сердца навсегда.*— Согласное звучание цитры и гуслей — традиционный образ из «Шицзина», символ супружеского согласия.

Н. Никулин

ЯПОНИЯ

ИЗ АНТОЛНГИИ «МАНЪЁСЮ»

Все переводы из «Манъёсю» даются по книге: «Манъёсю».— «Собрание мириад листьев», т. 1—3, перевод с японского, вступительная статья и комментарии А. Е. Глускиной, М., «Наука», 1971—1972.

ПЕСНИ ВОСТОЧНЫХ ПРОВИНЦИЙ

3376. *Помашу тебе я рукавом...*— Распространенный образ в любовных песнях «Манъёсю» (далее — М.). Он перешел и в классическую поэзию как образ тайной любовной связи, любовный знак, призыв к встречам, выражение любовных чувств. *Цветы укэра* (Atractylis lancea) — разновидность хризантем, растут в горах, цветут осенью желтоватыми, либо лиловатыми, либо красноватыми цветами, которые полностью никогда не раскрываются и не имеют четкой интенсивной окраски, почему и являются образом затаенной любви. Они же — символ вечного и неизменного, так как никогда не вянут (вроде бессмертника).

3449. Песня-заклинание женщины, ожидающей любимого домой. Строки 1—3 описывают примету или, вернее, магический акт, чтоб вызвать свидание с возлюбленным: в антологии часто можно встретить песни, где возлюбленная кладет в изголовье возлюбленному свой рукав.

Белотканый (сиротаэ-но) — постоянный эпитет к платью, рукавам, отражает особенности женской одежды тех времен; впоследствии стал употребляться просто для обозначения белого цвета. Тогда для женской одежды были характерны два цвета — белый и красный. Эти цвета и в современной Японии являются основными для женской одежды в старинных обрядовых земледельческих церемониях и играх. Верхняя часть одежды, в том числе рукава,— белая, низ одежды в виде широкой складчатой юбки, надеваемой поверх платья, красного цвета. Такой вид часто имеют и жрицы синтоистских храмов, и «саотомэ» — «майские девушки» — главные действующие лица в обрядовой посадке риса в деревнях и по сие время.

3460. В песне упоминается ниинамэ — популярнейшее празднество — подношение *первого риса* богам, во время которого крестьяне собирались в доме старосты и славили богов, принося им первый рис. Время это обычно связано с любовными запретами, поэтому женщина в песне и упрекает дерзкого влюбленного, посмевшего стучаться в дверь, когда муж ушел на совершение обряда, а она должна предаваться молитве и уединению.

4327. Записи *песен пограничных стражей* с указанием имен авторов были сделаны писцами военного ведомства, одновременно выполнявшими обязанности вербовщиков пограничных стражей. Эти песни были переданы поэту Отомо Якамоти, который в это время (в 755 г.) служил в военном ведомстве. Песни записывались, видимо, для того, чтобы судить по ним о настроении людей, взятых на военную службу. При составлении Якамоти поместил их в последнюю из книг своего лирического дневника (XX книга), относящуюся к данному времени.

ПЕСНИ ЗАПАДНЫХ ПРОВИНЦИЙ

2475. *«Не забывай»-трава* (или «воспоминаний-трава») (Polypodium lineare) — многолетнее растение, обычно растет на кровле старых домов, на скалах. *Трава «забудь-любовь»* — старинное народное название. В названиях трав, употребляемых в различных магических обрядах и заговорах, отражена древняя вера японцев в магию слов (котодама).

2756. *Цукигуса* — «лунная трава», коммелина; очень быстро меняет свой цвет, поэтому служит образом всего непрочного.

2981. *Сверкает зеркало кристальной чистоты...* — В синтоистских храмах над алтарем всегда висит зеркало — символ богини солнца Аматэрасу.

1290. *«Не говори»-трава* (напорисо) — один из видов морских водорослей, растущих глубоко на дне моря. Песня похожа на заговор.

2352. Речь идет об обрядовой пляске, совершаемой с целью упрочить землю, на которой стоит дом, и благополучие тех, кто будет жить в нем. Последние слова песни относятся, как видно, к новобрачной.

2365. В М. неоднократно встречаются песни, посвященные любви к чужой жене. Полагаем, что истоки этого цикла песен связаны с обычаями брачных игрищ, во время которых разрешалось делать своей избранницей чужую жену. *Словно порванная яшмовая нить...* — Образ смятения дум, чувств; разлученной любви и т. п.

ПЕСНИ СЕВЕРНЫХ ПРОВИНЦИЙ

3878. Эту песню связывают с рассказом из древнекитайской летописной книги «Весны и Осени Люя» (см.: «Поэзия и проза Древнего Востока», с.335): некий житель царства Чу, переправляясь через реку, уронил в нее меч; сделав на борту ладьи зарубку против места паденья, он поплыл дальше в надежде потом отыскать меч по этой зарубке.

Топоры из *Сираги*, то есть корейские топоры, были высокого качества и в те времена считались особо ценными. Есть предположение, что это просто топор корейского образца, как и «сираги-фунэ» — лодки корейского образца, то есть сделанные по типу корейских. Однако, так как в одной из летописей того времени указывается, что уже существовало непосредственное общение с Кореей и ввозились топоры из Кореи, мы в переводе придерживаемся первого толкования.

Васи — ритмичный припев, характерный для народных песен.

3879. Высказывается предположение, что это песня раба, распеваемая им за изготовлением сакэ — рисовой водки, с иронией обращенная к себе. *Раб* (яцуко) — позднее стало употребляться как бранное слово.

3881. Песня-заговор, оберегающий любимого в дороге.

3882. *Сасиба* — обычная принадлежность знатных людей, веер из птичьих перьев с длинной ручкой. Употреблялась в качестве опахала, которое держали слуги.

ПЕСНИ-ЛЕГЕНДЫ

1740—1741. Знаменитая народная легенда из сборника поэта Такахаси Мусимаро (первая половина VIII в.). Он слыл знатоком и любителем древнего фольклора. Служа в различных провинциях, собирал и записывал и, вероятно, слегка обрабатывал народные легенды и песни. Лучшие легенды в М. взяты из его сборника. Легенда о рыбаке Урасима в разных вариантах встречается в различных письменных памятниках. Данный вариант считается наиболее древним. *Кацуо* — японская макрель. *Тай* — вид морского окуня.

1807—1808. *Тэкона* — красавица, воспетая в песнях и легендах. Ей посвящены анонимные песни и песни лучших поэтов М. Тэкона иногда употребляется как нарицательное имя для красавиц.

ПЕСНИ, СВЯЗАННЫЕ С ПРЕДАНИЯМИ

3786—3787. Предание о девушке Сакураноко (Сакурако) бытует в разных вариантах. Двое отважных юношей добиваются любви одной красавицы, а она, не в силах сделать выбор либо тайно любя одного из них, предпочитает умереть. Обычно красавица бросается в пруд, озеро, реку. Здесь приведена несколько необычная картина ее гибели. Сюжет предания встречается в М. в разных вариантах, один из них представлен в предании о девушке Кадзураноко, позднее встречается и в классических произведениях японской литературы, питавшейся богатством устного народного творчества (см. перевод Е. М. Колпакчи, «Ямато-моногатари» в книге: Н. И. Конрад. Японская литература в образцах и очерках. Л., 1927, с. 163).

Первая песня написана в аллегорическом плане. Имя девушки Сакураноко — «Дитя вишни», «Вишенка», и юноша, говоря о вишне (сакура), разумеет под ней погибшую возлюбленную. В песне упоминается о старинном обычае, когда весной украшали себя цветами, втыкая их в волосы либо надевая венки на голову. Некоторые комментаторы считают, что песня первоначально означала просто сожаление об опавших цветах и лишь затем была приписана этой легенде. Однако такого рода аллегорические песни, посвященные возлюбленной, неоднократно встречаются в М., и эта песня, по-видимому, не представляет исключения.

Унэмэ — придворные девушки, обычно деревенские красавицы, которых полагалось согласно закону представлять на службу в императорский дворец. Они играли роль наперсниц императриц, обучались искусству танцев и песням и развлекали на пирах.

3808. Полевые игры (та-асоби), о которых говорится в песне, обычно связаны были с земледельческими обрядовыми действами, которые должны были способствовать произрастанию риса. Круглое *зеркало* в Японии — одна из трех священных реликвий (зеркало, меч, яшма); оно является символом богини солнца Аматэрасу. В песнях оно служит образом внешней и внутренней красоты, а также образом чтимого и ценного.

Какиномото Хитомаро. — См. вступ. статью, с. 590. Известно, что он занимал скромную должность при дворе (служил у принца Хинамиси, затем у принца Такэти) и умер в 707 (709?) году вдалеке от столицы, в провинции *Ивами*, где провел последние годы жизни.

37. *Ёсину* (в М.; далее Ёсино) — местность в южной части провинции Ямато, славящаяся красотой; место отдыха государей с давних времен. По сию пору славится цветением вишен. Эта песня, как и п. 48 — каэси-ута.

131. Посвящена разлуке с женой. Предполагают, что Хитомаро ехал в столицу, как и все провинциальные чиновники, отчитываться о делах своей провинции.

199. *Принц Такэти*, сын государя Тэмму (673—686), умер в 696 г; был главным полководцем армии во время мятежа *Дзинсин-но ран* (Дзинсин — обозначение 672 года в традиционном счете годов), когда младший брат умершего государя Тэндзи, будущий государь Тэмму, пошел войной на государя Кобуна (сына Тэндзи) и победил.

Ватараи — местность в провинции Исэ, где находится храм великой богини Аматэрасу.

207. *Кару* — местность в провинции Ямато. *В майский день // Зеленый плющ // Ложем будет нам!* — В мае земледельческие обряды, связанные с посадкой риса, заканчивались на полях. *С веткой яшмовой гонец.*— В старину к ветке дерева «адзуса» привязывали яшму и посылали гонцом в знак привета либо с особым известием. Иногда посылали подарок, к которому прилагалась песня или письмо. Поэтому яшмовая ветка стала постоянным эпитетом к слову «гонец». *Словно ясеневый лук, // Прогудев, спустил стрелу...*— Постоянный образ неожиданного горя, страшной вести и т. п. *Унэби.*— Согласно легенде, изложенной в «Описании земли Харима» («Харима-фудоки»), гора Унэби была так красива, что ее полюбили две горы: Кагуяма и Миминаси — и поспорили из-за нее.

217. Песня посвящена гибели придворной красавицы (унэмэ) из местности Цу уезда Киби провинции Биттю, бросившейся в реку.

219. *Дитя из Оцу.*— Предполагают, что унэмэ жила со своим мужем в Оцу, провинция Оми. В старину унэмэ обычно звали по названию местности, из которой они происходили (см. п. 217).

220. Песня была сложена, по-видимому, по дороге в Цукуси, так как о путешествии Хитомаро по провинции Сануки неизвестно. Песни, сложенные при виде погибших в дороге людей, неоднократно встречаются в М. Историк Хани Горо считает, что это были крестьяне, возвращавшиеся после отбывания трудовой повинности и умершие в пути от голода. *Лик являя божества...*— В японской мифологии страна, земля (провинция) олицетворялась в виде божества. *...путь, // Что отмечен был давно // Яшмовым копьем...*— Образ, сложившийся на основе мифа о том, как бог Ниниги, внук богини солнца Аматэрасу, спускался на землю с небес, чтобы править страной Ямато, а его проводник — мифическое существо Сарута-хико — имел при себе копье, которым указывал дорогу.

221. *Ухаги* (совр. «ёмэна»; Asteromaca indica или Aster indicus) — овощи невесты, их собирают во время обрядовых полевых игр. Многолетнее съедобное растение, цветет осенью бледно-лиловыми цветами, в пищу идут листья; растет в изобилии на полях у гор Сами.

222. *...вместо изголовья, // Где шелк ложился рукавов...*— Рукава женской одежды, положенные в изголовье, то есть объятия жены — постоянный образ, перешедший из народной в литературную поэзию.

223. *Подножье скал заменит изголовье...*— В старину хоронили в пещерах, среди скал, в горах.

304. *Владенья отдаленные.*— Имеется в виду область Дадзайфу на острове Кюсю. Дадзайфу — название военного административного округа и

центра в Цукуси (старинное название провинций Тикудзэн и Тикуго) на острове Кюсю.

502. В начале лета у оленей выпадают рога и летом едва начинают появляться новые.

1068. Трехдневную луну часто сравнивают с *ладьей*. Этот образ встречается и в анонимных песнях М., и в японском сборнике китайских стихов «Кайфусо», в песне императора Момму.

Я м а б э А к а х и т о. — См. вступ. статью, с. 590; был незначительным придворным чиновником. Много путешествовал по стране, и большинство песен его были сложены во время путешествий.

317—318. *Фудзи* — священная гора, любимая и почитаемая японским народом, воспетая в песнях, поэмах, легендах. Ода считается самым замечательным произведением Акахито. Особой славой пользуется каэси-ута. Она вошла отдельно в сборник ста лучших песен, составленный в XIII в., и до сих пор сохранила самостоятельную славу. *Суруга* — провинция на востоке Хонсю.

372. *Касуга* — горы, долина и местность к востоку от Нара.

919. Представляет собой самостоятельную песню. К ней следующее примечание в тексте: «Песня без даты. Однако говорится, что (Акахито) сопровождал императора во время посещения им Яшмового острова. Поэтому, исходя из даты императорского путешествия, ее поместили здесь (вслед за предыдущими песнями)». *Вака* — бухта на территории провинции Кии (юг Хонсю), славится живописными видами.

925. *Ночь, как черные ягоды тута...* — Черные ягоды тута — постоянный эпитет к слову «ночь». *Хисаги* (Mallotus japonicus) — дерево из семейства дубовых; растет в горных долинах, листья длинные, овальные; летом цветет пышными соцветиями мелких бледно-желтых цветов. *Тидори* — японский кулик.

942. *Остров Карани* находится во Внутреннем Японском море близ южной части Хонсю. *Адзи* — род диких уток с желто-черным оперением.

944. *Ямато* — центральная провинция Японии, юго-запад Хонсю, родина поэта.

1001. Относится ко времени пребывания Акахито во дворце Нанива в свите государя Сёму весной шестого года Тэмпё (734 г.) в третьем месяце. *На охоту светлейшую.* — Имеется в виду охота, в которой участвует сам государь. *Пурпурный* — парадный цвет в те времена.

Я м а н о э О к у р а. — См. вступ. статью, с. 591; был придворным чиновником, жил некоторое время в Китае. Окура знал китайский язык, литературу и философию, писал стихи на китайском, в его творчестве заметны следы влияний китайской поэзии. Большинство произведений написано в пору пребывания его в южной Японии, на острове Кюсю. Только под конец жизни Окура вернулся в столицу Нара, где и умер.

892. «Д и а л о г б е д н я к о в» является лучшим произведением Окура. В нем он первый из поэтов древней Японии поднял голос в защиту бедняков. *Мутное сакэ* — неочищенная рисовая водка.

804—805. «Сложено в уезде Кама двадцать первого дня седьмого месяца пятого года Дзинки (728 г.) губернатором провинции Тикудзэн Яманоэ Окура» (прим. к тексту). *«Восемь великих страданий»*, согласно буддийским учениям, слагаются из четырех страданий бытия: жизнь, смерть, старость, болезни, и из четырех страданий, заключающихся в чувствах и в действиях: разлучаться с тем, кого любишь, встречаться с тем, кого ненавидишь, искать и не находить и испытывать муки совести. *«Радости многих лет»* — букв.: «сотен лет»; здесь «сто» — показатель множественности.

«Печаль о седеющих волосах» — букв.: «печаль о двух волосах». В то время Окура было шестьдесят девять лет. Образ старости, как отмечают ком-

ментаторы, заимствован из китайских источников: «Цзо-чжуань»—летописи царства Чжоу (XII — III вв. до н. э.) и поэмы Пань Юэ, посвященной осени. *Жемчуг дорогой // Из чужих краев надеть...*— То есть жемчуг, привезенный из Китая или Кореи. *...алый шлейф — платья красного подол...*— См. прим. к п. 3449. Заслуживает внимания тавтология эпитетов, характерная для народных песен. *...черных раковин черней...*— Речь идет о раковинах мина, внутри совершенно черных.

876. Табито (см. ниже), получив чин первого советника двора, возвращался в Нара. Это был его прощальный пир перед отъездом.

882. Окура выражает надежду на то, что его друг Табито похлопочет о его возвращении в столицу. Возможно, что он, как и Табито, в свое время был выслан за пределы столицы. Социальные проблемы, затронутые в песнях Окура, сочувствие беднякам позволяют думать, что его пребывание на Кюсю имело характер ссылки, тем более что в те времена высылка за пределы столицы была обычным наказанием для провинившихся чиновников. В песне говорится о его надежде на хлопоты друга, которому возвращена милость двора и который получил высокое назначение. После песни следует примечание, указывающее, когда были сложены песни 880—882: «Шестой день двенадцатого месяца второго года Тэмпё (730 г.). Почтительно поднесено (Отомо Табито) губернатором провинции Тикудзэн — Яманоэ Окура».

903. После песни следует примечание, указывающее на дату сочинения песен 897—903: «Сложено в третий день шестого месяца пятого года Тэмпё (773 г.)».

904. *Семь родов сокровищ есть.*— Говорится о семи буддийских сокровищах. В «Сутре Амида» это: золото, серебро, изумруд, агат, жемчуг, горный хрусталь, перламутр. В разных сутрах эти драгоценности перечисляются по-разному, но обычно не совпадают лишь две или три из них. *Травы счастья* («сакикуса»: от «саки» — «счастье», «куса» — «травы», «растения»).— В старину так называли хиноки — «солнечные деревья», японский кипарис; в песнях М. встречаются как «священные», «прекрасные деревья». Однако существует мнение, что это горные лилии (яма-юри); они использовались в обрядах гадания о судьбе, счастье, о счастливом возвращении и т. п.

905. Песня отражает буддийские представления Окура о посмертном существовании души, в отличие от его элегии, где отражены чисто японские синтоистские обычаи: обращение к богам неба и земли с мольбой о благополучии, о долгой жизни и т. п. Существование синтоистских и буддийских элементов в верованиях японцев того времени встречается в М.

906. У древних японцев существовало одновременно два представления о загробном мире: и подземное царство, и «путь на небеса». В буддийских представлениях о загробной жизни также есть путь на небеса. Вера в бессмертие души, в переселение душ и круговорот жизни и смерти определила шесть дорог для уходящего из этого мира: три хороших пути и три плохих. Один из хороших путей — это путь на небеса. Еще два пути — это переселение души в демона (асура) и в человека. Плохие пути — это путь в ад, затем переселение души в животное и в «голодного черта», грешника, наказанного невозможностью есть пищу.

Отомо Табито. — См. вступ. статью. Был придворным чиновником, занимал высокие должности, но подвергся опале и жил в ссылке на острове Кюсю, только под конец жизни, в 730 г., ему было разрешено вернуться в столицу. Наибольшей известностью пользуется цикл его песен, прославляющих вино, в них он высмеивает буддийских и конфуцианских книжников. Он был очень образованным человеком, знал китайскую литературу, писал китайские стихи. Табито можно считать зачинателем сатирического жанра в японской поэзии. В данном цикле песен Табито под предлогом восхваления вина не только издевается над конфуцианскими и буддийскими книжниками,

но и подвергает критике официальную политику японского двора того времени, покровительствовавшего буддизму и конфуцианству.

339. Табито имеет в виду легенду, записанную в китайской «Истории Трех царств», где говорится, что в свое время, когда государь Тайцзу (Цао Цао, основатель династии Вэй) запретил употребление рисовой водки, ее стали пить тайно и называли «святой», если речь шла об очищенной водке, и «мудрецом» неочищенную водку.

340. *Семь великих мудрецов.*— Имеются в виду китайские «Семь мудрецов из бамбуковой рощи», жившие в III в.: Цзи Кан, Юань Цзи, Шань Тао, Лю Лин, Юань Сянь, Сян Сю, Ван Жун. В предании говорится, что во времена Цзинь семь мудрецов уединились в бамбуковой роще, занимались поэзией и философией и услаждали себя вином и игрой на лютне.

343. Содержание песни навеяно китайской легендой о Чжэн Цюане, который перед смертью просил, чтобы кости его зарыли за домом гончара для того, чтобы они превратились в глину и из них сделали сосуд или чашу для вина и он пропитался насквозь вином.

345. Эта и следующая песни носят парный характер. В ней Табито выражает как бы протест против «сокровищ» буддизма, широко пропагандировавшегося в те времена. Выражение «сокровища, не имеющие цены» взято из буддийской «Сутры Лотоса».

346. В «Исторических записках» Сыма Цяня говорится о герое Суйгун Чжу Яне, который в награду за помощь змею получил от него «озаряющий ночь нефрит». Кроме того, в «Чжаньго це» («Планы сражающихся царств») описывается случай, когда князь Чу преподнес князю Цинь нефрит, озаряющий ночь. В «Шуицзи» («Описаниях удивительного», V в.) имеются записи о том, что из стран южных морей был получен также «нефрит, озаряющий ночь».

349. Первые две строки песни — несколько измененная цитата из книги Сыма Цяня.

350. В этой песне Табито выражает презрение к придворной среде, где чиновники подобострастно молчат и подражают философствующим конфуцианцам и буддистам.

331—332. Сложено Табито на Кюсю, когда он был назначен генерал-губернатором Дадзайфу. Ему было в то время более шестидесяти лет.

Речь идет о покойной жене поэта (она умерла вскоре по приезде к нему на Кюсю). Ныне Табито возвращается в столицу.

575. Песня, посланная из Нара другу в Цукуси.

806. Написаны Табито во время его пребывания на Кюсю. Они адресованы другу, о котором известно лишь, что он жил в столице. Судя по его ответу, он хлопотал о возвращении Табито. Можно предположить, что это Фудзивара Фусасаки, занимавший высокие посты при дворе; переписка с ним помещена в М.

960. *Хаято* — название племени и местности на острове Кюсю. Скалы *средь быстрых потоков* в этой местности славятся редкой красотой. Хаято, или кумасо — племя малайского происхождения. Это были одни из первых обитателей японских островов. *Ёсину.*— См. прим. к п. 37.

1639—1640. Из цикла «Разные песни зимы». Сложены на Кюсю.

О т о м о Я к а м о т и. — См. вступ. статью, с. 591. Сын поэта Отомо Табито. Служил при дворе, занимал разные должности. Часто впадал в немилость, подолгу жил в провинции и лишь под конец жизни был возвращен в столицу. Род Отомо был заподозрен в измене государю и подвергся опале, это ускорило смерть поэта, который был посмертно лишен всех званий. Он был помилован лишь в 897 году. Одними из лучших его произведений являются песни, сложенные в изгнании, откуда он посылал песни-послания своей жене — старшей дочери поэтессы Отомо Саканоэ (см. ниже).

470. Песни 470—474 Отомо Якамоти посвящает умершей возлюбленной; личность ее не установлена.

771. *Куни* — резиденция государя Сёму в провинции Ямасиро. В песне использована поговорка: «И во лжи есть доля правды».

994. Брови были предметом особого внимания во внешности женщин, их сбривали, и тушью накладывался изогнутый рисунок, значительно выше естественного положения бровей, и это было главным критерием в оценке внешности. Характерно поэтому, что в любовной лирике М. воспеваются не глаза любимой, а ее брови, и только в народных песнях изредка встречается «мэгувасико» — «узкоглазое дитя», то есть «прекрасное дитя».

1491. *Цветы унохана* (Deutzia crenata) — цветут в мае белыми цветами. Кукушка начинает петь, когда цветут унохана, ее любимые цветы.

1597—1599. Песни, по-видимому, были написаны на поэтическом турнире на тему об осени. Песня 1597 считается очень искусной и построена на игре слова «осенний». *Хаги* (Lespedeza bicolor) — один из семи осенних цветов. Постоянный образ осени. Цветет мелкими цветами красноватого и лилового цвета. «Песни 1597—1599 были сложены осенью в восьмой луне пятнадцатого года Тэмпё (742 г.)» (прим. в тексте).

1602—1603. Судя по заголовку, обе песни написаны на поэтическом турнире на тему об олене, в окрестностях гор новой столицы Куни. Жена Якамоти оставалась в Нара, и, возможно, песня передает его собственную тоску. «Песни 1602 и 1603 были сложены шестнадцатого дня восьмой луны пятнадцатого года Тэмпё (742 г.)» (прим. в тексте).

1649. *На ветках сливы зимней...* — То есть цветущей зимой. По народным приметам, крики гусей и моросящий осенний дождь заставляют алеть листву; от росы, выпадающей обильно осенью, начинают цвести хаги, снег же способствует цветению сливы. Слива и снег — обычные парные образы.

3911. Песню предваряет предисловие: «Начали цвести померанцы, и все время прилетает петь кукушка. Как можно в такое время не выразить своих чувств, глядя на это? Вот я и сложил три песни и только ими и утешаю загрустившее сердце». *Тринадцатый год Тэмпё* — 740 г.

3913. *Цветы их опадут...* — По народным приметам, от громкого пения кукушки цветы опадают. В прим. к тексту сказано, что песни 3911—3913 Отомо Якамоти послал из столицы Куни в ответ своему младшему брату Отомо Фумимоти третьего дня четвертой луны того же года.

3962. *Отгибая рукава...* — По народным приметам, отогнутые рукава должны вернуть назад уехавшего или ушедшего из дома.

3964. После песни прим. в тексте: «Весной девятнадцатого года Тэмпё (747 г.) двадцать первого дня второй луны в резиденции губернатора провинции Эттю были сложены эти песни, во время тяжкой болезни, в печали и страдании». Губернатором Эттю был Отомо Якамоти. *Эттю* — одна из пяти северных провинций (см. ниже). *Коси* — общее название пяти северных (по отношению к Нара) провинций на Хонсю; далекий глухой край. После песни 4015 следует прим. к тексту: «В селении Фуруэ уезда Имидзу был упущен сокол. Он был очень красив и выделялся среди других уменьем ловить фазанов. Однажды сокольничий Ямада Кимимаро нарушил порядок и вышел на охоту с ним в неподходящее время. Сокол взлетел ввысь и скрылся среди облаков, никак нельзя было вернуть его. Были расставлены всюду сети, ожидая его, молились богам, поднося им дары, и я надеялся, что поймаем его. И вот во сне явилась ко мне юная дева и сказала: «Дорогой господин мой, не мучайся и не терзайся душой. Твой сокол будет скоро пойман!» Я проснулся, и радость наполнила мое сердце. И тогда преисполнился я надежды и сложил эти песни. Губернатор провинции Отомо Якамоти. Сложено двадцать шестого дня девятой луны» (дата проставлена петитом).

4031. Обычно вино изготовляли и подносили богам осенью, при этом молили о долголетии. Песня обращена к возлюбленной. *Священный гимн* (норито) читался жрецами с целью очищения от грехов.

4054. *Луну заменят нам зажженные огни...*— Речь идет о ночном пире. В старину масло для фонарей очень берегли, и обещание заменить луну ярко зажженными огнями выражает особенное желание увидеть кукушку.

4122. Первый год Тэмпё-кампо — 749 г.

4125. Одна из многочисленных песен, посвященных *Танабата* — Ткачихе — или легенде о любви двух звезд, разлученных Небесной Рекой (Ясунокава).— См. прим. к с. 320, 449.

4127. В тексте прим.: «Эти песни 4125—4127 были сложены Отомо Якамоти, когда он глядел на Небесную Реку в седьмой день седьмой луны» (749 г.).

4147. *И раньше, в древности, бывали люди...*— Полагают, что имеются в виду песни Акахито, воспевающие тидори (см. п. 925).

4193. *Фудзи, фудзинами* — вистария (японская глициния), цветы ее длинными гроздьями спускаются вниз, отчего их часто сравнивают с волнами в песнях М. и в позднейших классических антологиях X—XIII вв.

4516. *Третий год Тэмпё-ходзи* — 759 г.

Принцесса Н у к а д а (вторая половина VII в.) — одна из лучших поэтесс М. В песнях М. она выступает как предмет любви и раздора двух братьев — государей Тэмму и Тэндзи. Вначале была возлюбленной принца О-ама (будущего государя Тэмму), родила ему дочь. Впоследствии стала женой старшего брата — государя Тэндзи и уехала к нему во дворец Оцу, в провинции Оми. Последние годы жизни провела в Ямато.

16. *Фудзивара Каматари* (первоначальное имя: Накатоми Камако; 614—669) — крупнейший государственный деятель, поэт; основатель знаменитого рода, давшего на протяжении многих сотен лет множество выдающихся государственных деятелей, ученых, поэтов, художников. Песня принцессы Нукада — самая ранняя из сохранившихся на эту тему. В дальнейшем сравнение весны и осени встречается часто в поэзии, особенно в период Хэйан. Этот мотив заимствован из поэзии Древнего Китая, и поэтические турниры на эту тему устраивались в подражание китайским обычаям.

17. Песня сочинена во время перенесения столицы из Асука в Оцу, в провинции Оми (667 г.), в пути, когда Нукада покидала Асука, где она оставляла своего прежнего возлюбленного (Тэмму) и направлялась к его старшему брату.

20. Песня адресована Тэмму; сложена, когда Нукада уже стала женой Тэндзи. В «Нихонсёки» говорится, что в пятый день пятого месяца в седьмом году своего правления (668 г.) Тэндзи охотился в полях Камо (прим. к тексту). Этот день является популярным праздником «Танго-но сэкку» — «Праздником мальчиков». В этот день устраивали охоту за лекарствами (кусуригари), точнее, охоту за оленями, вторичные рога которых употребляются в качестве лекарства. Кроме того, этот день считался важным для определения погоды на весь сезон. *Мурасаки* (Lithospermum erythorhizon) — многолетняя трава, цветет мелкими белыми цветами, похожими на фиалки, корень ее употреблялся для окрашивания тканей в фиолетовый цвет с красноватым оттенком (мурасаки) и считался ценным красителем, ее специально разводили на участках, куда вход посторонним был запрещен. Здесь поля мурасаки служат аллегорией чужой собственности. *Запретные поля* (симэну) — поля, оцепленные священными рисовыми веревками в знак запрета ступать на них посторонним. По народным приметам, если в то время, когда думаешь о любимом, подует ветер, значит, любимый вспоминает о тебе, любит и придет.

527—528. *Фудзивара Маро* — второй муж Отомо Саканоэ. *Река Сахо*

протекает в местности Сахо (где находилась резиденция рода Отомо, родина Отомо Саканоэ,— там, в селении Саканоэ, был ее дом).

Отомо Саканоэ (VIII в.) — одна из лучших поэтесс М. Сводная сестра Отомо Табито, тетка Якамоти; одна из ее дочерей, известная под именем «старшей дочери Отомо Саканоэ», стала женой Якамоти. Некоторое время жила у Табито на Кюсю, в 730 году вернулась в Нара.

619. *Нанива* — старинное название бухты Осака.

761. *Птица средь течения быстрых рек* не может добыть себе пищи, поэтому служит здесь образом беспомощного человека.

993. В песне говорится о древнем народном поверье: если зачешется бровь, значит, будет свидание с любимым человеком (см. Отомо Якамоти, п. 994).

3929. См. прим. к п. 3964, 4011. Переписка Отомо Саканоэ и Отомо Якамоти толкуется по-разному: 1) преувеличенное выражение чувств в песнях и письмах было в обычаях того времени. Об этом свидетельствуют песни-послания в М. из переписки друзей; 2) Отомо Саканоэ писала от лица старшей дочери — возлюбленной, а затем жены Якамоти, не обладавшей поэтическим даром, а Якамоти, посылая письма жене, адресовал их ее матери, у которой она жила в его отсутствие. Песни-послания, сложенные Якамоти по просьбе жены от ее лица, помещенные в М., дают основание думать, что с такой же просьбой она обращалась и к матери при переписке с женихом, а затем мужем.

Такэти Курохито (конец VII — начало VIII в.) — современник Хитомаро. Почти все его песни в М. посвящены странствованиям.

271. Обычная картина, наблюдаемая во время отлива у берега моря, воспетая во многих песнях М., когда журавли устремляются в поисках пищи к обнажившимся берегам.

Сакура — побережье у бухты *Аютигата* в провинции Овари (восточное побережье Хонсю).

274. *Хира* — гавань в провинции Оми (центральная часть Хонсю).

279. *Инану* — местность в Сэтцу (провинция на Хонсю), на побережье Внутреннего Японского моря.

Каса Канамура — один из лучших поэтов М. Современник Табито, Окура, Акахито. В М. много песен из его личного собрания, значительная часть их посвящается путешествиям, которые он совершал, состоя в императорской свите.

1532. *Гора Икаго* — в провинции Оми, на пути от столицы в северные провинции.

Сано Отогами (или Сану Тигами) служила в храме богини Аматэрасу в Исэ (Исэ-дайдзингу). О причинах ее разлуки с Накатоми Якамори сохранились разные версии: 1) Накатоми Якамори сделал своей женой девушку низкого социального положения, служившую при дворе; 2) по другой версии, он сделал своей женой девушку, состоявшую на службе при священном храме Исэ и не имевшую права общаться с мужчинами, и тем самым нарушил существующий этикет, и за это он был разлучен с нею и сослан в провинцию Этидзэн, на север от столицы Нара. Даже во время великой амнистии 740 года он не был прощен и только много позже, в 763 году смог вернуться в столицу и получить должность при дворе.

Накатоми Якамори был очень знатного рода. Во времена императора Сёму (724—748) подвергся ссылке (см. п. 3723) и вернулся в столицу в 763 году.

3747. *Не спуская взора с зелени сосны...*— Игра слов: «мацу» — «сосна» и «ждать». В этой фразе скрыт внутренний смысл, усиливающий третью строку: «Буду ждать тебя».

3776. *...у ворот западной конюшни...*— Место их прежних встреч.

3778. Речь идет о магическом акте.

ИЗ СТАРИННЫХ ПЕСЕН

3245. Мотивы старости и мечты о «*живой воде*», возвращающей молодость, встречаются в ряде песен М. Иногда жемчуг, яшма являются также средством, возвращающим молодость. Представление о том, что эта живая вода находится на луне, считается влиянием буддийских легенд. Сама же идея «живой воды» связана с даосизмом. Однако представление о «живой воде» существует в фольклоре многих народов. Полагаем, что корни надо искать в местных древних народных верованиях. Но в результате общения с Китаем многие образы были подсказаны впоследствии этой новой чужой культурой.

3336—3338. Плачи о погибших странниках — это особый цикл песен в М. Согласно толкованию известного историка Хани Горо, это были крестьяне, отбывавшие трудовую повинность в разных частях страны и по дороге домой по окончании работ погибшие в пути от голода. Возможно, что среди них были и так называемые «сакимори» — пограничные стражи, которых из восточных провинций посылали на Кюсю, где они три года отбывали службу, а затем, возвращаясь домой, гибли от голода в далеком пути, так как путь был опасен и тяжел.

А. Глускина

ИЗ ПОЭЗИИ IX—НАЧАЛА XV ВЕКА

Оно Такамура (802—852).— Писал стихи на японском и китайском языках. С его именем связано немало поэтических легенд. Перевод А. Глускиной (как и другие ее переводы классических танка) дается по книге: «Японские пятистишия». М., «Художественная литература», 1971.

Содзё Хэндзё (816—890) — монашеское имя (под которым он и известен в истории литературы) Ёсимунэ Мунэсада, одного из крупнейших поэтов ранней «Кокинсю». Легенда связывает его с знаменитой поэтессой Оно Комати (см. ниже). Все новые переводы классических танка выполнены по следующим томам серии «Нихон котэн бунгаку тайкэй», изд. «Иванами», Токио, 1973; 8, «Кокинвакасю»; 28, «Синкокинвакасю»; 80, «Хэйан, Камакура сикасю»; а также по антологии «Нихон сиикасю», изд. «Хэйбонся», Токио, 1960, сост. Ямамото Кэнкити.

Аривара Нарихира (819—893).— См. вступ. статью. Его стихи входили во множество старинных антологий. Переводы академика Н. И. Конрада открыли японскую поэзию русскому читателю; до этого публиковались сомнительные поделки в переводах с немецкого и французского языков. Переводы Конрада даются по книгам: «Исэ-моногатари». Лирическая повесть древней Японии. «Всемирная литература», 1921; Н. И. Конрад, Японская литература в образцах и очерках. Л., 1927.

«Когда я сопровождал...» (стр. 672). — Аривара Нарихира занимал придворную должность у принца Корэтака (844—897). Как старший сын государя, принц должен был наследовать престол, но потерпел поражение в борьбе за власть, был пострижен в монахи и сослан в дальнее глухое селение, где, как рассказывают, Нарихира навестил его. *Сегодня к звезде Ткачихе...*— См. прим. к с. 320, 449.

Оно Комати. —См. вступ. статью. Годы жизни неизвестны. Ей посвящено множество легенд. Она стала героиней старинных повестей и пьес (см. том «Классическая драма Востока», М., 1976, с. 560—574, 857—859).

Стр. 673. Согласно поверью, *кукушка* — проводник в царство мертвых.

Фунъя Ясухидэ, Отомо Куронуси. — Даты жизни неизвестны. Одни из лучших поэтов ранней «Кокинсю».

Ки-но Мотиюки — отец Ки-но Цураюки (см. ниже).

Фудзивара Тосиюки (IX в.).

Оно Садаки (IX в.).

Ки-но Тосисада (конец IX в.).

Исэ (IX — X вв.) — одна из самых замечательных поэтесс в «Кокинсю».

Сосэй-хоси — замечательный поэт, сын Содзё Хэндзё.

Оэ Тисато (IX в.).

Сугавара-но Митидзанэ (845—903) — поэт и выдающийся ученый своего времени, был возведен в сан Правого министра, но оклеветан в 901 году одним из Фудзивара и сослан на остров Кюсю, где и окончил свои дни. После смерти обожествлен под именем Тэнман-тэндзин.

«Не успели, трогаясь в путь...» (стр. 678). (Антология «Кокинсю», «Песни странствия»).— Путешествуя во время десятой луны 898 года с экс-императором *Судзаку-ин* (его монашеское имя, до пострижения, император Уда), поэт проехал мимо горы Тамукэ (*«Жертвенный дар»*). Там обычно приносили свои вотивные дары жители Нара перед отправлением в путь богу-хранителю странствующих. *Нуса* — приношение синтоистскому богу, полоски ткани или бумаги. Поэт как бы подносит парчовые «нуса».

«Пролей аромат...» (из антологии «Сюивакасю», 1005—1008).— Согласно легенде, сливовое дерево перелетело к поэту в Кюсю, а вишня не смогла — и засохла в одну ночь от тоски. Сосна, росшая возле дома, тоже улетела к хозяину после того, как он в стихотворении упрекнул ее за равнодушие.

Ки-но Томонори (ум. после 905 г.) — известный поэт «Кокинсю».

Киёвара Фукаябу (нач. X в.) — поэт «Кокинсю».

Аривара Мотоката (нач. X в.).— См. вступ. статью.

Фудзивара Котонао (нач. X в.) — поэт «Кокинсю».

Минамото Масадзуми (нач. X в.) — поэт «Кокинсю».

Ки-но Цураюки (ум. в 946 г.).— См. вступ. статью, а также том «Классическая проза Дальнего Востока» (с. 551—562, 852—853).

Отикоти Мицунэ (годы жизни неизвестны) — замечательный поэт, один из составителей «Кокинсю».

Мибу Тадаминэ (860—920?) — Он был низкого происхождения, чиновник невысокого ранга. Блистал на поэтических турнирах. Один из составителей «Кокинсю».

Фудзивара Окикадзэ, Минамото Мунэюки, Саканоэ Корэнари (X в.) — поэты «Кокинсю».

Сонэ Ёситада.— См. вступ. статью. Незначительный чиновник. Биографических данных о нем не сохранилось.

Сёку-сёнин — буддийский монах, наставник Идзуми Сикибу. К нему обращено ее стихотворение «Из мрака я вновь...» Его стихотворение взято из антологии «Синкокинсю».

Идзуми Сикибу (см. вступ. статью) — современница Мурасаки Сикибу и Сэй Сёнагон (см. том «Классическая проза Дальнего Востока»); с ее именем связано много поэтичных легенд.

«Я увидела под деревьями...» (стр. 689).— См. прим. к с. 678. *Десятая луна* — по-японски «месяц без богов».

Стр. 689. *«Горящий дом»*.— Будда сравнивал земной мир с домом, охваченным пожаром.

Акадзомэ-эмон (?—1041) — талантливая поэтесса. Скончалась в глубокой старости. Принадлежала к хэйанской аристократии. После смерти мужа была возлюбленной правителя страны Фудзивара Митинага. Так как он является героем исторического романа «Эйга-моногатари» (XI в.), то авторство приписывалось Акадзомэ-эмон. Сохранился личный сборник ее танка.

Стр. 690. *Хацусэ.*— В провинции Хацусэ находился знаменитый буддийский храм Хасэдэра. *Когда он жил на земле...*— Оэ-но Масахира, муж поэтессы, правитель провинции Тамба.

Сагами — одна из прославленных поэтесс первой трети XI в.

Ноин-хоси (988—1050) — прославленный поэт своего времени. Подлинное его имя Татибана Нагаясу, но в истории поэзии он известен под монашеским именем Ноин. Тридцати лет постригся, чтобы получить личную свободу. Учился у знаменитых поэтов, странствовал по Японии. Стихи его включались в лучшие антологии того времени.

Стр. 691. *Застава Сиракава* в Хэйане (Киото) служила как бы воротами на север.

«Нет, даже ты не могла...» (стр. 694).— Танка помещена в «Кокинсю», т. 17, «Разные песни». *Гора Обасутэ*, овеянная легендами, находилась в местности Сарасина в провинции Синано. С этой горы открывался знаменитый своей красотой вид во время полнолуния.

«Напрасно к зеленым росткам...» (стр. 696).— Танка помещена в томе 2 сборника «Кокинрокудзё». Древний поэтический образ народного происхождения; встречается еще в «Манъёсю».

Из сборника песен «Рёдзин хисё» — «Тайник песен» (стр. 697).— *Васан* — буддийские лирические стихотворения.

Стр. 698. *Это жрица-микó...*— Жрицы-мико синтоистского культа исполняли священные пляски; впоследствии некоторые из них стали профессиональными танцовщицами. *Ятикума.* — Значение слова неизвестно. *Карлик-плясун.* — В народных представлениях саругаку был популярен танец карликов. *Кукла в руках скомороха.*—Бродячие кукольники носили ящик на лямках, в котором были проделаны отверстия. Продев сквозь них руки, они манипулировали небольшими куклами. Куклы танцевали под народные песни.

Сайгё.— См. вступ. статью. Стихи его (танка) собраны в книге «Горная хижина». Не ясно, участвовал ли он сам, и в какой мере, в его составлении. Отдельные танка включали в «Синкокинсю».

«Сложил в первое утро весны» (стр. 699).— Утро «риссюн» — начало весны по лунному календарю. По современному солнечному календарю приходится на начало февраля. Стихотворение изображает пейзаж возле горной хижины. Поэтом владеет чувство радостного освобождения, он видит первые признаки весны. Словами о том, что всего прекрасней весенний рассвет, открывается знаменитая книга Сэй-Сёнагон «Записки у изголовья» (конец X в.). *Река «Голубой водопад»* («Аотакигава») — приток реки Оигава. Течет у подножия гор неподалеку от г. Киото.

«Дымка на морском побережье» (стр. 700).— Старинный способ добывания соли состоял в том, что соль выпаривалась в котлах из морских водорослей.

«Вспоминаю минувшее...» (стр. 700).— В седьмое утро нового года собирали на поле семь трав и варили вместе с рисом. Согласно поверью, вкусивший это кушанье будет здоров целый год (семь считалось магическим числом).

«Приди же скорей...» (стр. 702).— Укоризна забывчивому другу.

«Летят дикие гуси» (стр. 702).— Гуси весной улетают на север, многие гнездятся на материке.

«Разве не думал я...» (стр. 702).— Сердце как бы покидает поэта, отринувшего все земное. Оно улетает к вишням — символу земной красоты, но красота их недолговечна.

«Весенней порой «кисараги»...» (стр. 704).— *Кисараги* (время надевания новых одежд) — старинное название второй луны года. *При свете полной луны* — то есть 15-го числа. Согласно буддийским легендам, в этот день скончался Будда Гаутама.

Стр. 705. *...сановники Весеннего дворца...*— Весенний дворец — резиденция наследника престола. В антологии XI в. «Госюи-вакасю» есть танка, где говорится, что сановники Весеннего дворца «любуются вишней в цвету, словно это их достояние». *Горные розы* (ямабуки) — Kerria japonica. Эти ярко-желтые цветы обычно растут на берегу реки. Лягушки воспеваются в классической японской поэзии начиная с древних времен. В предисловии к антологии «Кокинсю» говорится: «И когда слышится голос соловья, поющего среди цветов, или голос лягушки, живущей в воде, хочется спросить: что же из всего живого на земле не поет своей собственной песни?» (перевод А. Глускиной). В данном стихотворении лягушка—символ существа, привязанного к нечистой юдоли, луна — образ высшего просветления.

«С т и х и, с о ч и н е н н ы е в к а н у н...» (стр. 705).— Третья луна считалась началом календарного лета. В «Записках у изголовья» говорилось, что прекрасней всего весной раннее утро, но здесь пальма первенства отдается последнему вечеру весны. Он кажется слишком коротким.

Стр. 706. *Унохана* — deutria crenata. Ранним летом распускаются белые гроздья пятилистковых диких цветов унохана. В это время обычно поет кукушка. *Ямада-но хара* — название места в провинции Исэ возле старинных синтоистских храмов. *Кукушка, мой друг!* — См. прим. к с. 673.

Стр. 709. *Кита-Сиракава* — старинный дворец, расположенный в северном (дворцовом) районе Сиракава в Киото.

«О, д о ч е г о ж е г у с т о...» (стр. 709).— Равнина Миягино славилась в японской поэзии красотой осенних трав и бело-розовых цветов хаги (леспедецы). Находилась на севере возле г. Сэндай.

«Д и к и й г у с ь в в ы ш и н е...» (стр. 712).— Перелетные гуси прилетают осенью в Японию зимовать.

Стр. 714. *Гора Огура* возле Киото славится осенними кленами. На смену багряным листьям пришла луна.

«С о ч и н и л в х р а м е С о р и н д з и...» (стр. 715).— Храм этот стоял на горе Хигасияма в окрестностях Киото. Возле этого храма находился луг, на котором росли осенние цветы оминаэси (патриния).

Стр. 715. *Возле гавани Нанива.*— Весна в заливе Нанива (возле нынешнего г. Осака) — одна из знаменитых тем в японской поэзии.

«О, в е с н а в с т р а н е Ц у...» — *Страна Цу,*— старинное название провинции, иначе Сэтцу. Считается, что в этой танка символически выражена тоска по безвозвратно ушедшей эпохе. В антологии «Гюсюивакасю» (1086) содержится танка: «Людям чуткой души // Хотел бы я сейчас показать // Этот весенний вид // Возле залива Нанива // В дальней стране Цу».

«К о г д а я п о с е т и л М и т и н о к у...» (стр. 718).— *Митиноку* — старинное название северного края, включавшего в себя пять провинций. *Санэката-асон...*— Асон — почетное звание аристократа; *тюдзё* — военачальник второго ранга. Санэката-асон был сослан на север после ссоры с одним из могущественных сановников из правящего рода Фудзивара. Умер в изгнании. *Трава-сусуки* (мискант) — имеет вид высоких метелок. Одна из осенних трав. *Единственный памятный дар.*— Имеется в виду японский обычай перед смертью завещать своим друзьям памятные дары.

Стр. 718. *Туда, в сторону Адзума.*— Старинное название для восточных провинций.

«С о ч и н е н о м н о ю н а г о р е К о я...» (стр. 719).— Гора Коя находится в префектуре Вакаяма. Еще в IX веке на ней был возведен монастырь буддийской секты Сингон.

Стр. 719. *Вершины жизни моей // Сая-но Накаяма.*— Горы, знаменитые в японской поэзии. Находятся в префектуре Сидзуока. Через эти горы шел некогда трудный и опасный путь паломников. Надо было преодолеть высокие перевалы. В то же время это был радостный путь, к нему вела целая жизнь.

С и к и с и - н а й с и н н о (1151—1201) — дочь императора, поэта Готоба. С восьмилетнего возраста в течение одиннадцати лет была жрицей-весталкой при синтоистском храме Камо, оставила служение по болезни. В 1197 году на нее пало подозрение, что она приняла участие в политическом заговоре. Чуть не была сослана, постриглась в монахини. Феодальные междоусобицы, собственная трагически сложившаяся судьба напоили печалью глубоко искреннюю поэзию Сикиси-найсинно. Как ученица Тосинари, она воплотила в своих стихах принцип «югэн». Сорок девять ее танка включены в антологию «Синкокинсю». Романтическая легенда связала ее имя с именем великого поэта Сайгё.

«С о ч и н е н о в о в р е м е н н о й о б и т е л и д л я ж р и ц...» (стр. 722).— Поэтесса в бытность свою жрицей при храме Камо должна была, по обычаю, провести ночь в особой хижине, украшенной листьями китайской мальвы (Malva verticillata L.). Хижина возводилась на поле, к северу от храма. Праздник устраивался в середине четвертой луны, то есть ранним летом. *Из травы изголовье* — поэтический образ дорожного ночлега.

Стр. 722. *Становится все короче...*— Потому что летние ночи становятся все короче. *Благоухает померанец...*— Запах цветов померанца в японской поэзии навевает воспоминания о прошлом. Лепестками цветов наполняли карманы широких рукавов. В памяти встает прекрасный образ любимого человека.

Ф у д з и в а р а Т о с и н а р и (1114—1204).— См. вступ. статью.

Ф у д з и в а р а И э т а к а (1162—1241) — один из самых знаменитых поэтов своего времени. Сын поэта Фудзивара Тосинари, он с детства серьезно изучал литературу. Жизнь его была омрачена политическими бурями эпохи и распрями на почве соперничества разных поэтических школ. Иэтака принадлежат личные сборники стихов, его танка включались в лучшие антологии средневековья. Был одним из редакторов «Синкокинсю».

Ф у д з и в а р а С а д а и э (Тэйка; 1162—1241) — поэт и теоретик поэтического искусства. Сын Фудзивара Тосинари, он с юных лет начал изучение поэзии, ранние его творческие опыты были включены отцом в разные антологии того времени. Развивал принцип «югэн», а также модный в то время стиль «усингай», создавая стихи, проникнутые изысканной красотой и грустью. Один из редакторов «Синкокинсю», а также создатель прославленной в свое время поэтической антологии «Синтёкусэнвакасю» (1232). Оставил лично им составленный сборник собственных стихов, труды по искусству поэзии, комментарии к классическим произведениям японской литературы.

«Н е б о с н е ж и л о» (стр. 725).— Дикие гуси прилетают в Японию с континента.

Стр. 725. *Гора Хацусэ.*— Возле этой горы находился знаменитый буддийский храм Хасэдэра. *Яшмовое копье* — то есть копье с драгоценными украшениями, постоянный поэтический эпитет к словам «дорога» или «селенье». Происхождение этого эпитета связано предположительно с защитным магическим обрядом. Здесь служит поэтическим зачином.

Стр. 727. *Девушка с берега Удзи* — букв.: «Дева-хранительница моста Удзи» («Удзихаси-химэ»), прозвище, которое было дано тайной возлюбленной, вероятно, гетере, жившей возле реки Удзи. В хэйанскую эпоху в этой местности, неподалеку от столицы (Киото), находились загородные дворцы аристократов. Река Удзи впадает в реку Бива. Стихотворение написано на тему танка неизвестного автора, помещенной в томе 14 «Кокинсю» («Песни любви»): «На тонкой циновке // Заледенели одежды. // Всю эту ночь опять // Ждет меня до рассвета // Девушка с берега Удзи». *Стучат и стучат вальки...*— Вальками прачки выбивают белье. Стук вальков в классической китайской и японской поэзии — метафора осенней грусти. *На всей равнине Сано...*— Сано — большая малонаселенная равнина. Существовало несколько равнин,

носивших это имя. Имеется в виду местность, воспетая еще в антологии «Манъёсю».

Стр. 728. *Упали багряные капли...*— Слезы горя метафорически называются красными, словно окрашенными кровью сердца. Здесь это цвет слез и одновременно листьев клена.

«К а к я к о г д а - т о л а с к а л...» (стр. 728).— Лирической основой (хонкадори) этого стихотворения послужила танка Идзуми Сикибу «Я легла, позабыв...».

Стр. 729. *Солевары залива Сума.*— Залив Сума — одна из знаменитых своей красотой местностей Японии, туда приезжали любоваться осенней луной. Расположен возле г. Кобэ. На песчаном, поросшем соснами побережье солевары выпаривали соль из морских водорослей, лучи луны сверкают на их влажных рукавах.

Д з ю н т о к у - и н (1197—1242) — монашествующий император Дзюнтоку, был третьим сыном императора Готоба. В 1210 году был еще отроком возведен на престол, потом во время очередной феодальной междоусобицы в 1221 году был низложен, пострижен в монахи и сослан на отдаленный остров Садо, где и скончался. Танки его были собраны в антологиях «100 стихотворений Дзюнтоку-ина», «Сборник стихов Дзюнтоку-ина».

Стр. 729. *Дворец Девяти подвижнических деяний* (Кюдзёдэн) — резиденция Дзюнтоку. *...в седьмую луну третьего года эры Сёкю* — 1221 г.

С а н э т о м о (1192—1219) — второй сын сёгуна Минамото-но Ёритомо, стал сёгуном в возрасте двенадцати лет. Рано осознал трагизм своей судьбы. Феодалы из рода Ходзё начали борьбу за верховную власть, и Санэтомо был убит. С юных лет занимался поэзией. Испытал большое влияние антологии «Манъёсю», был тесно связан с поэтами круга «Синкокинсю».

Стихи его собраны в личном сборнике «Кинкавакасю». В то время поэту было двадцать два года, но он уже создал собственный своеобразный стиль.

Стр. 731. «*Срединный путь*» (с а н с к р. «мадхьямика») — буддийское учение об относительности бытия-небытия и других категорий философского постижения мира. Суть этого учения афористически сжато и точно сконденсирована в данном пятистишии. *Махаяна* — буддийское учение, весьма популярное в средневековой Японии. Основы его были изложены в «Сутре Лотоса».

Стр. 732. *...в седьмую луну первого года Кэнрэки* — 1211 г. *Божественных драконов осьмерица.*— Дракон считался богом водной стихии. Особенно чтились восемь великих богов-драконов, которые упоминаются в буддийских священных книгах.

С ё т э ц у (1381—1459) — известный поэт и теоретик поэзии. «Сётэцу» — один из его псевдонимов, подлинное имя неизвестно. Был скрибом, потом священником в буддийском храме, но покинул его, чтобы предаться поэзии. Стремился возродить стиль Садаиэ, вдохнув новую жизнь в принцип «югэн». Создал более четырех тысяч танка и весьма ценимый в свое время трактат о поэтическом искусстве — «Сётэцу-моногатари» (1430).

«Т р и п о э т а в М и н а с э» (стр. 736) — нанизанные строфы. См. вступ. статью. Сочиняли рэнгу несколько человек поочередно. Поэту, наиболее искушенному в мастерстве, предоставлялась честь первому сложить начальное трехстишие (хокку). Второй присоединял двустишие, третий — новое трехстишие, и так далее. Каждая строфа имеет самодовлеющую ценность, и в то же время по законам сцепления все время возникают пятистишия-танки, каждая в двух вариантах (кроме первой). Чтобы образовалась танка, надо к любому трехстишию присоединить либо предыдущую либо последующую строфу. Трехстишие для обоих вариантов одно, и поэтому в нем вскрываются возможности неоднозначного развития поэтической мысли. Японская поэзия вообще любит путем особых приемов (например, игры омонимами)

создавать внутри стиха параллельные ходы, расширяя его емкость. Но можно читать рэнгу просто строфу за строфой, наслаждаясь мастерством ее построения. Рэнга — своего рода сюита. Она не может следовать единой теме, единому сюжету, это ей даже строго противопоказано. Главный ее закон — разнообразие. Возвышенное и легкое, мрачное и светлое контрастно чередуются друг с другом. Говоря геометрическим языком, рэнга словно вычерчивает зигзаги. Логический ход мысли объединяет лишь две смежных строфы, поэтическая тема развивается обычно на протяжении трех смежных строф, после чего в «нейтральной» строфе перебрасывается мост к другой теме. Переход может быть плавным или крутым, внезапным или глубоко подготовленным. Жесткие правила, ограничивая поэта, обеспечивали порядок внутри рэнги, не давая возникнуть хаосу. Запрещалось в начальных восьми строфах упоминать имена богов или будд, топонимические названия, говорить о бренности земного и т. д. Хокку должно быть проникнуто чувством времени года. В пятой строфе возникает образ луны. Были выработаны и строгие грамматические правила: так, третья строфа остается как бы незавершенной, в пятой выражается вопрос или сомнение.

В двадцатый день первой луны 1488 года три поэта сочинили рэнгу в селении Минасэ (она была расположена между Киото и Осака), на берегу одноименной реки. Один из них, уже в престарелых годах, был прославленным мастером рэнги, он носил поэтический псевдоним Соги (1421—1502). С ним были два молодых ученика: Сёхаку (1443—1527) и Сотё (1448—1532). В селении находился храм, посвященный императору Готоба (XII в.), который был талантливым поэтом. Потерпев поражение в политической борьбе, он лишился трона и всецело отдался поэзии. Ему принадлежит танка: «Весенний день миновал, // Дымкой застланы горные склоны // За рекой Минасэ. // Как же я думать мог: // «Лишь осенью вечер прекрасен?»

Первая строфа, сложенная Соги, это вариация на тему этой танки с прямой цитатой из нее. В хокку с большой силой выражено чувство «югэн». Словно картина набросана тушью. Во второй строфе панорама придвигается «наплывом», мы видим реку и само селение. Третья строфа — разработка темы весеннего вечера, но уже четвертая готовит переход. Возникает осеннее утро. Смутно сияет луна, глухо звучат всплески багра. Дальше появляются темы одиночества, бренности всего земного, странствия, грустных воспоминаний. «Три поэта в Минасэ» — прославленная рэнга эпохи средневековья. Всего в ней сто строф, нами переведены двадцать четыре.

ИЗ ПОЭЗИИ XVII—XVIII ВЕКОВ

БАСЁ

Переводы Веры Марковой даны по книгам: Басё. Лирика. М., 1964; «Японские трехстишия». М., 1973.

Стр. 740. *Поймаешь — растают без следа.*— Мальки так прозрачны, что кажутся поэту льдинками: вот-вот растают...

Стр. 741. *В доме Кавано Сёха...*— Кавано Сёха был мастером чайной церемонии. Эстетика чайных церемоний была направлена на то, чтобы заставить забыть «о суетном мире».

Стр. 745. *Звон колокольный доплыл... Из Уэно или // Асакуса?* — Уэно, Асакуса — разные районы города Эдо (Токио). Цветут вишни, в воздухе стоит дымка, даже звон колокола кажется смутным, приглушенным. Не поймешь, где он прозвучал. *Майские льют дожди.*— Месяц май в Японии — время сезонных дождей (самидарэ).

Стр. 747. *Ловля светлячков над рекой Сэта.*— Ловля светлячков над рекой — одно из любимых летних увеселений в Японии. Поэт только что любовался вишнями, но еще словно видит их перед собою, и светлячки чертят огнем вдоль этой воображаемой картины.

Стр. 749. С горы «Покинутой старухи» (Обасутэ) в ночь полнолуния открывается красиво освещенный ландшафт. Название ее связано с легендой. В древности один человек, поверив лживым наговорам жены, отнес свою старую тетку, заменившую ему родную мать, на пустынную гору и покинул ее там. Но, увидев, как взошел над горою чистый лик луны, раскаялся в содеянном и поспешил принести старуху обратно домой. *Омовение в реке.*— Древний обряд очищения от скверны путем омовения совершался в шестом месяце по лунному календарю, то есть в разгар лета.

Стр. 750. *Ядом дышит скала.*— В префектуре Тотиги есть скала, возле которой из земли выходит ядовитый газ, убивая птиц и насекомых. Согласно легенде, в эту скалу обратилась убитая лисица. Поблизости поставлен камень с высеченным на нем стихотворением; традиция приписывает его Басё: «Облака одни // Могут пролететь в небесной вышине // Над тобой, скала». *Застава Сиракава.*— См. прим. к с. 691.

Стр. 751. *Там, где родится поток...*— В Японии лед на лето сохраняют в земле; Басё ищет такой ледник у истоков ручья, но внезапно обнаруживает, что ива начала поиски раньше него.

Стр. 752. *До острова Садо стелется Млечный Путь.*— Остров Садо находится в Японском море. Поэту кажется, что Млечный Путь протянулся к острову, словно мост. *Арисо* — старинное название залива в провинции Кага, ныне залив Тояма в одноименной префектуре. Название Аримо встречается в древней японской поэзии и потому богато поэтическими ассоциациями. *Иссё* (1653—1688) — поэт и чаеторговец, жил в городе Канадзава.

«Шлем Санэмори» (стр. 752).— Сайто Санэмори — знаменитый воин XII века. В легенде о нем рассказывается, что, будучи уже семидесятилетним старцем, он выкрасил свои волосы в черный цвет, перед тем как идти на битву. В храме Тода города Комацу, провинции Кага, хранился как реликвия шлем Санэмори, который он надел перед своим последним сражением.

Стр. 753. *Белее белых скал...*— Старая поэтическая традиция в Японии связывает с осенним ветром представление о белом, мертвенном цвете.

«Один мудрый монах сказал...» (стр. 757).— Стихотворение направлено против «мыслителей», часто и не к месту повторяющих давно уже не новые слова о быстротечности человеческой жизни. Басё, вероятно, хочет сказать, что «наносит душам увечья» наигранный пессимизм.

Стр. 758. *Песок заскрипел на зубах...*— Это неприятное чувство вызывает у поэта еще более неприятные ассоциации.

Стр. 759. *Храм Укимидо* («Плавучий храм») — выстроен на берегу озера Бива таким образом, что кажется, будто он плывет по воде.

Стр. 760. *В маленькой клетке подвешен пленный сверчок.*— В Японии и Китае стрекочущих насекомых (сверчков, цикад) держат в доме в маленьких клетках, как певчих птиц.

Стр. 761. *Горы Кисо* находятся в нынешней префектуре Нагано. В старину там проходила одна из важнейших дорог Японии, связывавшая центр страны с северными ее областями.

Стр. 762. *К северу от суетного мира...*— Отшельники в Японии обычно селились в северных горах.

Стр. 763. *Обезьяна толпу потешает...*— В Японии существовал обычай во время новогоднего праздника водить по городу обезьяну. Для потехи на нее надевали обезьянью маску. Люди смеялись, не замечая, что и они, нарядившись к празднику, тоже, в сущности, ничуть не изменились. *Тодзюн* (ум. в 1693 г.) — отец Кикаку (см. ниже).

Стр. 765. *Четыре простые чашки.*— Имеется в виду набор чашек типа пиал для различных кушаний; таким набором пользуется и один человек.

Стр. 766. *Сага* — пригород Киото, известный своими бамбуковыми рощами. Басё остановился в Сага у своего ученика Ямэя и сочинил это хокку в честь гостеприимного хозяина.

«Актер танцует в саду» (стр. 767).— Актеры в старинном японском театре Но надевали маски. Басё написал это стихотворение в честь своего друга — поэта, исполнявшего песни и пляски Но. Басё был гостем в его доме.

Стр. 768. *В капищах древней Нары...*— Город Нара славится своими древними храмами. *Сономэ* (1664—1726) — талантливая поэтесса, жена врача в городе Осака, принимала поэта у себя в доме незадолго до его смерти.

«Стихи из путевого дневника «Кости, белеющие в поле» (стр. 769).

Стр. 770. *...грустно валек стучит в темноте.*— В поэзии Китая и Японии стук валька по мокрому белью — традиционный мотив осенней печали.

«На могиле императора Годайго» (стр. 770).— Могила императора-изгнанника Годайго (1288—1339) — находится в горах Ёсино, в нынешней префектуре Нара.

Стр. 770. *Ты так же печален, как сердце погибшего здесь Ёситомо.*— Миномото-но Ёситомо (1123—1160) — крупный военачальник своего времени. Потерпев поражение во время так называемого мятежа годов Хэйдзи, скрылся в провинции Овари, где и был убит собственным вассалом. Застава Фува на стыке провинций Оми и Мино многократно воспета поэтами древности.

Стр. 772. *Фусими* — во времена Басё южное предместье города Киото. В стихотворении иносказательно выражено приветствие другу, увидев которого поэт пролил слезы радости.

«Стихи из путевого дневника «Письма странствующего поэта» (стр. 773).— В оригинале этот дневник носит название «Он-но кобуми», то есть письма из ои — небольшой сумы, которую буддийские монахи носили на шее. В ней хранились священные изображения и дорожные принадлежности.

Стр. 773. *...люди идут // Через горы Хаконэ.*— Хаконэ — цепь высоких гор в центре главного острова Японии — Хонсю; к этой цепи принадлежит и знаменитая гора Фудзи. Перевал через горы Хаконэ зимою считался одним из самых трудных мест Токайдоского тракта, соединявшего города Киото и Эдо.

«В саду покойного поэта Сэнгина» (стр. 774).— Поэт Сэнгин (Тодо Ёситада; 1642—1666) был сыном феодала, у которого служил Басё. Общая любовь к поэзии соединила знатного юношу и простого слугу, но Сэнгин рано умер.

«Посещаю храмы Исэ» (стр. 775).— Синтоистские храмы в провинции Исэ были сооружены в глубочайшей древности и с тех пор периодически восстанавливаются в прежнем виде. Главный из них посвящен культу богини солнца Аматэрасу.

«Развалины храма на горе Бодайсан» (стр. 775).— Гора Бодайсан находится в провинции Исэ, поблизости от долины, где жил поэт Сайгё. Стоявший на ней некогда храм ко времени Басё превратился в руины.

Стр. 776. *Крик одинокий фазана!* — В японской народной поэзии фазан — символ родительской любви, потому что не покидает своих птенцов, когда поле выжигают огнем. *Ушедшую весну...*— Гавань Вака находится в провинции Кии (ныне префектура Вакаяма). Басё смотрел перед этим на

вишни в горах Ёсино, но печальные мысли мешали поэту радоваться весне. И только здесь, на берегу воспетой поэтами гавани Вака, он впервые почувствовал радость весны.

«Посещаю город Нара» (стр. 776).— В городе Нара, где до сих пор бродят на свободе стада оленей, торжественно празднуется день рождения основателя буддийской религии Сакьямуни (8 апреля).

Стр. 778. *Храм Сумадэра* находится в городе Кобэ.

Ранран Мацукура (1647—1693) — ближайший друг Басё, самурай по происхождению; оставив службу, он поселился в Эдо и стал изучать поэзию под руководством Басё.

Сампу Сугияма (1647—1732) — ученик Басё; житель Эдо, придворный поставщик рыбы, один из наиболее способных учеников Басё.

Гонсуй Икэниси — известный поэт, уроженец города Нара.

Сёхаку Эса (1650—1722) — поэт школы Басё; врач из города Оцу провинции Оми.

Кёрай Мукаи (1651—1704) — ученик Басё; сын ученого конфуцианца, профессиональный учитель поэзии.

Иссё Косуги (1653—1688) — поэт школы Басё; торговец чаем в городе Канадзава.

Рансэцу Хаттори (1654—1707) — ученик Басё; самурай низшего ранга, впоследствии монах, житель Эдо.

Кикаку Такараи (1661—1707) — ученик Басё; сын врача, профессиональный учитель поэзии.

Оницура Камидзима (1661—1738) — выдающийся поэт-новатор; в своих теоретических работах заложил новые основы поэтики хокку, требуя от него прежде всего жизненной правды. «Вне правды нет хокку»,— утверждал Оницура.

Дзёсо Найто (1662—1704) — ученик Басё; самурай, впоследствии монах.

Стр. 781. *Спряталась в тени кумирни // Ослепленная сова.*— В старину на дорогах Японии устраивались небольшие кумирни, под навесом ставилось изображение буддийского божества.

Бонтё Нодзава (?—1714) — талантливый ученик Басё; по профессии врач. Быстро прославился как поэт, но попал в тюрьму, и дальнейшая судьба его неизвестна.

Сико Кагами (1665—1731) — ученик Басё; буддийский священник, впоследствии врач.

Тиё из Кага (1703—1775) — родилась в провинции Кага, была женой бедняка. Рано овдовев и потеряв маленького сына, она постриглась в монахини и посвятила себя поэзии, которой занималась под руководством поэта Сико, последователя Басё.

«Сочиняя стихи» (стр. 785).— Тиё в юности посетила одного приезжего поэта и просила его стать ее учителем. Тот дал девушке тему: «кукушка» — и заснул, а Тиё сочиняла стихотворение всю ночь. Услышав его утром, поэт был восхищен и сказал девушке, что она не нуждается в учителях.

Рёта Осима (1707—1787) — родился в городе Осима провинции Синано, житель Эдо. Был очень популярен в свою эпоху, превосходя известностью Бусона, имел множество учеников и издал более двухсот сборников своих произведений.

Бусон Ёса.— См. вступ. статью. Родился в деревне Кэма провинции Сэттю. Подлинное его имя неизвестно. Есть основания предполагать, что он был сыном деревенского старосты. Рано осиротев, уехал в Эдо, где изучал поэзию и живопись. В 1751 году переселился в Киото. Много путешествовал

по Японии, прожил три года в живописной местности Еса, в провинции Танго. Название этой местности стало его прозвищем. Бусон — его поэтический псевдоним; как художник он был известен под именем Тёсо. Бусон создал новую оригинальную школу в поэзии, имел множество учеников. Оставил большое поэтическое наследие.

Стр. 785. *Вот из ящика вышли...* — В Японии 3 марта для девочек устраивается Праздник кукол (Хина-мацури). В этот день детям показывают особые куклы: одеты они в старинные придворные костюмы, изображают микадо с супругой и его двор. Стихотворение изображает чувства девочки. Раз в год вынимают из ящика пару кукол. Но разве можно их забыть?

«Статуя князя преисподней» (стр. 787).— Князь Эмма (санскр. Яма) — божество индийского происхождения, верховный судья в царстве мертвых; изображается краснолицым демоном с торчащими изо рта клыками.

Гёдай Като (1732—1792) — известный поэт, приверженец старого стиля тэймон в поэзии; житель Нагоя.

Кито Такаи (1741—1789) — поэт школы Бусона; житель Киото.

Исса Кобаяси.— См. вступ. статью. Родился в горной деревне Касивабара, уезда Ками-Миноти, провинции Синано в семье крестьянина. Мать умерла, когда Исса был ребенком, а мачеха обращалась с ним так жестоко, что четырнадцати лет от роду ему пришлось идти «в люди». Он отправился в Эдо и долгие годы боролся там с нуждой. Только на склоне лет Исса смог получить свою долю наследства и жить в достатке. В Эдо Исса изучал хокку под руководством поэтов школы Капусика, основатель которой, Ямагути Содо, был последователем Басё. Исса много странствовал, он оставил богатое поэтическое наследие: более шести тысяч хокку, дневники, шуточные стихи.

Стр. 793. *За меня толчет мой рис // Горный ручеек.* — Картина крестьянского труда: вода горного ручейка приводит в движение небольшую мельницу.

«Большой Будда в Камакура» (стр. 794). — В старинном городе Камакура находится бронзовая статуя Будды (Дайбуцу) высотой в пятнадцать метров; создана в 1252 году выдающимся мастером Оно Гороэмоном.

Стр. 795. *Сотогахама* — место на северо-западном побережье Японии, на территории нынешней провинции Муцу, куда раньше всего прилетают дикие гуси с азиатского континента.

В. Маркова

Камо Мабути (1697—1769) — выдающийся ученый и поэт. Мабути бóльшую часть жизни посвятил исследованию и реконструкции памятников классической японской литературы, прежде всего — «Манъёсю». Его танка, сознательно ориентированные на подражание древности, оказали большое влияние на творчество последователей и учеников Мабути: Таясу Мунэтакэ, Мотоори Норинага и др.

Таясу Мунэтакэ (1714—1771).— Второй сын сёгуна Токугава Ёсимунэ, Мунэтакэ с детства проявлял незаурядные способности к музыке и литературе. Его стихи и труды по изящной словесности снискали единодушное признание современников.

Одзава Роан (1725—1803).— Самурай по рождению. Роан пренебрег карьерой, отказался от выгодной должности при дворе своего господина и полностью посвятил себя литературному труду. Он зарабатывал на жизнь лекциями по классической филологии и писал превосходные стихи. Роан славился также мастерством фехтовальщика и незаурядным музыкальным дарованием.

Р ё к а н (1757—1831).— Священник Рёкан известен как самый талантливый из поэтов века позднего средневековья. Получив прекрасное образование и располагая немалыми средствами, Рёкан обрек себя на добровольно отшельничество и безвыездно прожил более сорока лет в небольшом горном храме в провинции Этиго.

К а г а в а К а г э к и (1768—1843).— Семнадцатилетним юношей приехав из провинции в Киото, к тридцати Кагэки уже был арбитром поэзии, автором нескольких сборников стихов. Его школа быстро привлекала новых последователей. К концу жизни Кагэки считался непререкаемым авторитетом в вопросах стихосложения, его творчество было принято за образец в кругах столичных поэтов.

Стр. 804. Согласно легенде, сёгун Ёритомо подарил Сайгё серебряное изображение *кошки*, но поэт бросил его играющим детям как ненужную вещь. См. стих. Сайгё «Стелется по ветру...» (с. 720).

О к у м а К о т о м и т и (1798—1868).— По примеру многих литераторов того времени, Котомити, сын купца из Фукуока, передал право наследия младшему брату и отправился в Осака изучать изящную словесность. Позже он вернулся на родину, где занялся преподаванием поэтического искусства. Несмотря на то, что стихи его пользовались популярностью, Котомити жил в нищете.

Т а т и б а н а А к э м и (1811—1868).— Уроженец отдаленной провинции Этидзэн, Акэми в течение нескольких лет изучал классическую японскую литературу в Эдо под руководством выдающегося ученого Мотоори Норинага. Любимой его книгой была «Кокинсю», которой впоследствии Акэми посвятил фундаментальный филологический труд. Поэтическое наследие Акэми весьма обширно, но особый интерес представляет лирический цикл «Радости одиночества».

А. Долин

К ПЕРЕВОДУ КАЛИДАСЫ

(от переводчика)

Утвердишь Несказанное знанием точным,
И Великое Счастье окажется прочным.
«*Чарья-гити*»

Камадева, индийский бог любви, подобно своему эллинскому собрату, вооружен луком. Этот лук — из цветов (по другим источникам — из сахарного тростника), тетива лука — жужжание пчел. У Камадевы пять стрел, эти стрелы тоже из цветов, и неотразимее всех цвет манго. Чарующему вооору-

жению под стать имена-прозвания Камадевы: Мандоджа («Рожденный в душе»), Атмабху («Живущий в душе»), Смара («Напоминающий»), Манматха («Возмутитель сердец»), Мадана («Опьяняющий»). Камадева выступает и под именем «Мара» («Разрушитель»), так что не остается сомнений в беспощадной действенности пяти обаятельных стрел. И среди этих прозваний на первый взгляд не выделяется еще одно: Ананга («Бестелесный»). Душа — обитель Рожденного в душе. Стихия Камадевы — гибельная задушевность. Заманчивая чувственность опьяняет обманчивой видимостью. Эти идеи, которым нельзя отказать в психологической тонкости, на разные лады варьируются индийской поэзией и философией. Однако, если другими прозваниями Камадевы означены его изначальные свойства, прозвание «Бестелесный» — «благоприобретенное». За этим прозванием событие, мифическое происшествие, знаменательная перипетия мировой драмы.

Когда бы не миф о Бестелесном, уже насыщенный ароматами поздней утонченной культуры, «Рожденье Кумары» вписывалось бы в древнейший земледельческий миф о союзе небесного бога с матерью Землей, в миф, который мог быть распространен в Индии задолго до проникновения скотоводческих ведических племен. Впрочем, загадочно бесцельная аскеза Шивы помечена если не ведическим происхождением, то ведической традицией. Сверхъестественной мощью аскета в индуизме подтверждаются безграничные возможности человека, способного торжествовать над самими богами, хотя в мифах эта мощь обычно выступает не в созидательном, а в разрушительном аспекте, своекорыстно посягая на мировую гармонию, как посягнул на нее враг богов демон Тарака при невольном или сознательном пособничестве Шивы. Обольститель Камадева призван восстановить мировую гармонию своими чарами, однако благонадежная исполнительность лучника вовсе не говорит о том, что Манматха избрал благую часть. В обрисовке Камадевы явно усиливается благоговейная ирония, едва заметная во второй главе, когда перед Брахмой предстают боги, посрамленные Таракой, причем благоговение нисколько не смягчает, напротив, утончает, заостряет насмешку. Камадева — придворный сводник, его сфера — двусмысленные поручения царя Индры, среди которых ничуть не менее двусмысленное восстановление мировой гармонии, так что Камадева вроде бы по заслугам наказан грозным Шивой, чей духовный взор испепеляет вкрадчивого лучника, проницая внутреннюю опустошенность Рожденного в душе (мстительная насмешка аскета: разоблачить мирскую прелесть, усматривая в ней — бестелесность!). Правда, при этом неизвестно, кто больнее наказан. «Очарованье — стрела роковая», от нее не убережешься; сгорая, лучник обжигает весь мир; сожжение Маданы — вселенское замыкание. Трехглазый аскет Шива придет на поклон к царевне-подвижнице, покоренный подвигом, если не прямо стрелою, которой вызван подвиг Умы. «Без тела, поверь, Добродетель напрасна»,— предостерегает юную подвижницу Шива в парадоксально-пародийном обличии брахмана-ученика, иронизируя не столько над Бестелесным, сколько над крайностями аскезы, чья идеальная цель — преодоление соблазнительной телесности. Мнимый победитель Маданы упивается своим фактическим поражением, глумясь над самим собой во вкусе народного смехового действа: «Почтенные зрители будут смеяться!» Самоуничижением Шива испытывает Уму, по-своему объясняясь ей в любви. Взаимность ведет к неразлучности: бог с богиней навеки сочетаются в едином существе. В санскритском стихотворении, не принадлежащем Калидасе, возрожденный Камадева смеется над великим аскетом, который так боится потерять свою супругу, что держит ее вечно при себе. Бестелесный отказывается признать себя побежденным. Он смеется. Последним смеется Мадана.

Нерасторжимый брак Шивы и Парвати — мифологический итог напряженнейших духовных исканий и чаяний. Древнейшая философская система

«Санкхья», отголоски которой мы находим во второй главе поэмы, истолковывает мир как единение Пуруши и Пракрити, духа и природы, но вопреки умозрительным абстракциям в таком единении всегда можно было распознать первичное мифическое взаимодействие мужского и женского начал. К подобному взаимодействию восходит, по всей вероятности, концепция идеального всеединства, столь характерная для индийских религиозно-философских систем. Однако всем этим системам хорошо знаком торжествующий смех Маданы. Шива боится раздвоения, всеединство боится стихийной безудержной множественности. Эта проблема коренится в индийской истории и в индийской повседневности. Загадку единства и множественности приходилось разгадывать не только философам, но и маленькому человеку, вовлеченному в необозримое разнообразие языков, пейзажей, обычаев, каст и сект. Чисто житейская ориентация в этом пугающем разнообразии требовала подчас рискованных решений. И не удивительно, что возвышенной аскетической отрешенности рядовой индиец порою склонен был предпочитать иные учения, более доходчивые в своей осязательной, чувственной таинственности. Некоторые учения весьма успешно соперничавшие с брахманской ортодоксией, принято объединять под названием «тантрических». В «Чарья-гити», в песнопениях тантрического буддизма, славословится «смысл, до рожденья врожденный», сокровенная целительная сила, изначально свойственная человеческой цельности. Экстатический брак подвижника с неприкасаемой бросает вызов одновременно высокомерному аскетизму и кастовой системе. Разумеется, «Неприкасаемую» в тантрических гимнах нельзя просто отождествить с конкретной женщиной, это богиня, олицетворение женского начала, однако сам принцип кастовости, несомненно, резко оспаривается, когда богиня именуется «Чандали», как женщина низкой, презираемой касты, и слово «Неприкасаемая» как бы синонимично «неприкосновенной» святыне любви.

Аскетизму противодействовало и духовное движение «бхакти», во многом определившее черты средневековой индийской поэзии. «Бхакты» — это обожание, самозабвенная преданность божеству в его телесных проявлениях, «аватарах», (слово «воплощение» в своей христианской уникальности не передает индийского понятия). Молчаливо предполагается невозможность обожать бестелесное. Средневековых индийских поэтов умиляет чувственная человечность. Младенческие игры Кришны выводят Сурдаса за пределы безысходной повседневной тщеты. Юный пастух Кришна, шокируя городских красавиц, насыщает лирику Видьяпати полнокровной жизненностью. Было бы неверно усматривать в этой лирике игривую экзотическую пастораль в стиле индийского ампира. Видьяпати — поэт всеобъемлющего обожания. Язык страстной телесности — для него единственный язык, на котором и в котором открываются друг другу дух и душа. Недаром почитатели Видьяпати видели в нем не столько стихотворца, сколько пророка, хотя его пророчества по своей сути не поддаются рассудочной формулировке. Для Индии это не новость. В индийской философии достаточно давно существовала особая категория несказанного. В «Чарья-гити» несказанное, казалось бы, всецело отнесено к потустороннему опыту, о котором лишь немой взялся бы рассказать глухому. Однако несказанно само отношение телесного и духовного в индийской культуре, их лирическая взаимность, когда преодолеваемая духом телесность остается единственным свидетельством духа. Идеей несказанного обусловлено озадачивающее отсутствие догмата не только в индийской философии, но и в большинстве индийских религий. Отсюда же необычайная широта интеллектуально-художественного диапазона. С поразительной творческой готовностью индийская живопись восприняла и усвоила сначала традиции эллинского искусства, потом приемы христианской иконографии. Индийские духовные веяния в исламе породили философско-поэтическое мироощущение суфизма.

Даже в круговороте противоречивейших тенденций и влияний индуистская ортодоксальность, представленная философией миманса, ссылалась лишь на ведический ритуал, а не на ведический догмат, потому что при всем желании затруднительно вывести догмат из гимнов «Ригведы», хотя и священных для индуизма, но все-таки осознаваемых и как поэтические произведения, в отличие, скажем, от Ветхого завета.

Так распознается особая роль поэзии в индийской культуре. Поэт и мыслитель Анандавардхана (IX в.), усматривая в поэзии особый редкостный дар, причисляет к двум-трем великим поэтам Калидасу, непревзойденного мастера дхвани. «Дхвани» буквально означает «отзвук», «звон» («дух с душою — кимвалы в руках властелина»,— отдаленная, но правомерная вариация). Дхвани — дух (атман) истинной поэзии. Если в библейском мироощущении плоть и дух, буква и дух противопоставляются, в индуистском мироощущении тело (в поэзии словесная сторона, «буква») — проявление атмана. Трудно найти аналогию точнее той, которую находит Анандавардхана: в прекрасной женщине все прекрасно, но сама красота ее — это не просто «сумма» отдельных достоинств и прелестей, это некое особое единство, заведомо превышающее такую сумму, новая услада для глаз. В первой главе поэмы Калидаса обрисовывает Гималаи, не упуская из виду мельчайших наблюдений, которым позавидовал бы натуралист. С такой же кропотливой пристальностью обрисовывает поэт красоту горной царевны во всех отдельных прелестях-подробностях. Но для Калидасы описание — не самоцель. Из подробностей, вернее, над подробностями возникает внутренне единая красота Гималаев, тождественная красоте горной царевны в первозданной вечной цельности, которая не названа прямо, чтобы ценитель поэзии сам постиг ее, «угадал». В третьей главе поэмы та же самая красота столь же подробно описывается, но уже в аспекте преходящего, как царство обманчивой весны, и Анандавардхана справедливо восхищается новизной описания. После шлоки, величественного эпического размера второй главы, примечательно тождество поэтического размера в первой и третьей главах, так что без всяких словесных объяснений одним лишь стихом запечатлена зеркальность вечного и преходящего. В предпоследней строфе третьей главы лирическим размером васантатилака («под знаком весны») тем пронзительнее запечатлено скорбное отчаянье в средоточии весны сожженной, чтобы в конце пятой главы тот же лирический размер в своей подлинной функции возвестил торжество вечной красоты, обретенной ценою подвига. Стих в индийской поэзии не уступает слову по своей смысловой насыщенности. Иногда в санскритской поэзии воцаряется настоящее сладострастие звукописи, в котором аллитерация и рифма — лишь частности, далеко не всегда желательные. Анандавардхана даже предостерегает против подобных украшений, мешающих дхвани. Украшения, как обманчивые прелести, подвластные Мадане, грозят поэзии бестелесностью. Дхвани главенствует над звуками и словами, но не принижает их. Слова выигрывают, обогащаются от этого главенства. Анандавардхана доказывает, что «неустойчивые чувства» (любовь, страх, гнев, скорбь) запечатлены в третьей главе поэмы «непосредственно словами». Однако и в этой поэме Калидасы требовательные индийские критики находили недостатки. Так, индийский философ Абхинавагупта (X—XI вв.) считал чрезмерным нагнетание скорби в четвертой главе, опущенной в переводе.

Было бы принципиальной ошибкой искать импрессионистически смутное настроение в дхвани. Невыразимое вообще отрицается теорией и практикой дхвани, как всякая приблизительность. Угадываемое в дхвани блещет ясностью; строго говоря, угадываемое не менее канонично, чем традиционная художественная форма санскритского стиха. Дхвани — это не само угадываемое как таковое, это творчески неповторимое соотношение загаданного и

высказанного, обозначенного словом и не обозначенного, но присутствующего непреложно в художественно-эстетической целостности. Эта целостность осознается нами как непреходящая духовная ценность. Этой целостностью в индийской культуре утверждено несказанное: многовековой опыт народа, не поддающийся однозначному выражению. Индийская мудрость уподобляет поэтическое прозрение третьему глазу Шивы, созерцающему настоящее, прошлое и будущее, пока рядом Бестелесный натягивает свой лук: лук из сахарного тростника, тетива — жужжание пчел.

В. Микушевич

На суперобложке:

Кришна с пастухами возвращается вечером с пастбища. Иллюстрация к «Бхагавата-пуране». Миниатюра школы Гулер (Северная Индия), ок. 1770 г.

Цвет литературы. Фрагмент свитки. Художник Хань Хуан, (работал 723—787).

СОДЕРЖАНИЕ

ИНДИЯ

ТИРУКУРАЛ

Поэты-шиваиты

ПОЭЗИЯ НА НОВОИНДИЙСКИХ ЯЗЫКАХ И ФАРСИ

КИТАЙ

КОРЕЯ

ВЬЕТНАМ

ЯПОНИЯ

ИЗ АНТОЛОГИИ «МАНЪЁСЮ»

Перевод А. Глускиной

ИЗ ПОЭЗИИ IX—XV ВЕКОВ

ИЗ ПОЭЗИИ XVII—XVIII ВЕКОВ

ТРЕХСТИШИЯ

Перевод Веры Марковой

ПЯТИСТИШИЯ

Перевод А. Долина

БИБЛИОТЕКА ВСЕМИРНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
СЕРИЯ ПЕРВАЯ
том 16

КЛАССИЧЕСКАЯ ПОЭЗИЯ ИНДИИ, КИТАЯ, КОРЕИ, ВЬЕТНАМА, ЯПОНИИ

*

Редакторы В. Санович и М. Ваксмахер
Оформление «Библиотеки» Д. Бисти
Художественный редактор Ю. Коннов
Технический редактор В. Кулагина
Корректоры Д. Эткина и Н. Шкарбанова

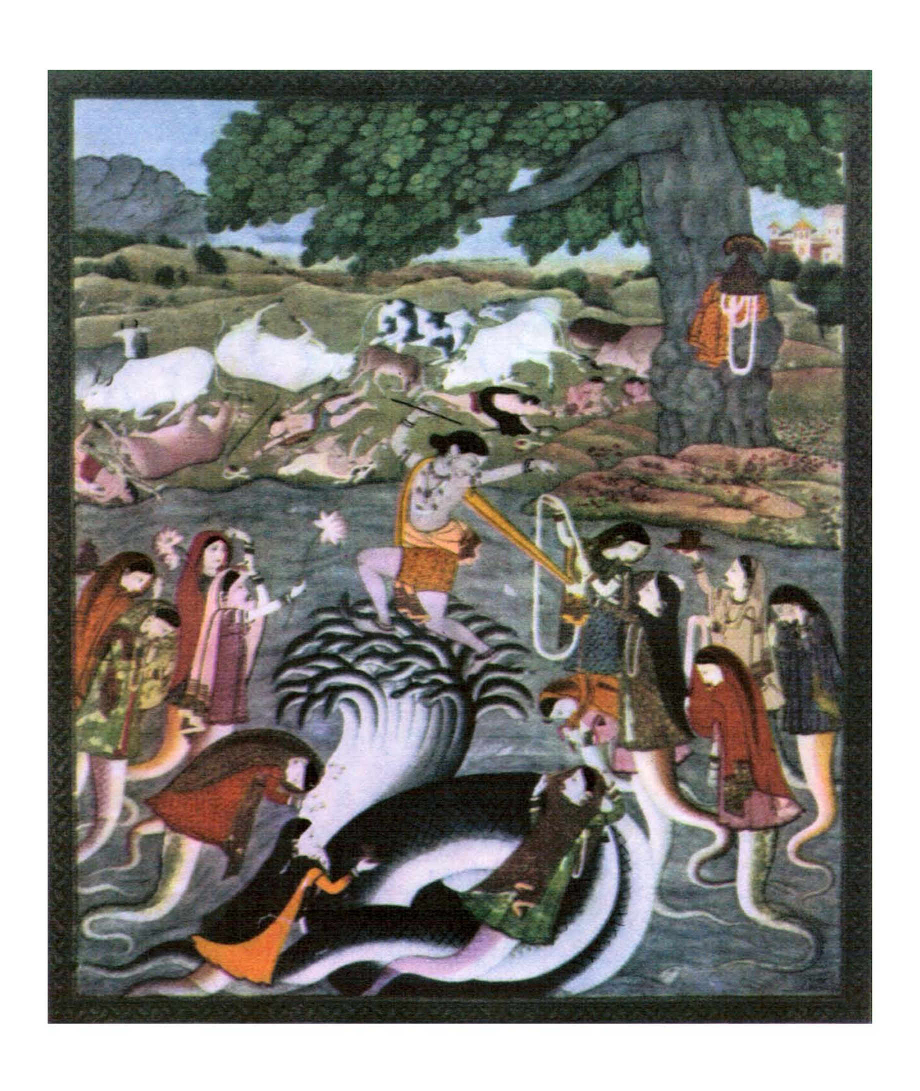
Марка Библиотеки Всемирной литературы исполнена художником В. Носковым

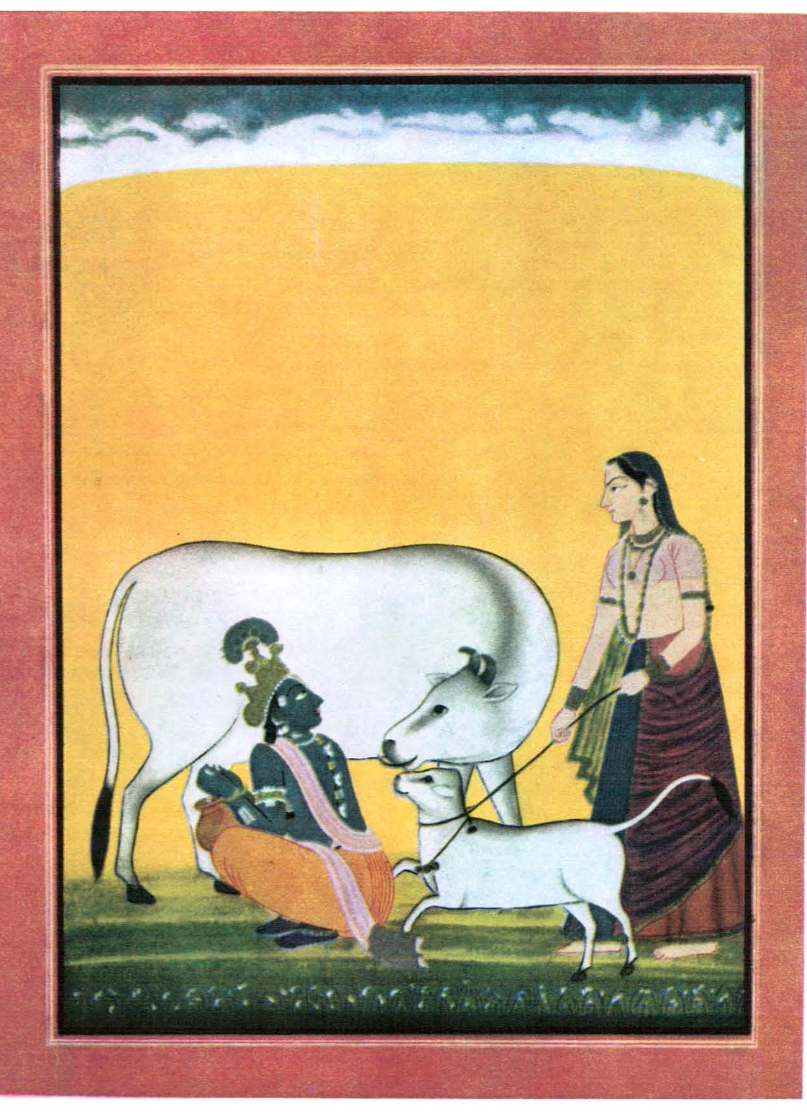
ИБ № 448
Сдано в набор 7/IV 1977 г. Подписано к печати 26/IX 1977 г. Бумага типогр. № 1. Формат 60×84¹/₁₆. 58 печ. л. 54,114 усл. печ. л. 49,923 +8 накид.= =50,661 уч.-изд. л. Заказ № 1401 Тираж 303 000 (150 001—303 000) экз.
Цена 4 р. 80 к.

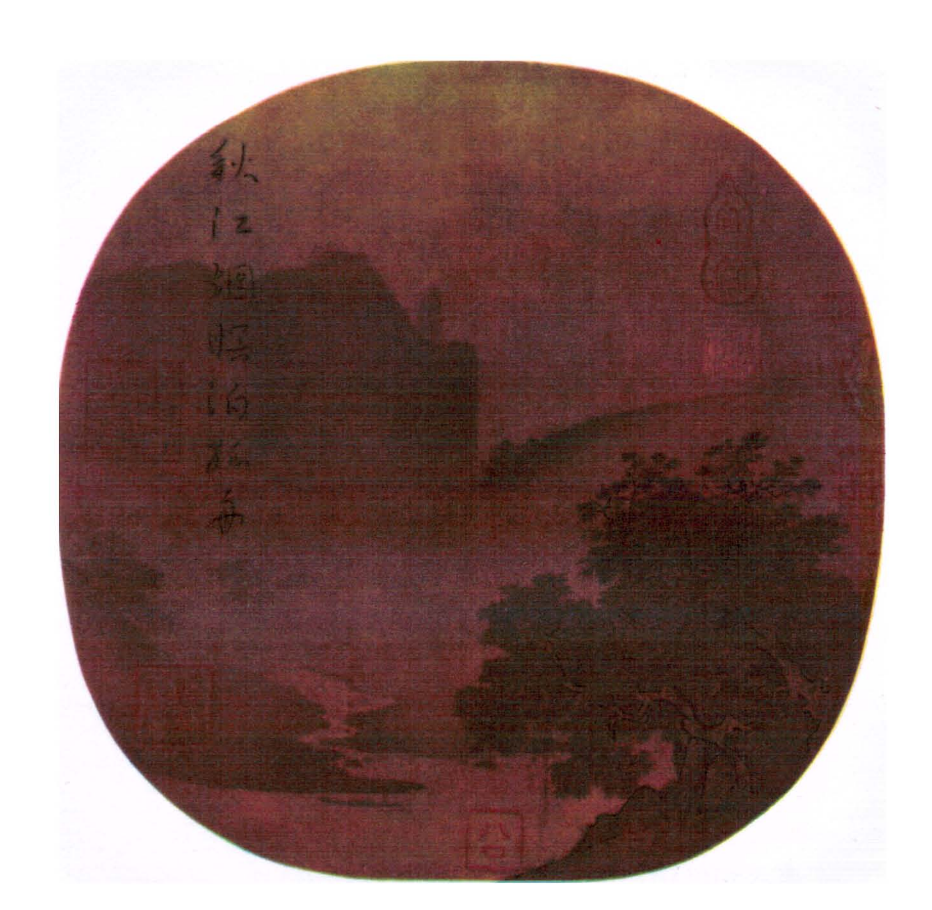
Издательство «Художественная литература»
Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19

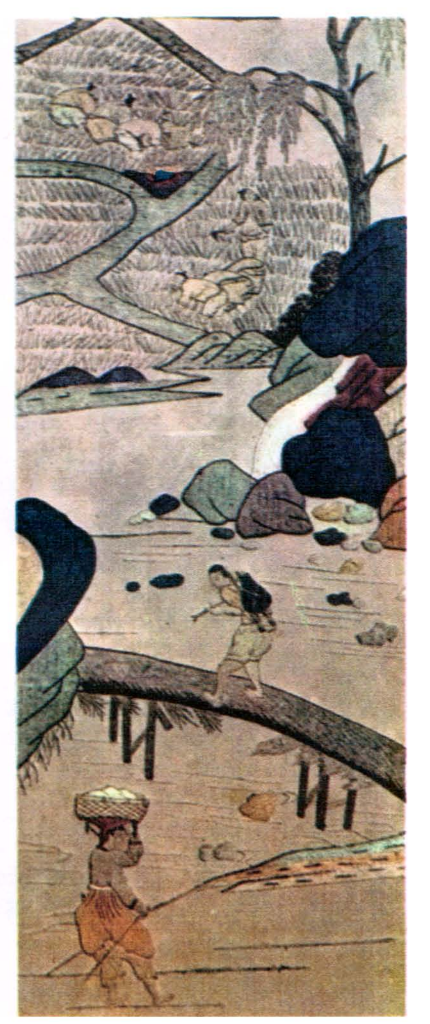
*

Ордена Октябрьской Революции и ордена Трудового Красного Знамени Первая Образцовая типография имени А. А. Жданова Союзполиграфпрома при Государственном комитете Совета Министров СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли.
Москва, М-54, Валовая, 28






秋江烟暝泊孤舟



荷葉蓋
青々

10.00